ЗАПИСКИ И. Д. ЯКУШКИНА

ЗАПИСКИ, СТАТЬИ, ПИСЬМА

ДЕКАБРИСТА

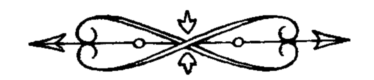
И. Д. ЯКУШКИНА

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ



ЗАПИСКИ, СТАТЬИ, ПИСЬМА
ДЕКАБРИСТА И. Д. ЯКУШКИНА



РЕДАКЦИЯ
и
КОММЕНТАРИИ
С. Я. ШТРАЙХА



ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА
1951

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
профессор *М. В. НЕЧКИНА*



И. Д. ЯКУШКИН
(с портрета работы Виввена. 1823 г.).

ЗАПИСКИ



Читали ли вы интересные «Записки» Ив. Дмитр. Якушкина? По краткости, ясности и правдивости — это лучшие из всех записок наших товарищей.

Декабрист *М. А. Бестужев* (1869 г.)

I[1]

Война 1812 г. пробудила народ русский к жизни и составляет важный период в его политическом существовании. Все распоряжения и усилия правительства были бы недостаточны, чтобы изгнать вторгшихся в Россию галлов и с ними двунадесять языцы, если бы народ попрежнему остался в оцепенении. Не по распоряжению начальства жители при приближении французов удалялись в леса и болота, оставляя свои жилища на сожжение. Не по распоряжению начальства выступило все народонаселение Москвы вместе с армией из древней столицы. По рязанской дороге, направо и налево, поле было покрыто пестрой толпой, и мне теперь еще помнятся слова шедшего около меня солдата: «Ну, слава богу, вся Россия в поход пошла!» В рядах даже между солдатами не было уже бессмысленных орудий; каждый чувствовал, что он призван содействовать в великом деле.

Император Александр, оставивший войско прежде витебского сражения, возвратился к нему в Вильну. Конечно, никогда прежде и никогда после не был он так сближен со своим народом, как в это время, в это время он[2] его любил и уважал. Россия была спасена, но для императора Александра этого было мало; он двинулся за границу со своим войском для освобождения народов от общего их притеснителя. Прусский народ, втоптанный в грязь Наполеоном, первый отозвался на великодушное призвание императора Александра; все восстало и вооружилось. В 13-м году император Александр

перестал быть царем русским и обратился в императора Европы. Подвигаясь вперед с оружием в руках и призывая каждого к свободе, он был прекрасен в Германии; но был еще прекраснее, когда мы пришли в 14-м году в Париж. Тут союзники, как алчные волки, были готовы броситься на павшую Францию. Император Александр спас ее; предоставил даже ей избрать род правления, какой она найдет для себя более удобным, с одним только условием, что Наполеон и никто из его семейства не будет царствовать во Франции. Когда уверили императора, что французы желают иметь Бурбонов, он поставил в непременную обязанность Людовику XVIII даровать права своему народу, обеспечивающие до некоторой степени его независимость. Хартия Людовика XVIII дала возможность французам продолжать начатое ими дело в 89-м году; в это время республиканец Лагарп[1] мог только радоваться действиям своего царственного питомца.

Пребывание целый год в Германии и потом несколько месяцев в Париже не могло не изменить воззрения хоть сколько-нибудь мыслящей русской молодежи; при такой огромной обстановке каждый из нас сколько-нибудь вырос.

Из Франции в 14-м году мы возвратились морем в Россию. 1-я гвардейская дивизия была высажена у Ораниенбаума и слушала благодарственный молебен, который служил обер-священник Державин. Во время молебствия полиция нещадно била народ, пытавшийся приблизиться к выстроенному войску. Это произвело на нас первое неблагоприятное впечатление по возвращении в отечество. Я получил позволение уехать в Петербург и ожидать там полк. Остановившись у однокашника[2] Толстого (теперь сенатора), мы отправились вместе с ним во фраках взглянуть на 1-ю гвардейскую дивизию, вступающую в столицу. Для ознаменования великого этого дня были выстроены на скорую руку у петергофского въезда ворота и на них поставлены шесть алебастровых лошадей, знаменующих шесть гвардейских полков 1-й дивизии. Толстой и я, мы стояли недалеко от золотой кареты, в которой сидела императрица Мария Федоровна с вел. княжн. Анной Павловной. Наконец, показался император, пред-

водительствующий гвардейской дивизией, на славном рыжем коне, с обнаженной шпагой, которую уже он готов был опустить перед императрицей [1]. Мы им любовались; но в самую эту минуту почти перед его лошадью перебежал через улицу мужик. Император дал шпоры своей лошади и бросился на бегущего с обнаженной шпагой. Полиция приняла мужика в палки. Мы не верили собственным глазам и отвернулись, стыдясь за любимого нами царя. Это было во мне первое разочарование на его счет; я невольно вспомнил о кошке, обращенной в красавицу, которая однакож не могла видеть мыши, не бросившись на нее [2].

В 14-м году существование молодежи в Петербурге было томительно. В продолжение двух лет мы имели перед глазами великие события, решившие судьбы народов, и некоторым образом участвовали в них; теперь было невыносимо смотреть на пустую петербургскую жизнь и слушать болтовню стариков, выхваляющих все старое и порицающих всякое движение вперед. Мы ушли от них на 100 лет вперед. В 15-м году, когда Наполеон бежал с острова Эльбы и вторгся во Францию, гвардии был объявлен поход, и мы ему обрадовались, как неожиданному счастию. Поход этот от Петербурга до Вильны и обратно был для гвардии прогулкой. В том же году мы возвратились в Петербург. В Семеновском полку устроилась артель: человек 15 или 20 офицеров сложились, чтобы иметь возможность обедать каждый день вместе; обедали же не одни вкладчики в артель, но и все те, которым по обязанности службы приходилось проводить целый день в полку. После обеда одни играли в шахматы, другие читали громко иностранные газеты и следили за происшествиями в Европе,— такое времяпрепровождение было решительно нововведение.

В 11-м году, когда я вступил в Семеновский полк, офицеры, сходившись между собою, или играли в карты, без зазрения совести надувая друг друга, или пили и кутили напропалую. Полковой командир Семеновского полка генерал Потемкин покровительствовал нашей артели и иногда обедал с нами; но через несколько месяцев император Александр приказал Потемкину прекратить артель в Семеновском полку, сказав, что такого рода сборища офицеров ему очень не

нравятся. Императора, однакоже, все еще любили, помня, как он был прекрасен в 13 и 14-м годах, и потому ожидали его в 15-м с нетерпением. Наконец, появился флаг на Зимнем дворце и в тот же день велено всем гвардейским офицерам быть на выходе. Всех удивило, что при этом не было артиллерийских офицеров; они приезжали, но их не пустили во дворец. Полковник Таубе донес государю, что офицеры его бригады в сношении с ним позволили себе дерзость. Таубе был ненавидим и офицерами и солдатами; но вследствие его доноса два князя Горчаковы (главнокомандующий на Дунае и бывший генерал-губернатор Западной Сибири) и еще пять отличных офицеров были высланы в армию. Происшествие это произвело неприятное впечатление на всю армию.

До слуха всех беспрестанно доходили изречения императора Александра, в которых выражалось явное презрение к русским. Так, напр[имер], при смотре при Вертю, во Франции, на похвалы Веллингтона[1] устройству русских войск император Александр во всеуслышание отвечал, что в этом случае он обязан иностранцам, которые у него служат. Генерал-адъютант гр. Ожеровский, родственник Сергея и Матвея Муравьевых, возвратившись однажды из дворца, рассказал им, что император, говоря о русских вообще, сказал, что каждый из них плут, или дурак и т. д.

По возвращении императора в 15-м году он просил у министра на месяц отдыха; потом передал почти все управление государством графу Аракчееву. Душа его была в Европе; в России же более всего он заботился об увеличении числа войск. Царь был всякий день у развода; во всех полках начались учения, и шагистика вошла в полную свою силу.

Служба в гвардии стала для меня несносна. В 16-м году говорили о возможности войны с турками, и я подал просьбу о переводе меня в 37-й егерский полк, которым командовал полковник Фонвизин, знакомый мне еще в 13-м году и известный в армии за отличного офицера. В это время Сергей Трубецкой, Матвей и Сергей Муравьевы и я, мы жили в казармах и очень часто бывали вместе с тремя братьями Муравьевыми: Александром, Михаилом и Николаем. Никита

Муравьев также часто видался с нами. В беседах наших обыкновенно разговор был о положении России. Тут разбирались главные язвы нашего отечества: закоснелость народа, крепостное состояние, жестокое обращение с солдатами, которых служба в течение 25 лет почти была каторга; повсеместное лихоимство, грабительство и, наконец, явное неуважение к человеку вообще. То, что называлось высшим образованным обществом, большею частию состояло тогда из староверцев, для которых коснуться которого-нибудь из вопросов, нас занимавших, показалось бы ужасным преступлением. О помещиках, живущих в своих имениях, и говорить уже нечего.

Один раз, Трубецкой и я, мы были у Муравьевых, Матвея и Сергея; к ним приехали Александр и Никита Муравьевы с предложением составить тайное общество, цель которого, по словам Александра, должна была состоять в противодействии немцам, находящимся в русской службе. Я знал, что Александр и его братья были враги всякой немчизне, и сказал ему, что никак не согласен вступить в заговор против немцев, но что если бы составилось тайное общество, членам которого поставлялось бы в обязанность всеми силами трудиться для блага России, то я охотно вступил бы в такое общество. Матвей и Сергей Муравьевы на предложение Александра отвечали почти то же, что и я. После некоторых прений Александр признался, что предложение составить общество против немцев было только пробное предложение, что сам он, Никита и Трубецкой условились еще прежде составить общество, цель которого была в обширном смысле благо России. Таким образом, положено основание Тайному обществу, которое существовало, может быть, не совсем бесплодно для России [1].

Было положено составить устав [2] для Общества и вначале принимать в него членов не иначе как с согласия всех шестерых нас. Вскоре после этого я уехал из Петербурга в 37-й егерский полк. Заехав по пути к дяде, который управлял небольшим моим имением в Смоленской губернии, я ему объявил, что желаю освободить своих крестьян. В это время я не очень понимал, ни как это можно было устроить, ни того, что из этого выйдет; но, имея полное убеждение,

что крепостное состояние — мерзость, я был проникнут чувством прямой моей обязанности освободить людей, от меня зависящих. Мое предложение дядя выслушал даже без удивления, но с каким-то скорбным чувством; он был уверен, что я сошел с ума [1].

Приехав в Сосницы, где была штаб-квартира 37-го егерского полка, я узнал, что этот полк должен быть расформирован и в кадрах итти в Москву. Фонвизин советовал мне не принимать роты и обошелся со мной не так, как полковой мой командир, но как самый любезный товарищ. Мы были с ним неразлучны целый день и всякий день просиживали вместе далеко за полночь; все вопросы, занимавшие нас в Петербурге, были столько же близки ему, как и нам. В разговорах наших мы соглашались, что для того, чтобы противодействовать всему злу, тяготевшему над Россией, необходимо было прежде всего противодействовать староверству закоснелого дворянства и иметь возможность действовать на мнение молодежи: что для этого лучшее средство — учредить тайное общество, в котором каждый член, зная, что он не один, и излагая свое мнение перед другими, мог бы действовать с большею уверенностью и решимостью. Наконец, Фонвизин сказал мне, что если бы такое общество существовало, состоя только из пяти человек, то он тотчас бы вступил в него. При этом я не мог воздержаться, чтобы не доверить ему осуществления Тайного общества в Петербурге и что я принадлежу к нему. Фонвизин тут же присоединился к нам. С первой почтой я известил Никиту Муравьева о важном приобретении, какое я сделал для нашего Общества в лице полковника Фонвизина, и надеялся получить за это от них от всех благодарность; но, напротив, получил строгий выговор за то, что поступил против условий между нами, в силу которых никто не имел права принимать никого в Тайное общество без предварительного на то согласия прочих членов; и я чувствовал, что по всей справедливости своей опрометчивостью я заслужил такой выговор.

В начале 17-го года я приехал в Москву, и скоро после того прибыл в кадрах 37-й егерский полк, которого штаб-квартира была назначена в Дмитрове; не командуя ротой, я жил в Москве и ходил

во фраке в ожидании сентября, чтобы подать в отставку. Фонвизин большую часть времени также проживал в Москве и также хотел оставить службу. В это время войска, бывшие во Франции у графа Воронцова, возвращались в Россию. Полки Апшеронский и 38-й егерский, привезенные на судах, были на смотру у царя в Петербурге. Он ужаснулся, увидев, как мало люди были выправлены, и прогнал их со смотра. 37-й егерский полк поступил в 5-й корпус. Командир этого корпуса граф Толстой, дивизионный командир кн. Хованский и бригадный генерал Полторацкий (Константин Маркович), коротко знакомые с Фонвизиным, уговорили его принять 38-й егерский полк, и его назначили командиром этого полка. Прощаясь с 37-м егерским полком, Фонвизин прослезился, и офицеры и солдаты также плакали. В этом полку палка была уже выведена из употребления. Приняв 38-й егерский полк, задача для Фонвизина состояла, кроме обмундировки, выправка людей настолько, чтобы полк мог пройти перед царем в параде, не сбившись с ноги. Фонвизин начал с того, что сблизился с ротными командирами, поручил им первоначальную выправку людей и решительно запретил при учении употреблять палку. Для подпрапорщиков он завел училище и нанимал для них учителей; вообще в несколько месяцев он истратил на полк более 20 000 р., зато в конце года царь, увидев 38-й егерский полк в параде, был от него в восторге и изъявил Фонвизину благодарность в самых лестных выражениях.

В конце 17-го года вся царская фамилия переехала в Москву и прожила тут месяцев 9 или 10. Еще в августе прибыл в Москву отдельный гвардейский корпус, состоящий из первых батальонов всех пеших и первых эскадронов всех конных полков. При корпусе была также артиллерия. Командовал этим отрядом генерал Розен, а начальником штаба был Александр Муравьев. Вместе с отрядом прибыли Никита, Матвей и Сергей Муравьевы; Михайло Муравьев, вступивший уже в Общество, приехал также в Москву. В мое отсутствие Общество очень распространилось. В Петербурге было принято много членов, в числе которых был Бурцев (после, уже генерал-майором, убитый на Кавказе) и Пестель, адъютанты гр. Витгенштейна. Пестель составил первый устав для нашего Тайного общества.

Замечательно было в этом уставе, во-первых, то, что на вступивших в Тайное общество возлагалась обязанность ни под каким видом не покидать службы, с тою целью, чтобы со временем все служебные значительные места по военной и гражданской части были в распоряжении Тайного общества; во-вторых, было сказано, что если царствующий император не даст никаких прав независимости своему народу, то ни в каком случае не присягать его наследнику, не ограничив его самодержавия.

По прибытии в Москву Муравьевы, особенно Михайло, находили устав, написанный в Петербурге, неудобным для первоначальных действий Тайного общества. Было положено приступить к сочинению нового устава и при этом руководствоваться печатным немецким уставом, привезенным кн. Ильей Долгоруким из-за границы и служившим пруссакам для тайного соединения против французов. Пока изготовлялся устав для будущего Союза благоденствия, было учреждено временное Тайное общество под названием Военного. Цель его была только распространение Общества и соединение единомыслящих людей.

У многих из молодежи было столько избытка жизни при тогдашней ее ничтожной обстановке, что увидеть перед собой прямую и высокую цель почиталось уже блаженством, и потому немудрено, что все порядочные люди из молодежи, бывшей тогда в Москве, или поступили в Военное общество, или по единомыслию сочувствовали членам его. Обыкновенно собирались или у Фонвизина, с которым я тогда жил, или в Хамовниках, у Александра Муравьева, в доме, в котором жил также начальник гвардейского отряда генерал Розен. Собрания эти все более и более становились многолюдны, на этих совещаниях бывали между прочими оба Перовские (министр уделов и оренбургский генерал-губернатор), толковали о тех же предметах, важность которых нас всех занимала.

К прежде бывшим присоединилось еще новое зло для России: император Александр, давно замышлявший военные поселения, приступил теперь к их учреждению. Графу Аракчееву было поручено привести в исполнение предначертания, составленные самим царем

для устройства военных поселений. Граф Аракчеев, во всех случаях гордившийся тем, что он только неизменное орудие самодержавия, и в этом случае не изменил себе. В Новгородской губернии казенные крестьяне тех волостей, которые были назначены под первые военные поселения, чуя чутьем русского человека для себя беду, возмутились. Гр[аф] Аракчеев привел против них кавалерию и артиллерию; по ним стреляли, их рубили, многих прогнали сквозь строй, и бедные люди должны были покориться. После чего было объявлено крестьянам, что домы и все имущество более им не принадлежат, что все они поступают в солдаты, дети их — в кантонисты, что они будут исполнять некоторые обязанности по службе и вместе с тем работать в поле, но не для себя собственно, а в пользу всего полка, к которому будут приписаны. Им тотчас же обрили бороды, надели военные шинели и расписали по ротам и капральствам. Известия о новгородских происшествиях привели всех в ужас [1].

Император Александр, в Европе покровитель и почти корифей либералов, в России был не только жестоким, но что хуже того — бессмысленным деспотом [2].

Разводы, парады и военные смотры были почти его единственные занятия; заботился же только о военных поселениях и устройстве больших дорог по всей России, причем он не жалел ни денег, ни пота, ни крови своих подданных. Никогда никто из приближенных к царю ни даже сам он не могли дать удовлетворительного объяснения, что такое военные поселения. Так, например, в Тульчине за обедом, бывши в веселом расположении духа после очень удачного военного смотра, император обратился к генералу Киселеву с вопросом, примиряется ли он, наконец, с военными поселениями; Киселев отвечал, что его обязанность верить, что военные поселения принесут пользу, потому что его императорскому величеству это угодно; но что сам он тут решительно ничего не понимает. «Как же ты не понимаешь,— возразил император Александр,— что при теперешнем порядке всякий раз, что объявляется рекрутский набор, вся Россия плачет и рыдает; когда же окончательно устроятся военные поселения, не будет рекрутских наборов».

Граф Аракчеев, когда у него спрашивали о цели военных поселений, всякий раз отвечал, что это не его дело и что он только исполнитель высочайшей воли. Известно, что военные поселения со временем должны были составить посередь России полосу с севера на юг и совместить в себе штаб-квартиры всех конных и пеших полков и вместе с тем собственными средствами продовольствовать войска, посреди их квартирующие; уже это одно было, вероятно, предположение несбыточное. При окончательном устройстве военных поселений они неминуемо должны были образоваться в военную касту с оружием в руках и не имеющую ничего общего с остальным народонаселением России. Они уничтожены и подверглись общей участи всякой бессмыслицы, даже затеянной человеком, облеченным огромным могуществом.

В 17-м году была напечатана по-французски конституция Польши. В последних пунктах этой конституции было сказано, что никакая земля не могла быть отторгнута от Царства, но что по усмотрению и воле высшей власти могли быть присоединены к Польше земли, отторгнутые от России, из чего следовало заключить, что по воле императора часть России могла сделаться Польшей.

Все это посеяло ненависть к императору Александру в людях, готовых жертвовать собою для блага России [1].

В конце 17-го года вся царская фамилия была уже в Москве, и скоро ожидали прибытия императора. Однажды Александр Муравьев, заехав в один дом, где я обедал и в котором он не был знаком, велел меня вызвать и сказал с каким-то таинственным видом, чтобы я приезжал к нему вечером. Я явился в назначенный час. Совещание это было не многолюдно; тут были, кроме самого хозяина, Никита, Матвей и Сергей Муравьевы, Фонвизин, князь Шаховской и я. Александр Муравьев прочел нам только что полученное письмо от Трубецкого, в котором он извещал всех нас о петербургских слухах: во-первых, что царь влюблен в Польшу и это было всем известно; на Польшу, которой он только что дал конституцию и которую почитал несравненно образованнее России, он смотрел как на часть Европы; во-вторых, что он ненавидит Россию, и это было вероятно



И. Д. ЯКУШКИН
(с акварели Н. И. Уткина, 1816 г.).

после всех его действий в России с 15-го года; в-третьих, что он намеревается отторгнуть некоторые земли от России и присоединить их к Польше, и это было вероятно; наконец, что он, ненавидя и презирая Россию, намерен перенести столицу свою в Варшаву. Это могло показаться невероятным, но после всего невероятного, совершаемого русским царем в России, можно было поверить и последнему известию, особенно при нашем в эту минуту раздраженном воображении. Александр Муравьев перечитал вслух еще раз письмо Трубецкого, потом начались толки и сокрушения о бедственном положении, в котором находится Россия под управлением императора Александра.

Меня проник[ла] дрожь; я ходил по комнате и спросил у присутствующих, точно ли они верят всему сказанному в письме Трубецкого и тому, что Россия не может быть более несчастна, как оставаясь под управлением царствующего императора; все стали меня уверять, что то и другое несомненно. В таком случае, сказал я, Тайному обществу тут нечего делать, и теперь каждый из нас должен действовать по собственной совести и собственному убеждению. На минуту все замолчали. Наконец, Александр Муравьев сказал, что для отвращения бедствий, угрожающих России, необходимо прекратить царствование императора Александра и что он предлагает бросить между нами жребий, чтобы узнать, кому достанется нанесть удар царю. На это я ему отвечал, что они опоздали, что я решился без всякого жребия принести себя в жертву и никому не уступлю этой чести. Затем наступило опять молчание. Фонвизин подошел ко мне и просил меня успокоиться, уверяя, что я в лихорадочном состоянии и не должен в таком расположении духа брать на себя обет, который завтра же покажется мне безрассудным. С своей стороны, я уверял Фонвизина, что я совершенно спокоен, в доказательство чего предложил ему сыграть в шахматы и обыграл его.

Совещание прекратилось, и я с Фонвизиным уехал домой. Почти целую ночь он не дал мне спать, беспрестанно уговаривая меня отложить безрассудное мое предприятие и со слезами на глазах говорил мне, что он не может представить без ужаса ту минуту, когда меня

выведут на эшафот. Я уверял, что не доставлю такого ужасного для него зрелища. Я решился по прибытии императора Александра отправиться с двумя пистолетами к Успенскому собору и, когда царь пойдет во дворец, из одного пистолета выстрелить в него, из другого — в себя. В таком поступке я видел не убийство, а только поединок на смерть обоих.

На другой день Фонвизин, видя, что все его убеждения тщетны, отправился в Хамовники и известил живущих там членов, что я никак не хочу отложить намереваемого мной предприятия. Вечером собрались у Фонвизина те же лица, которые вчера были у Александра Муравьева; начались толки, но совершенно в противном смысле вчерашним толкам. Уверяли меня, что все сказанное в письме Трубецкого может быть и неправда, что смерть императора Александра в настоящую минуту не может быть ни на какую пользу для государства и что, наконец, своим упорством я гублю не только всех их, но и Тайное общество при самом его начале, которое со временем могло бы принести столько пользы для России. Все эти толки и переговоры длились почти целый вечер; наконец, я дал им обещание не приступать к исполнению моего намерения и сказал им, что если все то, чему они так решительно верили вчера, не более как вздор, то вчера они своим легкомыслием увлекли было меня к совершению самого великого преступления; но [1] что если в самом деле ничто не может быть счастливее для России, как прекращение царствования императора Александра, то сегодня своей нерешительностью и своими требованиями они отнимают у меня возможность совершить самое прекрасное дело, и в заключение объявил, что я более не принадлежу к их Тайному обществу [2].

Потом Фонвизин, Никита Муравьев и другие очень уговаривали меня не покидать Общества, но я решительно сказал им, что не буду ни на одном из их совещаний. И в самом деле всякий раз, что собирались у Фонвизина, я куда-нибудь уезжал, но вместе с тем, будучи коротко знаком с главными членами Общества, я всякий день с ними виделся. Они свободно говорили при мне о делах своих, и я знал все, что у них делается.

Устав Союза благоденствия, известный под названием «Зеленой книги», я читал при самом его появлении. Главными редакторами были Михайло и Никита Муравьевы[1]; в самом начале изложения его было сказано, что члены Тайного общества соединились с целью противодействовать злонамеренным людям и вместе с тем споспешествовать благим намерениям правительства. В этих словах была уже наполовину ложь, потому что никто из нас не верил в благие намерения правительства. В это время число членов Тайного общества значительно увеличилось, и многие из них стали при всех случаях греметь против диких учреждений, каковы палка, крепостное состояние и проч.

Теперь покажется невероятным, чтобы вопросы, давно уже порешенные между образованными людьми, 38 лет тому назад были вопросами совершенно новыми даже для людей, почитаемых тогда образованными, т. е. для людей, которые говорили по-французски и были несколько знакомы с французскою словесностью. В этом деле мы решительно были застрельщиками, или, как говорят французы, пропалыми ребятами (enfants perdus); на каждом шагу встречались Скалозубы не только в армии, но и в гвардии, для которых было непонятно, что из русского человека возможно выправить годного солдата, не изломав на его спине несколько возов палок. Все почти помещики смотрели на крестьян своих как на собственность, вполне им принадлежащую, и на крепостное состояние — как на священную старину, до которой нельзя было коснуться без потрясения самой основы государства. По их мнению, Россия держалась одним только благородным сословием, а с уничтожением крепостного состояния уничтожалось и самое дворянство. По мнению тех же староверов, ничего не могло быть пагубнее, как приступить к образованию народа. Вообще свобода мыслей тогдашней молодежи пугала всех, но эта молодежь везде высказывала смело слово истины.

В начале 18-го года приехал в Москву полковник Лубенского полка Граббе и остановился у Фонвизина; они вместе были адъютантами у Ермолова. Многие из моих знакомых выхваляли мне Граббе, как человека отличного во всех отношениях; этого уже было достаточно для меня, чтобы не спешить с ним познакомиться; я

полагал, что он, может быть, человек, проникнутый чувством высоких своих достоинств, а я такого рода отличных людей не очень жаловал. Мы прожили с ним несколько дней под одной кровлей, не сходясь ни разу. Наконец, в одно прекрасное утро он вошел ко мне в комнату, когда я еще лежал в постели, и сказал, протянув мне руку: «Я вижу, что вы никак не хотите со мной сойтись, так знайте же, что я непременно хочу познакомиться с вами». Через какой-нибудь час мы уже хорошо познакомились друг с другом.

Пока мы ходили, разговаривая, по комнате, человек Граббе принес его долман и ментик [1]. Я спросил его, куда он собирается в таком облачении. Он отвечал, что ему необходимо явиться к гр. Аракчееву. Между тем мы продолжали ходить, и разговор попал на древних историков. В это время мы страстно любили древних: Плутарх, Тит Ливий, Цицерон, Тацит и другие были у каждого из нас почти настольными книгами. Граббе тоже любил древних. На столе у меня лежала книга, из которой я прочел Граббе несколько писем Брута к Цицерону, в которых первый, решившийся действовать против Октавия, упрекает последнего в малодушии. При этом чтении Граббе видимо воспламенился и сказал своему человеку, что он не поедет со двора, и мы с ним обедали вместе; потом он уже никогда не бывал у Аракчеева, несмотря на то, что до него доходили слухи через приближенных Аракчеева, что граф на него сердится и повторял несколько раз: Граббе этот видно возгордился, что ко мне не едет. Вскоре после этого Фонвизин принял Граббе в члены Тайного общества.

В 18-м году, 6 января, назначен был всему гвардейскому отряду парад в Кремле. Погода была прегадкая, унтер-офицеры на линиях были неверно поставлены, парад не удался. Царь взбесился и посадил начальника штаба Александра Муравьева под арест на главную гауптвахту. После чего Александр Муравьев вышел в отставку и женился. Жена его, бывши невестой, пела с ним Марсельезу, но потом в несколько месяцев сумела мужа своего, отчаянного либерала, обратить в отчаянного мистика, вследствие чего он отказался от Тайного общества и написал к прежним своим товарищам то посла-

ние, о котором упоминается в донесениях комитета; впрочем это было уже в 19-м году [1].

Во время пребывания императора в Москве были слухи, что он хочет освободить крестьян, чему можно было верить, тем более что он освободил крестьян трех остзейских губерний, правда на таких условиях, при которых положение освобожденных стало несравненно хуже прежнего. Император Александр стыдился перед Европой, что более 10 миллионов его подданных — рабы, но непоследовательным своим поведением он смущал только умы, нисколько не подвигая дела вперед. Однажды, во время прогулки своей по набережной, он увидел несколько крестьян на коленях и у одного из них бумагу на голове. Он принял от них просьбу, в которой было сказано, что крестьяне Тульской губернии, работая на фабрике своего помещика, не всегда получают заработанную плату. Тотчас отправлен был фельдъегерь к тульскому губернатору Оленину привести это дело в порядок. Оленина я знал, и он сам рассказывал мне про это происшествие; он отправился в имение своего приятеля, приказал управляющему расплатиться с крестьянами, и оказалось, что недоимка за конторою была самая незначительная. Тульский губернатор донес императору, что крестьяне удовлетворены; тем все и кончилось. Но происшествие это ужасно смутило помещиков.

В то же время беспрестанно доходили слухи об экзекуциях в разных губерниях. В Костромской, в имении Грибоедовой, матери сочинителя «Горе от ума», крестьяне, выведенные из терпения жестокостью управляющего и поборами выше сил их, вышли из повиновения. По именному повелению к ним была поставлена военная экзекуция и предоставлено было костромскому дворянству определить количество оброка в Костромской губернии, который был бы неотяготителен для крестьян. Костромское дворянство, как и всякое другое, не будучи врагом самому себе, донесло, что в их губернии 70 рублей с души можно полагать оброком самым умеренным. На их донесение не было ни от кого возражений, тогда как всем было известно, что в Костромской губернии ни одно имение не платило такого огромного оброка.

Еще в 15-м году император принялся со страстью за устройство дорог и украшение городов и селений, но дороги эти так были устроены, что в последнее десятилетие его царствования ни по одной из них в скверную погоду не было проезду. В 18-м году, уезжая из Москвы, он назначил князя Хованского витебским генерал-губернатором и приказал ему отправиться в Ярославль поучиться у тамошнего губернатора Безобразова, как устраивать большие дороги. Император остался очень доволен дорогой в Ярославской губернии, проехавши по ней в самую сухую погоду; но Хованскому пришлось ехать по этой дороге в проливные дожди, вязнуть во многих местах; он едва дотащился до Ярославля и обратно, а между тем на устройство этой дороги сошло по 10 рублей с ревизской души всей Ярославской губернии. Главнокомандующий 1-й армией Сакен был принужден оставить свою коляску, не доехав несколько верст до Москвы, и торжественно въехал в древнюю столицу верхом на лошади своего форрейтора. Персидский посланник, проезжая Смоленской губернией, уверял, что и в самой Персии не существует таких скверных дорог, как в России. Проезжая через Черниговскую и Полтавскую губернии и бывши недоволен большими дорогами в этом крае, император объявил строгий выговор генерал-губернатору князю Репнину. Репнин извинялся тем, что в его губерниях неурожай и что он почел необходимым в этом году дать льготу крестьянам, не высылая их на большие дороги. «Что они дома сосут, то могут сосать и на больших дорогах»,— был ответ императора. Он, очевидно, все более и более ожесточался против России.

Между тем устройство больших дорог, по которым не было проезда, было повсеместно разорительно для крестьян; их сгоняли и иногда очень издалека на какой-нибудь месяц времени. Они должны были глубоко взрыть дорогу по бокам, взрытую землю переметать на середину и все утоптать; потом выкопать по сторонам дороги канавы, обложить их дерном и окончательно посадить в два ряда березки, которые, впрочем, очень часто втыкали в землю без корней перед самым проездом царя. Украшение города и селений состояло в том, что для приезда царя в городах заставляли хозяев с уличной

стороны обивать тесом свои лачуги и красили все крыши как и чем попало. В селениях же городили палисадники из мелкого тына перед избами, а местами, как я видел это в Тульской губернии, избы были вымазаны белой глиной, и все это забавляло императора.

С отбытием гвардии в 18-м году еще осталось в Москве человек 30, большею частью завербованных Александром Муравьевым. Бывши в отставке, мне было необходимо в том же году побывать в С.-Петербурге. Оба — Фонвизин и Михайло Муравьев — дали мне письмо к Никите Муравьеву и поручили переговорить с ним и с другими о делах Общества. По приезде моем в Петербург Никита, который в это время был в отставке и усердно занимался делами Тайного общества, познакомил меня с Пестелем. При первом же знакомстве мы поспорили с ним часа два.

Пестель всегда говорил умно и упорно защищал свое мнение, в истину которого он всегда верил, как обыкновенно верят в математическую истину; он никогда и ничем не увлекался. Может быть, в этом-то и заключалась причина, почему из всех нас он один в течение почти 10 лет, не ослабевая ни на одну минуту, усердно трудился над делом Тайного общества. Один раз доказав себе, что Тайное общество верный способ для достижения желаемой цели, он с ним слил свое существование.

На другой день моего приезда в Петербург Никита стал меня уговаривать, чтобы я присоединился опять к Тайному обществу, доказывая мне, что теперь не существует более причины, меня от них удалившей, что в Уставе Союза благоденствия совершенно определен мерный ход Общества, прибавив, что Пестель и другие находят очень странным, что я привожу поручения от московских членов и знаю все, что делается в Тайном обществе, не принадлежа к нему. После таких доводов мне оставалось только согласиться на предложение Никиты, и я подписал записку, не читая ее; я знал, что она будет сожжена. После этого я был приглашен на совещание. Князь Лопухин, впоследствии начальник уланской дивизии при гренадерском корпусе, Петр Колошин, князь Шаховской и многие другие собрались у Никиты.

Сама формальность этого совещания давала ему вид плохой комедии. В Москве, когда собирались члены Военного общества, они собирались для того, чтобы познакомиться и сблизиться друг с другом; всякий говорил свободно о предметах, занимавших всех и каждого из них. Тут же в продолжение всего совещания рассуждали о составлении самой заклинательной присяги для вступающих в Союз благоденствия и о том, как приносить самую присягу, над Евангелием или над шпагой вступающие должны присягать. Все это было до крайности смешно. Но Лопухин, Шаховской и почти все присутствующие были ревностные масоны, они привыкли в ложах разыгрывать бессмыслицу, нисколько этим не смущаясь, и им желалось некоторый порядок масонских лож ввести в Союз благоденствия.

Менее нежели в два года своего существования Союз благоденствия достиг полного своего развития, и едва ли 18 и 19-й годы не были самым цветущим его временем. Число членов значительно увеличилось; многие из принадлежавших Военному обществу поступили в Союз благоденствия, в том числе оба Перовских; поступили в него также Ил. Бибиков, теперешний литовский генерал-губернатор, и Кавелин, бывший с.-петербургский военный генерал-губернатор.

Во всех полках было много молодежи, принадлежащей к Тайному обществу. Бурцев, перед отъездом своим в Тульчин, принял Пущина, Оболенского, Нарышкина, Лорера [1] и многих других. В это время главные члены Союза благоденствия вполне ценили предоставленный им способ действия посредством слова истины, они верили в его силу и орудовали им успешно. Влияние их в Петербурге было очевидно. В Семеновском полку палка почти совсем уже была выведена из употребления. В других полках ротные командиры нашли возможность без нее обходиться. Про жестокости, какие бывали прежде, слышно было очень редко. Прежде похода за границу в Семеновском полку, в котором круг офицеров почитался тогда лучшим во всей гвардии, когда собирались некоторые из баталионных и ротных командиров, между ними бывали прения о том, как полезнее наказывать солдат: понемногу, но часто или редко, но метко, и я очень помню, что командир 2-го баталиона барон Дамас, впоследствии быв-

ший во Франции при Карле X министром иностранных дел, был такого мнения, что должно наказывать редко, но вместе с тем никогда не давать солдату менее 200 палок, и надо заметить, что такие жестокие наказания употреблялись не за одно дурное поведение, но и иногда за самый ничтожный проступок по службе и даже за какой-нибудь промах во фрунте. Многие притеснительные постановления правительства, особенно военные поселения, явно порицались членами Союза благоденствия, через что во всех кругах петербургского общества стало проявляться общественное мнение; уже не довольствовались, как прежде, рассказами о выходах во дворце и разводах в манеже. Многие стали рассуждать, что вокруг их делалось.

В 19-м году, поехав из Москвы повидаться с своими, я заехал в смоленское свое имение. Крестьяне, собравшись, стали просить меня, что так как я не служу и ничего не делаю, то мне бы приехать пожить с ними, и уверяли, что я буду им уже тем полезен, что при мне будут менее притеснять их. Я убедился, что в словах их много правды, и переехал на житье в деревню. Соседи тотчас прислали поздравить с приездом, обещая каждый скоро посетить меня; но я через посланных их просил перед ними извинения, что теперь никого из них не могу принять. Меня оставили в покое, но, разумеется, смотрели на меня, как на чудака. Первым моим распоряжением было уменьшить наполовину господскую запашку. Имение было на барщине, и крестьяне были далеко не в удовлетворительном положении; многие поборы, отяготительные для них и приносившие мало пользы помещику, были отменены.

Вскоре по приезде моем в Жуково я пришел в столкновение с земской полицией. Мне пришли сказать, что в речке, текущей по моей земле и очень вздувшейся от дождей, утонул человек. Я в тот же день велел послать донесение о происшествии в вяземский земский суд и приставить караул к утопленнику. Прошло дня три или четыре, земский суд не сделал никакого распоряжения по этом делу. В это время приехал ко мне из Москвы Фонвизин; мы пошли с ним гулять вдоль реки и были поражены зрелищем истинно ужасным. Утопший, привязанный за ногу к колу, вбитому в берег, плавал на воде;

кожа на его лице и руках походила на мокрую сыромятину. Это было в июне, и смрад от мертвого тела далеко распространялся. Кроме караульного, на берегу сидели старик и молодая женщина. Старик был отец, женщина — жена утопшего; оба они горько плакали и, увидев меня, бросились в ноги, прося позволения похоронить покойника.

И Фонвизин и я, мы были сильно взволнованы. Я приказал вытащить утопшего из воды и, взвалив на телегу, отвезти к его помещику Барышникову, живущему верст 10 от меня[1]. Я написал к нему, что после моего донесения в земский суд о найденном утопленнике у меня в реке, не видя со стороны суда никакого распоряжения по этому делу и опасаясь, чтобы мертвое тело, которое начало уже разлагаться, не причинило заразы, я решился отправить его к нему, с тем чтобы он приказал его похоронить. Барышников, весьма богатый помещик, перепугался и первоначально без распоряжения земского суда не хотел принимать утопшего своего крестьянина, даже хотел отослать его назад на место, где он был найден; но потом, опасаясь ответственности, если мертвое тело, оставаясь долгое время непохороненным, причинит заразу, как я писал ему, велел, наконец, похоронить его. Я известил земский суд о моем распоряжении в его отсутствие, написал о том же смоленскому губернатору барону Ашу, пояснив ему, почему я так действовал в этом деле. Барон Аш, не пропускавший никакого случая, где можно было потеребить чиновников, избираемых дворянством, написал строгий выговор в вяземский земский суд.

Чтобы сблизиться сколько возможно скорее с моими крестьянами, я всех их и во всякий час допускал до себя и по возможности удовлетворял их требования; скоро отучил я их кланяться мне в ноги и стоять передо мной без шапки, когда я сам был в шляпе[2]. За проступки они не иначе наказывались, как по приговору всех домохозяев. Почва вообще в Смоленской губернии неплодотворна; при недостатке скота мои крестьяне не могли достаточно удобрять своих полей. Обыкновенные урожаи бывали очень скудны, так что собираемого хлеба едва доставало крестьянам на продовольствие и посев. Единственные

их промыслы были зимою — извоз и добывание извести; и то и другое доставляло незначительную прибыль. С этими средствами они, конечно, не ходили по миру, но и нельзя было надеяться этими средствами улучшить их состояние, тем более что, привыкнув терпеть нужду и не имея надежды когда-нибудь с нею расстаться, они говорили, что всей работы никогда не переробишь, и потому трудились и на себя и на барина, никогда не напрягая сил своих.

Надо было придумать способ возбудить в них деятельность и поставить их в необходимость прилежно трудиться. Способ этот по тогдашним моим понятиям состоял в том, чтобы прежде всего поставить их в совершенно независимое положение от помещика, и я написал прошение к министру внутренних дел Козодавлеву [1], в котором изъявил желание освободить своих крестьян и изложил условия, на которых желаю освободить их. Я предоставлял в совершенное и полное владение моим крестьянам их домы, скот, лошадей и все их имущество. Усадьбы и выгоны в том самом виде, как они находились тогда, оставались принадлежностью тех же деревень. За все за это я не требовал от крестьян моих никакого возмездия. Остальную же всю землю я оставлял за собой, предполагая половину обрабатывать вольнонаемными людьми, а другую половину отдавать в наем своим крестьянам.

Молодое же поколение, мне казалось, необходимо было прежде всего сколько-нибудь осмыслить и потом доставить им более верные средства добывать пропитание, нежели какие до сих пор имели отцы их. Для этого я на первый раз взял к себе 12 мальчиков и сам стал учить их грамоте, с тем чтобы после раздать их в Москве в учение разным мастерствам [2]. Но набор мальчиков совершился не совсем с добровольного согласия крестьян; они сперва были уверены, что я беру их детей к себе в дворовые, и тем более это могло им казаться вероятным, что вся моя дворня состояла из одного человека, который был со мной в походе, и наемного отставного унтер-офицера. Скоро однакож отцы и матери успокоились за своих детей, видя, что они учатся грамоте, всегда веселы и ходят в синих рубашках.

В это время заехал ко мне мой сосед Лимохин, чтобы поговорить об устройстве мельницы на реке, разделяющей наши владения. Не

видя у меня никакой прислуги и заметя стоявших вдали мальчиков, он спросил: «Что они тут делают?» Я отвечал, что они учатся у меня грамоте. «И прекрасно,— возразил он,— поучите их петь и музыке, и вы, продавши их, выручите хорошие деньги». Такие понятия моего соседа, сами по себе отвратительные, между тогдашними помещиками были не диковинка. В нашем семействе был тогда пример.

Покойный дядя мой, после которого досталось мне Жуково, был моим опекуном; при небольшом состоянии были у него разные полубарские затеи, в том числе музыка и певчие. В то время, когда я был за границей, сблизившись в Орле с графом Каменским, сыном фельдмаршала, он ему продал 20 музыкантов из своего оркестра за 40 000 [1]; в числе этих музыкантов были два человека, принадлежавшие мне. Когда я был в 14-м году в Орле и в первый раз увиделся с Каменским, граф очень любезно сказал мне, что он мой должник, что он заплатит мне 4000 за моих людей, и просил без замедления совершить на них купчую. Я отвечал его сиятельству, что он мне ничего не должен, потому что людей моих ни за что и никому не продам. На другой день оба они получили от меня отпускную.

Мальчики мои понемногу начали читать и писать, что очень забавляло их родителей. Желая привести в совершенную известность всю мою дачу, я каждый день с моими учениками ходил на съемку; они таскали за мной все нужные для этого принадлежности; скоро научились они таскать цепь и ставить колья по прямому направлению. Я показывал им, как наводить диоптр и насекать углы на планшете; все это их очень забавляло, и они с каждым днем становились смышленней.

Наконец, вяземский предводитель дворянства получил предписание из министерства внутренних дел потребовать от меня показание, на каких условиях я хочу сделать своих крестьян вольными и хлебопашцами, и означить, сколько передаю я земли каждому из них; потом допросить крестьян моих, согласны ли они поступить в вольные хлебопашцы на предлагаемых мною условиях, словом поступить совершенно по учреждению для крестьян, поступающих в вольные

хлебопашцы, обнародованному в 1803 г. [1], февраля 20. Из этого было очевидно, что в министерстве не обратили ни малейшего внимания на смысл моей просьбы. Осталось только мне ехать самому в Петербург и изустно объясниться с министром, но прежде мне хотелось знать, оценят ли крестьяне выгоду для себя условий, на которых я предполагал освободить их. Я собрал их и долго с ними толковал; они слушали меня со вниманием и, наконец, спросили: «Земля, которою мы теперь владеем, будет принадлежать нам или нет?» Я им отвечал, что земля будет принадлежать мне, но что они будут властны ее нанимать у меня. «Ну так, батюшка, оставайся все по-старому: мы ваши, а земля наша». Напрасно я старался им объяснить всю выгоду независимости, которую им доставит освобождение. Русский крестьянин не допускает возможности, чтобы у него не было хоть клока земли, которую он пахал бы для себя собственно. Надеясь, что мои крестьяне со временем примирятся с условиями, на которых я предположил освободить их в начале 20-го года, я отправился в Петербург [2].

В два года моего отсутствия число членов Союза благоденствия очень возросло; правда, что многие из прежних членов охладели, почти совсем отдалились от Общества; зато другие жаловались, что Тайное общество ничего не делает; по их понятиям, создать в Петербурге общественное мнение и руководить им была вещь ничтожная; им хотелось бы от Общества теперь уже более решительных приготовительных мер для будущих действий. Словом, Союз благоденствия в прежнем своем виде более уже не существовал. По нескольку раз в неделю собирались члены Тайного общества к Никите Муравьеву. В это время я познакомился со многими из них; самые из них значительные и ревностные по делу Общества, кроме Никиты и Николая Тургенева,— Ф. Н. Глинка, два брата Шиповы (старший — впоследствии командир Новосеменовского полка), граф Толстой, известный наш медальер, Ил. Долгорукий и многие другие.

Вместе с Никитою мы заезжали к Ил. Долгорукому, который был болен и не выходил из комнаты. Он был блюстителем Союза благоденствия. Служа при Аракчееве [3] и имея возможность знать многие тайные распоряжения правительства и извещать о них своих това-

рищей, он тем самым был полезен Тайному обществу. В это время вообще он служил ему усердно.

Во всех членах Союза благоденствия проявлялось какое-то ожесточение против царствующего императора; и в самом деле, он с каждым днем становился мрачнее и все более и более отчуждался от России. Граф Аракчеев уже явно управлял государством. Члены Государственного совета и министры относились к нему по повелению императора в большей части случаев, где требовалось высочайшее разрешение. Аракчеев жил иногда в своем знаменитом Грузине, в Новгородской губернии, и члены совета, и министры, и все сановники отправлялись к нему туда.

По делу об освобождении моих крестьян я обратился к Николаю Тургеневу; он дал мне письмо к Джуньковскому, директору департамента, в котором было мое дело [1]. Джуньковский принял меня в департаменте и толковал со мной часа два, сначала, было, с важностью пожилого человека, который много видел и много знает и потому имеет право читать поучения молодому, неопытному человеку; но потом он из слов моих убедился, что условия, на которых я предполагал освободить крестьян моих, не были мне внушены какой-нибудь мимолетной мыслью, но были мной совершенно обдуманы. Я спросил Джуньковского, много ли с 1805 года освобождено крестьян по учреждению о вольных хлебопашцах. Он отвечал мне: 30 000, в том числе 20 000 князя Голицына, известного мота в Москве, проигравшего жену свою графу Разумовскому. Крестьяне Голицына откупились, заплатив долги его. Незначительное это число освободившихся крестьян в продолжение каких-нибудь 15 лет было лучшим доказательством, что на существующее учреждение о вольных хлебопашцах нельзя было рассчитывать как на средство для уничтожения крепостного состояния в России. Джуньковский бывал за границей, имел воззрение человека европейского, и потому освобождение крестьян, которым не предоставлялось земли в собственность, нисколько не возмущало его. Наконец, он, пожав мне руку, сказал, что в предлагаемом мной способе освобождения много есть дельного, но что теперешний министр граф Кочубей в этом случае не согласится отступить на волос

от учреждений 1805 года, составленных им самим во время первого его министерства [1]. Но я все-таки хотел увидеться с министром, хотя и мало надеялся, чтоб через свидание с ним дело мое кончилось успешно. В продолжение целой недели я ходил ежедневно к министру и никак не мог добиться его лицезрения; наконец, я забрался к нему с утра и решил дожидаться, пока он выйдет из своего кабинета. Напрасно дежурный чиновник уверял меня, что сегодня граф никого не принимает; я остался неподвижным на своем стуле. В этот день министр занимался с своими директорами проектом об изменении формы мундира для его министерства.

Часа в 3 пополудни дверь кабинета растворилась, и министр, подошед ко мне, сказал: «Что вам угодно?» Я вкратце объяснил ему мое дело. Между прочими возражениями он сказал мне: «Я нисколько не сомневаюсь в добросовестности ваших намерений; но если допустить способ, вами предлагаемый, то другие могут воспользоваться им, чтобы избавиться от обязанности относительно своих крестьян». На это я осмелился заметить его сиятельству, что это не совсем правдоподобно по той причине, что каждый помещик имеет возможность очень выгодно избавиться от своих крестьян, продавши их на вывод. Окончательно министр сказал мне: «Впрочем, дело ваше в наших руках, и мы дали ему надлежащий ход».

Итак, хлопоты мои в Петербурге по освобождению крестьян кончились ничем [2]. В это время вообще в Петербурге много толковали о крепостном состоянии. Даже в Государственном совете рассуждали о непристойности, с какою продаются люди в России. Вследствие чего объявления в газетах о продаже людей заменились другими; прежде печаталось прямо: такой-то крепостной человек или такая-то крепостная девка продаются; теперь стали печатать: такой-то крепостной человек или такая-то крепостная девка отпускаются в услужение, что значило, что тот и другая продавались.

На возвратном пути я прожил некоторое время в Москве с Фонвизиным и Граббе; последний был переведен с своим Лубенским полком в мое соседство в Дорогобуж. Фонвизин был произведен в генералы. Летом в 19-м году он перешел с своим 38-м егерским полком

во 2-ю армию, для того чтобы № 38 соединить с № 37. В этом году все егерские полки были в движении.

Фонвизин, ехавши во 2-ю армию сдавать полк [1], заехал ко мне в Жуково; от меня мы поехали к Граббе в Дорогобуж и познакомились с отставным генералом Пассеком, который пригласил нас в свое имение недалеко от Ельни. Он недавно возвратился из-за границы и жестоко порицал все мерзости, встречавшиеся на всяком шагу в России, в том числе и крепостное состояние. Имение его было прекрасно устроено, и со своими крестьянами он обходился человеколюбиво, но ему все-таки хотелось как можно скорее уехать за границу.

По возвращении моем из Петербурга существование мое в Жукове стало как-то мрачно. Я уже не имел надежды освободить моих крестьян на тех условиях, которые тогда казались мне наиболее удобными для общего освобождения крестьян в России. Впрочем, вскоре потом я убедился, что освобождать крестьян, не предоставив в их владение достаточного количества земли, было бы только вполовину обеспечить их независимость. Распределение поземельной собственности между крестьянами и общинное владение ею составляют у нас основные начала, из которых со временем должно развиться все гражданское устройство нашего государства. Благомыслящие люди, или, как называли их, либералы, того времени более всего желали уничтожения крепостного состояния и, при европейском своем воззрении на этот предмет, были уверены, что человек, никому лично не принадлежащий, уже свободен, хотя и не имеет никакой собственности [2].

Ужасное положение пролетариев в Европе тогда еще не развилось в таком огромном размере, как теперь, и потому возникшие вопросы по этому предмету уже впоследствии тогда не тревожили даже самых образованных и благонамеренных людей. Крепостное же состояние у нас обозначалось на каждом шагу отвратительными своими последствиями. Беспрестанно доходили до меня слухи о неистовых поступках помещиков, моих соседей. Ближайший из них — Жигалов, имевший всего 60 душ, разъезжал в коляске и имел огромную стаю гончих и борзых собак; зато крестьяне его умирали почти с голоду и часто, ушедши тайком с полевой работы, приходили ко мне и моим крестья-

нам просить милостыню. Однажды к этому Жигалову приехал Лимохин и проиграл ему в карты свою коляску, четверню лошадей и бывших с ним кучера, форрейтора и лакея; стали играть на горничную девку и Лимохин отыгрался.

В имении Анненкова, верстах в трех от меня [1], управляющий придумывал ежегодно какой-нибудь новый способ вымогательства с крестьян. Однажды он объявил им, что барыня их, живущая в курском своем имении, приказала прислать к себе несколько взрослых девок для обучения их ковердому искусству; разумеется, крестьяне, чтобы откупиться от такого налога, заплатили все, что только могли заплатить. У богача Барышникова при полевых работах разъезжали управитель, бурмистр и старосты и поощряли народ к деятельности плетью.

Проезжая однажды зимою по Рославльскому уезду, я заехал на постоялый двор. Изба была набита народом, совершенно оборванным, иные даже не имели ни рукавиц, ни шапки! Их было более 100 человек, и они шли на винокуренный завод, отстоящий верст 150 от места их жительства. Помещик, которому они принадлежали, Фонтон де-Варайон отдал их на всю зиму в работу на завод и получил за это вперед условленную плату. Сверх того, помещик, которому принадлежал завод, обязался прокормить крестьян Фонтона в продолжении зимы.

Такого рода сделки были очень обыкновенны. Во время построения Нижегородской ярмарки принц Александр Виртембергский отправил туда в работу из Витебской губернии множество своих нищих крестьян, не плативших ему оброка. Партии этих людей сотнями и в самом жалком положении проходили мимо Жукова.

Все это вместе было нисколько не утешительно. К тому же не было дня, в котором я бы мог быть уверен, что у меня не случится столкновения с земской полицией. Ежегодно требовались люди на большие дороги на какой-нибудь месяц, а иногда на два; они там оставались в совершенном распоряжении заседателя, и всякий раз надо было хлопотать, чтобы он не оставил там людей долее, чем это было нужно. Очень часто требовались подводы под проходившие

военные команды. В первый раз я приказал подводчикам не давать квитанций заседателю, не получив от него следуемых прогонов; люди мои пробыли пять дней в отлучке и возвратились, не получив ни копейки. Так как пригнано было подвод несравненно более, нежели требовалось, то заседатель, продержав людей моих три дня, отпустил ни с чем. Требовались также иногда лошади на станциях больших дорог под проезд значительных лиц. Ежели в предписании министра велено выставить 20 лошадей, то в предписании генерал-губернатора требовалось 30, в предписании губернатора 40, а земский суд требовал уже 60 лошадей. Кончилось тем, что во всех подобных случаях я совсем не исполнял предписаний земской полиции, очень зная, что тем самым на каждом шагу подвергался ответственности перед начальством.

Фонвизин в 20-м году, возвращаясь из Одессы в Москву, известил меня, что он заедет к Левашевым, верст за 200 от меня, и будет у них меня дожидаться. Я приехал в назначенный срок к Левашевым. Через несколько дней явился ко мне нарочный из Жукова с известием, что там полевые работы прекращены и все крестьяне в ужасной тревоге. Во время моего отсутствия земский заседатель, проезжая через Жуково и узнавши от старосты, который говорил с ним в шляпе, что меня нет дома и что я не скоро возвращусь, бросился на старосту и избил его до полусмерти, потом отправился к работавшим в поле крестьянам и под предлогом, что за ними есть недоимочный рекрут, старался схватить кого-нибудь из них. Заседатель увязался за одним молодым парнем, схватил его и увез в Вязьму. За мной не бывало никакой недоимки, и в последний набор я представил рекрутскую квитанцию за моих крестьян [1]. Происшествие в Жукове всех нас чрезвычайно потревожило, и я тотчас же вместе с Фонвизиным отправился в Смоленск. Фонвизин был знаком с губернатором бароном Ашем, объяснил ему все дело, и барон Аш приказал крестьянина моего отпустить домой, а заседателя, наделавшего столько тревоги, отдать под суд.

Фонвизин проводил меня до Жукова. Тут народ был в отчаянном положении и почти не работал. Все это вместе меня ужасно смутило,

и я совершенно растерялся. Чтобы за один раз прекратить все беспорядки в России, я придумал средство, которое в эту минуту казалось мне вдохновением, а в самой сущности оно было чистый сумбур. Ночью, пока Фонвизин спал, я написал адрес к императору, который должны были подписать все члены Союза благоденствия. В этом адресе излагались все бедствия России, для прекращения которых мы предлагали императору созвать Земскую думу по примеру своих предков. Поутру я прочитал свое сочинение Фонвизину, и он, быв под одним настроением духа со мной, согласился подписать адрес. В тот же день мы с ним отправились в Дорогобуж к Граббе. К счастью, Граббе был благоразумнее нас обоих; не отказываясь вместе с другими подписать адрес, он нам ясно доказал, что этим поступком за один раз уничтожалось Тайное общество и что это все вело нас прямо в крепость. Бумага, мной написанная, была уничтожена [1]. После чего долго мы рассуждали о горестном положении России и средствах, которые бы могли спасти ее.

Союз благоденствия, казалось нам, дремал. По собственному своему образованию, он слишком был ограничен в своих действиях. Решено было к 1 января 21-го года пригласить в Москву депутатов из Петербурга и Тульчина для того, чтобы на общих совещаниях рассмотрели дела Тайного общества и приискали средства для большей его деятельности. Фонвизин с братом должен был отправиться в Петербург, мне же пришлось ехать в Тульчин. Фонвизин, незадолго перед тем бывши в Тульчине, познакомился со всеми тамошними членами и дал мне письма к некоторым из них. Он мне дал также письмо в Кишинев к Михайле Орлову [2]. В Дорогобуже я добыл себе кое-как подорожную и пустился в путь.

Приехав в Тульчин, я тотчас явился к Бурцеву; он от жида, у которого я остановился, перетащил меня к себе; в тот же день я побывал у Пестеля и у Юшневского; последнего Фонвизин превозносил как человека огромного ума. Тут случилось, как случается нередко, что одни добрые качества принимают за другие. Юшневский, генерал-интендант 2-й армии, был отлично добрый человек и честности редкой, но ума довольно ограниченного. С первого раза он поразил меня

своими пошлостями [1]. Чтобы пребыванием моим в Тульчине не подать подозрения властям, я ни у кого не бывал, кроме Пестеля, с которым был знаком прежде, и у Юшневского, к которому я привез письмо от Фонвизина; но я скоро познакомился с тульчинской молодежью; во время моего пребывания в Тульчине все почти члены перебывали у Бурцева.

В Тульчине члены Тайного общества, не опасаясь никакого особенного над собою надзора, свободно и почти ежедневно сообщались между собой и тем самым не давали ослабевать друг другу. Впрочем, было достаточно уже одного Пестеля, чтобы беспрестанно одушевлять всех тульчинских членов, между которыми в это время было что-то похожее на две партии: умеренные, под влиянием Бурцева, и, как говорили, крайние, под руководством Пестеля. Но эти партии были только мнимые. Бурцев, бывши уверен в превосходстве личных своих достоинств, не мог не чувствовать на каждом шагу превосходства Пестеля над собой и потому всеми силами старался составить против него оппозицию. Однако это не мешало ему по наружности оставаться в самых лучших отношениях с Пестелем.

Киселев, как умный человек и умеющий ценить людей, не мог не уважать всю эту молодежь и многих из них любил как людей приближенных к себе. Всех он принимал у себя очень ласково и, кроме как по службе, никогда не был с ними начальником. Иногда у него за обедом при общем разговоре возникали политические вопросы, и если при этом Киселев понимал что-нибудь криво, ему со всех сторон возражали дельно, и он всякий раз принужден был согласиться с своими собеседниками [2].

После этого нетрудно себе представить, какое влияние имели тульчинские члены во всей 2-й армии. Никакого нет сомнения, что Киселев знал о существовании Тайного общества и смотрел на это сквозь пальцы [3]. Впоследствии, когда попал под суд капитан Раевский, заведывавший школою взаимного обучения [4] в дивизии Михайлы Орлова, и генерал Сабанеев отправил при донесении найденный у Раевского список всем тульчинским членам, они ожидали очень дурных для себя последствий по этому делу. Киселев призвал к себе Бурцева, который был у него старшим адъютантом, подал ему бумагу и приказал тотчас

же по ней исполнить. Пришедши домой, Бурцев очень был удивлен, нашедши между листами данной ему бумаги список тульчинских членов, писанный Раевским и присланный Сабанеевым отдельно; Бурцев сжег список, и тем кончилось дело [1].

В это время Пестель замышлял республику в России, писал свою «Русскую Правду». Он мне читал из нее отрывки и, сколько помнится, об устройстве волостей и селений. Он был слишком умен, чтобы видеть в «Русской Правде» будущую конституцию России. Своим сочинением он только приготовлялся, как он сам говорил, правильно действовать в Земской думе и знать, когда придется, что о чем говорить. Некоторые отрывки из «Русской Правды» он читал Киселеву, который ему однажды заметил, что царю своему он предоставляет уже слишком много власти. Под словом «царь» Пестель разумел исполнительную власть [2].

Наконец, было назначено совещание у Пестеля, на котором я должен был объявить всем присутствующим о причине моего прибытия в Тульчин. Бурцев уверил меня, что если Пестель поедет в Москву, то он своими резкими мнениями и своим упорством испортит там все дело, и просил меня никак не приглашать Пестеля в Москву. На совещании я предложил тульчинским членам послать от себя доверенных в Москву, которые там занялись бы вместе с другими определением всех нужных изменений в уставе Союза благоденствия, а может быть, и в уставе самого Общества. Бурцев и Комаров просились в отпуск и по собственным делам своим должны были пробыть некоторое время в Москве. Пестелю очень хотелось приехать на съезд в Москву, но многие уверяли его, что так как два депутата их уже будут на этом съезде, то его присутствие там не необходимо, и что просившись в отпуск в Москву, где все знают, что у него нет ни родных и никакого особенного дела, он может навлечь подозрение тульчинского начальства, а может быть, и подозрение московской полиции. Пестель согласился не ехать в Москву.

В Тульчине полковник Абрамов дал мне из дежурства подорожную по казенной надобности, и я с ней пустился в Кишинев к Орлову с письмом от Фонвизина и поручением пригласить его на съезд в

Москву. Я никогда не видал Орлова, но многие из моих знакомых превозносили его как человека высшего разряда по своим умственным способностям и другим превосходным качествам. Когда-то император Александр был высокого о нем мнения и пробовал употребить его по дипломатической части. В 15-м году, при отчуждении Норвегии от Дании, Орлов был послан с тем, чтобы убедить норвежцев совершенно присоединиться к Швеции и иметь с ней вместе один сейм. Но Орлов сблизился с тамошними либералами и действовал не согласно с данными ему предписаниями. Норвегия, присоединенная к Швеции. но имея свое собственное представительство, осталась во многих отношениях землею от нее отдельною.

Когда сделалось известным намерение императора Александра образовать отдельный литовский корпус и, одевши его в польский мундир, дать ему литовские знамена, намерение это возмутило многих наших генералов, и они согласились между собой подать письменное представление императору, в котором они излагали весь вред, могущий произойти от образования отдельного литовского корпуса, и умоляли императора не приводить в исполнение своего намерения, столь пагубного для России. В числе генералов, согласившихся подписать это представление, был генерал-адъютант Васильчиков, впоследствии начальник гвардейского корпуса. Он испугался собственной своей смелости и, пришедши к императору, с раскаянием просил у него прощения в том, что задумал против него недоброе, назвал своих сообщников и рассказал все дело, в котором главным побудителем был Орлов, написавший самое представление.

Государь потребовал к себе Орлова, напомнил прежнее к нему благоволение и спросил, как мог он решиться действовать против него. Орлов стал уверять императора в своей к нему преданности. Тут император рассказал подробно все дело, замышляемое генералами, и приказал Орлову принести к нему представление, писанное им от имени генералов. Орлов от всего отрекся, после чего император расстался навсегда с прежним своим любимцем [1].

Свидание это с императором рассказывал мне сам Орлов. Скоро после того он получил место начальника штаба при генерале Раевском,

командующим 4-м корпусом. В Киеве Орлов устроил едва ли не первые в России училища взаимного обучения для кантонистов. В Библейском обществе он произнес либеральную речь, которая ходила тогда у всех по рукам, и вообще приобрел себе в это время еще бо́льшую известность, нежели какой пользовался прежде. Каким-то случаем он потерял место начальника штаба, но вскоре потом Киселев, который был с ним дружен, выпросил для него у императора дивизию во 2-й армии. Командуя этой дивизией, он жил в Кишиневе, где опять завел очень полезные училища для солдат и поручил их надзору капитана Раевского, члена Тайного общества и совершенно ему преданного. К несчастию, Раевский, в надежде на покровительство Орлова, слишком решительно действовал и впоследствии попал под суд. Сам же Орлов беспрестанно отдавал самые либеральные приказы по дивизии.

Я с любопытством ожидал свидания с Орловым и встретился с ним, не доехав до Кишинева. С ним был адъютант его Охотников, славный малый и совершенно преданный Тайному обществу; я давно был знаком с ним. Прочитавши письмо Фонвизина, Орлов обошелся со мной, как со старым знакомым, и тут же предложил сесть к себе в дормез, а Охотников сел на мою перекладную тележку; потом мы с ним через станцию менялись местами в дормезе. Орлов с первого раза весь высказался передо мной. Наружности он был прекрасной и вместе с тем человек образованный, отменно добрый и кроткий; обхождение его было истинно увлекательное, и потому, познакомившись с ним, не было возможности не полюбить его; но, бывши человеком неглупым, в суждениях своих ему редко удавалось попасть на истину. Он почти всегда становился к ней боком, вследствие чего в разговорах, в которых обсуживался какой-нибудь не совсем пошлый предмет, он почти никогда не подвизался с успехом; зато по своей доброте и кротости никогда не обижался даже и самыми колкими против себя возражениями. На убеждения мои приехать в Москву он отвечал, что пока наверное обещать не может, и с своей стороны приглашал меня ехать с ним к Давыдову в Киевскую губернию. Узнавши, что у Давыдова, с которым я не был знаком, соберется много

гостей к 24 ноября, на именины его матери, и избегавши гостиных во всю мою жизнь, такое приглашение было не совсем приятно для меня; но когда мы на станции сошлись с Охотниковым, он взял меня в сторону и просил меня убедительно ехать с ними вместе, уверяя меня, что в это время мне удастся уговорить Орлова, без чего было мало надежды, чтобы он приехал в Москву. Я решился ехать в Каменку к Давыдову.

Проезжая через Новый Миргород, мы заехали к полковнику Гревсу. Орлов был знаком с ним, когда они еще вместе служили в кавалергардах. Гревс командовал одним из полков бугского поселения. За обедом он сказал с некоторою гордостью, что, командуя полком, он то же, что помещик, у которого 18 000 душ. Везде происходили неимоверные грабительства в военных поселениях. А Аракчееву на устройство их отпускались ежегодно десятки миллионов; теперь, по наружности, и бугские и чугуевские поселения были приведены в некоторый порядок. Сперва казаки, опираясь на свои права, означенные в грамотах, дарованных им прежними государями, не соглашались поступить в военные поселения. Аракчеев из Харькова распорядился этим делом. Посланный им генерал Салов наиболее непокорных загнал до смерти сквозь строй, а остальные смирились.

Приехав в Каменку, я полагал, что никого там не знаю, и был приятно удивлен, когда случившийся здесь А. С. Пушкин выбежал ко мне с распростертыми объятиями. Я познакомился с ним в последнюю мою поездку в Петербург у Петра Чаадаева, с которым он был дружен и к которому имел большое доверие. Василий Львович Давыдов, ревностный член Тайного общества, узнавши, что я от Орлова, принял меня более чем радушно [1]. Он представил меня своей матери и своему брату генералу Раевскому как давнишнего короткого своего приятеля. С генералом был сын его полковник Александр Раевский. Через полчаса я был тут, как дома. Орлов, Охотников и я, мы пробыли у Давыдова целую неделю. Пушкин, приехавший из Кишинева, где в это время он был в изгнании, и полковник Раевский прогостили тут столько же [2].

Мы всякий день обедали внизу у старушки-матери. После обеда собирались в огромной гостиной, где всякий мог с кем и о чем хотел беседовать. Жена Ал. Львовича Давыдова, которого Пушкин так удачно назвал «рогоносец величавый», урожденная графиня Грамон, впоследствии вышедшая замуж за генерала Себестиани, была со всеми очень любезна. У нее была премиленькая дочь, девочка лет 12. Пушкин вообразил себе, что он в нее влюблен, беспрестанно на нее заглядывался и, подходя к ней, шутил с ней очень неловко. Однажды за обедом он сидел возле меня и, раскрасневшись, смотрел так ужасно на хорошенькую девочку, что она, бедная, не знала, что делать, и готова была заплакать; мне стало ее жалко, и я сказал Пушкину вполголоса: «Посмотрите, что вы делаете; вашими нескромными взглядами вы совершенно смутили бедное дитя».— «Я хочу наказать кокетку,— отвечал он,— прежде она со мной любезничала, а теперь прикидывается жестокой и не хочет взглянуть на меня». С большим трудом удалось мне обратить все это в шутку и заставить его улыбнуться [1].

В общежитии Пушкин был до чрезвычайности неловок и при своей раздражительности легко обижался каким-нибудь словом, в котором решительно не было для него ничего обидного. Иногда он корчил лихача, вероятно вспоминая Каверина и других своих приятелей-гусаров в Царском Селе; при этом он рассказывал про себя самые отчаянные анекдоты, и все вместе выходило как-то очень пошло. Зато заходил ли разговор о чем-нибудь дельном, Пушкин тотчас просветлялся. О произведениях словесности он судил верно и с особенным каким-то достоинством. Не говоря почти никогда о собственных своих сочинениях, он любил разбирать произведения современных поэтов и не только отдавал каждому из них справедливость, но и в каждом из них умел отыскать красоты, каких другие не заметили.

Я ему прочел его Noël: «Ура! в Россию скачет», и он очень удивился, как я его знаю, а между тем все его напечатанные сочинения: «Деревня», «Кинжал», «Четырехстишие к Аракчееву», «Послание к Петру Чаадаеву» [2] и много других были не только всем известны, но в то время не было сколько-нибудь грамотного прапорщика в армии, который не знал их наизусть. Вообще Пушкин был отголосок

своего поколения, со всеми его недостатками и со всеми добродетелями. И вот, может быть, почему он был поэт истинно народный, каких не бывало прежде в России [1].

Все вечера мы проводили на половине у Василья Львовича, и вечерние беседы наши для всех для нас были очень занимательны. Раевский, не принадлежа сам к Тайному обществу, но подозревая его существование, смотрел с напряженным любопытством на все происходящее вокруг него. Он не верил, чтоб я случайно заехал в Каменку, и ему хотелось знать причину моего прибытия. В последний вечер Орлов, В. Л. Давыдов, Охотников и я сговорились так действовать, чтобы сбить с толку Раевского насчет того, принадлежим ли мы к Тайному обществу или нет. Для большего порядка при наших прениях был выбран президентом Раевский. С полушутливым и полуважным видом он управлял общим разговором. Когда начинали очень шуметь, он звонил в колокольчик; никто не имел права говорить, не просив у него на то дозволения, и т. д. В последний этот вечер пребывания нашего в Каменке, после многих рассуждений о разных предметах, Орлов предложил вопрос, насколько было бы полезно учреждение Тайного общества в России. Сам он высказал все, что можно было сказать за и против Тайного общества. В. Л. Давыдов и Охотников были согласны с мнением Орлова; Пушкин с жаром доказывал всю пользу, которую могло бы принести Тайное общество России. Тут, испросив слово у президента, я старался доказать, что в России совершенно невозможно существование Тайного общества, которое могло бы быть хоть на сколько-нибудь полезно.

Раевский стал мне доказывать противное и исчислил все случаи, в которых Тайное общество могло бы действовать с успехом и пользой; в ответ на его выходку я ему сказал: «Мне нетрудно доказать вам, что вы шутите; я предложу вам вопрос: если бы теперь уже существовало Тайное общество, вы, наверное, к нему не присоединились бы?» — «Напротив, наверное бы присоединился»,— отвечал он.— «В таком случае давайте руку»,— сказал я ему. И он протянул мне руку, после чего я расхохотался, сказав Раевскому: «Разумеется, все это только одна шутка» [2].

Другие также смеялись, кроме А. Л., рогоносца величавого, который дремал, и Пушкина, который был очень взволнован; он перед этим уверился, что Тайное общество или существует, или тут же получит свое начало и он будет его членом; но когда увидел, что из этого вышла только шутка, он встал, раскрасневшись, и сказал со слезой на глазах: «Я никогда не был так несчастлив, как теперь; я уже видел жизнь мою облагороженною и высокую цель перед собой, и все это была только злая шутка». В эту минуту он был точно прекрасен. В 27-м году, когда он пришел проститься с А. Г. Муравьевой, ехавшей в Сибирь к своему мужу Никите, он сказал ей: «Я очень понимаю, почему эти господа не хотели принять меня в свое общество; я не стоил этой чести» [1].

При прощании Орлов обещал мне непременно приехать в Москву. В первых числах января 21-го года Граббе, Бурцев и я жили вместе у Фонвизиных. Скоро потом приехали в Москву из Петербурга Николай Тургенев и Федор Глинка, а потом из Киева Михайло Орлов с Охотниковым. Было решено Комарова не принимать на наши совещания; ему уже тогда не очень доверяли [2]. На первом из этих совещаний были Орлов, Охотников, Н. Тургенев, Федор Глинка, два брата Фонвизины, Граббе, Бурцев и я. Орлов привез писанные условия, на которых он соглашался присоединиться к Тайному обществу; в этом сочинении, после многих фраз, он старался доказать, что Тайное общество должно решиться на самые крутые меры и для достижения своей цели даже прибегнуть к средствам, которые даже могут казаться преступными. Во-первых, он предлагал завести тайную типографию или литографию, посредством которой можно было бы печатать разные статьи против правительства и потом в большом количестве рассылать по всей России. Второе его предложение состояло в том, чтобы завести фабрику фальшивых ассигнаций, чрез что, по его мнению, Тайное общество с первого раза приобрело бы огромные средства и вместе с тем подрывался бы кредит правительства.

Когда он кончил чтение, все смотрели друг на друга с изумлением. Я, наконец, сказал ему, что он, вероятно, шутит, предлагая такие неистовые меры; но ему того-то и нужно было. Помолвленный

на Раевской, в угодность ее родным он решился прекратить все сношения с членами Тайного общества; на возражения наши он сказал, что если мы не принимаем его предложений, то он никак не может принадлежать к нашему Тайному обществу. После чего он уехал и ни с кем из нас более не видался и только, уезжая уже из Москвы, в дорожной повозке заехал проститься с Фонвизиным и со мной. При прощании, показав на меня, он сказал: «Этот человек никогда мне не простит». В ответ я пародировал несколько строк из письма Брута к Цицерону [1] и сказал ему: «Если мы успеем, Михайло Федорович, мы порадуемся вместе с вами; если же не успеем, то без вас порадуемся одни». После чего он бросился меня обнимать [2].

На следующих совещаниях собрались те же члены, кроме Орлова. Для большего порядка выбран был председателем Н. Тургенев. Прежде всего было признано нужным изменить не только устав Союза благоденствия, но и самое устройство и самый состав Общества. Решено было объявить повсеместно, во всех управах, что так как в теперешних обстоятельствах малейшей неосторожностью можно было возбудить подозрение правительства, то Союз благоденствия прекращает свои действия навсегда. Этой мерой ненадежных членов удаляли из Общества. В новом уставе цель и средства для достижения ее должны были определиться с большей точностью, нежели они были определены в уставе Союза благоденствия, и поэтому можно было надеяться, что члены, в ревностном содействии которых нельзя было сомневаться, соединившись вместе, составят одно целое и, действуя единодушно, придадут новые силы Тайному обществу.

Затем приступили к сочинению нового устава; он разделялся на две части: в первой — для вступающих предлагались те же филантропические цели, как в «Зеленой книге». Редакцией этой части занялся Бурцев. Вторую часть написал Н. Тургенев для членов высшего разряда. В этой второй части устава уже прямо было сказано, что цель Общества состоит в том, чтобы ограничить самодержавие в России, а чтобы приобресть для этого средства, признавалось необходимым действовать на войска и приготовить их на всякий случай. На первый раз положено было учредить четыре главные думы: одну в

Петербурге под руководством Н. Тургенева, другую в Москве, которую поручили Ив. Алекс. Фонвизину, третью я должен был образовать в Смоленской губернии, четвертую брался Бурцев привести в порядок в Тульчине. Он уверял, что по приезде в Тульчин он первоначально объявит об уничтожении Союза благоденствия, но что вслед затем известит всех членов, кроме приверженцев Пестеля, о существовании нового устава и что они все к нему присоединятся под его руководством.

Устав был подписан всеми присутствующими членами на совещаниях и Мих. Муравьевым, который приехал в Москву уже к самому концу наших заседаний. Обе части нового устава были переписаны в четырех экземплярах: один для Тургенева, другой для И. А. Фонвизина, третий для меня, четвертый для Бурцева. Но еще при самых первых наших совещаниях были приглашены на одно из них все члены, бывшие тогда в Москве. На этом общем совещании были князь Сергей Волконский, Комаров, Петр Колошин и многие другие. Тургенев, как наш президент, объявил всем присутствующим, что Союз благоденствия более не существует, и изложил пред ними причины его уничтожения.

Тургенев, приехавши в Петербург, объявил, что члены, бывшие на съезде в Москве, нашли необходимым прекратить действия Союза благоденствия, и потом одному только Никите Муравьеву прочел новый устав Общества, после чего из предосторожности он положил его в бутылку и засыпал табаком. Из петербургских членов деятельностью Никиты Муравьева образовалось новое Общество. Скоро потом труды по Обществу разделили с Никитою полковник князь Трубецкой и адъютант Бистрома князь Оболенский; Николай же Тургенев первое время по приезде своем в Петербург мало принимал участия в делах нового Тайного общества, хотя и не прекращал сношений со многими из членов. Непонятно, как в своем сочинении о России он мог решиться отвергать существование Тайного общества и потом отрекаться от участия, которое он принимал в нем как действительный член на съезде в Москве и после на многих совещаниях в Петербурге [1].

В Москве, когда разъехались приезжие члены, остались только два брата Фонвизины; в Смоленской губернии я был один, если не считать Граббе, который со своим полком мог быть всегда переведен оттуда. Правда, мне поручено было принять Пассека и Петра Чаадаева при первом свидании с ними. Когда Чаадаев приехал в Москву, я предложил ему вступить в наше Общество; он на это согласился, но сказал мне, что напрасно я не принял его прежде, тогда он не вышел бы в отставку и постарался бы попасть в адъютанты к великому князю Николаю Павловичу, который, очень может быть, покровительствовал бы под рукой Тайное общество, если бы ему внушить, что это Общество может быть для него опорой в случае восшествия на престол старшего брата [1].

Бурцев, по приезде своем в Тульчин, объявил на общем совещании о несуществовании Тайного общества. Все присутствующие члены напали на него и на членов, бывших на съезде в Москве, доказывая очень справедливо, что восемь человек не имели никакого права уничтожить целое Тайное общество. Они тут же дали друг другу обещание никак не прекращать своих действий. Бурцев остался один и совершенно в стороне; он даже никому не показал нового устава и с тех пор прекратил все свои сношения с товарищами по Обществу [2].

Из тульчинских членов, под руководством Пестеля, образовалось новое Общество, которого уже явная цель была изменение образа правления в России, и с этого времени они назывались Южными, в отличие от петербургских, которые назывались Северными.

В 20-м году в Смоленской губернии был повсеместный неурожай, и [в] начале 21-го года везде нуждались, а в Рославльском уезде, вместо хлеба, ели сосновую кору и положительно умирали с голоду. Михайло Муравьев, рославльский помещик, бывши свидетелем крайней нужды, претерпеваемой в его уезде, хлопотал в Москве о средствах помочь бедным людям. Теща его, Н. Н. Шереметева [3], собрала ему в несколько дней пожертвований от разных лиц до 15 000. Дмитрий Давыдов, первый наш сахаровар, принимавший участие во всех увеселениях Москвы, на одном бале возбудил сострадание к умирающим от голоду знакомых ему дам; каждая из них тут же отдала ему

в пользу бедных или турецкую свою шаль (Вяземская), или браслет, или серьги и т. д. Разумеется, что мужья их откупили вещи, пожертвованные их женами, и внесли за них деньги, которых набралось около 6000; потом при других еще пожертвованиях составилось около 30 000 для вспомоществования бедным в Рославльском уезде.

И. А. Фонвизин, коротко знакомый с князем Голицыным, московским генерал-губернатором, и много им уважаемый, отправился к нему и рассказал о бедствиях в Рославльском уезде и о бездействии тамошнего начальства. Голицын ничего про это не знал. Бывши сам человек очень добрый, он принял в этом деле живое участие и обещал от себя донести правительству, но советовал Фонвизину прежде съездить в Рославль и привезти ему оттуда подробные сведения, на которых он мог бы основаться в своем донесении. Фонвизин и я, мы отправились в Рославль; М. Муравьев уже был там.

При въезде нашем в этот уезд беспрестанно попадались нам люди, совершенно изможденные, и что многие из них умирали от нужды, в этом не было никакого сомнения. Нищие со всех сторон шли в город; каждый из них надеялся получить от городских жителей хоть небольшой кусок хлеба. Чтобы определить имена помещиков, между крестьянами которых наиболее было нищих, Фонвизин и я, мы расположились на постоялом дворе с целым мешком медных денег. Все нищие входили к нам свободно; каждому из них я давал пятак и спрашивал его имя, название его деревни и какому помещику он принадлежит; Фонвизин все это записывал. Таким образом, составился список, из которого уже можно было видеть приблизительно, в каких селениях и чьих помещиков крестьяне наиболее нуждались.

Потом мы поехали к М. Муравьеву и нашли у него Левашевых [1] и дядю его Тютчева. Ни Левашев, ни Тютчев не были членами Тайного общества, но действовали совершенно в его смысле. Левашевы жили уединенно в деревне, занимались воспитанием своих детей и улучшением своих крестьян, входя в положение каждого из них и помогая им по возможности. У них были заведены училища для крестьянских мальчиков по порядку взаимного обучения. В это время

таких людей, как Левашевы и Тютчев, действующих в смысле Тайного общества и сами того не подозревая, было много в России.

Муравьев, Левашевы и Тютчев, зная своих соседей, и при помощи привезенного нами списка из Рославля могли определить, в каких местах наиболее нуждались в пособии. Они распорядились покупкою хлеба на пожертвованные в Москве деньги и раздачей его. В это время цены на хлеб необычайно возвысились: четверть ржи стоила до 25 руб.[1] и на 30 000 руб., которые были в нашем распоряжении, можно было купить не более как 1300 четвертей, количество — незначительное в отношении с количеством нуждающихся во всем уезде, и между тем не предвиделось никаких средств прокормить народ до следующей жатвы; но и будущая жатва не обещала ничего утешительного; за недостатком зернового хлеба большая часть крестьянских полей осталась незасеянной.

В этом случае Михайло Муравьев предпринял решительную меру. Он созвал в Рославль своих знакомых и многих незнакомых помещиков и предложил им подписать бумагу к министру внутренних дел, в которой рославльские дворяне доводили до сведения его о бедственном положении сего края. Бумага эта за подписью нескольких десятков рославльских дворян пошла к министру мимо уездного предводителя, который, из опасения прогневать начальство, не хотел подписаться вместе с дворянами своего уезда, мимо губернского предводителя и мимо губернатора, зато она произвела сильное впечатление в Петербурге[2].

Тотчас был отправлен в Смоленск сенатор Мертваго и в его распоряжение было назначено миллион рублей. Он считался одним из лучших московских сенаторов, но в Смоленске он проводил время или во сне, или на обедах, или за картами, исподволь собирая сведения о наиболее нуждающихся в пособии. Видеть этого дремлющего старика, когда все около него страдало, было отвратительно.

Возвратясь в Жуково, я заехал к Пассеку и принял его в члены нашего Тайного общества. Он был этим чрезвычайно доволен; когда он бывал с Граббе, Фонвизиным и со мной, он замечал, что у нас есть какая-то от него тайна, и ему было очень неловко. Он всегда был добр до своих крестьян, но с этих пор он посвятил им все свое

существование, и все его старания клонились к тому, чтобы упрочить их благосостояние. Он завел в своем имении прекрасное училище, по порядку взаимного обучения, и набрал в него взрослых ребят, предоставляя за них тем домам, к которым они принадлежали, разные выгоды. Читать мальчики учились по книжке «О правах и обязанностях гражданина», изданной при императрице Екатерине и запрещенной в последние годы царствования императора Александра. Курс ученья оканчивался тем, что мальчики переписывали каждый для себя в тетрадку и выучивали наизусть учреждения, написанные Пассеком для своих крестьян.

В этих учреждениях, между прочими правами, предоставлены были в их собственное распоряжение отдача рекрут и все мирские сборы. Они имели свой суд и расправу. По воскресеньям избранные от мира старики собирались в конторе и разбирали тяжбы между крестьянами. Однажды Пассек за грубость послал своего камердинера с жалобой на него к старикам, и они присудили его заплатить два рубля в общественный сбор. Камердинер же этот получал от своего барина 300 рублей в год. Пассек в этом случае остался очень доволен и стариками и собой. Он вообще двадцатью годами предупредил некоторые учреждения государственных имуществ. Бывши сам уже не первой молодости и желая насладиться успехом в деле, которое было близко его сердцу, он употреблял усиленные меры для улучшения своих крестьян и истратил на них в несколько лет десятки тысяч, которые он имел в ломбарде; зато уже при нем в имении было много грамотных крестьян, и состояние их до невероятности улучшилось. Но крепостное состояние в этом деле все испортило. Теперь это имение принадлежит племянникам Пассека, и очень вероятно, что ни одно из благих его учреждений уже более не существует.

Осенью в 20-м году [1] было в Петербурге происшествие Семеновского полка. Император Александр в это время находился на съезде в Лейбахе и узнал от Меттерниха, что любимый его полк взбунтовался; известие его сильно поразило. Семеновский полк был расформирован, и нижние чины были развезены по разным крепостям Финляндии; потом многие из них были прогнаны сквозь строй, другие

биты кнутом и сосланы в каторжную работу, остальные посланы служить без отставки, первый батальон — в сибирские гарнизоны, второй и третий размещены по разным армейским полкам. Офицеры же следующими чинами все были выписаны в армию с запрещением давать им отпуска и принимать от них просьбу в отставку; запрещено было также представлять их к какой бы то ни было награде. Четверо из них, Вадковский, Кошкаров, Ермолаев и князь Щербатов, были отданы под суд; при этом надеялись узнать от них что-нибудь положительное о существовании Тайного общества [1].

На Щербатова падало более подозрений, нежели на других, по связи его со мной и короткому знакомству с лицами, подозреваемыми правительством. Он был приговорен к лишению всех прав состояния и к разжалованию в солдаты; но ему обещали совершенное прощение, если он сообщит какие-нибудь сведения о существовании Тайного общества. Сам он не принадлежал к нему; видаясь же беспрестанно со мной, он знал многое, но наша тайна была для него священна, и он решился лучше быть невинной жертвой, нежели поступить предательски. На все задаваемые ему вопросы о Тайном обществе он отвечал, что ничего не знает. При вступлении на престол ныне царствующего императора приговор суда над Щербатовым был исполнен, и он был послан на Кавказ солдатом [2].

После семеновской истории император Александр поступил совершенно под влияние Меттерниха, перешел от народов, прежде усердно им защищаемых, на сторону властей, и во всех случаях почитал теперь своею обязанностью защищать священные права царей. Тут прекратилось в нем раздвоение; и в Европе и в России политические его воззрения были одни и те же. В 22-м году, по возвращении в Петербург, первым распоряжением правительства было закрыть масонские ложи и запретить в России тайные общества; со всех служащих были взяты расписки, что они не будут принадлежать к тайным обществам. Разумеется, что такое распоряжение поставило в необходимость петербургских членов быть очень осторожными, вследствие чего они редко собирались между собой, и прием новых членов почти совсем прекратился.

У императора была в руках «Зеленая книга», и он, прочитавши ее, говорил своим приближенным, что в этом уставе Союза благоденствия все было прекрасно, но что на это нисколько нельзя полагаться, что бо́льшая часть тайных обществ при начале своем имеет почти всегда только цель филантропическую, но что потом эта цель изменяется скоро и переходит в заговор против правительства. С этих пор император находился в каком-то особенном опасении тайных обществ в России. К нему беспрестанно привозили бумаги, захваченные у лиц, подозреваемых полицией. И странно, в этом случае не попался ни один из действительных членов. Это самое еще более смущало императора. Он был уверен, что устрашающее его Тайное общество было чрезвычайно сильно, и сказал однажды князю П. М. Волконскому, желавшему его успокоить на этот счет: «Ты ничего не понимаешь, эти люди могут кого хотят возвысить или уронить в общем мнении; к тому же они имеют огромные средства; в прошлом году, во время неурожая в Смоленской губернии, они кормили целые уезды» [1]. И при этом назвал меня, Пассека, Фонвизина, Михаила Муравьева и Левашева. Все это передал мне Павел Колошин, приехавший из Петербурга по поручению Н. Тургенева; я был тогда случайно один в Москве. И. А. Фонвизин жил в подмосковной, а М. А. уехал в свою костромскую деревню. Тургенев заказывал нам с Колошиным быть как можно осторожнее после того, что император назвал некоторых из нас [2].

В 22-м году, по сформировании нового Семеновского полка, вся гвардия выступила из Петербурга в поход, под предлогом предстоящей будто бы войны, а в самом деле потому, что опасались пребывания гвардии в столице. Васильчиков уже не командовал гвардейским корпусом. Чтобы уменьшить свою ответственность по случаю истории Семеновского полка, он уверял императора, что не в одной гвардии, но и в армии распространен дух неповиновения, и в доказательство подал ему письмо своего брата, командира гусарской бригады, в состав которой входили полки Лубенский и Гродненский. В этом письме Васильчиков жаловался старшему своему брату на Граббе, описывая все случаи, в которых его подчиненный оказывал ему всевозможные неуважения. Меньшой этот Васильчиков был плохой человек. Дибич,

бывши еще начальником штаба 1-й армии и проезжая через Дорогобуж, просил убедительно Граббе, для пользы службы, во фрунте вести себя пристойно с бригадным своим командиром, прибавив: в комнате — дело другое, и сделал рукой движение, которое выражало: в комнате, пожалуй, можно его и поколотить.

Письмо Васильчикова сильно подействовало на императора. За несколько месяцев перед тем Граббе со своим полком из Дорогобужа был переведен не помню в какую губернию. Совершенно неожиданно получил он бумагу от начальника штаба его императорского величества с надписью: отставному полковнику Граббе. Князь Волконский писал к нему, что поведение его с бригадным командиром заслуживает примерного наказания, но что государь император, во уважение прошедшей отличной его службы, приказал не подвергать его военному суду и повелел ему с получением сего сдать полк старшему по себе и отправиться на жительство в Ярославль, не заезжая ни в одну столицу. Случившиеся тут офицеры были так поражены неожиданным распоряжением, что спросили у Граббе, что он прикажет им делать. Он их успокоил и, сдавши в 24 часа полк подполковнику Курилову, отправился с своим денщиком Иваном, едва имея с чем доехать до Ярославля. Он командовал Лубенским полком почти шесть лет; в это время на его месте всякий дошлый полковой командир составил бы себе огромное состояние. Некоторые из коротких приятелей Граббе сложились и доставляли ему годовое содержание, без чего он решительно не имел чем существовать в Ярославле [1].

Поход гвардии имел совершенно противные последствия, нежели каких от него ожидал император. Офицеры всех полков, более свободные от службы, чем в Петербурге, и не подвергаясь такому строгому надзору, как в столице, часто сообщались между собою, и много новых членов поступило в Тайное общество. Никита Муравьев в Витебске написал свою конституцию для России; это был вкратце снимок с английской конституции [2]. В 23-м году, по возвращении гвардии в Петербург, Пущин принял Рылеева, с поступлением которого деятельность петербургских членов очень увеличилась. Много новых членов было принято.

В 22-м году генерал Ермолов, вызванный с Кавказа начальствовать над отрядом, назначенным против восставших неаполитанцев, прожил некоторое время в Царском селе и всякий день видался с императором. Неаполитанцы были уничтожены австрийцами прежде, нежели наш вспомогательный отряд двинулся с места, и Ермолов возвратился на Кавказ. В Москве, увидев приехавшего к нему М. Фонвизина, который был у него адъютантом, он воскликнул: «Поди сюда, величайший карбонари». Фонвизин не знал, как понимать такого рода приветствие. Ермолов прибавил: «Я ничего не хочу знать, что у вас делается, но скажу тебе, что он вас так боится, как бы я желал, чтобы он меня боялся». Болезненное воображение императора, конечно, преувеличивало средства и могущество Тайного общества, и потому понятно, что, не имея никаких положительных данных даже насчет существования этого Общества, ему трудно было приступить к решительным мерам против врага невидимого [1]. Члены Тайного общества ничем резко не отличались от других. В это время свободное выражение мыслей было принадлежностью не только всякого порядочного человека, но и всякого, кто хотел казаться порядочным человеком.

Император, преследуемый призраком Тайного общества, все более и более становился недоверчивым, даже к людям, в преданности которых он, казалось, не мог сомневаться. Генерал-адъютант князь Меншиков, начальник канцелярии главного штаба, подозреваемый императором в близком сношении с людьми, опасными для правительства, лишился своего места [2]. Князь П. М. Волконский, начальник штаба его императорского величества, находившийся неотлучно при императоре с самого восшествия его на престол, лишился также своего места и на некоторое время отдалился от двора. Причина такой немилости к Волконскому заключалась в том, что он никак не соглашался ехать в Грузино на поклонение Аракчееву [3]. Князь Александр Николаевич Голицын, министр просвещения и духовных дел, с самой его молодости непрерывно пользовавшийся милостями и доверием императора, внезапно был отставлен от своей должности.

В это время Аракчеев сблизил монаха Фотия с императором. Фотий был человек не совсем пошлый: малообразованный, изувер с пламенным воображением, он сильно действовал, особенно на женщин, смелостью и неожиданностью своих выражений [1]. Скоро он овладел полным доверием императора, доказав ему, что благочестие и набожность светских людей, в том числе и князя Голицына, суть не что иное, как отступничество от истинного православия, которое одно ведет к вечному спасению. С этих пор император стал усердно посещать монастыри, беседовал с схимниками, посылал значительные вклады в разные обители и начал строго соблюдать все обряды греко-российской церкви. Многие книги, напечатанные на счет правительства, были запрещены, в том числе и «Естественное право» Куницына [2], и книжка, сочиненная Филаретом, теперешним митрополитом московским [3]. За эту книжку, напечатанную по именному повелению, а потом у всех отобранную, и пострадал князь Голицын.

Цензура сделалась крайне стеснительна. В университетах многие кафедры уничтожены; во всех училищах запрещено учить мифологию древних, так как во всех высших заведениях преподавалась древняя словесность. В последние годы своего царствования император сделался почти нелюдимым. В путешествиях своих он не заезжал ни в один губернский город, и для него прокладывалась большая дорога и устраивалась по местам диким и по которым прежде не было никакого проезда.

В конце 22-го года я женился и весь 23-й год прожил очень уединенно в подмосковной тещи моей Н. Н. Шереметевой. Оба Фонвизины были женаты и жили тоже в своих подмосковных, и я даже с ними очень редко видался. О том, что делалось в Тульчине, ни они, ни я почти ничего не знали. Летом в 23-м году мне случилось приехать в Москву ненадолго; тут, познакомившись с полковником Копыловым, перешедшим из гвардейской артиллерии на Кавказ к Ермолову, и видя его готовность действовать в смысле Тайного общества, я принял его в наше Общество. Через несколько дней после того заехал ко мне Ив. Ал. Фонвизин и пригласил меня приехать к нему в определенный час, в который он назначил свидание с Бестужевым-Рюминым.

Бестужев ему сказал, что он имеет важное поручение от Сергея Муравьева и других южных членов передать тем из нас, которых застанет в Москве. Я знал этого Бестужева взбалмошным и совершенно бестолковым мальчиком. Увидев меня, с улыбкой на устах он повторил мне то же, что говорил прежде Фонвизину. Я ему на это отвечал, что, зная его, никак не поверю, чтоб Сергей Муравьев дал какое-нибудь важное поручение к нам, и объявил ему, что мы не войдем с ним ни в какие сношения. Он на это улыбнулся так же неразумно, как и в первый раз, и затем удалился. После оказалось, что он точно приезжал от Сергея Муравьева с предложением к нам вступить в заговор, затеваемый на Юге против императора. Странное существо был этот Бестужев-Рюмин. Если про него нельзя было сказать, что он решительно глуп, то в нем беспрестанно проявлялось что-то похожее на недоумка. В обыкновенной жизни он беспрестанно говорил самые невыносимые пошлости и на каждом шагу делал самые непозволительные промахи. Выписанный вместе с другими из старого Семеновского полка, он попал в Полтавский полк, которым командовал полковник Тизенгаузен. В Киеве Раевские, сыновья генерала, и Сергей Муравьев часто подымали его на смех.

Матвей Муравьев однажды стал упрекать брата своего за поведение его с Бестужевым, доказывая ему, что дурачить Бестужева вместе с Раевскими непристойно. Сергей в этом согласился, и, чтобы загладить вину свою перед юношей, прежним своим сослуживцем, он особенно стал ласкать его. Бестужев привязался к Сергею Муравьеву с неограниченной преданностью; впоследствии и Сергей Муравьев страстно полюбил его.

Бестужев на Юге был принят в Тайное общество, в котором в это время происходило сильное брожение и требовались люди на все готовые. Тут Бестужев попал совершенно на свое место. Решительный до безумия в своих действиях, он не ставил никогда в расчет препятствий, какие могли встретиться в предпринимаемом им деле, и шел всегда вперед без оглядки. В Киеве на контрактах [1] он нашел возможность первый войти в сношение с варшавским Тайным обществом. Узнавши через прежнего своего сослуживца Тютчева

о существовании Тайного общества соединенных славян, к которому Тютчев принадлежал, и что начальник этого Тайного общества артиллерии поручик Петр Борисов, Бестужев поспешил с этим важным открытием к Сергею Муравьеву, потом отправился в 8-ю дивизию к Борисову и уговорил его присоединиться с своими славянами к Южному тайному обществу [1].

24 и 25-го года я жил в Жукове, ни с кем не видаясь, кроме Пассека, Мих. Муравьева и Левашевых, и то довольно редко по дальности между нами расстояния [2]. Я пристально занялся сельским хозяйством и часть моих полей уже обрабатывал наемными людьми. Я мог надеяться, что при улучшении состояния моих крестьян они скоро найдут возможность платить мне оброк, часть которого ежегодно учитывалась бы на покупку той земли, какою они пользовались, и что со временем они, совершенно освободясь, будут иметь в собственность нужную им землю.

В конце 25-го года я отправился с своим семейством в Москву и прибыл туда 8 декабря. На пути я узнал о кончине императора Александра в Таганроге и о приносимой везде присяге цесаревичу Константину Павловичу. Известие это меня более смутило, нежели этого можно было ожидать. Теперь, с горестным чувством, я представил бедственное положение России под управлением нового царя. Конечно, последние годы царствования императора Александра были жалкие годы для России; но он имел за себя прошедшее; по вступлении на престол в продолжение двенадцати лет он усердно подвизался для блага своего отечества, и благие его усилия по всем частям двинули Россию далеко вперед.

Цесаревич [3] же славный наездник, первый фрунтовик во всей империи, ничего и никогда не хотел знать, кроме солдатиков. Всем был известен его неистовый нрав и дикий обычай. Чего же можно было от него ожидать доброго для России?

В Москве, кроме Фонвизиных и Алексея Шереметева, я нашел и многих других членов Тайного общества: полковника Митькова, полковника Нарышкина, Семенова [4], служившего в канцелярии князя Голицына, Нелединского, адъютанта цесаревича, и многих других. Мы

иногда собирались или у Фонвизиных, или у Митькова. На этих совещаниях все присутствующие члены, казалось, были очень одушевлены и как будто ожидали чего-то торжественного и решительного. Нарышкин, недавно приехавший с Юга, уверял, что там все готово к восстанию и что южные члены имеют за себя огромное число штыков. Митьков с своей стороны также уверял, что петербургские члены могут в случае нужды рассчитывать на большую часть гвардейских полков. 15 декабря я целый день был дома, и в этот день никого не видел.

Алексей Шереметев возвратился домой поздно ночью и сообщил мне полученные известия об отречении цесаревича, и что на место его взойдет на престол Николай Павлович; потом он рассказал мне, что Семенов получил письмо от 12, в котором Пущин писал к нему, что они в Петербурге решились сами не присягать и не допустить гвардейские полки до присяги; вместе с тем Пущин предлагал членам, находившимся тогда в Москве, содействовать петербургским членам, насколько это будет для них возможно [1].

Я очень удивился, что М. А. Фонвизин не сообщил мне в течение дня таких важных известий. Причина тому были дворянские выборы, на которых он очень хлопотал вместе с своим братом. Несмотря на то, что было уже за полночь, мы с Алексеем Шереметевым поехали к Фонвизиным; я его разбудил и уговорил его вместе с нами ехать к полковнику Митькову, который казался мне человеком весьма решительным; мы его также разбудили. Надо было определить, что мы могли сделать в Москве при теперешних обстоятельствах.

Я предложил Фонвизину ехать тотчас же домой, надеть свой генеральский мундир, потом отправиться в Хамовнические казармы и поднять войска, в них квартирующие, под каким бы то ни было предлогом. Митькову я предложил ехать вместе со мной к полковнику Гурко, начальнику штаба 5-го корпуса. Я с ним был довольно хорошо знаком еще в Семеновском полку и знал, что он принадлежал к Союзу благоденствия. Можно было надеяться уговорить Гурко действовать вместе с нами. Тогда при отряде войск, выведенных Фонвизиным, в эту же ночь мы бы арестовали корпусного командира графа

Толстого и градоначальника московского князя Голицына, а потом и других лиц, которые могли бы противодействовать восстанию.

Алексей Шереметев, как адъютант Толстого, должен был ехать к полкам, квартирующим в окрестностях Москвы, и приказать им именем корпусного командира итти в Москву. На походе Шереметев, полковник Нарышкин и несколько офицеров, служивших в старом Семеновском полку, должны были приготовить войска к восстанию, и можно было надеяться, что, пришедши в Москву, они присоединились бы к войскам уже восставшим.

На другой день мы непременно должны были получить известие о том, что совершилось в Петербурге. Если бы предприятие петербургским членам удалось, то мы нашим содействием в Москве дополнили бы их успех; в случае же неудачи в Петербурге мы нашей попыткой в Москве заключили бы наше поприще, исполнив свои обязанности до конца и к Тайному обществу и к своим товарищам. Мы беседовали у Митькова до четырех часов пополуночи, и мои собеседники единогласно заключили, что мы четверо не имеем никакого права приступить к такому важному предприятию. На завтрашний день вечером назначено было всем съехаться у Митькова и пригласить на это совещание Михайлу Орлова.

На другой день утром, я сидел у Фонвизина, когда вбежал к нему человек с известием, что великий князь Николай Павлович приехал в Москву в открытых санях и прямо въехал в дом военного губернатора. Фонвизин был уверен, что великий князь бежал из Петербурга, где все восстало против него. Оказалось, что прискакал в открытых санях генерал-адъютант граф Комаровский с приказанием привести Москву к присяге Николаю Павловичу. Новый император собственноручно написал князю Голицыну: мы здесь только-что потушили пожар, примите все нужные меры, чтобы у вас не случилось чего-нибудь подобного.

В тот же день, когда собрались для принесения присяги в Успенский собор, преосвященный Филарет вынес из алтаря небольшой золотой ящик и сказал, что в этом ковчеге заключается залог будущего счастья России; потом, открыв ящик, он прочел духовное завещание покойного императора Александра Павловича, в котором он

назначил наследником престола великого князя Николая Павловича. При этом завещании было отречение цесаревича. Филарет его прочел. После чего все бывшие в соборе принесли присягу императору Николаю Павловичу, а потом и вся Москва присягнула ему.

Поутру Фонвизин просил меня непременно побывать у Орлова и привести его вечером к Митькову; я отправился к нему под Донской [1]. Всем уже были известны происшествия 14 декабря в Петербурге; знали также, что все действующие лица в этом происшествии сидели в крепости. Приехав к Орлову, я сказал ему:

«Eh bien, général, tout est fini» [2].

Он протянул мне руку и с какой-то уверенностью отвечал:

«Comment fini? Ce n'est que le commencement de la fin» [3].

Тут его позвали наверх к графине Орловой; он сказал, что воротится через несколько минут, и просил меня непременно дождаться его. Во время его отсутствия взошел человек, высокий, толстый, рыжий, в изношенном адъютантском мундире без аксельбанта и вообще наружности непривлекательной. Я молчал, он также. Орлов, возвратившись, сказал: «А! Муханов, здравствуй; вы не знакомы?» — и познакомил нас. Пришлось протянуть руку рыжему человеку. Ни Орлов, ни я, мы никого не знали лично из членов, действовавших 14 декабря.

Муханов был со всеми коротко знаком. Он нам рассказывал подробности про каждого из них и, наконец, сказал: «Это ужасно лишиться таких товарищей; во что бы то ни стало, надо их выручить: надо ехать в Петербург и убить его».

Орлов встал с своего места, подошел к Муханову, взял его за ухо и чмокнул его в лоб. Мне казалось все это странно. Перед приходом Муханова я уговаривал Орлова поехать к Митькову, где все его ожидали. На это приглашение он отвечал, что никак не может удовлетворить моему желанию, потому что он сказался больным, чтобы не присягать сегодня; а между тем он был в мундире, звезде и ленте, и можно было подумать, что он возвратился от присяги.

Видя, что с ним не добиться никакого толку, я подошел к нему и сказал, что так как в теперешних обстоятельствах сношения мои

с ним могут подвергнуть его опасности, то, чтобы успокоить его, я обещаюсь никогда не посещать его. Он крепко пожал мне руку и обнял меня, но, прежде чем мы расстались, он обратился к Муханову и сказал: «Поезжай, Муханов, к Митькову». Потом сказал мне: «Везите его туда, им все останутся довольны».

Такое предложение меня ужасно удивило и на этот раз я совершенно потерялся. Вместо того чтобы сказать Орлову откровенно, что я не могу вести Муханова, которого я совершенно не знаю, к Митькову, который его также не знает, я вышел вместе с Мухановым, сел с ним в мои сани и повез его на совещание. Митьков принял его вежливо; Муханов почти никого не знал из присутствующих, но через полчаса он уже разглагольствовал, как будто был в кругу самых коротких своих приятелей. Он был знаком с Рылеевым, Пущиным, Оболенским, Ал. Бестужевым и многими другими петербургскими членами, принявшими участие в восстании. Все слушали его со вниманием; все это он опять заключил предложением ехать в Петербург, чтобы выручить из крепости товарищей и убить царя. Для этого он находил удобным сделать в эфесе шпаги очень маленький пистолет и на выходе, нагнув шпагу, выстрелить в императора. Предложение самого предприятия и способ привести его в исполнение были так безумны, что присутствующие слушали Муханова молча и без малейшего возражения [1].

В вечер этот у Митькова собрались в последний раз на совещание некоторые из членов Тайного общества, существовавшего почти 10 лет. В это время в Петербурге все уже было кончено, и в Тульчине начались аресты. В Москве первый был арестован и отвезен в Петропавловскую крепость М. Орлов, потом полковник Митьков и многие другие. Меня арестовали не раньше 10 генваря 1826 г. [2].

II[1]

После 14 декабря многие из членов Тайного общества были арестованы в Петербурге; я оставался на свободе до 10 генваря [2]. В этот день вечером я спокойно пил дома чай, вдруг вызвал меня полицеймейстер Обрезков и объявил, что ему надобно переговорить со мной наедине. Я провел его к себе в комнату. Он требовал от меня моих бумаг. Я объявил ему, что у меня никаких бумаг нет, а что если бы и были такие, которые могли быть для него любопытны, то я бы имел время их сжечь [3]. Я ожидал ареста и нарочно положил на стол листок с исчислениями о выкупе крепостных крестьян в России, надеясь, что этот листок возьмут вместе со мной, что он, может быть, обратит на себя внимание правительства. Я предложил Обрезкову взять эти исчисления, но он отвечал мне, что эти цифры ему нисколько не нужны. После этого он посоветовал мне одеться потеплее и пригласил ехать с собой. К отъезду у меня было уже все приготовлено заранее.

Я зашел, в сопровождении полицеймейстера, проститься с женой, сыном и тещей. Обрезков отвез меня к обер-полицеймейстеру Дмитрию Ивановичу Шульгину, который встретил меня словами: «Вы много повредили себе тем, что сожгли свои бумаги». Я отвечал, что не жег никаких бумаг, но что, если бы имел опасные для себя бумаги, то, зная, что каждый день арестуются разные лица, я имел бы все время сжечь их. «Не может быть, чтобы у вас не было каких писмен

(sic!),— сказал мне на это обер-полицеймейстер,— потому что вас учили читать и писать; вы, верно, получаете и какие-нибудь письма и отвечаете на них».— «У меня лежат на столе,— сказал я ему,— два письма, одно от сестры, другое из деревни от старосты».

Шульгин с радостью сказал мне, что больше ничего и не нужно, и тотчас послал Обрезкова за этими письмами. Когда я остался вдвоем с Шульгиным, мы разговорились с ним, и он мне признался, что ему необходимо было хоть одно письмо, потому что в бумаге, при которой должны были меня отправить и которая была подписана князем Голицыным, было сказано, что со мной отправляются найденные у меня бумаги.

Вскоре Обрезков возвратился с письмами и сочинением Тезра [1], которое он, будучи пьян, захватил у меня на столе.

Я был отправлен в Петербург с частным приставом, который и привез меня прямо в главный штаб. Тут какой-то адъютант повел меня к Потапову. Потапов был очень вежлив и отправил меня в Зимний дворец к с.-петербургскому коменданту Башуцкому. Башуцкий распорядился, и меня отвели в одну из комнат нижнего этажа Зимнего дворца. У дверей и окна поставлено было по солдату с обнаженными саблями. Здесь провел я ночь и другой день. Вечером повели меня наверх, и к крайнему моему удивлению я очутился в Эрмитаже. В огромной зале, почти в углу, на том месте, где висел портрет Климента IX, стоял раскрытый ломберный стол и за ним сидел в мундире генерал Левашев. Он пригласил меня сесть против него и начал вопросом: «Принадлежали ли вы к Тайному обществу?» Я отвечал утвердительно. Далее он спросил: «Какие вам известны действия Тайного общества, к которому вы принадлежали?» Я отвечал, что собственно действий Тайного общества я никаких не знаю.

— Милостивый государь,— сказал мне тогда Левашев,— не думайте, что нам ничего не было известно. Происшествия 14 декабря были только преждевременной вспышкою, и вы должны были еще в 1817 [2] году нанести удар императору Александру.

Это заставило меня призадуматься; я не полагал, чтобы совещание, бывшее в 17-м году в Москве, могло быть известно.

— Я даже вам расскажу,— продолжал Левашев,— подробности намереваемого вами цареубийства; из числа бывших тогда на совещании ваших товарищей — на вас пал жребий.

— Ваше превосходительство, это не совсем справедливо: я вызвался сам нанести удар императору и не хотел уступить этой чести никому из моих товарищей.

Левашев стал записывать мои слова.

— Теперь, милостивый государь,— продолжал он,— не угодно ли вам будет назвать тех из ваших товарищей, которые были на этом совещании.

— Этого я никак не могу сделать, потому что, вступая в Тайное общество, я дал обещание никого не называть.

— Так вас заставят назвать их. Я приступаю к обязанности судьи и скажу вам, что в России есть пытка.

— Очень благодарен вашему превосходительству за эту доверенность; но должен вам сказать, что теперь еще более, нежели прежде, я чувствую моею обязанностью никого не называть.

— Pour cette fois je ne vous parle pas comme votre juge, mais comme un gentilhomme votre égal, et je ne conçois pas, pourquoi vous voulez être martyr pour des gens, qui vous ont trahi et vous ont nommé [1].

— Je ne suis pas ici pour juger la conduite de mes camarades, et je ne dois penser qu'à remplir les engagements, que j'ai pris en entrant dans la Société! [2].

— Все ваши товарищи показывают, что цель Общества была заменить самодержавие представительным правлением.

— Это может быть,— отвечал я.

— Что вы знаете про конституцию, которую предполагалось ввести в России?

— Про это я решительно ничего не знаю.

Действительно, про конституцию Никиты Муравьева я не знал ничего в то время, и хотя, в бытность мою в Тульчине, Пестель и читал мне отрывки из «Русской Правды», но, сколько могу припомнить, об образовании волостных и сельских обществ.

— Но какие же были ваши действия по Обществу? — продолжал Левашев.

— Я всего более занимался отысканием способа уничтожить крепостное состояние в России.

— Что же вы можете сказать об этом?

— То, что это такой узел, который должен быть развязан правительством, или, в противном случае, насильственно развязанный, он может иметь самые пагубные последствия.

— Но что же может сделать тут правительство?

— Оно может выкупить крестьян у помещиков.

— Это невозможно! Вы сами знаете, как русское правительство скудно деньгами.

Затем последовало опять предложение назвать членов Тайного общества, и после отказа Левашев дал мне подписать измаранный им почтовый листок; я подписал его, не читая. Левашев пригласил меня выйти. Я вышел в ту залу, в которой висела картина Сальватора Розы «Блудный сын». При допросе Левашева мне было довольно легко, и я во все время допроса любовался «Святою фамилией» Доминикина; но когда я вышел в другую комнату, где ожидал меня фельдъегерь, и когда остался с ним вдвоем, то угрозы пытки в первый раз смутили меня. Минут через десять дверь отворилась, и Левашев сделал мне знак войти в залу, в которой был допрос. Возле ломберного стола стоял новый император. Он сказал мне, чтобы я подошел ближе, и начал таким образом:

— Вы нарушили вашу присягу?

— Виноват, государь.

— Что вас ожидает на том свете? Проклятие. Мнение людей вы можете презирать, но что ожидает вас на том свете, должно вас ужаснуть. Впрочем, я не хочу вас окончательно губить: я пришлю к вам священника. Что же вы мне ничего не отвечаете?

— Что вам угодно, государь, от меня?

— Я, кажется, говорю вам довольно ясно; если вы не хотите губить ваше семейство и чтобы с вами обращались, как с свиньей, то вы должны во всем признаться.

— Я дал слово не называть никого; все же, что знал про себя, я уже сказал его превосходительству,— ответил я, указывая на Левашева, стоящего поодаль в почтительном положении.

— Чтó вы мне с его превосходительством и с вашим мерзким честным словом!

— Назвать, государь, я никого не могу.

Новый император отскочил три шага назад, протянул ко мне руку и сказал: «Заковать его так, чтобы он пошевелиться не мог» [1].

Во время этого второго допроса я был спокоен; я боялся сначала, что царь уничтожит меня, говоря умеренно и с участием, что он нападает на слабые и ребяческие стороны Общества, что он победит великодушием. Я был спокоен, потому что во время допроса был сильнее его; но когда по знаку Левашева я вышел к фельдъегерю и фельдъегерь повез меня в крепость, то мне еще более прежнего стала приходить мысль о пытке; я был уверен, что новый император не произнес слово «пытка» только потому, что считал это для себя непристойным.

Фельдъегерь привез меня к коменданту Сукину; его и меня привели в небольшую комнату, в которой была устроена церковь. Воображение мое было сильно поражено; прислуга, по случаю траура [2] одетая в черное, предвещала что-то недоброе. С фельдъегерем просидел я с полчаса; он по временам зевал, закрывая рот рукою, а я молил об одном, чтобы бог дал мне силы перенести пытку. Наконец, в ближних комнатах послышался звук железа и приближение многих людей. Впереди всех появился комендант с своей деревянной ногой; он подошел к свечке, поднес к ней листок почтовой бумаги и сказал с расстановкой: «Государь приказал заковать тебя».

На меня кинулись несколько человек, посадили меня на стул и стали надевать ручные и ножные железа. Радость моя была невыразима; я был убежден, что надо мной совершилось чудо: железо еще не совсем пытка. Меня передали плац-адъютанту Трусову; он связал вместе два конца своего носового платка, надел его мне на голову и повез в Алексеевский равелин. Переезжая подъемный мост, я вспомнил знаменитый стих: «Оставьте всякую надежду вы, которые сюда

входите» [1]. Про этот равелин говорили, что в него сажают только «забытых» и что из него никто никогда не выходил. Из саней меня вынули солдаты, принадлежащие к команде Алексеевского равелина, и ввели меня в 1-й нумер. Тут я увидел семидесятилетнего старика, главного начальника равелина, подчиненного непосредственно императору.

С меня сняли железа, раздели, надели толстую рубашку в лохмотьях и такие же панталоны; потом комендант стал на колени, надел на меня снятые железа, обернул наручники тряпкой и надел их, спрашивая, могу ли я так писать. Я сказал, что могу. После этого комендант пожелал мне доброй ночи, сказав: «Божья милость всех нас спасет». Все вышли, дверь затворилась, и замок щелкнул два раза.

Комната, в которую посадили меня, была 6 шагов длины и 4 ширины. Стены после наводнения 1824 г. были покрыты пятнами; стекла были выкрашены белой краской, и внутри от них была вделана в окно крепкая железная решетка. Около окна в углу стояла кровать, на ней был тюфяк и гошпитальное бумажное одеяло. Возле кровати стоял маленький столик, на нем кружка с водою, на кружке были вырезаны буквы А. Р. В другом углу, против кровати, была печь. В третьем углу, против печи, стольчак. Кроме того, было еще два стула и на одном из них ночник. Когда я остался один, я был совершенно счастлив: пытка миновалась на этот раз, я имел время собраться с духом и даже спрашивал у себя, что они думали произвести надо мной надетыми на меня железами, которые, как я узнал после, весили 22 фунта. В 9 часов вечера принесли ужинать, причем солдат, исполнявший должность дворецкого, каждый раз очень вежливо кланялся. Не евши более двух суток, я поел щей с большим удовольствием. Ходить по комнате мне было нельзя, потому что в железах это было неудобно, и я опасался, что звук желез произведет неприятное чувство в соседях. Я лег спать и спал бы очень спокойно, ежели бы порой не пробуждали меня наручники.

На другой день, по заведенному в равелине порядку, поутру явился комендант равелина в сопровождении унтер-офицера и ефрейтора. Он спросил о моем здоровье и отправился далее по казематам. Все утро я не вставал с постели; часов в 12 услышал я приближаю-

щиеся к двери шаги и сделанный почти шопотом вопрос: «Кто здесь сидит?» На этот вопрос отвечено «Дмитриев». Дверь растворилась и взошел рослый, старый и белый, как лунь, протопоп Петропавловского собора Стахий. Я с ногами сидел на кровати. Он взял стул и, проговорив что-то насчет моего жалкого положения, сказал, что его прислал государь. Затем начался формальный допрос и увещание:

— Всякий ли год бываете у исповеди и святого причастия?

— Я не исповедывался и не причащался 15 лет.

— Конечно, это случилось потому, что вы были заняты обязанностями службы и не имели времени исполнить этого христианского долга?

— Я уже восемь лет как в отставке, и не исповедывался и не причащался потому, что не хотел исполнять это как обряд, зная, что в России более нежели где-нибудь оказывают терпимость к религиозным мнениям; словом, я не христианин.

Стахий увещевал меня, как умел, и наконец напомнил о том, что ожидает меня на том свете.

— Если вы верите в божественное милосердие,— сказал я ему,— то вы должны быть уверены, что мы все будем прощены: и вы, и я, и мои судьи.

Этот старик был добрый человек; он заплакал и сказал мне, что ему очень жалко, что он не может быть мне полезен. Тем наше свидание и кончилось. Стахий вышел. Воображение мое разыгрывалось более и более и по временам доходило до какой-то восторженности; когда появился Стахий, он мне напомнил собой инквизитора в «Дон-Карлосе» [1], но после разговора я узнал в нем весьма простого русского попа. После его ухода, вместо обеда, ефрейтор с обыкновенной вежливостью принес кусок черного хлеба, за который я его поблагодарил также вежливо. Этот день прошел без дальнейших приключений.

На третий день поутру (16 генваря) взошел ко мне с обыкновенной свитой плац-адъютант Трусов. Кроме священника, все должны были входить в каземат в сопровождении ефрейтора и унтер-офицера. Трусов принес мне трубку и табак. Узнавши от меня, что они не

принадлежат мне, он унес их назад. В то время я никак не догадался, что это было что-то вроде искушенья. В тот же день вечером неожиданно распахнулись двери, и ко мне вошел еще более рослый, чем Стахий, протопоп Казанского собора П. Н. Мысловский. Приемы его были совсем другие: он бросился ко мне на шею, обнял меня с нежностью и просил, чтобы я переносил свое положение с терпением и чтобы я помнил, как страдали апостолы и первые отцы церкви.

— Батюшка,— спросил я его,— вы пришли ко мне по поручению правительства?

Это его несколько озадачило.

— Конечно, без позволения правительства я не мог бы посетить вас,— отвечал он,— но в вашем положении вы бы, вероятно, обрадовались, ежели каким-нибудь образом забежала к вам даже собака, и потому я полагал, что мое посещение не может быть излишним.

— Конечно, в моем положении посещение человека, который бы пришел ко мне побеседовать, могло быть для меня очень приятно; но вы священник, и поэтому я почитаю своею обязанностью на первый раз нашего знакомства объясниться с вами откровенно. Как священник, вы не можете доставить мне никакого утешенья, тогда как для некоторых из моих товарищей посещения ваши могут быть очень утешительны, и вы можете облегчить их положение.

— Мне нет дела,— отвечал Мысловский,— какой вы веры; я знаю только, что вы страдаете, и очень буду счастлив, ежели мои посещения не как священника, а как человека могут быть для вас хоть сколько-нибудь приятны.

После такого объяснения я подал ему руку и поблагодарил его.

Он являлся ко мне потом всякий день, и в наших разговорах не было и речи о религии [1]. Вел себя он со мной просто и без малейших фраз. Пройдя пешком от Казанского собора до крепости и обойдя много казематов, он ел с большим аппетитом ломоть решетного хлеба, запивая его славной невской водой, которую впоследствии мы называли нашим шампанским.

Кажется, на 7-й день моего пребывания в равелине я услышал очень явственно шаги двух человек, подходивших к моей двери.

В двери было небольшое стеклянное окошко, изнутри загороженное железной решеткой, а снаружи закрытое зеленым фланелевым мешком. Обыкновенно часовые подходили к этому окну в валеных башмаках и едва раздвигали мешок, чтобы осмотреть каземат, так что почти никогда нельзя было заметить их приближения и осмотра. На этот раз весь мешок был поднят, и я мог явственно видеть ус и часть лица Левашева, который сказал кому-то: «Celui-ci a les fers aux bras et aux pieds» [1].

Меня уверяли впоследствии, что другой был царь, что не совсем вероятно, но очень может быть, что это был великий князь Михаил Павлович. В этот вечер, через три номера от меня, против обыкновенной тишины в равелине происходил довольно долго продолжавшийся шум. Я узнал от Мысловского, что в эту ночь вынесли из равелина несчастного Булатова полоумного и полуживого. В продолжение 8 дней ни ласки, ни угрозы не могли заставить его съесть что-нибудь. Его отвезли в сухопутный гошпиталь, где он на другой или на третий день умер. Перед смертью ему было дозволено свидание с двумя малолетними дочерьми, страстно им любимыми. Дочери не узнали его и убежали от него с ужасом [2].

На другой день вечером, после того как все двери были уже заперты, взошел ко мне тихо ефрейтор и подал мне крупичатую булку; он просил меня от имени офицера непременно съесть ее всю, потому что если на другое утро найдут у меня хоть кусочек этой булки, то офицеру может быть за это худо. Я, со своей стороны, просил ефрейтора унести булку, но он оставил ее на столе и ушел. Мне ничего другого не оставалось, как съесть ее, хоть есть мне вовсе не хотелось. Последствием такой любезности со стороны офицера было то, что у меня сделались жестокие спазмы в желудке; я простонал целую ночь, и только утром меня облегчила сильная рвота.

При обыкновенном утреннем посещении явился ко мне крепостной доктор и спросил меня о моем здоровье. Я сказал, что у меня были спазмы, но что теперь мне лучше. Он советовал мне воздержаться от сухой пищи, на что я ему отвечал, что я всегда заливаю хлеб водой.

Часа через два взошел ко мне петропавловский комендант Сукин; изъявив предварительно сожаление о моем положении, он со слезами на глазах просил меня сжалиться над собой и назвать всех своих товарищей. Я отвечал ему, что назвать своих товарищей ни для него, ни для кого на свете я не могу. Впрочем, я был тронут слезами старика, и мне было жаль, что я не имел возможности сделать ему приятного. Он много распространился о том, какой у нас добрый царь, и назвал его даже ангелом. Я отвечал ему: «Дай бог, чтобы это было правда».

— Вы затеяли пустое,— говорил он,— Россия обширный край, который может управляться только самодержавным царем. Если бы даже и удалось 14-е, то за ним последовало бы столько беспорядков, что едва ли через 10 лет все пришло бы в порядок.

— Мы никогда и не предполагали,— отвечал я ему,— устроить все с первого разу.

Во все это время я сидел с ногами на кровати, а старик стоял передо мной на своей деревянной ноге. Окончив свои рассуждения, он сказал: «Ну, несмотря на ваше упорство, я велю вам дать обедать. А так как вы давно не употребляли скоромной пищи, то я велю прежде напоить вас чаем». Я уверял его, что это нисколько не нужно, но он, не слушая меня, повторил еще раз, что велит напоить меня чаем и принести мне обедать. В этот же день мне дали очень жидкого чаю и щей с говядиной, которых я почти не ел. Когда вечером пришел ко мне Мысловский, я рассказал ему все бывшее между мной и комендантом и чистосердечно отозвался о нем, как о весьма добром человеке. На это Мысловский заметил, что главная доброта коменданта состоит в желании, чтобы я не умер от сухой еды, как умер Булатов от голоду, и что вообще члены следственной комиссии очень хлопочут о том, чтобы никто из нас не умер до окончания дела.

Я понял, что в этих словах много правды.

На другой день зашел ко мне Трусов и объявил мне от имени коменданта, что я так упрям, что его превосходительство никогда более не придет ко мне.

Мне часто приходили на ум жена и сын; но [так] как такие мысли не были утешительны в моем положении, то я отгонял их от себя.

В первых числах февраля Трусов принес мне письмо от жены, в котором она извещала, что она благополучно родила сына [1] и что она и дети здоровы. Прочтя это письмо, я чуть не сошел с ума; я так был счастлив, что бросился к двери, стучал кулаком и требовал к себе офицера. Намерение мое было потребовать бумаги и перо и изъявить за мое счастье искреннюю благодарность царю, приславшему мне письмо. В это время офицера не было в равелине, и письмо мое осталось ненаписанным. Я был совершенно покоен, не имея более надобности отгонять от себя мысли о семействе, и считал себя самым счастливым человеком во всем Петербурге.

После ужина я долго не мог уснуть и только что начал дремать, дверь с шумом растворилась и Трусов вошел ко мне с обыкновенной свитой. Мне принесли мое платье и шубу, сняли с меня железа, и когда я оделся, то надели их опять. Трусов взял у офицера четыре ключа от моих замков. По его совету, я сделал из носового платка подвязку, посредством которой держал ножные железа. Трусов накинул мне на голову свой носовой платок и повез меня в дом к коменданту. Тут из рук его кто-то принял меня и посадил за ширмы, несмотря на которые и на платок, я мог видеть прислугу, носившую блюда в боковую комнату.

Около полуночи меня взяли за руки и повели в те комнаты, в которых перед этим ужинали. В первой из этих комнат я ничего не мог видеть сквозь платок, кроме множества свечей и столов, за которыми сидели люди и писали. Из этой комнаты меня привели в довольно большую залу, также очень ярко освещенную. Руку мою опустили, я остановился, и с меня сняли платок.

Я стоял посреди комнаты, в шагах 10 от меня стоял стол, покрытый красным сукном. На крайнем конце его сидел председатель следственной комиссии Татищев, рядом с ним великий князь Михаил Павлович; сбоку от Татищева сидели князь Голицын (Александр Николаевич) и Дибич; третий стул был порожний (Левашева), четвертое место занимал Чернышев. По другую сторону стола около

великого князя сидел Голенищев-Кутузов, потом Бенкендорф, Потапов и полковник флигель-адъютант Адлерберг, который, не будучи членом комиссии, записывал все сколько-нибудь важное, чтобы тотчас доставлять императору сведения о ходе дела. Когда сняли с меня платок, с минуту во всей комнате продолжалось молчание. Наконец, Чернышев махнул мне пальцем и весьма торжественным голосом сказал: «Приближьтесь». Подходя к столу, я нарушил моими цепями тишину в комнате. Начался опять формальный допрос.

Чернышев спросил у меня, всякий ли год я бываю на исповеди и у св. причастия. Я отвечал ему то же, что и Стахию.

— Присягали ли вы императору Николаю Павловичу?

— Нет, не присягал.

— Почему же вы не присягали?

— Я не присягал потому, что присяга происходит с такими обрядами и с такою клятвою, что я считал ее для себя неприличною, тем более что я нисколько не верю святости такой клятвы.

Только при появлении моем в комитет я вполне понял, что, доставивши мне письмо от жены, меня хотели поймать в ловушку; я смотрел на всех членов комиссии с каким-то омерзением.

Чернышев просил меня назвать членов Тайного общества, но я отвечал ему то же, что и Левашеву.

— Что же может вас заставлять так сильно упорствовать в этом случае? — спросил Чернышев.

— Я уже сказал, что дал слово не называть никого.

— Вы хотите спасти ваших товарищей, но это вам не удастся.

— Если б я думал о спасении кого-нибудь, то вероятно постарался бы спасти себя и не рассказал бы того, что рассказал генералу Левашеву.

— Себя, милостивый государь, вы спасти не можете. Комитет должен вам объявить, что ежели он спрашивает у вас имена ваших товарищей, то единственно потому, что желает доставить вам возможность облегчить свою судьбу. И так как вы упорствуете, то комитет назовет вам всех членов Тайного общества, бывших в 1817 г. на совещании, на котором решено было убить покойного императора. Тут

были: Александр, Никита, Сергей и Матвей Муравьевы, Лунин, Фонвизин и Шаховский. Иные из ваших товарищей показывают, что на вас пал жребий нанести удар императору, а другие — что вы сами вызвались на это.

— Последнее показание справедливо, и я точно вызвался сам * [1].

— Какое ужасное положение,— сказал князь Голицын,— иметь душу, обремененную такою греховностью! Был ли у вас священник?

— Да, священник приходил ко мне.

В это время дремавший прежде Кутузов проснулся и, спросонья не разобрав в чем дело, воскликнул: «Как, он и попа не хотел пустить к себе?»

Голицын его успокоил, сказавши, что у меня был священник.

Когда я объявил на вопрос одного из членов, что я совсем не православный христианин, то Дибич (лютеранин) воскликнул: «Так, мы умнее наших предков; где же нам верить и действовать, как верили и действовали наши отцы».

— Сначала вы были,— продолжал допрос Чернышев,— одним из самых ревностных членов; что же заставило вас удалиться от Общества?

— По получении письма от Трубецкого, которое всех нас так встревожило, и после общего мнения, что Россия не может быть более несчастною, как под управлением императора Александра, я объявил, что в этом случае каждый должен действовать отдельно по своей совести, а не так, как член Тайного общества, и сказал, что я решился убить императора. В тот вечер, в который было это совещание, никто не сопротивлялся моему намерению; на другой день вечером собрались все те же члены и умоляли меня не приводить в исполнение моего намерения; но я сказал им, что они не имеют никакого права препятствовать мне, что я буду действовать совершенно независимо от Тайного общества и что никак не могу отказаться совершить

---

* В донесении сказано, что я вызвался на покушение, бывши терзаем страстью несчастной любви. Я имею все причины думать, что это — показание Никиты Муравьева, желавшего такой сентиментальной фразой уменьшить мою виновность перед комитетом. После, когда я у него спрашивал об этом, он всякий раз смеялся и отшучивался вместо ответа.— *И. Я.* [2]

то, что они вчера сами находили необходимым. После упорных, несколько раз повторенных просьб отложить намерение, которое, по их мнению, могло погубить всех, я согласился и сказал, что не принадлежу более к их Обществу, потому что они или возбудили меня вчера к самому ужасному преступлению, или [1] сегодня лишают возможности совершить самое прекрасное дело, какое только возможно для человека, истинно любящего Россию.

— Не было ли кого,— спросил Чернышев,— кто бы при самом начале уговаривал вас отказаться от вашего намерения?

— Точно; Михайло Фонвизин, с которым я жил в то время вместе, уговаривал меня в продолжение всей ночи.— Я назвал Фонвизина, думая, что мое показание может быть ему полезно.

По окончании этого допроса мне опять пришла мысль о пытке, и я был почти убежден, что на этот раз мне ее не миновать; но к крайнему моему удивлению Чернышев, очень грозно смотревший на меня во время допроса, взглянул улыбаясь на великого князя Михаила Павловича и потом сказал мне довольно кротко, что мне зададутся вопросы письменно и что я должен буду отвечать также письменно [2].

Мне надели на глаза платок и отвезли обратно в равелин.

На другой день утром Трусов привез мне письменные вопросы от комитета. Вопросы были те же самые, которые мне предлагались изустно накануне. Тут опять был отдых. Я хорошо знал, что, пока я буду писать ответы, меня оставят в покое. Мне дали перо и чернильницу, и я писал ответы, медленно, кажется дней 10. В продолжение этого времени Трусов заходил ко мне несколько раз, чтобы спросить, кончил ли я.

На все я отвечал то же, что и в комитете; но когда мне пришлось отвечать на вопрос, кто известен мне из членов Тайного общества, то меня взяло раздумье. Кроме тех лиц, которых мне называл комитет, мне бы пришлось назвать очень немногих, и, назвавши этих немногих, я не подвергал бы почти никакой опасности, потому что одни из них были за границей [3], другие слишком мало принимали участия в делах Общества. Тут мне представилось, что я разыгрываю роль Дон-Кихота, вышедшего с обнаженною шпагою против льва, который,

увидавши его, зевнул, отвернулся и спокойно улегся. Тут мне представилось мое семейство, соединение с которым я делал невозможным и, может быть, из пустого тщеславия.

В это время Мысловский попрежнему посещал меня ежедневно; мы с ним очень сблизились; он мне приносил письма от моих. Подосланный правительством, он совершенно перешел на нашу сторону [1]. Сначала я решительно не хотел читать принесенных им писем, опасаясь, чтобы из этого не вышло беды для него; но он ужасно этим обиделся и сказал мне, что он никогда не сочтет преступлением служить ближнему, который находится в таком положении, как я. Во всех этих случаях он действовал так ловко и решительно, что я, наконец, за него успокоился и через него переписывался с своими. Бывши в раздумье, назвать мне или нет известных мне членов Тайного общества, я попросил совета у Мысловского. Можно было подумать, что он только и ждал этого вопроса. Он отвечал мне и даже несколько торжественно, что я веду себя не совсем благородно, и, тогда как все признались, я моим упорством могу только замедлить ход дела в комитете. На что я мог ему ответить только: «Так и вы, батюшка, тоже против меня; я этого не ожидал от вас». При этих словах он бросился меня обнимать и сказал: «Любезный друг, поступайте по совести и как бог вам внушит».

Я, наконец, отправил мои ответы, не назвавши никого; но сам я чувствовал, что прежнее намерение мое не называть никого слабело с каждым часом. Тюрьма, железа и другого рода истязания произвели свое действие, они развратили меня. Отсюда начался целый ряд сделок с самим собой, целый ряд придуманных мною же софизмов. Я старался себя уверить, что, назвавши известных мне членов Тайного общества, я никому не могу повредить, но многим могу быть полезен своими показаниями.

Отославши ответы, в которых я никого не назвал, на другой день я потребовал пера и бумаги и написал в комитет, что я, наконец, убедился, что, не называя никого, я лишаю себя возможности быть полезным для тех, которые бы сослались на меня для своего оправдания. Это был первый шаг в тюремном разврате.

Разумеется, я тотчас же получил вопросные пункты, на которые я так долго отказывался отвечать. Я назвал те лица, которые сам комитет назвал мне, и еще два лица: генерала Пассека [1], принятого мною в Общество, и П. Чаадаева. Первый умер в 1825 г., второй был в это время за границей. Для обоих суд был не страшен.

После этого я оставался долго забытым.

Наступил великий пост; у меня спросили, что я буду есть, постное или скоромное. Я отвечал, что мне все равно, и меня целый пост кормили щами со снятками. Мысловский попрежнему навещал меня, но никогда не заводил со мной религиозного разговора. Однажды мне случилось сказать ему почему-то, что правительство наше не требует ни от кого православного исповедания. Мысловский отвечал, что правительство действительно ничего не требует, но что многих людей, которые были крещены в православной вере и которые оказались впоследствии неправославными, ссылали в Соловки или другие монастыри на заключение.

Этими словами Мысловский отворил мне еще один выход к соблазну. Я начал рассуждать очень основательно, что ежели правительство требует от православных, чтобы они всегда оставались православными, то, следовательно, оно требует только одного соблюдения обрядов.

На шестой неделе поста я прямо сказал Мысловскому, что желаю исповедаться и причаститься. «Любезный друг,— отвечал он мне,— я сам хотел давно предложить вам это, но, зная вас, никак не смел». Было положено, что он придет ко мне в вербное воскресенье с дарами, и в самом деле в этот день он явился ко мне в эпитрахили. Он хотел было начать формальностью, но я прямо сказал, что он знает мое мнение на этот счет. После этого он только спросил у меня, верю ли я богу. Я отвечал утвердительно. Он пробормотал про себя какую-то молитву и причастил меня [2].

Впоследствии я узнал, что этот день был для казанского протопопа днем великого торжества. В моем каземате он вел себя как самый простой, очень неглупый и весьма добрый человек, но зато вне стен крепости он вел свои дела не совсем для себя безвыгодно.

Он не мог удержаться от искушения и рассказал всем, что он обратил в христианство самого упорного безбожника.

В вербное воскресенье вечером, когда я уже начал засыпать, часов в 10, взошел ко мне обыкновенным порядком плац-майор Подушкин; он развернул бумагу и прочел при всех присутствующих, что государь император приказал снять с меня оковы. С меня сняли ножные кандалы, после чего Подушкин объявил мне, что ручные останутся на мне. Первое время мне было неловко без ножных оков; я был обессилен долгим содержанием, и наручники иногда совершенно перевешивали меня вперед. В светлое воскресенье вечером, также в 10 часов, посещение Подушкина повторилось, и он опять попрежнему произнес, что император велел снять с меня наручники [1].

После этого целый месяц меня не тревожили, время тянулось с страшной медленностью, но не без радостных минут. Когда я жил в Москве, теща моя Н. Н. Шереметева требовала от меня, чтобы я каждое воскресенье обедал у ее брата И. Н. Тютчева, отца Ф. И. Тютчева и Д. И., вышедшей за Сушкова. За этими обедами я проводил самые скучные минуты моей жизни, но отказаться от них было невозможно, это было бы ужасное огорчение для Н. Н. Шереметевой. Когда в воскресенье солдат приносил мне крепостных щей, я всегда вспоминал с удовольствием, что не пойду обедать к Тютчевым.

В мае месяце я неожиданно получил новый вопрос из комитета о том, в чем состоял разговор полковника Митькова с Мухановым по получении известия о 14 декабря. Я совершенно пропал. В этом разговоре Муханов предлагал ехать в Петербург и убить императора. Сказать, что я не был при этом разговоре, было невозможно. Мне бы могли доказать, что я лгу, и потом, может быть, не поверили бы, если б я сказал что-нибудь в пользу Муханова. Я видел Муханова только один раз у Михайлы Орлова, он вызвался и у него убить императора. Услышав этот вызов, М. Орлов взял его за ухо и поцеловал за такое намерение в лоб. Потом Орлов просил меня отвезти Муханова к Митькову.

Мне показалась одна возможность спасти Муханова: описать мое свидание с ним у Орлова и Митькова, не показывая, разумеется, что

Орлов целовал его; но описать то, что, по словам Муханова, я был уверен, что он никогда не принадлежал к Тайному обществу, и потому в моих показаниях не назвал его, что многоречивый вызов его отправиться в Петербург все присутствующие выслушали как пустую болтовню, и на нее никто не обратил внимания. Отправив такой отзыв в комитет, я нисколько не успокоился, а чувствовал, что я был хотя и невинной причиной, может быть, совершенной гибели Муханова. Положение мое было ужасное, это были минуты самые тяжелые из всех лет моего заточения. Я решился написать к императору и рассказать в письме все, что уже отвечал в комитете, и объяснить ему, каким образом Муханов через меня попал к Митькову. Я просил наложить на меня какое угодно наказание, но избавить Муханова от ответственности в деле, в котором он участвовал одной болтовней *.

На другой день меня повезли в комитет. За красным столом сидел один Чернышев. Он торжественно прочел мне мое показание, написанное не моею рукою, в котором еще больше было сказано в пользу Михайлы Орлова, чем сколько сказал я. Он спросил меня потом, готов ли я подтвердить мое показание. Я отвечал, что подтверждаю его.

— Ваша священная обязанность всегда говорить истину,— сказал он.

После этого меня вывели в другую комнату, из которой я слышал разговор Чернышева с Мухановым.

Это была страшная для меня минута. Я ожидал, как пытки, очной ставки с Мухановым и вздохнул свободно только тогда, когда по прочтении моего показания Муханов сказал: «Я не запираюсь, что я говорил вздор, но намерения совершить преступление я никогда не имел».

Меня отвели в равелин, и с этих пор не тревожили до окончания следствия.

Когда следственная комиссия поднесла свое донесение императору, все дело поступило в верховный уголовный суд [1].

* Не могу наверное утверждать, что это письмо имело хорошее последствие для Муханова. Но наказание для него, может быть и независимо от моего письма, было значительно смягчено.— *И. Я.* [2]

Во время суда мне дозволены были свидания с Н. Н. Шереметевой, а потом с женою и сыновьями [1]. С наступлением лета всех содержавшихся в равелине поочередно пускали гулять в маленький треxугольный садик, находящийся внутри равелина. В этом саду есть могила. Здесь, по крепостному преданию, похоронена княжна Тараканова, дочь императрицы Елизаветы Петровны и Разумовского, предательски увезенная графом Алексеем Григорьевичем Орловым из Италии. По прибытии в Россию княжна Тараканова была посажена в равелин; она утонула в каземате во время наводнения, бывшего в семидесятых годах [2].

В начале июля меня повели в дом коменданта. Я уже знал через Мысловского, что нас позовут в верховный уголовный суд для свидетельства всех наших показаний. Меня привели в небольшую комнату, где за столом на председательском месте сидел бывший министр в[нутренних] д[ел] князь Ал. Бор. Куракин; направо и налево от него сидело еще человек шесть, членов суда. Бенкендорф присутствовал как депутат от комитета.

Сенатор Баранов очень вежливо предложил пересмотреть лежащие перед ним бумаги и спросил, мои ли это показания. Прочесть все эти бумаги было невозможно в короткое время, да и к тому ж я очень понимал, что меня не затем призвали, потому что 121 подсудимый должны были в одни или не более как в двое суток проверить все свои показания и бумаги. Я перелистывал кое-как бумаги, которых Баранов даже не выпускал во все время из рук, и видел на иных листах свой почерк, на других почерк мне совершенно незнакомый. Баранов предложил мне что-то подписать, и я подписал его листок, не читая. В этом случае верховный уголовный суд хотел сохранить ежели не самую форму, требуемую в судебных местах, то по крайней мере хоть тень этой формы.

12 июля, часу в первом, меня опять повели в дом коменданта, и на этот раз я очень был удивлен, когда Трусов, приведя меня в одну проходную комнату, исчез, и я очутился с глаза на глаз с Никитой и Матвеем Муравьевыми и Волконским. Тут было еще два лица, мне незнакомые... Одно в адъютантском мундире — это был Александр

Бестужев (Марлинский); другое — в самом смешном наряде, какой только можно себе представить, это был Вильгельм Кюхельбекер (издатель «Мнемозины»). Он был в той же одежде, в которой его взяли при входе в Варшаву,— в изорванном тулупе и теплых сапогах.

Свидание с Муравьевыми и в особенности разговор с Никитой были для меня истинным наслаждением. Матвей был мрачен; он предчувствовал, что ожидало его брата. Кроме Матвея, никто не был мрачен. О себе я не могу судить, похудел ли я во время шестимесячного заключения, но я был истинно поражен худобой не только присутствующих товарищей, но и всех подсудимых, которых проводили через нашу комнату. Вскоре явился Мысловский, отозвал меня в сторону и сказал: «Вы услышите о смертном приговоре, не верьте, чтобы совершилась казнь».

Некоторое время мы оставались вшестером в нашей комнате; потом Трýсов провел нас через ряд пустых комнат, и мы прошли в верховный уголовный суд.

Митрополиты, архиереи, члены Государственного совета и генералы сидели за красным столом; за ними стоял сенат. Все были обращены лицом к подсудимым. Нас шестерых выстроили гуськом. Министр юстиции князь Лобанов очень хлопотал, чтобы все происходило надлежащим образом.

Перед столом стоял пюпитр на одной ножке; на нем лежали бумаги.

Обер-секретарь, пресмешной наружности, первоначально сделал нам перекличку, и когда Кюхельбекер нескоро откликнулся на свое имя, то Лобанов закричал повелительным голосом: «Да отвечайте же, да отвечайте же!» Потом началось чтение приговора. Когда прочли мое имя в числе приговоренных к смертной казни, мне показалось это только смешным фарсом, и в самом деле нам всем шестерым смертная казнь была заменена ссылкою в каторжные работы на 20 лет. После этого меня отвели опять в 1-й нумер равелина [1]. Священник обещался зайти ко мне и не зашел. Едва успели меня раздеть, как явился крепостной доктор с вопросом о моем здоровье. Я сказал, что у меня немного зуб болит; он удивился и ушел. Его послали ко

всем бывшим в суде, чтобы подать помощь тем, которые занемогли, выслушав приговор.

Ужин подали немного ранее обыкновенного, и я тотчас же крепко заснул. В полночь меня разбудили, принесли платье, одели меня и вывели на мост, который идет от равелина к крепости. Здесь я встретил опять Никиту Муравьева и еще нескольких знакомых. Всех нас повели в крепость; изо всех концов, изо всех казематов вели приговоренных. Когда все собрались, нас повели под конвоем отряда Петропавловского полка через крепость в Петровские ворота. Вышедши из крепости, мы увидели влево что-то странное и в эту минуту никому не показавшееся похожим на виселицу. Это был помост, над которым возвышались два столба; на столбах лежала перекладина, а на ней висели веревки. Я помню, что когда мы проходили, то за одну из этих веревок схватился и повис какой-то человек; но слова Мысловского уверили меня, что смертной казни не будет. Бо́льшая часть из нас была в той же уверенности.

На кронверке стояло несколько десятков лиц, большею частью это были лица, принадлежавшие к иностранным посольствам; они были, говорят, удивлены, что люди, которые через полчаса будут лишены всего, чем обыкновенно дорожат в жизни, шли без малейшего раздумья, с торжеством и весело говоря между собою. Перед воротами всех нас (кроме носивших гвардейские и флотские мундиры) выстроили покоем спиной к крепости, прочли общую сентенцию; военным велели снять мундиры и поставили нас на колени. Я стоял на правом фланге, и с меня началась экзекуция. Шпага, которую должны были переломить надо мной, была плохо подпилена; фурлейт ударил меня ею со всего маху по голове, но она не переломилась; я упал. «Ежели ты повторишь еще раз такой удар,— сказал я фурлейту,— так ты убьешь меня до смерти» [1]. В эту минуту я взглянул на Кутузова, который был на лошади в нескольких шагах от меня, и видел, что он смеялся.

Все военные мундиры и ордена были отнесены шагов на 100 вперед и были брошены в разведенные для этого костры.

Экзекуция кончилась так рано, что ее никто не видел; вообще перед крепостью не было народа. После экзекуции нас отвели опять

в крепость и меня опять в 1-й нумер равелина. Ефрейтор, который принес мне обедать, был необыкновенно бледен и шепнул мне, что за крепостью совершился ужас, что пятерых из наших повесили. Я улыбнулся, нисколько ему не веря, но ожидал Мысловского с нетерпеньем. Наконец, вечером он взошел ко мне с сосудом в руках. Я бросился к нему и спросил, правда ли, что была смертная казнь. Он хотел было отвечать мне шуткою, но я сказал, что теперь не время шутить. Тогда он сел на стул, судорожно сжал сосуд зубами и зарыдал. Он рассказал мне все печальное происшествие.

После приговора Пестель, Сергей Муравьев, Рылеев, Михайло Бестужев и Каховский были отведены в особые казематы. Сестра Сергея Муравьева Кат. Ив. Бибикова, узнавши, что брат ее приговорен к смертной казни, поскакала в Царское Село и просила через Дибича о дозволении иметь свидание с братом. Ей позволено увидеться с ним на один час. Свидание их происходило в доме коменданта Сукина и в его присутствии. Сергей Муравьев был очень покоен и просил сестру не оставлять попечениями их брата Матвея. Разлука их навсегда, по словам самого Сукина, была ужасна [1].

Когда Сергей Муравьев возвратился в каземат, к нему вошел с печальным видом плац-майор Подушкин. Сергей Муравьев предупредил его: «Вы, конечно, пришли надеть на меня оковы». Подушкин позвал людей; на ноги ему надели железа. То же было сделано и с четырьмя товарищами Сергея Муравьева. Все смотрели совершенно покойно на приготовления казни, кроме Михайлы Бестужева: он был очень молод, и ему не хотелось умирать.

Ночью пришел к ним священник Мысловский с дарами. Кроме Пестеля, который был лютеранин [2], все они причастились. Когда после экзекуции нас ввели в казематы, их вывели перед собор. Был второй час ночи. Бестужев насилу мог итти, и священник Мысловский вел его под руку. Сергей Муравьев, увидя его, просил у него прощенья в том, что погубил его.

Когда их привели к виселице, Сергей Муравьев просил позволенья помолиться; он стал на колени и громко произнес: «Боже, спаси Россию и царя!» Для многих такая молитва казалась непонятною, но

Сергей Муравьев был с глубокими христианскими убеждениями и молил за царя, как молил Иисус на кресте за врагов своих. Потом священник подошел к каждому из них с крестом.

Пестель сказал ему: «Я хоть не православный, но прошу вас благословить меня в дальний путь» [1]. Прощаясь в последний раз, они все пожали друг другу руки. На них надели белые рубашки, колпаки на лицо и завязали им руки. Сергей Муравьев и Пестель нашли и после этого возможность еще раз пожать друг другу руку. Наконец, их поставили на помост и каждому накинули петлю. В это время священник, сошедши по ступеням с помоста, обернулся и с ужасом увидел висевших Бестужева и Пестеля и троих, которые оборвались и упали на помост. Сергей Муравьев жестоко разбился; он переломил ногу и мог только выговорить: «Бедная Россия! и повесить-то порядочно у нас не умеют!» Каховский выругался по-русски. Рылеев не сказал ни слова [2]. Неудача казни произошла оттого, что за полчаса перед тем шел небольшой дождь, веревки намокли, палач не притянул довольно петлю, и когда он опустил доску, на который стояли осужденные, то веревки соскользнули с их шеи. Генерал Чернышев, бывший распорядителем казни, не потерял голову; он велел тотчас же поднять трех упавших и вновь их повесить [3]. Казненные оставались недолго на виселице; их сняли и отнесли в какой-то погреб, куда едва пропустили Мысловского; он непременно хотел прочесть над ними молитвы.

Еще несколько слов о Мысловском. 15 июля на Петровской площади был назначен парад и очистительное молебствие, которое должен был отслужить митрополит со всем духовенством. Протоиерей Мысловский отпустил образ казанской божьей матери на молебствие с другим священником, а сам в то же время надел черную ризу и отслужил в Казанском соборе панихиду по пяти усопшим. Бибикова зашла помолиться в Казанский собор и удивилась, увидав Мысловского в черном облачении и услышав имена Сергея, Павла, Михаила, Кондратия [4].

III[1]

Дней через десять после казни из равелина переместили всех в крепость и меня перевели в Невскую куртину.

Я неохотно расстался с моим первым номером: тут, конечно, были минуты весьма тяжкие, но бывали и минуты, в которые обливало таким светом, что внутренно все приходило в порядок и стройность. В первое время заключения чувствуешь что-то тяготеющее над собой, похожее на fatum древних, чувствуешь свою ничтожность перед этой могучей неизбежностью; но мало-помалу возникают внутренние силы, начинаешь дышать свободнее и по временам забываешь и темницу и затворы.

Полное и продолжительное уединение, подобно животному магнетизму, отрешая нас на-время от внешних впечатлений, сосредоточивает все наше существование на предмет, на который в эту минуту мы обращаем внимание. Сколько вопросов, задаваемых мной себе на свободе, оставаясь для меня недоступными прежде, разрешались, и иногда совсем неожиданно, во время моего пребывания в равелине. Беседа с самим собой, особенно в последнее время моего тут заключения, редко кем или чем нарушалась. Я сжился с моим первым номером, и гнилые пятна на его стенах, оставшиеся после наводнения 1824 г., были для меня не пятна, а представляли собой разного рода изображения.

Номер, в который меня переместили, был на Неву. Тут образ моего существования совсем изменился: вместо глубокой тишины, к

которой я привык в равелине, я слышал почти беспрестанное движение в коридоре, говор и возгласы в номерах, отделяемых один от другого только бревенчатой перегородкой. При появлении плац-майора Подушкина все затихало на короткое время. Сидя целый день у раскрытого окна, я предавался наслаждению дышать чистым воздухом и любовался рекой, покрытой челноками, снующими от одного берега к другому берегу. Приятные эти внешние ощущения не допускали меня предаваться надолго какой-нибудь мысли или какому-нибудь чувству, и в это время я жил до такой степени животной жизнью, что поглощал без остатка дурные щи и жесткую говядину, которую приносили мне к обеду и к ужину; зато так пополнел в несколько дней моего тут пребывания, что при первом свидании с моими они не могли на меня налюбоваться.

По совершении казни, тем из нас, которые оставались в крепости, дозволены были один раз в неделю свидания с близкими родственниками. Каждый раз свидание продолжалось два часа, в присутствии плац-адъютанта, причем запрещалось говорить иначе как по-русски. Под предлогом свидания в первое время приезжали родственники и неродственники, и всякий день крепость была наполнена экипажами.

Я недолго оставался в номере с открытым окном на Неву [1]. Неосторожность одного из моих соседей, пустившегося в громкий разговор с своей женой, подъехавшей на ялике к самой крепости, была причиной, что из номеров с окнами на Неву переместили нас в номера, в которых окна были обращены к собору.

Петр Николаевич Мысловский, наш духовник, посещал меня почти ежедневно с таким же участием, как и прежде. Он мне признался, что, зная строгий надзор в равелине, ему там бывало не совсем ловко, но что в самой крепости он был, как дома.

В новом номере, по вызову моего соседа, я взошел с ним в сношение, и оно было тем более удобно, что стена, нас разделявшая, не препятствовала изустному разговору. Сосед мой был Сутгов, один из главных подвижников 14-го [2]. Прежде я не был с ним знаком, но обстоятельства, в которых мы находились, тотчас нас сблизили. Он, рассказавши мне дело свое в комитете, требовал от меня такой

же откровенности. Через несколько дней он был отправлен в Финляндию, и его заменил Александр Муравьев, брат Никиты. Этому юноше было не более 20 лет, и я знал его прежде, когда он был еще почти ребенком. Приговоренный на 12 лет в работу, он утешал себя тем только, что разделит участь брата и будет с ним вместе [1].

Перед обедом, 5 августа, зашел ко мне священник с известием, что я в ту же ночь буду отправлен в Финляндию и что он вместе с моими выедет проститься со мной на первую станцию. Перед сумерками пришел плац-адъютант Трусов с приказанием изготовиться к отъезду; а потом, когда совсем смерклось, он опять явился в мой каземат и, взявши меня с собой, повел к коменданту. Дорогой он давал мне разного рода наставления и между прочим советовал остерегаться фельдъегеря и ни под каким видом не говорить при нем по-французски, уверяя меня, что за такой поступок фельдъегерь имел право меня оставить без обеда. При этом невольно я вспомнил мое детство, когда меня оставляли без обеда за то, что я с сестрами говорил по-русски.

Вскоре по приходе моем к коменданту прибыли туда и мои спутники: Матвей Муравьев, Александр Бестужев (Марлинский), Арбузов и Тютчев. С Муравьевым я был коротко знаком, служа вместе в Семеновском полку (мы были почти неразлучны во время походов 12, 13 и 14 годов); прочих я прежде не знал. Бестужев красовался в венгерке. Арбузов и Тютчев были в куртках и шароварах из толстого серого сукна. Арбузов служил лейтенантом в гвардейском экипаже, а Тютчев из Семеновского полка в 21 году был переведен в один из полков 8-й дивизии и принадлежал к Обществу славян. Оба они не имели родственников в Петербурге, и потому, когда их мундиры были сожжены, их снабдили казенной одеждой. Комендант Сукин, объявив нам высочайшее повеление отправить нас в Финляндию, советовал нам во время пути вести себя кротко и во всем повиноваться фельдъегерю. При прощании Бестужев произнес благодарственную речь коменданту за его поведение с нами, на что комендант отвечал очень сухо, сказав, что его благодарить не за что, потому что

он во всех случаях относительно нас не более как исполнял только строго свою обязанность.

Когда мы вышли от коменданта, у подъезда стояли уже наши повозки и жандармы. По освещенным улицам Петербурга мы еще ехали довольно скоро; но, проехав заставу, подвигались очень медленно. В это время около Петербурга горели леса, и днем солнце виднелось сквозь дым, покрывавший город и его окрестности, как обгорелая головня; ночью же ни зги не было видно, и наши ямщики беспрестанно сбивались с дороги; часто они шли пешком и вели лошадей за поводья. До Парголова мы ехали часа три.

Станционный дом, когда мы подъехали к нему, был ярко освещен и наполнен гостями. Тут были жена моя с двумя малолетними сыновьями, мать ее, протоиерей Мысловский и И. А. Фонвизин, приехавший со мной проститься [1]. Катерина Ивановна Бибикова была тут также; она приехала вместе с теткой, Катериной Федоровной Муравьевой, проводить брата своего Матвея Муравьева [2]. Мы провели тут целую ночь, говоря с своими о наших делах; было положено, что жена моя с детьми последует за мной в Сибирь, и матушка собиралась проводить ее. После всех тревог, нами пережитых, такая будущность нам улыбалась. В это время многие были уверены, что при коронации мы будем избавлены от работ и что нас поселят в Сибири. Поутру я простился с своими в уверенности, что мы скоро опять свидимся. При прощаньи мне хотели дать 500 р. денег, и фельдъегерь нисколько не затруднялся взять их; но я этому воспротивился, опасаясь, чтобы ему не пришлось отвечать за меня. При отправлении из Петербурга нам было сказано, что мы не имеем права иметь больше ста рублей, и я, взявши от своих только сто рублей, передал их фельдъегерю.

Переезд от Петербурга до места нашего заключения был для нас приятной прогулкой. После долгого заточения мы наслаждались, дыша целый день чистым воздухом и имея перед глазами несколько дикую, но вместе с тем и величественную природу Финляндии. По приезде на каждую станцию живой разговор между нами имел также свою увлекательность. Тут не было ни затворов, ни стен, нас

разделяющих, ни плац-майора, ни плац-адъютантов, которые бы нас подслушивали. Фельдъегерь наш Воробьев прекрасно вел себя с нами, и, когда мы слишком громко говорили между собой по-русски, он торжественно произносил: «парле франсе, мусью», опасаясь, чтобы нас не подслушали и не донесли в Петербург. На одной станции, где мы обедали в особенной комнате, завязался очень живой разговор между мной и Бестужевым о нашем деле; я старался доказать ему, что несостоятельность наша произошла от нашего нетерпения, что истинное наше назначение состояло в том, чтобы быть основанием великого здания, основанием под землей, никем не замеченным; но что мы вместо того захотели быть на виду для всех, захотели быть карниз. «И потому упали вниз»,— сказал наш фельдъегерь, стоявший сзади меня, и о присутствии которого мы совершенно забыли. На этот раз его вмешательство было так кстати, что мы все расхохотались.

По приезде в Роченсальм фельдъегерь сдал нас коменданту полковнику Кульману, после чего через полчаса мы отправились к берегу в сопровождении коменданта и небольшого отряда солдат. Начальник этого отряда поручик Хоруженко был в полной форме; у берега ожидал нас шестивесельный катер, на котором мы и отправились в море. Плавание наше продолжалось более часу, и, наконец, мы увидели вдали огромную круглую башню, как будто выросшую из воды, это была крепость Форт-Слава, построенная фельдмаршалом Суворовым, и в которой были приготовлены для нас казематы. Вид ее был мрачен и не предвещал нам ничего доброго.

Нас разместили по одиночке в казематы и заперли на замок. В каждом каземате, с русской печью, было два окошка, перед которыми снаружи были поставлены щиты из теса и устроенные нарочно для нас, по распоряжению инженерного генерала Оппермана. По стене стояла кровать с соломой, стол и несколько стульев довершали принадлежность каземата; в моем новом жилье было темно и сыро[1].

Первое время нас строго держали под замком и выпускали только на короткое время, и то по одиночке, гулять по двору. Василий Герасимович Хоруженко, гарнизонный артиллерии поручик, начальствуя над отрядом, составлявшим нашу стражу, вместе с тем был и наш



А. В. ЯКУШКИНА
(1830-е годы).

непосредственный начальник; он давал нам это чувствовать всякий раз, когда приходил навестить нас; сперва он как будто нас опасался, но потом, убедившись, что мы народ смирный, он сделался ручнее. Иногда он собирал нас всех вместе и пил с нами чай; тут он рассказывал нам разные происшествия своей жизни. Отец его, казак, был сослан в Архангельск по бунту Пугачева, и сам он причислен в кантонисты и обучался в отделении; потом он поступил в артиллерию. Будучи расторопен и довольно красив собой, он скоро попал в фейерверкеры; сам граф Аракчеев, как утверждал он, знал его лично и произвел в офицеры; при этом он говорил, что дворянство, доставшееся нам даром, разумеется, для нас нипочем, но что он ценит его дорого, потому что он добыл его своей спиной, на которой поломано много палок. Он этим гордился и, может быть, с бо́льшим правом, нежели те, которые гордятся своим выгодным положением в свете, занимаемым ими потому только, что они взяли на себя труд родиться.

Нами он распоряжался по своему произволу: то мы все вместе гуляли по двору, то он держал нас целый день под замком, уверяя, что будто команда на него роптала за его снисходительное обращение с нами. Добывая выгоду для себя из пятидесяти копеек на ассигнации, отпускаемых ежедневно на наше продовольствие, кормил он нас очень плохо. На несчастье наше, тесть его, шкипер, подарил ему огромный запас испорченной солонины, которую с корабля велено было выкинуть. С этой солониной варили нам щи отвратительные; хлеб, покупаемый в Роченсальме, был также не всегда выпечен; а вода в колодце, устроенном посреди крепости, когда дул западный ветер, была до такой степени солона, что ее почти невозможно было пить. Вследствие всего этого вместе, у Бестужева и Муравьева появились солитеры еще на Форт-Славе, а у Арбузова несколько после.

При таком содержании только мы двое, Тютчев и я, уцелели. Несмотря на то, что Хоруженко пользовался крохами от нашего продовольствия и тешился, распоряжаясь нами по собственному своему хотению, он был не дурной человек. Случалось ли кому-нибудь из нас захворать, он тотчас собирал нас к больному, и сам был с ним

любезен, насколько это было для него возможно. Будь на его месте какой-нибудь аккуратный немец, хоть даже добрейший Шиллер, тюремщик Пеллико, кормил бы он нас, конечно, лучше, но зато, чтобы исполнить в точности предписание начальства, он бы ни за что не выпустил нас из-под замка, и мы бы с ним пропали.

Когда стало холоднее и стали топить печи, оказалось, что они дымились, и после того, что закрывали трубу, в комнате был несносный угар, и потому держать нас целый день под замком не приходилось. Однажды ночью часовой услышал в комнате Бестужева необычайный шум, и, веря, что Бестужев был в сношении с нечистой силой, он в испуге побежал и дал знать унтер-офицеру о том, что на его часах не совсем ладно. Унтер-офицер в свою очередь донес об этом офицеру, офицер с командой подступил к каземату, в котором был слышен шум. Некоторое время никто не решался отворить дверь, и когда ее отворили, то увидели Бестужева, лежавшего на полу без чувств: он угорел. После этого происшествия нас почти никогда не запирали днем.

Книг у нас было очень мало. Муравьев привез с собой французскую библию и Саллюстия с французским переводом, я имел возможность захватить с собой только Монтеня[1], но, к счастью, у Бестужева было два тома старинных английских журналов, один том Ремблера и один том Гертнера. При помощи Бестужева Муравьев и я, мы стали учиться по-английски. Библиотека нашего офицера состояла из одной части «Четьи-минеи» и «Мальчика у ручья»; он решился дать нам прочесть и то и другое, но никак не решался добывать нам книг из Роченсальма; а вместе с тем совершенно для нас неожиданно передал нам тетрадку, писанную прекрасным французским почерком, заключающую в себе последнюю часть «Чайльд-Гарольда». Тетрадку эту принесли нам две дамы, жившие в Роченсальме, г-жа Чебышева и сестра ее; такой поступок с их стороны глубоко нас тронул, и мы вполне его оценили. В этом случае только женщины, и женщины исполненные истинного чувства, могли понять наше положение и найти возможность изъявить так прекрасно участие, которое они принимали в нас.

К концу года запасы наши, чаю, сахару и табаку, истощились, денег от ста рублей оставалось у меня немного, да и те надо было беречь на мытье белья и другие необходимые издержки. В это время нас стали иногда запирать; в крепости заметно было особенное движение, и офицер, собирая ежедневно команду, учил ее. Мы узнали, что скоро ожидают генерал-губернатора Финляндии Закревского. Недели за две до нового года он навестил нас. Муравьеву он доставил сам посылку от сестры его Бибиковой, Бестужеву привез от себя чаю, сахару и табаку, надо полагать, в знак благодарности за «Полярную звезду», которую ему присылали Рылеев и Бестужев, и мне он сам вручил медвежьи сапоги от моей тещи и вообще со всеми нами был очень любезен. Я узнал после того, что эти сапоги мне были присланы как намек на то, что мы не останемся долго в Форт-Славе; а между тем мы остались тут еще почти одиннадцать месяцев после того, что посетил нас Закревский в первый раз. Посещение его было для нас во многих отношениях на пользу; видя его к нам внимание, и офицер наш и комендант Кульман стали к нам также несколько внимательнее. Комендант был человек не злой, но совершенно ничтожный; по необходимости посещая нас раз или два в месяц, он не входил в рассмотрение того, как нас содержат, и так как мы никогда ему ни на что не жаловались, то он оставался нами доволен.

В посылке, привезенной Закревским Муравьеву, был курс Лакруа, и я пристально принялся за математику. За недостатком книг и других занятий, наука эта имела для меня прелесть casse-tête chinois [1], и занимался ею страстно. При этом занятии главное неудобство состояло в том, что у меня не было грифельной доски, и хотя я сохранил при себе карандаш, но бумагу достать было очень трудно.

Бестужев в это время пытался писать на клочках бумаги повесть в стихах из времен, весьма древних, русской истории — «Андрей Переяславский». Археологические его познания были не обширны, стих его был вял, и повесть вообще не удалась. За критику его скороспелого произведения он не сердился, но впрочем защищал его усердно [2]; вообще он был предобрый малый. Замечая, что Тютчев грустит,

он употреблял все средства, чтобы развеселить его, и, не имея с ним ничего почти общего, он проводил с меланхоликом по целым дням глаз на глаз, уговорив офицера запирать их двоих вместе. С Арбузовым, которого нрав был несколько крут, он умел также ладить, и вообще мы все любили его. В нашем кругу он был очень прост и пристален, но с офицером, на которого желал произвести впечатление, он по временам становился на ходули и выкидывал перед ним разного рода коленца.

Муравьев и я, мы за это называли его mauvais genre[1]; он и тут на нас не сердился. Бывали с ним мрачные минуты, в которые он был уверен, что мы никогда не съедем с Форт-Славы, или что если бы мы даже и возвратились на свободу, то наше положение было бы незавидно по той причине, что на нас все смотрели бы с невыгодной стороны; а я ему в утешение говорил напротив, что мы долго не останемся на Форт-Славе и что если бы мы когда-нибудь возвратились на свободу, то нам надо опасаться, чтобы на нас не смотрели лучше, нежели мы того стоим. Не знаю, вспомнил ли он мое предсказание на Кавказе, когда его литературные произведения имели такой огромный успех, и которым он частью, конечно, был обязан положению, в котором он находился.

Летом в 1827 г. нас опять посетил генерал Закревский и поручил нашему офицеру узнать, не желаем ли мы остаться в крепости на весь срок работы, к которой мы были приговорены; никто из нас не подумал воспользоваться таким предложением. Мы не знали, что ожидало нас в Сибири, но мы испытали всю горечь заключения, и неизвестность в будущем нас нисколько не устрашала. Скоро после посещения Закревского Хоруженко был сменен и получил другое назначение. Новый наш начальник был добрый простой человек и нисколько не умничал с нами; он переехал на Форт-Славу с своим семейством, состоявшим из его жены и не совсем взрослой дочери. При появлении этой девочки Бестужев, Арбузов и Тютчев выщипали себе бороды, которых нам не брили. Бестужев в этом случае производился необыкновенным образом и украсил себе голову красным шарфом в виде чалмы.

После 7 октября прошел слух, что при рождении великого князя Константина Николаевича нас всех избавили от работы; слух этот был справедлив только относительно Бестужева и Муравьева[1]. В конце октября их обоих увезли от нас, сперва Бестужева, а через неделю после него и Муравьева. Проезжая через Петербург, Бестужев имел свидание с генералом Дибичем, который ему объявил, что он и другой его товарищ, с которым он отправится в Сибирь, освобождены от работ и что ему даже позволено писать и печататься с условием только не писать никакого вздору.

Наконец, наступила наша очередь. В начале ноября[2], в один прекрасный вечер, нас перевезли с Форта-Славы в Роченсальм, и когда мы прибыли туда, перед комендантским домом стояли двухконны тележки, жандармы и фельдъегерь. Комендант Кульман принял нас очень учтиво и со слезами на глазах прочел нам высочайшее повеление: заковать нас и отправить в Сибирь; после чего нам надели на ноги железа, впрочем далеко не такие тяжелые, как те, которые были на мне в Алексеевском равелине[3]. Фельдъегерь наш Миллер сел со мной в тележку и сообщил мне приятную весть, что в Ярославле я увижусь с моими. Выезжая из Роченсальма, мы увидали двух дам, в черной одежде, которые издали благословляли нас в дальний путь; я полагаю, что это были те же добрые две души, которые умели оказать нам участие, когда мы сидели в Форте-Славе.

Петербург мы проехали ночью. В Шлюссельбурге фельдъегерь принужден был остановиться с нами на несколько часов, потому что Арбузова так растрясло, что он едва мог стоять на ногах. За один переезд до Ладоги, в станционном доме, нас встретили два барина; один из них был в мундирном сюртуке, и фельдъегерь, принявши его за исправника, поместил нас в особенную комнату и к дверям приставил жандарма; другой барин, оказалось, был родной брат нашего Арбузова. Добрый Миллер склонился на наши просьбы и позволил свидание двум братьям; трогательно было видеть взаимную их нежность при этом свидании.

Помещик Арбузов привез с собой пирожков, жареной дичи и несколько бутылок вина. После обеда он продолжал нежничать

с братом: но нежность его не определилась ничем существенным, и я решился, взявши его в сторону, спросить у него, привез ли он денег брату; он мне отвечал, что не привез ничего, потому что у него не случилось денег; на это я ему решительно сказал, что если он в самом деле любит брата, то должен с нами ехать в Ладогу, занять там тысячи две и снабдить ими своего брата. Он стал меня уверять, что непременно догонит нас в Ладоге, но что прежде ему необходимо повидаться с женой и посмотреть, не найдется ли у них чего-нибудь дома. Все это вместе показалось мне отвратительно. Этот человек владел имением своего брата после того, что брат его был лишен верховным уголовным судом всех прав и состояния; он знал заблаговременно, что брат его будет отправлен в Сибирь, и выехал к нему на свидание с одними только нежными обниманиями и послушной слезой. В Ладогу он не приехал, в продолжение десяти лет не писал брату и не посылал ему никакого вспомоществования, но потом стал писать нежные письма и присылать ему порядочное содержание.

В Ладоге мы пробыли часа два или три, поджидая Арбузова; в это время вошел в нашу комнату человек очень порядочной наружности. Фельдъегерь хотел было не пускать его к нам, но вполне смирился перед ним, когда узнал, что это был действ. ст. совет[ник] Римский-Корсаков. Беседа с Корсаковым была для нас очень приятна и любопытна. Он сообщил нам некоторые известия о том, что делалось в Петербурге, и известил нас также о приезде Муравьева и Бестужева, с которыми он виделся и которых снабдил деньгами. Проехав Ладогу, мы не ночевали; фельдъегерь наш спешил убраться как можно скорее подалее от Петербурга, опасаясь соглядатаев и чтобы не донесли о какой-нибудь его неисправности. Он имел строгие предписания относительно нас, но вместе с тем ему было предписано беречь наше здоровье и кроме крайних случаев обходиться с нами учтиво.

11 ноября мы прибыли в Ярослав[ль] [1]. Фельдъегерь представил меня губернатору, который объявил мне, что я имею дозволение видеться с моим семейством. От губернатора мы отправились на свидание. Увидев на мне цепи, жена моя, матушка ее и все с ними присутствующие встретили меня со слезами, но я какой-то шуткой успел

прервать их плачевное расположение; плакать было некогда, и мы радостно обнялись после долгой и тяжкой разлуки. Тут я узнал, что жена моя с детьми и матушка ее год тому назад получили позволение видеться со мной в Ярославле, но им не было дано знать, когда повезут меня. Дежурный генерал Потапов знал всякий раз, когда требовались фельдъегеря для перемещения нас из крепостей в Сибирь, и всякий раз извещал об этом мою тещу; но кого именно повезут из нас, он и сам не знал этого. По этой причине мое семейство несколько раз приезжало из Москвы в Ярославль; первоначально оно пробыло тут месяц в томительном ожидании меня; потом жена моя с детьми, в сопровождении знакомой дамы и короткого моего приятеля Михаила Яковлевича Чаадаева, приезжала в Ярославль; и они в продолжение почти месяца напрасно ожидали моего прибытия; наконец, и в этот последний раз меня ожидали здесь уже три недели [1].

Только что мы вошли в комнату и уселись, приехал губернатор и сказал жене моей, что я пробуду в Ярославле шесть часов, после чего он был так любезен, что уехал и оставил нас одних. Когда все несколько успокоились, я обратился к матушке с вопросом, намерена ли она проводить жену мою и детей в Сибирь. Матушка, заливаясь слезами, отвечала мне, что на просьбу ее проводить дочь она получила решительный отказ.

Жена моя, также в слезах, сказала мне, что она сама непременно за мной последует, но что ей не позволяют взять детей с собой. Все это вместе так неожиданно меня поразило, что несколько минут я не мог выговорить ни слова; но время уходило, и я чувствовал, что надо было на что-нибудь решиться. Что нам вместе, жене моей и мне, всегда было бы прекрасно, я в этом не мог сомневаться; я также понимал, что она, оставшись без меня, даже посреди своих родных, много ее любящих, становилась в положение для нее неловкое и весьма затруднительное; но, с другой стороны, для малолетних наших детей попечение матери было необходимо. К тому же я был убежден, что, несмотря на молодость жены моей, только она одна могла дать истинное направление воспитанию наших сыновей, как я

понимал его, и я решился просить ее ни в коем случае не разлучаться с ними; она долго сопротивлялась моей просьбе, но, наконец, дала мне слово исполнить мое желание. Мне стало легче [1].

Часы, назначенные для нашего свидания, скоро прошли, и фельдъегерь пришел сказать, что все было готово к отъезду. Жена моя с детьми и матушка решились проводить меня до первой станции, и фельдъегерь этому не сопротивлялся. Когда мы пустились в путь, было уже совершенно темно, холодный ветер жестоко завывал и льдины неслись по Волге, через которую мы перебирались с большими затруднениями. Мы провели ночь вместе на станции между Ярославлем и Костромой. Тут я узнал о смерти моей матери, и жена моя передала мне несколько ее писем, в которых она просила меня нисколько не беспокоиться о ней, уверяя меня, что ее здоровье несравненно лучше прежнего, и молила бога, чтобы он дал мне силы нести крест мой. Наконец, наступил час решительной и вечной разлуки; простившись с женой и детьми, я плакал, как дитя, у которого отняли последнюю и любимую им игрушку.

В Костроме мы переменили только лошадей и продолжали наш путь, проезжая в сутки более ста верст. Но в Вятке с нами случилось что-то похожее на происшествие. Около почтового дома, в котором мы остановились, собралась большая толпа народа, и все усилия фельдъегеря разогнать ее остались безуспешны. Окончательно он велел запереть ворота, которые растворились тогда только, когда мы уселись в повозки; тут фельдъегерь приказал ямщикам ударить по лошадям, толпа расступилась, и мы быстро промчались мимо нее. В Перми мы только пообедали.

При переезде через Сылву лед подломился под моей повозкой, меня вытащили и спасли чемодан мой, плававший в воде; но нам необходимо было остановиться в Кунгуре, чтобы высушить вещи и книги, которыми я запасся в Ярославле. В Кунгуре мы пробыли почти целые сутки, и тут настиг нас следовавший за нами поезд. Пущин, Поджио и Муханов, в сопровождении своего фельдъегеря Желдыбина и жандармов, прибыли в Кунгур, когда мы укладывали уже вещи [2]. Оба фельдъегеря согласились ехать вместе. Прежде я не был знаком

лично ни с Пущиным, ни с Поджио; но у нас было столько общего, что мы встретились, как самые близкие знакомые, и нам было что рассказать друг другу.

Пущин содержался в Шлюссельбурге, Поджио в Кексгольме, а Муханов в Выборге. В Шлюссельбурге содержание заключенных так же почти строго, как в Алексеевском равелине: никогда они не сообщаются между собой и никогда не выходят из своих казематов; зато помещение их чисто и светло, пища не роскошная, но и не совсем скудная, и вообще все происходит по заведенному порядку и мало зависит от личных свойств коменданта. В Шлюссельбурге вместе с Пущиным содержались Юшневский, Николай и Михайло Бестужевы, Дивов и Пестов. Не имея никакого явного сообщения между собой, каждый из них сообщался с своим соседом, ударяя в стену рукой: число ударов в определенном порядке означало буквы, посредством которых, при некоторой привычке, можно было разговаривать довольно удобно. Тюремный этот телеграф выдумал и устроил Николай Бестужев [1]. Поджио содержался вместе с Вадковским, Барятинским, Горбачевским и Вильгельмом Кюхельбекером в Кексгольме, а Муханов имел товарищами в Выборге Лунина и Митькова. В Финляндии тюрьмы для нас были устроены на скорую руку и не представляли возможности для тюремщиков исполнять вполне предписания высшего начальства, а потому и заключение наших в Финляндии не было так строго, как в Шлюссельбурге, но зато содержимые в крепостях Финляндии беспрестанно зависели от произвола местных начальников.

Мы ехали все шестеро вместе около двух суток; потом наш фельдъегерь, добрый Миллер, увез нас троих вперед: для него и для нас было невыносимо неистовое поведение Желдыбина с ямщиками [2]; он их бил немилосердно, не платя почти нигде и половины прогонов. Вообще, фельдъегеря находили возможность обогатиться, перевозя государственных преступников в Сибирь.

По приезде в Тобольск фельдъегерь доставил нас к губернатору Каменскому, который принял нас в своем кабинете довольно учтиво, спросил, довольны ли мы своим фельдъегерем, и потом отправил нас

в городовую полицию. Тут отвели нам огромную холодную комнату, где мы жили двое суток, зябнув и продовольствуясь чем бог послал.

Из Тобольска, вместо фельдъегеря, был отправлен с нами чиновник, надзиратель острога, добрый малый, но который находил необходимым на каждой станции согреть себя водкой. Мы ехали на Тару, потом Барабой, где местами мы не находили воды, которую можно было бы пить, и надо было таять снег.

В Томске мы пробыли сутки. Тут посетил нас сенатор князь Куракин. Он в это время вместе с сенатором Безродным ревизовал Сибирь. Вечером при свечах меня оставили одного в особенной комнате, куда вскоре потом взошел мужчина лет сорока, в шляпе, раздушенный и распомаженный; он подошел к зеркалу, снял шляпу, поправил прическу и, обернувшись, дал знак рукой сопровождавшему его чиновнику полиции, причем чиновник исчез. Все это вместе было очень похоже на сцену из какого-нибудь французского водевиля. Потом князь Куракин подошел ко мне, спросил об обращении фельдъегеря с нами и, изъявив соболезнование об участи, нас постигшей, утверждал очень уверительно, что происшествие 14 декабря не более как следствие расформирования Семеновского полка. Я не пустился в объяснение с его сиятельством; он был один из наших судей, и потому, казалось, должен бы был вполне понимать значение 14 декабря и всего нашего дела [1]. Пробыв несколько минут с сенатором, я вышел, и меня поочередно заменили мои товарищи Арбузов и Тютчев.

В Красноярске мы пробыли только несколько часов. В то время город этот не имел еще такого значения, какое он получил после того, что в его окрестностях похоронили столько денег и потом добыли огромное количество золота. От Красноярска до Иркутска, по гористой местности, мы совершили наш путь частью на телегах, что при украшении, какое мы имели на ногах, было не совсем удобно.

В Иркутск мы прибыли 22 ноября. Подъезжая к городу, мы увидали его сквозь густой туман, стлавшийся над рекой. Там мы узнали, что в этот день холод доходил до 32 градусов; но Ангара еще не замерзла, и мы переехали ее на пароме. Нас привезли прямо в острог,

где принял нас частный пристав Пирожков, исправлявший должность полицмейстера. Для нас очистили огромную комнату, в которой содержались прежде женщины.

В Иркутске мы в первый раз услышали о месте нашего назначения; Пирожков сообщил нам, что нас отправят за Байкал, в Читу. Он хотел нас уверить, что там отберут у нас все вещи и что потому нам не худо бы было распорядиться ими в Иркутске; мы ему не поверили, и хорошо сделали. Пока очищали для нас комнату, прошел мимо нас Юшневский в сопровождении часового; он так похудел, что я едва его узнал; мы с ним нежно обнялись и вечером нам позволили пить вместе чай. Тут он между прочим рассказал нам, как его уверяли, что у него отберут все вещи, для избежания чего многое он подарил своему фельдъегерю; товарищи Юшневского были: Спиридов, Пестов и Андреевич; они были приостановлены, чтобы начальство имело время распорядиться отправлением их вокруг моря [1].

Мы застали также в Иркутске Матвея Муравьева и Александра Бестужева; они оба были на свободе в ожидании своего отправления по Лене в Якутск. Бестужев мне прислал «Цыган» [2]. Это новое произведение Пушкина прочел я с истинным наслаждением. В тот же вечер нас повели в баню, где прислуживали нам очень ловко и вежливо люди в цепях: то были тяжкие грешники с клеймами на лице и некоторые без ноздрей, содержимые вместе с нами в остроге; такое сближение с ними было для меня не без пользы. Вместо отвращения, какое своими учреждениями и всеми своими предрассудками старается поселить общество к тем, кого оно отвергло от себя, я не мог воздержаться от некоторого сочувствия к бедным этим людям. К крайнему моему удивлению, вошел к баню Александр Бестужев, весь в мыле; я спрыгнул с полка и обнял его; мы пробыли здесь вместе, разумеется, недолго и имели только время перемолвить несколько слов о «Цыганах» Пушкина.

Бестужев нашел возможность притти в острог и увидеться с своими братьями Николаем и Михаилом, которые на другой же день были отправлены в Читу; в Иркутске я с ними не видался. За ними скоро был отправлен Юшневский с своими товарищами. В остроге

7*

мы оставались без желез; с нас их сняли, чтобы поправить и сделать удобнее для ходьбы.

На другой день нашего приезда нас посетил генерал-губернатор Лавинский; перед ним несли жаровню и курили; приблизясь к нам и спросив, не имеем ли каких жалоб на чиновника, нас сопровождавшего, он обратился ко мне и сказал, что коротко знаком с моей тещей Надеждой Николаевной Шереметевой, которая желает через него иметь обо мне известие. Говоря со мной, он избегал и *вы* и *ты*, и речь его была так угловата, что ему самому, видимо, было неловко со мной. Через несколько часов после Лавинского посетил нас гражданский губернатор Цейдлер; он был с нами учтив и обещал известить жену мою о том, что я прибыл в Иркутск и здоров. 24 ноября привезли Пущина, Поджио, Муханова. Первоначально нам не позволили видеться, а потом соединили нас в одну комнату, и мы с неделю прожили все вместе. Тут иногда стояли у нас на часах бывшие семеновские солдаты; не только их товарищи, но и офицеры отзывались о них с уважением.

Сильные морозы подавали надежду, что Байкал скоро станет, и полагали отправить нас за море по льду; но потом наступила довольно мягкая погода, и потому Арбузов, Тютчев и я, мы были отправлены кругоморской дорогой в сопровождении казачьего офицера и трех казаков. В тот же день мы прибыли в Култук, небольшое селение на берегу Байкала, где мы и ночевали. Жители этого селения по большей части занимаются рыбной ловлей и звериной охотой. Тут я в первый раз ел жареную кабаргу. Положение Култука прелестно; вид Байкала, с окаймляющими его горами, истинно прекрасен, и мне думалось тогда, что быть поселенным здесь и жить в этом отдаленном уголке с семейством было бы верх счастья.

На другой день с нас снял офицер оковы, и мы отправились в дальний путь верхами. Офицер остался запастись водкой, казаки также от нас отстали, и мы в продолжение некоторого времени были как будто на свободе. Погода была нехолодная. После долгой неволи иметь под собой лошадь, которою правишь по своему произволу, и не иметь около себя соглядатаев возбуждает какое-то особенно прият-

ное чувство. По мере того как мы подымались на гору, вид Байкала становился шире и удлинялся в даль. Перед сумерками мы приехали на первую станцию от Култука, где бы, вероятно, и ночевали, если бы тут наш полупьяный офицер не заушил дворового человека Бурнашова, бывшего начальника Нерчинских заводов. После этого происшествия офицер наш велел седлать лошадей, и мы отправились далее. Уже ночью мы переехали гольцы Хамар-Дабана и поздно, усталые, добрались до станции. Арбузова внесли в комнату на руках: его так разломала верховая езда, что он [1] не мог держаться на ногах.

На другой день мы пустились в путь не очень рано. Мы ехали верхом всего около 200 верст, и на всем протяжении не было никаких селений. Лошади, для которых надо было привозить корм очень издалека, и провожатые буряты оставались на станциях только на время, пока не было сообщения по льду через Байкал. Дорога через Хамар-Дабан и по всей это горной и безлюдной стране была замечательна своим устройством. Везде, где она проходила мимо обрывов, были поставлены надолбни; через все потоки и речки были очень исправно проложены мосты, даже некоторые крутизны были срыты: это был один из памятников самопроизвольного и вместе с тем иногда разумного управления Трескина.

После верховой езды на нас опять надели цепи, и мы ехали на санях, местами почти совсем без снегу. В Ключах, староверческом селении, нас приняли очень радушно; пока мы пили чай и потом обедали, много мужчин и женщин приходили поглядеть на нас и потолковать о том, что делалось тогда на Руси. В тот же день мы ночевали в Тарбагатае, также староверческом селении.

Я прежде говорил офицеру, что мне хотелось бы увидаться с Александром Николаевичем Муравьевым, когда мы будем проезжать через Верхнеудинск. Ночью в Тарбагатае офицер разбудил меня, снял с меня железа и вывел из комнаты тайком; потом сказал, что я увижусь с Муравьевым, и повел меня к Заиграеву, про которого упоминают многие из путешественников, описывавших Забайкальский край. Заиграев был неглупый и очень зажиточный крестьянин. У него в гостиной была мебель красного дерева, в углу английские столовые

часы, и на столе, когда мы вошли, лежали московские газеты; но вместо Муравьева я нашел тут княжну Вар. Мих. Шаховскую. Она приехала как будто для того, чтобы приискать кормилицу для сестры своей, и надеялась встретить тут Муханова, с которым она была в родстве и очень хорошо знакома. Я прежде ее почти не знал, но тут мы сошлись с ней, как будто век были знакомы. Она мне рассказала многое, чего я не знал, о наших [1].

Александр Муравьев, приговоренный верховным уголовным судом к каторжной работе на 12 лет, был не только освобожден от работы, но сохранил звание, чин и проч. Он был отправлен на жительство в Якутск; жена его с двумя детьми и двумя своими сестрами за ним последовала, и под каким-то предлогом они все вместе оставались некоторое время в Иркутске; потом Муравьеву вышло позволение, вместо Якутска, жить в Верхнеудинске, откуда он подал просьбу о дозволении ему вступить в службу и был впоследствии определен полицеймейстером в Иркутск.

Вскоре после окончания нашего дела Артамон Муравьев, Давыдов, Оболенский и Якубович были отправлены в Сибирь; вслед за ними были также отправлены Трубецкой, Волконский и два Борисовых. За день до отъезда у Трубецкого тарелками шла кровь горлом, что, однако, не остановило его отправления. По прибытии в Иркутск они были размещены по ближайшим заводам. К Трубецкому приехала жена, и он, устроившись кое-как в Николаевском винокуренном заводе, надеялся, что их тут оставят пока пожить вместе; но они недолго оставались в таком положении. Во время коронации Лавинский [2] прислал нарочного с приказанием, вследствие которого всех осьмерых наших потребовали в Иркутск, откуда тотчас же отправили их за Байкал, в Нерчинские рудники. Княгиню Трубецкую старались всячески задержать в Иркутске и уговаривали даже возвратиться в Россию; но она, своей решительностью преодолев все препятствия, последовала за мужем в Благодатский рудник, где она с ним виделась, но они не жили уже вместе. Бурнашов, начальник Нерчинских заводов, обращался довольно грубо с нашими и сожалел, что в полученном предписании ему приказано было беречь здоровье государст-

венных преступников: их посылали ежедневно в шахты добывать руду вместе с другими каторжными.

Горничная кн. Шаховской сварила кофе и моему офицеру, подлила в него рому; этот напиток подействовал так благодетельно на казака, что он несколько раз безуспешно пытался встать со стула, что и доставило мне возможность беседовать целую ночь с кн. Шаховской.

Проезжая через Верхнеудинск, я напрасно ожидал, что Александр Муравьев выйдет к нам навстречу. Из Верхнеудинска мы ехали и на санях и на колесах и прибыли, наконец, в Читу 24 декабря.

По прибытии в Читу нас привезли в малый каземат: так называли небольшой домик, обнесенный высоким частоколом, служивший прежде острогом для пересылаемых в Нерчинский завод, а потом помещавший в себе часть государственных преступников. Нас ввели в особую комнату, принесли наши вещи и разложили их на пороге; караульный офицер, составив опись нашим вещам, оставил нам платье и белье; книги взял для доставления коменданту, который должен был их рассмотреть; часы же, столовые приборы, даже щипцы были у нас отобраны как предметы, которыми по тюремному положению мы не могли пользоваться. Когда ушел офицер, дверь в нашу комнату осталась свободной, и жильцы малого каземата посетили нас; тут были Юшневский, Николай и Михайло Бестужевы, Горбачевский, Артамон Муравьев и другие.

В сумерки плац-адъютант Куломзин тайно привел ко мне Фонвизина. После продолжительной разлуки мы нежно обнялись с ним. Он похудел; раненый в ногу во время кампании 13-го года, оковы по временам очень его беспокоили. Он часто получал письма от жены своей, которая собиралась скоро к нему приехать; расстался он с ней еще в начале 1827 г. В это время началось отправление из Петропавловской крепости в Читу. До самого отъезда содержавшиеся в Петропавловской крепости имели дозволение еженедельно видеться с близкими своими родственниками.

Вслед за отправленными после казни в каторжную работу были также отправлены все разжалованные в солдаты и присужденные на поселение. Положение последних по назначению мест их жительств

было вообще незавидно, а некоторых даже ужасно дурно. Все они были поселены в самых северных странах Сибири; Николай Бобрищев-Пушкин и Шаховской были отправлены в Енисейск, где они оба сошли с ума. Чижов был поселен в Гижиге, а Назимов — в Среднеколымске, состоявшем из нескольких казачьих юрт. Казаки, получив предписание держать Назимова под строгим надзором и вместе с тем беречь его здоровье, не знали, что с ним делать; они заперли его в одну из своих юрт, отправив гонца в Якутск с донесением, что Назимов болен и что они не знают, чем его кормить; сами они зимой питались вяленой рыбой. Через некоторое время вышло разрешение перевезти Назимова в одно небольшое селение на Лене, где ему было уже несколько лучше; но в Среднеколымске он нажил жестокие ломоты в руках и ногах, от которых впоследствии едва мог избавиться. Чижов также был переведен из Гижиги в другое место. Все прочие государственные преступники осьмого разряда были также поселены в местах, весьма неудобных для жизни.

После коронации был учрежден комитет для составления устава относительно нашего заключения и содержания. В комитете этом заседали генералы Чернышев, Дибич, Бенкендорф и другие. Местом для нашего заключения был назначен Акатуй, серебряный рудник, в стране глухой и отдаленной от всякого жилья. Тут заложен был фундамент острога, не выходя из которого во время нашего содержания, мы спускались бы в шахты для ежедневных работ. Но постройка этого острога могла кончиться не прежде, как года через два или три, и потому временным местом нашей ссылки была назначена Чита.

По учреждению комитета был вызван в Москву Лепарский, только что произведенный в генерал-майоры, и назначен комендантом Нерчинских заводов. Перед тем он командовал конно-егерским Северским полком, которого шефом был великий князь Николай Павлович. Лепарский был уже очень стар. При Кагуле он был на ординарцах у Румянцева; в конфедератскую войну он был уже майором. Поляк, он воспитывался в Польше у иезуитов. Несмотря на преклонность своих лет и на странность приемов, он был человек очень неглупый, и ум его еще был свеж, а, что и того лучше, сердце у него было

совершенно на месте и нисколько не стариковское. Снабженный строгими предписаниями от комитета, он был отправлен в Читу, чтобы распорядиться там помещением для нас. В Иркутске, по требованию Лепарского, была назначена команда, с приличным числом офицеров, для содержания караулов в Чите. Были также назначены для нас и для читинской команды священник и врач. С прибытием коменданта в Нерчинск положение содержавшихся в Благодатском руднике изменилось не к лучшему. На них надели цепи, которых они до того не носили [1], потом их перевезли в Читу. Первоприбывших в Читу, Никиту Муравьева, брата его, Анненкова, Фонвизина, Басаргина, Вольфа, Абрамова и др., поместили в старом каком-то строении, очень низком, темном и сыром, и сначала содержали их очень строго. С наступлением теплой погоды их водили на некоторые земляные работы. В это время приступили к поправке малого и к постройке большого каземата.

День нашего прибытия в Читу был канун Рождества, и вечером повели нас всех из малого каземата, в сопровождении солдат с ружьями и штыками, в большой каземат, где священник с своим причтом служил для нас всенощную. Тут я имел удовольствие обнять многих старых моих приятелей и близких мне знакомых. В большом каземате помещалось человек около шестидесяти. Все были в цепях, которые скидывались только, когда водили в баню или к причастию. Все двигалось, гремело, но только ни на ком не было уныния, и все было как будто на каком-то торжественном пиршестве.

Один только Никита Муравьев был болен и жестоко страдал и телом и душой. В Москве у матери он оставил троих малолетних своих детей — мальчика и двух девочек, и недавно получил известие, что мальчик скончался; бедный Никита в этом печальном положении не имел даже возможности делить горе с своей женой, тотчас последовавшей за ним в Сибирь.

Когда я приехал в Читу, там были уже княгиня Трубецкая, княгиня Волконская, Муравьева, Нарышкина, Ентальцева и Давыдова. Все они покинули родных и всех своих близких, а Муравьева и княгиня Волконская расстались с малолетними детьми своими, может

быть навсегда, и отправились в Сибирь с твердым желанием делить участь мужей своих и в надежде жить с ними вместе; но и эта скромная надежда для них не сбылася. По прибытии в Читу они имели только возможность видеться с своими мужьями два раза в неделю, и всякий раз не более как на несколько часов. Всякий раз каждая из них подходила украдкой к частоколу, чтобы взглянуть на своего мужа и перемолвить с ним несколько слов, но и это утешение не всегда им удавалось: часовые имели строгое приказание никого не подпускать к острогу, и нередко случалось, что часовой, исполняя приказ начальства, отгонял посетительницу прикладом [1].

На другой день нашего приезда в Читу посетил нас комендант Лепарский. После обыкновенных расспросов в подобных случаях, не имеем ли каких жалоб на офицера, нас сопровождавшего, Лепарский передал мне поклон от Граббе, с которым он был коротко знаком. После отставки и годовой ссылки в Ярославль Граббе, принятый на службу, был определен младшим полковником в Северский конно-егерский полк и отдан под строгий надзор Лепарского, который, не стесняясь данными ему предписаниями, всевозможным вниманием старался облегчить неловкое положение Граббе. Граббе не был судим верховным уголовным судом; но за смелые ответы в комитете после нашего приговора по воле высочайшей власти он содержался некоторое время под арестом в Динабурге и потом отправлен в свой полк. По прибытии в полк он остановился в трактире; Лепарский в тот же день явился к нему со строгим выговором за то, что Граббе не остановился прямо у него. Граббе извинялся тем, что таким поступком и в обстоятельствах, в каких находился, боялся повредить ему. Лепарский, невзирая ни на что, перевез к себе Граббе, сказав ему, что «так [как] сам государь не нашел вас виновным, то мне нечего вас опасаться».

Через три дня после нас прибыли в Читу Пущин, Поджио и Муханов, и через два дня после их прибытия фельдъегерь привез Вадковского. Все четверо они были помещены в одну с нами комнату, и, когда мы семеро ложились ночевать на нары, не приходилось в ширину по аршину на человека; но тогда все это было нипочем. Знали, что фельдъегерь, который привез Вадковского, должен был увезти

кого-то из Читы, но кого именно и куда в продолжение нескольких дней было неизвестно; кончилось тем, что он увез Корниловича, как было слышно, в Петропавловскую крепость, откуда потом Корнилович был отправлен на Кавказ, где и умер [1].

В малом каземате мы обедали все вместе и поочередно дежурили; обязанность дежурного состояла в том, чтобы приготовить все к обеду и к ужину и потом все прибрать. К обеду приносил сторож огромную латку артельных щей и в другой латке накрошенную говядину; хлеб приносили в ломтях; нам не давали ни ножей, ни вилок; всякий имел свою ложку, костяную, оловянную или деревянную; недостаток тарелок дополняли чайными деревянными китайскими чашками. После каждой трапезы наступало для дежурного отвратительное положение: ему приходилось мыть посуду и приводить все в порядок, а для исполнения этой обязанности недоставало средств: не было ни стирок, ни часто даже теплой воды для мытья посуды. Чай мы также пили все вместе, и тот, кто постоянно его разливал, избавлялся от обязанности поочередно дежурить с другими.

Мы жили в такой тесноте, что ничем пристально заниматься не было возможности; едва удавалось в течение дня что-нибудь прочесть. Игра в шахматы и взаимные рассказы были главным нашим занятием и развлечением. В будни наряжались из всех казематов 16 человек на работы, куда мы отправлялись за конвоем вооруженных солдат. В небольшом домике были [2] поставлены четыре ручных мельницы, которые помещались в одной комнате; работа продолжалась три часа поутру и три часа после обеда. В это время мы должны были все вместе перемолоть четыре пуда ржи, из числа которых приходилось по десяти фунтов на каждого человека; а так как у каждой из четырех мельниц не могло работать более двух человек, то мы в продолжение работы сменялись несколько раз. Работа, конечно, была нетяжелая; но некоторые, не имея сил исполнить сами свой урок, нанимали сторожа, который молол их пай. Мука нашего изделия была вообще не отличного достоинства. Те, которые не работали, в другой комнате курили, играли в шахматы или занимались чтением и разговором.

В феврале приехала m-lle Поль, получившая позволение выйти замуж за Анненкова[1]. После венчанья Анненкову было позволено остаться три дня с молодой своей супругой, и на это время с него сняли оковы. Наконец, приехала и Фонвизина. Разные неблагоприятные обстоятельства задерживали ее в Москве. Здоровье ее было очень ненадежно, и в отсутствие мужа она была несколько раз тяжко больна. Приехавши в Сибирь, ей приходилось покинуть двух малолетних детей, расстаться навсегда с престарелыми родителями, которые, страстно любя единственную свою дочь, всячески старались удержать ее от поездки в Сибирь, она же, преодолев все нежные чувства в себе к отцу, матери и детям, отправилась окончательно к своему мужу. Она ко многим из нас, и ко мне в том числе, привезла письма. Жена моя убедительно просила меня, чтобы я позволил ей приехать, уверяя, что она нисколько не чувствует себя способной быть на пользу для детей; но я был убежден в противном.

Меня и некоторых других перевели из малого каземата в большой. В комнате, в которой меня поместили, нас было четырнадцать человек. По всем стенам стояли кровати; посреди комнаты стоял стол, за которым мы обедали; по одну сторону его стояла скамейка, а по другую сторону стола оставалось не более простора, сколько необходимо пройтиться одному вдоль комнаты, и потому по необходимости приходилось почти целый день сидеть, когда нельзя было гулять по двору. Большой каземат был невообразимо дурно построен; окна с железными решетками были вставлены прямо в стену без колод, и стекла были всегда зимой покрыты толстым льдом. В комнате нашей вообще было и холодно и темно. Всякий старался пристроиться на своей кровати так, чтобы ему можно было читать или заниматься чем другим.

Все, с малым исключением, учились сами или учили других, и такие постоянные занятия в нашем положении были примирительными средствами и истинным для нас спасением. Будучи в беспрестанном столкновении друг с другом, более праздная жизнь была бы для нас губительна. Очень немногие из славян знали иностранные языки, и почти все они начали учиться по-французски; те, которые не знали

по-немецки и по-английски, при помощи других учились этим языкам. Немногие занимались даже древними языками. Те, которые были знакомы с математикой и естественными науками, имели также учеников. В книгах недостатка не было, журналов получалось также довольно, и всякий имел возможность читать лучшие сочинения по всем отраслям человеческих знаний.

Первое время, без привычки, очень трудно было чем-нибудь пристально заниматься, почти беспрестанно слышались звуки желез; случалось углубиться в чтение, а иногда, получивши письма от своих, унестись мыслью далеко от Читы, и вдруг распахнется дверь, и молодежь с топотом влетит в комнату, танцуя мазурку и гремя цепями. Некоторые упражнялись в музыке, рисованье и живописи, другие занимались ремеслами для пользы общей. Прежде всего образовались портные, в которых в первое время пребывания нашего в Чите оказалась потребность; впоследствии были между нами и столяры, и слесаря, и переплетчики.

Николай Бестужев, в молодости учившийся в академии художеств, был наш портретист и нарисовал наших дам и почти всех своих товарищей; вместе с тем он был и нашим часовщиком, когда нам позволено было иметь при себе часы [1]. По временам, в хорошую погоду, на дворе играли в городки и бары, хоть это было не совсем удобно при тех украшениях, какие мы имели на ногах [2], но потом почти все ознакомились с этой игрой.

В разговорах очень часто речь склонялась к общему нашему делу, и, слушая ежедневно частями рассказы, сличая эти рассказы и поверяя их один другим, с каждым днем становилось все более понятным все то, что относилось до этого дела, все более и более пояснялось значение нашего Общества, существовавшего девять лет вопреки всем препятствиям, встречавшимся при его действиях; пояснялось также и значение 14 декабря [3], а вместе с тем становились известными все действия комитета при допросе подсудимых и уловки его при составлении доклада, в котором очень немного лжи, но зато который весь не что иное, как обман. Избрать из находившихся под следствием определенное число виновных и обречь их на жертву было нетрудно,— всякий,

кто был уличен в непристойных словах против правительства, подвергался уже всей строгости законов; но труднейшая задача комитета состояла в том, чтобы, давши как будто несомненные доказательства добросовестности, осквернить перед общим мнением цель Тайного общества и вместе с тем осквернить побуждения каждого из членов этого Общества.

Для достижения своей цели члены комитета нашли удобным при составлении доклада, опираясь беспрестанно на собственные признания и показания подсудимых, поместить в своем донесении только то из этих признаний и показаний, что бросало тень на Тайное общество и представляло членов его в смешном или отвратительном виде, умалчивая о том, что могло бы возбудить к ним сочувствие [1].

Верховный уголовный суд, сообразуясь с действиями комитета, с своей стороны нарушил порядок, определенный законами в судопроизводстве. Подсудимых не требовали в суд для прочтения им обвинений комитета; у них не спрашивали, не имеют ли они чего прибавить к прежним своим показаниям или сказать что-нибудь в свое оправдание. Они были призваны только за несколько дней до произнесения приговора для того, чтобы подписать, как сказали им, собственные их показания, но которых они не читали и которые по большей части были написаны не их рукой. Конечно, во всем этом ни члены комитета, ни члены верховного уголовного суда не заслуживают особенного нарекания. В подобных случаях в России и вне России всегда поступают точно так же, ничем не стесняясь при обвинении людей, почитаемых опасными для существующего правительства. Трудно обвинить членов комитета в умышленной несправедливости из личных видов против кого-нибудь из подсудимых. Можно привести только один пример такой явной несправедливости. Граф Чернышев, отданный под суд, содержась в крепости и ни разу не быв призван в комитет, даже не получив ни одного письменного запроса, был приговорен в каторжную работу. Он со временем должен был получить в наследство довольно значительный майорат, установленный в их роде. Граф Чернышев был единственный сын, и после лишения его всех прав и состояния мужская линия прекратилась в их семействе, и генерал

Чернышев, так усердно действовавший в комитете, воспользовался таким обстоятельством, предъявил свои требования на получение майората. Сенат, по рассмотрении этого дела, нашел, что требования генерала Чернышева не были основаны ни на малейшем праве, и присудил, что майорат должен принадлежать старшей сестре гр. Чернышева, сосланного в Сибирь. Она была замужем за Кругликовым, который по получении майората стал называться графом Чернышевым-Кругликовым [1].

Все мы, вместе находившиеся в Чите, имели между собой много общего в главных наших убеждениях; но между нами были 40-летние, другим едва минуло 20 лет. При нашем тогда образе существования никто внутри каземата не был стеснен в своих сношениях с товарищами никакими светскими приличиями. Личность каждого резко выказывалась во многих отношениях, мнения одних разнились от мнений других, и мало-помалу составились кружки из людей более близких между собой по своим понятиям и влечениям. Один из этих кружков, названный в насмешку «Конгрегацией», состоял из людей, которые по обстоятельствам, действовавшим на них во время заключения, обратились к набожности; при разных других своих занятиях они часто собирались все вместе для чтения назидательных книг и для разговора о предмете, наиболее им близком. Во главе этого кружка стоял Пушкин, бывший свитский офицер и имевший отличные умственные способности. Во время своего заключения он оценил красоты евангелия и вместе с тем возвратился к поверьям своего детства, стараясь всячески осмыслить их. Члены «Конгрегации» были люди кроткие, очень смирные, никого не задирающие, и потому в самых лучших отношениях с остальными товарищами [2].

Другой кружок, наиболее замечательный, состоял из Славян; они не собирались никогда вместе, но, быв знакомы одни с другими еще прежде ареста, они и потом оставались в близких сношениях между собой. Все они служили в армии, не имея блистательного положения в обществе; многие из них воспитывались в кадетских корпусах, не отличавшихся в то время хорошим устройством. Вообще грамотность Славян была не очень обширна; но зато, имея своего рода поверья,

они не изъявляли почти никогда шаткости в своих мнениях, и, приглядевшись к ним поближе, можно было убедиться, что для каждого из них сказать и сделать было одно и то же и что в решительную минуту ни один из них не попятился бы назад.

Главное лицо в этом кружке был Петр Борисов, которому Славяне оказывали почти безграничную доверенность. Иные почитали его основателем Общества соединенных славян; но он в этом не сознавался, и, зная его, трудно было поверить, чтобы он мог быть основателем какого-нибудь тайного общества. Воспитанный дома у отца, довольно любознательного, он, вступив восемнадцати лет в артиллерию юнкером, с ротой своей стоял некоторое время в имении богатого польского помещика, у которого была библиотека. Борисов, зная несколько по-французски и пользуясь книгами, которые попадались ему в руки, прочел Вольтера, Гельвеция, Гольбаха и других писателей той же масти восемнадцатого столетия и сделался догматическим безбожником. Проповедуя неверие своим товарищам Славянам, из которых многие верили ему на слово, он был самого скромного и кроткого нрава; никто не слыхал, чтобы он когда-нибудь возвысил голос, и, конечно, никто не подметил в нем и тени тщеславия. Благорасположение ко всем проявлялось в нем на каждом шагу, и с детским послушанием он исполнял требования кого бы то ни было; он любил страстно чтение и рисовал очень недурно; но требовал ли кто-нибудь, чтобы он вскопал гряду, и он тотчас оставлял свои любимые занятия и брался за заступ; нужно ли было кому воды для поливки, он без малейшей оговорки приносил ведра с водой. Следя внимательно за всеми его поступками, невольно приходило на мысль, что этот человек, несознательно для самого себя, был проникнут истинным духом христианства [1].

Были и другие кружки, составившиеся по разным личным отношениям. Но при всем том мы все вместе составляли что-то целое. Бывали часто жаркие прения, но без ожесточения противников друг против друга. Небольшие ссоры между молодежью вскоре прекращались посредничеством других товарищей, и вообще никогда сор не выносился из избы. Все почти Славяне и многие другие не привезли с собой

денег и не получали ничего из дома; нужды их удовлетворялись другими товарищами, более имущими, с таким простым и искренним доброжелательством, что никто не чувствовал при том ничего для себя неловкого. Деньги наши и даже деньги дам хранились у коменданта; дамам он выдавал их не в большом количестве и всякий раз требовал в них письменного отчета. Для уплаты по расходам в каземате были придуманы разные приемы, на которые комендант смотрел сквозь пальцы, требуя только, чтобы ему был представлен подробный отчет в выданных им деньгах, и не заботясь, истрачены ли они именно на тот предмет, который показывали в отчете. Всякий, кто имел деньги, подписывал их все или часть их в артель, и они становились общей собственностью. Хозяин, избранный нами, расходовал этими деньгами по своему усмотрению на продовольствие и на другие необходимые вещи для всех [1].

В марте 1828 г. пришло разрешение всех государственных преступников седьмого разряда, кончивших свой срок работы, отправить на поселение. Пред отправлением с них сняли оковы и позволили им видеться с нашими дамами [2], которые неимущих снабдили всем нужным и дали им денег. Принадлежащие к этому разряду были распределены по местам очень северным и наравне неудобным к жизни, как и места, где были первоначально поселены государственные преступники восьмого разряда. Чернышев один был помещен несколько лучше других: его отправили в Якутск. Кривцов и Загорецкий были поселены на Лене, Иван Абрамов и Лесовский — в Туруханске. Выгодовский был отправлен в Нарым, а Тизенгаузен — в Сургут,Ентальцев, Лихарев и Черкесов были отосланы в Березов, где они нашли Враницкого и Фохта. Бриген был послан в Пелым.

Из этого разряда Поливанов умер еще в крепости, а Толстой, пробыв короткое время в Чите, был отправлен на Кавказ.

Перед отправлением седьмого разряда прибыли в Читу Игельстром, Вегелин и Рукевич; первые двое служили саперами в Литовском корпусе и после того, что отказались присягать новому императору, были арестованы [неразб.]. Рукевич — поляк, державший на [неразб.] какое-то имение. Все трое они принадлежали к Тайн[ому]

обществу, существовавшему в Вильне, прочие члены которого были давно подвержены правительством разного рода наказаниям, но только Игельстром, Вегелин и Рукевич были судимы на месте военною комиссиею и осуждены в каторжную работу. До Тобольска их везли с жандармами [1], но от Тобольска они были отправлены пешком в цепях с партиею до Иркутска [2].

В то время, что мы судились в Петербурге, офицеры Черниговского полка барон Соловьев, Сухинов, Мозалевский и Быстрицкий, участвовавшие в восстании Сергея Муравьева, были отданы на месте под военный суд. Приговоренные в каторжную работу на 20 лет, они были отправлены пешком в Нерчинские рудники. Быстрицкий оставлен некоторое время за болезнью в Москве и прибыл в Читу прежде Соловьева, Сухинова и Мозалевского, которые уже давно находились в Нерчинске.

Вступив в близкие сношения с некоторыми из ссыльно-каторжных, Сухинов замыслил с ними восстание, дальнейшая цель которого осталась не совсем известна; некоторые из тех же ссыльных донесли о заговоре, в котором они участвовали. Сухинов, Соловьев, Мозалевский и все подозреваемые в заговоре были заключены под строгий караул. Комендант Лепарский, по донесении в Петербург об этом деле, получил повеление подвергнуть виновных наказанию, к какому суд приговорит их, не дожидаясь на то разрешения высочайшей власти. Скрепя сердце, Лепарский отправился в Нерчинск. Сухинов, унтер-офицер Московского полка, сосланный после 14 декабря, и еще несколько человек приговорены к смертной казни и были расстреляны, кроме Сухинова, который предупредил казнь самоубийством [3].

После этого происшествия Соловьев и Мозалевский, нисколько в нем не участвовавшие, были перевезены в Читу. Лепарский не имел возможности не быть исполнителем повеления, полученного из Петербурга; но по возвращении ему, видимо, было неловко, особенно когда он виделся с нашими дамами, которые долго смотрели на него, как на палача. До моего приезда были и между нашими разного рода предположения о возможности освободиться, но так как все эти предположения были несбыточны, они пали сами собой, без малейших послед-

ствий, и мы, приехавшие после, знали о них только по рассказам [1]. Впоследствии когда все и каждый оценили то назначение, какое мы имели в нашем положении, никому на мысль не приходило намерение освободиться. Никто даже из находившихся на поселении, в самых тяжких обстоятельствах, не попытался избавиться от своих страданий бегством.

От своих мы получали письма через коменданта, который должен был предварительно прочитать их. Самим же нам не было дозволено писать, но наши дамы, имевшие право переписываться с кем им было угодно, взяли на себя труд извещать о нас родных, и таким образом устроилась между нами и нашими родными довольно правильная переписка. Каждая дама имела несколько человек в каземате, за которых она постоянно писала, и переданное ей от кого-нибудь черновое письмо она переписывала начисто как будто от себя, прибавив только: «Такой-то просит меня сообщить вам то-то».

Труд наших дам по нашей переписке был немаловажен. Я знаю, что одна княгиня Трубецкая переписывала и отправляла к коменданту еженедельно более десяти писем. Дамы, приехавшие к своим мужьям, давали расписки в том, что они подчинятся всем распоряжениям коменданта и, помимо его, ни с кем не будут в переписке. Коменданту на каждой неделе приходилось, по прибытии и перед отправлением почты, прочесть писем сто. Все письма из Читы шли через третье отделение, и комендант читал их на случай, что может быть запрос по какому-нибудь из этих писем. Письма же к нам читались в Иркутске, и если губернатор находил в них что-нибудь заслуживающее внимания, то он сообщал об этом в третье отделение. Комендант читал и эти письма, опасаясь опять, чтобы ему по какому-нибудь из них не сделали запроса.

Однажды, скоро по прибытии Фонвизиной, меня позвали к частоколу, у которого стояла княгиня Трубецкая с письмом в руках; она мне просунула его сквозь промежуток в частоколе и с искренней радостью передала мне добрую весть, что жене моей позволено приехать ко мне и взять с собой детей. Это известие было так неожиданно для меня, что я, не смея сомневаться в словах княгини

Трубецкой, не вдруг мог поверить своему счастью. Все в каземате меня поздравляли.

У Никиты Муравьева, у Фонвизина и у Давыдова остались дети, которым, можно было теперь надеяться, позволят приехать к своим родителям; у Розена осталась жена при малолетнем сыне, и Розен также мог теперь надеяться скоро свидеться с своим семейством.

На другой день комендант, приехав в каземат, взял меня в сторону и, зная, что жена моя с детьми собирается приехать ко мне, объявил мне, что он не дозволит им со мной свидания, если на это не получит особенного предписания. Я старался уверить его превосходительство, что, конечно, жена моя не отправится в Сибирь с детьми, не получив на то дозволения от кого следует, и что, конечно, об этом он будет извещен до ее прибытия.

Вскоре потом я получил письмо, в котором жена моя передала записку, полученную ею от г[енера]ла Дибича, за собственноручной его подписью и в которой было сказано: государь император соизволил разрешить Якушкиной ехать к мужу, взявши с собой и детей своих, но при сем приказал обратить ее внимание на недостаток средств в Сибири для воспитания ее сыновей [1]. Получив такое благоприятное известие, я вправе был надеяться, что в скором времени соединюсь с моим семейством. Жена моя, за нездоровьем маленького, не могла тотчас воспользоваться дозволением ехать в Сибирь и должна была отложить свое путешествие до летнего пути; а между тем Анна Васильевна Розен, узнавши, что жене моей позволено ехать в Сибирь и взять с собой детей, отправилась в Петербург хлопотать, чтобы и ей было дозволено ехать к мужу вместе с своим сыном. При свидании с ней шеф жандармов граф Бенкендорф решительно отказал ей на ее просьбу, сказав, что г[енера]л Дибич поступил очень необдуманно, ходатайствуя за Якушкину, которая, впрочем, не получит уже из третьего отделения всего нужного для своего отправления и потому также не поедет в Сибирь. На вопрос А. В. Розен, что было бы с Якушкиной, если бы она, получив высочайшее позволение, тотчас вместе с детьми отправилась к мужу: в таком случае, отвечал шеф жандармов очень откровенно, ее, конечно, не вернули бы назад.

В это время началась война с Турцией, и потому ни императора, ни г[енера]ла Дибича не было в Петербурге. Теща моя ездила не раз в Петербург хлопотать об отправлении дочери и внуков своих в Сибирь, но все старания остались тщетными. Шеф жандармов на ее убедительные просьбы остался непреклонным; она с горестью известила меня об всем об этом. Получив ее письмо, мне живо представилось положение жены моей; мне приходилось вторично принести ее в жертву общим нашим обязанностям к малолетним детям; я при этом совершенно растерялся.

Попросив к себе коменданта, я убеждал его вступиться в мое положение и сделать все, что он может, для соединения меня с моим семейством, обращая его внимание на то, что жена моя уже имела высочайшее позволение вместе с детьми приехать ко мне. Комендант просил меня успокоиться, сказав, что в этом деле он не имеет никакой возможности принять действительное участие; потом, чтобы утешить меня в моем горе, он рассказал мне о многих затруднениях, испытанных им в жизни, и которые он преодолел только терпением, чем, конечно, он нисколько меня не утешил. Но и на этот раз опять пришлось уступить всемощной неизбежности и помириться, сколько это было можно, с моим положением.

Швейковский слишком год был нашим хозяином; кормил он нас довольно плохо и очень неопрятно; вообще его распоряжениями по хозяйству многие были недовольны, и молодежь особенно изъявляла на него свое неудовольствие, вследствие чего Швейковский просил освободить его от должности хозяина, на что все согласились и приступили к выбору нового хозяина. При этом собирались голоса всех участвующих в артели. Не чувствуя себя способным исполнить обязанности хозяина, я отказался от избрания и избирательства. На место Швейковского был выбран Розен; при нем с теми же малыми средствами, как и прежде, все по хозяйству пошло несколько лучше.

С наступлением весны загородили для нас большое место под огород, и мы всякий день по нескольку человек ходили туда работать. В первый этот год урожай был очень плохой; но все-таки в продолжение осени и зимы клалось в нашу артельную похлебку по нескольку

картофелин, реп и морковей. Когда стало совсем тепло, нас два раза водили в день купаться, человек по пятнадцати за один [раз] и, разумеется, за сильным конвоем. Для нашего купанья назначил комендант очень мелкий приток речки Читы, впадающей в Ингоду; место, где мы купались, было загорожено тыном. С тех, которые шли купаться, снимали железа, а по возвращении опять их надевали им.

В июне привезли в Читу Лунина [1], Митькова и Киреева, а скоро потом прибыли из Оренбурга Ипполит Завалишин, Таптыков, Дружинин и Колесников. Завалишину было не более как лет семнадцать. Во время нашего дела он находился в инженерном училище. Когда брат его был осужден в каторжную работу, он сделал на него донос, до такой степени отвратительный, припутав тут и сестру свою, что он был исключен из училища и отправлен по пересылке солдатом в Оренбург. Владимирский губернатор г[ра]ф Апраксин сжалился над его молодостью и оказал ему некоторое снисхождение. Завалишин донес об этом в Петербург, и граф Апраксин лишился своего места. По прибытии в Оренбург Завалишин сблизился с некоторыми юнкерами и молодыми офицерами своего баталиона; бывши неглуп от природы и получивши некоторое образование, он имел значение между этой молодежью и скоро приобрел ее доверенность. В дружеских беседах, за стаканом чаю с кизляркой, он склонил молодых людей участвовать в тайном обществе, которого он был основателем; получив несомненные доказательства их согласия принадлежать к тайному обществу, он донес ген.-губернатору Эссену о существовании тайного общества в Оренбурге; тотчас было произведено следствие, и оказалось, что все члены этого общества были приняты Завалишиным. Он, Таптыков, Дружинин и Колесников были осуждены в каторжную работу на разные сроки и отправлены по пересылке в Читу [2].

30 августа комендант собрал нас всех вместе и прочел нам бумагу, в которой было сказано, что государь император, по представлению коменданта Нерчинских рудников Лепарского, дозволил ему снять железа с тех государственных преступников, которых он найдет того достойными. Лепарский сказал нам, что, находя всех нас достойными монаршей милости, он велит со всех нас снять оковы. Затем последо-

вало глубокое молчание; послышалось только несколько голосов Славян, просивших, чтобы с них не снимали оков. Комендант не обратил на это внимания и приказал присутствовавшему тут караульному офицеру снять со всех железа, пересчитать их и принести к нему.

Потом все эти оковы хранились у Смольянинова, горного заводского чиновника, женатого на побочной дочери Якоби, бывшего генерал-губернатором в Иркутске, а она приходилась сродни Анненкову, который был родной внук этого Якоби, и потому всегда была возможность добывать от Смольянинова эти железа по частям на разные поделки; из них большею частию наделаны кольца.

Из Нерчинска всякий год с нарочным отправлялась серебрянка в Петербург. Анненков через Смольянинову отправил с ней письмо к своей матери. Офицер, бывший при серебрянке, по приезде в Петербург доставил письмо Анненкова прямо в третье отделение, откуда, по прочтении, оно было доставлено Анненковой; а комендант Лепарский получил приказание Смольяниновой, за ее преступный проступок, выдержать неделю под арестом [1].

После того, что сняли с нас железа, и самое заключение наше было уже не так строго. Мужья ходили всякий день на свидание к своим супругам, а по нездоровью которой-нибудь из них муж ее оставался ночевать дома. Потом мужья и совсем не жили в каземате, продолжая ходить на работу, когда была их на то очередь.

Врач, присланный для нас из Иркутска, оказался очень неискусным, и потому старик Лепарский, часто страдавший разными недугами, поставлен был в необходимость прибегать к советам товарища нашего Вольфа, бывшего штаб-лекаря при главной квартире второй армии. Первоначально Вольф неохотно выходил из каземата и с своими предписаниями отправлял к Лепарскому Артамона Муравьева, страстно любившего врачевать; но были и такие случаи, в которых присутствие Вольфа было необходимо. Вызывая к себе Вольфа, коменданту трудно было не позволить ему навещать дам, когда они были нездоровы. Окончательно Вольф получил дозволение выходить в сопровождении часового всякий раз, что его помощь нужна была вне каземата.

Потом и нам дозволялось ходить к женатым, но ежедневно не более как по одному человеку в каждый дом, и то не иначе, как по особенной записке которой-нибудь из дам, просившей коменданта под каким-нибудь предлогом позволить такому-то посетить ее.

В 1829 г. на место Розена был избран хозяином Пушкин, а Кюхельбекер — огородником [1]. Оба они пристально занялись огородом, обрабатывая его наемными работниками, и урожай всего был до того обильный, что Пушкин, заготовив весь нужный запас для каземата, имел еще возможность снабдить многих неимущих жителей картофелем, свеклой и прочим. До нашего прибытия в Чите очень немного было огородов, и те, которые были, находились в самом жалком положении.

Вообще пребывание наше в Чите оказалось в некоторой степени благодетельно для жителей, принадлежавших к горному ведомству и управляемых горными чиновниками. Бо́льшая часть из них были очень бедны, но при нас они имели все средства поправить свое состояние. Расходы наших дам и издержки на каземат ежегодно простирались тысяч до ста на ассигнации, значительная часть которых истрачивалась в самой Чите, и в какие-нибудь два года положение читинских жителей очевидно улучшилось: они обзавелись лопотью [2] и всем нужным для них [3], много было выстроено новых домиков, и старые строения приведены в исправность.

В этом году, когда была хорошая погода, нас выводили всех, кроме занимавших какую-нибудь должность по каземату, на земляную работу: одни заступами копали землю, другие на тачках возили ее в Чортову яму, так называли овраг возле моста, при выезде по московской дороге. Работа эта была не изнурительна, всякий работал по силам своим, а иные и совсем не работали; все это вместе было каким-то представлением, имеющим целью показать, что государственные преступники употребляются нещадно в каторжную работу. В то же самое время мы ежедневно ходили по три раза в день купаться, и уже не в загороженный приток Читы, но в самую Читу; а когда эта речка мельчала, нас водили купаться в Ингоду, отстоящую версты на две от каземата. Такие прогулки для нас были очень приятны, но,

конечно, нисколько не забавляли наших конвойных, которым с ружьем на плече приходилось в иной день раз по шести совершать поход от каземата до Ингоды и обратно. Читинская команда была сброд дружины, и бо́льшая часть солдат, ее составлявших, беспрестанно в чем-нибудь нуждались, и так как мы по возможности удовлетворяли их нуждам, то в их отношениях к нам не было ничего враждебного. Мало-помалу нам все более и более предоставлялись льготы. К каждому из женатых отпускалось по нескольку человек в день, а в случае нездоровья которой-нибудь из дам, когда нужен был уход за больной, позволялось некоторым из нас и ночевать вне каземата.

В начале 1830 г. Таптыков, Колесников и Дружинин, окончивши свой срок работы, были отправлены на поселение; так как они не получали ничего из дому, их снабдили всем нужным и деньгами. Дружинину дали ящик с табаком для доставления княжне Шаховской в Иркутск; в этом ящике было двойное дно, и при таком устройстве он заключал в себе, тайно, много писем, которые княжна Шаховская должна была доставить по назначению с удобным случаем. Она известила, что получила табак, но ни слова не говорила о письмах; это уже казалось довольно странно; но когда с ней списались и узнали, что она получила табак в бумаге, а не в ящике, как он был отправлен с Дружининым, то во многих это возбудило тревожное чувство. Оказалось впоследствии, что Дружинин, пересыпав табак в бумагу, оставил ящик у себя; потом, прибыв на место и познакомившись с священником села, в котором был поселен, он пожертвовал ящик, окованный железом, в церковь для сбора денег. Окончательно узнав свою ошибку, он добыл его обратно и доставил княжне Шаховской [1].

По донесению Лепарского о неудобствах заточить нас в Акатуй ему было предоставлено избрать место для постройки казарм, в которой мы могли бы содержаться согласно со строгим предписанием, данным ему относительно нас. Он ездил в Петровский Завод и нашел удобным построить там для нас полуказарму. Постройка эта была окончена в 1830 г., и началась уже переписка, каким образом отпра-

вить нас из Читы, пешком или в повозках. Пришло, наконец, предписание отправить нас пешком, но так как на нашем пути были места ненаселенные, где кочевали только буряты, то местное начальство должно было принять меры для устройства ночлегов и для нас и для команды, нас сопровождавшей. В конце августа выступили в поход двумя партиями; первая шла на один переход вперед от второй партии; через каждые два перехода была назначена дневка. С первой партией шел сам генерал Лепарский и часть его штаба. Хозяйственной частью этой партии заправлял Пушкин. При второй партии шел плац-майор Лепарский, племянник коменданта, и один плац-адъютант; хозяйством заведывал Розен.

Долго старик Лепарский обдумывал порядок нашего шествия и, вспомнив былое, распорядился нами по примеру того, как во время конфедератской войны он конвоировал партии пленных поляков. Впереди шел авангард, состоявший из солдат в полном вооружении, потом шли государственные преступники, за ними тянулись подводы с поклажей, за которыми следовал арьергард. По бокам и вдоль дороги шли буряты, вооруженные луками и стрелами. Офицеры верхом наблюдали за порядком шествия. Сам комендант иногда отставал от первой партии затем, чтобы собственным глазом взглянуть на вторую партию.

Нарышкина, Фонвизина и княгиня Волконская, не имевшие детей, следовали за нами в собственных экипажах и видались с своими мужьями, когда мы останавливались ночевать, а во время дневок были с нами целые дни вместе. Другие же дамы: княгиня Трубецкая, Муравьева, Давыдова и Анненкова, у которых были дети, чтобы не подвергать их случайностям долговременного пути, отправились из Читы на почтовых прямо в Петровский Завод.

Вообще путешествие это, при довольно благоприятной погоде, было для нас приятной прогулкой. Во время всего нашего странствования, продолжавшегося около полутора месяца, было перехода три верст в 35, остальные переходы были гораздо меньше и нисколько не утомительны; впрочем, кто не мог или не хотел итти пешком, мог ехать на повозке: подвод для нас и под нашу поклажу на каждом

ночлеге заготовлялось многое множество [1]. Поутру, услышав барабан, мы выходили на сборное место и часов в семь, определенным порядком, пускались в поход. Буряты были к нашим услугам и везли наши шинели, трубки и пр. Пройдя верст десять или несколько более, мы останавливались на привале, часа на два; тут у женатых всегда был припасен завтрак, которым продовольствовались и неженатые. Обыкновенно мы приходили еще довольно рано на место ночлега, где нас встречали квартирьеры, и мы размещались в приготовленных для нас избах. Исправляющий при партии должность хозяина отправлялся с квартирьерами и изготовлял для нас всегда довольно сытный обед, и вообще продовольствие наше во время похода было гораздо лучше, нежели в Чите. Проводить бо́льшую часть дня на чистом воздухе и ночевать не в запертом душном каземате, по сравнению, было уже для нас наслаждением.

На переходе мы ничем не стеснялись, и всякий шел, как ему было угодно [2]; хорошие пешеходы уходили иногда версты две вперед авангарда, и только тогда подъезжал к ним офицер и просил обождать отставшую партию. На переправах генерал Лепарский всегда сам присутствовал и с каждым из нас, подходивших к нему, был как нельзя более любезен; в этих случаях можно было подумать, что он воображал себя еще командиром Северского полка. На Братской степи, где не было довольно больших селений, чтобы мы могли все в них поместиться, на каждом ночлеге для нас были поставлены бурятские юрты, все в один ряд и на равном расстоянии одна от другой; крайние из них занимались командою, а в прочих помещались мы. Юрты эти круглые, имеют основу деревянную, переплетенную узкими драночками, и все обтянуто войлоком; наверху оставляется отверстие для исхода дыма; когда надо было согреть чайник, огонь раскладывали посреди юрты. Когда тихо, дым свободно подымается в отверстие; но когда бывает ветер, он клубится и окончательно стелется по земле. При каждой юрте был бурят для служения нам.

Буряты эти при первой встрече с нами прикидывались обыкновенно как будто ничего не понимают по-русски; но потом, когда их кормили, поили чаем, давали им табаку, они становились говорливы.

Исправник, давая им наставление, уверял их, что мы народ опасный и что каждый из нас кудесник, способный творить всякого рода чудеса. Юрты для нас доставлялись из кочевьев, отстоявших иногда верст за сто от большой дороги, и за месяц до нашего прихода они были уже на месте. Такие распоряжения были, без сомнения, разорительны для края, и многие из бурят, чтобы не подвергнуться такому наряду, откочевали вдаль.

На пути из Читы в Верхнеудинск приехали к своим мужьям М. К. Юшневская и А. В. Розен; они привезли много писем и посылок.

В конце сентября наступила дождливая погода, вода очень прибыла в Селенге, и за Верхнеудинском дорога, по которой мы должны были следовать, сделалась непроходима; для нас проложили другую, прорубив местами лес, и эта дорога была так удобна, что Нарышкина в своей карете могла проехать по ней. Берега Селенги очень красивы, но потом наш путь лежал по горам, покрытым лесом и не представляющим собой ничего особенного; зато, когда мы приблизились к Тарбагатаю, перед нами развернулся чудесный вид; все покатости гор, лежащие на юг, были обработаны с таким тщанием, что нельзя было довольно налюбоваться на них. Из страны совершенно дикой мы вступили на почву, обитаемую человеком, деятельность и постоянный труд которого преодолели все препятствия неблагоприятной природы и на каждом шагу явно свидетельствовали о своем могуществе.

Жители староверского этого селения вышли к нам навстречу в праздничных своих нарядах. Мужчины были в синих кафтанах, а женщины в шелковых сарафанах и кокошниках, шитых золотом. По наружности и нравам своим это были уже не сибиряки, а похожие на подмосковных или ярославских поселян. За Байкалом считают около двадцати тысяч староверов, и туземцы называют их поляками. Во время первого раздела Польши граф Чернышев захватил в Могилевской губернии раскольников, бежавших за границу, и возвратил их в Россию; им было предложено присоединиться к православной церкви или отправляться в Сибирь; многие из них перешли в православие, другие же, более упорные в своем веровании, были отправлены в

Восточную Сибирь и поселены за Байкалом. Когда проходили мы Тарбагатай, там жил еще старик, имевший поседевших внуков и помнивший все это происшествие. По его рассказам, он пришел шестнадцати лет в Иркутск с своей матерью и малолетним братом; мать и брат его, с другими поселенцами в числе 27 мужских душ, были отправлены в Тарбагатай. Место это было тогда непроходимая дебрь; сам же он, со всеми неженатыми парнями, годными на службу, был зачислен в солдаты и попал в денщики к доктору-немцу, который, сжалясь над его бедственным положением, через два года выхлопотал ему отставку. В 30 году, когда мы проходили Тарбагатай, там считалось более 270 ревизских душ. Вообще забайкальские староверы большею частью народ грамотный, трезвый, работящий и живут в большом довольстве. В 20 верстах от Тарбагатая мы проходили селение малороссов, водворенных там уже более двадцати лет; хохлы эти живут далеко не так привольно, как их соседи — староверы. За несколько переходов от Петровского выпал небольшой снег, и мы в последний раз ночевали в юртах [1].

По приближении к Петровскому бывшие там наши дамы выехали навстречу к своим мужьям; рассказы их о приготовленных для нас казематах были очень неутешительны: для каждого из нас была особая комната без окон с крепким наружным запором.

В начале октября [2] мы вступили торжественно в Петровский Завод, селение, в котором считалось 3 тысячи жителей, большею частью ссыльных, очень небогатых и занимавшихся заводскими работами. Казематы, составлявшие полуказарму, были расположены покоем; открытая сторона полуказармы была загорожена высоким частоколом, и огромный двор полуказармы был разделен таким же высоким частоколом на три отделения; в среднем из них, на противоположной стороне воротам полуказармы, было поставлено строение, заключавшее в себе поварню, разные службы и очень большую комнату, назначенную для совершения богослужений и для общих каких-нибудь наших занятий. При входе в полуказарму была гауптвахта; рядом с ней крытые ворота, против которых находились крыльцо и дверь в теплую караульню, состоявшую из двух комнат; в одной из них помеща-

лись рядовые, а другую занимал караульный офицер. Рядом с караульней были ворота, через которые входили на средний двор полуказармы; примыкающее к ней место, такой же величины, какое она сама занимала, было обнесено частоколом, назначалось под сад, но который никогда не был посажен. Вдоль всех казематов тянулся коридор, перерезанный только караульней и воротами; коридор этот, шириной в три аршина и с окнами во двор, был разделен поперечными стенами, в которых были двери, замкнутые на замок и отворявшиеся только в необыкновенных случаях. В каждом из отделений коридора было пять или шесть нумеров, а посредине наружная дверь, перед которой, вместо крыльца, была насыпь с откосами, покрытая булыжником.

Казематы были без наружных окон [1], и каждый из них слабо освещался небольшим с железной решеткой окном над дверью в коридор. В длину каждый каземат имел 7 арш., а ширина 6 арш.; в одном углу была печь, топившаяся из коридора, а в другом стояла койка.

По прибытии нашем в Петровск меня поместили в 11 номер. Новое жилье мое было очень темно, но я вступил в него с радостным чувством: тут я имел возможность быть наедине с самим собой, чего не случалось в течение последних трех лет [2]. На другой день нашего прихода комендант обошел все казармы; вошедши в мой номер, он запер дверь, вынул бумагу и, посмотрев на нее, сказал: здесь очень темно. Я было стал уверять его, что мне прекрасно, но он опять сказал, что у меня очень темно, и вышел. То же повторилось и во всех прочих номерах [3]. Комендант очень знал и прежде, что для нас строили казематы без окон, но тогда он не имел возможности противиться такому распоряжению высшего начальства [4], и только теперь решился действовать в нашу пользу, когда по своему разумению имел на это законную причину. Он представил в Петербург, что, замечая, как мы вообще наклонны к помешательству, он опасается, что многие из нас, оставаясь в темноте, могут сойти с ума, и потому просит разрешения прорубить окна в казематах. Дамы наши также, частью по внушению коменданта, нисколько не стеснялись в письмах своих описывать ужас-

ное свое положение в темных казематах, в которых они помещались с своими мужьями [1].

По прибытии в Петровский, комендант объявил дамам, что мужья их не будут отпускаться к ним на свидание, а что они сами могут жить с ними в казематах, вследствие чего не имевшие тогда детей кн. Волконская, Юшневская, Фонвизина, Нарышкина и Розен перешли на житье в номера к своим супругам; прочие же, у которых были дети, кн. Трубецкая, Муравьева, Анненкова и Давыдова, ночевали дома, а днем приходили навещать мужей своих. Так как строго запрещалось пропускать к ним кого-нибудь из посторонних, то дамы, жившие в казематах, не имели при себе женской прислуги и всякое утро, какая бы ни была погода, отправлялись в свои дома, чтобы освежиться и привести все нужное в порядок. Больно было видеть их, когда они, в непогодь или трескучие морозы, отправлялись домой или возвращались в казематы: без посторонней помощи они не могли всходить по обледенелому булыжнику на скаты насыпи, но впоследствии им было дозволено на этих скатах устроить деревянные ступеньки на свой счет. При таком сложном существовании строгие предписания из Петербурга не всегда с точностью могли быть исполнены.

Нарышкина, жившая в каземате с своим мужем, занемогла простудной горячкой, и Вольф отправился к коменданту и объяснил ему, что для Нарышкиной необходимо иметь женскую прислугу. Комендант долго колебался, но, наконец, решился дозволить, чтобы во время болезни Нарышкиной ее горничная девушка находилась при ней. Скоро потом Никита Муравьев занемог гнилой горячкой; бедная его жена и день и ночь была неотлучно при нем, предоставив на произвол судьбы маленькую свою дочь Нонушку, которую она страстно любила и за жизнь которой беспрестанно опасалась. В этом случае Вольф опять отправился к коменданту и объяснил ему, что Муравьев, оставаясь в каземате, не может выздороветь и может распространить болезнь свою на других. Комендант и тут, после некоторого сопротивления, решился позволить Муравьеву на время его болезни перейти из каземата в дом жены его.

Казематы наши были выстроены на скорую руку и так неудачно, что в них беспрестанно были поправки; не раз загорались стены, ничем не отделенные от печей; стены коридора выпучило наружу, и пришлось утвердить их стойками и болтами. В номерах было не очень тепло, а в коридоре иногда и очень холодно, так что не всегда было возможно отворять дверь в коридор, чтобы иметь сколько-нибудь света, и приходилось сидеть днем со свечой. По случаю переделок в 11 номере, меня перевели в 16-й, и в этом 3-м отделении мы помещались теперь: Оболенский, Штейнгель, Пущин, Лорер и я. Обедали и ужинали мы все вместе в коридоре, и в каждом отделении был сторож из рядовых для услуг нам. Днем мы могли свободно ходить из своего отделения во всякое другое; но вечером в десять часов запирались на замок все номера и коридор по отделениям; потом замыкались и ворота на каждый отдельный двор и окончательно наружные ворота полуказармы, так что каждый из нас всегда ночевал под четырьмя замками.

Работать мы ходили на мельницу таким же порядком, как в Чите, и мука нашего изделия была только пригодна для корма заводских быков. В продолжение всего дня в субботу и до обеда в воскресенье нас водили поочередно в баню. Для общей нашей прогулки был предоставлен нам большой двор, обнесенный высоким частоколом и примыкавший к полуказарме, от которой он отделялся также частоколом, сообщаясь воротами с средним двором полуказармы, которые запирались только на ночь. На этом дворе было несколько небольших деревьев, и мы расчистили на нем дорожки, по которым во всякое время можно было гулять. Охотники до животных завели тут козуль, зайцев, журавлей и турманов; а зимой устраивались горы, и поливалось некоторое пространство для тех, которые катались на коньках. Живущие с нами дамы приходили взглянуть на наши общие увеселения и иногда сами принимали в них участие, позволяя скатить себя с гор [1]. На отдельных дворах многие из нас имели гряды с цветами, дынями и огурцами и пристально занимались летом произведением плодов земных, что было сопряжено с большими затруднениями по причине неблагоприятного климата в Петровском [2].

Некоторые из не имевших собственных средств для существования и получавшие все нужное от других тяготились такой зависимостью от своих товарищей, и по этому поводу возникли разного рода неудовольствия. Наконец, образовался кружок недовольных. По прибытии в Петровский они отнеслись к коменданту, прося его, чтобы он исходатайствовал им денежное пособие от правительства. Такой поступок очень огорчил старика Лепарского; он смотрел на нас как на людей порядочных и всегда отзывался с похвалой о нашем согласии и устройстве. Как комендант, он не мог не обратить внимания на дошедшую до него просьбу некоторых из государственных преступников и потому отправил плац-майора навести справки о тех, которые желали получить вспомоществование от правительства.

Между тем это происшествие в казематах произвело тревогу. Все были в негодовании против просивших пособия от правительства; с ними вступили в переговоры и успели отклонить их от намерения отделиться от артели, и, когда пришел плац-майор в казематы с допросом, все уже было улажено, и ему поручили просить коменданта не давать дальнейшего хода этому делу.

Тотчас потом Поджио, Вадковский и Пущин занялись составлением письменного учреждения для артели. В силу этого учреждения выбирались три главных чиновника для управления всеми делами артели: хозяин, закупщик и казначей; после них выбирались огородник и члены временной комиссии. Все участвовавшие в артели имели голос при выборах; первоначально выбирались кандидаты в должности и из них уже баллотировались в самые должности. Хозяин заведывал всеми делами по хозяйству, от него зависела закупка съестных припасов, кухня и проч.; закупщик несколько раз в неделю выходил из каземата для покупки всего нужного для частных лиц. Казначей вел все счеты и занимался выпиской по частным издержкам; все трое они часто имели совещания между собой и о распределении сумм, принадлежащих артели. Огородник заведывал нашим огородом, в котором не было никогда обильного урожая по той причине, что климат Петровского был очень неблагоприятен для растительности: редкий год даже картофель не побивало утренним морозом. Впрочем,

все овощи доставлялись к нам в обилии окрестными поселянами. Верст 25 от Петровского и хлеб и вся огородина производились с успехом. Члены временной комиссии, в числе трех, по временам занимались проверкой счетов хозяина, закупщика и казначея. Кроме постоянных чиновников артели, наряжались по очереди из нас дневальные на кухню для наблюдения за порядком и раздачею кушанья. В Петровском общественный сбор очень увеличился; все, что тратилось прежде на вспоможения частные, подписывалось теперь в артель, и из общей суммы приходилось ежегодно на часть каждого из участвовавших в артели более нежели по 500 р. на асс [1]. Хозяин, закупщик и казначей, совещаясь между собой, определяли, что приходилось в каждый месяц на каждого человека за общим расходом на чай, сахар и обед. Эта определенная сумма предоставлялась в распоряжение каждого из участвовавших в артели.

Таким распоряжением прекратилась зависимость одних лиц от других, и не было уже более причин к неприятным, но вместе с тем неизбежным столкновениям, как было прежде. Чтобы каждый из участвовавших в артели имел наиболее денег в своем распоряжении, расходы на чай, сахар и обед очень ограничились: на месяц выдавалось на каждого человека по $^1/_3$ фунта чаю, по два фунта сахару и по две небольших пшеничных булки на день; обед состоял из тарелки щей и очень небольшого куска жареной говядины; сколько-нибудь и того и другого необходимо было уделить для сторожа, который питался от наших крох. Ужин был еще скудней обеда, и случалось очень часто вставать от трапезы полуголодным, что могло быть не бесполезно для многих из нас при образе нашей жизни. Некоторые за чай, сахар и обед получали деньгами из артели и сами пеклись о своем продовольствии. Впрочем, собственно денег никто из нас в каземате не мог иметь у себя на руках, и все частные расходы производились через казначея при общей выписке, для чего несколько раз в неделю приходил писарь горного ведомства с особенной книгой, в которую, со слов казначея, записывалось, кому и что следовало заплатить вне каземата, и означалось, из чьих денег, подписанных в артель, следовало произвести уплату.

Весь этот порядок существования артели не изменялся во время нашего пребывания в Петровском.

Кроме общих учреждений для артели, составилась еще маленькая артель. В маленькую артель взносил всякий, кто сколько мог или хотел, а из этих взносов составлялась сумма, предназначенная для наделения неимущих при отправлении их на поселение. Для увеличения суммы в маленькой артели управляющие ею выписывали сами некоторые журналы, и, имея в своем распоряжении журналы, выписываемые женатыми, предоставляли каждому пользоваться им за небольшую плату. Число периодических изданий, получавшихся в Петровском, доходило до 22; библиотеки также увеличились, и во всех в них вместе считалось до 6 тыс. книг, и при библиотеках много было географических атласов и карт. Вообще в Петровском всякий имел много средств при своих занятиях каким бы то ни было предметом.

В апреле 1831 г. вышло разрешение из Петербурга прорубить окна в казематах. В бумаге военного министра Чернышева, от которого мы непосредственно зависели, были исчислены все милости, оказанные нам государем императором, и между прочим было сказано, что государь еще в Чите приказал снять с нас оковы и что по собственному побуждению своего милосердия соизволил приказать прорубить окна в казематах государственных преступников. В каждом каземате было прорублено небольшое окно, на два аршина с половиной от пола, и человек среднего роста мог видеть только небо сквозь это окно. После того, что прорубили окна, в казематах происходили почти в продолжение целого года беспрестанные поправки и переделки; многие печи пришлось сломать и на место их сложить другие, потом изнутри штукатурились казематы и коридор. Во время всех этих улучшений приходилось жить нам в несколько стесненном положении; но когда все пришло в порядок, нам было несравненно лучше прежнего. В казематах было довольно светло, и не было уже необходимости при дневных занятиях отворять дверь в коридор.

Летом 1831 г. Кюхельбекер и Репин, кончившие свой срок работы, были отправлены на поселение; первый был водворен в Баргузине, а Репина поселили в небольшой деревушке на Лене.

Кюхельбекер служил в гвардейском экипаже и усердно участвовал в происшествии 14 декабря. Получивши в корпусе хорошее образование, он сопутствовал Лазареву при путешествии его к Новой Земле и потом вокруг света[1]. Деятельный по привычке и по природе, отлично добрый малый, в Чите и в Петровском он был на услугу всем и каждому и мало тяготился тюремной жизнью. В Баргузине он не нашел для себя никакого общества и, не имея никаких внешних побуждений к умственной деятельности, принялся трудиться для собственного пропитания. В первые года он собственными руками расчистил и распахал несколько десятин и засеял их хлебом, но такая деятельность не спасла его от искушений. Сблизившись с одной баргузинской мещанкой, он сперва крестил у нее ребенка, а потом на ней женился. Крестник его умер, но не был вписан в метрику, из чего по доносу дьячка возникло дело, доходившее до синода. Синод признал брак незаконным, и Кюхельбекера, разлучив с его семейством, перевели в Елатскую волость, верст за 500 от Баргузина. Тут Кюхельбекер написал отчаянное письмо сестре своей, жалуясь на жестокость, с какой поступили с ним, разлучив его с женой и малолетней дочерью. Вследствие этого письма его возвратили в Баргузин, но обязали не сожительствовать с незаконной своей супругой. Все это вместе поставило Кюхельбекера в столь затруднительное положение, при котором нетрудно было потеряться[2].

Репин, воспитанный под руководством своего дяди, адмирала Карцева, отъявленного вольтерианца, в молодых еще летах ознакомился с французскими писателями осьмнадцатого века и принял их общие воззрения на предметы[3]. Он имел отличную память и замечательные качества ума, а потому и разговор его был всегда оживлен и очень занимателен. В Чите он взял у меня прочесть «Историю философии» Буле, причем было много толков о разного рода умозрениях, к которым он имел вообще большое уважение и вместе с тем отзывался о христианстве очень неуважительно. Он никогда не читал Библии, и я уговорил его прочесть Новый завет; к крайнему моему удивлению, более всего поразила его мистическая часть христианства, причем он нашел возможность отыскать сближение между христианами и нео-

платониками. Весьма восприимчивый по природе своей, он не очень терпеливо переносил заточение и рвался на свободу. Изгнанническая его жизнь недолго продолжалась в поселении. Некоторые из государственных преступников, находившихся на поселении, в том числе А. Бестужев, Чернышев, Кривцов и Голицын, были переведены на Кавказ рядовыми. Андреев, которого везли на Кавказ через селение, где был поселен Репин, остановился у него переночевать, и они оба в эту ночь сгорели. Нарядили по этому делу следствие, но не могли доискаться, по какому случаю сгорел дом, в котором жил Репин. Некоторые его вещи, находившиеся вне дома, уцелели и были отправлены к его сестре.

Генерал-губернатор Восточной Сибири Сулима был первый из посторонних лиц, посетивших нас. Его предшественник Лавинский, во время своего пребывания в Чите, не удостоился этой чести по той причине, что он был не военный, и генерал Лепарский не находился под его начальством. Генерал Сулима, бывши по службе старше г[енера]ла Лепарского, был вместе с тем и непосредственный его начальник. Лепарский в мундире и шарфе сопровождал его и потом удалился, когда Сулима, собравши нас в кружок, спрашивал, не имеем ли мы принести каких жалоб. Получивши ответ, что мы всем довольны, он нас благодарил и сказал, что почитает за долг довести до сведения его императорского величества о том, что мы с покорностью и примерным терпением несем участь свою. Вообще он был с нами весьма любезен.

В 1832 г. меня известили, что жена моя отправилась в Петербург хлопотать о дозволении приехать ко мне в Сибирь, и потом я узнал, что ей отказали в ее просьбе. В бумаге шефа жандармов было сказано, что так как Якушкина не воспользовалась своевременно дозволением, данным женам преступников следовать за своими мужьями, и так как пребывание ее при детях более необходимо, чем пребывание ее с мужем, то государь император не соизволил разрешить ей ехать в Сибирь. Скоро потом мне писали, что мои сыновья могут быть приняты в корпус малолетних, а оттуда поступят в Царскосельский лицей. Я отклонил от них такую милость, на которую они не имели

другого права, как разве только то, что отец их был в Сибири. Воспользоваться таким обстоятельством для выгоды моих сыновей было бы непростительно, и я убедительно просил жену мою ни под каким предлогом не разлучаться с детьми своими.

Совсем неожиданно привезли к нам в Петровский Сосиновича, поляка, судившегося в Гродно по делу Воловича и других эмиссаров. Из всех подсудимых с ним вместе он один был приговорен к каторжной работе, но по преклонности лет и потому, что был совершенно слеп, его избавили от работы и сослали на заключение в одну из крепостей Восточной Сибири. В восточной Сибири нет ни одной крепости. Г[енера]л-губернатор Сулима был очень затруднен, не зная, что ему делать с Сосиновичем; наконец, он решился послать его в Петровский для помещения с нами в каземат. Сосинович был истый поляк, и из слов его можно было заключить, что он ловкими ответами долго затруднял грозных судей своих, что, конечно, не расположило их в его пользу. Вместе с ним судился 15-летний сын его, которого подвергали розгам, чтобы принудить к показаниям на своего отца. На очной ставке с сыном старик Сосинович признался, что к нему заезжал один из эмиссаров и что он дал ему проводника на возвратном его пути за границу. Сын Сосиновича был отправлен на Кавказ служить рядовым, жена и дочь его остались без куска хлеба; несмотря на все это, Сосинович не унывал. Прибывши к нам, он без малейшего взноса поступил в артель и пользовался общими выгодами.

В это время содержание наше далеко было не так строго, как оно было по прибытии в Петровский, и из опасения пожара дверь в казематах не запиралась ночью, как прежде, на замок. Женатые отпускались в случае нездоровья жен своих домой [1], но обыкновенно они и даже некоторые из дам жили в каземате.

В сентябре Александра Григорьевна Муравьева приходила в каземат к своему мужу; день был теплый; она была легко одета и, возвращаясь вечером домой, сильно простудилась; после трехмесячных страданий она скончалась. Кончина ее произвела сильное впечатление не только на нас, но и во всем Петровском, и даже в казарме, в ко-

торой жили каторжные [1]. Из Петербурга, когда узнали там о кончине Муравьевой, пришло повеление, чтобы жены государственных преступников не жили в казематах и чтобы их мужья отпускались ежедневно к ним на свидание. Затем и мы все выходили ежедневно по нескольку человек, тем же порядком, как это было в Чите. А между тем при всех этих льготах беспрестанно проявлялась неловкость нашего положения и особенно положения женатых.

Никита Муравьев через несколько времени после кончины жены получил приказание коменданта перейти в каземат, и ему приходилось оставлять дочь свою, маленькую Нонушку, не имея при ней даже няни, на попечение которой он мог бы вполне положиться; к тому же дочь его была очень некрепкого здоровья, и он беспрестанно за нее опасался. Услыхав о таком его горестном положении и зная, что он сам не решится вступить в переговоры с комендантом, я просил дежурного офицера доложить генералу, что я имею надобность с ним видеться. Через час потом меня позвали на гауптвахту к коменданту; когда мы остались с ним вдвоем, я просил отменить сделанное им распоряжение относительно Никиты Муравьева и не разлучать отца с малолетней его дочерью, на что Лепарский мне отвечал довольно сурово своим обычным словом «не могу», опираясь на данные ему предписания относительно нашего содержания, нарушение которых подвергло бы его строгому взысканию. Тут я ему заметил, что в настоящем случае он поступает очень непоследовательно, если захочет непременно исполнить данные ему предписания, тогда как он не раз прежде нарушал их, когда находил слишком жестокими. Наконец, он согласился оставить Никиту Муравьева дома, сказав мне: «Смотрите, если из этого выйдет мне какая-нибудь неприятность, то я буду жаловаться на вас вашему другу Граббе».

Лепарский имел причины беспрестанно опасаться, что донесут в Петербург о его какой-нибудь неисправности: он знал, что в Иркутске следили за всеми его действиями и, кроме того, по временам бывали в Петровском разного рода посетители, из которых многие приезжали как соглядатели. Один раз коменданту был запрос, как он осмелился отпустить княг[иню] Трубецкую и княг[иню] Волконскую на воды;

но ни та, ни другая не отлучались из Петровского, и на этот раз ему легко было оправдаться. Но бывали и такие случаи, в которых ему было необходимо прибегать к разным уловкам.

Из числа посетителей был в Петровском и генерал Чевкин, тот самый, который так неудачно действовал накануне 14 декабря в 1 батальоне Преображенского полка. Он приезжал осматривать завод и ни с кем не видался из прежних своих знакомых. Он заезжал только к княгине Трубецкой, чтобы, повидавшись с ней, передать об ней известие ее родным в Петербурге [1].

Потом приезжал полковник Вохин, адъютант военного министра Чернышева; через своих лазутчиков он старался разведать обо всем, что делалось в Петровском, и особенно о нашем содержании в казематах; комендант, узнавши об этом, очень ловко предложил ему сообщить самые верные сведения об нас и об женах государственных преступников и тем прекратил тайные розыски Вохина [2]. Между прочим он ему рассказал наше внутреннее устройство и учреждение артели [3]; вообще он любил нами хвастать приезжим и обыкновенно возил их на гору, с которой можно было видеть расположение казематов.

Еще прежде посещения Вохина приехала в Петровский m-lle Ledantu с позволением выйти замуж за Ивашева, который знал ее прежде, когда она была еще почти ребенком; родные его устроили все это дело, и он, женившись на приехавшей к нему невесте, был с ней впоследствии очень счастлив.

Во время пребывания нашего в Петровском нам было объявлено несколько высочайших манифестов, по которым уменьшались сроки наших работ, и один из этих манифестов был подписан 14 декабря. В силу таких уменьшений весь пятый разряд должен был в 1833 г. отправиться на поселение, в том числе и Александр Муравьев; он просил, как милости, чтобы ему позволено было остаться в Петровском вместе с братом, и из Петербурга было получено высочайшее повеление оставить Александра Муравьева в каторжной работе на весь срок, который должен был пробыть в работе Никита Муравьев. Скоро потом была получена из Петербурга еще бумага, в которой было сказано, что государь император, в уважение представленной просьбы

штатс-дамы княгини Волконской о сыне своем, приказать соизволил Волконского, освободив от работы, поселить на поселение. Волконский просил, тоже как милости, чтобы ему позволено было остаться в Петровском, где его жена, очень слабого здоровья, и дети в случае нужды могли иметь врачебные пособия, тогда как в Баргузине, куда он был назначен, не было ни доктора, ни аптеки и никаких удобств для жизни. Высочайшим повелением ему дозволено остаться в Петровском.

Во все время нашего заключения в Чите и в Петровском у нас умер один только Пестов, принадлежавший к Славянскому обществу; болезнь его продолжалась не более двух суток, и все старания Вольфа были недостаточны, чтобы спасти жизнь товарища.

Образ нашего существования, очевидно, был причиной такой малой смертности между нами. Вообще мы подвергались несравненно менее всем тем случайностям, которым подвергаются люди наших лет, живущие на свободе; а в случае болезни мы тотчас имели все врачебные пособия и сверх того нас окружало самое внимательное попечение товарищей. Но если образ нашего существования благоприятно действовал на сохранение жизни, то вместе с тем он действовал очень неблагоприятно на сохранение умственных способностей. В Петровском из 50 человек двое сошли с ума — Андреевич и Андрей Борисов.

Впрочем, и в этом отношении поселение оказалось еще более вредным, чем самое заключение. Из 30 человек, бывших на поселении, пятеро сошли с ума: в Енисейске Шаховской и Николай Бобрищев-Пушкин, в Тургуте Фурман и в Ялуторовске Враницкий и Ентальцев.

Образ жизни наших дам очень явно отозвался и на них; находясь почти ежедневно в волнении, во время беременности подвергаясь часто неблагоприятным случайностям, многие роды были несчастливы, и из 25 родивших в Чите и Петровском было 7 выкидышей; зато из 18 живорожденных умерли только четверо, остальные все выросли. Нигде дети не могли быть окружены более неустанным попечением, как в Чите и Петровском; тут родители их не стеснялись никакими

светскими обязанностями и, не развлекаясь никакими светскими увеселениями, обращали беспрестанно внимание на детей своих.

Вследствие уменьшения сроков работы, в 1833 и 1834 гг. отправилось на поселение 15 человек, из которых только трое: Розен, Нарышкин и Лорер, были отправлены в Западную Сибирь и поселены в Кургане. Фонвизин был поселен в Енисейске, откуда его перевели потом в Красноярск. Остальные 12 человек размещены были по деревням Восточной Сибири. Впоследствии перевели в Красноярск и Павла Бобрищева-Пушкина для соединения его с сумасшедшим его братом.

В 35-м году посетил Петровское назначенный на место Сулимы новый генерал-губернатор — Броневский, и так как по службе он был моложе генерала Лепарского, то его сопровождал к нам плац-майор.

Генерал Броневский, оставшись с нами наедине, спрашивал у нас, по принятому порядку, не имеем ли мы принести каких жалоб и. получивши ответ, также по принятому порядку, что мы всем довольны, он был очень с нами любезен. Потом для него отомкнулись все двери коридоров, отперли настежь двери всех казематов, и в то же время каждый из нас должен был находиться в своем номере. Проходя коридорами в сопровождении плац-майора, генерал Броневский заходил в иные номера, а в другие только заглядывал с таким любопытством, с каким обыкновенно заглядывает в железные клетки какой-нибудь посетитель, осматривающий никогда не виданный им зверинец.

В 36-м году многим из нас кончился срок работы, и в июне было получено повеление отправить 18 человек на поселение; но в какие места, было нам неизвестно. Братья Муравьевы, Вольф и я согласились, если можно, быть вместе на поселении, и по письмам, получаемым от своих, мы могли надеяться, что это дело уладится по нашему желанию. Никита Муравьев, Волконский, Ивашев и Анненков, как люди семейные, должны были заняться сборами прежде, нежели пуститься в дальний путь, и потому не могли быть тотчас отправлены. Александр Муравьев остался с братом, и Вольф, как врач, с высочайшего разрешения, должен был сопровождать Муравьевых на поселение. Митьков и Басаргин, под предлогом болезни, оставались также на некоторое время в Петровском. Затем 10 человек: Тютчев,

Громницкий, Киреев, два брата Крюковых, Лунин, Свистунов, Фролов, Торсон и я, мы были отправлены в Иркутск на переменных подводах, при офицере и нескольких унтер-офицерах.

Мы, не без горя, простились с оставшимися товарищами, с которыми делили заточение почти 9 лет. Двадцать два человека из 1-го разряда, двое Бестужевых из 2-го, трое черниговцев, Ипполит Завалишин, поляк Сосинович и Кучевский, попавший, бог знает почему, в Читу, должны были пробыть в Петровском еще три года. Братья Бестужевы, по приговору верховного уголовного суда, стояли во 2 разряде, и трудно определить, почему высочайшим указом они оба были сравнены в наказании с государственными преступниками 1-го разряда. Меньшой, Михайло, служивший в Московском полку, 14 декабря вывел свою роту на площадь, но по суду был найден менее виновным, чем Щепин-Ростовский, вышедший также на площадь со своею ротою и сверх того изрубивший двух генералов и одного полковника. Николай, старший из Бестужевых, находился 14 декабря при гвардейском экипаже, равно как и Торсон. Их обоих верховный уголовный суд нашел менее виновными, чем Завалишина, Арбузова и Дивова.

В глазах высочайшей власти главная виновность Николая Бестужева, как кажется, состояла в том, что он очень смело говорил перед членами комиссии и столь же смело действовал, когда его привели во дворец [1]. Через три дня после 14 декабря его взяли за Кронштадтом; в эти три дня он беспрестанно странствовал пешком и подвергался всякого рода приключениям [2]. Когда его привели во дворец для допроса, он объявил генералу Левашеву, что не будет отвечать на вопросы, пока ему не развяжут руки. В первые дни после 14-го почти всем участвовавшим в восстании вязали веревкой руки за спиной на главной гауптвахте, а потом вели их к императору. Генерал Левашев не смел удовлетворить требованию Бестужева и развязать ему руки, не испросивши разрешения самого государя, находившегося обыкновенно в ближайших покоях от той залы Эрмитажа, в которой происходили допросы. Когда генерал Левашев развязал руки Бестужеву, Бестужев сказал ему, что так как он в продолжение трех суток

ничего не ел, то и не может отвечать ни на какие вопросы, пока его не накормят. Генерал Левашев позвонил и велел подать ужин. За ужином судья и подсудимый чокнулись бокалами, наполненными шампанским [1].

После трапезы начался допрос, и так как Бестужев во многом не сознавался, то генерал Левашев пошел доложить об этом императору, который вслед за тем вышел сам к Бестужеву с его портфелем в руках и, вынув из портфеля две колоды карт, подал их Бестужеву, как улику его преступных сношений по Тайному обществу. Бестужев объяснил его величеству, что эта колода карт не имела никакого другого назначения, как служить забавой старушке, его матери, любившей раскладывать пасьянс. Затем государь показал Бестужеву записку, в которой было сказано о посылке двух колод карт, и требовал, чтобы он назвал того, кто писал эту записку. Бестужев отвечал, что записку эту писала дама, имя которой он не почитает себя обязанным объявить при допросе [2]. Потом, когда его привели в комитет, он очень смело разглагольствовал о всех недостатках государственного устройства в России [3]. Все это вместе, вероятно, было причиной перемещения Николая Бестужева из 2-го разряда в первый.

В день нашего отправления шел проливной дождь. Княгиня Трубецкая с своим мужем и с маленькой своей Сашей проводили меня и простились с нами у часовни, в которой погребена была Алек[сандра] Григ[орьевна] Муравьева [4].

СТАТЬИ



ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ ДЕКАБРЯ[1]

27 ноября в то самое время, когда служили в Зимнем дворце молебен за здравие императора Александра Павловича, приехал курьер из Таганрога с известием о кончине императора; молебствие прекратилось, духовенство облеклось в черные ризы и стало молиться за усопшего.

По окончании панихиды вел. кн. Николай Павлович, взявши в сторону Милорадовича, бывшего тогда военным губернатором и по праву своего звания, в отсутствие императора, главноначальствующего над всеми войсками, расположенными в С.-Петербурге и окрестностях столицы, сказал ему: «Гр[аф] Михаил Андреевич, вам известно, что государь цесаревич, при вступлении в брак с кн. Лович, отказался от права на престол; вам известно также, что покойный император в духовном своем завещании назначил меня своим наследником».

Милорадович отвечал: «Ваше высочество, я знаю только, что в России существует коренной закон о престолонаследии, в силу которого цесаревич должен вступить на престол, и я послал уже приказание войскам присягать императору Константину Павловичу». Таким решительным ответом Милорадович поставил вел. кн. Николая Павловича в необходимость присягнуть своему старшему брату; за ним присягнули новому императору: вел. кн. Михаил Павлович, все генералы и сановники, присутствовавшие при молебствии за здравие,

а потом за упокой императора Александра Павловича [1]. После чего Милорадович известил Сенат о присяге, принесенной цесаревичу во дворце и всеми войсками.

В Сенате хранилось духовное завещание покойного императора в пользу вел. кн. Николая Павловича, через что на Правительствующий сенат возлагалась обязанность тотчас после смерти Александра Павловича обнародовать последнюю его волю; но Сенат без малейшего прекословия присягнул императору Константину Павловичу, а за ним принесли ту же присягу Государственный совет и вся столица. Затем Милорадович отправил нарочного к московскому военному губернатору кн. Голицыну с известием о присяге, принесенной Сенатом, Советом и всем Петербургом императору Константину Павловичу, и приглашал кн. Голицына привести Москву к присяге новому императору. Кн. Голицын после долгого совещания с начальником 5-го корпуса гр. Толстым сообщил Московскому сенату известия, полученные им из Петербурга; и тут Сенат беспрекословно принес требуемую присягу. За Московским сенатом Москва и вся Россия присягнули императору Константину Павловичу. Один только преосвященный Филарет, у которого в Успенском соборе хранился снимок с завещания покойного императора, изъявил свое несогласие принести требуемую от него присягу; но кн. Голицын скоро уговорил его не сопротивляться общей мере, принятой во всем государстве [2].

В тот день, когда присягнули Сенат, Государственный совет и вся столица Константину Павловичу, члены Главной думы кн. Трубецкой, Оболенский и Рылеев собрались у последнего. На этом совещании был также Александр Бестужев (Марлинский), адъютант принца Александра Виртембергского. Зная, что новый император заклятый враг всему тому, что хоть сколько-нибудь отзывается свободой мысли, они условились на некоторое время прекратить все действия между членами Тайного общества, находившимися тогда в Петербурге [3]; но скоро потом отречение цесаревича сделалось известным; знали также, что вел. кн. Михаил Павлович и Лазарев были отправлены к нему в Варшаву и должны были привезти вторичное отречение [4]. Кн. Трубецкой, Федор Глинка, Якубович, полковник Батенков, полковник

Булатов и многие другие стали ежедневно собираться у Рылеева; на этих совещаниях было решено воспользоваться двусмысленным положением, в какое были поставлены наследники престола. Все в Петербурге смотрели на это положение с каким-то недоверием и беспокойством. Однажды во дворце г. Шеншин, командир бригады, состоящей из полков Московского и лейб-гренадерского, подошел к Оболенскому и сказал ему: «Что нам теперь делать? А в теперешних обстоятельствах необходимо на что-нибудь решиться».

Шеншин не принадлежал к Тайному обществу, но вероятно по сношениям своим с некоторыми из членов он знал о его существовании. Оболенский не почитал себя в праве говорить с ним откровенно и потому дал ему такой ответ, который прекратил начатый разговор.

Всякий день на совещаниях у Рылеева все более и более проявлялось стремление приступить к чему-нибудь решительному, и потому был назначен диктатором Трубецкой, полковник Преображенского полка, занимавший должность дежурного штаб-офицера при штабе 4-го корпуса и в это время находившийся в отпуску. Ему предоставлялась власть действовать самостоятельно в решительную минуту и распоряжаться средствами Общества и каждым из членов по своему собственному усмотрению. 8 декабря прибыли из Москвы Пущин и кн. Одоевский. Пущин служил в Москве надворным судьей; условившись прежде с Рылеевым, Оболенским и некоторыми другими членами, что в случае предстоящего какого-нибудь важного происшествия в Петербурге каждый из них, где бы он ни был, явится в Петербург, чтобы действовать вместе с товарищами, Пущин уехал из Москвы, несмотря на все нежелание кн. Голицына дать ему отпуск. Одоевский, корнет конной гвардии, был отпущен во Владимирскую губернию; он ехал в деревню к отцу, с которым давно не видался; проездом через Москву, узнавши, что Пущин едет, и по какому случаю, Одоевский вернулся в Петербург [1].

По известиям из Варшавы уже знали, что цесаревич не вступил на престол. В это время он был совершенно потерян, не выходил из своего кабинета и никого не принимал. Когда Демидов, адъютант кн. Голицына, привез ему присягу Москвы, он вышел к нему в

шинели и, взглянув на пакет, на котором было написано: «его императорскому величеству», возвратил его, не распечатав, и проговорил: «Скажите кн. Голицыну, что не его дело вербовать в цари» [1]. Сенат послал из Петербурга в Варшаву с своей присягой обер-секретаря Никитина, известного в то время игрока и шулера. Цесаревич встретил его словами: «Что вам угодно от меня? я уже давно не играю в крепс», и ушел. В то же самое время портреты и статуи, изображавшие Константина Павловича, даже самые уродливые, в обеих столицах раскупались нарасхват, тогда как на снимки с прекрасного бюста Николая Павловича никто не обращал внимания.

Все предвещало скорую развязку разыгрываемой драмы. 11 декабря на многолюдном совещании у Рылеева было решено, в случае отречения цесаревича, не присягать Николаю Павловичу, поднять гвардейские полки и привести их на Сенатскую площадь. Если бы войска явились на площадь в значительном количестве и никого не было за Николая Павловича, то можно было полагать, что он останется в стороне и в эту минуту нисколько не будет опасен. В надежде на успех был подготовлен манифест, который Сенат должен был обнародовать от себя и которым созывалась Земская дума, долженствовавшая состоять из представителей всей земли русской. Этой Земской думе предоставлялось определить, какой порядок правления наиболее удобен для России. Пока соберется Дума, Сенат должен был назначить временными правителями членов Государственного совета: Сперанского, Мордвинова и сенатора И. М. Муравьева-Апостола [2]. При временном правительстве должен был находиться один избранный член Тайного общества и безослабно следить за всеми действиями правительства.

Декабря 12-го по утру собрались депутаты от полков к Оболенскому. На вопрос его, сколько каждый из них уверен вывести на Сенатскую площадь, они все отвечали, что «не могут поручиться ни за одного человека». Было положено, что каждый выведет столько, сколько для него будет возможно. Того же числа вечером на совещании у Рылеева был Ростовцев, теперь начальник штаба военно-учебных заведений при наследнике [3], а тогда бывший ревностным

членом Общества и товарищем Оболенского; они оба были адъютантами при Бистроме, начальнике гвардейской пехоты. Ростовцев объявил в присутствии всех бывших членов на совещании, что он обязан лично и особенной благодарностью вел. кн. Николаю Павловичу и что, предвидя для благодетеля своего опасность, он решился итти от них прямо к вел. князю и умолять его не принимать престола. Все увещания товарищей отложить такое странное намерение оказались тщетными. Ростовцев отправился во дворец. На другой день он доставил Рылееву бумагу с заглавием «прекраснейший день моей жизни», и в которой было описано свидание его с вел. князем. Он объявил Николаю Павловичу, что ему предстоит великая опасность, для избежания которой он, как человек ему преданный, умоляет его не вступать на престол; вел. князь принял его ласково и, не расспрашивая о подробностях предстоящей опасности, отпустил его. Вероятно, будущему императору в эти минуты было не до остережений юноши, хотя ему преданного, но которого воображение, очевидно, было весьма взволнованно [1].

Милорадовичу доносила полиция, что в доме американской компании, где жил Рылеев, ежедневно собирались разные лица; Милорадович, зная, что Рылеев и Александр Бестужев — издатели «Полярной звезды», полагал, что у Рылеева собираются литераторы, и потому не обратил никакого внимания на донесение полиции [2].

Декабря 13-го, вечером, в значительном количестве и в последний раз собрались члены Общества у Рылеева; уже знали, что завтра войска должны быть приведены к присяге. На этом совещании полковник Булатов обещал вывести лейб-гвардейский полк, в котором он сперва служил; Александр Бестужев и Якубович обещались рано утром отправиться в Московский полк, где Михаил Бестужев и князь Щепин-Ростовский были ротными командирами, оба члены Тайного общества; выведя этот полк, Бестужев и Якубович должны были итти с ним в артиллерийские казармы на Литейный, забрать артиллерию и привести все войско на Сенатскую площадь. Между офицерами пешей артиллерии было несколько членов Общества, на содействие которых можно было рассчитывать. Другие члены, бывшие на

совещании, должны были отправиться в разные полки с попыткой вывести их. В этот вечер было говорено также, что в случае неудачи можно будет с войсками, выведенными на Сенатскую площадь, отступить к Новгороду и поднять военные поселения. Каховский прежде еще дал слово Рылееву, если Николай Павлович выедет перед войска, нанести ему удар; но Александр Бестужев после, наедине с Каховским, уговорил его не пытаться исполнить данное им обещание Рылееву. Переговоры эти между Каховским и Рылеевым, а потом между Бестужевым и Каховским были совершенно не известны прочим членам, бывшим в этот вечер у Рылеева на совещании.

Рано утром 14-го Александр Бестужев заехал к Якубовичу с тем, чтобы вместе с ним ехать в Московский полк. Якубович сказал ему: «Такое предприятие несбыточно; ты — молодой человек, не имеешь никакого понятия о русском солдате, а я знаю его вдоль и поперек» и пр. Якубович был великий хвастун и при всяком случае отпускал самые отчаянные фразы, не имея при том никакого политического убеждения, но на Кавказе он служил отлично; Ермолов не раз давал ему очень важные и весьма опасные поручения; он там прославился смелыми своими набегами на горцев. Спустя двенадцать лет Розен, один из наших, переведенный из Кургана, где он был поселен, рядовым на Кавказ, писал оттуда, что многие линейные казаки еще помнят Якубовича и рассказывают про его удалые подвиги.

Александр Бестужев отправился один в казармы Московского полка, где все было уже готово к присяге: на дворе были выставлены знамена и налои. Бестужев пробежал прямо в роту своего брата, которая уже была в сборе, и начал уверять солдат, что их обманывают, что цесаревич никогда не отрекался от престола и скоро будет в Петербурге, что он его адъютант и отправлен им нарочно вперед и т. д., после чего с теми же словами он отправился в роту Щепина. Скоро потом роты получили приказание выходить для принесения присяги. Александр Бестужев последовал за ними, и, когда оба батальона выстроились, он продолжал громко и смело уверять солдат, что их обманывают. Генерал Фридрикс, полковой командир Московского полка, подошел было к Александру Бестужеву с строгим видом,

но Бестужев из-под шинели показал ему пистолет, и Фридрикс удалился. Затем Щепин, взявши флангового за руку, двинулся к воротам, и за ним все ринулось. Фридрикс пытался было остановить движение, но Щепин поразил его своей шашкой, и тот не устоял на ногах. Бригадный командир Шеншин и полковник Московского полка Хвощинский подверглись той же участи. Щепин изрубил их нещадно. Вышедши из казарм, Александр Бестужев повел свое войско прямо на Сенатскую площадь. При полку из офицеров шли только Щепин и Михаил Бестужев [1].

Якубович жил на Гороховой; завидя Александра Бестужева впереди Московского полка, он вышел к нему навстречу с обнаженной саблей, на конце которой красовалась его шляпа с белым султаном. Александр Бестужев, хотя был старее его чином, опустил перед ним саблю и передал ему начальство над войском. Якубович повел это войско на Сенатскую площадь, где оно и построилось тылом к Сенату, Галерной и Синоду. Вскоре потом Якубович сказал Бестужеву, что он чувствует сильную головную боль, и исчез с площади. У него была жестокая рана на лбу, почему он всегда носил черную повязку. Потом он стоял в толпе около императора, с какою целию, никому не известно [2].

Пущин и Рылеев приезжали утром на сборное место, но, не нашедши там никаких войск, отправились в казармы Измайловского полка. На пути они встретились с мичманом Чижовым, только что вышедшим из казарм; он их уверил, что никакая попытка поднять Измайловский полк не может быть удачна. Они возвратились вспять; на этот раз нашли на сборном месте двух Бестужевых и Щепина впереди солдат. Пущин примкнул к ним, а Рылеев сказал, что он отправится в Финляндский полк, и потом никто уже его более не видал. Рылеев, отставной поручик артиллерии, страстно любил Россию и в душе был поэт; вступивши в Тайное общество, он был всегда готов служить ему и словом и делом, но в решительную минуту он потерялся, конечно, не из опасения за жизнь свою: на эшафот он взошел прекрасно и все в нем доказывает, что смерть не была для него нежданной гостьей.

Оболенский по утру приезжал также на сборное место, когда еще там ничего не было, потом он приехал вторично и, нашедши уже Московский полк, он отправился в Преображенские казармы к конно-артиллеристам. Тут, при входе в казарму, стоял полковник Пистолен-Корс с обнаженной саблей и никого не пропускал к солдатам [1]. Оболенский спросил у него именем своего начальника, что у него делается? Полковник сказал, что было небольшое беспокойство, но которое наверно не будет иметь никаких дальнейших последствий. Граф Коновницын и Малиновский, офицеры конной артиллерии и оба члены Общества, в это время сидели под арестом. Пока Оболенский говорил с Пистолен-Корсом, юнкера из казармы подавали ему разные знаки. Не видя возможности к ним пробраться, он вернулся на площадь и присоединился к товарищам.

В пешей артиллерии было так же, как и в конной, некоторое беспокойство: князь Алекс. Голицын и другие офицеры, члены Общества, не хотели присягать. Полковник Сумароков посадил их под арест, и движение, проявившееся между солдатами, прекратилось [2].

На Сенатской площади многие из членов Общества присоединились к товарищам. Глебов, служивший в министерстве финансов, переносил им известия, слышанные им в народе. Вильгельм Кюхельбекер, издатель «Мнемозины», самый благонамеренный из смертных, но вместе с тем самый неловкий в своих движениях, расхаживал с огромным пистолетом. Бестужев из предосторожности ссыпал у него порох с полки. Репин, поручик Финляндского полка, приходил на короткое время; баталион его был расположен за городом и сам он попал случайно в Петербург. Каховский все время с двумя заряженными пистолетами и кинжалом стоял перед фронтом или в рядах. Смоленский помещик, проигравшись и разорившись в пух и прах, он приехал в Петербург в надежде жениться на богатой невесте; дело это ему не удалось. Сойдясь случайно с Рылеевым, он передался ему и Обществу безусловно. Рылеев и другие товарищи содержали его в Петербурге за свой счет [3].

Граф Граббе-Горский, поляк с георгиевским крестом, когда-то лихой артиллерист, потом вице-губернатор, а в то время, находясь в от-

ставке, был известен как отъявленный ростовщик. Он не принадлежал к Тайному обществу и даже ни с кем из членов не был близок. Проходя через площадь после присяги в мундире и шляпе с плюмажем, по врожденной ли удали, или по какому особенному ощущению в эту минуту, он стал проповедывать толпе и возбуждать ее; толпа его слушала и готова была повиноваться. В это время тысячи народа толпились около набережной Исаакиевского собора и по другим местам площади.

Командир гвардейского корпуса Воинов, узнавши о беспорядках Московского полка, приехал верхом на Сенатскую площадь, но не мог добраться до солдат Московского полка; народ, возбужденный Граббе-Горским, разобрал дрова, сложенные у Исаакиевского собора, и принял корпусного командира в поленья [1].

С общего совета, Оболенский со стрелками выступил вперед на небольшое расстояние от колонны Московского полка; в это время он увидел Милорадовича, верхом подъезжавшего с другой стороны к колонне. Оболенский тотчас стянул своих стрелков, схватил солдатское ружье и кричал Милорадовичу, умоляя его не подъезжать к солдатам, но Милорадович был в нескольких шагах от них и начал уже приготовленную на случай речь. Тут Каховский выстрелил в него из пистолета, пуля попала ему в живот. Он захватил рану рукой, причем лошадь его быстро повернулась и бросилась на Оболенского. Оболенский ткнул Милорадовича штыком, лошадь и раненый на ней всадник исчезли в толпе.

Милорадович не долго жил после полученной раны. Николай Павлович навестил его перед самой кончиной и, выходя от него, сказал своим приближенным: «Он сам во всем виноват!» [2]

Конногвардейский полк, первый пришедший на защиту нового императора, обошел окольным путем площади Сенатскую и Исаакиевскую, выстроился правым флангом к Неве, а тылом к бульвару адмиралтейства. Командир этого полка генерал Орлов, теперь граф и шеф жандармов, выслал сперва фланкеров против стрелков, но безуспешно, а потом пробовал атаковать самую колонну Московского полка, в которой не было ни дивизионных, ни взводных начальников, но

солдаты сами, видя идущую на них кавалерию, мгновенно построились в каре и баталлионным огнем, при помощи народа, кидавшего в атакующих чем попало, отразили конногвардейцев; впрочем конногвардейцы, по свидетельству очевидцев, шли вяло и неохотно в атаку. После такой неудачной попытки Конногвардейский полк в продолжение целого дня оставался на своем месте без малейшего движения. Вскоре потом коннопионерный эскадрон, получивший приказание выстроиться на Английской набережной, бог знает по чьему приказанию пустился рысью и справа по три между каре Московского полка и Сенатом; солдаты, думая, что коннопионеры идут в атаку, открыли по ним баталлионный огонь. Напрасно все бывшие офицеры кричали своим солдатам не стрелять; один Пущин, давно снявший военный мундир, в эту минуту, к счастью, нашелся, он закричал барабанщику: бей отбой, барабанщик ударил отбой, и стрельба прекратилась.

Между тем Коновницын, конноартиллерист, освободившийся както из-под ареста, скакал верхом к Сенату и встретил Одоевского, который недавно сменился с внутреннего караула и ехал к лейб-гренадерам с известием, что Московский полк давно на площади. Коновницын поехал вместе с ним. Приехавши в казармы и узнавши, что лейбгренадеры присягнули Николаю Павловичу и люди были распущены обедать, они пришли к Сутгофу с упреком, что он не привел свою роту на сборное место, тогда как Московский полк давно уже там. Сутгоф, прежде про это ничего не знавший, без дальних слов отправился в свою роту и приказал людям надеть перевязи и портупеи и взять ружья; люди повиновались, патроны были тут же розданы, и вся рота, беспрепятственно вышедши из казарм, отправилась к Сенату. В это время случившийся тут батальонный адъютант Панов бросился в остальные семь рот и убеждал солдат не отставать от роты Сутгофа; все семь рот, как по волшебному мановению, схватили ружья, разобрали патроны и хлынули из казарм. Панова, который был небольшого роста, люди вынесли на руках. Угрозы, а потом увещания полкового командира Стюллера не произвели никакого действия на солдат. Панов повел их через крепость; в это время он мог бы овладеть ею, и, вышедши на Дворцовую набережную, повернул было во

дворец, но тут кто-то сказал ему, что товарищи его не здесь, а у Сената и что во дворце стоит саперный батальон. Панов пошел далее по набережной, потом повернул налево и, вышедши на Дворцовую площадь, прошел мимо стоявших тут орудий, которые, как говорили после, он мог бы захватить. В продолжение всего этого времени Стюллер шел с своим полком и не переставал уговаривать солдат вернуться в казармы; когда лейб-гренадеры поравнялись с Московским полком, Каховский выстрелил в Стюллера и смертельно его ранил. Стюллер был природный швейцарец; в 11-м году Лагарп прислал его в Россию и письменно просил у царственного своего воспитанника императора Александра покровительства своему земляку. Стюллер был определен поручиком в Семеновский полк. Человек он был неглупый и замечательно храбрый, но впрочем истый кондотьери. По-русски говорил он плохо и был невыносимый педант по службе; ни офицеры, ни солдаты не любили его; зато он сам страстно любил деньги.

На Сенатской площади лейб-гренадеры построились налево и несколько вперед от Московского полка. Одоевский присоединился к товарищам незадолго до прибытия лейб-гренадер.

Почти в одно время с происшествием в лейб-гренадерских казармах происходило подобное в Гвардейском экипаже. Генерал Шипов, полковой командир Семеновского полка и начальник бригады, в состав которой входил Гвардейский экипаж, был в их казармах. Шипов, незадолго перед тем ревностный член Тайного общества и человек совершенно преданный Пестелю, нашел в эту минуту для себя удобным разыграть роль посредника перед офицерами Гвардейского экипажа, не желавшими присягать. Он им ничего не приказывал как их начальник, но умолял не сгубить себя и доброе дело, уверял, что безрассудным своим предприятием они отсрочивают на неопределенное время исполнение того, чего можно ожидать от императора Николая Павловича. Все его убеждения остались тщетными: офицеры сказали ему решительно, что они не присягнут, и сошли к солдатам, их ожидавшим. Лейтенант Кюхельбекер закричал: «Ребята, вперед, наших бьют!» В это время послышались выстрелы, надо полагать, по конно-

пионерам, и весь экипаж двинулся, как одна душа. На площади экипаж выстроился направо от Московского полка и выслал своих стрелков под начальством лейтенанта Мих. Кюхельбекера. С Гвардейским экипажем, кроме ротных командиров Кюхельбекера, Арбузова, Пушкина, пришли два брата Беляевы, Бодиско, Дивов и капитан-лейтенант Николай Бестужев, родной брат Александра и Михаила Бестужевых; он не принадлежал к Гвардейскому экипажу [1].

В Финляндском полку было много офицеров, принадлежавших к Тайному обществу. Поручик Репин служил в батальоне, который, как сказано было выше, квартировал за городом. Этот Репин был человек замечательно неглупый, и может быть слишком неглупый для того, чтобы вполне увлечься и решиться на безысходную крайность, как какой-нибудь Александр Бестужев, Сутгоф или Панов.

Он часто говаривал, что большая часть храбрецов не знает, что пуля до смерти бьет, и, конечно, сам не принадлежал к такому разряду глупцов. Полковник Митьков, на которого при этих обстоятельствах можно было бы вполне положиться, зная его честность и личную храбрость, находился тогда в Москве в отпуску. Полковникам Тулубьеву и Моллеру накануне было предложено вывести за собой Финляндский полк; но они оба не без явного смущения отвечали, что исполнение такого предприятия было невозможно и оно решительно было им не по силам. Поручик Розен, честнейший немец и во всем преданный товарищ, не пришел, однако, на площадь; может быть, он надеялся, оставшись при полку, действительнее споспешествовать начатому предприятию своих товарищей.

Во многих других гвардейских полках между офицерами было по нескольку членов Тайного общества, но ни в одном из этих полков не произошло никакого значительно[го] движения. Чевкин, офицер генерально[го] штаба, генерал-сенатор, и не бывший ни на одном из последних заседаний у Рылеева, 14-го рано утром пришел в первый батальон Преображенского полка и начал уговаривать солдат не присягать Николаю Павловичу. Фельдфебель той роты, в которой Чевкин начал свою проповедь, схватил его и посадил под караул [2].

В кавалергардах было более офицеров, принадлежавших к Тайному обществу, нежели в каком-нибудь другом полку, но и тут присяга не ознаменовалась ни малейшим движением ни между офицерами, ни между солдатами. Васильчиков незадолго, а Свистунов накануне уехали в Москву. Полковник Ланской, Анненков, Александр Муравьев, Депрерадович, Арцыбашев и многие другие были во фронте при полку, когда он был выведен против войск, стоявших у Сената. Преображенский полк из присягнувших пеших полков пришел первым на место своего назначения и выстроился перед дворцом лицом к Московскому полку, потом он был подвинут вперед. Царь, подъехав к преображенцам, спросил у солдат, хотят ли они делать свое дело? Солдаты отвечали: рады стараться! Затем он громко скомандовал: Рукавицы долой! и приказал зарядить ружья [1].

Пешая артиллерия пришла еще не поздно днем, но без зарядов; за зарядами послали уже потом и привезли их вечером. Батарея из орудий была поставлена вперед от Преображенского полка. Полк[и] Семеновский и Павловский пришли после Преображенского полка. Павловский стал тылом к дому Лобанова, Семеновский расположился за канавой, идущей мимо конногвардейского манежа. Другие полки стояли по главным улицам, идущим к площадям Дворцовой, Исаакиевской и Петровской. Лейб-гусарский полк стоял на Царскосельской дороге у средней рогатки [2].

На площади народ волновался и был в каком-то ожесточении. Завидя флигель-адъютанта полковника И. М. Бибикова, проходившего в одном мундире через площадь, народ бросился на него и смял его. Вероятно, флигель-адъютант поплатился бы жизнью за свой мундир, если бы Мих. Кюхельбекер не подоспел к нему на помощь. Кюхельбекер уговорил народ, увел его за цепь, дал ему свою шинель и выпроводил его в другую сторону.

Якубович, уже несколько часов стоявший недалеко от императора, смело подошел к нему и просил позволения войти к бунтовщикам и уговорить их положить оружие. Получив дозволение, он привязал свой носовой платок на обнаженную саблю и отправился к цепи

парламентером; но, подошед к Кюхельбекеру, он сказал вполголоса: «Держитесь, вас жестоко боятся»,— и удалился.

Вскоре потом с.-петербургский митрополит Серафим, во время облачения и окруженный духовенством, приблизился к цепи для увещания солдат; Мих. Кюхельбекер, лютеранин, подошел к нему под благословение и шепнул ему на ухо: «Батюшка, убирайтесь, здесь вам не место», и высокопреосвященный удалился.

После митрополита вел. кн. Михаил Павлович, только что возвратившийся из Варшавы, подъехал к стрелкам и спросил у Кюхельбекера, может ли он говорить с войском и не будут ли по нем стрелять. Кюхельбекер поручился ему головой, что жизнь его высочества вне опасности. Великий князь поехал далее, а Кюхельбекер в каком-то восторженном расположении духа взял его за колено, шел возле его лошади и сказал: «Вот оно настоящее, ваше высочество!» Михаил Павлович подъезжал к Московскому полку, лейб-гренадерам и экипажу, говорил офицерам и солдатам, что он прямо из Варшавы, что цесаревич отрекся от престола и что им теперь нет никакой причины отказываться от присяги императору Николаю Павловичу; умолял их возвратиться в свои казармы, но офицеры и солдаты молчали, и великий князь уехал от них ни с чем.

Через народ беспрестанно передавались обещания солдат полков Преображенского, Павловского и Семеновского, по наступлении ночи, присоединиться к войскам, стоявшим на Сенатской площади; а между тем наступил уже вечер, люди перезябли и с обеих сторон чувствовалась необходимость приступить к решительному действию.

На Сенатской площади целый день и ежеминутно ждали прибытия диктатора; он один имел право действовать самостоятельно и по собственному своему усмотрению; но диктатор не явился принять вверенное ему начальство над войсками. Трубецкой отлично добрый, весьма кроткий и не глупый человек, не лишен также и личной храбрости, что он имел не раз случай доказать своим сослуживцам. Под Бородиным он простоял 14 часов под ядрами и картечью с таким же спокойствием, с каким он сидит, играя в шахматы. Под Люценом, когда принц Евгений, пришедший от Лейпцига, из 40 орудий громил

гвардейские полки, Трубецкому пришла мысль подшутить над Боком, известным трусом в Семеновском полку: он подошел к нему сзади и бросил в него ком земли; Бок с испугу упал. Под Кульмом две роты третьего батальона Семеновского полка, не имевшие в сумках ни одного патрона, были посланы под начальством капитана Пущина, но с одним холодным оружием и громким русским ура прогнать французов, стрелявших из опушки леса. Трубецкой, находившийся при одной из рот, несмотря на свистящие неприятельские пули, шел спокойно впереди солдат, размахивая шпагой над своей головой. Но при всей личной храбрости Трубецкой — самый нерешительный человек во всех важных случаях жизни, и потому не в его природе было взять на свою ответственность кровь, которая должна была пролиться, и все беспорядки, непременно следующие за пролитой кровью в столице. 14 декабря, узнавши, что Московский полк пришел на сборное место, диктатор совершенно потерялся и, присягнувши на штабе Николаю Павловичу, он потом стоял с его свитой [1].

Никто из членов Общества, находившихся с утра на площади, не почитал себя в праве, в отсутствие Трубецкого, заступить его место; каждый из них готов был повиноваться и даже умереть за доброе дело, но ни один не был способен на то, чтобы вызваться принять начальство и приступить к решительным мерам. Уже вечером, с общего согласия, был выбран в главные начальники Оболенский; по принятии начальства первым его распоряжением было собрать товарищей для военного совета. Пока собирался этот военный совет, подскакал к войскам г. Сухозанет; он решительно требовал, чтобы они положили оружие, и объявил, что в случае неповиновения — по них тотчас будут стрелять. Сухозанету отвечали насмешками, и кто-то закричал, чтоб он прислал почище себя. Сухозанет ускакал, вынув из шляпы султан, что было условленным знаком между им и пославшим его. Артиллерия грянула, но на этот раз холостыми зарядами; второй залп картечью был метко направлен в колонны. Все дрогнуло и побежало. По войскам, бежавшим по канаве, Галерной и Неве, стреляли еще несколько раз картечью. Семеновский полк также пустил батальный огонь по бежавшим мимо его.

Из 20 или более членов Тайного общества, спасавшихся вместе с солдатами, ни один не был убит, ни даже ранен. На другой день сестра Пущина зашивала его шубу, пробитую во многих местах картечью.

Когда все умолкло, войска, присягнувшие новому императору, расположились на назначенных им местах, зажгли огни и так провели ночь. Корнилович, свитский офицер, недавно приехавший из Могилева и принятый там в Тайное общество, в продолжение всего дня ни разу не явился на Сенатскую площадь, но ночью он прокрался в Преображенский полк и пытался поднять солдат; его схватили и отвели во дворец [1]. Сутгоф и Панов были захвачены, когда лейб-гренадеры, расстрелянные картечью, бежали.

14-го ночью многие из членов Тайного общества, бывших и не бывших на Сенатской площади, были арестованы. Их привозили в Зимний дворец к дежурному генерал-адъютанту, который отсылал их на главную гаубтвахту: там их раздевали, осматривали, одевали опять и перед тем, чтоб вести к допросу, вязали им руки за спину. Такой порядок продолжался еще несколько дней после 14 декабря.

В Тульчине начались аресты в тот же день, как и в Петербурге. 14 декабря Пестель был уже арестован [2]. Через некоторое время после кончины императора Александра Павловича начальник его штаба генерал Дибич, разбирая бумаги покойного императора, нашел в них доносы Шервуда и Майбороды; в них были названы Пестель и другие члены Общества. Дибич тотчас отправил генерал-адъютанта Чернышева во вторую армию. По приезде Чернышева в Тульчин, Пестеля, по приказанию главнокомандующего, потребовали в главную квартиру; некоторое время он колебался и помышлял вместо того, чтобы повиноваться приказанию, итти с Вятским полком, которого он был командиром, в Тульчин: арестовать там главнокомандующего графа Витгенштейна, начальника его штаба Киселева, Чернышева и проч. и поднять знамя восстания; но кончилось тем, что он сел в коляску и поехал в Тульчин, где его тотчас же и арестовали. После чего Чернышев вместе с Киселевым отправились в штаб-квартиру

Вятского полка, где они забрали и запечатали все бумаги Пестеля, потом арестовали майора Вятского полка Лорера.

По учреждении следственного комитета в Петербурге аресты производились повсеместно. В Петропавловской крепости и дежурстве содержалось, говорили, более 500 человек, из которых некоторые не принадлежали Тайному обществу; но зато сколько и членов Общества, известных даже комитету, которые не были арестованы.

ЗАМЕЧАНИЯ НА «ЗАПИСКИ» («MON JOURNAL») А. МУРАВЬЕВА[1]

Никита Мих[айлович] Муравьев задумал еще в Петровском Заводе составить подробные записки о Тайном обществе, и, чтобы они не попались в руки правительства, он писал их в форме отдельных заметок на полях книг. Библиотека Никиты Муравьева досталась его брату Александру, который собрал из книг заметки брата и назвал их «Mon Journal»; вот почему в истории своей жизни он почти ничего не говорит о себе. В рассказе его встречаются ошибки, которых избежать ему было невозможно, так как заметки его брата были очень отрывочны, а сам он был мало знаком с делами Общества. Ему было 12 лет, когда составилось Общество, и 20 лет, когда он был принят членом; значения в Обществе он не имел никакого; он был слишком молод и не имел в то время ни твердых убеждений, ни образования. При составлении «Записок» (1852—1853) он не мог получить никаких сведений об Обществе от своих товарищей, потому что сосланные в Тобольск, где жил и он, или принадлежали к Южному обществу, или так же мало были знакомы с делами Общества, как и он (Штейнгейль, Анненков, Свистунов).

Несмотря на это, «Записки» любопытны, потому что в них высказаны убеждения и понятия Никиты Муравьева в первое время ссылки, и убеждения Александра М[уравьева] (в посвящении)[2] после

27-летней ссылки. Рассказ об основании и основателях Общества не совсем верен; программа Общества взята отчасти из записки Никиты Муравьева «La société occulte» [1]; не все, намеченное в ней, составило программу, и многие более важные части программы в ней не упомянуты.

Общество разделилось на Северное и Южное (в 1821 г.) не потому, что, разделившись, оно могло расширить круг деятельности, а потому, что Бурцов, вернувшись в Тульчин из Москвы, объявил там, что на Московском съезде все депутаты решили уничтожить Общество. Бурцов завидовал Пестелю, который стоял во главе всей молодежи, принадлежавшей к Обществу [2]. Он хотел занять место Пестеля; для этого он объявил, что Общество уничтожено, и сам начал избирать членов, не говоря ничего Пестелю, которого он хотел лишить таким образом всякого влияния. Но хитрость эта не удалась. Пестель ответил Бурцову, что уничтожить Общество никто не имеет права и что на юге оно будет существовать, как прежде. Вот почему образовалось два общества: Северное и Южное.

Конституция, написанная Никитою Муравьевым, как он сам сознавался впоследствии, не имела практического смысла вследствие незнакомства с бытом русского народа и незнания существовавших законов... Этот недостаток разделяла с ним и бо́льшая часть его товарищей; Николай Тургенев объявил в первом издании «Опыта о налогах» [3], что деньги, вырученные от продажи книги, назначаются для выкупа крепостных крестьян, посаженных в тюрьму за долги, между тем как крепостные не могли сидеть в тюрьме за долги, по закону им можно было дать взаймы не более 5 рублей.

Один только Пестель отличался глубоким практическим смыслом, как говорят все знавшие его и читавшие его «Русскую Правду». Это был труд совершенно самостоятельный. Между тем как прочие считали необходимым сильно ограничить власть правительства, даже республиканского, он в «Русской Правде» давал правительству сильную власть. Однажды в Тульчине он прочел свой проект Киселеву; Киселеву проект понравился, но он заметил, что не худо бы было ограничить еще больше исполнительную власть [4]. Судя по всем рассказам

людей, читавших «Русскую Правду», главные основания Управления государственных крестьян взяты оттуда [1]. «Русская Правда» была написана в республиканском и чисто демократическом духе.

Пестеля нельзя ставить наряду с остальными членами Общества: об нем все говорят как о гениальном человеке. Рассказывают, что, когда за границей он находился при канцелярии императора Александра, ему поручено было написать какую-то бумагу к Меттерниху. Меттерних при первом свидании с Александром поздравил его с новым секретарем и сказал, что он никогда не читал бумаги, столь хорошо написанной. Ни у кого из членов не было столь определенных и твердых убеждений и такой веры в будущее. На средства он не был разборчив; солдаты его не любили; всякий раз, когда император или великие князья назначали смотр, он жестоко наказывал солдат [2].

При учреждении военных поселений он хотел перейти туда на службу и обещал, что у него скоро возмутятся. Он должен был оставить это намерение, потому что дела Общества требовали его присутствия в Тульчине. Он не изменил своему характеру до конца; когда Северное общество стало действовать очень нерешительно, то он объявил, что если их дело откроется, то он не даст никому спастись, что, чем больше будет жертв, тем больше будет пользы, и он сдержал свое слово. В Следственной комиссии он указал прямо на всех участвовавших в Обществе, и если повесили только 5 человек, а не 500, то в этом Пестель нисколько не виноват; с своей стороны он сделал для этого все, что мог [3].

Все, что говорится в «Записках» про Никиту Муравьева, совершенно справедливо. Это был человек высокообразованный и чрезвычайно скромный; любовь и уважение к науке он сохранил до самой смерти. Рассказ о том, как он бежал из Москвы в 12-м году, я слышал с некоторыми иными подробностями от моего отца И. Д. Якушкина, который был с ним чрезвычайно дружен и слышал об этом от него самого. В 1812 г. Никита Муравьев долго упрашивал мать, чтобы она позволила ему поступить на военную службу, но мать не решалась отпустить его, так как ему шел только 15-й год и он был слабого здоровья. Между тем стали доходить слухи, что мы принуж-

дены отступать перед неприятелем и что французы все подвигаются к Москве.

Никита Муравьев начал задумываться, перестал есть, спать и, наконец, решился итти в армию без позволения матери. Рано утром он ушел по Смоленской дороге, одетый в курточку, захватив с собою карту Московской губернии. Он прошел 30 верст, расспрашивал, как пройти к армии. Эти расспросы и его одежда возбудили подозрение в крестьянах; его схватили, стали обыскивать, и когда нашли при нем карту, то совершенно убедились, что он французский шпион. На нем разорвали платье, приколотили его и повезли в Москву.

Между тем в доме его матери никто не знал, куда он делся, долго искали его у знакомых; гувернер его, француз, вероятно, догадался, что он ушел на войну, отправился к Смоленской заставе и встретил толпу мужиков, которые везли его воспитанника. Никита Муравьев, увидев гувернера, стал было звать его к себе по-французски. «De grâce ne me parlez pas, vous vous perdrez!» [1] — закричал ему тот и скрылся в толпе. Разумеется, это убедило еще больше, что Никита Муравьев шпион. Сам Ростопчин принял было его сначала за шпиона и написал к Екатерине Федоровне Муравьевой, его матери, письмо, где с сожалением извещал ее, что ее сын обесчестил себя и ее, так как хотел перейти к французам. Разумеется, Муравьева поспешила объяснить Ростопчину, что сын ее бежал, чтобы сражаться против французов, что он давно уже просился в армию. Ростопчин поздравил ее тогда с таким патриотом-сыном и уговорил определить его в военную службу.

Похвала Сергею Муравьеву нисколько не преувеличена. Это был действительно замечательный человек, но его нельзя поставить наряду с Пестелем. Сергей Муравьев был человек крайне добрый; солдаты его чрезвычайно любили [2]. Но М. Бестужев-Рюмин вовсе не сто́ит того отзыва, который сделан о нем в «Журнале» А. Муравьева. Замечательны отношения Бестужева к Сергею Муравьеву. Бестужев был пустой малый и весьма недалекий человек; все товарищи над ним постоянно смеялись, Сергей Муравьев больше других [3]. «Я не узнаю тебя, брат,— сказал ему однажды Матвей Ив. Муравьев,— позволяя

такие насмешки над Бестужевым, ты унижаешь себя, и чем виноват он, что родился дураком». После этих слов брата Сергей Муравьев стал совершенно иначе обращаться с Бестужевым, он стал заискивать его дружбы и всячески старался загладить свое прежнее обращение с ним. Бестужев к нему привязался, и он также потом очень полюбил Бестужева.

Борисов никогда не сознавался в том, что им был составлен устав Общества соединенных славян. Сколько мне известно, только он один никого не назвал при допросах в Следственной комиссии. Образование Общества славян замечательное явление. Оно показывает, как была сильна потребность в составлении тайных обществ. Борисов был человек, не получивший никакого образования, но с большим желанием образоваться. Когда он был с своей батарееей в Польше, то ему пришлось остановиться в таком помещичьем доме, где была огромная библиотека, наполненная большею частью писателями 18-го столетия. Он выучился сам собою французскому языку и прочитал все французские книги. В Следственной комиссии и после, даже в ссылке в Сибири, он говорил, что, когда был в отпуску в Петербурге, в одной гостинице с ним остановился какой-то офицер; они познакомились; офицер этот, уезжая из Петербурга, заходил проститься к Борисову. По отъезде этого офицера, имени которого он не помнит, он нашел у себя на столе тетрадь с уставом Тайного общества, который ему чрезвычайно понравился, и он тотчас стал набирать членов [1]. Пребывание в Польше при этом отозвалось, цель Общества славян была не уничтожение деспотизма в России, а освобождение от деспотизма всех славян; в уставе видно также и влияние писателей 18-го века, в нем говорится об основании города, в котором славяне посадят на трон богиню просвещения.

Соединенные славяне были большею частию люди без образования, но с непоколебимыми убеждениями; они готовы были итти на все за свои убеждения. Очень жаль, что о Борисове (и вообще об Обществе славян) мало известно, но все, что известно об нем, возбуждает к нему глубокую симпатию. Два года Общество славян существовало совершенно отдельно от других обществ, и даже не

зная об их существовании. Только в 1825 г. Бестужев-Рюмин совершенно случайно узнал об этом Обществе и предложил ему присоединиться к Южному, что и было принято. Когда, наконец, наступило время действовать, то Славяне показали, что они способнее к делу всех прочих членов [1].

В «Журнале» названы два изменника (Шервуд и Майборода) и позабыт еще третий, названный в донесении в Следственной комиссии агентом графа Витта (чуть ли не Комаров?).

В рассказе о 14 декабря в «Журнале» не сказано, что Анненков, Александр Муравьев (кажется, тоже и Арцыбашев) стояли с Кавалергардским полком на площади против своих товарищей. Впрочем, это не спасло их. Через 5 дней они были арестованы своим полковым командиром Апраксиным и привезены во дворец. Сначала император стал упрекать их за то, что они были членами Тайного общества, но потом объявил им, что он их прощает и что они только должны будут просидеть с полгода в крепости. Левашев стал показывать им знаками, чтобы они поцеловали у императора руку, но сначала знаков они этих не поняли, а потом не знали, как приступить к этому обряду; наконец, Анненков сложил обе ладони вместе, нагнулся и сделал шаг к императору. «Я этого не требую»,— сказал император.

У Екатерины Федоровны Муравьевой сохранилось письмо императрицы Марии Федоровны, которым последняя извещала ее, что сын ее Александр прощен. Анненков был послан в Выборг, Александр Муравьев в Ревель, Арцыбашев в Нарву. По следствию, когда открылось, что Анненков и Муравьев виновнее, чем думали прежде, то их перевели в Петропавловскую крепость. Виновны они были только разговорами. Их судили и присудили сослать в Сибирь, в каторжные работы; но так как не было еще готово помещение для декабристов, то их держали в крепости до 11 декабря 1826 г. Александр и Никита Муравьевы, Анненков и Торсон были в одно время отправлены в Сибирь (каждый на отдельной телеге и в кандалах). Анненков ехал в шинели и холодной фуражке.

Рассказ про Фаленберга не верен в «Журнале» А. Муравьева. Фаленберг был болен и содержался в сухопутном госпитале. Он только

что женился и рвался на свободу; когда Раевского выпустили, он нашел случай видеться с Фаленбергом и сказал ему, что он признался и что его освободили и что он и ему советует сделать то же. Фаленберг, уверенный совершенно, что его выпустят, если он признается, стал не только признаваться во всем, но и наговаривать на себя. Когда его спросили, не знает ли он чего об умысле цареубийства, он объявил, что он сам имел мысль убить царя и что говорил об этом Барятинскому. На очной ставке Барятинский доказал Фаленбергу, что он говорит вздор; несмотря на это, Фаленберга сослали; жена его вышла замуж за другого [1].

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ А. Г. МУРАВЬЕВОЙ[1]

Вы желаете, чтобы я письменно сообщил вам хоть что-нибудь о покойной Александре Григорьевне, и я очень чувствую, что много сказать вам об ней никак не сумею.

Отличительная черта в Александре Григорьевне была теплота сердца, разливавшаяся почти независимо от нее самой на всех ее окружающих.

Своих она любила страстно. Не бывши лично знаком ни с одной из ее сестер, о каждой из них я знаю много подробностей из ее рассказов. Она всякий раз бывала счастлива, когда могла говорить о своих. Часто она тосковала о своих детях, оставшихся у Екатерины Федоровны[2], и не потому только, что была с ними розно, но и по другим причинам, может быть сколько-нибудь вам известным. В этом отношении ее единственной отрадой была дочь, родившаяся в Чите, Нонушка[3], она не знала в ней души. Нонушка эта при святом крещении получила имя Софии, отец первоначально называл ее Соня, потом Ноня, Нон, Нонуфос и окончательно Нонушкой, название, которое она сохранила и до сих пор для многих знавших ее в Сибири.

Мужа своего Александра Григорьевна обожала. Один раз на мой вопрос в шутку, кого она более любит, мужа или бога, она мне отвечала, не шутя, что сам бог не взыщет за то, что она Никитушку любит более[4].

Иногда, в минуты не совсем светлые, она была уверена, и уверяла других, что кроме своих она никого не любит, и точно можно было подумать, что по временам она всеми силами старалась сосредоточить свою любовь на своих только и тесно замкнуть себя в семейный эгоизм; но это никогда не могло ей удаться, по той причине, что оно было совершенно противно ее природе.

При первом случае, когда она кому бы то ни было могла быть на пользу, она забывала всех своих и себя. Екатерина Федоровна много присылала ей и деньгами и вещами; бóльшую часть того и другого расходовала она на тех, кому это было нужно. Довести до сведения Александры Григорьевны о каком-нибудь нуждающемся, было всякий раз оказать ей услугу и можно было остаться уверенным, что нуждающийся будет ею успокоен.

Она посылала все нужное в казематы товарищам своего мужа; от нее приносили туда ежедневно несколько блюд с разными яствами; а между тем она забывала иногда подумать об обеде для себя и для своего Никитушки. Не редко приходили от них за щами на нашу артельную кухню. Однажды при мне ее девушка взошла доложить, что из каземата приходили просить сала, но что она отказала потому, что его оставалось очень немного. Александра Григорьевна приказала все, что у них было, отослать в каземат, нисколько не подумав, что это сало могло быть нужно в случае нездоровья для ее Никитушки или для ее возлюбленной Нонушки, или для нее самой. Таких примеров самозабвения всех не перечислишь, и я ограничусь еще одним рассказом, случившимся в Чите, из чего вы можете увидеть, до какой степени Александра Григорьевна была способна забывать себя.

Фонвизины по случаю какой-то переделки в доме гостили у Муравьевых. В это время Фонвизина тяжко занемогла, и меня вытребовали из каземата на помощь другим ухаживающим за больной. У ней были разных видов нервические припадки, спазмы в груди сменялись корчами, корчи продолжительным бредом. Вольф — врач, один из наших товарищей, и я провели шесть ночей сряду над больной, не смыкая глаз.

В это тяжкое время Никита Михайлович спал в другой комнате на полу, возле него Нонушка спала в своей кроватке, а Александра Григорьевна за ширмами на перепутье лежала полуодетая и всякий раз спрашивала о больной, когда от нее выходил кто-нибудь из нас. В одну из таких ночей больная в бреду представляла себе, что она должна родить, и на этот случай требовала помощи; Александра Григорьевна, узнавши об этом, явилась к ней в звании повивальной бабушки и успокоила ее. Потом больная вообразила, что у нее отняли родившегося ребенка, горько плакала и просила, чтобы его возвратили ей. Тут Александра Григорьевна шепнула мне на ухо: «Я принесу ей Нонушку», а я в ответ имел только возможность шепнуть: «Вы с ума сошли», что ее образумило. Нонушка, которую она готова была принести сонную к женщине в бреду, два дня тому назад была больна при смерти, и с ней едва отвозились. В этом случае намерение Александры Григорьевны принести Нонушку было, может быть, безрассудно, но я должен вам признаться, что я чувствовал себя счастливым в присутствии такого прекрасного существа, каким была она в эту минуту. Перед ней все исчезло, и, видя только страждущую, она имела единственную потребность облегчить ее страдания. Все это происходило так просто и непринужденно, что тут не было того, что называют обыкновенно самоотвержением, и при чем всегда предполагается некоторого рода борьба; тут было только полное самозабвение, и можно утвердительно сказать, что в этом случае, как и во всех подобных случаях, правая рука Александры Григорьевны давала так, что про это ничего не знала ее левая.

Часто хворáя, она мало обращала на себя внимание и только иногда соглашалась лечиться и на некоторое время оставаться дома, но и тут лишь только доходит до нее слух, что кто-нибудь болен или огорчен, она забывала предписание врача и собственную хворость, спешила к страждущему. И так она умела своим сочувствием к нему облегчить его положение. В такие минуты она была воплощенная любовь и каждый звук ее голоса был обворожителен. По приходе нашем в Петровский Завод женатым не дозволялось более выходить из каземата для свидания с своими женами, как это было в Чите,

но женам было позволено жить в тюрьме вместе со своими мужьями или навещать их.

Александра Григорьевна не имела возможности, как многие другие, запереться с своим мужем; у нее дома оставалась Нонушка, ребенок слабого здоровья, требующая ее особенных попечений. В трескучие морозы и во всякую погоду она перебегала по нескольку раз в день из каземата домой к Нонушке и из своего дома в каземат к мужу. Никита Михайлович при таких обстоятельствах тяжко занемог, и наш врач опасался за жизнь его. Тут Александра Григорьевна осталась несколько дней и несколько ночей неотлучно при муже, предоставив свою Нонушку попечениям няни, на которую она никак не могла вполне положиться. Конечно, это время было самое тяжкое из всей ее жизни.

С каждым годом здоровье ее приходило все более и более в упадок. В сентябре 1832 г. она пришла в каземат днем, когда было довольно тепло, в очень легкой одежде, но ночью, возвращаясь домой, она почувствовала, что ее обхватило холодом, и в ту же ночь она ужасно страдала от колотей в груди; к ней призвали врача, у нее уже образовалось воспаление подреберной плевры. Необходимо было тотчас прибегнуть к решительным мерам; бывши беременна, она выкинула. От кровопускания и других сильных средств колотья прекратились, но вслед за тем появилась в груди вода. С этих пор, в продолжение двух месяцев, больная с каждым днем видимо угасала. Никакие врачебные средства не могли возобновить истощившихся в ней сил. За два дня до ее кончины, она пожелала меня видеть; я просидел с полчаса у ее кровати; она едва могла говорить, и из слов ее можно было заключить, что она уже готовилась навсегда расстаться со всеми близкими ее сердцу.

В последнюю ночь она позвала к себе княгиню Трубецкую и продиктовала ей несколько строк к сестре своей Софье Григорьевне [1], потом исповедывалась и приобщилась святых тайн.

Последние минуты она провела очень покойно; благодарила Вольфа за его попечение; простилась с Александром Муравьевым, братом Никиты, и с Вадковским, назначив каждому из них что-нибудь на

память. Она просила всех не горевать об ней, бывши сама уверена, что там, куда она отправлялась, ей будет прекрасно; сокрушалась она только о своем Никитушке, который, как она говорила, без нее совершенно осиротеет, и это ее предсказание вполне сбылось. Последний вздох она испустила в объятиях своего мужа [1].

В день ее похорон хватились, что погребальная колесница, на которой полагали везти ее тело, не пройдет по мосту, находившемуся по дороге в церковь. Ссыльно-каторжные, узнавши об этом обстоятельстве, по собственному побуждению, бросились на мост и тотчас все привели в порядок.

Если бы вам случилось приехать ночью в Петровский Завод, то налево от дороги вы бы увидели огонек, это беспрестанно теплющаяся лампада над дверьми каменной часовни, построенной Никитой Михайловичем и в которой покоится прах Александры Григорьевны. В этой часовне ежегодно в известные дни совершается служба, причем народ Петровского Завода и окрестных селений собирается тут и молится.

Через два месяца после кончины Александры Григорьевны из Петербурга получено разрешение женам ежедневно видеться с своими мужьями у себя дома [2].

К. П. ИВАШЕВА[1]

Рассказ об Ивашевой в «Былом и думах» (стр. 88) очень не верен; он дошел до издателя «Полярной звезды» со всеми романтическими прикрасами, какие нередко придают, рассказывая о двух нежных сердцах, соединяющихся законными узами. Во всем этом происшествии, как оно ни любопытно, не было ничего особенно цветистого, и все происходило очень просто.

Ивашев[2], сын довольно зажиточных родителей, воспитывался сперва дома, а потом в Пажеском корпусе, откуда он и поступил в кавалергарды. Бывши несколькими годами моложе того поколения, которое участвовало в походах 12, 13 и 14-го года, он, как и бо́льшая часть праздной молодежи, помышлял только о самых обыденных наслаждениях жизни и мог бы в них погрязнуть, если бы на свое счастье, определившись адъютантом к гр. Витгенштейну, он не познакомился с Пестелем, который принял его в Тайное общество. Имея теперь положительную цель пред собою, он был спасен, и с этого времени зажил жизнью всех тульчинских своих товарищей, усердно занимавшихся вопросами о всем том, что могло тогда наиболее споспешествовать благоденствию России, и трудившихся над собою, чтобы образовать для нее полезных деятелей.

M-me Ledentu жила гувернанткой при сестрах Ивашева с своей дочерью Камиллою; молодой кавалергард, бывши в отпуску, от

нечего делать за ней ухаживал; жениться же на ней, как он сам после рассказывал, ему не приходило на мысль; она также в то время не помышляла быть его женой, а потому тут и не замышлялось никакой mesalliance [1] и не было никакой необходимости ссылать невинную в Париж; родившись в России, она никогда в него и не заглядывала. Когда Ивашев был сослан в Сибирь, его родители и сестры, страстно его любившие, желая облегчить его положение, предложили ему жениться на m-lle Ledentu; он не видал ее уже лет семь и осемь, долго колебался и, согласившись на предложение родных, не был уверен, что поступает разумно, соединяя судьбу свою с судьбою молодой особы, которую почти не знал. Какие причины заставили m-lle Ledentu ехать добровольно в ссылку, чтобы быть женой Ивашева, трудно вполне определить, но очень верно только то, что в природе ее не было ничего восторженного, что могло бы побудить ее на такой поступок. Имея очень неблестящее положение в свете, выходя замуж за ссыльно-каторжного государственного преступника, она вместе с тем вступала в знакомую ей семью, как невестка генерала Ивашева, богатого помещика, причем в некотором отношении обеспечивалась ее будущность и будущность ее старушки матери: за отсутствием сердечного влечения мало ли есть каких причин, побуждающих вообще девиц выходить замуж, и нередко очертя голову [2].

Согласившись на предложение ехать в Сибирь и быть женой Ивашева, она написала письмо к императрице, в котором рассказала давнишнюю и непреодолимую любовь свою к изгнаннику и просила одной милости: дозволения соединиться с ним законным браком. Письмо это произвело желанное действие и обратило общее внимание на страстно любящую и великодушную француженку. Государь согласился на ее просьбу, и ей объявили, по общепринятому порядку, положение для жен, последовавших в Сибирь за своими ссыльно-каторжными мужьями; она, впрочем, знала и прежде, в чем заключалось это положение. Скоро потом Лепарский, по наименованию комендант Нерчинских рудников, а в сущности начальник и блюститель над государственными преступниками, получил предписание прежде еще прибытия m-lle Ledentu о дозволении ей выйти замуж за Ивашева.

Летом в 31-м году она приехала в прекрасной карете с своей горничной и огромным крепостным на козлах прямо к кн. Волконской. Дамы в Петровском имели свои домики, во всякое время дня могли выходить из казармы и опять возвращаться к своим мужьям. Новоприезжая всеми ими была обласкана, и сам Лепарский явился к ней с своим драгунским приветствием. Старик этот, бывши человек очень неглупый и не лишенный человеческого чувства, во многих случаях вел себя отлично. Взявши от m-lle Ledentu письменное обещание, что она будет исполнять все правила, которым подчинялись жены, последовавшие за своими мужьями, он ей обещал свидание с Ивашевым, и Ивашев скоро потом взошел к ней с одним из своих товарищей; она так мало сохранила его образ в своей памяти, что не вдруг могла отгадать, который из двух вошедших к ней был ее жених [1].

Брак совершили в тиши ночной, скрытно. Лепарский был посаженным отцом, и кроме его только дамы и человека три из товарищей Ивашева присутствовали на свадьбе [2]. Этим кончился пролог; настоящая же драма началась, как она обыкновенно начинается в подобных случаях, с той минуты, как сочетавшиеся браком [перед] налоем произнесли взаимные обеты. Драма эта для Ивашевых разыгралась очень удачно.

В это время государственные преступники жили в крепко замкнутой казарме, нарочно для них выстроенной, в Петровском железноплавительном заводе, где находилось около трех тысяч жителей из ссыльно-каторжных и заводских служителей; каждый жил в отдельном каземате, и, кроме особенных случаев, выходили они из казармы только на работу под надзором вооруженной стражи. Дамы, которые имели детей и потому не могли жить с своими мужьями, навещали их днем, те же, у которых не было детей, жили вместе с своими мужьями в довольно тесных казематах. Только в 32-м году, после кончины Александры Григорьевны Муравьевой, простудившейся в одну из своих прогулок в каземат, что и было причиной ее смерти, пришло из Петербурга разрешение отпускать мужей к их женам на дом.

После свадьбы Ивашева перешла к мужу и поместилась с ним в небольшом каземате, довольно темном и во всех отношениях

для женщины очень неудобном; кроме общего сторожа для всего коридора, не допускалась в каземат, даже во время дня, никакая другая прислуга. Все окружавшее бедную Ивашеву было ей чуждо, и даже с своим мужем она была еще мало знакома. Все неудобства такого существования первое время явно тяготили ее; но это продолжалось недолго. Ивашев, выработавший себя всеми испытаниями, через которые ему пришлось пройти, кротким и разумным своим поведением всякий раз успокаивал молодую свою жену, и окончательно умел возбудить в ней чувства, которые она прежде не знала [1]. Она выросла и поняла и оценила свое положение. С этих пор супруги пошли рука об руку и шли, пока смерть не разлучила их, деля и радость жизни и горе — все пополам.

В 36-м году кончился срок работы для Ивашева, и он с женой и годов[ал]ой дочерью в сопровождении казака отправился на поселение в Туринск, где попечениями родных его, по обстоятельствам, ему доставлялись всевозможные удобства жизни. Старушка m-me Ledentu приехала к дочери на житье, и Языкова, сестра Ивашева, приезжала к нему тайком и пробыла у него несколько дней [2].

Ивашева умерла не от того, как сказано в «Былом и думах», что силы в ней были потрясены ссылкой в Париж и пр., чего никогда не бывало; в это время она вполне развилась и окрепла, но она простудилась и скончалась от воспаления в груди [3]. Муж умер ровно через год от удара [4]. После них оставшимся малолетним сыну и двум дочерям, по просьбе кн. Хованской, сестры Ивашева, дозволено было приехать к тетке, у которой они и остались.

После сын Ивашева был принят в артиллерийское училище с переименованием его по существовавшему порядку того времени. Фамилия же Ивашева возвращена ему манифестом 26 августа.

Разбойник, один из товарищей Ивашева, о котором идет речь там же в «Былом и думах», лицо, как и все прочее, изукрашено фантазией; об нем сказано, что он работал в крепости, каковой не имеется не только в Петровском, но и во всей Восточной Сибири, и что, узнавши о горьком положении прибывшей m-lle Ledentu, он предложил ей переносить ее записки к Ивашеву и от него к ней и что она,

тронутая таким великодушием разбойника, от восторга рыдала и воспользовалась его предложением.

Но в Петровском, с самого своего приезда, m-lle Ledentu, как и все прочие дамы, не находилась в товариществе с ссыльными, работающими на заводе; и ей не было никакой надобности употреблять которого-нибудь из них для переписки с своим женихом; тотчас по своем прибытии она могла сообщаться с ним посредством дам, имевших всегда доступ в казематы, куды никто из посторонних не допускался. В это время в Петровском находился ссыльно-каторжный, бывший прежде крепостным человеком генерала Ивашева, отданный в солдаты; он поступил в жандармы в Петербург, и там ему случилось один раз в питейном хлебнуть до такой степени через край, что он проснулся на съезжей, и ему объявили, что он убил человека, чего он решительно не помнил; был он мужик рослый, плечистый и необыкновенно сильный, и надо полагать, что в пьяном виде он сразу зашиб до смерти человека, подвернувшегося ему под руку, и который, может, лез к нему также в нетрезвом виде. Его судили, наказали за смертоубийство и сослали в работу. Не мудрено, что, когда этот человек, узнавши о прибытии невесты прежнего своего барина, пришел к ней в первый раз и сказал, откуда он, она была поражена и тронута его присутствием, тем более что, может быть, еще верила тогда, что все ссыльно-каторжные непременно закоснелые ужасные злодеи; она с приятным чувством увидела одного из них, в котором не было ничего особенно страшного и отвратительного.

О «ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЕ», О ЧААДАЕВЕ[1]

«Полярная звезда» читается даже в Сибири, и ее читают с великим чувством; если бы вы знали, как бы этому порадовались[2]. Я уже не говорю о людях, [которые] сочувствуют вашим убеждениям и ценят вполне прекрасное ваше направление и благородный труд ваш, но даже и те, которые не имеют никаких убеждений, никакого направления, читая вашу книжку, и они находятся под каким-то обаянием, невольно грудь их расширяется, и они чувствуют, что дышут свободнее. Вы не ругаетесь и потому вы не отщепенник; но говорите, как свободный русский человек, и свободная ваша речь для всякого русского человека как будто летящий от родины глас.

Надо полагать, что на вызов ваш к нашим соотечественникам доставлять вам статьи для вашей «Полярной звезды» отозвались уже многие. При этих строках вы получите стихотворение Рылеева «Гражданин», которое, конечно, вам неизвестно и которое если и известно в России, то очень немногим. Стихотворение Кюхельбекера «Тень Рылеева», вероятно, также никто не знает.

Очень немногие знают коротенькое послание Пушкина «Во глубине сибирских руд», которое, разумеется, никогда не было напечатано и может ныне читаться только в вашем сборнике. На всякий случай прилагаю еще Пушкина Noël, который во время óно все знали наизусть и распевали чуть не на улице (может быть, он и вам известен). На первый раз не взыщите, чем богат, тем и рад[3].

В первом номере «Полярной звезды», единственно который пока дошел сюда, есть некоторые, правда не очень важные, неверности.

Дмитрий Николаевич Болговской, участвовавший в заговоре 11 марта, служил в Измайловском полку, а не в Семеновском, был отставлен по вступлении на престол императора Александра и только в 12-м году получил позволение вступить опять в службу [1].

Свидание Чаадаева с императором рассказано у вас также не совсем точно [2]. Чаадаев по прибытии в Лейбах остановился у кн. Меншикова, бывшего тогда начальником канцелярии главного штаба. Император Александр не только не сердился на Чаадаева, но, напротив, принял его очень благосклонно и довольно долго толковал с ним о пагубном направлении тогдашней молодежи, признаваясь, что он, может быть, грешит, полагая, что Греч главный виновник Семеновского полка [3], и сознаваясь, что семеновцы и в этом случае вели себя отлично.

Когда Чаадаев вышел от императора, кн. Петр Михайлович Волконский догнал его и сообщил ему высочайшее повеление ни слова не говорить князю Меншикову о своем разговоре с государем. По возвращении Чаадаева в Петербург Шеппинг и многие другие поздравляли его с будущим счастием, пророча, что он непременно будет флигель-адъютантом; чтоб доказать Шеппингу [4] и другим, как он мало дорожит такого рода счастием, Чаадаев вышел в отставку. Вообще же очерк Чаадаева вы накидали очень удачно.

Дружески вас приветствуя, один из стариков крепко жмет вам руку [5].

ЧТО ТАКОЕ ЖИЗНЬ[1]

Человек, которому тесно в толпе, потому ли, что у него мозоль на ноге, или печень его отделяет излишнее количество желчи и он не совсем добрый малый, или потому что ему запало в голову или под пятое ребро чего-нибудь такое, до чего толпе дела нет,— такому человеку стоит только посторониться, и он издали взглянет на теснившую его толпу и будет прислушиваться к ее говору с таким же чувством, с каким ему, может быть, случалось, стоя на берегу моря, любоваться на пенистые волны, догоняющие одна другую, и прислушиваться к их говору.

Какая сила из отдельных капель воды образовала огромную пучину морскую, и с какою целью она приводит эту пучину в движение? На это еще ученые могут дать какой-нибудь ответ; но как определить, какая сила столпила людей и движет толпы и сближает их и как будто стремится соединить их в одно целое, и какая цель такого соединения?

Ничего нет труднее, как составить точное и полное определение чего бы то ни было. Что такое человек? Как известно всем и каждому, Платон определил, что человек есть животное двуногое, без перьев. Из такого определения не трудно заключить, что человек есть не более и не менее как ощипанный петух. Конечно, никто никогда не верил и не поверит, чтобы петух, даже ощипанный, был человек или чтобы человек был какого бы ни было вида петух; но со всем

тем между человеком и петухом много есть тождественного. И тот и другой при случае задорные драчуны, примерные супруги и пр. Не поминая при этом особенного свойства, которым одарены только петух и студент и про которое гласит латинская поговорка,— а самое большое сходство между человеком и петухом состоит в том, что человек живет и петух живет, и потому они неоспоримо оба животные.

В чем же состоит существенное различие между животным, зовомым человеком, и животным, зовомым петухом? Или вообще, чем отличается человек от прочих животных?

Ответ на такой нехитрый вопрос слышится со всех сторон. Ребенок, затвердивший краткий катехизис наизусть, и даже тот, который не затвердил его и не умеет читать, знает, что человек имеет в собственность бессмертную душу, каковой не имеется ни у одного из прочих животных. Преданье старины глубокой.

Несколько столетий тому назад один смельчак из смельчаков французов, наскучив служить в драгунах, рубить и колоть врагов Франции, поднял собственный свой стяг против врагов человеческого разума [1]. Неприятель, застигнутый врасплох, был разбит наголову; но так как цель всякой войны — мир, то между враждующими силами были заключены мирные условия, вследствие которых средневековая премудрость утратила много своей власти, стереть же ее с лица земли было тогда не по силам Декарта, и даже не входило в его собственный расчет, точно так же как не входит теперь в расчет великих держав стереть с лица земли турецкое кочевье в Европе...

В лице Декарта человеческий разум, получивши права гражданства в прекрасном божием мире, вздернул нос, как отпущенник холоп, и, присвоив одному человеку духовное начало, он овеществил всю остальную природу. Вследствие картезианского ученья все божьи твари, кроме человека, стали ничего более, как с особенным искусством устроенные куклы, которых сложный снаряд приводится в движение впечатлениями на них извне, как репетир приводится в движение давлением пальца на особенную пуговку часов. Кому случалось по наступлении весны любоваться первым прилетевшим гостем — скворцом, когда он, сидя на коньке кровли, подымая и опуская крылышки,

выпрямив голову и обращаясь то на ту, то на другую сторону, весело распевает свою сладкозвучную песнь, тому могло притти желание разгадать смысл этой песни. Но увы, какой может быть смысл в песне животного, куклы-скворца? В ней столько же смысла, как и в звуках эоловой арфы, когда воздух скользит по ее струнам, или в голосе кукушки, ежечасно кукующей в светлице волостного писаря. Человек, возвращающийся домой, чувствует особенную приязнь к своему любимому псу, когда этот пес, вертя хвостом и ласкаясь, приветствует его радостным визгом; тот же человек ощущает болезненное чувство, слыша вой своей любимой собаки, которую бьют. Вот и тут неуместная чувствительность. Собака — бездушная тварь, и лает и воет, и визжит, не ощущая ни боли, ни удовольствия; все эти бессознательно производимые звуки собакой-куклой подобны тем звукам, какие когда-то и производила так же бессознательно Мемнонова статуя при появлении лучей солнца, падающих на ее поверхность.

В силу такого учения человек был взгроможден выше всего сущего. Земля со всеми тварями на ней была отдана ему на услугу. Твердь небесная со всеми своими светилами и тьмами миров, вращающихся в бесконечном пространстве, существовала для его только потехи. Но человек, этот обладатель Вселенной, был отрезанный ломоть и в сущности отчужден от всей природы — положение хоть и почетное, но не совсем отрадное. Разум человеческий, освобожденный от пут схоластики, и видя, что в его построении не все ладно, принялся поверять собственные свои определения.

Всякому небезызвестно, что человек, не имеющий ни о чем никакого понятия,— скотина или даже еще хуже скотины, а мистер Локк [1] доказал, как дважды два пять, что все наши понятия приобретаются только через внешние впечатления, и потому все наши побуждения происходят извне. За Локком вся ватага философов, всех мастей и разрядов запела на тот же лад, и окончательно человек был низведен с высоты своего величия на степень, равную со всеми животными. Тем, что он человек, обязан он внешним обстоятельствам; вылупись он из яйца, был бы он, может быть, петух; зародись он в луже или в океане, он мог бы принять вид комара или кита. В последнем

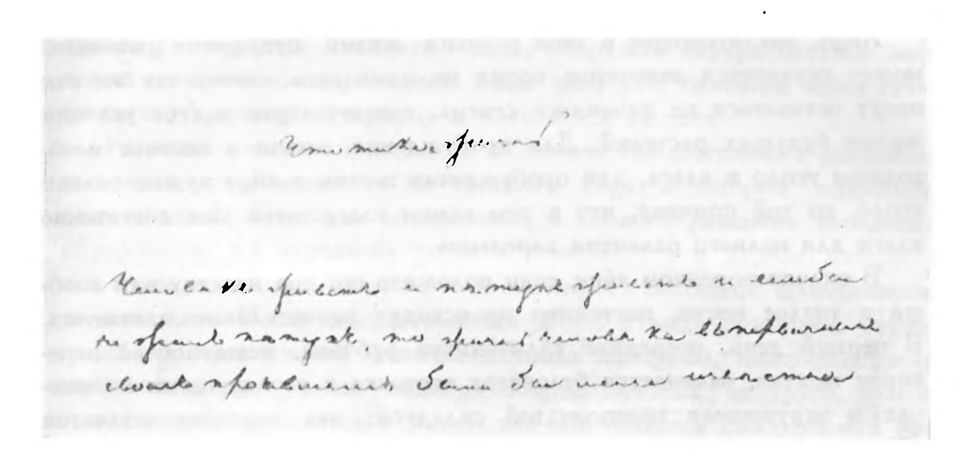
случае его сросшиеся нижние члены, то есть ноги, образовали бы ласт; сокращенные плечи и предплечья вместе с ручными кистями, облеченные сухожильной перепонкой, развились бы в огромные плавательные перья; желудок разросся бы в несколько желудков, селезенка разрослась бы в несколько селезенок, и недостаток мозга в огромной головизне человека-кита пополнился бы спермацетом.

Все это так просто и ясно, что бросается в глаза всякому верующему в учение Кабанисов, Борн Ст. Венсенов и прочей их собратии [1]. При таком широком разгуле разума многие обветшалые средневековые здания, подрытые под самое основание, попадали с треском. На развалинах феодальных замков воздвигались и исчезали воздушные замки как мыльные пузыри.

Разум человеческий, уставший после таких разрушительных подвигов и тщетных усилий создать из самого себя что-нибудь прочное, почил; а немец Кант в хитросплетенных категориях в свою очередь доказал, как дважды два четыре, что чистый разум большой хвастун и часто берется не за свое дело, которое ему не под силу.

После многих треволнений человек должен был убедиться, что, не бывши альфой и омегой мироздания, он составляет только звено бесконечной цепи творений и что ему не суждено оглашать одному Вселенную своим однозвучным пением, но что его голос должен сливаться с голосами всех прочих существ и всего сущего в многозвучную и вечно стройную песнь. Что, бывши в беспрерывных сношениях с природой, дело его разума — неослабно следить за всеми проявлениями в природе и, беспрестанно поверяя свои понятия одни другими, приводить их все более и более в согласие между собой; изучая же проявления в природе, стараться определить их взаимные отношения, отношения их к человеку и отношения человека к природе. И таким способом все более и более уяснять человеку, что такое человек. Одно из самых важных и любопытных проявлений в природе, конечно, проявление жизни вообще и проявление жизни человека в особенности [2].

Человек живет и петух живет, и если бы не жил петух, то жизнь человека в первичных своих проявлениях была бы менее известна,



Автограф И. Д Якушкина

нежели известна теперь: большая часть исследований над развитием зародыша вообще была производима над куриным яйцом. Исследования ученых свидетельствуют,— и в этом случае нам, людям полуученым, остается только верить,— что все живущее выходит из яйца, разумеется не из куриного, которое само образуется из небольшого пузырька, заключенного в перепончатом мешочке яичника курицы. Прозрачная влага в этом пузырьке мутится, желтеет, и количество ее увеличивается по мере того, как увеличивается самый пузырек; достигнув полного объема желтка, он разрывает перепонки, заключающие его в яичнике; в то же время заключенный в нем животный, или первичный, пузырек разверзается и оставляет на поверхности желтка под перепонкой, его облекающей, белое пятнышко или рубчик, означающий место, где начнется развитие зародыша. Отделившись от яичника, желток спускается винтообразно по яйцепроводу, причем он покрывается белком, и окончательно на наружную перепонку белка оседает известь, составляющая скорлупу... В этом виде яйцо является на свет, и там заключается пролог развития будущего цыпленка...

Яйцо, заключающее в себе условия жизни будущего цыпленка, может оставаться некоторое время не изменяясь, точно так же как могут оставаться не изменяясь семена, заключающие в себе условия жизни будущих растений. Для пробуждения жизни в семенах необходимы тепло и влага, для пробуждения жизни в яйце нужно только тепло, по той причине, что в нем самом содержится уже достаточно влаги для полного развития зародыша.

В оплодотворенном яйце, если положить его под наседку или вообще в теплое место, постоянно происходят значительные изменения. В первый день, посредине удлиненного рубчика, между обеих перепонок желтка, замечается беловатая черточка с утолщениями на концах и окруженная перепончатой складкой; эта черточка — зачаток головохребетного мозга, из которого разовьется весь мозговой, или чувственный, снаряд. На другие сутки первоначально появляется, отдельно от мозгового снаряда, одна полость сердца, левое ушко; вскоре потом образуется левый желудочек, после чего ушко разделяется кольцеобразной перепонкой на две полости; по прошествии трех суток становится явственным правый желудочек, но сердце бьется прежде полного своего образования и содержит тогда бесцветную жидкость; красная же кровь, с своими шариками, появляется первоначально в сосудах, образовавшихся поодаль от зародыша, в перепонках желтка; сосуды эти, распространяясь и переплетаясь между собой, прогоняют кровь к сердцу.

Вскоре после появления головохребетного мозга около него появляется несколько пар точек, означающих зачатки позвонков.

В тот же день из перепончатой складки, окружающей зачаток головохребетного мозга, образуется голова и задняя часть цыпленка, а затем появляется нитевидная трубочка, протянутая от головы до хвоста и означающая собою зачаток желудка и кишек. Во время насиживания белок постепенно смешивается с желтком, и эта жидкость, первоначально всасывается [1] сосудами, образовавшимися в перепонках желтка, а потом желудком и кишками. После появления головы постепенно образуются все другие наружные части цыпленка; но часть живота, сначала бывши совершенно открыта, восполняется мало-

помалу, и только в двадцатый день, вобравши внутрь остатки жидкости, совершенно покрывается, после чего не с большим через сутки цыпленок пробивает скорлупу и появляется на свет.

Развитие ребенка происходит не совсем тождественно с развитием цыпленка, вылупившегося из куриного яйца, в котором содержится весь нужный запас для образования и полного развития зародыша; образование же зародыша ребенка совершается в утробе матери, и все нужное для его питания и развития доставляется кровеносными ее сосудами. После оплодотворения яйцо, в виде пузырька, заключенное в перепончатом мешочке яичника женщины, несколько увеличивается и, разорвавши внешний покров яичника, по трубе, к нему прилежащей, спускается в матку, где оно остается свободным в продолжение некоторого времени. После трех недель беременности появляется первый признак развития зародыша в виде черточки с утолщениями по обоим концам, из которых одно сообщается посредством пуповинки с внутренней мышечной оболочкой яйца, против того места внешней оболочки, которое прикрепляется к матке. В течение второго месяца яйцо увеличивается в объеме и его наружная кожистая оболочка покрывается нитями, часть которых, разветвившись, внедряется в матку и образует детское место. Внутри яйца содержится белковатая жидкость, среди которой развивается зародыш. Питание его и дальнейшее образование совершаются посредством пуповинки, состоящей из трех кровеносных сосудов, которые разветвились в перепончатых оболочках яйца и, достигнувши детского места, соприкасаются с кровеносными сосудами матки.

Человек в зародышном своем развитии принимает все виды существования животных. Яйцо, отделившися от яичника женщины, существует столько же самостоятельно, как существуют и животные низшего разряда, у которых нет ни мозга, ни кровообращения, и вообще ни одного из орудий жизни, отдельно и явственно образовавшихся, но которые, повидимому, одарены произвольным движением. При образовании сердца у зародыша ребенка, оно первоначально состоит из одной полости, как сердце земляного червя, потом из одного ушка и одного желудочка, как сердце рыб, затем из двух ушков и одного

желудочка, как сердце лягушки, и окончательно из двух ушков и двух желудочков, как сердце птиц и млекопитающих.

При некотором подобии человека в зародышевом своем состоянии с другими животными, и он и каждое из них достигает той степени развития, которым определяется способ будущего их существования, а вместе с тем и все животные и человек, по непременному закону природы, родятся от существ себе подобных. Из оплодотворенной икры щуки никогда не разовьется другое животное кроме щуки с сердцем об одном ушке и одном желудочке, как у всех рыб вообще, но с некоторыми особенностями, свойственными только щуке. Из икры лягушки выходит первоначально головастик, похожий на рыбу, который живет в воде и дышет жабрами подобно рыбам, но скоро потом, по образовании в нем легких, жабры его исчезают, и он превращается в лягушку, которая, при способе своего кровообращения, имеет возможность жить на земле, дыша воздухом, и оставаться на долгое время под водой. Из яйца курицы выходит всегда цыпленок. В утробе женщины, при всех постепенных изменениях зародыша и многосложном его развитии, всегда образуется ребенок, а не какое-нибудь другое животное. И цыпленок, вылупившийся из яйца, и ребенок, вышедший из утробы женщины, в своем зародышном развитии получают уже собственно им одним принадлежащее образование, отличающее их от всех прочих цыплят и всех прочих ребят.

Итак, наблюдения над зародышем очевидно доказывают, что первичное образование всех животных совершается вообще одним и тем же порядком, но что при этом каждое из них в подробностях и степени своего развития разнообразно до бесконечности и что каждое животное существует отдельно от всех животных как неделимое и вместе с тем составляет собой звено неразрывной цепи всех существ.

Рассматривая каждое животное отдельно как неделимое, естественно является вопрос: кто это неделимое и под чьим влиянием началось его зарождение и совершились все чудеса его развития? На такой вопрос положительная наука, основанная единственно на опыте, не дает ответа, и тут каждому мыслящему человеку, ученому и не ученому, предоставляется решить задачу по крайнему своему разумению.

При этом, как и при всех действиях нашего мышления, необходимо только, чтобы понятие, какое мы составим себе об этом предмете, не было бы в противоречии с прочими нашими понятиями, не подлежащими сомнению.

Чувства наши, через впечатления на них извне, доставляют нам только понятия о телах и их движении. Тела, занимая пространство, имеют протяжение и потому уже разделимы; части, составляющие тело, как и оно, занимая пространство, имеют протяжение, как и оно, подразделяются и потому суть также тела. Перемещение тела в пространстве мы называем движением. Тела и части их могут иметь более или менее протяжения, и движение может совершаться с большей или с меньшей скоростью и по различным направлениям. Разность в протяжении тел, ее разность в скоростях движения и в его направлении разнообразит до бесконечности видимые нами предметы.

Разум, признав протяжение в телах, деля их на части и подразделяя эти части на меньшие частицы, стремится от многочисленности к единице; допустив существование единиц, далее не подразделимых, он заключает, что такие единицы составляют сущность тел и что чувствам нашим представляются только образы предметов, беспрестанно преходящие.

Видимые нами тела представляются нам или в движении, или в спокойствии; и тут разум наш опять выводит заключение о существовании причины того или другого состояния тел. Причину эту, приводящую тела в движение или движущиеся тела приводящую в спокойствие, называют *силою*.

Никто из смертных не видал в глаза ни собственно единицы, ни собственно силы, точно так же как никто из смертных не видал собственными глазами ушей своих, а между тем всякий знает, что у него есть уши, и никто не сомневается в существовании своего Я, как единицы, обладающей жизненной силой и силой мышления, которые обе суть одна и та же сила в разных степенях своего развития.

Наше Я как единица совмещает в себе единовременно только единичные ощущения. Бесчисленное множество световых лучей, отраженное бесчисленным множеством точек какого-нибудь отдельного

предмета и собранное снарядом нашего зрения, изображает этот предмет на сетчатых оболочках двух наших глаз, и при всем том мы видим только один предмет. Сотрясение бесчисленного множества частиц воздуха сообщается в обоих ушах наших слушательным нервам, и тут опять слышим мы только один звук, и несколько стройных звуков, доходящих до нашего слуха, ощущаются [1] нами как один аккорд.

Вообще многосложные впечатления сосредоточиваются нашим Я в одно ощущение, подобно как многочисленные лучи, проведенные от окружности, сосредоточиваются посредине круга в одну точку.

Если бы каждое из отдельных наших ощущений сменялось только в нас другим, также отдельным ощущением, как сменяются разные изображения в зеркале, в котором отражается каждый новый предмет, не оставляя никакого следа предметам, отразившимся в нем прежде, то мы, не имея возможности сравнить один предмет с другим предметом и отличить частности, составляющие исключительную принадлежность какого-нибудь отдельного предмета, не имели бы решительно ни о чем никакого понятия. Наше существование, при каждом новом ощущении составляя новое Я, распадалось бы на части, не имеющие ничего между собой общего; но, имея возможность сознавать переход от одного ощущения к другому ощущению, наше Я потому уже самому имеет и возможность беспрерывно сознавать самого себя и, отличая одни наши ощущения, производимые в нас впечатлениями извне, от других подобных ощущений, мы получаем понятие о предметах, вне нас существующих.

Собственная деятельность нашего Я беспрестанно проявляется при сношениях своих с внешним миром, и не все впечатления, передаваемые нам нашими чувствами, равносильно ощущаются нашим Я. Находясь в многочисленной шумной беседе, мы произвольно обращаем внимание на речи того или другого из собеседников, не слушаем остального говора.

Каждое ощущение в нас сопровождается сознанием этого ощущения и вместе с тем сознанием некоторых прежде бывших ощущений, и, сознавая разность одного ощущения от другого, прежде бывшего ощущения, мы приходим к познанию разнообразия предметов, про-

изводящих разные впечатления на наши чувства. Имея возможность обращать исключительно внимание и на части предметов как на отдельные предметы, части эти производят в нас отдельные ощущения. И тут наше Я опять сознает подобие или разность своих ощущений, и мы, сперва признавши подобие и различие предметов, и теперь, опять признавая подобие и различие частей их, получаем более полное познание о том, что составляет тождественность и разность в предметах, нами наблюдаемых. На небосклоне виднеется что-то темное, отличное от неба и земли. Приближаясь к этому предмету и вглядываясь в него, мы видим сплошной лес и над ним темносизую тучу; приблизясь еще к нему, мы начинаем отличать отдельные деревья, которые издали все вместе казались сплошною толщею; вблизи совсем от леса мы видим, что одни из деревьев имеют белый ствол, повисшие сучья и листья, приходящие в движение при небольшом ветре; другие деревья с зеленоватой корой на стебле, с сучьями, почти распростертыми, и листьями еще более подвижными. Третьи деревья имеют ствол темный, листья игловидные, сидячие пучками на сучьях, повисших и на конце приподнятых, и мы узнаем, что первые из этих деревьев березы, вторые осины, а третьи ели. В двух листках, сорванных с березы, при всем их сходстве между собой, найдутся признаки, по которым их легко отличить один от другого. Очертание их будет не совсем одинаково; на окраинах одного будет более или менее зубчиков, чем на окраине другого, и самые зубчики будут не все равно глубоко вырезаны. При самых подробных наблюдениях какого бы то ни было предмета, мы получаем только более или менее полное понятие о признаках, отличающих этот предмет от других предметов или которую-нибудь его часть от других его частей; но то, что составляет самую сущность предмета, единицы, образовавшие его своим сочетанием, не доступны нашим опытным наблюдениям. Кристалл или растение, или животное, видимые нами, могут быть размельчены химическими приемами до такой степени, что дробнейшие их части, столько же положительно существующие, как и прежде, сделаются совершенно не ощутительны для нашего зрения. Не все колебания в воздухе производят впечатления на наш слух и вообще

не всякое движение ощутительно для наших внешних чувств. И кристалл. и растение, и животное образуются движением единиц, сочетающихся в определенном порядке; но при этом явлении самые единицы и движение их для нас не ощутительны, и посредством внешних чувств мы узнаем только о существовании предметов, имеющих каждый свои отличительные признаки.

Единица в спокойном состоянии, как и математическая точка в спокойствии, не имеет никакого протяжения и потому ничего общего с предметами, о которых мы знаем через внешние наши впечатления, но та и другая в движении становятся доступны нашему понятию, как начала, образующие видимые нами предметы. Движущаяся точка может образовать черту, черта — плоскость, плоскость — тело, имеющее уже все три протяжения. Все единицы в мире, не имея протяжений, ничем не могут разниться одна от другой, как только движением, которое может разнообразиться до бесконечности своим направлением и степенью скорости, с какою совершается самое движение. Каждая единица в определенное время имеет свой определенный способ движения, ей свойственный, которым она возбуждает определенное движение в ближележащих единицах, свойственное им в это время; вследствие чего единицы или сближаются в каком-нибудь порядке и могут образовать из себя что-нибудь ощутительно для нас целое, или удаляются одна от другой и остаются для нас не ощутительными.

Все это совершается подобно тому, что происходит, когда звуки, истекающие из натянутах струн, или сливаются в один аккорд, или производят нестройное разногласие. Все явления в природе, подлежащие нашим наблюдениям, происходят от движения и сочетания единиц в каком-нибудь порядке, ощутительном для наших чувств; причина же всякого движения называется силою, заключается в самих единицах, имеющих способность приходить в движение и возбуждать движение в окольных единицах. Малейшая песчинка на нашей Земле настолько же тяготит к Солнцу, насколько Солнце тяготит к этой песчинке; железный опилок притягивается магнитом ровно с такой же силой, с какой притягивается магнит опилком; стекло, натертое

сукном, притягивает или отталкивает легкие тела с такой же силой, с какой легкие тела притягивают или отталкивают стекло. Все части тела, образуемого сцеплением, равно обладают этой силой. Причину явлений, происходящих всегда в одном и том же порядке, называют особенным наименованием; так говорят: сила тяготения, сцепления, тепла, света, электричества, магнитности, жизни, мышления, и во всех этих случаях слово «сила» означает только особый способ и порядок движения единиц. Постепенные, но быстрые движения единицы сливаются для нас в одно целое, точно так же как постепенные, но быстрые колебания струны сливаются для нас в один звук. Одна и та же струна, более или менее натянутая, в одно и то же время совершает большее или меньшее число колебаний и производит такой или другой звук, который отзывается не на всех струнах стоящего тут инструмента, а на той только струне, которая способна производить одинаковое число колебаний со струной, произведшей первоначальный звук; точно так же каждая единица в природе, соответственно двигательной своей силе, в данное время может совершать определенные движения по побуждении первичной движущей ее единицы, сочетаться с парными ей единицами и участвовать в образовании или какого-нибудь кристалла, или какого-нибудь растения, или какого-нибудь животного.

Простые и вообще неорудные тела, образовавшиеся сочетанием единиц, обладающих уже силою сцепления, имеют собственные им свойства; каждое из них может соединиться с другим телом только в определенном и ощутительном для нас порядке. Негашеная известь состоит всегда из одного и того же количества металла, известковых и кислорода; углекислый газ, производящий угар, всегда состоит из определенного количества углерода и кислорода; негашеная известь соединяется с углекислым газом и всегда в определенном количестве того и другого; углекислая известь образуется в кристаллы всегда определенного вида; та же известь, распущенная в воде, может быть всосана корешками какого-нибудь растения и, поступив в состав этого растения, участвовать в проявлениях его жизни; потом это растение может быть принято в пищу каким-нибудь животным, и известь.

вошедшая в состав этого растения, может оплодотвориться и принять участие в жизни животного. Во всех этих случаях одни и те же единицы проявляют в себе разного рода силы, или, что все равно, принимают участие в проявлениях разного рода. Тела, образовавшиеся силою сцепления, при химических своих сочетаниях соединяются с некоторыми другими такими же телами, преимущественно перед прочими, и это свойство, называемое сродством, составляет особенность этих тел, точно так же, как то, что называют права[ми] растений и животных, составляет их особенность.

В природе беспрестанно все движется. Земля наша быстро совершает свое суточное движение, но еще с большей быстротой обращается около Солнца. Некоторые тела небесные, как наша Земля, имеют свои суточные движения и также обращаются около Солнца. Само Солнце имеет явное движение. Единицы, еще не сочетавшиеся между собой и наполняющие пространство Вселенной, беспрестанно приводятся в движение светилами небесными. При этом всеобщем движении единиц происходящие от него проявления бесчисленно разнообразны, но не все единицы одинаково участвуют в каждом из этих проявлений; те из них, в которых уже возбуждена сила сцепления и которые своими сочетаниями образовались в простые тела, не все в равной степени принимают участие в проявлениях тепла, света, электричества, магнетизма, и самая сила сцепления не в одинакой степени возбуждена во всех простых телах; и эта сила, при разных обстоятельствах, в одном и том же теле может иметь бо́льшую или меньшую степень развития. Точно так же жизнь при своих проявлениях, от гриба и до человека, имеет свои степени развития, и как при высокой степени тепла проявляется свет, точно так же при высшем развитии жизни проявляется мышление.

Какой-нибудь кристалл, образовавшийся силою сцепления в продолжение тысячелетий, может оставаться не изменяясь, не претерпевая никакого явного влияния от предметов, его окружающих, и не оказывая на них никакого действительного влияния. Во всех его частях равно распределена сила сцепления, сохраняющая его от разрушения. В растении, образовавшемся сочетанием единиц, возбужден-

ных к жизни, происходит беспрестанное движение и изменение; части его, исполнившие свое назначение, извергаются им или отпадают от него; и в то же время оно поглощает новые начала из среды, его окружающей, из почвы, на которой оно растет; беспрестанно новые единицы, возбужденные им к жизни, входят в состав его; но не все части растения принимают равное участие в движении, в нем происходящем, в некоторых из них более напряжения силы жизни, нежели в других.

При образовании цветка и потом плода нередко истощается самое растение. Всякая почка, отделившись от растения отводком, может жить собственной жизнью и при благоприятных обстоятельствах образовать растение, подобное тому, которого она прежде была только частью. Вообще, растения, имея около себя все нужное для полного своего развития, остаются прикрепленными к почве на том месте, где началось их прозябание; размножению же растений содействуют и вода, и свет, и животные, разнося семена их на дальние расстояния.

Образования животных, находящихся на низкой ступени развития, менее сложны, нежели образования растений, которые состоят из различных частей, исполняющих особые, определенные им отправления. Речной полип весь состоит из студенистого мешка, внутренняя сторона которого служит ему орудием питания. Жизнь в нем мало сосредоточена, и он плодится, отделяя от себя отростки в виде мешочков, которые, вырастая, становятся подобными своим родителям. Но тут начинаются явления, каких не замечается при развитии жизни в растениях. Речной полип, это животное, мешок-желудок, совершает произвольные движения, чего не совершает ни одно растение. Животные низшего разряда во многих отношениях мало разнятся от растений. Все лучистые живут в воде или как чужеядные внутри других животных; усваивая из среды, их окружающей, все нужное для своего питания, они растут и плодятся отпрысками подобно растениям, и тем ограничиваются их сношения с природой. Восходя от этих животных к животным высших разрядов, жизнь разнообразится в своих проявлениях, и отдельные снаряды, имеющие особые определенные назначения, все более и более получают явное и полное развитие и

все более и более подчиняются общей жизни животного. Кольчатые имеют уже кровь красную и довольно сложный прибор для кровообращения, хотя и не имеют сердца; движения их правильные и разнообразнее движений, какие совершают лучистые, но и тут в некоторых из них, как в растениях и лучистых, жизнь еще мало сосредоточена. Каждая часть разрезанного червя может жить собственною жизнью и образовать из себя полное живое тело.

В животных низшего разряда жизнь растительная и жизнь животная, проявляющиеся при питании и произвольных движениях, сливаются вместе за отсутствием особых орудий для таких отличных одно от другого проявлений. В животных же более полного образования жизнь растительная и жизнь животная проявляются посредством отдельных снарядов.

При развитии мышечного снаряда, посредством которого животное совершает свои движения, образуется отдельный снаряд мозговой, или чувствительный, посредством которого животное вступает в более полное сношение с природой. С развитием мозгового снаряда животное движется не только произвольно, но и совершает преднамеренные движения. Паук, раскинувший паутину и в засаде ожидающий свою добычу, поступает так же преднамеренно, как и пластун, запавший в тростник и ожидающий своего врага. Причина таких особенных явлений — та же жизнь, но в своем высшем развитии и переходящая уже в мышление. У суставчатых и мягкотелых мозговой снаряд не имеет еще полного развития; у пиявицы, паука, рака и пчелы он состоит только из узлов, соединенных нитями и лежащих в два ряда, от головы до конца брюшной полости, а у устрицы и вообще у мягкотелых, имеющих кровообращение более правильное, нежели все животные низших разрядов, мозговые узлы окружают в виде ожерелья пищеприемник, отделяя от себя узловатую нить. Только у позвоночных мозговой снаряд получает свое окончательное развитие. Тут головохребетный мозг заключен в позвонках; одна крайняя часть его значительно утолщена и облечена черепом, и в ней находится исходная точка произвольных движений и действий мышления. Посредством парных мозговых нитей, состоящих в сообщении с головным

мозгом, животное получает ощущение извне и производит движение по воле своей, причем происходит необходимо сотрясение в мозговом снаряде. Мышление, находясь в непосредственной зависимости от этого снаряда, проявляется вследствие развития жизни; но самые проявления мышления столько же отличны от проявлений жизни, как и проявления света отличны от проявлений тепла, хотя тепло и свет могут проявляться вместе в одном и том же предмете. Самое же слово «жизнь» собственно означает только особый способ и порядок единиц, вследствие которого образуется растение или животное. И то и другое образуется под влиянием единицы, из которой сила жизни, как из средоточия, действует на окольные единицы и возбуждает их к жизни. Каждая единица, возбуждаемая к жизни, получает новую силу для сочетания своего с другими единицами, с которыми она образует живое существо, и для сопротивления разрушительному действию посторонних единиц. В этом отношении и человек, и петух, и устрица, и гриб подчиняются одному и тому закону и ничем не разнятся между собой. Как ни сложно образование зародыша ребенка и всех его снарядов жизни, он и в этом отношении не разнится от зародыша цыпленка.

Цыпленок, только что вылупившийся из яйца, бегает и находит себе пищу, и в этом отношении ребенок нисколько не похож на цыпленка; родившийся младенец едва шевелится и нередко приходится учить его взять грудь матери. Все животные при самом своем рождении имеют способность удовлетворять всем потребностям жизни, или эта способность проявляется в них вполне спустя некоторое время после их рождения. Способность эту называют инстинктом животных, который в сущности ничто другое как врожденное уменье действовать согласно целям природы, давшей каждому животному определенное назначение в его жизни. И тут человек решительно разнится от всех животных. При своем рождении он не имеет никакого уменья и потом, приобретая его, то, что он добывает собственным своим опытом, весьма незначительно в сравнении с тем, что передают ему другие, и тем, что достается ему по наследству от прежде живших поколений.

Взятый отдельно, он самое ничтожное существо из всех существ в мире; но отдельно он никогда не существует. При самом рождении он уже член семейства, с которым сливается его существование. Семейство это мало-помалу передает ему свое уменье, добытое им тем же порядком от прежде живших поколений и дополненное собственным опытом.

Пчела, только что вышедшая из своей ячейки, имеет уже способность использовать все многосложные работы, необходимые для существования пчел в улье по предназначенному им порядку. Умение пчелы, только что увидевшей свет, столько же совершенно и замкнуто, как и умение всякой другой пчелы. Семейство пчел, для своего существования не имея никакой надобности сообщаться с другими пчелами, составляет в своем улье отдельный мир, и в этом улье один и тот же порядок, какой был и есть во всех других ульях.

Семейство человека само по себе слишком слабо, чтобы противодействовать враждебным силам, его окружающим; по необходимости оно соединяется с другими семействами, чтобы увеличить свои средства для удовлетворения потребностей жизни. Человек, это слабое животное существо при своем рождении и по своей природе и тем самым поставленный в необходимость сближения с себе подобными, в совокупности с ними приобретает огромные силы, беспрестанно возрастающие, вследствие чего народы сближаются с народами, люди все более и более толпятся и все человечество стремится к соединению в одно целое — и этим самым человек решительно разнится от всех животных вообще и от петуха в особенности [1].

ПИСЬМА



АДРЕСАТЫ ПИСЕМ И. Д. ЯКУШКИНА

ПИСЬМА ДРУГИХ ЛИЦ

1. И. Д. ЯКУШКИН — И. Н. ТОЛСТОМУ [1]

1813-го года. Сентября 4-го дня. Теплиц.

С каким удовольствием, любезный Иван Николаевич, мы узнали от Казнакова, который приехал сегодня, что тебе лучше и что мы скоро будем иметь удовольствие опять наслаждаться твоим присутствием. Письмо твое к твоему братцу [2] отправлено — касательно твоего жалования, я постараюсь им расположить по твоему желанию, только не знаю, найду ли купить лошадь; твари этого рода здесь очень дороги. Прости, любезный друг, выздоравливай поскорей и приезжай к своим друзьям, которые ожидают тебя с отверстыми объятиями. Навсегда твой

И. Якушкин.

Поклонись всем нашим и скажи пожалуйста Хрущеву, чтобы он прислал Чаадаеву 1-ю часть «L'Imagination» Делиля [3], которую он у него взял. Ты не поверишь, как известия о Чичерине нас огорчили всех.

2. И. Д. ЯКУШКИН — И. Н. ТОЛСТОМУ [1]

1814-го года. Сентября 24-го дня.

Спешу исполнить обещание свое, любезный друг Иван Николаевич! уведомить тебя о прибытии моем в мои владения. Я ехал три дня с

половиною от Петербурга до Смоленска и столько же от Смоленска до Доргабужа. Ты можешь себе представить, сколько такая медлительность была для меня несносна.

Ты сам недавно возвратился в свое семейство и, следовательно, лучше другого можешь представить, сколь велико было для меня удовольствие увидеться с матушкою и со всеми родными, которых я не видал слишком три года.

Прости, любезный друг. Поцелуй Щербатова, Трубецкого и Чаадаева и поклонись за меня князю Броглио и Стенеру, Хрущева также поцелуй и скажи какое-нибудь немецкое приветствие Ивану Ивановичу. Прости, обнимаю тебя. Навсегда твой

Якушкин.

После заутра я еду в Орел, а через две недели возвращусь опять в Смоленскую губернию. Сделай одолжение, любезный друг, отправь мое письмо по его адресу. Я надеюсь, что ты скоро ко мне напишешь.

Я забыл было попросить тебя, любезный друг, прислать мне три или четыре дворянских медали[2] (если они вышли), чем ты много меня одолжишь. Приехав в Орел, тотчас пришлю к тебе деньги.

3. И. Д. ЯКУШКИН — И. Н. ТОЛСТОМУ

1814-го года. Октября 12-го дня. Орел.

Не сердись на меня, любезный друг Иван Николаевич, за то, что я так бесстыдно пользуюсь позволением твоим и без всякой церемонии прошу тебя заняться моими делами.

Посылаю к тебе тысячу рублей, которые ты употребишь следующим порядком:

1-е. Купишь мне 30 четвертей овса и 150 пуд сена и несколько возов соломы, что, я предполагаю, будет стоить около 450 рублей.

2-е. Отдай Буйницкому, а если он не приехал, то князю Броглио 240 с[е]р. Себе заплати 100 с[е] Храповицкому 110 с[е]р. Щербатову или Чаадаеву, которому из них нужнее, 100 с[е]р. Если увидишь других моих заимодавцев, то успокой их и уверь, что я сам скоро буду.

3-е. Узнай каким-нибудь образом, жив ли Вельяминов-Зернов, штабс-капитан Брестского пехотного полка; его родные слишком год не имеют об нем никакого известия. Узнай также, где теперь находится этот полк. Об себе скажу тебе, любезный друг, что я, слава богу, здоров и все это время в беспрестанных путешествиях. Прощай, спешу — обнимаю тебя, верный твой друг

Якушкин.

Поклонись моим приятелям. Не забудь о медалях.

NB. Если негде тебе будет положить овес и сено, то найми для этого сарай на месяц или на два.

4. И. Д. ЯКУШКИН — И. Н. ТОЛСТОМУ

1814-го года. Декабря 2-го.

Ты обещал, любезный друг Иван Николаевич! всякую неделю писать ко мне; но во все время моего отпуска я не получил от тебя ни одной строчки. Не подумай, однако, чтобы я почитал тебя в этом виновным; я знаю, что ты не можешь так скоро позабыть о человеке, который тебя много любит и которого ты сам так часто уверял в своей дружбе. Итак, в этом нет и сумнения: ты ко мне писал, и твои письма лежат где-нибудь на почте — но не менее того я лишен удовольствия получить их и потому иметь какое-либо известие о твоей особе. Я не удивляюсь, что Муравьев и Трубецкой [1] меня позабыли: первый, как я думаю, в отпуску еще у своих родных и, следовательно, в кругу веселий московских, а второй проводит жизнь свою на улицах петербургских. И так мудрено бы им было вспомнить о приятеле, который от них за несколько сот верст.

Я к тебе писал два раза и в последнем письме послал тысячу рублей. Сделай одолжение, любезный друг, посвяти мне час время и напиши ко мне обо всех известиях подробно. Я буду в Петербурге не прежде начала будущего месяца; узнай, пожалуй, каково об этом

думает наш штаб и унтер-штаб, а я думаю послать свидетельство задним числом. Прощай, целую тебя. Навсегда твой верный друг

Иван Якушкин.

Адресуй письмо свое ко мне в Орел на имя е. в. б. М. Г. Николая Васильевича Телепаева. Поцелуй наших общих приятелей.

5. И. Д. ЯКУШКИН — И. Н. ТОЛСТОМУ

1815-го года. Генваря 6-го дня. Орел.

Сейчас, любезный друг Иван Николаевич, получил последние твои два письма, за которые много тебя благодарю, тем более, что они мне только доказывают, сколько ты принимаешь участия о всем том, что до меня касается. Ты не должен принять сию благодарность за обыкновенную церемонияльную фразу, которыми наполняют пустые места в письмах; но быть уверенным, что я истинно умею ценить твою ко мне дружбу. В одном из твоих писем я нашел письмо из Парижа ко мне. Если ты получишь еще сему подобные, то сделай одолжение, любезный друг, оставь их у себя до моего приезда, ибо я теперь скоро надеюсь с тобой увидеться.

Ты спрашиваешь у меня, думаю ль я выйдти в отставку; я могу тебе отвечать, что я более нежели когда-нибудь желаю оставить службу; но так как на этом свете не все то делается, чего хочешь, то я и не смею ничего тебе сказать верного. Прости, любезный друг.

Навсегда твой *Якушкин.*

Поклонись всем нашим; к Муравьеву и П. Чаадаеву потому не пишу, что они сами ко мне не писали, и к тому же я лично скоро надеюсь их побранить [1].

6. И. Д. ЯКУШКИН — И. Д. ЩЕРБАТОВУ [1]

1816, 10 августа. Москва.

Я пишу тебе сегодня, мой милый Щербатов, не из желания сообщить тебе вести о себе, скорее меня просто влечет желание сообщаться

с тобой и хоть минуту с тобой побеседовать, и я не могу противиться этому желанию. Я еще не знаю даже точно, что мне сказать тебе, но мне непременно нужно говорить с тобой. С тех пор, как я тебя оставил, тысячу раз я вспоминал те моменты, когда мы были вместе. Не спеши, однако, выказать мне твое сожаление по этому поводу, я его вовсе не заслужил, мой милый друг. Я думал, что наша разлука, которая причиняет мне столько огорчений и которую я по временам проклинаю, вовсе не исправила меня от моей неблагодарности; отдавая справедливость себе, я чувствую, что если бы я имел счастье быть подле тебя, я не имел бы здравого смысла, чтобы им пользоваться, и раз судьба не допускает моего благополучия, то так ли оно и важно? И, может быть, лучше, если я умру вдали от людей, которых я нежно люблю и которые интересуются мною, чем страдать в их присутствии, не имея никогда возможности ничего им сказать. Если я не ошибаюсь, чем больше будет сумятицы в моей жизни, тем более будет она для меня переносима.

Прощай, мой милый друг, мне нечего тебе много писать, я могу писать только очень немного. Прощай. Я не запечатываю этого письма, и, может быть, напишу тебе еще.

15 июня[2].

Перечитывая это письмо, я хотел было тебе его не посылать, настолько оно мне показалось эгоистичным, но я не решился этого сделать, рассчитывая на твою дружбу ко мне и обещая тебе на будущее не говорить больше с тобой в таком тоне.

Уже пять дней, как я приехал в Москву, и рассчитываю остаться здесь еще столько же. Твои сестры не могут еще привыкнуть к твоему отсутствию; они беспрестанно говорят о тебе; они здоровы, так же как и твой отец. Прощай, мой милый друг, обнимаю тебя, так же как Чаадаевых, Муравьевых[3] и С. Трубецкого. Прощай.

На веки твой *И. Якушкин.*

7. И. Д. ЯКУШКИН — И. Д. ЩЕРБАТОВУ

1816, 3 октября. Сосницы [1]

Я писал тебе из Москвы, мой милый Щербатов, и, не получив твоего ответа, пишу тебе сегодня еще, чтобы дать вести о себе и, особенно, чтобы попросить того же от тебя. С тех пор как я вас оставил, я не знаю, что с вами со всеми сталось; я, однако, не предполагаю, что ты меня забыл, потому что не забывают *ни с того, ни с сего* [2] тех, кого искренно любили, и однако никто из вас не хочет мне писать. Мне очень досадно, что приходится упрекать тебя в молчании, мне было бы много приятнее тебя благодарить за несколько строк, если бы ты их мне написал. Постарайся же, мой милый друг, доставить мне это удовольствие, и я буду тебе за то очень благодарен.

Уже две недели, как я прибыл в полк; я в нем нашел только кадры, готовые отправиться в Московскую губернию, где они будут квартировать.

Сообщи мне, мой милый друг, думаешь ли ты иметь отпуск этою зимою? Что касается меня, я думаю, что ты не плохо сделаешь, если попросишь его; ты, может быть, скажешь, по твоему обыкновению, что это не стоит труда, а я тебе вперед скажу, что, говоря так, ты будешь неправ. Ты сделаешь этим много удовольствия твоим сестрам, и, следовательно, очень стоит потрудиться это сделать. Я не говорю уже про себя, может быть, я не вправе требовать никаких знаков твоей дружбы, потому что чувствую, что в этом случае я был бы слишком в долгу перед тобой. Не сердись, однако, за мое желание видеть тебя этою зимою в Москве.

Я не принял еще роты, нахожусь постоянно вместе с полковником Фонвизиным, благородным человеком во всех отношениях. Я не могу пока ничего тебе сказать особенного о моих товарищах, за исключением того, что все те, кого я видел, это люди, проделавшие турецкие походы, по большей части, изрешеченные ранами и не получившие почти никакой награды. Солдаты, оставшиеся в кадрах, могли бы находиться даже в гвардии, остальные — отребье рода человеческого.

Сосницы — плачевная дыра, наполненная грязью и сутягами. Этого, я думаю, довольно, чтобы тебя ориентировать на мой счет.

Прощай, мой милый друг, не забывай меня и давай мне вести о себе. Прощай, обнимаю тебя. Привет всем этим господам [3], и, между прочим, я им напоминаю их обещание писать мне.

8. И. Д. ЯКУШКИН — И. Н. ТОЛСТОМУ

1816-го года. Ноября 12-го. Орел.

Если Иван Николаевич забыл старого своего товарища, то ему да будет стыдно.

Скажи, любезный друг, если не ошибаюсь, то и ты и многие другие обещались ко мне писать, но, как кажется, в этом случае французская пословица совершенно справедлива, которая говорит, что *promettre et tenir sont deux...* [1], ибо с тех пор, как я выехал из Петербурга, не получил ни от кого из вас ни одной строчки; зная твою аккуратность, с твоей стороны меня это очень удивляет, и если ты не хочешь совершенно меня уверить в том, что ты совсем меня забыл, то не замедлишь ко мне написать — адресуй твое письмо: Его в. б. м. г. [2] Дмитрию Александровичу Облеухову [3], на Тверской, в приходе Благовещения, в собственном доме, с доставлением на мое имя.

В начале будущего месяца я надеюсь быть в Москве. Прощай, любезный друг, поклонись от меня обоим Николаям Николаевичам, с тобою живущим, и Ермолаеву [4], и пожури Чаадаева и Муравьева, что они ко мне не пишут. Навсегда преданный тебе

Якушкин.

9. И. Д. ЯКУШКИН — И. Д. ЩЕРБАТОВУ

1817, 21 февраля. Москва.

Я только что получил известия о тебе, мой милый друг, от Сергея Трубецкого, который провел несколько часов у меня и рассказал мне,

что встретил тебя при выезде из города. Я не буду говорить о грусти, которая осталась после тебя, это вещь слишком очевидная, чтобы нуждаться в изъяснениях.

Здесь говорят, как о деле решенном, что старая гвардия должна прибыть сюда с императором, я не думаю, чтобы это было верно, и не смею слишком желать, чтобы это так было, зная очень хорошо, что ты меньше всего этого желаешь.

Твои сестры пишут тебе каждую почту, вследствие чего тебе должно быть известно, что они не совсем исполнили твое *поручение*. Сегодня концерт Кизели, я, может быть, ее увижу и в следующем письме тебе расскажу, если все это может еще тебя интересовать. Если ты мне напишешь, не упусти сказать, как ты поживаешь, продолжаешь ли ты быть еще *существом чувствующим* или уже несчастным *прозябателем*. Я не мог бы решить, что более бы подходило к твоему положению.

Прощай, милый друг, пиши мне и расскажи о себе. Фонвизин еще не вернулся. Дмит[рий] Алекс[андрович] попрежнему обожает *«златое ничегонеделание»*, я, однако, не считаю его неисправимым [1].

Ты лучше всего сделаешь, если приедешь этим летом в Москву, так как твой отец говорит о том, чтобы вовсе не ехать в деревню. Скажи мне что-нибудь о Мишеле Чаадаеве. Привет от меня этим господам, скажи Пьеру, чтобы мне писал.

10. И. Д. ЯКУШКИН — И. Д. ЩЕРБАТОВУ

1817, апреля 2. Москва.

Если я так долго тебе не писал, мой милый друг, то это потому, что мне было нечего сказать, особенно и прямо для тебя интересного,— сейчас я могу, по крайней мере, тебе сообщить, что все здоровы, я видел кое-кого, кто был вчера в доме.

Я знаю очень хорошо, что такая новость слишком мало достаточна, если ты остался таким же, каким был два месяца тому назад, или слишком достаточно, если ты изменился. Я думал познакомиться

с братом и, если это может быть тебе сколько-нибудь приятным, я не премину это сделать. Ты мне это поручи [1].

Я думаю, что твои сестры тебе писали, что они видели графиню М-ву, которая им много говорила о ней и о тебе [2].

Матвей Муравьев недавно приехал и сейчас же начал говорить о тебе твоему отцу и сестрам; он мне сказал, что ты много выезжаешь, немного веселишься, и мне доставило большое удовольствие сказанное им, что ты предполагаешь поселиться вместе с Мишелем Чаадаевым; это было бы очень хорошо. Мой привет этому последнему и его брату; спасибо Пьеру за трубку, которую он мне прислал.

Что касается до новостей, то их почти нет, за исключением того, что у вас в доме траур по случаю смерти Мими [3]. Твой отец купил для тебя прекрасных лошадей, которых он предполагает тебе отправить в мае месяце. Он также купил прелестный французский кабриолет и отрезал хвосты «Бахмату» и «Арабскому».

Я не пишу Пьеру, потому что он не хочет сам писать. Мишелю напишу.

Михаил Александрович, который теперь у меня, тебе кланяется [4].

11. И. Д. ЯКУШКИН — И. Д. ЩЕРБАТОВУ

1817, мая 13. Москва.

Маленькое нездоровье [1] помешало мне, мой милый друг, ответить на твое последнее письмо, которое, несмотря на предполагаемую скуку, какую оно должно было мне причинить, доставило мне более чем удовольствие, так что я благодарен тебе за него от всего сердца. Если дружба есть благо в этом мире, если излияния сердца составляют действительное доказательство дружбы, то ты должен понять, насколько я был счастлив, получив твое письмо. Тысячу раз в жизни я бывал горд твоей дружбой ко мне, тысячу раз бывал огорчен, чувствуя, что был ее не достоин, но нет, до сих пор я таким не был, я уверен, что ты сам отдашь мне справедливость. Я не могу сделать себе никакого упрека: никакой расчет, никакой личный интерес никогда

не нарушали чистую привязанность дружбы, которая связывала меня с тобой. Еще раз, я уверен, что ты отдашь мне справедливость.

Как было мне тягостно уезжать в Сосницы, не имея возможности дать тебе отчет в моем поступке. Холодность, которую я на себя напускал, не отвечая вовсе на вопросы, которые ты мне задавал о моем отъезде, могла тебя обидеть и была тягостна для меня. Я имел, однако, счастье перенести эти минуты отъезда, ничего тебе не сказав; я утешался мыслью, что моя дружба к тебе была незапятнана, что она останется навсегда такой и что ты никогда не разделишь ни одной из моих скорбей. Я думал, что никогда тебя больше не увижу.

Если я страдал, то мне, по крайней мере, было не в чем себя упрекать в отношении тебя. А теперь ты, может быть, будешь меня упрекать, может быть, сочтешь меня недостойным своей дружбы. Мысль — ужасна, и еще более ужасно — не иметь возможности сказать тебе об этом что-либо больше. Единственная милость, которую я сейчас должен просить у тебя,— это отложить твой приговор; у тебя будет время меня обвинить, если я того достоин. Увижу ли я тебя вновь, или нет, ты будешь осведомлен обо всем и будешь моим судьей. Эта надежда меня облегчает. Прощай.

И. Якушкин.

12. Н. Д. ЩЕРБАТОВА — И. Д. ЯКУШКИНУ [1]

[1817 г.]

Прежде чем писать к вам, я обратилась к невинности под обликом Маши,— и пророческий приказ маленькой моей сибиллы меня заставил решиться. Итак, поймите это печальное сердце и его страдания до разлуки с ним, может быть, навсегда... Так выслушайте меня, Якушкин, и не злоупотребите доверием, которое я вам оказываю.

Поведение мое по отношению к вам непростительно... Я отплатила неблагодарностью за чувства, которые вы мне выражали, и вместо того, чтобы убить химеры вашего воображения, я напротив поощряла их моим присутствием... Я ввергла в пучину несчастия дорогого друга брата моего, товарища моего счастливого детства. На подводной скале его упований я разбила его сердце. Но я

поступила еще хуже. Как раз тогда, когда вы мне давали доказательства вашей привязанности, я строила основу моего будущего благополучия на обломках вашего. Да, я цветами украшала свою жертву, чтобы затем своей же рукой заклать ее. Могло ли когда-либо сердце ваше ожидать от меня столь непомерного коварства...

И однакоже это не так, повремените со своим приговором.

Я истомилась в этих невыносимых тисках... Они отозвались на моем здоровье... Вы это знаете. И это последнее испытание, которое вы заставили меня пережить, чуть не повергло меня в несчастнейшее состояние... Я порывалась писать вам при первом же известии о вашей болезни. Но голова моя слишком страдала и отказывалась служить моему сердцу.

Надо ли мне напоминать обещание, которое вы мне дали в письме? Надо ли настаивать на его выполнении? Живите, Якушкин!.. Имейте мужество быть счастливым и подумайте о том, что от этого зависит счастие, спокойствие и самое здоровье Телании [2].

Уезжайте, Якушкин! Это необходимо! Покиньте эти места, которые могут вам напомнить только печаль и горе. Вернитесь к тем, которые связаны с вами узами крови и любви. К ним направьте всю вашу привязанность. Проникнитесь сыновним чувством, столь сладостным и освященным, которое прольет спасительный елей на ваше израненное сердце.

Уезжайте и увезите с собой бесспорную уверенность, что мой союз с N [3] *столь же мало вероятен, как возврат к жизни засохшего цветка.*

Якушкин! исполните следующую мою просьбу — пускай чувство брата объединит и меня с вашими сестрами в единой мысли. И тогда!.. Если и суждено мне когда-либо стать супругою и матерью, искренняя привязанность, которую я к вам и впредь буду питать, преисполнит мое сердце до последнего его дыхания [4]. Прощайте, мой брат и друг мой.

Сестра ваша *Телания.*

P. S. Верните письмо это в мои руки, после того как вы его прочитаете. Я этого требую во имя *вашей чести.* Я надеюсь, что чуткое сердце ваше оценит последствия поступка, который не скреплен даже согласием Лизы... [5] Это первая тайна, которую я похищаю у дружбы любимой сестры... Рука моя дрожит. Боже мой! Сможете ли вы прочесть это и понять меня? [6]

13. И. Д. ЯКУШКИН — Н. Д. ЩЕРБАТОВОЙ [1]

[1817 г.]

Неужели мне суждено быть виновником одних только ваших беспокойств, между тем как я отдал бы жизнь свою за минуту вашего

покоя! Я желал бы быть в состоянии ценою еще бо́льших мучений, нежели те, которые я только что пережил, искупить те беспокойства, которые я вам против воли причинил. Вы повелеваете, чтобы я продолжал влачить свое существование; ваша воля будет исполнена. Я буду жить и даже по возможности без жалоб. Только бы вы смогли быть спокойны и счастливы.

14. И. Д. ЯКУШКИН — И. Д. ЩЕРБАТОВУ

4 июня, понедельник [1817 г.]. Москва.

В данный момент, мой милый друг, я не могу тебе дать ничего, кроме очень мало достаточного бюллетеня того, что произошло. Выехав из Царского Села в четверг в 2 часа утра, я приехал вчера в 2 часа пополудни. Я не нашел в Москве Фонвизина, он был в деревне у своего отца; через несколько часов после моего приезда он также приехал и мне сообщил, что твои сестры отправились в деревню к тетке [1], что твой отец также должен был уехать в Ярославль. Я был у вас сегодня утром в 8 часов. Я встретил твоего отца; он меня обнял, я отдал ему твое письмо; он пригласил меня обедать, и я у них был вместе с Фонвизиным, которого он принял вполне хорошо и без всяких церемоний [2].

От твоего отца я отправился к Облеухову. Я с ним переговорил откровенно. Он начал с того, что обиделся, я его убедил, и он кончил тем, что пришел в отчаяние, уверял меня, что никогда не думал что-либо говорить, и если мог быть виноват, то, может быть, в том, что плохо выразился; что он в отчаянии, что он просит прощения; я ему сказал, что о прошедшем вопроса не ставится; насчет же будущего он мне сказал, что не будет бывать в доме. Для данного момента я считаю, что это все, что нужно требовать от него [3].

Твоя тетка пригласила Фонвизина непременно приехать к ней в деревню; мы едем завтра утром в Дмитров, послезавтра я рассчитываю передать твоей сестре письмо, которое ты ей писал и которое должно

ее успокоить. С первою же почтою я тебя уведомлю обо всем. Прощай, мой милый друг.

Офицеры гвардии, которые сюда приезжают, будут размещены в казармах. Император отпустил сумму, чтобы омеблировать их помещение.

15. И. Д. ЯКУШКИН — И. Д. ЩЕРБАТОВУ

9 июня. Суббота [1817 г.]. Дмитров.

Как я тебя предупредил, я передал твое письмо в прошлую среду; оно несколько успокоило твою сестру, но не совсем, что я и ожидал, и что ты также должен был ожидать; но все же, в надежде скоро тебя увидеть, она будет иметь, я надеюсь, терпение, чтобы не очень волноваться до твоего приезда. Не стараясь о том, я все же узнал, что недавно ему [1] снова писали и что его торопят приехать; хотя это не очень тревожно, но это доказывает только, что неприятельские действия продолжаются [2].

Я считаю себя обязанным осведомлять тебя обо всем; я не могу бояться быть тебе не вполне понятным, однако,— говоря в скобках,— расставшись с тобой и повторяя все, что мы говорили вместе, я заметил, что у тебя есть подозрение против меня, которое, если бы оно было справедливым, было бы позором для меня, и что, несмотря на это, ты имел великодушие не судить меня так строго, как того заслуживало бы мое предполагаемое поведение.

Ты думал, что я мог себе позволить сказать твоей сестре что-нибудь, касающееся собственно меня, не предупредив тебя о том тотчас же. Если ты теперь хорошенько рассмотришь дело,— что ты можешь сделать без зазрения совести,— то ты увидишь, что не только для меня, но даже для существа, в котором ты не мог бы никогда предполагать ни дружбы к тебе, ни того же чувства, какое я имею к твоей сестре, такое поведение было бы дурным поступком, низостью в отношении тебя и самой твоей сестры. После всего того, что я тебе только что сказал, ты можешь легко понять, насколько мне было

приятно догадаться о твоем подозрении в то время, когда я был уверен, что оно больше не существует.

Со времени моего приезда в Дмитров я был два раза у твоей тети: первый раз один, второй — с Фонвизиным. Никто не чувствовал себя стесненным, даже твоя сестра Лиза, хотя я не был с нею откровенным, но искренность, которую я выражал по отношению к ней, ее ободрила. Мы снова будем там завтра, чтобы ночевать у Давыдова, откуда я пишу тебе это письмо и откуда, может быть, напишу еще, в случае, если буду иметь что-нибудь тебе сказать. По всему этому я полагаю, что у тебя будет много, что читать, и мало, что писать.

Воскресенье. Мы обедали сегодня у твоей тети. Все, как и раньше, кроме того, что твоя сестра казалась несколько обеспокоенной; я думаю, что ее страшит будущее, но так как сейчас делать нечего, то следует, за неимением лучшего, довольствоваться вещами такими, как они есть. С этим письмом ты получишь другое, от твоей сестры, которое она дала Фонвизину для пересылки к тебе. Напиши, приедешь ли ты вместе с батальоном [3].

16. И. Д. ЯКУШКИН — Д. В. НАРЫШКИНУ [1]

[12 июня 1817 г.]

Господина Нарышкина просят потрудиться размыслить о том, что он будет делать по возвращении в Россию. Многие лица, возмущенные его прошлым поведением за время последнего его пребывания в Москве и после, твердо решили потребовать от него в том объяснений.

Господин Нарышкин должен быть уверен в честности лица, которое ему пишет, и если оно не подписывает своего имени, то это не помешает ему явиться первым к нему по возвращении его из Франции.

17. И. Д. ЯКУШКИН — И. Д. ЩЕРБАТОВУ [1]

16 июня. Суббота [1817 г.]. Дмитров.

Я тебе посылаю прилагаемое письмо незапечатанным, чтобы ты мог прочесть содержание и взвесить его более справедливо.

Теперь мне следует объяснить тебе причину, по которой я решился написать это письмо. Я узнал, как я тебе говорил, что к нему не переставали писать и приглашать его вернуться возможно скорее, что его даже вовлекли в заблуждение, что не существовало никаких препятствий для его проектов. Его нелойяльное поведение в отношении твоей сестры, все его интриги и хитрости, клонящиеся к тому, чтобы поставить ее в такое положение, в котором замужество с ним было бы неизбежным, не избавляют, однако, я думаю, от задачи извлечь его из спокойной уверенности, и чтобы он, по крайней мере, знал, что если он вернется, то отнюдь не будет в роли *Цезаря*, о котором нам говорит евангелие [2].

Я, может быть, не имел бы права писать ему это письмо, если бы ты был в состоянии сам это сделать, но молчание, которое ты принужден хранить, чтобы иметь возможность лучше действовать впоследствии, уполномачивает меня вступить в те права, которые оспаривать у тебя я никогда не имел бы претензии не только потому, что ты ее брат, но и потому, что она тебя любит, считает своим другом и что я уверен, что ее интересы ты блюдешь, как свои собственные.

Во всяком случае, это письмо вовсе не подписано, не говорит ничего точно и никого не компрометирует; оно может только заставить его поразмыслить о том, что он делал и что ему делать, а это, по моему мнению, вовсе не мало необходимая вещь.

Я показывал это письмо твоей сестре, думал успокоить ее в отношении его возвращения и ее безопасности. Она им далеко не вполне довольна [3]: она предвидит от него огласку и опасность. Я показывал также это письмо Фонвизину: он его одобрил. Это не мешает мне, однако, просить тебя хорошенько его рассмотреть и не посылать его иначе, как в том случае, если ты найдешь его хорошим и сочтешь его пригодным принести пользу. Ты можешь отправить его через почту или через посредство банкира.

Я был третьего дня один, а вчера вместе с Фонвизиным, у твоей тети. Твоя сестра оба эти раза была спокойна и даже весела. О поведении твой сестры Лизы я ничего не знаю.

18. И. Д. ЯКУШКИН — И. Д. ЩЕРБАТОВУ

23 июня [1817 г.]. Дмитров.

Я только что получил твое письмо от 12-го. Ты не должен удивляться, что сестра тебе не ответила: я ей передал твое письмо только 6-го. Твой отец 6 дней назад возвратился из Михайловского, был у тетки, чтобы взять твоих сестер, и отправился с ними в Рожествино [1]. Он думал пробыть в Москве не более двух дней. Он приглашал меня и Фонвизина приехать к нему в деревню, именно, в Серпуховскую, что доказывает, я думаю, что он переменил решение и не поедет больше в Ярославль. Он оказал много внимания к Фонвизину и достаточно доброты ко мне. Я полагаю, что он меня считает несколько экстравагантным и не упускает ни одного случая, чтобы дать мне это почувствовать. Я не сержусь на это, лишь бы только он не считал меня дурным и не лишал меня уважения,— это все, что я желаю. Послезавтра я рассчитываю ехать в Москву с Фонвизиным; быть может, твой отец еще не уедет, я тебе это скажу в этом же письме: я его запечатаю только в Москве.

Полк Нарышкина находится во Франции, но так как он им не командует, то он легко может получить отпуск. Твоя сестра по временам мучится раскаянием в том, что не оказала достаточного сопротивления всем «авансам», которые он ей делал. Как только ты будешь здесь, я уверен, что она будет успокоена. Фонвизин тебе пишет; это превосходный человек. Я рад думать, что если он принимает такое живое участие во всем этом, то это скорее по природной доброте его, чем по дружбе ко мне. Записка, которую он мне написал с Бурцовым, не имела никаких последствий; впрочем, ты можешь о том спросить Бурцова от моего имени. Ты мне не сказал, выступает ли гвардия в июле или в августе? Я повторял более десяти раз твоему отцу, что ты опередишь гвардию, и всякий раз он казался очень довольным.

28 июня.

Ты должен был узнать из письма сестры, что они не уехали: дела задержали твоего отца в Москве. Я получил твое письмо для сестры,

которое ей передал в тот же день. Вполне достоверно, что твой отец не намеревается ехать в Ярославль.

19. И. Д. ЯКУШКИН — И. Д. ЩЕРБАТОВУ

15 июля [1817 г.]. Москва

Я только что получил твое письмо от 10-го. Так как ты казался понимавшим меня до сих пор, то я постараюсь сделать так, чтобы ты понял меня также и на сей раз.

В моем поведении могли быть провинности, которые происходили не от недостатка доброй воли сделать хорошо, а единственно от того, что я сам обманывался. В этой свадьбе Н[арышкина] мне казался форменный заговор; я старался предостеречь от него твою сестру, не обращая внимания на то, прилично или неприлично было такое мое поведение, и, вероятно, оно не показалось бы заслуживающим порицания для лица безразличного; для твоей же сестры оно могло показаться заинтересованным, хотя, в действительности, я в нем не раскаиваюсь и никогда не буду раскаиваться... Моя главная ошибка заключалась в вере, что твоя сестра, быть может, имела ко мне чувство, которое было больше, чем доброта... (без того, чтобы я о том догадался), (мою назойливость в отношении ее). Чтобы ее искупить, если это возможно, я искренно признаю свое заблуждение и от него отрекаюсь от всего сердца. Что касается фразы: *«пусть они меня оставят в покое»*,— прежде, чем узнать о ней из твоего письма, я шел ей навстречу: по моем возвращении из Дмитрова, заметив *принужденность* в поведении твоей сестры со мною, я, несмотря на усиленные приглашения твоего отца, сестры Лизы и даже сестры Натали, несмотря на обещание Фонвизина, воспротивился тому, чтобы мы поехали к ним в деревню. Сегодня я решил сделать больше; я отправлюсь тотчас же в Орел, чтобы удалиться от места действия, где я рискую, может быть, снова нарушить спокойствие твоей сестры. Я останусь там до того времени, когда я смогу удалиться еще дальше [1].

Можно упрекать меня еще в одной вине,— это в отсутствии смысла в поведении при всем этом; но эта вина происходит от того, что для меня в мире существовал только один интерес — это знать, *любит ли твоя сестра меня или нет*, а так как это не могло зависеть, по-моему, ни от людей, ни от обстоятельств, то я и обращал очень мало внимания на тех и на других.

Что меня тяготит, так это то, что твоя сестра, как я вижу, могла считать меня способным злоупотреблять ее доверием. Если бы это подозрение было обоснованным, я был бы ничем другим, как подлецом, и она имела бы право меня презирать. Я поручаю тебе вывести ее из заблуждения по этому пункту. Другие могут меня судить по одному моему поведению и меня осуждать: ты не можешь этого сделать, зная мои намерения.

Желаю, чтобы это письмо нашло тебя в добром здоровье. Фонвизин в Дмитрове, я его ознакомил с твоим письмом; это очень честный человек, и я уверен, что никогда не буду иметь повода раскаиваться в том, что считаю его таковым. Ради бога, никакого беспокойства на мой счет.

20. И. Д. ЯКУШКИН — И. Д. ЩЕРБАТОВУ

31 марта, год [18]18. Ливны.

Я только что получил твое письмо от 19 числа сего месяца. Оно доставило мне момент удовлетворения, дав надежду, что мое отсутствие способно, быть может, доставить ей полное успокоение. Не теряй ни на один миг из виду ее спокойствия и не заглядывай далее.

К чему, мой милый друг, желать сделать меня известным ей так, как ты меня знаешь? Разве ты сам знаешь меня таким, каким я есть? Разве ты считаешь ни во что свою дружбу ко мне? Поверь мне, что она знает меня по-настоящему. Она меня не уважает, в этом я уверен, так как я ничего не сделал, чтобы это заслужить. Она не находит меня любезным, и я, действительно, не таков. Она не находит

ничего похвального и чудесного в привязанности, которую я к ней имею, и признай, что она права.

На что же надеялся я? На ее снисходительность, на счастие, которого я — это я хорошо знал — нисколько не заслужил, но которое было необходимо, чтобы привязать меня к жизни, которое заставляло бы меня краснеть перед людьми, которых теперь я позволяю себе судить с такою строгостью, которое заставило бы меня связать себя в отношении их такими обязанностями, для выполнения коих не была бы, может быть, достаточна целая моя жизнь. Это было бы несправедливостью: быть счастливым прежде, чем того заслужишь, и провидение отнюдь не допускает такой несправедливости. Я имел тысячу вин в отношении ее, которые, как бы невольны они ни были, не перестают быть через это все же винами. Если бы ты достиг того, чтобы их загладить, ты этим дал бы мне величайшее доказательство своей дружбы. Если бы она меня не знала, она никогда не имела бы всех тех беспокойств, которые я заставил ее испытать. Не забудь ничего, чтобы ее успокоить; попытайся, если это необходимо, если это возможно, уничтожить в ней даже самую память обо мне.

Перечитывая это письмо, я боюсь, чтобы ты не видел вещи совсем иначе, чем они видимы для меня. Прощай.

Я второй раз нахожусь в Ливнах. В первый раз я приехал несколькими часами после того, как курьер уехал, и это — причина, почему ты так долго не получал от меня известий; теперь это не может больше случиться, потому что я рассчитываю ходить все эти восемь дней сам на почту. Я это писал из Тулы.

21. И. Д. ЯКУШКИН — И. Д. ЩЕРБАТОВУ

1818 г. 7 апреля. Ливны.

Я только что сейчас получил твои два последних письма: одно от 22, другое от 26 прошлого месяца; последнее огорчило меня до последней степени. Я из кожи лезу, чтобы дать тебе вести о себе; я приезжаю третий раз в этот проклятый городишко только для того,

чтобы писать тебе; я писал тебе, проезжая через Тулу, а ты не получаешь моих писем! Я в отчаянии, не знаю больше, что делать. Я создан, мне кажется, для того, чтобы мучить людей, имея всю добрую волю делать обратное. Твое нездоровье причиняет мне также беспокойство. Пожалуйста, мой милый друг, если ты получишь это письмо, будь справедлив ко мне и не думай, что ты не получаешь от меня вестей по моей вине: я был бы совсем плох, если бы не держал слова в тех обстоятельствах, в каких мы находимся.

Я не знаю, что бы я не дал, что бы я не перестрадал, чтобы знать, что она спокойна. Я присутствую — я ее мучаю; я удаляюсь — я причиняю ей опять беспокойство. Должно быть, я родился под очень дурной звездой. Впрочем, во всяком случае, надо было принять какое-нибудь решение. А ты совсем потерял голову, если не можешь ее уверить, не можешь ей доказать, как дважды два четыре, что со мною не может случиться ничего, в чем она была бы ответственна перед другими и перед самой собой. Но нужно повторить вкратце обстоятельства, чтобы ей доказать, что даже неумышленно она никогда не вовлекала меня в ложную надежду (потому, что это единственная вещь, упрекать себя в чем она могла бы считать себя вправе).

В Петербурге, если бы я имел некоторую надежду с ее стороны (ты слишком хорошо знаешь, что только это и нужно было мне, чтобы быть счастливым),— разве я стал бы пытаться удаляться от нее навсегда? В прошлом году в Москве, не пытался ли бы я сблизиться с нею? А разве я не делал все, обратное тому? Впервые, когда я говорил ей о себе, в момент исступления (нужно, чтобы она простила мне этот момент и не думала бы, что на нем основываю я все мои решения),— разве не должна она была быть ошеломленной моим непредвиденным натиском, стремительностью человека, почти одержимого? Может ли она упрекать себя, как в слабости, в том, что совсем не сопротивлялась человеку, который был исступлен столькими различными чувствами, которые, соединившись все, сделали его на миг ненормальным?

Здесь уместно и мне, в свою очередь, оправдаться перед нею. В этот момент, о котором я тебе говорю, я исторгнул ее из рук ее

сестры, я разрушил ее доверие к ней. Но пусть она вспомнит о прошлом и отдаст мне справедливость: я отвратил ее от доверенности к сестре не какими-либо расчетами, не какими-либо хитростями, отнюдь не злоупотребляя ложными предположениями, но лишь представляя ей факты, которых она не могла не найти в то время достаточными [1]. Я не овладел ее доверием, которого не считал себя достойным; я ее умолял написать тебе и все тебе сказать. Ты знаешь причины, которые задержали меня в Москве до этой весны [2]. Кроме того, я не знал ничего наверное, по ее ли вине это было? Ах, если бы она простила мне мои заблуждения, которые служили только к тому, чтобы ее терзать, и если бы она не имела больше сомнений в отношении меня! Что могут больше люди, как только желать хорошо поступать,— *большее* от них не зависит. Не будем же обвинять друг друга, если это возможно. Если бы было нужно упрекать себя в невольных винах, я их совершил против нее в миллион раз больше, чем она могла бы только вообразить себе в отношении меня, и, однако, моя совесть не осмеливается меня мучить.

Моя привязанность к ней возвышает меня над всеми обстоятельствами, и, доколе она у меня останется, я буду совершенно независим от целого света, даже от жизни и смерти, доколе она мне останется, я не буду считать себя ни на миг несчастным. Видишь, однако, несправедливость обстоятельств: я тысячу раз виноват в отношении ее, я доставлял ей только мгновения страха,— и я тем не менее остаюсь спокойным, я не могу даже помешать себе испытывать иногда отрадные чувства. А она, совершенно невинная во всем дурном, в чем она себя упрекает, причина тысячи мгновений счастья,— она страдает. Ради бога, мой милый друг, почувствуй справедливость не моих рассуждений, а того, что я сам чувствую, и тебе будет так же легко ее успокоить, как мне любить ее непрестанно.

Я не говорю тебе про многие места твоего последнего письма, потому что я их не понял. Прощай, милый друг; еще раз, употреби все, чтобы ее успокоить и ободрить. Твое нездоровье меня беспокоит, но оно должно было быть очень сильным, чтобы помешать тебе дать мне вести о тебе, имея в виду твою неустанную энергию.

Если ты увидишь Фонвизина, сообщи ему новости обо мне и скажи ему, что я чувствую себя хорошо и что я ему писал с курьером прошлой недели; в настоящее время я не думаю, чтобы он был в городе.

22. И. Д. ЯКУШКИН — И. Д. ЩЕРБАТОВУ[1]

10 апреля, год [18]18. Ливны.

Я только что получил твое письмо от 29 прошлого месяца, и оно доставило мне истинное удовольствие сообщением о твоем выздоровлении. Но что мне было огорчительно, так это то, что, не имея от меня вестей, ты можешь быть несправедливым, считая меня неверным своему обещанию, тогда как я не пропускал ни одного случая тебе писать. Я не удивляюсь, что ты еще не получил моих двух предыдущих писем, но чего я не могу понять, так это того, что письмо, написанное мною из Тулы, не дошло до тебя. Я пробую послать это не прямым путем, и если ты его получишь, я смогу писать тебе два раза в неделю. Я дивлюсь твоей активности: ты не пропустил еще ни одного курьера. Это не то, что Фонвизин, который мне еще не писал. Я ему писал два раза.

Твоя беседа с нею нисколько меня не удивила: она ни в чем не противоречит ее характеру. Она хочет из всех сил уверить себя и уверить в том других, что ее сестра ее любит, что она пожертвовала собою для нее, что, из благодарности, она должна целиком отдаться своей старшей сестре, словом, всегда добра и всеми обманываема,— вот ее судьба. Прощай, мой милый друг. Я возвращусь через два дня, в которые я надеюсь получить письмо от тебя и ответить на вопросы, которые ты должен мне прислать.

23. И. Д. ЯКУШКИН — И. Д. ЩЕРБАТОВУ

13 апреля, год [18]18. Ливны

Я совсем не получил писем от тебя сегодня, как надеялся; говорят, курьер запоздал; хочу этому верить, чтобы не предполагать, что твое не-

здоровье возобновилось и снова помешает тебе писать ко мне. Наконец, я получил несколько строк от Фонвизина, который побуждает меня писать тебе, но я больше не беспокоюсь об этом, так как теперь уверен, что ты не имеешь недостатка в известиях обо мне. Я тебе пишу пятый раз.

Размышляя о прошедшем и о всем том, что ты говоришь мне в своих письмах, я более и более убеждаюсь, что только твоя дружба к ней могла бы ее успокоить. Я уверен, что она испытывала это чувство только в воображении, за неимением лучшего; она должна была принять за искреннюю привязанность все ласки и уверения женщин, которые ее окружали [1]. Несмотря на твой ригоризм, несмотря на предубеждение против тебя (вас), я уверен, что она должна отдавать тебе справедливость и что твоя привязанность к ней — это то, что для нее более всего необходимо. Я твердо убежден, что пока ты не оставишь ее, ничто не сможет нарушить ее спокойствия.

Что касается меня, мой милый друг, то со времени отъезда из Москвы я беспрестанно двигаюсь. Я мог бы изображать собою «вечное движение», так я подвижен. Прощай. Я надеюсь вернуться сюда через три дня и писать тебе. Если увидишь Фонвизина, скажи ему, что я напишу ему с первым курьером.

24. И. Д. ЯКУШКИН — И. Д. ЩЕРБАТОВУ

17 апреля, год [18]18. Ливны.

Уже десять дней я не получаю вестей от тебя, мой милый друг, и не знаю, чему приписать твое молчание; это не может быть от лености, так как ты только что дал мне доказательство неустанной энергии. Но от чего бы это ни происходило, только бы ты был здоров; это все, что я тебе желаю, так как знаю очень хорошо, что болезни всякого рода, физические и моральные, непереносимы и для самого себя, и еще более для других.

Кажется, я тебе говорил, что получил письмо от Фонвизина; если ты его увидишь, напомни ему про мои бумаги: он не говорит мне о них ни слова.

Если ты считаешь необходимым, то можешь объявить о моем отъезде в Америку, как только найдешь удобным. Я уезжаю,— ничего нет ни ужасного, ни чрезвычайного в этом проекте: тысячи и тысячи людей предпринимают это путешествие, одни, чтоб избежать скуки, другие, может быть, чтобы быть полезными, сражаясь за независимость народа, который кажется достойным свободы [1]. Почему бы и мне не быть в числе тех или других? Не лучше ли отправиться скучать на корабле среди пьяных матросов, чем делать то же, будучи окруженным друзьями? [...] Прибавь ко всему этому, чтобы уничтожить всякие страхи и рассеять сомнения, что я решил заботиться о моей жизни совсем так, как если бы я был самым счастливым и самым необходимым человеком в свете.

Перечитывая твои последние письма, я напал на слово «страх»: я заставлял ее испытывать его своим присутствием, ты чувствовал его, видя меня с нею. Но что меня удивляет, когда я думаю об этом, так это то, что почти все разы, когда я ее видел, я не мог отделаться от мучительной боязни за самого себя. Надо думать, что я часто бывал близок к тому, чтобы ее скомпрометировать, и если этого не случилось, то это чистое счастье. Прощай, мой милый друг. Если ты не болен и не слишком много занят, дай мне о себе вести.

25. И. Д. ЯКУШКИН — И. Д. ЩЕРБАТОВУ

7 мая, год 18[18] Орел].

Я тебе пишу, только чтобы известить, что я прибыл благополучно, что я снова пускаюсь в свои странствования и что если ты не пришлешь мне отмены приказа, я буду к 30-му в Москве, а потому не прощаюсь с тобой. Ты не сердись, что я пишу тебе только эти несколько строк: пустота моей головы убеждает меня, что если бы на сей раз я беседовал с тобою больше, я не мог бы сказать ничего, кроме глупостей.

26. И. Д. ЯКУШКИН — И. Д. ЩЕРБАТОВУ

12 мая, год [18]18. Ливны.

Я только что получил твои три письма от 12, 16 и 23 апреля. Хотя и очень старые по датам, они меня все же сильно огорчили, дав понять, сколько я причинил беспокойства, или, вернее, не я, но плачевная организация наших почт. Я очень сердит на тебя за то, что ты меня просишь остаться дольше июня месяца в России: не должен ли ты был этого безусловно требовать от меня, раз ты считаешь это необходимым для ее спокойствия, и разве я осмелился бы оказать тебе малейшее сопротивление? Разве не верно то, что, не имея возможности жить для ее счастья, я, по крайней мере, прозябаю для того, чтобы не нарушать ее покоя?

Я в отчаянии, что сделался ригористом с тобою; это скорее из-за неудач, чем по убеждению, уверяю тебя; и чтобы это тебе доказать, я отдаю себя всецело в твое распоряжение, не определяя конечного срока: ты вернешь мне свободу не раньше того, когда будешь считать ее неспособною повредить ее покою. Не смущайся доверием, которое я тебе оказываю, помни, что не должно быть другого вопроса, как только о *ней*.

Во всяком случае, я надеюсь увидеться с тобою, как мы условились, в конце этого месяца.

Я приехал в Ливны исключительно в надежде получить вести от тебя, но сегодня воскресенье, я нашел почтовый дом закрытым, почтальонов пьяными, и нет никакого средства узнать, писал ли ты мне, или нет. Если увидишь Фонвизина, скажи ему, что я чувствую себя хорошо.

27. И. Д. ЯКУШКИН — И. Д. ЩЕРБАТОВУ [1]

14 июля, 1818. Москва.

Ты с трудом представишь себе огорчение, которое я чувствовал, видя тебя уезжающим в том состоянии, в каком ты находился, и не

имея средств догадаться о причине твоего волнения. Я тебе о том говорю не для того, чтобы вызвать тебя на откровенность; напротив, я тебе советую всегда молчать со мною о тяготящем тебя секрете, если, открывая его, ты боишься повредить какому-либо долгу. Но если, с другой стороны, тебе мешает со мною говорить ложная совестливость, ты, конечно, виновен в том, что оставляешь меня в такой тягостной неизвестности, которая меня заставляет, так сказать, ударять по воздуху: я боюсь слишком подвигать и не менее боюсь оставлять вещи в том положении, в каком они находятся. Я только что узнал, они тотчас отправляются в деревню; он, с своей стороны, так же едет в деревню своего отца через две недели [2].

Отъезд первых отнимает у меня надежду явиться к ним сейчас; вообще, если я не ошибаюсь, относительно будущего ничего не решено. Пожалуйста, мой милый друг, если возможно, не оставляй меня в таком состоянии, подумай, что для меня невозможно не напрягать все мои силы; постарайся дать мне надежду, что все эти передвижения могут еще привести к чему-нибудь хорошему. Я надеюсь, ты приедешь в Москву тотчас, как сможешь. Если мое присутствие здесь не будет необходимым, я рассчитываю в половине будущего месяца быть в Петербурге. Твой отец уехал сегодня; я его совсем не видел, но мне говорили, что он все это время чувствует себя хорошо.

28. И. Д. ЯКУШКИН — И. Д. ЩЕРБАТОВУ

1818, 19 июля. Москва.

Я пишу тебе эти несколько строк, мой милый друг, только для того, чтобы побудить тебя дать о себе вести из Петербурга так скоро, как для тебя будет возможно. Ты не можешь представить, с каким нетерпением я буду ждать письма от тебя. У меня нет ничего нового, чтобы тебе сообщить. Дай мне надежду, что ты приедешь в сентябре месяце в Москву, и я сейчас же стану доволен. Я завтра еду в Рожествино, где рассчитываю провести несколько дней.

29. И. Д. ЯКУШКИН — И. Д. ЩЕРБАТОВУ

1818, 30 июля. Москва.

Вот уже более двух недель, как ты уехал, и никаких известий от тебя. Я вернулся третьего дня из Рожествина [1]. Твой отец здесь; у него снова его лихорадка, сестры здоровы. Я в отчаянии, мой милый друг, не имея до сих пор ничего сказать тебе, вполне удовлетворительного. Я только что узнал, что они отправляются только завтра утром, наверное, а они должны были уехать три дня тому назад.

О нем еще ничего не решено наверное; может быть, он в один из этих дней отправится в Петербург... Ради бога, пиши мне и скажи по правде, когда ты думаешь приехать в Москву? Твой отец надеется видеть тебя в сентябре, он хочет приготовить помещение в своем доме на Дмитровке. Ты не можешь представить, с каким нетерпением жду я письма от тебя, и в особенности, если ты намерен говорить со мною откровенно.

30. И. Д. ЯКУШКИН — И. Д. ЩЕРБАТОВУ

1818, 6 августа. Москва.

Ты должен был получить мои три письма, милый друг, которые не могли тебе сообщить ничего точного. Сегодня я могу тебе сказать, что свадьба отложена, наверняка, до ноября месяца и, может быть, до января. Сообщая тебе эти новости, я могу также тебя уверить, что никто не будет компрометирован всем этим. Что касается меня, если я рискую сойти за экстравагантного человека, то это пустяки по сравнению с тем, чем я рисковал в своей жизни и чем, вероятно, еще буду рисковать.

Это несносно, что ты не хочешь мне писать. Я тебя прошу сделать это возможно скорее, чтобы избавить меня от беспокойства относительно тебя. Я прошу тебя также быть откровенным со мною, поскольку ты сочтешь меня того достойным, независимо от всякого

ложного стыда. Не забудь также сказать мне, рассчитываешь ли ты приехать в Москву, и когда.

Твой отец был в Москве и уехал назад тому около недели. Он приглашал меня приехать к нему, и я думаю отправиться завтра. Фонвизин просит меня напомнить тебе о нем.

31. И. Д. ЯКУШКИН — И. Д. ЩЕРБАТОВУ

1818, 22 августа. Москва.

Я получил твое письмо, не знаю, от какого числа. Впечатление, какое оно на меня сделало, было таково, что породило во мне желание взять лошадей и отправиться тотчас в Петербург, что я и не преминул бы сделать, если бы это не противоречило приглашению сделать одну поездку кое-с-кем в конце этого месяца. Я вернусь к 15 числу следующего месяца. Если ты не рассчитываешь приехать скоро в Москву, если ты сохраняешь желание меня видеть, скажи мне о том в первом своем письме; я думаю, что ничто не помешает мне поехать в Петербург в конце сентября, и я буду иметь большое удовольствие свидеться с тобою.

Я провел две недели в Рожествине[1]. Твои сестры здоровы, отец твой был болен почти все это время, болен и сейчас. Мы вернулись вместе с ним третьего дня. Его лихорадка становится день ото дня злее: у него приступы почти все эти дни, и эти приступы продолжаются целыми днями. Он очень похудел, но что особенно грустно, это то, что он часто считает себя очень опасно больным и, действительно, имеет мрачные мысли. Он оставил Кейра, чтобы взять Мудрова, который мне кажется не чем иным, как шарлатаном[2]. Когда будешь писать ему, сообщи некоторые подробности твоего хозяйства: он много раз выражал мне неудовольствие, что не знает, как ты живешь. Он помещается сейчас в доме на Дмитровке[3]. Сестры твои находятся в деревне и, вероятно, не вернутся раньше половины будущего месяца. Прощай, мой милый друг; сделай так, чтобы к 15 числу следующего месяца я получил твое письмо. Фонвизин тебе кланяется.

32. И. Д. ЯКУШКИН — И. Д. ЩЕРБАТОВУ

1818, 16 сентября. Москва.

Вот я, наконец, и вернулся из своего путешествия, о котором тебе говорил, и с лихорадкою, которая возвращается ко мне каждый третий день. Я получил твое письмо от 21 августа. Ты ничего не говоришь о своих предположениях на будущее; я хотел бы их знать, чтобы иметь возможность так устроиться, чтобы скоро тебя увидеть. Твои сестры в деревне и не вернутся в город раньше первого числа будущего месяца. Отец твой пробыл здесь два дня и позавчера уехал. Если моя лихорадка даст мне передышку, я рассчитываю провести несколько дней у них. Известный господин уехал в свое имение в Белоруссии и вернется только через два месяца, как он мне сказал.

Я дорого бы дал, чтобы устно поговорить с тобою, хотя, может быть, если бы мы были вместе, у тебя не было бы решительно ничего, что бы мне сказать. Дай мне вести о себе. Интерес, который проистекает из дружбы, это, может быть, единственное, наименее дурное на этом свете. Прощай. Если будешь в расположении сообщить мне что-нибудь о Чаадаевых, Трубецком и Муравьеве, то сделаешь мне удовольствие. Фонвизин тебе кланяется.

33. И. Д. ЯКУШКИН — И. Д. ЩЕРБАТОВУ

1818, 3 октября. Москва.

Я сегодня вернулся из Рожествина [1]. Я надеялся получить письмо от тебя и узнать наверное, предполагаешь ли ты приехать в Москву; ты не пишешь мне уже более месяца. Твой отец и сестры здоровы; они должны вернуться сегодня в город. Прошу тебя, осведоми меня хоть немного о твоих проектах. Я был сегодня у него; он уехал в свое белорусское имение уже две недели и скоро не вернется, так как их нет еще здесь. Я не уверен, что не надоедаю тебе всеми этими новостями; но я могу при этом случае удержать себя от следования обычному моему побуждению, которое всегда толкает меня делать наудачу

все, что я делаю. Пиши мне, это хорошо для тебя и для меня также. Посылаю тебе письмо твоей сестры Натали. Прощай, мой милый друг. Фонвизин тебе кланяется.

34. И. Д. ЯКУШКИН — И. Д. ЩЕРБАТОВУ

1818, 10 октября. Москва.

Я получил твое письмо от 28 сентября. За неимением лучшего, я был рад узнать, что ты прозябаешь достаточно покойно; я благодарю тебя также за известия, которые мне даешь о Чаадаевых. Расскажи им многое обо мне. Я не могу удержаться, чтобы не сообщить тебе следующий эпиграф, который я нашел в заголовке одной брошюры и который мне показался специально сделанным для людей нерешительных и слишком щепетильных, как ты: «При всяком выполнении долга чем-нибудь надо рисковать» [1].

Твой отец и сестры здоровы. Если я не ошибаюсь, у них возникает снова вопрос о поездке за границу. Прощай. Обнимаю тебя. Пиши. Фонвизин тебе кланяется [2].

35. И. Д. ЯКУШКИН — И. Д. ЩЕРБАТОВУ

1818, 27 ноября. Москва.

Только что получил твое письмо, не знаю, от какого числа. Оно мне не доставило обычного удовольствия, какое я чувствую, получая вести от тебя; я начинаю, поистине, беспокоиться, видя тебя всегда в затруднении, всегда недовольным самим собою. Однако в свою очередь клянусь тебе, что я не имею никакого намерения проникать в тайну, которая окружает твои выражения; я хотел бы только видеть тебя вполне спокойным и более довольным.

Если бы я хотел повторять тебе банальные вещи, я мог бы, конечно, сказать, что прошедшее не может быть исправлено прошедшим, что только наши добрые и искренние намерения в будущем одни мо-

гут поправить то, что мы считаем сделанным нами дурно; что укоры совести нас погружают в состояние безнадежности, которое делает нас несчастными; наконец, я, вероятно, не кончил бы скоро, если бы хотел сказать тебе все такие прекрасные вещи по этому предмету, которые ты, может быть, так же хорошо знаешь, как и я.

Ты ошибаешься, мой милый друг, если думаешь, что я когда-нибудь имел претензию делать что-нибудь: все, что мы можем делать,— это желать искренно счастья нашим друзьям[...].

Прощай, ты не должен на меня сердиться по пустякам.

Ты, может быть, не усомнишься, что твоя сестра Натали подлинно огорчена, что ты не написал ей ни разу после твоего отъезда; она серьезно думает, что ты сердишься на нее или совсем ее забыл. Ты не солжешь, если скажешь ей несколько слов дружбы, а ей это сделает большое удовольствие. Фонвизин тебе кланяется; с моей стороны пожелай всего лучшего Мишелю и Пьеру. Жорж [1] здесь; он был болен. У твоего отца снова его желчь; у меня, кажется, снова моя лихорадка.

36. И. Д. ЯКУШКИН — И. Д. ЩЕРБАТОВУ

1818, 5 декабря. Москва.

Очень давно не получал я от тебя известий. Мне сказали, что ты приезжаешь сюда, а я уезжаю послезавтра в деревню. Это делает возможным, что мы не встретимся в Москве [1]. Прощай, обнимаю тебя, всего доброго всем этим господам.

37 И. Д. ЯКУШКИН — И. Д. ЩЕРБАТОВУ

1819, 5 марта. Москва.

Вот, наконец, я вернулся в Москву [1]. Очень уже давно, мой милый друг, не получал вестей от тебя и тебе ничего не писал. Это не удивительно, так как с некоторого времени у нас так мало предметов

для разговора, и если я сегодня пишу тебе, то это потому, что, действительно, чувствую необходимым это сделать и вперед прошу у тебя прощения в том, что я тебе скажу.

Я боюсь, чтобы ты не раскаивался в доверии и интимности, в которые ты был вовлечен, может быть, дальше, чем того желал. Еще раз прости. Я тебя считаю щепетильным и не знаю, что бы я дал для того, чтобы успокоить тебя относительно будущего или заставить забыть прошедшее. Я чувствую, что эти немногие строки ничего не могут сделать и что долгие уверения не достигли бы, может быть, большего. Все, что я могу тебе сказать, это то, что, когда я подумаю, что ты можешь быть недоволен всем этим, я тебя уверяю, что я мучаюсь не меньше, чем ты сам. Желаю, мой милый друг, чтобы это письмо нашло тебя в добром здоровье и чтобы мои опасения, если это возможно, оказались ложными предчувствиями.

38. И. Д. ЯКУШКИН — И. Д. ЩЕРБАТОВУ

1819, 3 мая.

Если бы я был не тем, чем есть, я бы не стал писать тебе после твоего долгого молчания, боясь тебе надоесть; но я начинаю с предупреждения, что, пока ты мне не скажешь, что не желаешь моих писем, я буду продолжать писать тебе. Я не беспокоюсь о твоем здоровье, так как только что получил письмо от Трубецкого, который сообщает, что ты здоров. Но я хотел бы более подробных известий о тебе, знать, что ты делаешь, прозябаешь ли ты, живешь ли, предполагаешь ли, по крайней мере, жить? Что касается меня, я основался в моей деревне под Вязьмой до тех пор, пока кончу мои дела, т. е., как я предполагаю, до октября или ноября месяца [1]. Я совершенно уединен, не вижу никого, никто меня не видит, и, однако, я не перестаю думать о своих друзьях и даже, как ты видишь, им писать. Но еще раз — какая могла бы быть причина твоего молчания? Если я не ошибаюсь, вот уже более шести месяцев, как ты мне ничего не писал. Ну же, без злопамятства, будь добрым малым, каким ты бывал мно-

то раз в жизни, и напиши мне. Адресуй свои письма прямо ко мне, в *Вязьму*. Ты командуешь ротою, Мишель также: я знаю все это из писем Трубецкого. Передай мой привет Чаадаевым.

39. И. Д. ЯКУШКИН — И. Д. ЩЕРБАТОВУ

5 июля, 1819.

Наконец, я получил твое письмо от 29 мая. Написав его, ты должен был предвидеть впечатление, которое оно произведет на меня; раньше, чем его распечатать, я испытал живейшее удовольствие, пробежав его, я был подавлен всем тем *мраком*, который тебе продиктовал его. Ах, боже мой, когда кончится это состояние тоски, или оно одно осталось для нас, чтобы мы замечали наше существование! Я бы хотел сейчас, чтобы в моем последнем письме не осталось ничего, что надо было бы объяснять, и тебя, в свою очередь, прошу быть более ясным в том, что ты мне говоришь. Говоря тебе, что я хочу *устроить мои дела*, я ничего не хотел сказать другого, как то, что я хочу закончить проект, который я вынашиваю в сердце годами. Я написал министру об освобождении моих крестьян, ожидаю его ответа [1]; это продлится несколько месяцев. В ожидании этого мое присутствие в деревне необходимо,— вот что я называю *устройством* моих дел. Возможно, что для окончания этого дела мне придется поехать в Петербург. Когда же это кончится, я буду считать себя свободным или, по крайней мере, рассчитавшимся с своею совестью. Ты, может быть, не захочешь мне верить, если я скажу, что, достигнув этого конца, я не буду делать никаких проектов, хотя бы самых малейших.

Зная меня, каков я есть, ты не должен был удивляться, что я так внезапно покинул Москву. Помимо того, что у меня вообще такая манера, я имел основания, чтобы так действовать, и, между прочим, то, которое я часто тебе повторял, что порох и огонь не могут оставаться вместе без большой опасности. Твое письмо полно тайны, и почему тебе скрытничать со мною? Если ты ожидаешь чего-нибудь неприятного, касающегося тебя, то почему мне об этом не сказать?

Ты знаешь, что я не позволю себе *утешать* тебя; если я не могу сделать ничего лучшего, я разделяю твою скорбь от всей искренности моей души. Если ты боишься чего-нибудь для меня, у тебя еще меньше оснований мне этого не говорить, и что бы ты мог мне сообщить, чего бы я тысячу раз не предвидел? Попытайся немного быть искренним со мной. Если ты не имеешь достаточных оснований, чтобы верить в дружбу, постарайся, по крайней мере, убедить самого себя, что она существует, и, может быть, ты будешь менее несчастлив.

Фонвизин был у меня и приедет еще к 19 числу этого месяца. Прощай, обнимаю тебя.

40. И. Д. ЯКУШКИН — И. Д. ЩЕРБАТОВУ

1819, 10 сентября

Я тебе пишу не только потому, что обещал писать, но и потому, что для меня, поистине, невозможно привыкнуть к мысли, что мы расстались с тем, чтобы больше не видеться и даже не получать вестей друг от друга. Пиши мне, прошу тебя, адресуй письмо прямо в Орел, для меня; я рассчитываю там быть по моим делам, и еще более, чтобы видеть Фонвизина, который будет в этом городе, проходя со своим полком. Скажи мне, между прочим, не думаешь ли ты этою зимою приехать в Москву? Может быть, я также туда бы приехал. С некоторого времени, действительно, я считаю себя обреченным на разлуку со всеми, кто мне дорог, так как вот уже более шести месяцев, как я почти совершенно одинок. Чтобы сообщить тебе еще что-нибудь обо мне, скажу, что все это время я хлопочу об освобождении моих крестьян и, если я не ошибаюсь, через месяц все должно быть кончено. Еще раз прошу тебя писать. Прощай.

41. И. Д. ЯКУШКИН — И. Д. ЩЕРБАТОВУ

1819, 1 октября.

Самое большое доказательство дружбы — это снисхождение к слабостям своих друзей; ты делаешь больше для меня, ты им покро-

вительствуешь. Я этого вовсе не заслужил, я был просто подлецом; я был готов, в отплату за твою привязанность ко мне, злоупотребить твоею дружбою, я доставлял тебе только минуты беспокойств и мучений. Я не смею просить у тебя прощения за прошлое: ты не должен мне его дать, я его не заслуживаю.

Теперь все кончено. Я узнал, что твоя сестра выходит замуж,— это был страшный момент. Он прошел. Я хотел видеть твою сестру, увидел ее, услышал из собственных ее уст, что она выходит замуж,— это был момент еще более ужасный [1]. Он также прошел. Теперь все прошло. Я осужден жить и искупить, если возможно, все огорчения, какие я причинил тем, кто оказывал мне некоторую дружбу. Я не прошу от тебя дружбы; справедливо, что ты меня презираешь. Я не достоин называться твоим другом; по крайней мере, моя благодарность к тебе продлится на всю мою жизнь.

42. И. Д. ЯКУШКИН — И. Д. ЩЕРБАТОВУ

29 марта, 1820. Москва

Три с половиною дня назад я прибыл в Москву, без всяких приключений. Я нашел Фонвизина поправившимся; в тот же день я видел Облеухова и Чаадаева; первый еще не поступил на военную службу, второй еще ее не покинул. Вот почти точный бюллетень о твоих друзьях и знакомых. Что сказать тебе больше, мой милый друг? Я буду ждать письма от тебя, чтобы пуститься в путь и поговорить с тобою побольше обо всем, что меня касается. Мне кажется, что в последнее мое пребывание в Петербурге я видел тебя только мельком. С некоторого времени все мое существование мне казалось сном, сделаем, по крайней мере, чтобы во всем этом дружба не была тем же. Пиши мне, прошу тебя. Адресуй письма в Вязьму. Фонвизин тебе кланяется.

43. И. Д. ЯКУШКИН — И. Д. ЩЕРБАТОВУ

1821 года, февраля 14-го. Москва.

Непредвиденные обстоятельства заставляют меня отлучиться из Москвы на некоторое время, вот причина, почему я к тебе не буду, как обещал [1]. Ты знаешь мою подвижность и потому поверишь, что я не отчаиваюсь с тобою скоро увидеться. Прости, будь здоров. Фонвизин тебе кланяется.

44. И. Д. ЯКУШКИН — И. Д. ЩЕРБАТОВУ [1]

1821 года, мая 25-го.

Письмо твое от 7 мая получил, за которое много тебя благодарю.

Ты так горестно описываешь свое положение, что я не могу не подозревать тебя в отчаянии, которое не только в твоих обстоятельствах, но и во всяких других не простительно [2]. В минуты моих слабостей я слушал твои упреки терпеливо и, могу сказать, с благодарностью, теперь в обязанности себя почитаю напомнить тебе, что отчаяние твое ни к чему доброму привести тебя не может, что́ не беречь свое здоровье (которое может еще тебе пригодиться) совершенно не благоразумно, что заключать все свое существование в одном только настоящем (когда оно так грустно) никак не достойно твоих чувств, что состояние твое когда-нибудь, а, вероятно, и в скором времени должно перемениться. Я уверен, что ты меня поймешь, как понимал и прежде, и что в выражениях моих с тобой никакой осторожности не нужно. Прошу тебя, любезный друг, для себя и для тех, которые тебя любят, быть потерпеливее к обстоятельствам.

Фонвизин поехал в Кострому и потому до сих пор у меня еще не был, и нынешний год я проживу, кажется, в совершенном одиночестве. Есть ли нынешним летом дела мои заставят [меня] приехать в Москву и ты там не [будешь], то я непременно постараюсь побывать у тебя в Александрове; мне все кажется, что мы очень давно с тобой порядочно не видались. Прощай, будь здоров и телом и душой. Не

приехали ль Чаадаевы в Москву? Надеюсь, что мне не нужно уверять тебя, что в одиночестве моем получать твои письма есть для меня истинная радость.

45. И. Д. ЯКУШКИН — П. Х. ГРАББЕ [1]

Жуково. 1821. Октября 21.

Два письма твои, милый и любезный друг, одно от 3-го, другое от 10-го октября получил; сам давно не писал к тебе не потому, что было некогда, но потому, что почти нечего было писать, и в самом деле мне хотелось сколько-нибудь осмотреться, чтобы уведомить тебя обо всем, до меня относящемся, обстоятельно. Намерение мое уехать на некоторое время из России показалось тебе странным, тем более что оно, как кажется, не было следствием каких-нибудь основательных причин; но если ты вспомнишь образ моих чувств (который в некоторых отношениях постоянно был одинаковым и который более нежели кому-нибудь тебе должен быть известен), то ты легко заметишь, что во мне существовала всегда беспрестанная какая-то боязнь несуществования, или лучше сказать, состояние прозябаемости; чем более живешь, тем более это состояние угрожает.

Бóльшую часть моей молодости я пролюбил; любовь сменило какое-то стремление исполнить некоторые обязанности; любовь исчезла и оставила за собой одни только воспоминания, сколько ни приятные, но недостаточные, чтобы наполнить жизнь, стремление к исполнению обязанностей; с некоторого времени кажется во мне сомнительность и дает мне какой-то вид лицемерия; в самом деле трудно уверить себя, что стремишься к цели, когда ясно видишь, что беспрестанно от нее удаляешься; что же остается в жизни? Пустить коренья и принять вид растения.

«Но мы еще, мой друг, во цвете лет».

Если нельзя спасти всю жизнь от прозябательства, то можно спасти хоть часть оной, предположив себе ограниченную цель и доставив себе хоть на некоторое время сильные ощущения, которые могли бы

удовлетворить [2] порывы последней молодости. Греция тысячу раз являлась мне со всеми своими прелестями и с ними вместе надежда обновить жизнь; долго я не смел предаваться этой мысли; исполнить ее казалось мне сопряженным с бесчисленными затруднениями для меня и для других, но более всего мне казалось непозволительным оставить место, мной самим избранное, отказаться от обязанностей, добровольно на себя принятых. С другой стороны, беспрестанно более и более уверялся в своей неспособности исполнить все эти обязанности. В последнее мое пребывание в Москве я сблизился с намерением отправиться в Грецию; между прочими для меня приятностями, она подавала мне такую надежду может быть примириться с самим собой и с другими, ибо я с некоторого времени ни с самим собою, ни с другими жить порядочно, признаюсь тебе, не совсем способен.

Вот, любезный друг, может быть слишком длинное, но, как кажется, довольно точное изложение причин, внушивших мне намерение, которое показалось тебе не имеющим ничего основательного. Что говорил тебе в Москве, то и теперь повторяю: человек не уверен в возможности исполнить это намерение; приехав в Жуково, я было совсем забыл про него, мне попался Буле [3] и десять дней провел очень приятно, после чего отправился во Ржев за хлебом, которого не купил, потому что он там так, как и у нас, по 20 р. четверть [4].

Изо Ржева приехал в Белую, что почти по дороге, и пробыл у Алексея Васильевича сутки. Два дня как возвратился домой и скоро должен буду ехать в Рославль, а может быть и в Смоленск хлопотать о свидетельстве, но во всяком случае, я думаю, это будет ненадолго.

Ты очень меня обрадовал, что Т. Т. будут в Москве, надеюсь, что к этому времяни и ты отыщешься. За присылку рисунков много тебя благодарю; я их еще не получил, но скоро надеюсь получить; если это те, которые я знаю у Ивана Александровича, то они мне доставят несказанное удовольствие. Ивана Александровича мысленно поздравляю, Облеухова очень жаль! Прости, любезный друг; надеюсь, что

предлинное это письмо заставит тебя уведомить меня о себе подробно. Мысленно тебя обнимаю, прости.

Прошу тебя сказать мое усерднейшее почтение Марье Павловне и всему ее семейству.

46. И. Д. ЯКУШКИН — П. Я. ЧААДАЕВУ [1]

[1821 г.]

Я принял на себя (видно, в наказание за свои прегрешения) заботу о твоем, любезный мой ученик [2], поведении и вот никак не могу не поставить тебе на вид, что невыполненное обещание — бесчестный поступок.

Мне необходимо было повидать тебя вчера, но в виде наказания я не скажу, для чего именно.

Ах, бог мой, ты позволяешь себе слишком быстро осудить человека, которого не знаешь. Вынести приговор, меня не выслушав, приписать мне лишенное любви сердце и омертвевшую душу! Но если бы это и было так, разве ты знаешь, что меня таким сделало? Причина — в печальной участи не иметь сердечного друга, никогда не слышать слова приязни. Правда, моя душа утратила часть своей энергии, она устала от страданий и разбилась, она не хотела принять жизнь, полную горечи, и ослабела в борьбе.

Я выносил бремя существования одиноким. Время от времени встречалась душа, способная, может быть, симпатизировать мне, но судьба, обстоятельства,— я уж не знаю, что именно,— нас всякий раз разлучали, и я оказывался более одиноким и обособленным, чем раньше. Над жизнью моей тяготели годы разочарований, горькие слезы жгли мне лицо, лишенный утешения молитвы, я был предоставлен себе.

Не суди же меня по наружности, будь настолько проницателен, чтобы понять, каков я на самом деле; мне тяжело видеть, что и ты разделяешь суждение обо мне толпы, полагающей, будто душа, сложившаяся в таком мире, который несколько возвышается над людской пошлостью, ничего иного, кроме одиночества, и не заслуживает.

Слишком длинно то, что я тебе написал; взгляни на эту полуисповедь, как на одну из редких минут излияний, которым подвержены люди, всегда сосредоточенные и замкнутые в себе самих.

Чтобы заслужить прощение, пиши мне в деревню. Мне это будет во благо. В качестве ученика — не рассуждай и повинуйся. Этим ты вернешь себе благорасположение, а может быть, даже и дружбу

преданного тебе *И. Якушкина* [3].

47. И. Д. ЯКУШКИН — Н. Н. ШЕРЕМЕТЕВОЙ [1]

[Конец мая 1822 г.]

Стыдно признаться, но должно сказать, что живу предосадно; все, что вы можете сказать мне на этот счет, я тысячу раз говорил сам себе, но уверить больного, что ему не больно, есть вещь невозможная. Управлять людьми есть самая несносная вещь, какая может только быть, ибо иметь людей, от себя зависимых,— это значит самому от них зависеть; прибавьте к этому неистовства земского суда (который, кажется, поклялся меня отсюда выжить) [2]... Не думайте, чтобы я одобрил неумение мое ужиться там и так, как меня судьба поставила: я знаю, что это слабость, может непростительная, но опять-таки повторяю, что уверить больного, что он здоров, трудно,— но можно обнадежить его выздоровлением, а мне выздороветь от несносного моего нрава нет надежды [3].

48. П. Я. ЧААДАЕВ — И. Д. ЯКУШКИНУ [1]

Милан. 8 генваря [1825 г.].

Я еще ни разу к тебе не писал, мой милый, во все время моего странствия, вероятно по той же самой причине, по которой и ты ко мне не писал, а именно, что расставаясь мы друг другу не дали слова писать, а почему, не знаю. Может статься, и воротился бы назад в Россию, не написав к тебе ни строки, естьли б не пришлось писать по делу, вот по какому. Кроме тетки и брата ко мне никто

не пишет, а они ни об тебе, ни об ком никогда ни слова не говорят. Знаю об тебе одно, что ты жив и что ничего чрезвычайного ни с кем с вами не случилось, да еще, что у тебя родился сын, больше ничего; и никогда ничего более не узнаю, естьли сам ко мне не напишешь. И так вот в чем состоит моя нижайшая до тебя просьба.

Чтоб ты благоволил ко мне написать собственноручное письмо, в котором бы известил меня, что ты действительно жив и здоров; что жена твоя равномерно жива и здорова, и каким именно манером, то есть потолстела ли или похудела, и так же ли она сильфидообразна, как прежде. Что̀ твой ребенок, и об нем разные подробности; что̀ Надежда Николаевна, и об ней разные подробности. Сверх того прошу тебя покорнейше потрудиться рассказать мне, как вы живете, все ли вместе или порознь, в Покровском ли или где? Приходите ли по прежнему на лагерь в Москву и проч.

Что Фонвизины? Что Иван Александрович, все ли так же горит на добро? Об святом отце Дмитрии Тверском прошу тебя также порассказать мне, что знаешь. Еще прошу тебя сказать мне, что ведаешь о брате. Он ко мне написал сначала несколько писем премилых, из которых [я] заключил, что он живет в Хрипунове весело и довольно; вдруг пишет: я разорен, замучен, болен и готов себя [...] и ни слова более. В октябре месяце буду и я в Москве, но до того времени никакого изъяснения от него наверное не получу; нельзя ли, мой милый, как-нибудь добиться от него толка и мне написать? Разоренье, может быть, пустое, но нездоровье, естьли оно произошло от досады, беда, сущая беда!

Брат велел мне купить тебе дамские часы в Женеве в четыреста рублей. Было бы тебе известно, что в Женеве в эту цену готовых часов нет; самые дорогие часы стоят двести рублей. Естьли ты хочешь истратить непременно четыреста рублей на часы, то надобно заказать, и тогда слишком двести рублей пойдет на корпус. Я себе купил там часы и велел этому часовщику заготовить дамские часы; напиши, хочешь ли, чтоб вышло на них четыреста рублей.

Вот еще про кого прошу тебя сказать, что можно, про к[нязя] Ивана, про Пушкина, про Граббе. Жива ли, мой милый, твоя матушка? Из наших общих знакомых не погиб ли кто в Петербурге [2].

Теперь сказать тебе надобно слова два об себе. Я, слава богу, здоров; в продолжении своего путешествия был несколько раз очень плох, но, прожив в Швейцарии четыре месяца, совершенно поправился. С месяц назад получил в Берне от брата это горькое письмо, про которое говорил; на другой день пустился в путь в Россию. Намерение мое было через Милан и Венецию проехать в Вену и оттуда прямым путем домой; естьли б здоровье позволило, поехать бы в дилижансе, чтобы поскорее быть дома, но этого сделать не мог. Приехав сюда, увидал, что могу объехать всю Италию в два месяца, и решился на это — последнее дурное дело; точно, дурное, непозволительное дело! Дома ни одной души нет веселой, а я разгуливаю и веселюсь; но скажи, как, бывши за две недели езды от

Рима, не побывать в нем? На этот счет мог бы и желал тебе сказать разные вещи, но пишу к тебе об деле, безделья с делом мешать не хочу.

Прости, мой друг любезный. Ты писать, помнится, писем не охотник; хотя я и дорого бы дал за длинное и обстоятельное письмо, но этого от тебя требовать не имею духа; с меня довольно будет двух слов в ответ на мои пункты. Прости.

Вот мой адрес: Господину Чаадаеву, к любезному попечению г. Сверчкова, поверенного в делах его величества императора России — во Флоренции.

А за длинное письмо дорого бы дал. Надежде Николаевне низко поклонись. Естьли станешь писать к брату, сообщи ему мой адрес; я писал к нему несколько дней тому назад, а адрес позабыл написать [3].

49. И. Д. ЯКУШКИН — П. Я ЧААДАЕВУ [1]

Марта 4-го [1825 г.]. Жуково.

Письмо твое, любезный друг, от 8 генваря, вчера я получил; очень тебе за него благодарен; по отъезде твоем из России брат твой извещал меня о тебе очень подробно; почти всякое письмо твое к нему сообщал мне в подлиннике или в переводе. С некоторого времени он пишет ко мне реже и о тебе почти ничего не говорит, жалуясь на тебя, что ты к нему сам редко пишешь. Сначала я не имел никакого желания к тебе писать, ибо имел часто очень подробные о тебе извещения, а после так получал твои адресы, что по моим расчетам мои письмы никогда не застали бы тебя там, куды бы я мог по этим адресам их надписывать; впрочем, я думаю, что я сказал вздор [2]; вероятно, всетаки мои письмы до тебя доходили бы, если бы я писал их; во всяком случае, прошу тебя верить, что молчание мое более произошло от глупости моей, нежели от лени писать к тебе.

Очень рад, что почти на все твои вопросы могу тебе отвечать с точностью. От брата твоего получил я последнее письмо от 14 генваря из Хрипунова [3], пишет, что он здоров, сбирается в Москву, оттуда в Витебск, и заедет за мной в Жуково. Кажется, он и сам всему этому не очень верит; в конце письма пишет, «что я теперь говорю, очень мне хочется сделать,— есть ли не какие-нибудь непредвиденные помехи будут, то сделаю». Осенью я получил от него очень мрачное

письмо, в котором он извещает меня, что он очень поглупел; я этому не удивился, он несколько месяцев возился с чиновниками гражданской палаты, нарочно ездил в Нижний хлопотать о свидетельстве на Хрипуново; с него за это просили кажется 2000 асс., а во всей России свидетельство стоит обыкновенно рублей 200 или 300. Не могу тебе наверно сказать, здоров ли твой брат, хотя он во всяком письме ко мне пишет: «о себе доношу, что здоров», и ни разу не писал, что был болен; но что вы не разорены, я в этом уверен, и долго разорены быть не можете, как бы об этом ни хлопотали, ибо я не думаю, чтобы можно назвать людей разоренными, у которых долгу тысяч сто, а имения почти на мильон.

Брат твой, может, эти годы не получает доходов, но это общая участь почти всех российских помещиков. Все так дешево, как я думаю никогда в России (по сравнению времен) не бывало, нигде почти мужики оброков не выплачивают, но кажется, не быв отгадчиком, можно отгадать, что это продолжиться долго не может. Конечно, нынешние годы долги платить довольно трудно и может многие были бы весьма в затруднении, если бы Опекунский совет не вздумал выдать по 50 асс. прибавочных на заложенные души и если бы не рассрочил долги свои на 24 года, так что должники в Воспитательный дом, платив ежегодно только по осьми процентов с занятого капитала, в 24 года весь долг выплачивают.

Вот тебе очень длинная и, может, совершенно [4] излишняя статья о денежных обстоятельствах российских помещиков вообще. Мне очень желалось бы, чтобы ты убедился, что вы нисколько не можете быть разорены, и что если твой брат что-нибудь писал к тебе на это похожее, то, вероятно, это было в минуты нравственного расстройства, которому, как ты знаешь, как он ни силен, а бывает иногда подвержен. На этой почте буду к нему писать, сообщу ему твой адрес и извещу его, что ты о нем беспокоишься; он верно к тебе тотчас напишет.

Нынешней весной я был у Щербатовых или, лучше сказать, у княжны Лизаветы; она истинно премилая женщина, я с ней встретился, как будто мы никогда не расставались, и я провел с ней

несколько часов превесело. Летом она ездила одна к князь Ивану; об нем очень давно ничего не знаю, но, как слышно, он очень терпеливо переносит неприятное положение свое. О тетушке твоей ничего верного сказать тебе не умею [5].

После тебя у Ивана Александровича умерло двое детей; остался один мальчик и тот хворает; он, говорят, очень огорчен. К тому же его выбрали в уездные судьи, что, как ты можешь представить, нисколько не развеселит его; но я уверен, что все это вместе нисколько ему не мешает наичестнейше стараться быть добрым человеком.

Михаил Александровичь недавно ушибся и был почти месяц в постеле; у него также есть сынок; оба брата живут всякий в своей подмосковной и только иногда приезжают в Москву.

Граббе скоро после твоего отъезда принят в службу в Северский конно-егерский полк; на-днях он женился на Скоропадской, дочери богатой помещицы в Хохландии; свадьба, как говорят, стала 50 тысяч; по последнему его письму, он кажется очень счастлив.

Пушкин живет у отца в деревне; недавно я читал его новую поэму «Гаврилиаду», мне кажется, она самое порядочное произведение изо всех его эпических творений и очень жаль, что в святотатственно-похабном роде [6].

Вяземский также, кажется, жив; мне также удалось читать недавно им написанную очень недурно пиеску — сравнение Петербурга и Москвы [7].

Тургенев Николай за границей; братья его кажется в живых.

Никита Муравьев также.

С. Трубецкой назначен дежурным штаб-офицером, кажется, в 3-й корпус, которым командует к. Щербатов, на место Раевского [8].

Матвей Муравьев, как я слышал, сослан своим отцом (который принят в службу сенатором) жить [9] в деревню; живет в совершенном уединении; я иногда получаю от него письма [10].

Облеухов здоров попрежнему, то-есть почти беспрестанно болен. Жена его купила деревню, живет одна с сыном; он у нее не был, и они, расставшись, еще не видались, а впрочем, часто друг к другу пишут и, как кажется, друг друга любят.

Вот, любезный друг, подробная тебе газета о всех [11] общих наших знакомых.

Теперь скажу тебе о себе, что я девять месяцев как поселился в своей деревне Жукове, Смоленской губернии, Вяземского уезда, и с женой и с сыном [12]; Надежда Николаевна также почти все это время жила с нами; соседей знакомых. у нас почти нет; ближайший — Пассек — от меня шестьдесят верст, и мы живем так уединенно и безвестно, что я недавно узнал о смерти Людовика XVIII-го. Впрочем, нам кажется не скучно и очень покойно. В Москве я не бываю.

Занимаюсь немного хозяйством, ибо немного еще и толку в этом знаю. Собираюсь завести много цветов; понемногу строюсь — дом у нас небольшой, каменный и очень теплый; в Флоренции последнее может быть излишним, а здесь оно почти первое условие для существования. Мы все действительно живы и здоровы; матушка моя также; за память о ней много тебя благодарю.

Жена моя похудела, иные говорят, будто похорошела — думаю, она не столько сильфидообразна, как прежде; она родила и выкормила прездорового до сих пор мальчика, а это всегда женщинам чего-нибудь да стоит. Мальчика зовут Вечеславом [13]; он так [же], как и все мальчики его возраста, плачет, лопочет, бегает, но еще не говорит.

Если тебе не достаточно всех сих о нас подробностей, то по возвращении в Россию и, пообж[ившись] [14], с своими, приезжай пожить сколько-нибудь с нами — ты на нас посмотришь, а мы тебя послушаем. Мне кажется, ты дело сделал, что не ускакал от Рима в Россию — твой брат верно бы взбесился, если бы узнал, что он причиной неистовой твоей поспешности.

Сделай одолжение, запасись здоровьем физическим и нравственным и если можно, не будь никогда таков, как ты был в последнее пребывание твое в Москве [15].

Прости, любезный друг, душевно тебя обнимаю и еще раз благодарю за письмо твое; оно мне доставило истинное удовольствие; я не смею просить тебя написать ко мне; вероятно, тебе и кроме этого есть что делать, а если это как-нибудь случится, то для меня это будет неожиданная радость [16].

Надежда Николаевна и жена моя премного тебе кланяются; они обе тебя очень помнят и любят; часы непременно привези с репетицией и которые бы сколько-нибудь порядочно шли; это для жены моей — никакой надобности нет платить 400 р., если можно за 200 иметь порядочные.

Если Иван Яковлевич [17] с тобой, то поклонись ему от меня — ты про него ни слова не пишешь [18].

50. И. Д. ЯКУШКИН — Е. Д. ЩЕРБАТОВОЙ [1]

25 мая [1825 г.].

Я имел удовольствие получить ваше письмо от 11-го. Не знаю, буду ли иметь возможность прибыть в Москву перед отправлением в Витебск. Михаил должен был приехать, чтобы видеться со мной, или назначить мне свидание в Смоленске, но, как вы знаете, он весьма неаккуратен в осуществлении своих намерений. Я все время жду его и почти уверен, что еще долго буду ждать, точно так же как уверен, что он совершенно искренно говорил о приезде для свидания со мной [2]. Весьма возможно, что Михаил не уедет, не переговорив с вами. Я также хотел бы переговорить с вами перед вашим отъездом. Полагаю, что если бы вы пожелали написать мне, то сообщили бы мне кое-что о вашем брате: здоров ли и спокоен ли он? Уже довольно долго я ничего не знаю о нем и считаю необходимым узнать у Михаила его адрес, чтобы иметь, наконец, возможность написать ему и получить вести непосредственно от него. Не знаю, найдете ли вы это удобным. Если вы пришлете мне его адрес, я пойму, что вы одобряете мое намерение переписываться с ним; если нет — нет [3].

Моя теща в Москве; жена моя питает к вам чувства глубокой почтительности, а я благодарю за интерес, проявленный вами к моему ребенку [4].

Прошу вас принять мои лучшие пожелания и передать таковые же Изабелле; в последний раз, когда я был у вас в ваше отсутствие, я убедился, что она не легко забывает своих прежних друзей.

Имею честь, сударыня, и т. д.

51. М. И. МУРАВЬЕВ-АПОСТОЛ — И. Д. ЯКУШКИНУ[1]

Хомутец, 27 мая 1825.

Последнее время я был в разъездах, и вот это-то и заставило меня сохранять молчание по отношению к тебе. По возвращении в деревню я нашел твое письмо, дорогой друг, от 13 марта — последнее, которое ты мне адресовал. Надо признаться, что разлука у нас — дело более жестокое, чем где-либо. Медленность, с которою доходят письма по назначению, сама уже по себе способна отнять у переписки ту нежную пылкость, которая заставляет ее походить на болтовню.

Не этому ли же я обязан краткостью твоих писем. Позволь мне, дорогой друг, сделать тебе по этому поводу несколько упреков. Чтобы мотивировать их, я возьму за исходную точку фразу из твоего последнего письма. Ты мне пишешь: *Ты, может быть, не знаешь, что я способен быть лентяем*[2]. Это требовало некоторого пояснения с твой стороны, ибо эта фраза мне не понятна. Я спрашиваю себя, чему приписать эту склонность твоей души к лени — и задаю себе этот вопрос тщетно. Что разумеешь ты под ленью? Ведь это же не есть источник школьного горя — та лень, строго говоря, даже и не есть лень, это действие юного, пылкого воображения, которое в нашем детстве постоянно уносит нас в даль и заставляет жить в очаровательном мире, украшенном всеми чарами надежды.

То сочувствие, которое оказалось между тобой и мною, когда мы рука об руку весело выступили на жизненный путь, приводит меня к заключению, что наше детство должно быть схоже. Я боюсь разгадать смысл, который ты связываешь со словом «лень». Бога ради, старайся себя в этом отношении побороть и не успокаивайся ранее, чем ты не одержишь над собою победы. На известной ступени развития все бытие существует только в мысли. Надо допустить, что ты сильно изменился (а этого не дай бог) для того, чтобы подобное состояние подошло и к твоему уму и к твоему сердцу.

Хочешь, чтобы я стал еще яснее? Возьми сочинение моего отца о Крыме и прочти письмо, приведенное там на стр. 176, если только я не ошибаюсь, не имея книги перед глазами. Ты найдешь там полное разъяснение моей мысли[3]. Несмотря на отсутствие, дружба, которую я к тебе питаю, слишком жива, чтобы я не желал видеть тебя вполне добрым безо всякой подмеси, которая всегда негодна.

Что касается меня, я провожу время настолько приятно, чтобы не познать чувства скуки, в котором, мне кажется, таится больше суетности, чем обыкновенно думают. Я съездил повидаться с братом Сергеем и имел удовольствие провести с ним несколько дней. Видел я С. Трубецкого, который основался в Киеве, как ты о том уже вероятно знаешь. Мне нечего тебе говорить, что много было между нами переговорено, и о тебе. Его жена воистину очаровательна и соединяет с значительным умом и развитием неистощимый запас доброты, что́ по

преимуществу является типичною чертою в женском характере. Она о тебе отзывается, как о старом знакомом. Почему не живем мы в эпоху паломничеств — тогда, вероятно, Киев святой привлек бы к себе и тебя, и я несколько дней провел бы с тобою вместе.

Я рассчитывал пробыть некоторое время с моими обеими сестрами, Хрущевой и Капнист, которым предстоит на-днях разрешиться от бремени. Но весть, сообщенная мне братом, с нарочным по эстафете, заставила меня спешно вернуться в Киев. Брат жены Трубецкого после крупной карточной игры, которую он вел в Москве, и постигшего его там проигрыша поселился в имении матери, но и тут повстречался опять с игроками, которые и заставили его еще более увеличить тот проигрыш, которому он подвергся еще в Москве; коротко сказать, это довело его до отчаяния, и он не придумал ничего лучшего, как пустить себе пулю в голову. Я трепещу за его сестру, когда она узнает эту весть, которая уже в силу религиозных ее верований покажется ей особенно страшною. Я еду к ним в Киев и выезжаю в четверг, т. е. завтра.

Вот плод даваемого у нас блестящего воспитания. Развивают в вас, елико возможно, всю суетность, которую вы можете в себе вместить, и после того, как ввергнут юношу, несмотря на его сопротивление, в «свет», удивляются потом, если молодой человек наделает глупостей. Вместо того, чтобы протянуть руку помощи, думают, будто выказыванием к нему презрения можно будет с бо́льшим успехом вернуть его на прямой путь, не компрометируя самих себя. А презрение порождает лишь отчаяние и равнодушие; таким образом, на кого же падает вина, если юноша ухватится за способ, кажущийся ему наикратчайшим, чтобы сразу избавиться от гнетущего положения?

Ты имеешь сына, милый друг, думай же и размышляй побольше о его воспитании,— оно ведь повлияет на все его существование. После войны 1814 г. страсть к игре, так мне казалось, исчезла среди молодежи. Чему же приписать возвращение к этому столь презренному занятию.

Расскажи мне подробнее о Петре Чаадаеве. Прогнало ли ясное итальянское небо ту скуку, которою он, повидимому, столь сильно мучился в пребывание свое в Петербурге, перед выездом за границу. Я его проводил до судна, которое должно было его увезти в Лондон [4]. Байрон наделал много зла, введя в моду искусственную разочарованность, которою не обманешь того, кто умеет мыслить. Воображают, будто скукою показывают свою глубину,— ну, пусть это будет так для Англии, но у нас, где так много дела, даже если живешь в деревне, где всегда возможно хоть несколько облегчить участь бедного селянина, лучше пусть изведают эти попытки на опыте, а потом уж рассуждают о скуке.

Что делает М. Чаадаев? Видаешь ли ты его иногда? Неужели он совсем меня забыл? Он был бы не прав, ибо я всегда думаю о нем с удовольствием. Правда ли, что княжна Елизавета ездила на свидание с братом, а тот не захотел

даже ее и принять?[5] Я видел его во время последней моей поездки в Петербург,— он был тогда довольно покоен. Идея же не желать повидаться с сестрою указывает на тревожное настроение, и это меня печалит за него, ибо он через это только усугубляет тягостность своего положения. Опиши мне все это подробнее, ибо как ты можешь себе представить, прошу я об этом не из праздного любопытства.

Поцелуй за меня твоего сына; передай мои приветствия твоей супруге. Напомни о моем существовании твоей теще, тетушке и дядюшке поклонами от меня. Жму сердечно твою руку.

Матвей Муравьев-Апостол.

52. Н. Д. ФОНВИЗИНА — Н. Н. ШЕРЕМЕТЕВОЙ[1]

Петровский Завод, 28 сентября 1830 г.

Вот уже несколько дней, как мы прибыли все сюда и я уже поселился в остроге. Иван Дмитриевич, слава богу, здоров, милый друг мой, Надежда Николаевна; дорогой получил он 6 писем от вас. Благодарит также за посылку и за деньги — 400 р., которые получил в одном из писем. Настенька говорила ему, что хочет сюда ехать, но Иван Дмитриевич говорит, что причины, по которым он этого не желал, все существуют и что даже, если бы оные и не существовали, то никогда не согласился бы запереть жену в темную и сырую тюрьму[2]; а если хотите, мой милый друг, узнать подробности нашего нового жилища, то Иван Александрович может вам сообщить письмо мое.

Право, не думайте, чтобы это было прикрашено — если бы адресоваться здесь ко всем, кто только в этой тюрьме, хотя и не живут в ней, словом к самим начальникам нашим, то по справедливости и они не могли бы сказать другого. Конечно, если это все положение перенести с покорностью к воле божьей и с смирением, то и оно будет на пользу; впрочем, это одно только и может поддержать в этом заключении. Еще мое положение покамест не так тягостно, но сердце кровью обливается смотреть на тех, у кого здесь есть дети; бедные малютки одни живут и бог знает чему подвергнутся. Скоро и мое положение будет то же. Если господу угодно будет сохранить будущего моего дитяти[3].

Помолитесь, друг милый, чтобы спаситель наш ниспослал нам всем силы покориться с кротостью этому ужасному положению. Вы себе и представить не можете этой тюрьмы, этого мрака, этой сырости, этого холода. Этих всех неудобств. То-то чудо божие будет, если все останутся здоровы и *с здоровыми головами*[4], потому что так темно, что заняться совершенно ничем нельзя[5].

Нам, женщинам, позволено выходить из тюрьмы, доложившись офицеру, но и тут как шальные ходим, а они бедные вечно в затворе и в тюрьмах.

Прощайте, друг мой, чувствую, что это письмо неутешительно, но господь велик и милостив, на него уповаем: даст силы, и все перенесем авось-либо. А тяжко, очень тяжко, не так за себя, как за них. Христос с вами. Иван Дмитриевич вас, Настю и детей целует; я также. Екатерину Гавриловну благодарит очень за память и за письмо [6].

53. А. Г. МУРАВЬЕВА — Г. И. ЧЕРНЫШЕВУ [1]

1 октября [Петровское] 1830 г.

Итак, дорогой батюшка, все, что я предвидела, все, чего я опасалась, все-таки случилось, несмотря на все красивые фразы, которые нам говорили. Мы — в Петровском и в условиях в тысячу раз худших, нежели в Чите. Во-первых, тюрьма выстроена на болоте, во-вторых, здание не успело просохнуть, в-третьих, хотя печь и топят два раза в день, но она не дает тепла, и это в сентябре, в-четвертых, здесь темно: искусственный свет необходим днем и ночью; за отсутствием окон нельзя проветривать комнаты. Нам, слава богу, разрешено быть там вместе с нашими мужьями, но, как я вам уже сообщала, без детей, так что я целый день бегаю из острога домой и из дому в острог, будучи на седьмом месяце беременности. У меня душа болит за ребенка, который остается дома один; с другой стороны, я страдаю за Никиту и ни за что на свете не соглашусь видеть его только три раза в неделю, хотя бы это даже улучшило наше положение, что вряд ли возможно.

Вот уже два дня, что я его не вижу, потому что я серьезно больна и не могу выходить из дому; даже пишу тебе в постели, так как простудилась, но не в тюрьме, а еще раньше; *я себя перемогала дня три, пока сил не стало* [2], так что я лежу, не выходя из дому, чтобы не свалиться на всю зиму.

Если бы даже нам дали детей в тюрьму, все же не было бы возможности их там поместить: одна маленькая комнатка, сырая и темная и такая холодная, что мы все мерзнем в теплых сапогах, в ватных капотах и в колпаках. Наконец, моя девочка кричала бы весь день, как орленок, в этой темноте, тем более, что у нее прорезаются зубки, и очень мучительно, как вы знаете. Прошу тебя не показывать этого письма ни младшим сестрицам, ни даже сестрам, зачем их огорчать. Я сообщаю это тебе потому, что я не могу выносить, *что тебя под старость этак обманывают*. Я нахожу, что это жестоко и из-за девочки, и из-за второго, которого я жду через некоторое время; что касается меня, то я никогда не стану жаловаться на себя лично. Нужно сознаться, *что я себе* [не] *на радость детей нарожала*.

Не пишу тебе больше, потому, что у меня болит голова. Однако у меня только флюс. Потому же не пишу ни брату, ни сестрам. Целую вас всех, и в каких бы обстоятельствах я ни находилась, я вас буду все так же горячо любить и благодарить бога за счастливые времена, проведенные с вами.

А. Муравьева.

Извести меня, дорогой батюшка, получишь ли ты это письмо от 1 октября, чтобы я знала, разрешено ли мне сообщать вам правду [3].

54. И. Д. ЯКУШКИН — Н. Н. ШЕРЕМЕТЕВОЙ [1]

[Петровский Завод]. 1832 г. Марта 13-го.

Начну с себя. Я здоров и, могу сказать, обыкновенно довольно покоен, но должен вам признаться, что положение Настиньки и участь детей иногда невольно меня смущают. Несчастная уверенность, что никто на свете не может при них заменить меня, уверенность, что ей и им было бы так хорошо, если бы мы были вместе, и нераздельно с сим ощутительная невозможность не только этого вместе, но даже что-нибудь сделать для них, по временам выводят меня из спокойного положения духа, и в эти минуты я говорю себе, что они не совсем сироты, что она также не покинута в мире, что над ней и над ними есть провидение, и до сих пор всякий раз мне удавалось уговорить себя. Впрочем, эти минуты бывают, к счастью, и редки и непродолжительны, и я сказал вам про это единственно потому только, что не желаю ничего скрыть от вас, что бывает у меня на душе.

Жизнь в Петровском очень сносна; я живу один в комнате теплой, довольно светлой и, как вы можете представить, очень чистой. Вообще Петровская тюрьма так хорошо устроена, что не только в России, но, вероятно, и нигде в этом роде ничего нет другого подобного. Прибавьте к этому счастье иметь комендантом человека истинно, кажется, рожденным для этого места, который умеет согласить неотступное исполнение по своему месту обязанностей с неограниченным вниманием ко всем от него зависящим [2].

Не подумайте, чтобы я говорил вам это единственно в утешение; не только обман, но даже преувеличение в этом случае почел бы я для себя относительно вас непозволенным. Кто не испытал жизни, какую мы ведем здесь, не может постигнуть ее; я вам скажу, и вы мне поверите, что когда я бываю мысленно со всеми вами, близкими мне, и когда на ваш счет ничем не встревожен, я бываю так счастлив, как едва ли бывал когда-нибудь, когда жил на том свете; другому эти выражения покажутся признаком сумасшествия или по крайней мере вздором, но вы, может быть, меня поймете и наверно поверите мне.

Признайтесь, любезный друг, что этот раз вы должны быть мной довольны: вот целая страничка обо мне, единственно обо мне, но мне хочется вполне побаловать вас, и я постараюсь познакомить вас со всеми подробностями моего быта. Размер моей комнаты 8 арш. длины и 6 ширины, окно почти на полдень — $2^1/_2$ арш. от полу, против двери. Взойдя в комнату — налево печь, которая топится из коридора, между дверью и печью — шкапчик для умывания; за печью по стене шкап с бельем и книгами и который может служить столом; за шкапом — стол, на котором лежат книги; за этим столом кресло на подобие того, которое стояло в Покровском; перед окном в моей комнате — за креслом в угле на маленькой полке распятие, которым благословил меня Петр Николаевич. Против двери, как я вам сказал, окно; под ним столик, на котором стоит самовар, который я сам чищу и который почти так же чист, как самовар, который в Жукове чистил Степан; возле самовара стоят чайная чашка, чайник, сахарница, полоскательная чашка и молочник и, как вы видите, полный сервиз фарфоровый, который мне стоил 14 р. За чайным столиком в правом углу три полочки для чубуков, трубок и табаку.

Взойдя в комнату — на право кровать моя, между кроватью и полочками с табаком и протчим — большой стол, за которым я обыкновенно занимаюсь. Все три стола, то-есть этот последний, чайный и тот, который возле кресла,— без ножек, прибиты к стене для удобства мести комнату, обязанность, которую для большей исправности возложил я на себя. Под двумя столами стоят два складные стула,

привезенные из России и которые подарила мне Александра Григорьевна; мебель мою дополняют две стойки, которые сам я обивал.

Комната выштукатурена и выбелена, мебели мои все выкрашены черной краской не потому, чтобы я думал, что она сообразна моему положению: вы очень знаете, что сентиментализм не мой порок, но потому ли, что красная мне кажется слишком пошла и напоминает постоялые дворы, в маленьких городах трактиры и тому подобное, или потому, что черная мебель напоминает мне мебель в вашей комнате. Вообще скажу вам мимоходом, что прибитые столы, черная краска и все мое устройство в комнате кажется другим очень странно, но для меня и, вероятно, для вас это все равно. Кровать покрыта, стулья и кресло обиты зеленой дабой или по-вашему китайкой, что, как вы видите, не великолепно, но зато довольно опрятно; над столом, за которым я занимаюсь, висят портреты Настенькин и детские; я ожидаю вашего, чтобы приобщить его к ним. Вот подробное описание моей комнаты, вероятно оно вас сколько-нибудь с ней познакомит.

Дни в Петровском летят с необыкновенной быстротой, один на другой так похожи, что их почти не замечаешь — только баня в субботу и почта в воскресение прерывают сколько-нибудь совершенную их единообразность.

Вот мой день. Поутру встаю я в семь часов, мету комнату, обтираю пыль, ставлю самовар, умываюсь, одеваюсь, пью чай один у себя в комнате, чищу самовар, убираю посуду — это хозяйственное упражнение занимает меня до девятого половины; в девять часов, есть ли моя очередь, иду на работу, которая состоит в молонии ржи на ручном жернове; урок небольшой и который обыкновенно без большого усилия можно кончить в полчаса, но на работе остаются до половины двенадцатого часу. Ровно в двенадцать мы обедаем все живущие в коридоре вместе: со мной живут в отделении четверо: Лорер, Пущин, Штенгель и Оболенский. После обеда я занимаюсь у себя в комнате, в два часа иду опять на работу, которая продолжается до половины 5-го часу; до шести часов гуляю на дворе, нарочно для этого определенном и в котором 150 шагов длины и около 8 шагов

ширины; в шесть часов пью чай, час, в который я наиболее бываю вместе со всеми вами; вытираю самовар и посуду; от семи до осьми читаю или что-нибудь делаю; в восемь часов ужинают опять все вместе по своим коридорам; в половине десятого я ложусь и читаю в постеле; в десять приходят тушить огонь и запирать; на другой день точно то же с той только разницей, что есть ли я нейду на работу, то сижу дома и занимаюсь, чем случится.

В четверг и субботу я обедаю у Катерине Ивановне в ее номере; Александру Григорьевну и Наталью Дмитриевну видаю редко; последнюю в шесть месяцев видел не более двух раз; они обе все это время больны были. Александра Григорьевна и теперь очень нездорова; за то летом, когда Наталья Дмитриевна, думали, умрет, Михаил Александровичь также был продолжительно и опасно болен, я ходил к ним всякий день в продолжении почти двух месяцев; улично я знаком со всеми, но, так сказать, домами, кроме Михаила Александровича, Сергея Петровича и Никиты Михайловича, почти ни с кем; кроме этих трех редко кто-нибудь и то разве за каким делом переступает порог мой; еще реже хожу к кому-нибудь. Я четыре года живу с Одоевским и недавно узнал от него, что он знаком с Шереметевыми, знает Катерину Васильевну; вы можете себе представить, как я обрадовался такому открытию и как воспользовался им, чтобы поговорить об Шереметевых и Катерине Васильевне с человеком, который их знает. Еще раз скажу, вы должны, любезный друг матушка, быть довольны мною. Есть ли Настинька еще не уехала, то она верно при этом случае посмеется и надо мной и над вами, но вероятно и вы и я, мы останемся довольны; я не только побеседовал с вами, но очень и очень поболтал, что имеет свою приятность, и уверен, что вы также прочтете это болтание с удовольствием.

Теперь поговорим о деле. Вы ко мне пишете, что все относящееся до детей зависит совершенно от Настиньки, а она об детях ко мне почти никогда ничего не пишет и я, имея может быть несчастье беспрестанно об них думать, ровно ничего про них не знаю. За границу им нельзя, я это знаю. Настинька намекала мне, что она хочет поместить их в корпус, в котором помещен Леонид; признаюсь, эта

мысль меня очень не порадовала; заведение это, может быть, лучше всех казенных заведений в России, но невероятно, чтобы было хоть сколько-нибудь порядочно насчет истинного воспитания детей; не потому, чтобы я думал, что правительство этого не хочет; напротив, я уверен, что оно с своей стороны готово сделать все, что может; но где оно найдет человека истинно способного и который решится посвятить себя воспитанию детей; есть ли бы и нашелся один такой человек, где он возьмет достаточно помощников для воспитания пяти сот детей, собранных из всех мест России, с разными дурными привычками и которые в детском возрасте сообщаются как язва. Чтобы сделать из ребенка что-нибудь порядочное, по-моему, необходимо, чтобы он был окружен людьми истинно во всех отношениях порядочными. Вы, может, скажете, что с моей стороны — непозволительная гордость почитать себя во всех отношениях человеком порядочным, полагая, что моим детям при мне было бы очень хорошо; я могу быть во всем на свете беспорядочным, но наверно не относительно их. Если бы я мог себе представить, что есть на этом свете существо, которое бы могло (я не скажу полюбить их, как я их люблю, может, много людей любят их несравненно более, нежели я их люблю), но которое бы могло полюбить их счастье, как я его люблю, в таком случае я был бы не только покоен на их счет, но, я думаю, счастлив, впрочем, простите меня, любезный друг, что я вам это говорю; я чувствую, что никто на свете меня в этом случае вполне не поймет, даже и вы не поймете; но знаю также и то, что вы мне поверите.

Настинька предлагала мне отдать детей к Павлову [3], я сообщил ей на это мое согласие, ожидал, что они будут к нему помещены и что вы меня об этом известите; по моим расчетам, месяц тому назад я должен был получить ответ на мое согласие, и в продолжении всего этого месяца ни слова об этом; вы, может, имеете на это причины, которые за семь тысяч верст я никак наверно отгадать не могу. Я тотчас согласился на помещение детей к Павлову, не потому, чтобы я был уверен, что им у него будет очень хорошо, но, зная его за человека довольно образованного и довольно порядочного [4], я думал, что им у него будет лучше, нежели в заведении, в котором пять сот

детей и в котором поэтому нельзя предположить даже порядочного над ними надзора; к тому же в Москве они были бы у вас, у Алексея Васильевича и других, которые принимают в них участие, так сказать, под глазами.

Две недели тому назад Ивашева получила письмо от сестры своей, в котором она к ней пишет, что детей наших отдают к Ивану Александровичу, что ей сказал про это Метраль, который живет у Ивана Александровича. Вы мне про это также ни слова не говорите; я опять уверил себя, что вы имеете хорошие причины ни слова не писать мне об этом по почте. В этом случае я буду с вами говорить также откровенно; я знаю Ивана Александровича во многих отношениях истинно прекрасным человеком, но во многом, как мне кажется и как я его знаю, он не поймет предназначения детей и еще менее поймет и сумеет к нему их приготовить. Пишут, что Метраль человек очень порядочный и который готовил себя для воспитания детей; если это правда, то это очень счастливо для детей, живущих у Ивана Александровича. Что по-моему положительно может быть хорошо для детей у Ивана Александровича, это то, что они будут ограждены не только от дурного, но даже от неприличного для их возраста общества [5]. Еще мне кажется выгодным то, что к нему можно бы было писать обо всем откровенно относящемся до детей и он, быв сам человек весьма добросовестный и скромный, поверит добросовестности других. В заключение всего этого скажу вам, что, не умея ничего придумать для детей, чем бы я мог совершенно быть доволен, если мне случится от души сказать: «Да будет его воля» — мне становится легче.

Поместив детей, вероятно Настинька сюды приедет. Ей здесь будет по-моему не дурно; ей нельзя будет так покойно и беспечно жить здесь, как жила она в Покровском, но для нее это будет не без пользы; здешние дамы имеют позволение три раза в неделю и кроме этого, когда они больны, видеться с мужьями у себя дома; в другое время мужья живут в тюрьме и жены, есть ли хотят их видеть, приходят к ним в нумера. По приезде Настиньки сюда она найдет помещение в доме у Катерине Ивановне, а там посмотрим, как ей будет

лучше устроиться. Анна Васильевна, которая в июле отсюда уезжает [6], нанимает квартиру, но эта квартира очень далеко от тюрьмы и очень неудобна. Анна Васильевна жестоко в ней простудилась, два месяца совершенно была глуха, но теперь ей немного лучше.

Александра Григорьевна и другие советуют мне приняться за строение дома. Я думаю, приступить к этому удобнее будет по приезде Настиньки. К тому же для этого нужны деньги, которых у меня теперь нет, а занимать я боюсь и, признаюсь, не охота. Переход в Петровское спутал меня немного в расчетах моих; необходимо принужден я был сделать несколько прежде непредвиденных издержек и со всем этим я ничего не должен, или по крайней мере очень немного Сергею Петровичу, рублей с тридцать и в артель за текущий год 160 из 500 р., которые я подписал на нынешний год, за прошлый год внес все 600 р. Здесь подписывают и дают в артель всякий кто что может; две трети принадлежащих к артели ничего не получают и поэтому ничего дать не могут, но им также жить надобно, и они живут. Содержание каждаго стоит 500 р., и по этому вы видите, давая 500 р., я даю ровно столько в артель, сколько стоит мое и каждого из живущих в тюрьме содержание. Казенных мы получаем шесть копеек в день.

Я вам уже сказал, что я вообще живу очень уединенно, скучать мне некогда. Все эти годы я читал, думал, сколько могу, многому учился в надежде, что как-нибудь неожиданно мне случится быть полезным для детей. До сих пор меня утешает относительно их одно. Несмотря на сопротивление всего и всех, я не разлучил их с матерью; меня в этом никто не понимает; я это предвидел, предвидел также и то, что, оставляя Настиньку в России, ее положение должно быть не только неприятно, но, я уверен, во многих отношениях очень затруднительно. Может, со временем сама Настинька и дети, когда они вырастут, будут уметь оценить все это.

Что вам сказать еще о себе. Телесно, говорят, я не очень постарел за эти годы, седых волос, однако, много прибавилось. Душевно не только не постарел, но, как мне кажется, право, помолодел: иногда так светло, как прежде никогда не бывало. Ну вот, я пустился опять

болтать и чувствую, что есть ли бы попустить себя, то я долго бы не кончил, а кончить надо. Простите, любезный мой друг матушка, очень крепко вас обнимаю. Если Настинька еще не уехала, начните с нее и очень ее за меня обнимите. Обнимите за меня Вечеслава и Евгения — попросите их от меня вести себя порядочно и если чему учиться, то учиться прилежно, вообще все, что они делают, стараться делать сколько возможно порядочнее...

Обнимите за меня Алексея Васильевича и Пелагею Васильевну. Поклонитесь Катерине Сергеевне, Катерине Васильевне, Шереметевым, Тютчевым, Анне Захарьевне. Обнимите Катерину Гавриловну, Николая Васильевича, всех их детей, Татьяну Андреевну, Анну Андреевну, сестриц моих [7], когда их увидите, Настеньку Крюкову. Особенно поклонитесь от меня милым моим Чаадаевым и пишите мне иногда об них. Поклонитесь также Лизавете Дмитриевне Щербатовой и Наталье Дмитриевне Шаховской, напишите мне об Иване Дмитриевиче [8], я давно ничего об нем не знаю. Поклонитесь Михаилу Александровичу Салтыкову и Наталье Ивановне. Если увидите когда Граббе, скажите ему, что я вспоминаю с благодарностью часы, которые я проводил с ним вместе. Якову Игнатьевичу, Наталье Матвеевне, Павлу Матвеевичу Малышеву, Степану и всем моим покровским знакомым поклонитесь.

Что делают мои знакомые в Жукове? Простите еще раз, любезный друг. Я обещал Прасковье Николаевне, что вы ей, вероятно, не откажете угол и кусок хлеба в Покровском, а естьли это не удобно, то поместите ее в Шереметевскую или какую другую богадельню. Она человек старый и больной, к тому же такие имела в свою жизнь испытания, что наверно имеет право на ваше попечение.

Я все говорил вам о себе и почти ничего о трех знакомых моих здесь дамах. Здоровье Натальи Дмитриевны очень разрушилось, несколько раз она была при смерти, чем это кончится, бог знает. Александра Григорьевна некоторое время также очень нездорова, но у нее есть утешение — девочка — самое прелестное существо, какое можно только видеть на этом свете. Добрая Катерина Ивановна очень



И. Д. ЯКУШКИН (слева), П. С. БОБРИЩЕВ-ПУШКИН, М. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
в Петровском Заводе (1830-е годы).

счастлива, здоровье ее в Сибири поправилось. Она занимается своей Сашинькой беспрестанно и к тому же так благоразумно, что Сашинька теперь уже премилое дитя и наверно будет преблаговоспитанная девушка.

Еще раз, любезный друг, всех вас обнимаю. Если вы получите это письмо, то пришлите мне полные сочинения лорда Байрона по Англенски, парижское издание, которое стоит 25 р., и пришлите в переплете.

Прилагаемые при сем письма, я уверен, вы как возможно доставите [9].

55. П. Я. ЧААДАЕВ — И. Д. ЯКУШКИНУ [1]

19 октября, 1837.

Тому год назад, мой друг, что я писал к тебе; это было в то самое время, как мы узнали, что вы скоро будете перемещены и что вперед можно будет с вами переписываться. Я тебя скромно поздравлял с этим видоизменением в твоем положении и просил тебя дать нам о себе известий. По несчастью, это письмо затерялось два раза самым странным образом: в первый раз по милости ревнивой любви твоей свекрови, страстно берегущей монополию твоей дружбы, во второй — вследствие случившегося со мной в это время приключения, которое я тебе поскорее перескажу, чтобы с этим сразу покончить и очистить совесть [2]. Дело в том, что с некоторого времени я начал писать о различных религиозных предметах. В продолжение долгого уединения, наложенного мною на себя по возвращении из-за границы, то, что я писал, оставалось неизвестным; но как только я покинул мою Фиваиду и снова появился в свете, все мое маранье сделалось известным и скоро приобрело тот род благосклонного внимания, который так легко отдается всякому неизданному сочинению. Мои писанья стали читать; их переписывали; они сделались известны вне России, и я получил несколько лестных отзывов от некоторых литературных знаменитостей. Некоторые отрывки из них были переведены на русский язык; появилась даже серьезная книга, вся исполненная моими мыслями, которые мне откровенно и приписывали.

Но вот, в один прекрасный день, один московский журналист, журнал которого печально перебивался, усмотрев, не знаю где, одну из моих самых горячих страниц, получил, не знаю как, позволение цензора и поместил ее в свой журнал. Поднялся общий шум; издание журнала прекращено, редактор сначала потребован в Петербург, потом сослан в Вологду; цензор отставлен от должности, мои

бумаги захвачены, и наконец я сам, своей особой, объявлен сумасшедшим...[3] и по особенной милости, как говорят. Итак, вот я сумасшедшим скоро уже год, и впредь до нового распоряжения. Такова, мой друг, моя унылая и смешная история. Ты понимаешь теперь, отчего мое письмо до тебя не дошло. Дело в том, что оно приняло совершенно другую дорогу и что я его больше не видал. Я, впрочем, льщу себя надеждой, что оно не совсем осталось без плода для тех, к кому оно попало законной добычей, потому что, если я не ошибаюсь, в нем заключались вещи, годные для их личного вразумения[4]. Поговорим теперь о другом.

Тебе, без сомнения, известно, что твоя двоюродная сестра[5] от времени до времени показывает мне твои письма; твоя свекровь, когда на меня не дуется, также сообщает мне те, которые ты к ней пишешь: стало быть, я довольно знаю о всем, что до тебя касается. Я знаю, с каким благородным мужеством ты сносишь тяжесть своей судьбы; я знаю, что ты предаешься серьезному изучению, и удивляюсь многочисленным и твердым знаниям, приобретенным тобою в ссылке. Не могу тебе выразить, сколько я всем этим счастлив и сколько я горжусь, что так хорошо тебя угадывал. Есть старое изречение, мой друг, несколько, впрочем, отзывающееся язычеством, а именно, что нет прекраснее зрелища, как зрелище мудреца в борьбе с противным роком; но меня еще более увлекает исполненный ясности взгляд, который ты устремляешь на мир из своего безотрадного одиночества. Вот чего высокомерная древность не имела открыть — и что верный ум естественным образом находит в наше время.

Однакоже, хоть я и не знаю, какие теперь твои религиозные чувствования, но, признаюсь тебе, не могу поверить, чтобы к этому душевному спокойствию ты пришел путем того оледеняющего деизма, который исповедывали умы твоей категории тогда, когда мы расстались. Изучения, которым ты с тех пор отдавался, должны были тебя привести к серьезным размышлениям над самыми важными вопросами нравственного порядка, и невозможно, чтобы ты окончательно остался при том малодушном сомнении, дальше которого деизм никогда шагнуть не может. К тому же естественные науки в настоящее время далеко не враждебны религиозным верованиям; поэтому я ласкаю себя надеждой, что ясность твоего понимания скоро даст тебе увидеть те истины, к которым они тяготеют.

Я даже должен тебе сказать, что в том затерянном письме, о котором я тебе сейчас говорил, я уже себе позволил, по случаю книги Беккереля, которая должна была сопровождать это письмо, мимоходом заметить тебе, что все недавние открытия в науке и открытия по части электричества в особенности служат к поддержке христианских преданий, подтверждают космогоническую систему библии. Когда-нибудь мы опять воротимся к этим предметам, но до того я бы хотел знать, известны ли тебе сочинения Кювье, потому что ничто не может нам служить лучшею точкою отправления в наших философских рассуждениях, как его геологические труды. В первый раз, как будешь ко мне писать, скажи мне об этом.

Прошу у тебя извинения, мой друг, в том, что это первое мое письмо все наполнено моими обычными помыслами (préoccupations), но ты понимаешь, что в теперешнее время мне труднее чем когда-либо освободиться от влияния идей, составляющих весь интерес моей жизни, единственную опору моего опрокинутого существования. Я далек, однакоже, от мысли навязывать тебе свои мнения; мне известен склад твоего ума, и я очень хорошо знаю, что ни годы, ни размышления, ни опыт жизни, по которой прошло неизмеримое бедствие и неизмеримое поучение, не в состоянии существенно видоизменить ум, подобный твоему; но я знаю также, что время, в которое мы живем, слишком проникнуто тем возрождающим током (fluide régénérateur), который произвел уже столь удивительные результаты во всех сферах человеческого знания, чтобы твой ум, как бы он ни был географически удален от всяких очагов умственного движения, мог остаться, совершенно чуждым его влиянию.

Ты, как только мог, следовал за ходом современных идей: пробегаемая тобою орбита, несмотря на всю ее эксцентричность, все-таки определяется законом всемирного тяготения всех предметов к одному центру и освещается тем же самым солнцем, которое сияет на все человечество: стало быть, ты не мог много отстать от остального мира. Но как бы то ни было, конечно, в одном ты будешь одинакового со мною мнения, а именно, что мы не можем сделать ничего лучшего, как держаться, сколько то возможно, в области науки; в настоящее время мне ничего больше и не надо. Прощай же, мой друг.

56. И. Д. ЯКУШКИН — А. В. и В. И. ЯКУШКИНЫМ [1]

1838. Ялуторовск. 3 июня.

Вчера получил я твое письмо от 25 апреля, дорогой друг; оно где-то застряло, так как мамино [2] письмо от 8 мая из Покровского я получил раньше. Однако в данном случае, как и во многих других,— лучше поздно, чем никогда.

К сожалению, я не могу разделить твое восхищение Шведенборгом [3]; я его почти не знаю,— разве только, что он мечтатель, обладающий несколько необычным даром заставлять мечтать других. Если ты принадлежишь к такого рода людям, я в этом ничего плохого не нахожу. Это меня убеждает в том, что у тебя еще не закончился период прозябания [4]. Кто-то сказал, что сон — это тоже жизнь. Тем более можно было бы сказать, что и мечта есть жизнь.

Мне кажется, что я совершенно прав, утверждая, что ты не так уж мертва, как ты иногда заявляешь. Вполне естественно, что в условиях, в которых ты находишься, ты сохранила всю свежесть своих чувств. Растения, которым не дают цвести, дольше других остаются зелеными и свежими. После цветения наступает смерть. Точно так же удовольствия постепенно разрушают душу человека и в конце концов оставляют пустоту, которую ничем нельзя заполнить. К несчастью, слишком часто смешивают удовольствия с благополучием и совершают при этом столь же грубую ошибку, смешивая физическое наслаждение со здоровьем. Это вроде того, как если бы кто-нибудь, страдая от жары, проглотил стакан ледяной воды; испытав, конечно, большое наслаждение, он, вероятно, получил бы при этом самую настоящую чахотку.

Не могу не поздравить тебя с тем, что в твои годы у тебя сын — поэт, пишущий к тому же совсем не плохие стихи, принимая во внимание, что это, как ты говоришь, его первый опыт.

Ни мама, ни ты, ни Вечеслав не пишете мне ничего о Евгении; не болен ли он? Обнимаю тебя от всего сердца, дорогой друг. Поцелуй за меня детей [5].

Письмо твое, мой милый друг Вечеслав, от 25 апреля начинается извиненьем, что ты давно не писал ко мне; если бы мне и вздумалось по этому случаю сколько-нибудь взыскательным быть, то и тут пришлось бы моей взыскательности перед могучим словом «простите меня» посторониться. Точно — для меня радость получать ваши письма, с некоторого времени каждое из них более или менее обличает какой-нибудь новый в вас успех, и если бы переписка наша могла прийти в надлежащий порядок, то и для вас, как мне кажется, она была бы не без пользы. Польза эта для вас теперь не может быть совершенно ощутительна и, чтобы поверить ей, вам приходится пока поверить мне в этом деле на слово, а труд всякий раз собраться с мыслями и изложить их сколько-нибудь порядочно, не подлежит никакому сомнению; но ты собственным опытом мог убедиться, что в твоем возрасте труд щедро вознаграждается. Последний этот год ты провел

не без труда, зато посмотри, как ты теперь порядочно выражаешься по-русски не только прозой, но даже и в стихах. Стихотворение твое *Мотылек* прочел я не раз и точно с удовольствием; как первый опыт, оно очень удачно и некоторые в нем стихи во всяком случае были бы не дурны. С твоей стороны — еще небольшое усилие, и русское слово будет у тебя как дома; но чтобы дать ему простор, надо еще много трудиться, что ты, вероятно, и сам знаешь. Вы так давно ни слова мне не пишете об учебных ваших упражнениях, что я совершенно потерял нить вашим занятиям; при первом случае потрудись подробно описать мне, чему вы теперь учитесь и до какой степени успеваете в каждом предмете вашего учения. Прости, мой милый друг, душевно тебя обнимаю, обними за меня маменьку и брата.

Иван Якушкин.

57. И. Д. ЯКУШКИН — А. Ф. БРИГГЕНУ[1]

1838. Ялуторовск. 15 декабря.

Я ничего не имел против того, дорогой Александр Федорович, что вы задержали мои книги, полученные мною около трех недель тому назад. Я сейчас же написал вам, чтобы сообщить вам об этом, но тот, кто должен был переслать вам мое письмо, не соизволил этого сделать. И вот я снова пишу вам в надежде, что кто-нибудь из обитателей вашего благословенного городка захватит мое письмо на обратном пути из Тобольска.

Как вы знаете, я разделяю ваше восхищение Мильтоном. По-моему, его «Потерянный рай» — одно из лучших произведений новейшей литературы. Думаю, что и в древней литературе, столь богатой пластическими образами, вряд ли найдется образ, подобный образу Сатаны. Несмотря на величие, которым наделяет его поэт, он удивительно верен и вполне доступен пониманию человека. Я не читал «Возвращенный рай» и, вероятно, никогда его не прочту. По-моему, нет ничего скучнее поэтического произведения, не порожденного

священной искрой вдохновения и не возвышающегося над уровнем посредственности, а вторая поэма Мильтона этим именно и известна.

Очень вам благодарен за любезное предложение посылать мне ваши книги. В настоящее время я им не воспользуюсь. Я начал много разных дел и мне хочется их кончить.

В юности я немного занимался метафизикой, но это было так давно, что я не уверен, смогу ли я теперь понять такого рода произведение. Сейчас я целиком погружен в естественные науки [2], так что мы с вами смогли бы дополнить дуализм мышления и опыта, без которых, как вы весьма правильно говорите, не может быть спасения человеческому духу. Я знаю книгу Роско о жизни Лоренцо Медичи. Это очень хорошее произведение, но я все же предпочитаю книгу о Льве X того же автора [3]. Ваш проект заняться переводом на русский язык я считаю превосходным [4]. У нас перевести хорошую книгу равносильно заслуге написать книгу в другой стране.

Здесь нет никого, кто мог бы точно указать место погребения Враницкого. Поэтому мы не могли до сих пор поставить хотя бы небольшой памятник нашему покойному товарищу. Во всяком случае, если мы найдем его могилу,— а это может быть не раньше весны,— мы не преминем сообщить вам об этом. Возможно, что нам не разрешат указать на могиле имя государственного преступника. В таком случае, думаю, можно будет возложить на нее большую, хорошо обтесанную каменную плиту. Это не представляет никакого затруднения и вполне отвечает нашим возможностям.

Мне писали из Тобольска, что Нарышкин, Назимов и Лорер произведены в унтер-офицеры. Одоевский все еще солдат, так как по болезни не мог участвовать в походах прошлой осенью. Ни слова не пишут о Лихареве и Черкасове.

Прошу вас передать горячий привет Петру Николаевичу и поклон Ивану Федоровичу. Господа вам кланяются, а я сердечно жму руку.

58. И. Д. ЯКУШКИН — И. И. ПУЩИНУ [1]

1839. Ялуторовск. Декабря 15-го.

Наконец, я получил давно поджидаемое письмо ваше, мой милый и любезный Иван Иванович. Может быть, мне бы следовало первому написать к вам, приветствуя вас как соседа в Западной Сибири, но я должен признаться, что приветствие это было бы не совсем чистосердечно. Бог знает почему, я вообразил себе, что вы будете посланы в Ялуторовск и даже долго не хотел верить назначению вашему в Туринск [2]. Теперь изъявлять вам мое сожаление о том, что мы не вместе, было бы совершенное ребячество и потому об этом ни слова более.— Очень понимаю, что для вас должно быть странно из четырнадцатого нумера вдруг очутиться как будто на белом свете и хлопотать о приюте для себя, но со временем, я уверен, вся житейская часть придет у вас в порядок и вы опять усядитесь покойно в кресла, безбоязненно ожидая будущность, в каком бы наряде ей не вздумалось посетить вас.

Одно из чистейших для меня удовольствий, конечно, состоит в возможности верить неизменности людей хорошо мне знакомых и, заочно отгадывая их во всевозможных обстоятельствах, я кажется не совсем живу с ними розно. Вероятно от Анны Ивановны вы получаете письма так же часто, как получали их в Петровском, с той только разницей, что они теперь доходят до вас месяцем скорее. Я слышал от Свистунова, что брат ваш Михаил Иванович женился; пишет ли он к вам? Пишет ли к вам Андрей Евгеньевич Розен? изо всех Курганских он один, с которым я здесь не видался; отправившись на Кавказ по болезни своей, он не заезжал в Тобольск; теперь он давно со всем своим семейством должен быть дома.

В последний раз Трубецкой писал ко мне от 20-го Октября; они пока всей семьей живут в одной избе в Оёке и строят временное помещение для себя; — весной вероятно приступят к постройке дома. Кажется, они получили решительный отказ относительно перемещения их в Западную Сибирь.

О женидьбе Александра Михайловича Муравьева я до сих пор ничего не знаю положительного ни из Оёка, ни из Москвы, ко мне ничего об этом не пишут.

Может, вы знаете, что Елизавета Петровна нынешним летом опять была в деревне у своей матери; на возвратном пути она пробыла дней десять у княгини Голицыной под Москвой, а приехав на Кавказ, занемогла очень опасно, но, по последним известиям, ей было лучше. Михаил Михайлович также был опасно болен горячкой, но на этот раз и он ускользнул из-под когтей чудовища, которое не пощадило бедного Одоевского.

Одоевский умер на руках Загорецкого и Игельштрома и похоронен на берегу Черного моря.

Лорер, кажется, имеет надежду получить отпуск и побывать у брата своего в Херсонской губернии.

Черкасов также видался со своим братом, который для этого нарочно приезжал на Кавказ. Вообще существование кавказских наших товарищей по сравнению менее единообразно нашего [3] в Сибири, но не подумайте, однако, чтобы я им завидовал; всякий раз, что слышу об них что-нибудь хорошее, от души за них радуюсь, а для себя собственно не только желать их участи, но чего бы то ни было истинно не смею и за то, что есть, слава богу.

Из дому я получаю до сих пор известия довольно благоприятные, а здесь мы живем мирно и довольно покойно; все трое моих товарищей [4] живут в собственных домах, один я только бобыльствую, не имея ни малейшей заботы о хозяйстве, которое у меня ведется как будто по щучьему велению. Описывать вам подробно образ моего здесь существования я не буду, все это вы знаете из писем моих к Катерине Ивановне, из разговоров с Свистуновым. Прошу вас сделать мне одолжение, сказать мое усердное почтение вашим дамам и поклониться от меня товарищам [5]. Матвей Иванович благодарит вас за память и очень вам кланяется, а я, мой любезный Иван Иванович, очень крепко вас обнимаю, будьте здоровы и телом и душой.

Иван Якушкин.

59. И. Д. ЯКУШКИН — И. И. ПУЩИНУ[1]

1840. Ялуторовск. Марта 6.

В декабре я писал к вам, мой милый и любезный Иван Иванович, и до сих пор от вас ни строчки в ответ на мое письмо; но, может быть, за это время и вы отправили ко мне листок, который как-нибудь затерялся, и вы также ждете ответа на него. Чтобы оправдать ваше молчание, как вы видите, я позволяю себе предположения даже невероятные. Как-то вы устроились в Туринске и каково ваше телесное и душевное здоровье; несчастие, постигшее Василия Петровича и его семейство, несомненно, омрачило ваш тесный круг. Внезапное известие о кончине Камиллы Петровны всех нас здесь очень опечалило. Василий Карлович и Ентальцевы, познакомившись с ней во время пути ее в Петровское, сохранили к ней какое-то особенно приятное чувство.

На-днях мы имели письма от Трубецких; всю зиму они помещаются с детьми своими в двух тесных комнатах и только весной думает Сергей Петрович приступить к постройке дома, но родные их из Петербурга не советуют им прочно устраиваться в Оёке.

Каролина Карловна в проезд свой через Ялуторовск передала нам добрые вести о здоровье Нонушки, которое, кажется, положительно улучшилось в Урике; она оставила всех здоровыми[2].

Как проводите вы время в Туринске и чем занимаетесь особенно? Наверно не географией. Помните ли общий наш труд над картой, которую вы прозвали рыбой и которая в самом деле имела несколько вид осетра[3]. По этой части с тех пор, как расстался с вами, я мало упражнялся, начертил только три глобуса, из которых два отправил в Москву, а третий послужил мне для опыта над шестилетней девочкой. Первый этот опыт совершенно удался, маленькая наша ученица знает теперь всеобщую географию, конечно, лучше, нежели кто-нибудь в Тобольской губернии, не исключая и самых ее учителей; впрочем, при этом мое дело было только распорядиться насчет порядка ученья[4], а непосредственным преподавателем был Матвей Иванович.

Летом исключительно я занимаюсь ботаникой, с ранней весны до глубокой осени скитаюсь по окрестностям Ялуторовска и собираю травы; один травник отправил я к моим детям, а другой, собранный мною в прошлом году, состоящий более нежели из трех сот растений, подарил я Свистунову; он также думает заняться травознанием. Для меня вся прелесть этой науки состоит в том, что, занимаясь ею, необходимо быть ежедневно и много на воздухе. Под чистым небом живется как-то удобнее, нежели под кровлей. Если бы мы были с вами в одном месте, то я никак не ручаюсь, чтобы вы не приняли участия в ботанических моих набегах и как бы это было полезно для вашего здоровья; но вот я скоро и при конце, на четвертой страничке этого листка, и потому на этот раз время кончить. Простите, мой милый и любезный Иван Иванович. Прошу вас поклониться от меня товарищам и сказать мое усердное почтение Прасковье Егоровне. Все вас здесь очень помнят и сохранили к вам искреннее чувство уважения.

Иван Якушкин.

60. И. Д. ЯКУШКИН — И. И. ПУЩИНУ [1]

1841. Февраля 15-го [Ялуторовск].

Дней десять тому назад я получил письмо ваше от 17 генваря, мой милый и любезный Иван Иванович; вы пишете, что слава богу, и вы и Марья Петровна здоровы; но я вам признаюсь, что я все-таки опасаюсь за старушку; первые минуты горя никогда не бывают так чувствительны, как следующие за ними, а в ее года немного надо, чтобы переполнить чашу печали; я опять-таки скажу, какое счастье, что вы теперь в Туринске, и какое счастье, что дети к вам привязались; два года тому назад вы, конечно, не могли полагать, что наживете себе семейство таким печальным образом [2]. Помоги вам бог успокаивать старушку и хоть сколько-нибудь ее внучатам заменить родителей. Все это время очень часто вспоминал об вас и об Марье Петровне, и об ваших детях — вы не поверите, какая иногда

тоска подумать, что мы с вами так близко один от другого и вместе так далеко; может быть, это и ребячество с моей стороны, но вы наверно меня за это не осудите.

Поклоны от вас, рукопожатия, почтения и прочее все роздал по принадлежности. Весталке также отнес благодарность от Маши за кружечку. Евгения от вас поцеловал, мы с ним рассорились и он все эти дни ко мне не ходит.

Вы просите, чтобы я сказал вам что-нибудь о чудесном моем лечении, видно это [?] крепко зацепило ваше любопытство и, признайтесь, привело вас немного в соблазн. Что̀ бы вы сказали, взглянув на мою больную, и вольно же вам было не взглянуть на нее; ваши красавицы — мои хозяйки, в день вашего отъезда при вас выпили полстакана очарованной воды. В это время Олинька была внизу; выпивши воду, она покатилась как мертвая на подушку и выронила из руки стакан. Вы кажется также в это время сходили вниз; вам стоило бы только отворить дверь в маленькую комнату, и вы бы там увидели спящую красавицу не только в Ялуторовске, но и где бы то ни было. Встретивши ее. вы наверное на нее загляделись бы; в день вашего отъезда я ее не видал, но вечером Родивоновна мне донесла, что после сна больной стало гораздо лучше; она не чувствовала ни тошноты, ни головокружения, которые так решительно заставили в этот день обратиться к моим чарам; странно, что эта девушка, конечно, самая скромная и самая пристойная из дев ялуторовских, без зазрения совести ходила ко мне восемь месяцев ежедневно и теперь продолжает ходить довольно часто; правда, что мы с ней видаемся всегда в присутствии ее тетки, но про это, кроме нас троих, вероятно, никто не знает. Вот как заговорился с вами о моей больной красавице; вы сами меня вызвали на эту болтовню и поэтому не взыщите.

На той неделе, как мы с вами расстались, я получил письмо от Катерины Ивановны и Сергея Петровича; они и дети их здоровы; они пишут ко мне, что всеми силами стараются привести свою ежедневную жизнь в порядок. На неделе я получил письмо от Каролины Карловны из Красноярска от 15 генваря; 16-го они полагали выехать

оттуда. Давыдов и Митьков здоровы, а Спиридова они не видали; во время их проезда через Красноярск он закупал хлеб в округе. По приезде в Иркутск они обещали написать ко мне. Вероятно, вы уже знаете о рождении Никиты Александровича Муравьева — более никаких известий с востока мы здесь не имеем.

О Кавказе почти ничего не знаю; только писали ко мне, что у Михайлы Михайловича все глаза болят и что он никак читать не может. Лизавета Петровна весной собирается опять в отпуск. О Степ[ане] Михайл[овиче] Семенове на-днях слышал, что он здоров. Новый курганский исправник Мерный, который гостил у него четыре дня в Омске, привез это известие. Вероятно, он ни к кому из нас не имел поручений, потому ни у кого из нас и не был. Оно и дело.

Кажется, при вас были здесь брат и сестра девушки, на которой Свистунов было помолвился. Они изъявили своим знакомым сожаление, что сестру их выдают за чахоточного старика, которого она нисколько не любит. Матвей Иванович, узнавши об этом, настрочил письмо к Свистунову, в котором поздравлял его как с счастьем, что угрожавший ему брак не состоялся, исчисляя ему все неудобства жениться в его годы на своевольной молоденькой девочке и вместе с этим, особенно в нашем звании, вступить в тесные связи с Дуренновым, объявленным взяточником и вором [3]. К счастью или к несчастью, но это письмо не попало в Курган, а вчера мы узнали, что Свистунов опять сблизился с бывшей своей невестой и что он на ней женится весной; — вот вам все наши внешние известия.

О внутренних сказать остается не много. По отъезде вашем все опять вошло в колею: Матвей Иванович отправил просьбу к губернатору о разрешении ему приехать в Тобольск лечиться, при ней отправил также свидетельство врача о том, что он подлинно болен. Отец Стефан, если его отпустят, собирается вместе с Матвеем Ивановичем в Тобольск. Рубашку и сапожные щетки, забытые Завьяловым, доставлю вам при первом удобном случае, а газеты Матвей Иванович отправит к вам с будущей почтой; вы уже потрудитесь достать их из Тобольска, где наверно их задержат; вообще они там

действуют весьма не исправно; получивши [письмо?] ваше с Завьяловым, они отправили ко мне все письма, которые тогда случились, а с последней почтой опять ни одного письма не прислали. Ципоцкий также получил книги, отданные еще при вас в отделение, только с подпрошедшей почтой. Старик Жилин еще не имеет ответа на просьбу, отправленную им к губернатору о выдаче ему денег, следуемых за время его подсудимости.

Имеете ли вы ответ из Тобольска по делу, вам известному. Не спешите пересылкой рисунков и рукописей, они здесь нам не к спеху. За недостатком места на этой страничке, прошу вас принять гуртом поклоны, почтения и дружеские приветствия, которые каждый из нашего здесь семейства просил передать вам; поклонитесь от меня товарищам и скажите мое почтение Марье Петровне и Прасковье Егоровне. Очень крепко вас, мой любимый друг, обнимаю; еще раз пребольшое вам спасибо, что вы заехали [4].

До сих пор я не очень знаю, удастся ли мне; очень желалось, чтобы они побывали у вас.

На-днях Фонвизины переслали мне образок, который должна была доставить мне монашенка из России. При этом образке от них [5] ни слова, но на обертке, в которой он был запечатан,— строки вашего почерка, и как же вы думаете: «Зачем-то странники узнали»; не случайно ли это?

Мне при случае пришлите нам прописей [6]. Магнетизм и приключения Свистунова останутся между нами, как это само собой разумеется.

7 февраля [7].

Сейчас Федосей Федорович [Федотыч?] принес мне копию с манифеста, о котором мы с вами так много толковали — по-моему, это прусский водевиль, переделанный на русские нравы, но со всем тем постановление это может иметь очень хорошие последствия — по крайней мере я себя в этом уверил [8].

От Свистунова было сегодня письмо, в котором он уведомляет Матвея Ивановича о примирении с своей невестой и что он

решительно через два месяца на ней женится. Можно подумать, что он разыгрывает комедию le dépit amoureux [9] и что ему судьбой предназначена роль жениха, а не мужа; я и теперь не уверен, что женитьба ему удастся. Об ответе Черепанова я пока помолчу — все оно вернее.

Сегодня был у меня Жилин; он не забыл обещание ваше сделать его смотрителем, а теперь это невозможно по его чину. Он произведен в губернские секретари и представлен в коллежские; лишь бы попасть нам с ним в старшие в Ялуторовске, а там уже наверно наделали бы чудес по учебной части.

Простите, мой милый друг, будьте здоровы. Крепко вас обнимаю. Фед. Фед., который теперь сидит у меня, просит сказать вам его почтение; больше сказать нечего.

61. И. Д. ЯКУШКИН — И. И. ПУЩИНУ [1]

1841. Февраля 2-го [Ялуторовск].

На прошедшей неделе я писал к вам, мой любезный Иван Иванович, и тотчас по отправлении моего письма получил от вас посылку, которую мне доставили в совершенной исправности. Гутинька благодарит вас за прописи; учебный наш комитет определил ей упражняться по оным без отлагательства, хотя вы сами и не очень ими довольны — истинный художник никогда не бывает доволен собственным произведением. Присланные вами книги по прочтении сообщу Матвею Ивановичу; старики наши, не думаю, чтобы стали читать их; во всяком случае они наверно, прочтя эти книги, не помолодеют. Юноше Ципоцкому также не знаю, придстало ли читать «Aimé Martir»; у него какая-то необыкновенная способность видеть иные вещи в превратном виде. Я иногда истинно раскаиваюсь, что давал ему читать Тиера, который жестоко раздражил мозг юноши. По отъезде вашем из Ялуторовска он чуть-чуть не расстался навсегда с Матвеем Ивановичем вследствие разговора между ими о французской революции; что его до сих пор спасало и, вероятно, спасет впредь от больших глупостей — это предоброе его сердце, которое у него

несравненно более в порядке, нежели голова; впрочем, и то сказать, ему не с большим двадцать лет, а в эти годы — горе юноше, у которого голова умнее сердца. Он в вас по уши влюблен, и эту любовь я ставлю ему в достоинство.

Ложась спать всякий вечер, я прочитываю несколько страничек из «Aimé Martir»; первую часть кончил; как вы видите, я этой книгой лакомлюсь, и она, точно, написана пребойко и премило. Жаль, что сочинитель ее не всегда руководствуется строгим разбором собственных своих рассуждений, которые часто у него, не имея никакого основания, носятся по воздуху, как мыльные пузыри. Красивые, блестящие, но все-таки определенные исчезнуть, не оставя по себе никакого следа.

Семена̀ до сих пор не доставил кому следует и именно потому, что я представил себе какую-то обязанность разделить их между Марьей Константиновной, Александрой Васильевной и Юльаной Федоровной и только вчера, перечитавши последний ваш листок, понял, что все эти семена, за исключением цикории, следуют Александре Васильевне; но бумажные мешочки уже сделаны, надписаны и наполнены семенами для Марьи Константиновны и Юльаны Федоровны; мать последней ожидает их с нетерпением. Старушка эта, которая [нрзб.] вас, наоборот, стариков наших поразила своей свежестью, очень любит цветы, и я не могу отказать себе в удовольствии доставить ей возможность заниматься, как здесь говорят, садами, то-есть поставить на окнах несколько горшков с цветами. Родивоновна моя решительно в Ирбит не едет; причиной этому может быть отчасти родившийся у нее бык, за которым она ухаживает со всей нежностью матери.

С прошедшей почтой 54 № «Débats» к вам отправлен; на-днях Матв[ей] Иван[ович] опять получил кучу нумеров от Свистунова, который по прочтении перешлет к вам.

Простите, мой любезный друг, душевно и очень крепко вас обнимаю; все наши благодарят вас за память и усердно вам кланяются. Поклонитесь от меня товарищам и скажите мое почтение Прасковье Егоровне и Марье Петровне. Каково-то здоровье бедной вашей

старушки; я как-то за нее опасаюсь и от чистого сердца порадуюсь, когда узнаю, что ей удалось сдать детей[2] кому следует.

На неделе отец Степан получил разрешение приехать в Тобольск, которым он, кажется, намерен тотчас воспользоваться. Матвей Иванович с нетерпением ожидает возможности ехать лечиться и лечить Гутиньку, но, вероятно, он получит отпуск не прежде как недели через две.

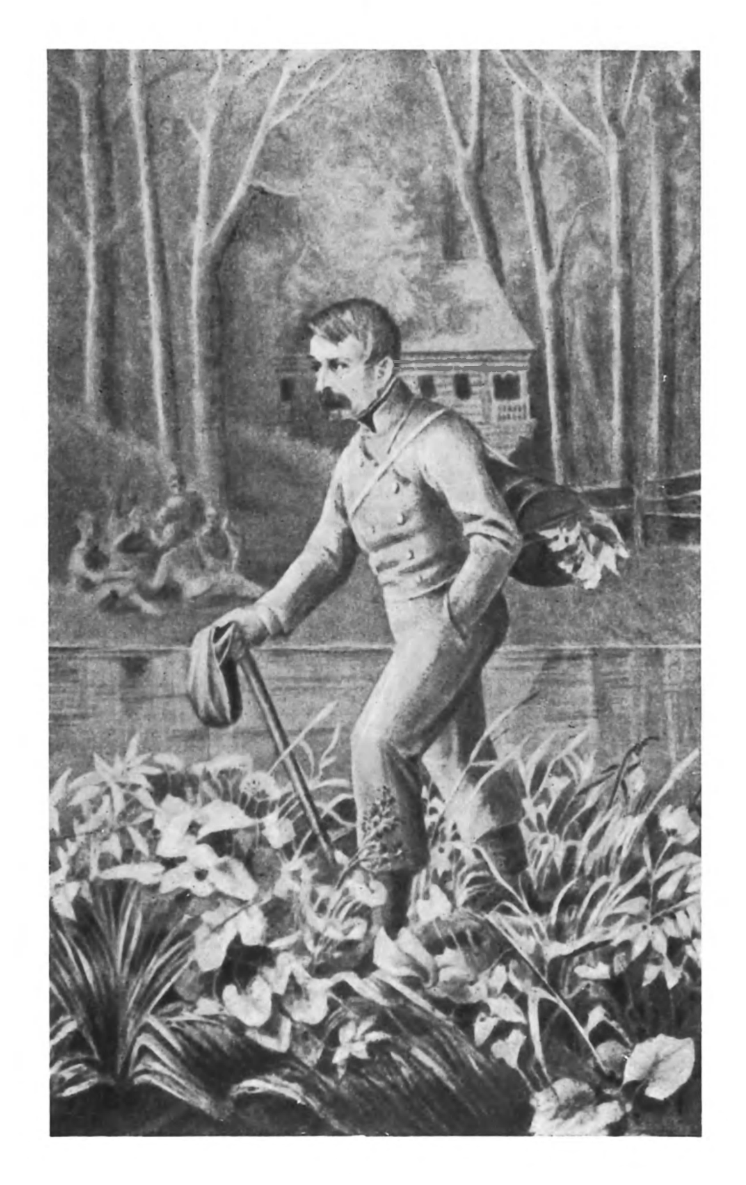
62. И. Д. ЯКУШКИН — И. И. ПУЩИНУ[1]

Февраля 22-го [1841. Ялуторовск].

Письмо мое не отправилось, как я полагал, что оно отправится две недели тому назад, и Ф. Ф. пришел сейчас сказать мне, что есть случай в Туринск; пользуясь им, я посылаю вам, мой любезный Иван Иванович, забытые вами рубашку и щетки.

Сказать вам ни о себе, ни о ком из наших ничего не имеется на этот раз, чего бы вы не знали. Приятель ваш Стефановский, кажется, продолжает все дремать; ко мне он решительно отправляет письма в две недели раз; подчас это бывает претошно, а податься некуда. От Жилина ничего не слыхать. Прокурор также не подает никаких признаков жизни. Вообще в Тобольске, кажется, пресонное царство. Матвей Иванович должен был сегодня отправить к вам по почте еще транспорт газет; на прошение ехать в Тобольск он еще никакого не имеет ответа, и я начинаю думать, что он его никогда не получит. Степан Яковлевича нет в городе; он по каким-то делам поехал в уезд; вероятно, он без Матвея Ивановича не поедет в Тобольск. От Фонвизиных я давно не имею писем. Но пора кончить мне, совестно держать Ф. Ф., который у меня сидит и почти зевает. Душевно и очень крепко вас обнимаю.

Здесь есть слухи, как будто назначен начальник в отделение, которым до сих пор управлял Степан Михайлович, но я все еще надеюсь, что это не справедливо.



И. Д. ЯКУШКИН
(с рисунка сепией. 1840-е годы).

63. И. Д. ЯКУШКИН — И. И. ПУЩИНУ[1]

1841. Марта 1-го [Ялуторовск].

Третьего дня получил письмо ваше от 21-го февраля, мой любезный Иван Иванович; сам я писал к вам уже четыре раза, но не всякий раз мои письма к вам отправлялись; из этого вы можете видеть, что я не совсем виноват, если вы не имеете удовольствия часто разбирать мой почерк. Теперь пишу к вам с Степаном Яковлевичем, который сегодня или завтра отправляется в Тобольск, а оттуда уже найдут случай переслать вам мой листок.

Надежда ваша относительно возвращения Марьи Петровны в Симбирск с внучатами всех нас здесь очень порадовала. Дай бог, чтобы она скоро имела возможность доставить их к родным Ивашева, но поверите ли, что мне иногда горько вообразить себе этих детей в Буинске[2]. Кажется, нет возможности, чтобы там имели к ним то внимание, какое им теперь оказывают в Туринске, и мне невольно представляется, что они посреди родных своих будут расти сиротами. Очень понимаю, что вы теперь занимаетесь с Машей более для того, чтобы знать ее, нежели для того, чтобы ее чему-нибудь обучить.

С тех пор как Гутинька смотрит на ваши прописи, почерк ее совершенно изменился и очевидно улучшился. Очень жаль, что она не имеет возможности съездить в Тобольск полечиться.

Матвею Ивановичу отказали на просьбу его приехать в Тобольск лечиться; нам привез эти известия приятель ваш Петр Дмитриевич Жилин, с которым я не видался; проезжая в Курган, он дал мне знать, что приехал и уехал не дождавшись меня: на возвратном пути он пригласил меня к исправнику, у которого остановился, а мне показалось непристойным посетить его [нрзб.] в доме чиновника полиции. Этот ваш приятель должен быть кажется ужасный чудак. Свадьба Свистунова отложена до будущей зимы по несовершеннолетию невесты и мне все сдается, что этой свадьбе не бывать.

Вы почитаете себя счастливым, что окружены уродами женского пола; сколько мне припомнится, кривая ваша ученица с одной стороны не совсем дурна, и я уверен, что многие из наших либералов,

будучи на вашем месте, давно бы обучили ее более нежели грамоте; дело в том, что в этом отношении вы не совсем либерал и слава богу; я никак не мог уговорить Родивоновну съездить в Ирбит; «скотолюбие в душе своей питая», она никак не согласилась расстаться с своими телятами. Черкасовых, которых вы называете моими, я совсем почти не знаю, одну из них, может быть, именно Елену я видел в церкви и еще встретил ее один раз за городом на лугу с книжкой в руках. И если эта смирная дева — та, которая вам кажется недурною, по-моему, она совсем не пригожая. Женитьба Кучевского меня нисколько не удивила, но при этом случае я очень порадовался, что он не с Оболенским, а то пожалуй и доброго нашего Евгения Петровича уговорил бы жениться.

Политические ваши странички к Олиньке очень меня позабавили, причем я не нарадуюсь на возвращение вашей юности и мне теперь кажется возможным, что мы с вами опять когда-нибудь вспеним заздравный кубок.

Но пора кончить, может Степ. Яковлевич сегодня едет и меня ожидает только. Простите, мой милый друг, душевно вас обнимаю; все наши здоровы, благодарят за память и пр. Прошу вас сказать мое почтение Марье Петровне, Прасковье Егоровне и поклонитесь от меня товарищам.

Снежинский и относительно нас продолжает действовать очень неисправно; вот две недели сряду, как я не получал писем от своих.

64. И. Д. ЯКУШКИН — И. И. ПУЩИНУ[1]

14 марта [1841. Ялуторовск].

Вчера вечером получил и разобрал вашу грамоту от 7 марта, мой милый и любезный Иван Иванович. Долг платежем красен, и ваши перекрестные строки почти стоят моего нескладного почерка; очень рад, что получил их. Понимаю ваше наслаждение при посещении вас племянником и петербургским гостем и что беседа с этими людьми

освежила вас лучше всякой [нрзб.]. Два дня тому назад проехал здесь Кузнецов из Иркутска в Москву; я едва имел возможность задержать его два часа в Ялуторовске, в которые мне почти не удалось сказать с ним десяти слов.

Не могу опомниться после известия о том, как была принята К. К.[2] в Урике; представьте себе, что даже Кузнецов, этот marchand et dandy[3], находит, что при этом случае Алек[сандр] Михайлович вел себя как мужик и [нрзб.] как сумасшедший. Несчастная [?] лавочка: торговцы в ней, приходя сами в ветхость и упадок, не только забывают о драгоценном товаре своем, но, кажется, еще всеми силами стараются истребить его ценность.

Вы поверите, что последние эти дни мысленно я с вами почти не разлучался, беспрестанно думая о Востоке. С Матвеем Ивановичем мы знакомы и дружны 26 лет, но не всякий раз смею откровенно толковать с ним о семье, с которой вас и меня так сроднила тюрьма. От Катерины Ивановны и Сергея Петровича получил длинные письма от 19 февраля. К. К. живет пока у них и, кажется, была в Иркутске только на короткое время. В Урике Нонушка ей очень обрадовалась, но видела ее очень недолго — этот ребенок необыкновенно одарен врожденно прекрасными чувствами; несмотря на все недоброжелательство окружающих ее к К. К., она к ней выказывает искреннюю нежность и совершенно не детское участие; это меня очень порадовало. Вообще, кажется, К. К. за неожиданный для себя прием в Урике обязана непроходимым сплетням; все это и больно, и тошно.

Вадковский, я уверен, будет очень доволен, увидевши себя на подносе; он всякий день бывает часа на два у Трубецких и, кажется, очень огорчен последними происшествиями в Урике. Матвей Иванович отправляет вам газеты через Тобольск, потому что от нас в Туринск случаи очень редки; я даже думаю вперед, пользуясь попутчиками в нашу столицу, отправлять мои листки к вам через Михайла Александровича, а то в семействе вашей Весталки их иногда довольно долго задерживают.

При первом удобном случае Гутинька непременно пришлет Маше образец искусства своего писать. И в Москве, и в Иркутске ожидают

с нетерпением и участием решения судьбы ваших сирот [4]. Вероятно, что прежде лета вы с ними не расстанетесь.

За намерение ваше прислать камелию и несколько кустов клубники премного вас благодарю. Я все эти годы воздерживался от садоводства, а нынешней зимой выписал, и мне уже прислали несколько яблонь и кустов разных растений; скоро придется все это сажать.

Ципоцкому я было не хотел давать сочинение «Aimé Martir» и откровенно объяснил ему причину моей цензуры; по этому случаю у нас с ним переговоры, вследствие которых решено, что книгу он прочтет, но не будет об ней ни с кем толковать. Кстати об «Aimé Martir». Читая его сочинение, я все ожидал, что он что-нибудь скажет дельное о воспитании женщин и насилу догадался, что этот господин Aimé Martir — идеолог и к тому же еще отличный либерал и потому от от него кроме воздушных замков и восклицаний против врагов его полку ничего ожидать не следовало. Правда, что пишет он очень хорошо, но кто же у них теперь хорошо не пишет. Некоторые из писем M-me du Devant прочел я с удовольствием, а другие письма крепко меня усыпили.

Ципоцкому напомню о рисунках, которые он вам обещал. По воскресеньям и четвергам он иногда садится в угол и пристально на меня смотрит, когда я передвигаю шахматы с Васильем Карловичем; при этом случалось, что он вынимал из кармана карандаш и записную книжку, но я как будто ничего этого не замечаю и вам даже не скажу, что́ я обо всем этом думаю.

Простите, мой любезный друг, будьте здоровы и телом и душой; поцелуйте за меня ваших деток, скажите мое почтение Марье Петровне и Прасковье Егоровне, товарищам поклонитесь от меня. Очень крепко вас обнимаю. Матвей Иванович, прочие и прочие дружочки вас приветствуют. Три почты сряду ни строчки не получал из дому, но за то вчера получил кучу писем; их безбожно долго держали в Тобольске.

65. И. Д. ЯКУШКИН — И. И. ПУЩИНУ[1]

Марта 21 [1841. Ялуторовск].

Третьего дня получил письмо ваше от 16 марта, мой милый Иван Иванович, а сегодня представился случай написать вам через Тобольск. Как-то совестно не воспользоваться им и не написать к вам хоть несколько строчек. Вероятно, вы получите этот мой листок вместе с тем, который я вручил вашей Весталке тому назад почти две недели и который, как мне известно, она до сих пор к вам не отправила. Эта дева решительно не дает мне прохода с своей болезнью всякий раз, что может замучить меня, толкуя мне подробно о своих недугах, о том, что она кушает, чем, как и когда испражняется. Я пытался несколько раз объяснить ей, что все это не по моей части, что я в врачебном искусстве совершенный невежа,— труд напрасный; она и все ее семейство преуверены, что я лекарь, каких немного. Недавно мать вашей Весталки простодушно у меня спрашивала, хорошо ли она поступает, ставя себе мыльцо, когда у нее запор. Разумеется, что я одобрил придуманный ею способ принимать пилюли; бывает иногда все это очень смешно, а подчас очень тошно. Вообще, кажется, они затрудняются принимаемым ими посредничеством в нашей переписке; вперед я намерен избавить их от этого затруднения и писать к вам хоть не очень часто, но через Тобольск.

Надо думать, что надежды, подаваемые Марье Петровне относительно ее сирот, когда-нибудь да сбудутся, но почти непонятно, что до сих пор по этому делу не хотят ей дать положительного ответа. Как это случилось, что Марья Петровна не видалась с пастором, который, объезжая свою паству, вчера приехал из Туринска; я полагал, что они евангелического исповедания. Пастор этот, кажется, человек очень порядочный и совсем другого покроя, нежели ксендз, с которым вы недавно познакомились.

Вы ничего не пишете мне о вашем экс-сюпер-интенданте; говорят, он человек весьма образованный и известный в Европе своими θеологическими сочинениями.

На-днях Степан Яковлевич возвратился из Тобольска. Дьяков снабдил его предписаниями на случай болезни, а на месте делал над ним разные опыты, из которых не все были удачны. Для больного поездка в Тобольск была уже тем полезна, что он убедился в незначительности своей болезни.

Вы удивляетесь, что Мат[вей] Иван[ович] не получил разрешения приехать в Тобольск для излечения своего солитера, и это тем более удивительно, что в то же самое время Фохт получил позволение приехать в Омск для лечения своей особы. Матвей Иванович писал не к Бенк[ендорфу], а к своей мачихе, которая теперь в Петербурге, о необходимости для него лечиться, извещал ее также о том, что он уже два месяца тому назад просил здешнего начальника о дозволении ему приехать в Тобольск, на что до сих пор на просьбу свою не имеет ответа; может, и ему по случаю свадьбы [2] дозволят жить без солитера в кишках.

Три дня тому назад мы имели подробные известия о крае Минусинском через бывшего тамошнего начальника поселений Кутузова. Фаленберг женился на какой-то калмычке и, как кажется, не совсем удачно. Киреев сватался к повивальной бабке и получил отказ. Николай Крюков попрежнему хлопочет, а брат его очень счастливо играет в бостон. Тютчев пьет не попрежнему, то-есть гораздо менее. Фролов хозяйничает не совсем успешно, Мазгалевский также. Последний до сих пор ничего не посылает Беляевым с их заведений, которые они ему предоставили с условием доставлять им половину выручаемых с них доходов; из этих господ все, которые просились на Кавказ, получили отказ на просьбу свою.

Ципоцкому часто поминаю о рисунках, вам обещанных, но, кажется, до сих пор он за них не принимался. Гутинька опять благодарит вас и Машу за приветствие.

Простите, мой любезный друг, душевно и очень крепко вас обнимаю.

Все наши дружески вас приветствуют; передайте от меня почтение и поклоны по принадлежности — деток ваших мысленно обнимаю. Матвей Иванович очень исправно посылает вам газету, и странно, что

они в Тобольске ее задерживают; я напишу об этом сегодня к Михаилу Александровичу; может, ему удастся хоть на время разбудить Стефановского.

66. И. Д. ЯКУШКИН — И. И. ПУЩИНУ[1]

1841, *Ялуторовск*. Мая 2-го.

Пользуюсь предложением Ф. Ф. отвечать на письмо ваше от 4 апреля, мой любезный Иван Иванович, доставленное мне им дней десять тому назад. Кар[олина] Кар[ловна] не решилась ко мне писать после случившегося с нею приключения; я очень понимаю, что для нее было бы очень затруднительно передать мне на бумаге то, что она чувствовала по приезде в Оёк из Урика. Но что мне кажется очень странным, это то, что Катерина Ивановна в письме своем от 22 марта ни слова об ней не говорит. Не обеляя решительно Никиту, я не совсем понимаю его поведение и уверен, что при всех этих проделках он разыгрывал роль для себя очень неприятную.

О болезни Матвея Ивановича был к городничему запрос; здешний врач отправил в Омск вторично свидетельство о солитере, обитающем в кишках государственного преступника, и мы с каждой почтой ожидаем решения этого государственного дела, а пока и Матвей Иванович, и Гутинька с некоторого времени, более нежели когда-нибудь, изводятся присутствием докучливых своих жильцов.

О Свистунове никаких положительных известий мы не имеем; он очень давно не писал к Матв[ею] Ивановичу и не присылал ему газет. Коммерческие ведомости гласят, что будто он опять с своей невестою в разладе. Очень я рад, что туринские ваши художники подвизаются успешно, и очень сожалею, что не увижу их произведений, отправленных вами в Иркутск и в Тобольск. Наконец, Ципоцкий рисует мою комнату для вас, а когда он ее кончит и доставит вам, я не очень знаю[2]; работает он довольно прилежно, но, стараясь все выразить, и все и со всей полностью, работа его подвигается довольно мешкотно. Он мне сказал, что по окончании этого рисунка он примется за

другой и которого мне не покажет; видимо, тут есть от меня тайна и я никак не пытаюсь в нее проникнуть.

Степан Яковлевич благодарит вас за память и очень вам кланяется. Здоровье его почти в том же положении, как и прежде, не смотря на то, что он нещадно морит себя голодом по предписанию Дьякова. На-днях он получил письмо от матушки, из которого я мог догадаться, что Кузнецов прибыл благополучно в Москву.

Опять две почты сряду я не имею писем из дому, что хотя и не ново, но все-таки не совсем приятно, а делать тут нечего, жаловаться губернатору на его подчиненных был бы труд напрасный; он, вероятно, знает, что они все никуда не годятся, но не имеется никакой возможности заменить их чем-нибудь лучшим; поневоле должен терпеливо с ними возиться.

Стряпчий, бывший при вас в Ялуторовске, переведен в Тобольск, а тобольский в Ялуторовск. Л. пока остается при прежних своих должностях, но он на это не жалуется; надеюсь, что со временем он получит обещанное ему место.

Очень понимаю, как внезапная болезнь Машеньки вас испугала, и мы здесь все вместе чистосердечно порадовались, что болезнь эта не имела больших последствий. Гутинька и Машу и вас очень благодарит за приветствие; она надеется из Тобольска доставить вам образцы своего чистописания, но когда она попадет в Тобольск, это еще не совсем известно. За Рияни [?] очень радуюсь, что он бросил наконец выпивание, надо надеяться, что даже по совершенном выздоровлении остается его доживать долго [?].

Матвей Иванович дружески вас приветствует, а я от души и очень крепко вас обнимаю.

Из последнего письма Катер[ины] Иван[овны] видно, что Алек[сандр] Поджио был очень опасно болен, но что ему теперь решительно лучше.

Вы спрашиваете у меня об Олиньке; с некоторого времени я видаю ее очень редко, вероятно потому, что она теперь реже чувствует необходимость пить воду из моего стакана, и это кажется уже довольно хороший знак для ее здоровья. Сейчас был у меня Любимов с

известием, что он назначается стряпчим в Туринск, не забудет наших условий в случае отъезда нашего из Сибири; мне самому смешно, что эти условия не выходят у меня из памяти.

Марье Петровне и Прасковье Егоровне свидетельствую мое почтение, товарищам кланяюсь и малюток ваших мысленно обнимаю.

67. И. Д. ЯКУШКИН — И. И. ПУЩИНУ[1]

1841. Ялуторовск. Июня 10-го.

С месяц тому назад я получил письмо ваше от 2 мая. Потом через две недели мне доставили в один и тот же день два ваши письма от 16 и 23 мая; при последнем я получил камелию и клубнику. Премного вас благодарю за эти растения, мой милый и любезный Иван Иванович; три куста клубники по приказанию вашему я передал Марье Константиновне; она вам за них очень благодарна и просила меня сказать вам ее усердный поклон; остальные три куста я посадил у себя. Они уже растут и пустили плети. С первого взгляду на камелию я в нее влюбился, очерк и зелень ее листьев истинно прелестны. Кажется, она также прижилась, но, вероятно, с передряги не будет цвести в нынешнем году.

Если на каждое из трех последних ваших писем я не отправил к вам по листку, мной измаранному, то вините в этом не меня, а судьбу, которая не снабдила меня нужным приемом с людьми, как ваша Весталка, ее маменька и братец; при одной мысли провести с ними полчаса я чувствую судорожный дрожь. На-днях они всем семейством окружили меня на берегу реки; я шел купаться и был в одной рубашке и шинели;— напрасно старался я избегнуть их нападения. Весталка, как Мечьмерились, явилась на обрыве и перерезала мне дорогу; чтоб избавиться от нее, мне оставалось только броситься в воду, и, вероятно, я бы это сделал, если бы она не прекратила на меня свой натиск. Мне иногда самому на себя досадно, что эти, как их называют, добрые люди для меня нестерпимы, но на сорок осьмом году уже трудно

переменить нрав и обычай, а вы может быть не забыли, что даже в Петровском, в продолжении шести лет, редко случалось кому-нибудь переступить мой порог, кого бы я не желал у себя видеть, и может еще реже случалось мне зайти к человеку, которому бы я не мог искренно и дружески пожать руку; в этом отношении я здесь еще более избаловался и никакой не предвижу возможности, чтобы переписка наша могла продолжиться через дом Весталки.

Теперь пишу к вам единственно потому, что чувствую какую-то особенную потребность с вами побеседовать, не очень зная, когда и с кем буду иметь возможность отправить мое письмо; вероятно, пущу его на Тобольск.

Вы желаете знать содержание книги, сочиненной фехтовальщиком по имени, кажется, Dizier и изданной Alexandre Dumas'ом; я читал из нее отрывки, а остальное знаю из рассказа Матвея Ивановича. Вся эта книга состоит из сплетней, без порядку нанизанных, о России вообще и в особенности о Тайном обществе, которое сочинитель знает из доклада Комитета, прочитанного им, кажется, без малейшего внимания. С начала героиня романа представлена немного либеральной в известном вам смысле, но потом все ее чувства обращены к предмету ею обожаемому. Предмет сей в свою очередь представлен философом, почитающим всех своих товарищей более или менее остолопами; не понятно, как и зачем он вступил в Тайное общество, которого цель для него не существует. Все это вместе — пренеистовая глупость; убедите Прасковью Егоровну, что произведение Dizier нисколько не заслуживает особенного ее внимания и еще менее ее негодования; он старался изобразить ее и графа Анненкова в прекрасном виде; только понятие его о прекрасном довольно уродливее и то, может быть, для нас, русских, а не для французов [2].

Известие, что Любимов назначается стряпчим в Туринске, оказалось несправедливым; его сообщил сюда Петр Дмитриевич Жилин. На место тобольского стряпчего, который переведен в Ялуторовск, назначен бывший в Ялуторовске, и потому пока Любимов остается при прежней своей должности в ожидании обещанных ему богатых милостей.

С последней почтой Матвей Иванович получил пачку французских газет, по прочтении он отправит их к вам, разумеется через Тобольск; и потому также [нрзб.], что вы очень долго их не получите. Стефановского, вероятно, только могила может исправить; неделю тому назад я получил письмо из дому от 13 марта, которое, как видно, лежало в Тобольске недель шесть, хотя на нем и надписано красными чернилами, что оно получено 16 мая.

Известие, что Марья Петровна имеет позволение с детьми возвратиться в Россию, всех нас здесь очень порадовало, но, признаюсь, что я еще более возрадуюсь, когда узнаю, что вы проводили их за Урал; пока они еще в Сибири, все остается какое-то невольное сомнение, чтобы данное обещание их родным скоро исполнилось. К вам, может, писали из Тобольска, что (вероятно, по этому случаю) был запрос о всех детях наших товарищей, рожденных в Сибири.

Очень понимаю ваше горе при известии о смерти Вольховского; матушка, извещая меня о его кончине, отгадала, что вы очень об нем потужите. Из этого ее письма узнал, что он коротко был знаком с Алексеем Шереметевым. Фонвизины не очень имеют право жаловаться на мое к ним молчание; они и сами ко мне очень редко пишут; но я на них нисколько не жалуюсь, зная, что они оба имеют наклонность иногда полениться. Последнее письмо Михайла Александровича — от 26 мая, он в нем ничего не говорил мне про письма к вам Волконского и Сутгова, привезенные Фалькенбергом.

Очень желаю, чтобы Энгельгард нашел возможность напечатать вашего Паскаля, я нисколько не сомневаюсь в исправности перевода, но цензура не обращает на это внимания, и мне не верится, чтобы она пропустила вполне мысли Паскаля [3]. Сейчас заходил ко мне Матвей Иванович и просил сказать вам от него тысячу приветствий; до сих пор он не имеет позволения приехать в Тобольск лечиться, несмотря на то, что его мачиха, в бытность свою в Петербурге, просила об этом самого графа Бенкендорфа. Истинно трудно понять в этом случае поведение князя Горчакова, и все это вместе тем более досадно, что оба наши больные, одержимые катаром, в последние месяцы более нежели когда-нибудь чувствуют припадки своей болезни.

На прошедшей неделе был у нас Фохт проездом из Омска в Курган. По его словам, князь Горчаков на представление свое о государственных преступниках получил решительный отказ; в Омске уверяют, что Лунин испортил все дело, при этом случае, кажется, можно спросить у этих господ, шутят они или смеются?

Я в душе благодарен жене моей и матушке, что они теперь, как и во все четырнадцать лет пребывания моего в Сибири, не позволили себе написать ко мне ничего похожего на надежды увидеть меня в России; это доказывает, что они не легко предаются пустым надеждам, которыми стараются питать наших родных.

Жаль бедного Лунина, ему должно быть теперь очень худо. Фохт слышал в Омске, что жандармский офицер с военной командою ночью окружил дом его, запечатал его бумаги, самого его заковали и отправили сперва в Нерчинск, а потом в крепость, за полтораста верст от Нерчинска; страшно за него подумать, что эта крепость может быть *Окотуй* [4].

Степан Михайлович здоров, он очень опасается, чтобы вы не переписали получаемые от него письма. На представление позволить ему служить в Российских губерниях воспоследовал отказ.

Точно был запрос кн. Горчакову, нет ли какого препятствия для соединения Оболенского с вами; жаль, что вы заблаговременно не похлопотали о переводе вашем из Туринска; кажется, ни в каком случае вы не могли разъехаться с Евгением Петровичем, которого переводить для сожительства с вами теперь может быть найдут какие-нибудь затруднения — перевести вас обоих вместе в Ялуторовск.

С прошедшей почтой я получил письмо от Трубецкого (от 4 мая). Катерина Ивановна не совсем здорова и приписывает только несколько строчек, в последние годы здоровье ее видимо расстроилось и меня это по временам беспокоит.

О Лунине Сергей Петрович пишет, что он увезен в заводы и что более они ничего об нем не знают.

Александр Поджио три недели был в опасном положении, но теперь на ногах; Вадковский опять страдал грыжей и не может себе позволить даже умеренного движения. Сутгов хлопочет с мельницей,

которую беспрестанно прорывает. О Каролине Карловне опять ни слова.

Из Кургана давно нет никаких известий, но на-днях мы ожидаем оттуда Белинского, который вместе с Ципоцким отправляется на родину. Господа эти и все их товарищи, присланные на жительство в Западную Сибирь, по представлению князя Варшавского и по случаю свадьбы наследника, получили совершенное прощение; по тому же случаю многим и другим полякам оказаны разного рода милости; может и наши пожилые юнкера отправятся теперь во-свояси [5].

Степан Яковлевич очень благодарит вас за вашу к нему нежность и просит меня сказать вам его почтение. Мне совестно предложить ему посредничество в нашей переписке, это может подвергнуть его какой-нибудь неприятности; по моему мнению, всего бы лучше прекратить нашу переписку перемещением всех в Ялуторовск; подумайте, как бы это устроить. Пока прощайте, мой милый и любезный друг, душевно и очень крепко вас обнимаю.

13-го июня.

Сейчас пришел из лесу и мне вручили письмо ваше от 30 мая. Очень жаль, что Красноносый ваш приятель не застал меня дома; я, не скидая шапки, отправился к нему и имел удовольствие только видеть его супругу и посылку на мое имя; сам он, сказали мне, возвратится домой не прежде полуночи; я просил его домашних, чтобы они прислали его ко мне рано по утру. Мне очень желалось сегодня же взглянуть на ваш гостинец, но пришлось отложить это удовольствие до завтра; надеюсь, что сам Рыжиков принесет его, и я буду иметь возможность через него отправить к вам мой ответ на четыре ваши письма.

Мне искренно жаль Лунина и тем более, что я нисколько не разделяю вашего мнения [6]. Он хотел бы быть мучеником; но чтобы мочь и хотеть им сделаться, нужно было бы прежде всего быть способным на это. По хорошо известным причинам этого никогда не будет у Лунина. Государственный преступник в 50 лет позволяет себе выходки, подобные тем, которые он позволял себе в 1800 году, будучи кавалергардом; конечно, это снова делается из тщеславия и для того,

чтобы заставить говорить о себе. Он для меня всегда был и есть Копьев нашего поколения. Тот также в свое время был остряк и тешил народ своими проказами. Мне почти совестно, что я так откровенно высказал свое мнение даже вам о несчастном нашем товарище, но это у меня вырвалось, и вы меня не осудите [7].

Камелия пока стоит у меня в комнате и питаю ее светом сколько возможно более, перенося ее ежедневно два раза с окна на окно; у Матвея Ивановича теперь красят в доме, и я озабочен, чтобы ее как-нибудь не обидели перемещением из одной комнаты в другую. К тому же Матвей Иванович иногда слишком решительно поступает с растениями, и мне бы очень было жаль, если бы он произвел какой-нибудь неудачный опыт над камелиею.

Присланную вами тетрадку не замедлю доставить Александре Васильевне, она просила меня недавно сказать вам ее почтение. Старик ее за последнее время очень осунулся, и я иногда опасаюсь, чтобы нам не пришлось скоро поставить ему надгробный памятник.

По сравнению, другой наш старик несравненно бодрее, он по крайней мере нисколько не унывает [8].

На-днях здесь поймали беглого француза из Туринска по имени Bomonait de Varenne. Найденные при нем бумаги отправлены в Тобольск, в этих бумагах, которые я частью читал, тысяча доносов на чиновников вашего округа и миллион ругательств Басаргину за то, что он лишил возможности этого чудака соединиться с какой-то Авдотьей Котельниковой, которая, по сознанию самого ее обожателя, est très laide [9].

Но пора ехать и к тому же честь знать. Надеюсь, что в этот раз вы будете довольны по крайней мере количеством отправленных мною к вам листков.

14-го, 4-й час утра.

Премного благодарен вам за подарок, который дошел до меня в совершенной целости. Выдумка ваша сделать табачницу с изображением на ней Читы прекрасна. Панаев ваш молодец [нрзб.] вам предан [10]. Еще раз простите, мой милый и любезный друг, и еще раз прекрепко вас обнимаю. Возвращаю с благодарностью [нрзб.], 2 части

и одну часть George Zant [!]. Скажите мое почтение вашим дамам и поклонитесь от меня товарищам.

68. И. Д. ЯКУШКИН — И. И. ПУЩИНУ [1]

1841. Июля 6-го [Ялуторовск].

Вчера я получил письмо ваше от 27 июня, мой любезный друг Иван Иванович; его передал на улице Матвею Ивановичу брат Федина, который вместе с Виканкой [?] отправился в Тобольск искать места казначея или стряпчего и при этом удобном случае полечить также сестрицу от неизлечимых ее недугов. Теперь пишу к вам с Ципоцким, отъезжающим сегодня в Тобольск; надеюсь, что оттуда без замедления найдут возможность переслать вам мой листок. Я никак не могу решиться употребить в пользу нашей переписки долгоногого моего приятеля; он и так имел большие неприятности по сношению его с государственными людьми. Ципоцкий давно кончил для вас мою комнату; рисунок его не дурен и в нем все изображено с большой точностью, кроме моей персоны, которой голову он покрыл вместо волос каким-то стриженым париком. Произведение свое полагал отправить к вам из Тобольска. За ним заехал из Кургана товарищ его Белинский и живет здесь уже несколько дней.

12-го июля.

Меня тогда отвлекли от вас, мой любезный Иван Иванович, обещав верный и удобный случай доставить вам мое письмо. Я полагал, что буду иметь возможность на просторе побеседовать с вами, когда заедет в Ялуторовск один из ваших Туринских художников; сейчас мне пришли сказать, что он приехал и через час отъезжает, и потому, противно моему желанию, приходится перемолвить с вами только несколько слов. Ципоцкий с своим товарищем отправляется в Тобольск. Он оставит для вас рисунок, который вместе с газетами к вам посылаю. Намерению вашему устроить приятный сюрприз для Надежды Николаевны никак не смею противиться.

Известие об совершенном освобождении вашего брата из-под надзора полиции меня как нельзя более порадовало [2]. Слава богу, что он после всех мытарств возвратится в круг своих родных и что Анна Ивановна, беседуя с ним об вас, хоть сколько-нибудь отдохнет сердцем.

Возвращаю вам письма Волконского и Сутгова, которые я, должен вам признаться, прочел с истинным прискорбием. Я не понимаю, какую радость находят эти господа пускаться в такие [нрзб.] сплетни о своих товарищах. Неужели для них не ощутительно, что, не умея хоть сколько-нибудь уважать и щадить друг друга, мы теряем все возможные права на уважение людей, для нас посторонних; но меня еще более при этом огорчила мысль, что все эти непристойные сплетни дошли до вас через Фалкенберга [3].

Камелия решительно прижилась и пустила несколько довольно длинных побегов, но я все-таки не ожидаю, чтобы она цвела в нынешнем году. Клубника также растет во всю мочь.

Прошу вас сказать мое усердное почтение Марье Петровне и поцелуйте за меня ваших деток, если они еще не уехали. Кланяйтесь также от меня Николаю Васильевичу, [нрзб.] Ивановне [нрзб.] дружеских приветствий, и я, мой любезный друг, нрекрепко вас обнимаю.

69. И. Д. ЯКУШКИН — Е. И. ТРУБЕЦКОЙ [1]

Ялуторовск. Октября 25. 1841.

Всякий раз, как я получаю от вас письмо, княгиня, я почти достоин сожаления из-за невозможности читать его напечатанным. Вам, может быть, известно, что я с трудом разбираю чей бы то ни было почерк, не исключая и своих собственных каракуль, и вы поймете, как я бываю иногда раздражен, не имея возможности прочесть собственными глазами те милые письма, которые вы посылаете мне; это — вроде внезапного поражения глухотой во время разговора, из которого не хотелось бы упустить ни одного слова. На этот раз, получив ваше письмо от 26 августа, я имел удовольствие прочесть его с начала до конца, не останавливаясь. Письмо вашего мужа также до-

ставило мне исключительное удовольствие; я убежден, что во время писания этого письма он мог быть только в хорошем настроении; это доказывает, что он совсем спокоен и доволен своим положением.

Я никогда не восторгался при виде гастронома, наслаждающегося вкусной едой, но мне приходилось иногда с удовольствием наблюдать крестьянина, который после полдневной работы смакует свой кусок черного хлеба и с жадностью пьет не очень чистую воду, как если бы это был нектар. Чтобы поступать, как он, необходимо иметь хороший аппетит, а это не всем дано; для того же, чтобы иметь возможность в духовном отношении поедать с хорошим аппетитом свой черствый, черный хлеб, нужно также иметь спокойную совесть, что тем более дано не каждому; но я прошу у вас извинения за то, что толкую вам хорошее о вашем муже, который способен вообразить, что я делаю это, желая на свой лад поухаживать за вами.

Вы пишете, что здоровье ваше было бы не плохо, если бы не ноги, которые, как вы опасаетесь, недолго будут действовать. Бог даст, это не случится. То хорошее, что вы мне сообщаете о ваших детях, не кажется мне только речью нежной матери и еще менее — матери, признательной провидению за дарование ей детей, достойных ее нежности.

Прошу вас поблагодарить Катер[ину] Конст[антиновну] за ее добрую память и передать ей от меня пожелание всего хорошего.

Прошу вас также пожать за меня руку Федору Федоровичу.

Свистунов провел три дня с нами; теперь он в Тобольске по случаю нездоровья. Он, наверное, женится в январе.

Известия, полученные мною от своих, не из лучших: последнее время моя жена выглядит плохо. Первые вести, которые я получал об экзамене Вечеслава, были вполне удовлетворительными: литература, математика — все шло как нельзя лучше, но под конец он потерпел неудачу на латинском языке. Я очень огорчен этим. Не представляю себе, что станет делать бедный мальчик, хоть он и пишет, что решил снова сдавать экзамен в будущем году.

Прощайте, добрейшая княгиня. Да сохранит вас бог своей милостью.

И. Якушкин.

С понедельника Иван Дмитриевич гостит у нас. Это настоящий праздник, который он мне доставляет, пока приводится в порядок его жилище. Вы так добры, княгиня, что никогда не отказываетесь разделить радость других, и это заставляет нас рассказывать вам о нашей. Мари передает вам тысячу нежностей. Слава богу, здоровье всех нас хорошо. Целую ваши руки.

М. Муравьев-Апостол.

70. И. Д. ЯКУШКИН — С. П. ТРУБЕЦКОМУ [1]

1841. Ялуторовск, октября 25.

Спасибо тебе, мой милый и любезный друг Сергей Петрович, за письмо твое от 29 августа; читая его, я налил тебе чашку чаю и набил трубку табаку, словом, мы беседовали с тобою по прежнему, только не спорили, без чего, конечно, не обошлось бы, если бы беседа наша была изустная. Я мало знаю о новых открытиях, по причине, что ничего почти нового не читаю.

У меня теперь морозят тараканов, и я на несколько дней перебрался к Матвею Ивановичу. Ты можешь себе представить, что за это время мы с ним очень часто говорим обо всех об вас и разумеется, что при этих разговорах ему часто приходится слушать меня. С каким бы удовольствием и я бы послушал какого-нибудь доброго человека, который бы рассказал мне подробности о вашем житье-бытье.

Как жаль, что Саша при охоте ее к цветам и рисованию не учится ботанике, а право, это не хитрость, и ты очень мог [бы] заняться с ней этою наукой; ее бы она очень забавляла и во многом отношении она могла бы быть для нее полезна; было время, когда были уверены, что детей надобно долго учить геометрии, чтобы научить их точно и правильно рассуждать, но в геометрии истины так полны и правила преподавания ее так непреклонны, что они ничего не имеют общего со всем окружающим человека, и вот, может быть, причина, почему нередко случается, что математическая голова бывает на плечах человека пошлого во всех своих житейских отношениях.

В науках естественных истинны суть только явления большею частью столько же ощутительные для ребенка, как и для взрослого

человека; стоит только представить ребенку явление в порядке, приспособленном к его понятию, и для него многие законы, управляющие этими явлениями, сделаются также ощутительными; вообще я думаю, что некоторые части естественных наук, преподаваемые как следует, могут заменить логику, эту науку скучную и недоступную для детей и которую, однако, преподают им с целью образовать их рассудок.

В естественных науках самое трудное состоит, конечно, в изучении особенного языка, составляющего принадлежность отдельную каждой части науки; к тому же многие из этих языков весьма неточны и часто непоследовательны; чтобы пособить этому неудобству, можно, кажется, во многих случаях пополнить языки изустный и письменный языком изобразительным; для этого с начинающим обучаться, положим, ботанике прежде всего надо заняться последним этим языком, то-есть научить его читать изображения и вместе с этим изображать все им прочитанное на этом языке, но ты скажешь, для этого необходимо уметь рисовать; я тебя могу уверить, что Сашенька твоя достаточно хорошо рисует, чтобы изобразить всякую часть растения; она теперь не может этого сделать потому, что она не понимает растений и части их составляющие и еще потому, что она не умеет еще распорядиться самим рисунком, то-есть не знает, с чего следует его начать и чем кончить; и в том и в другом ты, конечно, можешь ей всякий раз пособить [2].

Но пора кончать: Матвей Ивановичь хочет к тебе приписать, и мне совестно, что я оставляю ему так мало места. Прости, мой любезный друг, крепко тебя обнимаю, обними за меня своих деточек и очень нежно поцелуй за меня руку у Екатерины Ивановны.

Иван Якушкин.

Александра Васильевна, муж ее и Ваня Кириллович благодарят тебя за память и свидетельствуют тебе почтение [3].

Мой добрый Сергей, мне осталось ровно столько места, чтобы крепко обнять тебя и просить, чтобы твоя превосходная жена соблаговолила принять дружественные пожелания моей жены. Да хранит вас господь.

М. Муравьев-Апостол.

71. И. Д. ЯКУШКИН — И. И. ПУЩИНУ [1]

1841. Ялуторовск. Октября 25.

Письмо ваше от 5 сентября я давно получил, мой милый и любезный Иван Иванович; вероятно, вы неистовствуете на меня, что я так долго не отвечал на это письмо; причины моего молчания все те же, какие были и прежде. Совестно как-то навязывать другим запрещенный товар. Конечно, я мог бы писать к вам через губернатора, но одна мысль, что строки мои будут читаны кем-нибудь кроме вас, отнимают охоту приняться за перо.

Жалобы мои на Степана Михайловича оказались несправедливыми. Он никогда не проезжал мимо Ялуторовска, и из Омска на Тобольск совсем не дорога на наш город. Объяснять вам, как в этом случае я попал в просак, было бы слишком долго; дело в том, что я был виноват пред Степаном Михайловичем, поверив глупому слуху, будто он всех нас объехал, и чистосердечно просил у него прощенья.

Всею душою потужил, узнавши о последней вашей потере [2]; пятнадцать лет обстоятельства приучают нас к разлуке с близкими нам людьми; благодаря бога, они нисколько не разучили вас любить тех, кого вы когда-нибудь любили, и потому полагаю, что горестное известие из дому очень вас опечалило. Я нисколько не опасаюсь, чтобы и в самой печали вами обуял дух уныния, но признаюсь вам, что иногда очень боюсь за ваше телесное здоровье; без него в наших обстоятельствах очень плохо. Жаль, что Михаил Иванович не приезжал в Петербург проститься с матушкой; вероятно, присутствие его оживило бы сколько-нибудь вашего батюшку и было бы отрадно для Анны Ивановны.

Я не писал к Надежде Николаевне о сюрпризе, ей вами приготовленном; любопытно знать, как он разыграется.

Евгения Петровича давно ждут в Тобольск, но его еще там не было по известию от 19 октября. Невероятно, чтобы он вздумал к нам заехать. Крюк, конечно, был бы небольшой из Тобольска завернуть в Ялуторовск, но кроме всех трудностей окольного пути, он наверно будет под конец спешить добраться до Туринска, где все так давно

его ожидают. Паче чаяний, если он теперь уже с вами, прошу вас очень его обнять за меня.

Свистунов, в проезд свой из Кургана в Тобольск, пробыл у нас три дня. Он имеет решительное намерение жениться в начале будущего года при совершеннолетии своей невесты. Теперь он хлопочет в Тобольске о вступлении на службу. Здоровье его не совсем исправно, но, кажется, он мнителен, преувеличивает свою хворость и главный его недуг состоит в беспрестанном его внимании, обращаемом им на свое здоровье.

По письмам Катерины Ивановны и Сергея Петровича от 29 августа все они там здоровы.

Где находится Лунин, положительно они не знают, вот слова Катерины Ивановны[3]: «О Лунине мы знаем то, что рассказал вернувшийся на-днях в Бельск Громницкий: недавно ему вернули все вещи, теперь он получает письма от своей сестры и небольшую помощь деньгами». И вообще видно, что положение его несколько улучшилось и из этого кажется можно заключить, что по его делу Иркутское начальство произвело много шуму по пустому.

Хозяйка моя морозит тараканов и, не желая погибать вместе с этими насекомыми, я живу пока у Матвея Ивановича; всякий день случается говорить об вас и пожалеть, что вы не с нами; оставив свое жилище, все мои хлопоты были обращены на камелию, которую я принужден был перенести в баню, где пока и Родивоновна с кошкой своей поместилась под конец, и надеюсь, что камелия будет цвести; на ней образовалось несколько цветочных почек и иные из них достигли величины голубиного яйца; но с уменьшением дня рост их приостановился, и теперь я не знаю, будут ли они иметь довольно жизни, чтобы вполне развернуться.

О другом моем растении, Оленьке, ничего особенного сказать вам не имею, может и потому, что я, говоря с вами об ней [нрзб.], не знал и очень оттого не чувствую охоты говорить вам об ней на бумаге. Как вы сами знаете, не все то пишется, что говорится, и не все то говорится, что пишется.

Мария Константиновна благодарит вас за память, Матвей Ивано-

вич дружески жмет вам руку. Гутинька посылает вам две строки своего чистописания. При случае не следует ли вам ей доставить пропись вашего произведения, по которой она могла бы обучиться писать мелким почерком, или прикажете ей паки продолжать ей писать с тех прописей, которые вы ей оставили.

Степан Яковлевич вам свидетельствует почтение. Николинька пробыл у него шесть недель, в которые мы мало его видели; с прошлого года он не очень много вырос, но очень похорошел. Теперь Свистунов, который живет в одном доме с Мишей, он кажется дает этому юноше уроки французского языка.

У меня есть до вас просьба, нельзя ли узнать, делают ли картон на бумажной фабрике, что возле Туринска и почем обходится лист величиною и толщиною, какой именно, не умею вам сказать. Картон нам этот нужен для наклейки таблиц, по которым обучаются в школах взаимного обучения; также — почем можно купить на этой фабрике стопу писчей бумаги и стопу бумаги для оклейки стен.

Как бы ни желалось еще поболтать с вами, но надо кончить. Простите, мой милый и любезный друг, очень крепко вас обнимаю.

По приказанию вашему читаю французскую книгу, разумеется, за исключением всего того, что относится до политических сплетней. Сказка Souilly мне не понравилась не потому, чтобы я не признавал некоторое дарование в ее сочинителе, но потому, что весь этот период, который он в ней представляет, истинно отвратителен.

72. И. Д. ЯКУШКИН — И. И. ПУЩИНУ [1]

1842. Ялуторовск. Марта 17.

Казак, проводивший Басаргина, возвратился из Кургана, и мне почти совестно, что я, в его отсутствие, не успел написать к вам. Дело в том, что все эти дни я не очень был здоров — сплю ночью, сплю и днем, и все спать хочется; впрочем, это обыкновенная моя болезнь, прежде посещавшая меня очень часто и про которую в последний год я совсем почти забыл.

Много благодарю вас за бумагу и другие присланные вещи; все эти покупки доставили вам более хлопот, нежели я думал, и перед другим я пустился бы в извинения при этом случае, но перед вами не смею.

Николай Васильевич пробыл в Ялуторовске почти четверо суток; все это время мы были с ним, разумеется, неразлучно; жена и теща его были также почти беспрестанно с нашими дамами; вероятно, он сообщит вам впечатление, произведенное над ним пребыванием его с нами. С моей стороны, я очень рад был с ним увидеться и потолковать с ним о многом и многих и особенно об вас, мой любезный друг. В первый вечер по приезде его мы провели с ним часов пять глаз на глаз. Он мне рассказывал про ваше житье-бытье в Туринске, и, наконец, начал меня уверять, что дела ваши и вашего семейства в совершенном расстройстве, что вам необходимо пуститься в какие-нибудь обороты и что даже вы готовы на это; я с ним спорил донельзя — и пустился в свою очередь уверять его, что он вас нисколько не понимал и не понимает. При каждом моем сильном натиске он очень хладнокровно ссылался на ваше письмо, которое лежало передо мною нераспечатанное. Прение наше продолжалось далеко за полночь, и, расставшись с ним, я тотчас прочел ваше письмо, из которого вижу, что вам предстоит какое-то поприще, совершенно мной для вас не предвиденное; ради бога, потерпите мою дерзость: я никакой не имею возможности представить себе вас именно золотопромышленником и искателем золота — на что оно вам [2].

Вы прожили более сорока лет, нисколько об нем не думая, и, сознайтесь, прожили их, благодаря бога, не дурно. Понимаю, что вам может иногда приходить на сердце желание не обременять отца и братьев необходимыми на вас издержками и особенно, если денежные дела их не совсем в порядке; но подумайте, что в случае пребывания вашего с ними вместе ваши издержки из общего достояния могли бы быть несравненно значительнее, нежели они теперь; к тому же от нас всегда зависит много уменьшить наши издержки, и для вас это тем удобнее, что вам скоро предстоит перемещение, а я по себе знаю, что в новом месте всегда удобно распорядиться расходами.

Во всяком положении есть для человека особенное назначение, и в нашем, кажется, оно состоит в том, чтобы сколько возможно менее хлопотать о самих себе. Оно, конечно, не так легко, но зато и положение наше не совсем обыкновенное. Одно только беспрестанное внимание к прошедшему может осветить для нас будущее; я убежден, что каждый из нас имел прекрасную минуту, отказавшись чистосердечно и неограниченно от собственных выгод, и неужели под старость мы об этом забудем? И что же после этого нам остается? Я сам не очень понимаю, откуда взялась у меня смелость написать к вам все то, что я написал, и очень чувствую, что почти беспрестанно ожидаю от других несравненно более, нежели сам могу сделать или сделал бы на их месте, и от вас еще требую более, нежели от других, а почему именно, вы, может быть, отгадаете.

Насчет перемещения вашего в Тобольск или Туринск, кажется, и задуматься нет возможности [3]— удовольствие родных ваших получать из Тобольска неделею ранее, нежели из Ялуторовска, ваши письма не должно стать на ряду ни с какими другими для нас, или даже для вас, приятностями. Во всяком случае и по всем вероятностям, в нынешнем году мы с вами увидимся. Из Тобольска в Туринск вы проложили дорогу на наш город. Надеюсь, что обратно вы нас не объедете.

Но до приятного этого свидания еще долго — пожалуйста, напишите, на что решил вас проезд Гаюса? «Nouvelles Génévoises» я прочел с удовольствием и особенно последняя мне очень понравилась. «La bibliotheque de mon oncle» заключает в себе наиболее происшествий, рассказанных довольно простым слогом, и, кажется, не представит большого затруднения для переводчика. «L'Heritage» также рассказана живо и хорошо, но некоторые суждения в ней, может быть, не совсем понравятся цензору. Впрочем, это уже будет дело Егора Антоновича. Вероятно, по получении этой книжки вы приметесь за работу — и в добрый час! Жданная нами гостья не бывала и, вероятно, не будет. Bernardin de St. Pierre я уже пустил в ход, дал его читать Василию Карловичу; у Матвея Ивановича и у меня есть пока другое чтение.

Вы, вероятно, на нас не взыщете, если мы продержим некоторое время эту вашу книгу.

На Любимова я немного подосадовал, что он не дал вам знать об отправлении обратно людей, которые везли его вещи из Ялуторовска в Туринск. О вас он иначе не пишет к Александре Васильевне, как с восклицательным знаком, и потому непонятно, почему он у вас редко бывает; если можно, не теряйте его из виду. Может быть, для него еще есть возможность воздержаться от взяток.

О Каролине Карловне ничего особенного сказать вам не имею, чего бы вы не знали прежде. Перед отъездом ее Никита Михайлович был два раза в Оёке и в последний раз приезжал нарочно с ней проститься.

О новобрачных [4] также почти ничего написать вам не могу. Кажется, она женщина очень неглупая — и он ее страстно любит. Бог даст, они будут счастливы. В Тобольске им пока очень хорошо. Матвей Иванович вчера получил от него первое письмо с тех пор, что мы с ним в последний раз расстались. Он пишет, что масленица их сокрушила беспрестанными увеселениями, но что пост привел все в порядок и что они теперь живут очень мирно и покойно.

Степану Яковлевичу передал ваши извинения, и он сам на них вам отвечает. Приятель ваш Федосей Федорович также принес мне к вам письмо, которое при сем прилагаю.

Евгению Петровичу посылаю два письма, одно от Степана Яковлевича, а другое без надписи от Матвея Ивановича. Впрочем, я и сам напишу к нему несколько строчек.

Поклоны ваши все роздал исправно. Дети вас часто поминают. Родивоновна вам посылает низкий поклон. Всякий раз, что я читаю ей приветствие в вашем письме, она никак не может воздержаться от восклицания: «И что это за Иван Иванович!» Вероятно, на ее языке это много значит. О магнетизме опять к вам не пишу, предоставляя этот предмет изустному нашему с вами разговору, если бог приведет нас когда-нибудь увидаться.

Много благодарю вас за желание сделать для меня отводок от вашей камелии. Я думаю лучше подождать с этим делом [до]

перемещения вашего из Туринска. Николай Васильевич предлагал мне свою камелию, но я решительно от нее отказался. Но пора кончить; уже за полночь, а мне хочется измарать еще страничку к вашему сожителю [5]. Простите, мой любезный друг. Будьте здоровы и телом и душой. Крепко вас обнимаю.

73. И. Д. ЯКУШКИН — Е. И. ЯКУШКИНУ [1]

1842. Ялуторовск, сентября 19-го.

Очень рад, мой милый друг Евгений, что нынешним летом ты побывал в Москве; только жаль, что во время твоего там пребывания ты мало виделся с братом; но и об этом почти сожалеть не следует. Конечно, Вечеславу стоило не малого усилия решиться променять тебя на латынь, но на этот раз он как старший подал тебе добрый пример, жертвуя самым приятным и совершенно позволенным удовольствием не только трудной, но и весьма скучной обязанности.— В последнем своем письме бабушка писала ко мне, что ты доехал до Петербурга без приключений.— Вот и тебе остается немного времени до экзамена.

Я не требую исполнения данного тобою мне обещания поступить в число первых между твоими товарищами, для этого необходимо бы было некоторым из них приостановиться в своих успехах и пропустить тебя вперед, чего ни я ни ты, вероятно, желать не посмеем; но я ожидаю, что ты употребишь всевозможное старание приготовить себя и наилучшим образом к предстоящему тебе испытанию. Мне бы хотелось тебя убедить, что сравнение себя с другими не только может быть для нас бесполезно, но даже и очень вредно. Трудно быть справедливыми против тех, которые впереди нас и которых мы силимся обогнать, или быть беспристрастными и кроткими к тем, которые от нас отстали и на которых мы обыкновенно смотрим с каким-то сожалением; зависть или гордость тут почти неизбежны, чтобы оградить себя от той и другой и вместе с этим подвигаться вперед. Кажется, всего вернее беспрестанно сравнивать себя с самими собою, то-есть тех себя, которых мы знаем, с теми себя, какими мы должны и можем

быть. Спасибо тебе, мой милый друг, за твое письмо из Москвы. Теперь я не ожидаю, чтобы ты скоро написал ко мне,— дела у тебя много и мне совсем не желается перепиской со мной отрывать тебя от учебных твоих занятий или от прогулок и отдохновений, также для тебя необходимых.— Когда увидишь тетушку Пелагею Васильевну, поцелуй у нее за меня ручку и поклонись от меня Михаилу Николаевичу. Иван Иванович Набоков должен быть в одном классе с тобой, знаешь ли ты его тетушку Анну Ивановну Пущину? Когда увидишь ее в Царском Селе, скажи ей мое усердное почтение. Прости, мой милый друг, крепко тебя обнимаю

Иван Якушкин.

74. И. Д. ЯКУШКИН — В. Л. ДАВЫДОВУ [1]

1843. Ялуторовск. 12 июня.

Благодарю вас, дорогой Василий Львович, за удовольствие, которое доставило мне возможность обнять Васю. Его экипаж требовал починки, и ему пришлось часов тридцать провести в Ялуторовске. Пока он был с нами, Матвей Иванович и я старались быть как можно моложе, чтобы сколько-нибудь умерить его нетерпение поскорее добраться до Москвы. Он, повидимому, славный мальчик, и я хочу надеяться, что с божьей помощью он всегда будет радовать своих родителей. Вы, наверное, не посетуете на меня, если я попрошу мою тещу время от времени навещать его и в случае надобности напоминать ему, что он должен вам писать. Вчера в два часа дня он покинул нас в добром здоровьи, как и его товарищ, который оказался моим давнишним знакомым; мы оба припомнили, что в 36-м году мы вместе плавали по Байкалу.

Желая вам и всем вашим доброго здоровья, сердечно жму вашу руку и прошу вас выразить Александре Ивановне мое глубокое почтение и передать мой дружеский привет Михаилу Фотьевичу и Михаилу Матвеевичу. Матвей Иванович кланяется вам.

75. И. Д. ЯКУШКИН — Е. И. ТРУБЕЦКОЙ[1]

Ялуторовск. 1843 августа 14

В последние две недели, княгиня, вам писали Матвей Иванович и Евгений Петрович; сегодня моя очередь поблагодарить вас за два ваших милых письма, одно от 24 июня, другое, которое я получил вчера, от 17 июля. Мы будем вам писать только по очереди и, как видите, благодаря этому вы рискуете получать каждую неделю письмо от кого-нибудь из нас четверых[2]. Эти господа устроились в нашем городе временно, они надеются перебраться в Тобольск, где уже находится часть их вещей и дом, нанятый на целый год. Тот дом, который они занимают здесь, расположен приблизительно в двух верстах от моего, что не мешает нам видеться ежедневно, а когда мы вместе, мы вспоминаем иногда наше прежнее пребывание в Чите и в Петровском.

Когда вы получите это письмо, Ноны не будет уже, вероятно, в Урике. Всем вам, кто любит ее, особенно ее бедному дяде[3], будет трудно проститься с нею надолго. Дай бог ей найти в том мире, где она скоро будет, по крайней мере часть тех забот и расположения, которые окружали ее до сих пор; что кажется достоверным в настоящий момент, это — то, что Катерина Федоровна будет очень рада иметь ее в Москве[4]; надо надеяться, что провидение позаботится о бедной девочке и поможет ей найти путь среди всех горестей, которые окружат ее.

Вы так рассудительны и так терпеливы в том, что вы называете нашими немощами, что было бы неуместным с моей стороны стремиться выразить вам соболезнование. Я предпочитаю порадоваться с вами тому хорошему, что выпало вам на долю и которое вы так хорошо выразили, сказав мне, что все идет у нас прекрасно.

Моя теща пишет вам, и вы, следовательно, знаете, что здоровье моей жены все еще в прежнем состоянии. Евгений приехал на каникулы в Москву, а Вечеслав принужден снова готовиться к экзамену, который будет у него в сентябре.

Я имел недавно хорошее известие: Нарышкин получил повышение как офицер. Если он не может тотчас же выйти в отставку, может

быть, ему позволят по крайней мере приехать на несколько месяцев к своей жене в деревню, купленную ими в прошлом году под Тулой. Черкасов получил отставку и собирается устроиться недалеко от Покровского: вот и хорошие новости, слава богу.

Что касается нас, мы живем тихо, как бы в прошлом, имея строго налаженные занятия, т. е. Матвей Иванович и я. Пущин и Оболенский, как обычно, находятся до сих пор в неопределенном положении. Александра Васильевна вам писала, полагаю, что у ее мужа был удар, который, как мы были уверены, должен был окончить все его страдания; его соборовали. Городской врач, который случайно оказался здесь, оказал ему помощь; больной, против всех ожиданий, поднялся со своего смертного одра и продолжает влачить свое печальное существование.

Целую вам нежно руки, княгиня, и прошу обнять за меня моего дорогого Сергея Петровича. Наши дамы и мужчины кланяются вам.

И. Якушкин.

76. И. Д. ЯКУШКИН — В. И., Е. И. и Е. Г. ЯКУШКИНЫМ [1]

1846. Ялуторовск. Сентября 28-го.

Письмо твое от 1 сентября я получил, мой милый друг Евгений.

На прошедшей неделе я имел известие о совершенно успешном окончании твоего экзамена и порадовался этому истинною радостию; еще несколько [2] месяцев труда по учебным твоим занятиям, и при помощи божией ты оставишь университет с приятным чувством сознания, что ты добросовестно исполнил свой долг на приготовительном поприще к жизни. Если в нынешнем году при университетских твоих занятиях ты будешь иметь время и возможность заняться судопроизводством на самом деле, то этим шагнешь далеко вперед.

Знать и уметь — две вещи часто совершенно разные; уменье и без знаний кой-как плетется своим путем на свете, а знание без уменья в действительной жизни — прежалкая и пресмешная вещь.— Причины,

почему до сих пор не только у нас, но и везде при образовании юношества обращают внимание единственно почти на одно только знание, скрываются, может быть, во мраке времен протекших.

Я просил бабушку прислать мне книжку Слонимского [3], в которой объяснено устройство его числительного прибора; посредством этого прибора очень простого устройства, как сказано было в объявлении, можно без труда и малейшего размышления делать сложение, вычитание, умножение и деление. Изобретение такого прибора было бы истинный клад, и ученые хлопочут об этом уже несколько столетий; для меня любопытно было ознакомиться с гениальным открытием Слонимского; на место его книжки бабушка прислала его прибор для сложения и вычитания; позабавившись этой затейливой игрушкой, я убедился, что она никогда в употреблении не заменит у нас счеты, на которых русский человек привык так легко и верно совершать все свои выкладки.

Премного благодарю тебя за предложение прислать мне некоторые из твоих исторических книг; заниматься дельно историей в Ялуторовске мне не по силам, а читать для того, чтобы не думать, у меня есть пока русские и французские журналы.

Прости, мой милый друг, крепко тебя обнимаю, обними за меня Вечеслава и поцелуй за меня ручку у бабушки Катерины Васильевны.

Иван Якушкин.

77. И. Д. ЯКУШКИН и М. И. МУРАВЬЕВ-АПОСТОЛ — С. П. ТРУБЕЦКОМУ [1]

1846. Ялуторовск. Ноября 9-го

Крепко обнимаю тебя, мой любезный друг Сергей Петрович, целую ручку у Катерины Ивановны и прошу тебя обнять за меня твоих деток; я гощу и загостился у Матвея Ивановича; три уже недели живу у него под предлогом, что у меня в это время морозят тараканов; хозяева у меня добрые, балуют меня донельзя, общих занятий у нас

довольно, и время тут летит для меня еще быстрее обыкновенного. О подробностях нашего житья-бытья ялуторовского я к тебе не пишу; по этой части все, что может быть для тебя любопытного, ты узнаешь от прочих своих ялуторовских корреспондентов [2]. Я очень виноват перед Катериной Ивановной; давно получил письмо ее и до сих пор не отвечал на него и, несмотря на мою неисправность в переписке с обоими вами, уверен, что вы не сомневаетесь в неизменной моей дружбе к вам. Прости, мой милый друг, и на прощанье опять крепко обнимаю тебя.

Иван Якушкин.

Ялуторовск [3]. 1846, ноября 9.

Я получил, мой добрый Сергей, на прошлой неделе твое письмо от 16 сентября и так как, по-моему, нельзя лучше доказать удовольствие от получения письма, как ответив на него тотчас, я намерен был писать к тебе в прошлую субботу, но визиты, которые отняли у меня целое утро, заставили меня отложить ответ до сегодня.

Моя жена была очень больна и очень страдала в течение двух последних недель,— вот что вызвало те визиты, о которых я говорю. Не имея здесь решительно никого, к кому мы могли бы обратиться в случае заболевания, я не могу тебе сообщить причины, вызвавшие страдания моей жены. Бог в своей бесконечной милости послал мне на время этого испытания нашего дорогого, хорошего Ивана Дмитриевича, который обычно проводит под нашей кровлей ежегодно несколько недель. Он был для меня, как ты хорошо понимаешь, большим помощником и большой поддержкой. Здоровье моей жены, слава богу [поправилось]. Завтра мы все намерены отправиться обедать к Ив. Ив. Пущину, который собирает нас у себя по воскресеньям.

Наша маленькая колония увеличилась тремя новыми членами — вдовой и двумя детьми Вильгельма Кюхельбекера [4]. Пущин — признанный попечитель наших вдов. Его чудесное сердце и справедливый ум, обладающий большим тактом, дают ему все возможные права на это. Мы надеемся, что дети нашего покойного товарища будут приняты родственниками, которые остались у Вильгельма Карловича в России. Семилетний мальчик посещает пока нашу приходскую школу, основанную нашим достойным и уважаемым протоиереем, а маленькая девочка играет в куклы, так как еще слишком мала для ученья.

Мой отец прислал мне 400 р. серебром, добавив, что я получу такую же сумму в конце года. Ты видишь, что мои дела с этой стороны улучшаются.

Я очень доволен, что мог освободиться от всех своих долгов, которые принужден был сделать для поддержки нашего существования.

Моя жена передает тебе тысячу приветствий, так же, как и княгине, а я почтительно целую ей руки. Верь, мой добрый Сергей, признательности за то, что ты сохраняешь ко мне благожелательные чувства, несмотря на годы долгой разлуки. Крепко и нежно обнимаю тебя.

М.

78. И. Д. ЯКУШКИН — Е. И. ТРУБЕЦКОЙ [1]

Ялуторовск. 1846, декабря 15

Начинаю с пожелания вам хорошего года, княгиня; желаю вам провести его в добром здоровье; вам и всем вашим я не осмеливаюсь выразить пожелание, чтобы все затруднения жизни, неизбежные для каждого при всяком положении, миновали бы вас: это было бы высказыванием невыполнимых пожеланий; я предпочитаю пожелать вам полного доверия к тому, кто никогда не обманывал искренних надежд на его неисчерпаемую благость, кто успокаивает наши горести, когда в минуту печали мы протягиваем к нему руки, кто умеет умножить нашу радость, если мы не так скверны, чтобы забыть о нем в минуту счастья.

Мне нет нужды говорить вам, с каким интересом читали мы все четверо вместе ваши милые письма от 1 ноября к Оболенскому и ко мне. Жизнь, которую вы ведете в Иркутске, кажется во многих отношениях гораздо лучше той, которую вы вели в Оёке. До сих пор вы можете только радоваться судьбе своих двух девочек [2]; внимание, уделяемое им Каролиной Карловной, проявляемые ею заботы, которые вы можете сами ежедневно оценивать, верная гарантия, что обе ваши девочки получат такое хорошее воспитание, какого вы и ваш муж желаете для них. Полагаю, что дорогая моя Саша, которая стала уже взрослой барышней, должна быть очень счастлива, видя своих сестер так хорошо устроенными, а они сами должны радоваться на любовь своих родителей и воспользоваться преимуществами общественного воспитания [3].



И. Д. ЯКУШКИН
(с неизданного портрета работы Р. Жилина. 1844 г. Подлинный — в Государственном историческом музее в Москве).

Женитьба Петра Ивановича несколько всех нас удивила, но потом, когда я подумал о влиянии такого превосходного сердца, как у него, я не посмел даже на миг сомневаться в том, что он сумел сделать счастливой особу, которая решила стать его женой; если вы увидите его, прошу вас пожать ему за меня сердечно руку и сказать, что я желаю ему всякого благополучия.

И на этот раз я не говорю вам о нашей здешней жизни; каждая божья неделя почти одно и то же в нашей общественной жизни. Тем более я не сообщаю вам московских известий. Моя теща пишет вам аккуратно и сообщает вам о моей жене и детях. Целую нежно вашу руку, добрейшая моя Катерина Ивановна, и прошу вас обнять за меня вашего мужа и ваших детей. Думаю, что Оболенский писал вам на прошлой неделе, а Пущин пишет сегодня.

И. Якушкин.

79. И. Д. ЯКУШКИН — В. И. и Е. И. ЯКУШКИНЫМ [1]

1847. Ялуторовск. Генваря 11

Странную ты задаешь мне задачу своими письмами, мой милый друг Вечеслав, вынуждая меня защищать тебя против тебя самого. Ты всякий раз пишешь ко мне, что ты чрезмерно ленив и ничего не делаешь, а между тем из последнего твоего письма видно, что университетские твои занятия нисколько тебя не затрудняют, из чего следует заключить, что ты заблаговременно с ними управился, прилежно трудившись прежде, или что ты имеешь способность без труда управляться с делом. Кажется, что из слов твоих я устроил наистрожайше точный вывод тебе же в похвалу. Если ты, высказывая мне свои слабости, поступаешь со мной, как юная красавица, которая говорит беспрестанно влюбленному своему супругу о своих недостатках в уверенности, что это одно из средств его еще более привязать к себе, то я могу только благодарить тебя за такую доверенность, а если тебе покажется, что все, здесь мной написанное, большой вздор в сравнении

с тем, о чем я мог бы писать к тебе, то, может быть, ты будешь и прав в своем суждении, но все-таки прошу тебя, не осуди меня за этот вздор.

Прости, мой милый друг. Крепко тебя обнимаю.

Ты пишешь, мой милый друг Евгений, что у тебя очень много хлопот, и, как видно, очень дельных хлопот, с которыми ты не имеешь возможности управиться, как бы тебе желалось; с твоим трудолюбием, бог даст, все это уладится вполне хорошо. Опять уверяю тебя, что я нисколько тебя не осуждаю за разнообразность в твоих занятиях; напротив, мне кажется, если бы я узнал, что в твои годы ты постоянно занимаешься одним и тем же предметом, то я бы призадумался. Конечно, ученый, который всю жизнь корпит исключительно над какой-нибудь одной частью науки, может быть очень полезен для самой науки, точно так же, как и человек, который во всю свою жизнь делает только булавочные головки, может быть полезен для промышленности, но еще никак не доказано, чтобы тот и другой такими исключительными занятиями не умаляли в себе много способностей, да с ними вместе и самого достоинства человека.

Критику и разбор русских книг в «Отечественных записках» я читаю очень прилежно. Статью о стихотворениях Кольцова я прочел с удовольствием, но не знал, что сочинитель ее — брат того Майкова, которого отрывки я читал также с большим удовольствием в «Отечественных записках» [2].

Прости, мой милый друг. Крепко тебя обнимаю.

И. Якушкин.

80. И. Д. ЯКУШКИН — Е. Г. и Е. И. ЯКУШКИНЫМ [1]

1848 г. 23 марта [Ялуторовск].

Я писал тебе неделю тому назад, моя милая и дорогая Елена, и сегодня опять пользуюсь случаем написать тебе еще. Узнав о всем том, что произошло во Франции, я старался держать себя в руках и

не поддаваться опасениям о том, что́ в этой шумихе могло с вами случиться,— с тобой и с моим дорогим Евгением; и вот на следующий день после этой новости я получаю письма от моей тещи, которая сообщает мне о вашей свадьбе в Париже 13-го прошлого месяца, что совпадает с последним днем шумного представления, только что данного миру французами на улицах Парижа [2]. В виде свадебного подарка я всеми помыслами призываю на ваш союз благословение неба и предложил бы вам свои самые дружеские, преданные и нежные чувства, если бы они уже с давних пор вам не принадлежали. Прости, дорогое дитя, обнимаю тебя от всего сердца и прошу тебя нежно поцеловать за меня твоего мужа.

Ты можешь легко себе представить, мой милый друг Евгений, с какою радостью я получил известие о твоей женитьбе. Крепко жму тебе руку и поздравляю с окончанием этого благого дела, столь близкого твоему сердцу. Я не мог не похвалить тебя в душе за присутствие духа; дела с бездельем никогда не должно смешивать, а твое дело в Париже было жениться, и тебя от него не могли отвлечь ни шум, ни самая занимательность Пролога, разыгранного на улицах Парижа. С нетерпением буду ждать дальнейших о тебе известий. Бабушка в последнем своем письме говорит мне, что ты собираешься скоро писать ко мне и что вы еще на некоторое время остаетесь во Франции, а может быть, теперь вы уже оставили Париж и по прежнему твоему предположению переселились в Берлин, где ты опять пристально принялся за учебные занятия; в последние годы ты с ними так свыкся, что, конечно, их не покинешь и при помощи божией приобретешь средства быть дельным человеком в обширном смысле этого слова.

Конечно, у нас до сих пор мысль и знание не имеют того почета, каким они пользуются на Западе, но зато без шуму и без блеску они у нас приносят более пользы, нежели где-нибудь, и я уверен, что человек, искренно и совершенно бескорыстно посвятивший себя на святое служение истины, если не всегда услышит громкий отголосок на свое слово, то всегда найдет у нас плодородную почву, на которой брошенные им семена принесут обильный плод.

Я, кажется, не писал к тебе, что Вася Муравьев, при проезде своем в Иркутск, пробыл у меня несколько часов, и я с ним хотя не вдоволь, но все-таки с истинным наслаждением поговорил о вас, мне милых [3].

Надеюсь, что Вечеслав к тебе пишет; по всем известиям, он пристально занимается делом по службе, чему я очень рад. Тут первый прием, как и во всяком деле, очень много значит.

Прости, мой милый друг, еще раз дружески жму тебе руку.

81. И. Д. ЯКУШКИН — Е. И. ЯКУШКИНУ

1848. Ялуторовск. Мая 1-го

Письмо твое из Берлина от 23/11 марта на нынешней неделе я получил, мой милый друг Евгений. Бабушка, сколько имеет возможности, часто извещает меня об вас, и ты можешь себе представить, с каким чувством я всякий раз ожидаю ее письма; от 27 марта она писала, что вы, может быть, скоро будете к ним в деревню, чего ей, кажется, очень желается, а из того, что ты пишешь ко мне, можно заключить, что вы расположились на житье в Берлине. Ты так просто и спокойно описываешь мне ваше там пребывание, что и мне легко стало на сердце, когда я вообразил ваше мирное существование посреди окружающей вас трескотни [1]. Если ты не привык говорить по-немецки, то, я полагаю, для тебя будет затруднительно, особенно сначала, понимать лекции на этом языке, но, впрочем, с прилежанием и твердой волей преодолевают и не такие затруднения. Я очень верю, что если ты останешься в Берлине, то употребишь время на пользу, а не на какие-нибудь пустые увеселения, с тем чтобы, возвратясь на родину, быть при помощи божией и другим на пользу. Разбор de «L'histoire de la révolution» par Michelet читал в «Journal des Débats», который, кажется, не большой охотник до Мишлэ; я когда-то тебе высказал мое мнение о его сочинении «L'histoire de France» [2]; и точно, в этом сочинении, несмотря на самохвальство француза, много есть прекрасных страниц, и я прочел его с большим удовольствием. Зато я едва имел терпение окончить седьмую часть «Le Consulat et

l'Empire»,— что за утомительные подробности и что за бессовестное хвастовство во всем рассказе; теперь можно уже предвидеть, как будет бессовестно лгать Thiers, если он когда-нибудь дойдет в своем сочинении до 12-го, 13-го и 14-го годов[3]. С некоторого времени французы беспрестанно толкуют о должном уважении к истине и человечеству, но до сих пор, кажется, они уважают и потому только хвалят самих себя. Впрочем, это их дело, а не наше.

Я бы мог попросить тетушку Пелагею Васильевну переслать мое письмо к тебе из Петербурга прямо в Берлин, но на этот раз отправлю его к бабушке; или ты получишь его в Покровском, или бабушка распорядится им по своему разумению.

Прости, мой милый друг. Крепко тебя обнимаю. Обними за меня свою Леночку, она наверно не взыщет, что на этот раз я не пишу ей.

И. Якушкин.

82. И. Д. ЯКУШКИН — Е. И. ЯКУШКИНУ

1848. Ялуторовск. Сентября 18-го

Прочитавши твое письмо от 5/17 августа, мой милый друг Евгений, я преприятно побеседовал с тобой; ты смотришь на многие предметы с той же точки, как и я, и в этом я вижу ручательство, что и ты и я, мы всегда можем понимать друг друга. Самый сильный человеческий ум, проявляясь в самом строгом логическом порядке, редко бывает до такой степени независим от внешних причин, чтобы всегда действовать самостоятельно, более или менее, и часто несознательно для самого себя, он служит орудием похотям сердца самого человека, словом: l'esprit croit aisement ce que le coeur désire[1]. Этим только и можно пояснить все глупости, сказанные умными людьми и которым часто верили люди не глупые; тем же поясняются и неистовые жестокости, высказанные таким человеком, каким был Мальтюс, и которым верили люди даже не жестокие. Мальтюс по рождению и по самому положению своему в обществе не принадлежит собственно к аристократам, бог знает, какими судьбами попал под знамя аристократии

Англии, и надо ему отдать справедливость, отчаянно защищал это знамя; какую надо иметь отчаянную смелость, чтобы произнести во всеуслышание те слова, которые ты приводишь из него в последнем своем письме [2]; впоследствии он от них как будто отрекся, не смея повторить их в следующих изданиях знаменитого своего сочинения; дерзость его возбудила сильное сопротивление в его противниках, теперешних хартистах [3], сосиалистах и пр., и в главе которых стоял тогда Godwin [4]; и какие же вышли последствия из этой борьбы самых сильных умов в Европе: люди умирают пока с голоду не только в Ирландии, но и в Англии, и во Франции, и в Германии, весь Запад разделился на два противных стана, и, конечно, ум человеческий, орудуя своим только могуществом, не примирит их без любви, завещанной нам более осьмнадцати столетий тому назад, все его усилия были и будут тщетны.

Очень и очень верю, что ты не теряешь времени попустому в Берлине, и узнавши, что по обстоятельствам ты должен скоро возвратиться во-свояси, я искренно пожалел, что ты по желанию своему не мог слушать до конца университетский курс в Берлине; я уверен также, что с переменой места учебные занятия твои нисколько не прекратятся и что, при помощи божией, теперешний добросовестный труд доставит тебе возможность, вступивши на службу, успешно трудиться на пользу других. Прости, мой милый друг. Крепко тебя обнимаю. Обними за меня также крепко милую Леночку.

И. Якушкин.

83. И. Д. ЯКУШКИН — Е. И. ЯКУШКИНУ

1849. Ялуторовск. Апреля 9-го

Письмо твое от 8 марта, мой милый друг Евгений, я получил с последней почтой; до сих пор все еще нет для меня утешительного известия о совершенном выздоровлении Леночки, но слава богу, что ей хоть сколько-нибудь получше.

Учение профессора политической экономии, о котором ты упоминаешь в своем письме и который хотел уверить своих слушателей, что не будь бедности, не было бы ничего прекрасного в нравственном мире, истинно забавно; отдавая одним в удел бедность и признательность к благодетелям, а другим богатство и чувство милосердия, он, вероятно, сам захотел бы стать в разряд последних, а не первых[1]. В средних веках было учение не менее нелепое, но более добросовестное, нежели учение московского профессора; в нем страдания человека принимались за цель его жизни; теперь покажется почти невероятным, чтобы были когда-нибудь люди с высоким, но слишком восторженным умом, которые почитали своей обязанностью всячески и ежедневно истязать себя, в то же время колесовали и жгли на кострах людей, называя их своими братьями и не обращая никакого внимания на их страдания.

Когда-нибудь, может быть, покажется также невероятным, чтобы многие люди нашего времени, очень умные и даже иные очень добрые, увлекались ученьем, которое ставит наслаждение как окончательную цель в жизни человека.

Все, что ты пишешь о Жукове, очень и очень меня радует; я никак не ожидал, чтобы состояние тамошних крестьян до такой степени улучшилось, что между ними нет бедняков, а есть люди даже очень зажиточные; еще более для меня поразительно, что первоначальная грамотность сделалась для них потребностью[2]; менее тридцати лет тому назад не было между ними ни одного грамотного человека, и они все боялись грамоты, как огня. Мне случалось много слышать и читать за и против первоначальной грамотности: признавая ее за самое действительное орудие для образования, иные полагают, что это орудие обоюдоострое и может равно служить и на пользу и во вред. Огонь также приносит огромный вред пожарами, но потому не менее во всяком доме топят печи. К тому же противники грамотности не обращают довольно внимания на то, что при составлении самой азбуки было так много мысли, что, изучая уже азбуку, человек необходимо должен сколько-нибудь осмыслиться, а осмыслить хоть сколько-

нибудь человека должно, кажется, быть желанием всех людей мыслящих.

Прости, мой милый друг. Крепко тебя обнимаю. Обними за меня Леночку.

И. Якушкин.

84. И. Д. ЯКУШКИН — Е. И. и Е. Г. ЯКУШКИНЫМ

1849. Ялуторовск. Июля 9-го

Вчера я получил твое письмо от 8 июня, мой милый друг Евгений. Теперь ты уже, вероятно, поступил на службу, и я очень рад за тебя, что ты будешь иметь такую должность, при которой тебе будет удобно заниматься попрежнему любимым твоим предметом. Постоянство твое в занятиях точно замечательно, и я не сомневаюсь, что оно принесет тебе существенную пользу. Что многие вопросы в политической экономии очень важны для изучения уголовного права, в этом нет никакого сомнения,— но я не совсем понимаю, почему ты полагаешь, что для изучения уголовного права история не имеет большой важности; в умозрительном отношении, может быть, это и так, но в приложении, кажется, одна только история постепенного развития общественного порядка и может указать на постепенный ход понятий о том, что называют уголовным правом и что для науки не маловажно. Чтобы убедиться в этом, стоит только взглянуть на уголовные законы одного из самых образованных народов под луной. У англичан и до сих пор относительно некоторых преступлений такие жестокие законы, что если бы они исполнялись в наше время, то англичане, конечно, были бы самый дикий народ из всех народов, исповедующих христианство; а было время, что эти законы почитались краеугольным камнем общественного устройства и со всей строгостью исполнялись. Почему такие законы не отменены, когда они никогда более не исполняются, это особенный вопрос, на который, чтобы отвечать удовлетворительно, надо бы исписать много листков и к тому же, как ты знаешь, все это не по моей части.

Поздравляю тебя с открытием курганов в окрестностях Покровского; вероятно, они имеют одинакое происхождение со всеми курганами, которые тянутся почти по всему огромному пространству России; я их видел в Херсонской губернии и точно такие же в губерниях Харьковской, Орловской, Тульской, Московской, Рязанской и пр.; и точно такие же курганы тянутся по всей Сибири; когда-то этот предмет занимал наших археологов.

Крепко обнимаю тебя, мой милый друг. Обними за меня Вечеслава [1].

Спасибо, дорогая Елена, за хорошие вести о твоем здоровье. Ты говоришь, что в настоящее время читаешь «Французскую революцию» Тьера [2],— я уверен, что этот труд в общем доставил тебе удовольствие, но немного наскучил некоторыми подробностями военных операций. Нежно обнимаю тебя, дорогое дитя.

И. Якушкин.

85. И. Д. ЯКУШКИН — Е. Г. и Е. И. ЯКУШКИНЫМ [1]

[Ялуторовск]. 1849. 3 сентября.

Для меня настоящее счастье, моя дорогая Елена, знать, что ты благополучно разрешилась от бремени. Менее всего на свете надеялся я (видишь мое простодушие) стать дедом, и от всего сердца благодарю тебя за внучку, которая, по словам моей тещи, в полном смысле прекрасное дитя. Я сам не знаю, как это случилось, но я очень хорошо чувствую, что люблю это маленькое существо всеми силами моей души, и за это счастье я искренно благодарю небо. Теперь всякий раз, когда я вижу хорошенькую девочку возраста Оленьки, я смотрю на нее с любовью, полагая, что она, может быть, похожа на нашу малютку. В момент, когда я пишу тебе, я чувствую себя столь близким тебе, что с сожалением думаю о тысячах верст, разделяющих нас. Нежно целую тебя, дорогая Елена. Да будет благословение неба над вами тремя, мои дорогие дети. Когда будете ласкать нашу крошку Оленьку, думайте временами о ее дедушке.

От всей души поздравляю тебя, мой милый друг Евгений, с перворордной твоей дочерью и моей внучкой; вполне понимаю, что́ при этом случае ты должен был перечувствовать, и слава богу, что все кончилось благополучно. Сегодня по этому случаю ничего более сказать тебе не умею.

Что ты занимаешься и занимаешься полезно, я в этом уверен, хотя польза твоих занятий и не всегда для тебя ощутительна. Мне иногда приходит на мысль, что служба твоя по архиву может дать новое и более определенное направление твоим занятиям. То, что ты говоришь вообще о чтении газет у нас, совершенно справедливо; в умственном образовании мы далеко отстали от Запада. Эта пошлая истина неоспорима, но для всякого благомыслящего человека одного этого сознания недостаточно; он должен еще необходимо верить и тому, что всякий добросовестный, бескорыстный и полезный труд, как семена, брошенные на вновь разработанную почву, приносит у нас более обильный плод, нежели где-нибудь; и счастливы те, кто прилежно и с верою трудятся, зная, что они готовят обильную жатву для следующего поколения.

Прости, мой милый друг, крепко тебя обнимаю. Обними за меня Вечеслава.

86. И. Д. ЯКУШКИН — Е. И. и Е. Г. ЯКУШКИНЫМ[1]

1849. Ялуторовск. Октября 22-го

Письмо твое от 20 сентября, мой милый друг Евгений, я получил. Вероятно, Вечеслав по неохоте своей писать письма будет очень доволен, узнавши, что ты отвечал за него на последний мой листок к нему. Я надеюсь, что при помощи божией он успешно исполнит данное ему поручение; при неопытности в деле возбуждается иногда особенное внимание, до некоторой степени заменяющее самую опытность; вообще я думаю, что поездка Вечеслава в Тульскую губернию может ему принесть значительную пользу во многих отношениях, и в

особенности, поставив его в необходимость действовать по собственному своему усмотрению, бывши в столкновении с людьми совершенно ему посторонними.

Ты продолжаешь приобретать книги у Сухаревой башни; в мое время, кажется, не было там никакой книжной торговли; я знал несколько мелочников на Никольской [2], у которых мне случалось покупать очень дешево французские книги; впрочем, я никогда не был так называемым библиофилом. Я знаю одно сочинение Mercier, но наверно не то, которое ты купил у Сухаревой башни; это также описание Парижа, но, сколько мне помнится, Парижа осьмидесятых годов прошедшего столетия; в этом сочинении Mercier говорит о Месмере и магнетических его проделках [3]. Любопытно видеть, как французы того времени, не позволявшие себе ничему верить, чему верили прежде, обращались с поклонением к таинственному проповеднику животного магнетизма.

Из последних твоих писем мне показалось, что ты недоволен своей перепиской со мной; за себя могу тебе поручиться, что, получая твои строки, я всегда их читаю потому уже с удовольствием, что ты их писал. Ставя в расчет обстоятельства, управляющие нашей перепиской [4], я и к тебе и к самому себе очень снисходителен, и тебя прошу, когда тебе случается быть недовольным письмом, которое ты ко мне напишешь, или тем, которое ты от меня получишь, потерпеть и себя и меня в этом отношении.

Прости, мой милый друг. Крепко тебя обнимаю. Обними за меня брата [5].

Я очень доволен, дорогая Елена, что твое здоровье, так же как и Ольги, теперь, слава богу, совсем хорошо. Моя теща часто говорит мне о своей правнучке, и каждый раз, как об очень милом и хорошеньком ребенке. Я счастлив при мысли о том, до какой степени это дорогое маленькое существо, с тех пор как оно на свете, украшает существование своих родителей. Да сохранит нам ее бог. Прощай, дорогое дитя, нежно обнимаю тебя и прошу тебя так же поцеловать нашу дорогую крошку.

И. Якушкин.

87. И. Д. ЯКУШКИН — Е. Г. и Е. И. ЯКУШКИНЫМ[1]

Ялуторовск, 1849. 26 ноября

Знаешь ли ты, дорогая Елена, что присылкой мне портретов, своего и Евгения, ты доставила мне большое удовольствие и что со временем я хочу отблагодарить тебя от всего сердца; теперь ты еще обещаешь в будущем прислать мне портрет Оленьки — это решительно значит меня баловать и, верь мне, что если я не говорю тебе сегодня миллион нежностей, то лишь потому, что я не упражнялся в этом занятии и, импровизируя в этом духе, я взялся бы за это неловко. Пусть моя внучка будет похожа на мать или на отца,— если судить по находящимся передо мною вашим портретам, она может быть только хорошенькой, а хорошенький ребенок, хотя и немного живой, является маленьким сокровищем, которое материнское сердце всегда умеет оценить; поэтому я понимаю, до какой степени ты должна быть счастлива, проводя время с этим милым ребенком. Здесь есть девочка на месяц старше Оленьки, которая, каждый раз как видит меня, улыбается и протягивает мне обе свои маленькие ручки, чтобы я взял ее попрыгать. Я заметил, что даже самые маленькие дети обладают инстинктом, заставляющим их понимать, кто относится к ним благожелательно, и никогда не высказывают своих симпатий равнодушным. Мать этой маленькой девочки приносит ее мне каждый раз, как я бываю у них в доме, сразу поняв, что ребенок, будучи приблизительно одних лет с Оленькой, интересует меня. Я нахожу положительно восхитительным тот простой способ, который употребляет провидение, чтобы расширить нашу благожелательность по отношению друг к другу: мы начинаем с того, что любим только близких, но чувство любви, хорошо пробужденное, все больше и больше расширяется и по незаметным причинам. Но я, сам не знаю как, вдался в общие места, а взявшись за перо, хотел говорить только об Оленьке. Прошу тебя, дорогая Елена, часто целовать ее за меня так же нежно, как я обнимаю тебя, заканчивая свое послание.

Из всего того, что ты ко мне пишешь, мой милый друг Евгений, я более и более убежден, что, благодаря бога, вы живете втроем, посереди широкой Москвы, спокойно и прекрасно, и для меня всякий раз привольно побывать мысленно вместе с вами. Вполне понимаю, что как ни маловажны твои обязанности на службе, ты ими занимаешься пристально и добросовестно. Служить, как говорится, спустя рукава, и какая бы ни была служба, всегда более или менее развращает человека.— Мнение твое о постепенно возрастающем развитии одного поколения перед другим, может быть, и справедливо. Я в этом деле не судья, у меня перед глазами не происходит никакого развития, но об этом когда-нибудь в другой раз, а теперь надо с тобой проститься и написать бабушке. Крепко тебя обнимаю, обними при случае за меня Вечеслава.

И. Якушкин.

88. И. Д. ЯКУШКИН — Е. И. и Е. Г. ЯКУШКИНЫМ [1]

1850. Ялуторовск. Генваря 13-го

Вчера, мой милый друг Евгений, я получил твое письмо от 7 декабря и прочел его с особенным удовольствием; оно меня порадовало тем, что я вижу из него, как ты верно понял причину, почему переписка моя с тобой должна быть часто затруднительна. Пока ты был ребенком, я писывал к тебе без малейшего затруднения всякий вздор, какой попадался мне на перо; и теперь, несмотря на мою вообще неловкость по письменной части, мне случается без затруднения писать к людям посторонним или по крайней мере менее мне близким, нежели ты, и причину этому ты определил как нельзя лучше в последнем своем письме. Всякая мысль, всякое чувство, не вполне выраженные, облекаются неминуемо в нелепость, и ты можешь себе представить, как для меня не только неловко, но иногда и больно, писавши к тебе, сознательно быть нелепым. Конечно, в моих письмах к тебе я мог бы разыгрывать вариации на голос: «милый мой Евгений! Я люблю и уважаю тебя душевно, и не потому только, что ты

мой сын, а еще более потому, что вполне этого заслуживаешь ты». Но ведь это была бы такая непристойность, до какой, при помощи божией, я надеюсь не дожить, и какую ты был бы совершенно вправе не простить мне. После всего этого следует вопрос: надо или не надо нам писать друг к другу? Я уверен положительно, что надо. В наших письмах мы подаем друг другу о себе голос, а слышать голос близкого человека, даже не понимая его речи за отдаленностью, приятно. Крепко тебя, мой милый друг, обнимаю, а когда увидишь Вечеслава, так же крепко обними его за меня.

И. Якушкин.

Ты поздравляешь меня, дорогая Елена, с моим 56-летием, и я благодарю тебя от всего сердца. Для меня было счастьем прожить достаточно долго, чтобы знать, что Евгений счастлив во всех отношениях. Я согласен с тобой, что Вечеславу было непростительно не писать к вам, когда он прекрасно знал, что из Тулы никто, кроме него, не мог дать о нем весточки; надеюсь также, что он исправил свою ошибку, прибывши к вам к праздникам и проведши их вместе с вами. Воображаю, как ты должна была быть счастлива, когда уловила на губах Ольги первую улыбку, принадлежащую тебе по праву. Я нежно целую ее и так же обнимаю тебя, дорогое дитя.

89. И. Д. ЯКУШКИН — Е. И. ЯКУШКИНУ

1850. Ялуторовск. Февраля 15-го

Письмо твое, мой милый друг Евгений, от 14 генваря я получил. Понимаю, как для тебя было приятно сообщить мне добрую весть о возможности завести училище в Жукове для крестьянских мальчиков по желанию самих жуковских крестьян. В этом отношении между ими произошел огромный успех: я помню, что сначала для меня было трудно их уверить, что, бравши их детей для обучения грамоте, я не имел при этом никакой сокровенной своекорыстной цели [1]. Что в твоем училище будут учиться только читать и писать, для меня

очень понятно; всякое дело следует начинать с начала; дай бог тебе в этом благом деле полный успех. Ты пишешь, что общее мнение в наше время противно введению первоначальной грамотности в народе; нельзя не пожалеть об этом общем мнении, зная, что ему необходимо придется уступить обстоятельствам. Несмотря на все возгласы против грамотности в продолжение тридцати лет, на Западе в это время имеем грамотность распространенной с неимоверным успехом. Взглянувши на книжку Маслова о распространении грамотности в России [2] и которая, вероятно, была у тебя в руках, нельзя не убедиться, что и у нас все люди, добросовестно и великодушно мыслящие, сочувствуют добрым желаниям доброго человека о распространении у нас первоначальной грамотности в народе, а при сочувствии таких людей нет возможности сомневаться в успехе самого дела... Гимнастические упражнения, введенные у нас во многих учебных заведениях, несмотря на то, что нельзя доказать прямой их пользы, не возбуждают ни соблазна, ни споров; никто не сомневается, что, упражняя телесные силы, они укрепляют телесное здоровье.

Если бы нельзя было доказать прямой и вещественной пользы для крестьянина уметь читать и писать, то все-таки осталось бы несомненным, что обучение грамоте, упражняя его умственные способности, остепеняет его и делает сколько-нибудь более человеком. Все это сказал я тебе из одного желания поговорить с тобой об этом любопытном предмете, зная, что мы тут с тобой во всем совершенно согласны.

Прости, мой милый друг. Крепко тебя обнимаю. Обними за меня, Леночку, Оленьку и Вечеслава, когда его увидишь.

И. Якушкин.

90. И. Д. ЯКУШКИН — Е. Г. и Е. И. ЯКУШКИНЫМ [1]

1850. Ялуторовск. 15 марта.

Я только что получил, моя милая и дорогая Елена, написанные тобою недавно строки, пересланные мне бабушкой в ее письме.

Я получил истинное удовольствие, читая подробности, которые ты даешь мне об Оленьке; я понимаю, как ты должна быть счастлива, всецело обладая ее нежностью, и даже предполагаю, что Евгений и няня должны испытывать ревность. Мысленно я очень часто бываю с вами, напрягая воображение, стараясь проникнуть в ваш маленький рай; в этом отношении я похож на «Пери» Мура [2], но далеко не так несчастлив, как она — не имевшая возможности разделить участь блаженных: я уже счастлив, думая о счастье своих дорогих детей.

Я был очень рад, что Вечеслав провел с вами несколько дней; он сам написал мне несколько строк из Москвы, и я благодарен ему за это, видя в том усилии, которое он сделал над своею ленностью, доказательство бывшего у него желания доставить удовольствие своей бабушке. Мне кажется, что однажды я уже говорил тебе об его портрете-дагерротипе, который он прислал мне из Петербурга; мне часто случается любоваться этим красивым лицом, полным кротости и ума, и я делаю это с тем большей уверенностью, что знаю, как мало в подобных произведениях солнце имеет обыкновение льстить людям. Смотря на ваши портреты, я каждый раз вспоминаю, что в перспективе у меня еще удовольствие получить портрет Оленьки. Прошу тебя нежно поцеловать ее за меня. Но мне пора, уже проститься с тобой, чтобы написать Евгению. Обнимаю тебя от всего сердца и души, дорогое дитя.

Письмо твое от 15 февраля я получил, мой милый друг Евгений; с любопытством ожидаю появления в печати новой комедии молодого писателя, о которой ты ко мне пишешь [3]; бабушка мне назвала и комедию и сочинителя; если она появится в котором-нибудь из журналов, здесь получаемых, то я наверно ее прочту; для молодого человека, только вступившего на поприще литературное, с первого раза стать рядом с сочинителем «Ревизора», конечно, огромный шаг, хотя я должен тебе признаться, что самый «Ревизор» никогда не возбуждал во мне особенного восторга; но обо всем об этом когда-нибудь после, а теперь пора и тебя оставить, чтобы написать к бабушке. Крепко обнимаю тебя, мой милый друг.

И. Якушкин.

91. И. Д. ЯКУШКИН — С. Я. ЗНАМЕНСКОМУ[1]

17 мая 1850 г. [Ялуторовск].

Много благодарю вас, добрый друг, за два ваши письма. Мы все здесь по вас стосковались; сама Анна Федоровна, как она всем говорит, не ездит к обедни потому, что не вы служите; после этого согласитесь, что вы человек всеми любимый, но ради бога не возгордитесь. Что вам сказать о наших собственных с вами делах? Они идут и хорошо, и плохо: на последней неделе вновь поступило в училище тринадцать девочек, их теперь слишком пятьдесят, и это хорошо, но то плохо, что скоро некуда будет их принимать, а возможности скоро выстроить новое училище еще не предвидится; недели три тому назад Анна Васильевна писала, что с следующей почтой пришлет доверенность на продажу своего дома в пользу нашего училища; но и до сих пор доверенность не получена. Некоторые полагают, что Бурцев писал к Мясниковой, и, может быть, она, получив его письмо, отменила намерение отдать нам свой дом; впрочем, что будет, то будет, а будет, что бог велит...

С наступлением теплой погоды оказалось, что летом никакой нет возможности заниматься у нас внизу рукодельем. Я просил Николая Герасимовича пустить нас к себе во флигель, на что он согласился с одним условием, чтобы мы ему ничего за это не платили; я мог только от души поблагодарить его за такую любезность, но вышло, что мы все-таки к нему не перешли: Николай Яковлевич пустил нас в дом Снигирева, разумеется, безденежно, и там нашим девицам во всех отношениях очень удобно, а наставницы наши, Анисья Николаевна и Августа, подвизаются усердно. Они мне дали 10 рублей серебром из выработанных денег их ученицами. Феоктиста также хорошо действует.

У мальчиков число прибывших очень незначительно, а Абрамов непременно хочет, чтобы мы ему дали учеников тридцать. Он вообще дурит и много сбивается на Лукина[2]. Я был у него несколько раз и обо всем с ним как с порядочным человеком говорил просто и

откровенно; после этого, представьте мое удивление, когда я узнал, что он всячески придирается к нашим училищам. К мальчикам он заходил один раз, а у девочек и ни разу не был. Евгению он сказал напрямик, что ни то ни другое училище не должно существовать. Встретившись со мной на улице, он мне сказал почти то же, но в таких странных выражениях, что я решился тут же объясниться с ним, и так как вам известно, что в подобных случаях я не умею говорить иначе как очень громко, то он и попросил меня итти с ним дальше и увел меня за собор; там я ему определил в точности и его и мое положение, что я, конечно, не имею никакого права заведывать училищем, и если я с ним говорил откровенно, то потому, что почитал его человеком порядочным, но что после всего того, что он мне сказал, я с ним незнаком и что он может делать на меня донос куда ему угодно. Объяснил ему также, что ему никакого нет дела до наших училищ и проч., всего не упишешь на этом листке. Если Чигиринцев окажется человеком порядочным, то я откровенно переговорю с ним обо всем.

92. И. Д. ЯКУШКИН — С. Я. ЗНАМЕНСКОМУ

[Ялуторовск] 28 июня 1850 г.

С последней почтой я писал к вам, добрый друг, и просил вас похлопотать о разрешении нам строить училище на ограде церковной; с тех пор обстоятельства изменились. Вскоре по отправлении к вам моего письма привезли купленный тес для нашего строенья, который я отправил сложить в церковной ограде, но отец Александр выгнал оттуда подводы вместе с тесом, который был не весь еще сложен. На другой день я пошел поговорить об этом с Николаем Яковлевичем. Он мне советовал сходить самому к отцу Александру и попросить его о позволении сложить только лес в ограде церковной. Отец принял меня совсем не по-отцовски: на все мои уверения, что мы никак не приступим к самой постройке, не получив указа, и что прошу его

только позволить класть купленный лес в ограде, где уже лежат и дрова, и тес Куклина, он мне отвечал: «Не пущу, и если преосвященный разрешит указом строить училище на ограде церковной, я напишу в синод, а впрочем, мне толковать с вами некогда»,— и затем ушел в свои дальние покои. В ту минуту эта выходка отца Александра показалась бы мне презабавной, если бы тут не шло дело о существовании нашего училища. Я надеялся все еще уладить через Торопова. Торопов долго толковал с отцом и никак не мог вразумить его. После всего этого вы согласитесь, что, получив даже указ, решиться в отсутствии вашем строить на ограде церковной и ежедневно быть в столкновении с отцом Александром мне никак не приходится. А жаль, место прекрасное и на самой середине города; замечательно, что у нас теперь из 59 учащихся только пять учениц живут по эту сторону базара, а остальные все живут в той половине города, где находится училище.

Николай Яковлевич для постройки нашего училища дает место, принадлежащее Мясникову, против дома Снигирева, и если мы не придумаем ничего лучшего, то придется строиться на этом месте, которое далеко не так удобно, как место на ограде церковной; тут приходится по необходимости поставить строенье не лицом, а боком на улицу.

Плотников я нанял за 400 руб. на ассигнации поставить строение вчерне и покрыть его новым тесом. Перевезти его из Петровского Завода просили с меня 250 руб., я поскупился и за такую неуместную скупость буду должен поплатиться [1]. Как видите, у нас все идет не совсем ладно, но я надеюсь, что бог нам поможет, как он не раз помогал нам и прежде в общем нашем деле. С 1 июля в обоих училищах у нас начнутся вакации, и мне будет удобно хлопотать о постройке.

План, посланный вам с прошедшей почтой, вероятно, уже не будет годиться, и я прошу доброго Александра Львовича [2] начертить и утвердить другой; высота строения ему известна, а в ширину оно будет 16 аршин, на которых надо разместить пять окон.

21*

93. И. Д. ЯКУШКИН — Е. И. ЯКУШКИНУ[1]

1850. Ялуторовск. Июня 28-го.

Вчера я был обрадован твоим письмом от 31 мая, мой милый друг Евгений. Бабушка так избаловала меня, извещая еженедельно обо всех мне близких, что для меня было бы очень чувствительным лишением, если бы пришлось теперь долго не получать об вас известий.

Я очень рад за Леночку и Оленьку, что они хоть сколько-нибудь подышат чистым деревенским воздухом, а для Оленьки, у которой прорезываются зубки, это и очень кстати, жаль только, что ты с ними розно.

С ужасом представляю себе положение бедного дяди Алексея, когда он увидел Сережу, упавшего с седла, и что лошадь тащит его по земле; еще слава богу, что это происшествие не имело за собой более важных последствий.

Когда будешь писать в Покровское, и дяде и всем поклонись от меня.

Статью, над которою ты трудишься, я полагаю, ты готовишь к печати, и со временем, вероятно, я прочту ее в каком-нибудь журнале. Всякий добросовестный труд над каким бы то ни было предметом и в особенности над предметом историческим требует много времени; тут необходимо перечитать множество книг и иногда прескучных, потому только, что, может быть, в которой из них найдется несколько строк, поясняющих предмет.

Я уже несколько раз желал тебе и теперь опять желаю полного успеха в твоих занятиях. Если ты видаешь Ивана Александровича Фонвизина и Петра Яковлевича Чаадаева, то прошу тебя обоим им от меня поклониться.

Крепко обнимаю тебя, мой милый друг, обними за меня Леночку и Оленьку и поцелуй ручку у бабушки Катерины Васильевны.

И. Якушкин.

94. И. Д. ЯКУШКИН — Е. И. ЯКУШКИНУ

1850. Июля 2-го [Ялуторовск]

На этот раз не могу воздержаться, чтобы не написать к тебе, мой милый друг Евгений, письмо. Его доставит тебе Сергей Александрович, которого ты знаешь и который всех вас знает. В начале июня я писал к бабушке с купцом Филатовым, он же должен был доставить мое письмо и посылку Леночке; если вы все это получили, напиши ко мне только, что Леночка довольна моим подарком. По желанию твоему и по собственному желанию я пишу к тебе еженедельно через третье отделение. Пока жила бабушка [1], она своей любовью к нам всех нас сближала, и я тогда не очень хлопотал о том, часто или редко пишу к тебе; но с тех пор, что ее не стало, для меня необходимо получать от тебя письма часто и извещения о всех, мне близких. Я, слава богу, здоров, ученики и ученицы мои распущены на полтора месяца, но я немного пользуюсь этим временем и почти не имею минуты заняться чем-нибудь дома.

Приступая к постройке нового училища, в которое мне хочется перейти с моими ученицами до наступления зимы, я целый день на ногах. Хлопот много, но я ими не скучаю, зная, что без хлопот ничего не делается. Ученье у нас до сих пор идет очень успешно, в одном из училищ перебывало в осемь лет его существования около 400 учеников, а в другом в продолжение четырех лет с небольшим сто учениц [2], и я убедился, что наш способ преподавания [3] самый дешевый и потому самый удобный для образования народа, о котором пора подумать.

Содержание обоих наших училищ, включительно тут и жалованье преподавателям, не стоит и трехсот рублей серебром в год, а прежде оно стоило еще меньше. От преподавателя требуется только хорошее поведение и уменье обходиться с учениками и никаких особенных сведений; я в этом убедился на опыте. Дьячок, вышедший из пятого класса семинарии, не знавший ни географии, ни российской истории, ни геометрии, ни механики, прошел, и очень удовлеворительно, все

эти предметы с своими учениками; учивши их, он сам всему этому научился.

Теперь все эти предметы не проходят более в нашем училище для мальчиков, в котором ученье, по обстоятельствам, от меня независящим, очень упало, и оно теперь служит приготовительным классом для здешнего уездного училища [4], но в училище для девочек проходим всех предметов очень достаточно для первоначального образования и для того, чтобы сколько-нибудь осмыслить наших учениц. Поступивши в училище, в продолжение трех лет они выучиваются довольно порядочно читать и писать, сверх того проходят с ними краткий катехизис, краткую священную историю, все четыре части грамматики, первую часть арифметики, географию, русскую историю [5], и всем училищем заведывают теперь осмнадцатилетние девицы, которые поступили к нам три года тому назад, не знавши ни читать, ни писать; в рукодельном классе учат у нас шить гладью и в тамбур, вязать тамбурной иглой и плести кружева, и этим классом заведывает Августа, которой 17 лет, и другая ее подруга Балакшина, которая немного ее старше. Вот тебе сколько подробностей о наших училищах. Но пора кончить, меня ждут.

Крепко тебя обнимаю, обними за меня Леночку и Оленьку. Дядю Алексея крепко обнимаю, обними за меня также всех своих братьев и сестер. У Катерины Сергеевны и бабушки Катерины Васильевны поцелуй ручку. Поклонись от меня Якову Игнатьевичу. Прилагаемое письмо передай Ивану Александровичу.

95. И. Д. ЯКУШКИН — Е. Г. ЯКУШКИНОЙ [1]

1850. Ялуторовск. Июля 7-го.

Письмо твое, милая Леночка, от 7 июня я получил и много благодарю тебя за все доброе, что ты в нем сказала мне. Я очень рад, что ты и Оленька, вы пожили сколько-нибудь в деревне с добрыми нашими родными, и вполне понимаю, с каким скорбным чувством вы приехали в Покровское, где все и на каждом шагу напоминало вам

о нашей потере. Более нежели когда-нибудь я чувствую цену неусыпных попечений бабушки обо мне; для нее было мало любить меня самой нежной любовью, она еще всеми силами старалась, чтобы все — вы и я, мы не были чужды друг другу; теперь у меня много близких, в расположении которых я уверен и, бывши далеко от них, я сердцем с ними не разлучен. Сегодня же писал к Вареньке в ответ на ее очень милое письмо: для меня, точно, было бы теперь неловко жить, не получая иногда известий о Шереметевых; бабушка так часто и так много всегда ко мне писала об них, что вся эта молодежь как будто родилась и выросла на моих глазах.

Я был уверен, что и для тебя и для Оленьки чистый деревенский воздух будет полезен, и прежде нежели я узнал, что вы в Покровском, я сокрушался, что вам придется, может быть, целое лето дышать душным воздухом столицы. Ты пишешь, что Оленька по приезде Евгения в Покровское не узнала его и что тебя это очень опечалило; я полагаю, что печаль твоя продолжалась недолго и что в тот же день дочь твоя опять познакомилась с отцом и привыкла к нему. У детей в первом их возрасте есть что-то похожее на прозрение и, очень может быть, что единственная причина неблаговоления Оленьки к отцу заключалась в том, что в первые минуты, свидевшись с тобой, он не обратил исключительного на нее внимания.

Это мне напомнило последнее мое свидание в Ярославле с моими [2]. Евгению был тогда второй год, и он только что начинал ходить; в продолжение нескольких часов все старания Настеньки не могли заставить его приблизиться ко мне, и только перед самой нашей разлукой он протянул ко мне ручонки и сел на колени; ты легко поймешь, как в эту минуту, несмотря на мое тяжкое положение, я был счастлив. Но все это давно прошедшее.

Прости, моя милая Леночка, душевно обнимаю тебя, Евгения и Оленьку. Евгения очень благодарю за присланные мне деньги, сто сорок рублей серебром, за исключением того, что вычтено в пользу почты; мне сейчас только принесли их.

И. Якушкин.

96. И. Д. ЯКУШКИН — С. Я. ЗНАМЕНСКОМУ[1]

[Ялуторовск]. 8-го июля 1850 г.

Не знаю, добрый друг, какое действие произвело на отца Александра разрешение преосвященного строить училище в ограде церковной, но могу вас уверить, после того, как этот человек выказал какое-то остервенение против нашего училища для девиц и даже писал о нем бог знает какой вздор к архиерею, я никак не могу решиться строить в ограде церковной, причем в отсутствии вашем мне пришлось бы беспрестанно быть в столкновении с этим полусумасшедшим человеком. По общему совету мы купили место против дома, в котором живет Бурцев и который принадлежит нам; место не очень большое, но довольно удобное для нашей постройки, а главное — на самой середине города; оно покупается на имя Николая Яковлевича; он же предлагает и строить для нас училище на деньги Мясниковой; он сам хотел написать к вам о причине, почему он не может приступить к постройке училища в ограде церковной. Строение из Петровского Завода[2] частью уже перевезено. Подрядчик обещает мне, что в нынешнем месяце оно будет поставлено и покрыто; если он не обманет, то можно надеяться, что к зиме мы в него перейдем.

В последнее время к нам поступило так много новых учениц, что оказался недостаток в грифельных досках; я несколько досок на время взял из нашего другого училища, а Синюкову поручаю купить в Нижнем для нас досок сорок. Вы, может быть, удивитесь, если я вам скажу, что мои отношения с Абрамовым опять несколько изменились, но на этот раз к лучшему; вообще после пребывания у нас директора он, кажется, несколько успокоился и совершенно смирился. Я, кажется, вам писал, что он посетил наше училище для девиц и все в нем очень хвалил; правда, он изъявил и тут некоторые за себя опасения, но они уже были так слабы, что мне ничего не стоило его успокоить.

При переводе мальчиков в уездное училище он довольствовался таким числом, какое мы назначим, но просил, если можно, переписать к нему для счета человек двадцать, на что я охотно согласился;

часть переведенных учеников останется у нас еще на год, и они будут только считаться в уездном училище, в том числе и Балакшин, и Загибалов, и мой крестник. Абрамов звал меня убедительно на акт и после прислал пригласительный билет в розовой рамке. Мы с Николаем Васильевичем были на торжестве в новом храме науки; другие были приглашены, но не были; после акта надо было еще ехать на завтрак к смотрителю; и тут и там он был внимателен и любезен со мной как нельзя более; и теперь если я с ним и не в таких близких отношениях, как по приезде его в Ялуторовск, то нисколько и не в неприязненных, как это было месяца два тому назад.

97. И. Д. ЯКУШКИН — Е. И ЯКУШКИНУ[1]

1850. Ялуторовск. Июля 12-го

На неделе я не получил от тебя письма, мой милый друг Евгений; впрочем, я и не ожидаю, чтобы ты писал ко мне еженедельно; при твоих занятиях и по службе и дома понятно, что со всем твоим желанием часто извещать меня о себе и всех вас тебе не всегда удается написать и отправить ко мне свой листок. На прошедшей неделе я писал к Леночке и Вариньке в ответ на их добрые письма ко мне; на прошедшей неделе я также получил от тебя деньги 140 р. серебром.

Я полагаю, что Леночка не зажилась долго после тебя в Покровском, но очень рад, что ей хоть сколько-нибудь удалось пожить с Оленькой в деревне на чистом воздухе; наверно и ей и девочке было это на пользу, я по себе знаю, как для здоровья необходимо дышать чистым воздухом; летом, когда у меня и днем и ночью окно открыто, я совсем другой человек, нежели зимой, когда почти целый день приходится жить в запертой комнате; и теперь, походивши много по улицам или бывши несколько часов на ногах в комнате, я устаю, а если удается когда выбраться в поле, я всякий раз там отдыхаю. Очень недавно мне случилось в одно прекрасное утро

отправиться в деревню, которая верст осем от нашего города; туда и обратно я шел менее трех часов и, возвратившись домой, я не только не устал, но мне казалось, что я совершенно возобновлен. Впрочем, все это для тебя должно быть еще непонятно, в твои годы везде дышится свободно.

Прости, мой милый друг. Крепко обнимаю тебя, обними за меня жену и девочку свою, всем родным и знакомым усердно кланяюсь.

И. Якушкин.

98. И. Д. ЯКУШКИН — Е. И. ЯКУШКИНУ

1850. Ялуторовск. Июля 19-го

Вчера я получил твое письмо, мой милый друг Евгений, от 15 июня. Очень понимаю, как ты неохотно уехал из Покровского, где во всех отношениях тебе было так хорошо; с твоей стороны и со стороны Леночки, конечно, большое пожертвование, что вы проживете целое лето не вместе, но всякое пожертвование, когда оно имеет прямую цель, заключает в самом себе и вознаграждение. Я надеюсь, что, при помощи божией, чистый деревенский воздух будет полезен для твоей жены и для твоей дочери. Здесь, как и у вас, погода не совсем благоприятная для урожаев; в июне была засуха, и теперь, когда начался сенокос, всякий день по нескольку раз бывает проливной дождь. Я, точно, не знал в тебе страсти к лошадям, бабушка мне писала несколько раз, что ты любишь ездить верхом, но я полагал, что в этом случае ты не столько любишь лошадей, как не любишь ходить пешком.

Страсть к лошадям совсем не такая обыкновенная и пошлая страсть, как это иногда думают; припоминая о всех моих знакомых, я могу тебе только назвать Павла Христофоровича Грабе, который любил лошадей по собственной своей к ним наклонности, не имея при этом никаких побочных целей,— я чуть не назвал тебе еще Alfieri, но он был барышник, а где замешается барыш, там не много

любви. Может быть, Байрон, хоть и плохо ездил верхом, но был способен полюбить лошадь, как полюбил Пушкин кипарис на берегу Черного моря.

Мне иногда казалось, что и я люблю лошадей, но на поверку выходило, что я всегда любил только красивую лошадь и нисколько не более, как красивую корову, красивую собаку и даже красивое дерево. Но, пора кончить! я сегодня поздно встал и поздно сел писать к тебе мое письмо, с которым боюсь опоздать, куда следует.

Прости, мой милый друг. Крепко тебя обнимаю. К Леночке непременно напишу на будущей неделе, обними ее и Оленьку за меня, у бабушки Катерины Васильевны целую ручку.

И. Якушкин.

99. И. Д. ЯКУШКИН — Е. Г. ЯКУШКИНОЙ [1]

1850. Ялуторовск. Июля 26-го

В последний раз писавши к Евгению, я не успел отвечать на твою приписку, милая моя Леночка; боялся опоздать с моим срочным к вам листком; уверен, что ты на мне не взыщешь за такую неисправность. Пребывание твое у добрых наших родных в Покровском, наверно, и для тебя и для Оленьки очень полезно, но вместе с тем я вполне понимаю, что тебе грустно прожить целое лето в разлуке с мужем, тут и ты и он неоспоримо жертвуете собственным удовольствием пользе вашей девочки. По моему убеждению, всякое разумное пожертвование собой сопровождается непременным вознаграждением; я уверен, что когда тебе сгрустнется по муже, с которым ты розно, взглянувши на загорелые розовые щечки Оленьки, ты бываешь довольна и им и собой. Я не думаю, чтобы, любивши истинно добро, можно было без пожертвований прожить на этом свете; где, как сказал наш ветеран-поэт, бывши еще молодым человеком: «где все, мой друг, иль жертва, иль губитель» [2].

Не бывши ни ученицей, ни учительницей и нигде на службе, ты сокрушаешься, что в июле мало праздников. Зато в августе их очень

много, и если ты в этом месяце будешь еще в Покровском, то, может быть, Евгению и удастся тогда побывать у вас, и я наперед радуюсь вашей радости, представляя себе ту минуту, когда вы обнимете друг друга.

Ты пишешь, что Оленька, становясь смышленее, становится вместе с тем несколько и своенравна; это обыкновенный ход развития всех детей; тут уже начинается их умственное и нравственное воспитание. Все их окружающее несравненно более действует на них, нежели, как полагают те, которые не обращают на них большого внимания. Излишняя строгость, как и излишняя снисходительность, а более всего недостаток терпения могут умертвить в них зародыш всего прекрасного.

К тебе и к Вариньке я писал от 7 июля; прошу тебя очень обнять ее за меня и всем покровским от меня поклониться; у бабушки Катерины Васильевны поцелуй за меня ручку. Крепко обнимаю тебя, моя милая Леночка, обними за меня своего мужа и свою девочку [3].

От всего сердца благодарю тебя, добрейшая и дорогая Елена, за мысль поговорить со мной, когда ты была на могиле бабушки.

И. Якушкин.

100. И. Д. ЯКУШКИН — Е. И. ЯКУШКИНУ

1850. Ялуторовск. Августа 2-го

На нынешней и на прошедшей неделе я не получил от тебя письма, мой милый друг Евгений. Если вы все здоровы, то и слава богу. Я продолжаю писать к тебе в срочный день, как я писывал к бабушке — она приучила меня еженедельно получать известия обо всех об вас, и я сам привык всякую неделю непременно писать к ней; вдруг отстать от этих привычек было бы трудно, и я продолжаю попрежнему писать к тебе еженедельно и еженедельно жду к себе письма, как чего-то необходимого; и сам знаю, что это неблагоразумно, но надеюсь, что со временем все это придет в порядок.

На прошедшей неделе я писал к Леночке и отправил мой листок к ней на твое имя в Москву. Полагаю, что пока он дойдет туда, она уже возвратится из Покровского. Я знаю, что в августе у вас бывает обыкновенно прекрасная погода, и уверен, что для здоровья жены твоей было бы хорошо вместе с дочерью подышать еще какой-нибудь месяц чистым деревенским воздухом; но Леночка в последнем своем письме уже сокрушалась, что она должна целое лето жить с тобой в разлуке, и после этого я не полагаю, чтобы она долго зажилась в Покровском.

У нас стоит престранная погода, совсем не сибирская; обыкновенных сильно жарких летних дней совсем не было, перепадают дожди, и после них дует холодный ветер; вчера, купаясь в Тоболе, я перезяб более нежели когда-нибудь и даже более, нежели купавшись в ноябре, когда река частью бывала уже покрыта льдом.

О Муравьевых я узнал из письма племянницы Матвея Ивановича, Бибиковой, что они вместо того, чтобы поехать за границу, купаются в море неподалеку от Петербурга. О Вечеславе я давно ничего не знаю, о покровских также, и об нем и об них нередко думается. На будущей неделе не получу ли письма от кого-нибудь из вас. Может, ты или Леночка или даже Варинька писали ко мне, и твое или их письмо где-нибудь задержалось.

Прости, мой милый друг. Крепко тебя обнимаю, обними за меня Леночку и Оленьку, всем близким и родным кланяюсь, у бабушки Катерины Васильевны целую ручки.

И. Якушкин.

101. И. Д. ЯКУШКИН — Е. И. ЯКУШКИНУ

1850. Ялуторовск. Августа 9-го

На-днях я получил два твоих письма, от 5 и 13 июля и, давно не имея от тебя никакого известия, очень им обрадовался. Спасибо тебе, мой милый друг, что ты еженедельно ко мне пишешь и исправно извещаешь о себе и о всех близких и родных. Я также еженедельно

пишу к тебе, и если мои письма до тебя неисправно доходят, то это уже не наше дело; мы можем только отправлять друг к другу наши листки, а дальнейшая их участь зависит уже не от нас.

Посланные тобой книги я еще не получил, но, вероятно, получу на будущей неделе, одна из них должна быть диссертацией профессора Грановского и предмет, который взят им из средневековой истории Франции; огромные похвалы этой книге я давно прочел, кажется в «Современнике» [1].

Комедию Островского тотчас по получении здесь пятого номера «Москвитянина» я прочитал и тогда же писал тебе подробно о впечатлении, какое она произвела на меня и вообще на здешнюю читающую публику [2]; читая эту комедию, я истинно радовался, видя в ней отпечаток неоспоримого дарования молодого сочинителя, обещающего много для нашей еще столь бедной литературы хоть сколько-нибудь замечательными произведениями; но обещать и сдержать [слово], как говорят французы, не одно и то же.

Много благодарю тебя за предложение присылать мне иногда какие-нибудь книги; у нас вообще их здесь очень мало, и редко случается прочесть хорошее сочинение; но, впрочем, хороших сочинений, где бы то ни было, появляется не много, а по привычке приобретенную потребность что-нибудь читать можно и здесь удовлетворить, читая хоть русские журналы. По приезде моем в Ялуторовск я просил бабушку прислать мне несколько сочинений по всем предметам естественных наук не потому, чтобы я имел особенную наклонность к этим наукам, но почти из расчета; какая-нибудь сотня книг, читая которые, я все-таки сколько-нибудь тружусь, заменяют мне огромную библиотеку по какой-нибудь другой части науки.

Что тебе жить в Москве в разлуке с женой и дочерью очень неудобно, я вполне понимаю, но утешаюсь за тебя мыслью, что обеим им прожить лето в деревне будет на пользу. Обеих их и тебя, мой милый друг, крепко обнимаю. Всем покровским при случае поклонись от меня, а у бабушки Катерины Васильевны за меня поцелуй ручку.

И. Якушкин.

102. И. Д. ЯКУШКИН — Е. Г. ЯКУШКИНОЙ[1]

1850. Ялуторовск. 16 августа.

Твое письмо от 13 июля дошло до меня, дорогая Леночка. Согласно намеченному маршруту, вы теперь, вероятно, вернулись в Москву и расположились в вашем маленьком помещении, где вы всегда так хорошо себя чувствуете благодаря твоему с мужем уменью устраиваться. Отнятие твоей дочери от груди не могло пройти без того, чтобы она немного не поплакала и это не встревожило бы несколько маменьку; к несчастью, все это неизбежно; милое дитя даже не представляет себе того горя, которого причиняет тебе своим плачем; но взамен она доставляет тебе много радостных минут; во всей природе я не знаю ничего более привлекательного, чем хорошенький, здоровый ребенок, начинающий понимать; он — как бутон прекрасного растения, который, раскрываясь каждый день, доставляет новую радость тому, кто за ним ухаживает. Вы хорошо делаете, что не торопитесь с Оленькиным портретом и выжидаете, чтобы черты ее лица более или менее определились.

У меня есть портрет Евгения, нарисованный, когда ему не было еще двух лет; это очаровательная маленькая головка, на которую я всегда смотрю с удовольствием и которую я иногда люблю сравнивать с присланным мне тобой портретом твоего мужа; на первый взгляд они совершенно друг на друга не похожи, но если всмотреться внимательнее, то в обоих замечается что-то общее. Это примерно то же самое, когда я смотрю на оба портрета Вечеслава — ребенка и и молодого человека.

Надо тебе сказать, что самое мне близкое общество состоит из портретов, если не всех дорогих моему сердцу, то во всяком случае их большинства; над моим письменным столом висит и очень похожий потрет масляными красками моей тещи. Он окружен восемью другими, из которых два — ее дочери, а остальные — ее внуков; среди этих портретов я приберегаю маленькое место для портрета Оленьки, и, как видишь, она у меня не будет одинока.

В последнем письме ты не упоминаешь о Шереметевых. Я иногда беспокоюсь, думая о моем шурине Алексее: зная, до какой степени он впечатлителен по природе, я боюсь, как бы перенесенное им при нашей общей утрате горе, которое он наверно и до сих пор еще ощущает, не повлияло в конечном счете на его здоровье, которое и раньше было не из крепких.

Я предполагаю, что он поедет проводить Сергея в Петербург. Может быть, на это время моя невестка вернется из Гапсаля. Я уже давно не получал от нее писем и так же давно сам ей не писал; но, к счастью, я часто получал о ней известия через Катеньку Бибикову, которая каждую неделю пишет своему дяде и во всех своих письмах говорит о Софи Муравьевой и ее родителях, а иногда даже и о Вечеславе, когда знает о нем что-либо. Катенька Бибикова — весьма милое и превосходное существо, и если ты случайно ее встретишь, скажи ей много хорошего в благодарность за то внимание, которое она мне оказывает во всех письмах, получаемых от нее ее дядей.

Прости, моя милая. Целую тебя от сердца и души и прошу тебя поцеловать за меня твоего мужа и ребенка; если Вечеслав с вами, обними его за меня.

Всем Шереметевым очень поклонись от меня, у бабушки Катерины Васильевны прошу тебя поцеловать за меня ручку.

И. Якушкин.

Я получил письмо Евгения одновременно с твоим; у меня не будет времени написать ему сегодня, я откладываю это на будущую среду.

103. И. Д. ЯКУШКИН — Е. И. ЯКУШКИНУ

1850. Ялуторовск. Августа 23-го.

Последние две почты не привезли мне письма от тебя, мой милый друг Евгений, но в это время никто из наших не получил писем, и потому, я полагаю, что и твое вместе с другими где-нибудь задержа-



И. Д. ЯКУШКИН
(с портрета работы П. Мазера. 1851 г.).

лось. На прошедшей неделе я писал к Леночке, а в ответ на твое письмо от 19 июля пишу к тебе сегодня. За извещение о родных и знакомых большое тебе спасибо. В этом отношении ты теперь заменяешь мне бабушку; о дяде Алексее мне очень часто думается. Я знаю, как он нежно любит свое семейство и как он им счастлив, но, зная также его нрав, я уверен, что последнее наше горе с ним оставит в нем надолго неизгладимый след [1].

Сказавши мне о возможности для Вечеслава побывать в Москве и пожить с вами, ты меня очень порадовал; если он у вас, обними его за меня.

Я к тебе писал, что я очень недоволен статьею Искандера о развитии чести; не только недоволен этой статьею, но и самым ее сочинителем [2], потому что, зная его уменье владеть мыслью, я почитал себя в праве ожидать, что он скажет своим читателям хоть что-нибудь дельное о предмете, в высшей степени любопытном для всякого мыслящего человека, и по крайней мере укажет на новое начало в жизни общественной, для которого у нас нет слова и которое французы называют point d'honneur [3]; начало, которое явилось и росло вместе с личностью человека, в первый раз резко выразившееся в обществе людей средних веков. Искандер, писавши свою статью, не обратил на это никакого особенного внимания и какими-то странными доводами силится доказать, что point d'honneur европейцев не заключает в себе никакой особенности, и это показалось мне с его стороны даже не совсем добросовестно. Может быть, и я слишком строго сужу о статье, написанной для журнала [4].

Посланные тобой книги я еще не получил, но, вероятно, когда-нибудь получу. Ты обещал прислать мне разбор статьи, которую ты полагаешь скоро привести к концу и над которой так давно трудишься, а я надеюсь, что ты мне доставишь возможность прочесть когда-нибудь и самую статью.

Прости, мой милый друг. Крепко тебя обнимаю, обними за меня жену и дочь свою. Шереметевым всем кланяюсь и у бабушки Катерины Васильевны целую ручку.

И. Якушкин.

104. И. Д. ЯКУШКИН — Е. И. ЯКУШКИНУ

1850. Ялуторовск. Августа 30-го.

Вчера я получил твое письмо от 26 июля, мой милый друг Евгений, и получил, наконец, книжки, давно тобой посланные; когда прочту их, скажу тебе что-нибудь об них; впрочем, о книжке Грановского я уже к тебе что-то писал, я ее несколько знаю по разбору, читанному мной в «Современнике» [1].

Вчера я получил также письмо от дяди Алексея и, разумеется, сегодня же написал к нему. Он собирается с Катериной Сергеевной и Варинькой ехать в Ливны и оттуда в Воронеж. Поездка эта может быть для них приятна, и наверно будет полезна, доставив им развлечение.

Я вместе с тобой порадуюсь, когда узнаю, что дядя Алексей балтировался и получил место главного смотрителя в Шереметевской больнице. Я уверен, что на этом месте он был бы очень полезен.

Поздравляю тебя с окончанием статьи, над которой ты так много трудился и трудился с любовью, полагая, что оная будет когда-нибудь напечатана, и ты можешь быть уверен, что я ее прочту также с любовью [2].

Теперь, вероятно, Леночка и Оленька уже в Москве, и вы опять живете прежней тихой, семейной своей жизнью. Если у вас такие же жары, как в Ялуторовске, то в Москве, должно быть, очень душно, и в этом случае мне особенно жаль вашу девочку, которая в продолжение лета привыкла дышать чистым воздухом; хорошо, если у вас при доме есть хоть небольшой садик, где она может проводить по нескольку часов в день.

По моим понятиям для больших и для малых самое необходимое, чтобы быть здоровым: чистый воздух и чистая вода. И тем и другим в теперешнюю пору я вполне наслаждаюсь; целый день сижу и ночь сплю с открытым окном, и всякий день хожу, и иногда и два раза, купаться на Тобол; зато, когда затопят печи, я пропадший человек. Но пора кончить, по обыкновению боюсь опоздать с моими письмами.

Крепко тебя, мой милый друг, Леночку и Оленьку обнимаю. Если Вечеслав у вас, обними его за меня. У бабушки Катерины Васильевны целую ручки.

И. Якушкин.

105. И. Д. ЯКУШКИН — Е. И. ЯКУШКИНУ

1850. Ялуторовск. Сентября 6-го.

На неделе опять никому из нас не было писем, но я уверен, мой милый друг Евгений, что ты писал ко мне, прошу и тебя верить, что я всякую неделю непременно пишу к тебе.

Историческое исследование Грановского я прочитал, конечно; это не более как отрывок из французской истории, с которой, как говорит сочинитель, мы мало знакомы, но в этом отрывке прекрасно изображено общество того времени со всеми разнородными своими началами, сложившимися впоследствии в одно целое. Кажется, этого уже достаточно, чтобы книжка ученого профессора была прочитана с удовольствием всяким хоть сколько-нибудь грамотным человеком, но профессор, чтобы придать ей более занимательности, уверяет, что он избрал предметом своего рассуждения аббата Сугерия, во-первых, потому, что аббат Сугерий был главным представителем новой теории монархической власти; из самого исследования можно видеть, что это не более как догадка ученого исследователя; а во-вторых, чтобы воздать должную признательность аббату с-го Дионисия, как труженику, работавшему в поте лица на человечество, что во всяком случае может быть только побочною целью историка и в особенности нисколько не занимательно для его читателей [1].

Если налить серной кислоты в воду, в которой погружены цинковые опилки, то вода разлагается, часть ее — кислотвор — окисляет цинк, тотчас соединяющийся с серной кислотой, а другая часть воды, водотвор [2], самое легкое из всех известных простых тел, подымается в виде малых пузырьков. Неужели придет кому-нибудь на мысль определить, который из газов, кислотвор или водотвор, главная причина этого явления; или будет этот опыт более любопытен, когда мы

узнаем имя того, кто первый произвел его; но довольно обо всем об этом, пора кончить.

Крепко обнимаю тебя, мой милый друг, обними за меня Леночку, Оленьку и брата, всем родным и знакомым очень кланяюсь, у бабушки Катерины Васильевны целую ручки.

И. Якушкин.

106. И. Д. ЯКУШКИН — С. Я. ЗНАМЕНСКОМУ[1]

[Ялуторовск] 10 сентября 1850 г.

На-днях заходил ко мне Абрамов, много расспрашивал меня о наших училищах и в особенности о деньгах, получаемых на их содержание, и заключил тем, что будто директор сообщает ему, что оба наши училища поступают под их начальство; на это я ему отвечал прямо, что если ему это пишет директор, то он, конечно, сошел с ума, что тут идет дело не более как о том, чтобы передать училище для мальчиков под их надзор, а не под начальство, и вместе с тем дать им только половину денег, получаемых на содержание обоих училищ. Но Абрамов про это и слышать не хочет. Правда, что девичье училище он не намерен взять не только под свое начальство, но и под свой надзор, опасаясь, что ему с ним будет слишком много хлопот, но зато он и не намерен оставить на содержание этого училища половину денег, получаемых из городских доходов[2].

Надо отдать ему справедливость, что по части крючкотворства он великий человек. Знаете ли, что̀ он придумал? Взяв под свой надзор наше училище для мальчиков, он намеревается его уничтожить, а на место его открыть приходское училище при своем уездном училище и вместе с тем иметь в своем распоряжении вполне 200 руб. сер., отпускаемых теперь нам из городской думы. Это он мне сам сказал. На этот раз я объяснился с ним не так громко, но столько же откровенно, как и в первый раз. Он просил меня доставить ему все письменные документы о наших училищах. Я бы мог и даже должен бы был ему в этом отказать; если бы он по этому делу завел переписку с

духовным правлением, самое дело улеглось бы в длинный ящик, и потому я послал ему все бумаги, относящиеся до наших училищ, которые Евгений взял у вас. Теперь вы видите, в каком смысле будет действовать Абрамов.

Я никаких советов вам подавать не смею, но надеюсь, что в вашем сердце есть струна, которая отзовется на мои нежные чувства к дочери, прижитой мной с вами. В училище всякий почти день прибывают новые ученицы, и ученье идет своим порядком. Строение подвигается довольно медленно, но если бог поможет, оно к зиме хоть вчерне будет окончено. Прошение от Николая Яковлевича в строительную комиссию давно отправлено; скажите это Александру Львовичу. Доверенности до сих пор нет от Анны Васильевны, и я беру деньги у Николая Яковлевича на постройку, совершенно очертя голову; строение вообще станет гораздо дороже, нежели я предполагал: придется на него занимать, а после того приискивать средства, как заплатить долг, но и тут, как и всегда, никто как бог.

107. И. Д. ЯКУШКИН — Е. И. ЯКУШКИНУ [1]

1850. *Ялуторовск. Сентября 20-го.*

Опять никому из нас не было писем, и я опять в срочное время не получил об вас известий, но знаю, что ты, мой милый друг Евгений, непременно ко мне пишешь. Я также непременно каждую неделю отправляю к тебе мой листок. О рассуждении Грановского я уже сказал тебе мое мнение; другую присланную книжку тобой, Павлова, я также давно прочел [2]. В ней Годунов изображен в чертах столько же неопределенных, как и у Карамзина. Мне также показалось, что г-н Павлов, писавши свою книжку, забыл принесть жертву грациям, в ней много бесвкусицы; но надо отдать ему справедливость, в ней есть много и дельного, и есть отдельные мысли, которые показались мне истинно замечательными.

Я ожидаю, что, может быть, на будущей неделе ты известишь меня о судьбе статьи своей, и если она будет напечатана в котором-

нибудь из петербургских журналов, то я скоро буду иметь возможность прочесть ее. «Современник», «Библиотека» и «Отечественные записки» здесь получаются, но в последнее время я редко в них заглядывал.

Из газет я видел, что Михаил Николаевич возвратился в Петербург.

От тетушки Пелагеи Васильевны я очень давно не имел писем и сам очень давно не писал к ней, но уверен, что она меня помнит и верит, что я обо всех об них часто думаю. Может быть, это письмо застанет Вечеслава в Москве, прошу тебя очень обнять его за меня. Полагаю, что теперь дядя Алексей также возвратился из Орловской деревни — всем им очень поклонись от меня и поцелуй за меня ручку у бабушки Катерины Васильевны. Прости, мой милый друг. Крепко тебя, Леночку и Оленьку обнимаю.

И. Якушкин.

108. И. Д. ЯКУШКИН — Е. И. ЯКУШКИНУ

1850. Ялуторовск. Сентября 27-го.

Письмо твое, мой милый друг Евгений, от 30 августа на неделе я получил. Очень понимаю, как тебе желается переехать на другую квартиру в отсутствии Леночки и избавить ее от всех неприятностей, неизбежных при этом случае.

Если ты поселишься на Басманной, то будешь жить недалеко от Петра Яковлевича Чаадаева; я полагаю, что он все еще живет, как и прежде, в большом доме Левашевых; бабушка по временам меня извещала и об нем и о Михаиле Яковлевиче, а с тех пор я о них совершенно ничего не знаю.

Новые твои занятия, конечно, тебе несколько подручнее [1]. Кроме военных законов, все другие предметы, преподаваемые тобою в институте, я полагаю, не должны быть тебе хорошо знакомы, и если бы при этом ты имел слушателей совершенно осмысленных, то твои уроки могли бы быть и для них и для тебя очень занимательны,

а теперь, кажется, о взаимном удовольствии слушателей и преподавателя не может быть и речи, и тебе и им придется только трудиться, но труд с обеих сторон, и для них и для тебя, будет наверно не без пользы.

Очень верю, что ты употребишь все старание, чтобы излагать сколько возможно проще и вместе с тем существенней преподаваемые тобой предметы, но при этом, я полагаю, тебе придется беспрестанно становиться в уровень с их понятиями, беспрестанно переводить то, что ты сам учил на полном принятом языке в науке, на их ограниченный и весьма неполный язык. Хлопот тебе будет тут не мало, но я верю, что, при помощи божией, все твои хлопоты вполне вознаградятся успехами твоих учеников.

Если Шереметевы и, может быть, и Муравьевы теперь в Москве, прошу тебя всем им очень от меня поклониться. Крепко тебя, мой милый друг, обнимаю, обними за меня Леночку, Оленьку и Вечеслава, если он с вами, у бабушки Катерины Васильевны целую ручки.

И. Якушкин.

109. И. Д. ЯКУШКИН — Е. Г. и Е. И. ЯКУШКИНЫМ [1]

1850. Ялуторовск. Октября 4-го.

Я вчера получил твое письмо от 13 сентября, моя милая и дорогая Елена. Ты говоришь, что вы ищете квартиру, а я знаю, что нелегкая вещь найти такую, которая подходила бы во всех отношениях; затем предстоит пройти через передряги, которые всегда сопровождают каждый переезд и всякое устройство на новом месте, а это не самое приятное на свете; поэтому я буду очень доволен, когда узнаю, что вы уже удобно устроились на вашем новом местожительстве. Я знаю, что ты и Евгений довольствуетесь малым, но девочка не может иметь вашей покорности, ей обязательно нужно помещение, которое не было бы холодным и в котором она могла бы свободно двигаться.

Вечеслав наконец-то мне написал. Зная, как мало он любит переписываться с друзьями и близкими, я благодарен ему за те несколько строк, которые он мне написал, и сегодня же пишу к нему в ответ на его письмо. Если ты увидишь мадемуазель Христиани, прошу передать ей от меня много хорошего. Прости, моя милая и дорогая Елена, я покидаю тебя, чтобы написать несколько строк Евгению. Прошу тебя очень нежно поцеловать за меня твою дорогую маленькую барышню.

На неделе я получил два твоих письма, мой милый друг Евгений, от 6 и 13 сентября. Я давно тебя известил о получении книг, тобою мне посланных, и даже о каждой из них письменно с тобой побеседовал.

Ты пишешь, и не в первый раз, что ты был бы очень рад присылать мне книги и потому просишь меня написать те, которые мне желается иметь; на этот раз я не имею никакой возможности удовлетворить твоему желанию, не зная никакой книги, которую бы мне особенно желалось иметь, не могу даже назвать тебе предмет, которым бы я теперь в особенности занимался; все, что я могу сделать, отвечая на твое радушное предложение, это обещать тебе, что, если мне пожелается иметь какую-нибудь книгу, то я тотчас ее потребую у тебя.

Что ты занимаешься добросовестно преподаванием в Межевом институте, в этом, разумеется, я никак не мог сомневаться, но я опасался, что при других твоих обязанностях уроки в институте будут для тебя слишком обременительны. До сих пор ты ими не тяготишься — и слава богу.

С нетерпением ожидаю появления твоей статьи в котором-нибудь из петербуржских журналов и очень сожалею, что не знаю, в котором она будет напечатана.

Ивану Александровичу очень поклонись от меня и поблагодари его за добрые его чувства ко мне. Шереметевым и Муравьевым кланяюсь, у бабушки Катерины Васильевны целую ручку. Тебя и Вечеслава крепко обнимаю.

И. Якушкин.

110. И. Д. ЯКУШКИН — Е. И. ЯКУШКИНУ

1850. Ялуторовск. Октября 11-го.

Последние две почты не привезли мне от тебя письма, мой милый друг Евгений, зато на прошедшей неделе я получил два и тогда же отвечал Леночке и тебе.

Может быть, твоя статья уже напечатана, и мне очень жаль, что я не знаю, в каком журнале она должна быть помещена; мне бы желалось прочесть ее прежде всех, читающих журналы в Ялуторовске. Мы читаем получаемые здесь журналы по заведенной между нами очереди, и очень может быть, что твоя статья дойдет до меня через месяц после прибытия своего в Ялуторовск. Впрочем, все это еще небольшое несчастье; придется несколько потерпеть, а упражнение в этом роде никогда не лишнее.

На прошедшей неделе я писал к Вечеславу в ответ на его листок ко мне; если он с вами, обними его за меня. Всем Шереметевым и Муравьевым усердно кланяюсь. Тебя, мой милый друг, Леночку и Оленьку крепко обнимаю; у бабушки Катерины Васильевны целую ручку.

И. Якушкин.

111. И. Д. ЯКУШКИН — Е. И. ЯКУШКИНУ

1850. Ялуторовск. Октября 18-го.

Письмо твое, мой милый друг Евгений, от 23 сентября я на неделе получил; решительно не могу понять, как могло случиться, что до сих пор ты не получил моего письма, в котором я благодарил тебя за присланные книжки. Недавно в «Современнике», который доходит до меня довольно поздно, я прочитал разбор статьи Павлова, и в этом разборе некоторые замечания показались мне совершенно справедливыми [1].

Простор новой твоей квартиры, по моему мнению, нисколько не лишнее с нашей холодной и продолжительной зимой; самую значительную

потребность для человека составляют: теплая шуба и теплые просторные покои, в которых можно бы было свободно двигаться и сколько-нибудь свободно дышать, а небольшой садик при вашем новом жилье будет летом большой забавой для Оленьки. К тому времени, бог даст, она будет уже иметь возможность по нем бегать. Дядя Алексей, полагаю, уже давно возвратился из Орловской деревни и теперь, может, собирается уже в Петербург, где, по письму Вечеслава, он располагает провести зиму. Всем Шереметевым и Муравьевым очень от меня поклонись, а Вечеслава, если он с вами, обними за меня.

На предложение Леночки прислать что-нибудь в рукодельный класс, я буду отвечать, когда узнаю, что им там нужно.— В книгах ученицы не нуждаются, тем из них, которые умеют порядочно читать, даются на дом номера «Звездочки»; в этом детском журнале есть статьи, которые они понимают и которые потому уже для них и занимательны.

Прости, мой милый друт. Крепко тебя, Леночку и Оленьку обнимаю, у бабушки Катерины Васильевны целую ручку.

И. Якушкин.

112. И. Д. ЯКУШКИН — Е. И. ЯКУШКИНУ

1850. Ялуторовск. Октября 24-го.

Письмо твое от 27 сентября я получил, мой милый друг Евгений. Поздравляю тебя на новосельи; ты писал, что новое твое жилье довольно поместительно и, может, теперь Вечеслав гостит у тебя. Вчера я получил от него опять письмо; он, кажется, решился преодолеть свою лень и исправно писать ко мне, за что я, сегодня же отвечая ему, благодарил его.

То, что ты пишешь о солдате, вырезавшем статуэтку Васи Шереметева, чрезвычайно любопытно; человек в тридцать лет, без малейшего приготовительного учения, шагнувший прямо в художники, явление, конечно, необыкновенное и едва ли возможное где-либо, кроме России. Один только русский человек, ничему не учась, сумеет с

одним топором в руках выстроить хоромы по плану или перочинным ножичком произвести что-нибудь замечательно прекрасное [1].

Третьего дня я прочитал в «Отечественных записках» статью Кавелина с тем же удовольствием, с каким читаются все его статьи; у него язык прекрасный, все умно, и ум не желчный; полагаю, что эта статья написана не для того, чтобы вразумить инвалида русской истории. Погодин из числа тех людей, которые, работая прилежно всю свою жизнь на одном и том же месте, не могут понять, чтобы можно было, двигаясь, подвигаться вперед [2]. Встречая в петербургских журналах имена Редкина, Кавелина, Соловьева и многих других московских ученых, я никак не могу понять, почему в теперешнее время существует в Москве один только журнал, и то «Москвитянин»; тогда как прежде, в той же Москве, и несравненно при меньших средствах, издавалось более литературных журналов, чем в Петербурге; а что наша читающая публика не очень требовательна и разборчива, служит доказательством: «Библиотека», «Современник» и «Отечественные записки», читаемые во всех концах России, и, конечно, ни в одном из этих журналов нет ничего особенно хитрого, за исключением русской повести, и то очень редко порядочной, и критики, которая составляет самую значительную часть каждого из этих журналов; и за исключением еще очень немногих оригинальных статей, остальные все — мозаик, составленный из статей переводных [3].

Но пора кончить. Крепко тебя, мой милый друг, Леночку и Оленьку обнимаю, обними за меня дядю Алексея Васильевича и всем у него поклонись от меня. У бабушки Катерины Васильевны целую ручки.

И. Якушкин.

113. И. Д. ЯКУШКИН — Е. И. ЯКУШКИНУ

[Ялуторовск] [Начало ноября 1850].

На-днях я получил два твоих письма, мой милый друг Евгений, от 6 и 11 октября. Не получая моих писем, надеюсь, ты уверен, что я непременно пишу к тебе всякую неделю; прежде я писал к тебе по середам, а теперь будут отправлять к тебе мои листки по пятницам,

что гораздо удобнее; по середам почта у нас отходит по утру, а по пятницам поздно вечером.

Поздравляю тебя с новыми занятиями в Сиротском доме, хотя, признаюсь тебе, опасаюсь, чтобы все твои занятия вместе не были для тебя слишком обременительны [1]. Деятельность прекрасная вещь, но надо, чтобы и она была в меру. У нас большая часть людей ничего не делают или делают очень мало; зато есть люди, конечно, немногие, которые трудятся, нисколько не щадя себя. При этом я вспомнил о бедном Валуеве, кажется, издателе «Симбирского сборника». По словам журналистов, оплакивавших его преждевременную кончину, он был жертвой чрезмерной своей литературной деятельности [2].

Вопрос, тебя теперь занимающий, о праве владения землей в феодальной Франции, конечно, уже и сам по себе весьма любопытен, ибо, как ты говоришь, им только может объясниться существование самого феодализма. Кажется, нельзя сомневаться, что распределение земельной собственности у каждого народа определяет, более нежели что-нибудь, и образ общественного существования этого народа. Писавши к тебе на прошедшей неделе, я точно как будто отвечал на то, что ты говоришь мне о сотрудниках петербургских журналов, живущих в Москве, которым, казалось бы, должно быть гораздо удобнее помещать свои статьи в журнале, издаваемом в Москве, нежели посылать их печатать в Петербург; но для издания какого бы то ни было журнала требуются условия, конечно, не весьма головоломные, а между тем, совершенно определяющие успех в этом деле. Любопытно знать, чем разрешится благое намерение московских литераторов издавать несколько сборников, из которых, однако же, ни об одном до сих пор не объявлено в газетах и потому надо полагать, что они, если и появятся, то не в начале будущего года.

Прошу тебя очень обнять за меня дядю Алексея Васильевича и всем Шереметевым от меня поклониться. У бабушки Катерины Васильевны целую ручку. Прости, мой милый друг. Крепко тебя обнимаю.

И. Якушкин.

114. И. Д. ЯКУШКИН — Е. И. ЯКУШКИНУ

1850. Ялуторовск. Ноября 10-го.

На нынешней неделе не было от тебя вести, мой милый друг Евгений. Третьего дня я получил письмо из Покровского от Вареньки от 5 октября, а последнее твое письмо на прошедшей неделе было от 11 октября. Варенька описывает мне как чудо, что Вечеслав во время их отсутствия из Покровского с каждой почтой писал к дяде, тогда как он обыкновенно ни к кому не пишет, а мне это кажется очень просто: писать вообще он не любит и обыкновенно ни к кому не пишет, отговариваясь своей врожденной ленью; причем он, разумеется, как говорится в Сибири, причудает, но как добрый и порядочный малый он очень хорошо понял, что, извещая дядю о Васе и Сереже, он доставит ему положительную радость, и в этом случае отложил причуды свои в сторону.

В последнем своем письме он пишет ко мне, что Муравьевы и он с ними вместе собираются в Москву не прежде, как в конце декабря, что, вероятно, доставит тебе и Леночке удовольствие побывать на праздниках в Покровском вместе с приезжими.

До сих пор о сборниках, которых издание приготовляется в Москве, еще ничего нет в объявлениях [1]. Если бы здесь что-нибудь знали о их скором появлении, то, может быть, на который-нибудь из них кто-нибудь подписался бы в Ялуторовске. Вообще здесь очень охотно выписывают всякий новый журнал, а «Библиотека», «Современник» и «Отечественные записки» постоянно получаются каждый год; в нынешнем году получается даже и «Москвитянин»; к тебе пишу обо всем об этом для того, чтобы ты не очень хлопотал о присылке мне какого-нибудь нового сборника, который, может быть, и здесь будет получаться.

Прости, мой милый друг. Крепко тебя обнимаю, обними за меня Леночку и Оленьку. У бабушки Катерины Васильевны целую ручки.

И. Якушкин.

115. И. Д. ЯКУШКИН — Е. И. ЯКУШКИНУ

1850. Ялуторовск. Ноября 17-го.

По отправлении последнего моего листка к тебе, мой милый друг Евгений, я получил два твоих письма от 18 и 25 октября. Зима и у нас в нынешнем году стала очень рано, 13 октября уже была санная дорога, и переезжали по льду Тобол, а несколько лет тому назад в том же месяце и того же числа я купался в Тоболе. Но у вас в октябре шел потом дождь, а у нас доходили морозы до 17 градусов, и теперь, хотя и не очень холодно, но снег не тает. Вообще я не поклонник русской зимы, на воздухе я страдаю, потому что холодно, а в комнате страдаю от того, что душно. Всякий год, под предлогом, что в моем жилье надо морозить тараканов, я перехожу на какой-нибудь месяц к Матвею Ивановичу; вот и теперь я уже несколько дней живу у него. И он и жена его ужасно за мной ухаживают, и я им вполне дозволяю баловать себя. В будущем году минет ровно 40 лет, что я знаком с Матвеем Ивановичем, и всякий раз, что судьба соединяла нас, мы жили с ним в совершенно таких же близких отношениях, в каких и теперь живем.

Я к тебе писал, что получил письмо от тетушки Пелагеи Васильевны, Софьи и Вечеслава на прошедшей неделе и им всем троим писал, а вчера получил опять и премилое письмо от Софьи — она и Варенька, кажется, намерены часто писать ко мне, за что я им очень благодарен. Вареньке я сегодня же отвечал на ее письмо от 5 октября.

Очень радуюсь, что ты избавился, и очень удачно, от лихорадки; это прескучная болезнь, мне случалось один раз страдать ею одиннадцать месяцев сряду; правда, что во все это время, по нелюбви моей к медицинским пособиям, я не обращался к ним.

Если дядя Алексей Васильевич будет смотрителем Шереметевской больницы и будет жить в Москве, то я и за него и за тебя очень порадуюсь [1]. При его плохом здоровье жить зиму в деревне, может быть, иногда не совсем удобно, к тому же нынешней зимой без Катерины Сергеевны и без Вареньки ему была бы тоска остаться одному с малолетными детьми в деревне.

Ты доволен своими уроками, но до сих пор не уверен, будет ли от них успех, а я не могу сомневаться, что они принесут твоим юношам положительную пользу. Когда занимаешься чем-нибудь дельным, и к тому же с смыслом и добросовестно, как ты занимаешься, то наверно можно ожидать всего доброго от такого дела.

Прости, мой милый друг. Крепко тебя обнимаю, обними за меня Леночку и Оленьку. У бабушки Катерины Васильевны целую ручку.

И. Якушкин.

116. И. Д. ЯКУШКИН — Е. И. ЯКУШКИНУ

1850. Ялуторовск. Ноября 24-го.

Сейчас мне принесли твое письмо, мой милый друг Евгений, от 1 ноября. Вероятно, ты сегодня будешь у бабушки Катерины Васильевны и поздравишь ее от себя и от меня со днем ее ангела. Я продолжаю гостить у Матвея Ивановича; мне здесь очень удобно; добрые хозяева за мной ухаживают, как за гостем, давно не бывалым и которого они давно ждали. Ты пишешь, что у вас распутица, а у нас зима стоит очень исправно; сегодня утром рано термометр показывал 26°, что еще очень немного для Ялуторовска, где в ноябре очень нередко ртуть мерзнет. Разумеется, теперь все тараканы у меня замерзли, но я нынешний раз не очень спешу домой. В моей маленькой комнате, когда большие морозы, или холодно или душно, а иногда и угарно; в прежние годы я не очень обращал на это внимание; свой уголок, какой бы он ни был, одна из первых для меня потребностей; но теперь здоровье не прежнее, и я без сопротивления сдаюсь на убеждение моих хозяев еще пожить с ними вместе.

Смотрю заглавия всех русских журналов, в это время мне не удалось читать ни одного из них, и все нет еще твоей статьи; а может быть, она и находится в номере, который не попался мне в руки; жду появления этой статьи, как ты можешь себе представить, не совсем равнодушно.

Прости, мой милый друг. Крепко тебя обнимаю, обними за меня Леночку и Оленьку. Шереметевым всем кланяюсь, у бабушки Катерины Васильевны целую ручки.

И. Якушкин.

117. И. Д. ЯКУШКИН — Е. Г. ЯКУШКИНОЙ[1]

1850. Ялуторовск. Декабря 1-го.

На-днях письмо твое от 4 ноября, милая моя Леночка, я получил. Ты пишешь, что Евгений при продолжительных своих занятиях не очень утомляется, из чего следует заключить, что он все-таки сколько-нибудь устал; лишь бы это не имело влияния на его здоровье, а занятия его дельны, и слава богу.— Портрет Оленьки уже начат; если он сколько-нибудь будет похож и изобразит красивое дитя, то, конечно, ничего более нельзя и требовать от портрета с ребенка, которому нет еще и полутора года. Так как этот портрет пишется масляными красками и, полагаю, будет не очень велик, то я прошу тебя приказать сделать на него самую простую золоченую рамочку. С портретом бабушки мне было много хлопот; надо было заказать раму столяру, потом выписать из деревни золотильщика, потом выписывать для него золота и так далее, а рама все-таки вышла весьма невзрачная.

Ты пишешь, что у тебя висит мой портрет, посланный мною бабушке в 1844-м году, и что Оленька его знает. Я очень помню, что в то время многие находили, что он на меня похож, а другие, что он нисколько на меня не походит и прямо карикатура на меня; за малым исключением это участь почти всех портретов. За отсутствием близкого человека портрет, хоть сколько-нибудь на него похожий, неоцененная вещь, по моему мнению; подчас с ним можно даже приятно побеседовать. Софья Муравьева просила меня убедительно прислать ей мой портрет, но на этот раз здесь нет ни пол-, ни даже четверть художника, который бы писал человеческие лица, и потому я не имею никакой возможности удовлетворить желание милой моей

племянницы, но когда она будет в Москве, и если ее желание иметь мой портрет не изменится, то вы тогда общими силами найдете возможность уладить это дело.

Прости, моя милая Леночка. Крепко тебя обнимаю, обними за меня Евгения и Ольгу. Дяде Алексею Васильевичу и всем его очень поклонись от меня, у бабушки Катерины Васильевны целую ручки.

И. Якушкин.

118. И. Д. ЯКУШКИН — Е. И. ЯКУШКИНУ

1850. Ялуторовск. Декабря 15-го.

Последняя почта опять не привезла мне письма от тебя, мой милый друг Евгений, и вот ровно две недели, что я не имею о вас никакого известия. Уверен, что ты пишешь ко мне, и все надеюсь, что будущая почта или следующая за ней привезет мне от тебя письмо. Я все еще в гостях, и сам не знаю, когда возвращусь домой.

Вчера я слышал, что в последнем номере «Москвитянина» напечатана новая комедия Островского «Утро молодого человека»; мне обещали немедленно доставить ее, и мне очень хочется ее прочесть; я не могу себе представить, чтобы Островский, написавший «Свои люди — сочтемся», написал теперь что-нибудь пошлое, подходящее в уровень всего того, что печатается в «Москвитянине» [1].

Я очень давно читал роман Лермонтова «Герой нашего времени», а на-днях его здесь читали вслух, и я слышал из него несколько отрывков. Какой прекрасный талант был у этого Лермонтова; слушаешь его, даже прозу, с таким же чувством удовольствия, с каким слушаешь давно знакомую, хорошую музыку. На каждой странице его романа высказана, и иногда очень верно, какая-нибудь мысль или какое-нибудь чувство; но что наиболее меня порадовало при последнем чтении этого романа, это какая-то уверенность, что Печорин, если и герой, то более не герой нашего времени, что он отжил свой век и что снимки с него, подобные Тамарину и другим, скоро исчезнут

из нашей современной словесности, а на чем основана эта уверенность, я и сам не знаю [2].

Прости, мой милый друг. Крепко тебя обнимаю, обними за меня Леночку, Вечеслава и Ольгу. Дядю Алексея Васильевича обнимаю, всем его и Муравьевым кланяюсь, у бабушки Катерины Васильевны целую ручку.

И. Якушкин.

119. И. Д. ЯКУШКИН — А. В. МЯСНИКОВОЙ [1]

[Ялуторовск. 1850].

Милостивая государыня Анна Васильевна! В воскресенье, 2 декабря, я освятил училище, обязанное вам своим существованием. Призывая на него, в кругу детей, благословение свыше, мы просили бога посетить вас отрадою и утешением. Совершив молитву, мне приятно передать общую нашу сердечную благодарность за добро, сделанное вами всему новому женскому поколению города Ялуторовска. Пожертвованием вашим теперь слишком шестьдесят девиц обучаются в светлом и удобном доме. Со временем число их может увеличиться.

120. И. Д. ЯКУШКИН — Е. Г. и Е. И. ЯКУШКИНЫМ [1]

1851. Ялуторовск. 13 января.

Я только что получил твое письмо от 29 ноября, моя милая и дорогая Елена; слава богу, что у вас все идет хорошо. Я вижу, что ты права, не выпуская маленькую на воздух, когда холодно: лишняя предосторожность не мешает с ребенком, у которого идут зубы. В течение нескольких дней у нас были холода, хоть отбавляй: 33° и больше, ртуть не отмерзала, и это не является чем-то очень необыкновенным для Сибири; теперь 20° мороза; поэтому я спешу воспользоваться мягкостью этой погоды, чтобы выехать в Тобольск; думаю уехать послезавтра, сам не знаю точно, сколько времени останусь в

Тобольске. Хотя мой отъезд и не требует многих приготовлений, все же за эти последние дни у меня почти не было свободной минуты, поэтому прошу тебя не быть на меня в обиде, если я тебе так мало пишу. Прости, моя милая, обнимаю тебя от всего сердца. Хорошенько обними за меня маленькую.

На неделе, кроме приписки твоей в письме Леночки от 29 ноября, я получил твое письмо от 8 декабря, мой милый друг Евгений. Мнение мое о сценах Островского, напечатанных не очень давно в «Москвитянине», я тебе высказал тотчас по прочтении их и теперь с тобой согласен, что не будь они произведение сочинителя «Свои люди — сочтемся», конечно, никто не обратил бы на них внимания; согласен также с тобой и в том, что дарование, творящее без собственного сознания того, что оно творит, дарование не очень прочное. В нашей бесцветной словесности комедия Островского явилась как блестящая звезда, и весьма жаль, если она была не более как случайность.

На неделе получил письмо от Вечеслава и Софьи; последняя необыкновенно со мной любезна, всякие две недели она непременно ко мне пишет. Прости, мой милый друг, боюсь опоздать с моими письмами и потому сегодня так недолго с тобой беседовал. Крепко тебя обнимаю.

И. Якушкин.

121. И. Д. ЯКУШКИН — Е. И. ЯКУШКИНУ

1851. Тобольск. Генваря 19-го.

По приезде моем в Тобольск я получил два твоих письма, мой милый друг Евгений, сегодня в ответ на них успею написать к тебе только несколько строк и то потому единственно, что к тебе я непременно пишу еженедельно. К дяде Алексею Васильевичу, тетушке Пелагее Васильевне, Софье и Вечеславу буду писать в следующую пятницу. Прости, мой милый друг. Крепко тебя, Леночку и Ольгу обнимаю. Всем близким скажи от меня дружеское приветствие, у бабушки Катерины Васильевны целую ручки.

И. Якушкин.

122. И. Д. ЯКУШКИН — Е. И. и Е. Г. ЯКУШКИНЫМ

1851. Тобольск. Генваря 26-го.

На неделе не было письма от тебя, мой милый друг Евгений. Я еще и сам не знаю, долго ли пробуду здесь; по приезде в Тобольск здоровье мое как будто несколько поправилось; я тут решительно ничем не занимаюсь, ем, сплю и целый день говорю: с некоторыми из моих товарищей, с которыми я прожил осем лет в Чите и Петровском, я расстался пятнадцать лет; в это время и они и я, мы очень постарели, и они и я, мы каждый порознь многое думали и чувствовали, и теперь беседа моя с ними пока не налаживается и до такой степени, что я в неделю едва умею выбрать несколько минут для того, чтобы отправить к тебе мой срочный листок; вот и теперь Михаил Александрович, возвратившись от обедни, заходил ко мне наверх и ждет меня внизу [1].

В последнем твоем письме ты пишешь, что преподаваемые тобой уроки окончатся в начале апреля; с другой стороны, Вечеслав пишет ко мне, что, вероятно, ты скоро оставишь Архив [2] и будешь занят единственно преподаванием уроков в разных заведениях. Муравьевы, полагаю, уже теперь в Москве, очень и очень всем им поклонись от меня; у тетушки Пелагеи Васильевны, Софьи и Вечеслава я в долгу, получил от них письма и на прошедшей неделе не успел написать к ним, и очень может быть, что с нынешней почтой я опять не успею к ним написать. Впрочем, уверен, что они не взыщут на меня за такую неисправность. От дяди Алексея Васильевича получил здесь также письмо от 30 декабря и также не писал к нему. Очень обними его за меня. Прости, мой милый друг. Крепко тебя обнимаю [3].

По тому, что я только что написал Евгению, ты увидишь, дорогая Елена, какой образ жизни я веду в Тобольске; это — прямая противоположность моему существованию в Ялуторовске, где почти все дни распределены по часам теми занятиями, которые я мог себе создать; здесь — совершенно наоборот: в то время как я пишу тебе, я даже не знаю, успею ли я сказать тебе еще несколько слов, а между тем образ жизни, который я веду в Тобольске, имеет решительно благо-

творное влияние на мое здоровье; за те несколько дней, что я здесь, я стал значительно крепче и ни разу еще не чувствовал себя здесь обессиленным, как это случалось иногда со мной в Ялуторовске. Я никогда не кончил бы говорить, с каким чувством я жду портрета девочки, но ты, однако, хорошо делаешь, что не посылаешь его мне до тех пор, пока краски хорошо не высохнут. Если ты случайно увидишь мадемуазель Христиани, спроси ее получила ли она оба письма, написанные к ней г-жею Анненковой? Прости, милая Елена. Обнимаю тебя от всего сердца, так же как и девочку.

И. Якушкин.

123. И. Д. ЯКУШКИН — С. Я. ЗНАМЕНСКОМУ [1]

Тобольск. 1-го февраля 1851 г.

О собственном нашем деле могу вам сказать, что на другой же день по приезде моем сюда я был у Чигиринцева и объяснился с ним со всей мне свойственной откровенностью. Это было глаз на глаз; потом то же самое повторилось при Степане Михайловиче и потом еще при всех наших, у Анненковых. С тех пор, встречаясь с ним довольно часто, я не пропускаю никакого случая понемногу клонить его к моему мнению: это один из тех людей, которые любят палку; а впрочем, что у него на сердце, бог его знает, но так как обстановка около него внезапно совершенно изменилась, то надо полагать, что и он сам изменился в своих чувствах к нашим училищам. При мне, а не прежде, получена бумага о переводе Т...ы, и на другой же день Чигиринцев представил губернатору о переводе Абрамова в Тюмень, а на место его Христианова к нам в Ялуторовск. Представление директора отправлено уже в Омск, и на-днях надо ожидать утверждения поименованных смотрителей. Я говорил Чигиринцеву об испытании наших девиц для получения аттестатов, и он меня уверил, что в этом отношении для них не может быть никакого затруднения; вообще мы с ним в самых приятельских отношениях.

Целую ручку у Марьи Константиновны и от души обнимаю милую Фану и милую Сашу, благодаря их за попечение о нашем рассаднике. Хлопотать по рукодельному классу здесь, в Тобольске, я поручил Оленьке, Маше Францовой и Смольковой. Надеюсь, что они с этим делом лучше справятся, нежели справлялись с ним здесь прежде.

О себе что вам сказать? Когда не сплю, так ем, а когда не ем, то наверно говорю; здоровье мое здесь очень поправилось; о прежних несносных припадках моей болезни я по временам совершенно забываю. Со всеми нашими видаюсь, разумеется, сколько возможно чаще, и по этой части их устройство недурно, но далеко не так прекрасно, как у нас, в Ялуторовске...

Скажите Ивану Ивановичу, что, бывши у Анненкова третьего дня, я беседовал с его племянником, который со всеми нами внимателен как нельзя более, а в своих родственных отношениях с домом Ивана Александровича он ведет себя как умный и весьма благородный человек; бывает у брата всякий вечер и обходится с ним, как брат [2]. Нельзя сказать, чтобы он был также нежен с здешними властями при осмотре острога, губернского правления, приказа и проч. Надо полагать, что за молнией грянет гром, а что потом,— и самые дальновидные здесь еще не предвидят...

План нашего училища до сих пор не мог выпроводить в Омск [3], но надеюсь, что это дело уладится до моего отъезда из Тобольска.

124. И. Д. ЯКУШКИН — Е. И. ЯКУШКИНУ [1]

1851. Тобольск. Февраля 16-го.

Два твоих письма, мой милый друг Евгений, от 6 декабря и 26 генваря на неделе я получил, а вчера получил еще от тебя два письма от 13 и 20 генваря, которые по ошибке были отправлены в Ялуторовск и возвращены мне оттуда; деньги, 160 рублей серебром, за которые много тебя благодарю, также по ошибке отправлены в Ялуторовск и оставлены там до моего возвращения. На нынешней неделе я собираюсь выехать из Тобольска.

Вместе с тобой очень сожалею, что выбор попечителя Шереметевской больницы не пал на дядю Алексея Васильевича; вероятно, и для него было бы удобнее, имея положительные занятия по больнице, постоянно жить с своим семейством в Москве; а для тебя и для Леночки присутствие дяди и его семейства в Москве было бы более нежели удобством.

По газетам, которые получены уже здесь от первых чисел февраля, еще не видно, чтобы Михаил Николаевич выехал из Петербурга; может быть, по каким-нибудь обстоятельствам поездка его в Москву отложена, а из письма Вечеслава я знаю, что он сам не ожидает скорого с тобой свидания [2]. Сперва он писал ко мне, что он собирается прокатиться по вновь открытой железной дороге от Вышнего Волочка до Твери [3], а потом, что он отложил свою поездку в Москву до святой недели.

Очень понимаю, что тебе желалось бы при внешних твоих занятиях иметь более времени на домашние твои занятия, или, как ты справедливо говоришь, на собственное твое учение; обучая других, необходимо и самому подвигаться вперед, а без того непременно отстанешь от своих учеников, как это часто случалось, а может быть, и теперь случается с нашими профессорами. Недавно в фельетоне С.-Петербургской газеты я прочел огромную похвалу напечатанной диссертации профессора Московского университета, кажется, Кудрявцова, и которую он написал для получения степени доктора [4]. Все петербургские журналы отдают справедливость трудолюбию и достоинствам молодых профессоров Московского университета; утешительно видеть, что, наконец, и у нас число ученых, добросовестно трудящихся в распространении истинного образования, все более и более увеличивается.

Беседу мою с тобой, против моего желания, должен прервать; мне пришли сказать, что пора отправить мое письмо. Прости, мой милый друг. Крепко тебя, Леночку обнимаю. Шереметевым и Муравьевым очень поклонись от меня.

И. Якушкин.

Февраля 19-го.

По случаю масляной письмо это в последнюю пятницу не отправилось, и я после того получил твое письмо от 3 февраля.

125. И. Д. ЯКУШКИН — П. Я. ЧААДАЕВУ[1]

[Ялуторовск. 4 августа 1851 г.].

Спасибо, любезный друг, за прекрасный подарок, который ты мне только что сделал присылкой портрета; моему воображению не пришлось слишком напрягаться, чтобы признать, что он очень похож. Настоящим наслаждением для меня было знакомство с твоим молодым другом. Мне кажется, я просто влюблен в него. Передай, пожалуйста, от меня тетушке твоей и кузинам самый дружеский привет.

Нежно обнимаю тебя и брата[2].

126. И. Д. ЯКУШКИН — Е. И. ЯКУШКИНУ[1]

1851. Ялуторовск. Сентября 22-го.

На неделе опять не было от тебя письма, мой милый друг Евгений, а я все продолжал писать к тебе еженедельно. По отправлении моего последнего срочного листа к тебе я получил через тобольского губернатора сто рублей серебром; полагаю, если бы они были от тебя, ты бы, пославши их, меня известил бы об этом, а потом думаю, что кроме тебя некому прислать их; во всяком случае я получил их очень кстати и тотчас уплатил часть долгу, сделанного мною в нынешнем году и совершенно против моего обыкновения.

На неделе получил письмо от Софьи Муравьевой от 1 сентября и в нем приписку от Вечеслава. Вечеслав все собирается зимой приехать по железной дороге в Москву. Ожидаю от тебя извещения, как ты устроился в новом своем жилье; полагаю, что теперь Леночка и

Ольга возвратились уже в Москву. Очень обними их обеих за меня. Всем родным и знакомым усердно кланяюсь. Прости, мой милый друг. Крепко тебя обнимаю.

И. Якушкин.

127. И. Д. ЯКУЩКИН — Е. И. ЯКУШКИНУ

1851. Ялуторовск. Декабря 15-го.

Два твоих письма от 16 и 24 ноября, мой милый друг Евгений, на неделе получил. При первом получил 50 рублей серебром, за которые много тебя благодарю. Ты пишешь, что для тебя очень неприятно, что ты до сих пор высылаешь мне деньги, по твоему мнению, неаккуратно, а я могу тебя уверить, что я всякий раз получал их как нельзя более во-время. Если в самом деле присылка 300 руб. сер. в год тебя не затрудняет, то это, конечно, все, что мне нужно на прожиток в Ялуторовске.

Вечеслав пробыл в Москве очень недолго, и я полагаю, при суете, какая сопровождает обыкновенно свадьбу и особенно в столице, ты мало с ним беседовал. На неделе получил также письмо от Софьи Муравьевой; она пишет, что Вечеслав теперь не живет у них в доме, но что, впрочем, это ненадолго. Через несколько месяцев ты уже собираешься отправиться по службе в какую-нибудь из губерний; тут мне тотчас подумалось о разлуке твоей с семейством; разлука эта будет наверно и для тебя и для Леночки очень чувствительна; хорошо еще, что вы оба так благоразумны, что всегда умеете покориться необходимости. Для тебя собственно поездка в какую бы то ни было губернию, я уверен, будет не без пользы, и даже если бы ты попал в такую страну, где нет курганов. Страсть, с какою ты разрывал курганы, для меня несколько понятна; ты не мог приступить к этому делу совершенно без смысла, а есть, как у нас пишут, такие счастливые натуры, которые все, что они делают, делают с любовью, и я полагаю, что ты принадлежишь к числу этих счастливых натур.

«Кометы», а потому и «Антонины», я до сих пор еще не читал, они все еще ходят по чужим рукам.

Заглавие «Племянницы» я очень помню в «Современнике» нынешнего года, но, может быть, это другая повесть под тем же заглавием. Я ее не читал, впрочем, и сам не знаю, почему [1].

Прости, мой милый друг. Крепко тебя, Леночку и Ольгу обнимаю. Всем Шереметевым очень поклонись от меня.

И. Якушкин.

128. И. Д. ЯКУШКИН — Н. Д. СВЕРБЕЕВУ [1]

1852. Генваря 30-го.

Зная от меня самого о нелюбви моей писать письма не только к королям, но и к друзьям, вы, конечно, мой милый Николай Дмитриевич, не ожидали, что я доставлю вам случай разбирать мой почерк. Не имея очень давно о вас прямой вести, я решился измарать листок и отправить его к вам в уповании, что вы на него отзоветесь и известите нас подробно, что вы вообще и как вы в особенности. По письмам из Иркутска мы знаем, что вы имели поручение в Нижний Удинск; потом какой-то проезжий чиновник из Иркутска сообщил Ивану Ивановичу, что вы отправились в Якутск и, может быть, надолго.

Зимой путешествие по Лене, которая, говорят, так красива летом, должно быть не очень приятно. Жить с якутами вблизи моржей и белых медведей должно быть также не очень увеселительно; но в вас много жизни, и, при помощи божией, вас на все достанет; главное в этом случае только не оробеть.

Поладили ли вы, наконец, хоть сколько-нибудь, с Вагнером; вы были против него ужасно несправедливы, и вообще несправедливы, отрицая достоинство ему подобных. Alles, was ist wirklig, ist vernünftig [2], а что может быть действительнее лица Вагнера в творении Гете — отродье Вагнеров приносит, конечно, не казистую, но положи-

тельную пользу; попавши в колею, оно идет по ней, нисколько не заботясь, сухо там или грязно, и тянет усердно накинутую на нее лямку; к тому же оно незлобно и всегда довольно собой и всем его окружающим.

Если вы отправитесь вместе с Фаустом на Брокен попировать с чертями и ведьмами, или вместе с Манфредом на Альпы побеседовать с духами, то, конечно, никто из этого отродья не последует за вами, потому что это нисколько не его назначение.

Мне не нужно уверять, что здесь все вас помнят и часто вспоминают с любовью. Матвей Иванович всякой день поет, и заставляет петь Аннушку, те песни, которые вы у него пели; вчера он уехал в Тобольск со всем своим семейством, вероятно, ненадолго.

Иван Иванович хворал, но теперь поправился и опять молодцом. Дяденька ваш [3] не совсем вами доволен; получивши ваше письмо, он писал к вам вторично, а вы на второе письмо ему не отвечали. Надннях к Василию Карловичу с разрешения вашего начальства приехали два его сына; вы можете себе представить, как он счастлив; всегда молчаливый, он теперь беспрестанно толкует и, если бы вы были здесь, вы наверно им бы натешились; вообще все знакомые вам ялуторовские старики здоровы, кроме меня; я почти всю зиму хвораю; часто собираемся всей артелью, толкуем попрежнему, разумеется, иногда и без толку, но живем, как и прежде, в совершенном согласии.

Не получили ли вы письма от Петра Яковлевича? После вашего отъезда я про него решительно ничего не знаю.

Но пора кончить, мне хорошо было измарать этот листок, каково-то вам будет разбирать мое маранье.

Простите, мой милый Николай Дмитриевич. Крепко вас обнимаю. Будьте добрый малый, пишите кому-нибудь из нас, все равно, но пишите много и подробно о себе.

И. Я.

Как надписывать к нам письма, вы знаете: Николаю Яковлевичу Балакшину.

129. И. Д. ЯКУШКИН — Н. Д. СВЕРБЕЕВУ

1852. Ялуторовск. Мая 12-го.

Недели две тому назад я получил ваше письмо от 13 марта, мой добрый и милый Николай Дмитриевичь, и если я тогда же не написал к вам, то это потому только, что я был в недоумении, куда написать к вам мой листок; в Якутске вас теперь нет, в Удской почта, вероятно, ходит один раз или два раза в год; наконец я решился написать к вам в Якутск, а там они уже распорядятся с моим письмом, как знают. Очень, очень порадовался, видя из вашего письма, что вы не унываете и действуете решительно: ваше штатное место и поручение по службе удовлетворило бы, конечно, не каждого из Вагнеров, а для вас и то и другое пригодно; начавши службу с самых складов, вы ею не пренебрегаете, и прекрасно поступаете; во всяком деле, чтобы действовать основательно, необходимо начинать с самого начала. Не худо и то, что во время пребывания вашего в Якутске нашелся там прекрасный пол, который хоть сколько-нибудь пестрил однообразность вашего существования; о венке из незабудок и пр. мы здесь знаем из московских газет; статью в них из Якутска старики, вам знакомые, прочли с удовольствием. В ней все пристойно, а это редко случается с статьями подобного с ней содержания.

Очень понятно, что вы иногда чувствуете сильную потребность поговорить с мыслящим человеком, и я полагаю, что, не встречая возможности удовлетворить такой потребности, вы вознаграждаете себя, беседуя сколько возможно чаще с самим собой. Теперь мы ждем от вас вести из удского края — как-то вы уладите с тамошними дикарями и особенно с тамошними чиновниками, которые должны быть народ совершенно одичалый. Я полагаю, что вы в постоянных сношениях с Иркутском; очень и очень рад, что вы сошлись с моими добрыми Трубецкими, и уверен, что они к вам пишут, а потому, вероятно, вы уже знаете, что старшая их дочь вышла замуж за Ребиндера, троицко-савского градоначальника. В проезд его через Ялуторовск мы провели с ним несколько часов, и я расстался с ним, как с человеком, давно мне знакомым; кажется, он во всех отношениях

человек очень порядочный, и можно надеяться, что милая моя Саша будет с ним счастлива.

Давыдовы пробыли у нас несколько дней, и мы их здесь все полюбили; Лиза прекроткое и премилое существо. Петр Васильевич человек не глупый и, кажется, очень добрый человек: il a tout ce qu'il faut pour faire des heureux et des enfants [1].

Но пора кончать. Все наши старики вас очень помнят и любят попрежнему; празднуя 9 мая у нашего именинника Басаргина, мы пили за ваше здоровье и при этом случае особенно чокнулись, ваш дядюшка и я; наш женский пол также очень часто о вас вспоминает.

Простите, мой добрый, мой милый Николай Дмитриевичь, крепко вас обнимаю.

130. И. Д. ЯКУШКИН — Е. Г. ЯКУШКИНОЙ [1]

[Ялуторовск] 29 мая [1852 г.].

Девицы обязательно захотели послать тебе вышивку, сделанную в нашей школе, и я взялся выполнить их поручение, будучи убежден, что ты примешь это малое, моя милая и дорогая Елена, из благосклонности к тому доброму желанию, с каким мы его тебе подносим. Я пишу тебе мало и редко, и ты, конечно, не в обиде на меня за это,— несколько строчек больше или меньше в нашей официальной корреспонденции не могут ни сблизить, ни удалить нас друг от друга. Я иногда с сожалением думаю, что несколько часов интимной беседы больше сделали бы в деле нашего взаимного знакомства, чем целые годы переписки — такой, какая существует между нами; впрочем, я в том же положении в отношении моих двух сыновей: мы знаем друг друга только по письмам, которые пишем официально и в которых мы, без всякого сомнения, не говорим друг другу того, что хотели бы и могли бы сказать при личном свидании. Из того, что я поделился с тобой этим сожалением, не подумай отнюдь, что я жалуюсь на свое положение; оно действительно не совсем обыкновенно,

но далеко не невыносимо, особенно, когда я имею счастье получать добрые вести от всех вас.

В Ялуторовске нас шесть человек, не считая женщин и приемных детей. Самому младшему из нас пятьдесят лет, а самому старшему — Тизенгаузену — извини за малое, лишь семьдесят четыре: как видишь, все мы здесь почтенного возраста, что не мешает нам, когда мы собираемся вместе,— а случается это очень часто,— спорить, как студентам, и кричать, как носителям реклам, и все это без малейшей ссоры. Это доказывает, что, несмотря на старость, мы еще сохранили кое-какие юношеские замашки.

У каждого из нас есть свои личные занятия; я каждый день бываю в своих двух школах; это отнимает у меня много времени и часто мешает моей прогулке по полям, которая всегда является для меня самым приятным отдыхом. Из того, что я тебе сказал, моя милая Елена, ты должна усмотреть, что мое существование в Ялуторовске очень сносное, особенно, если сравнить его с жизнью в других местах Сибири. Мне не надо говорить тебе, до какой степени я счастлив, получая от вас вести. Если ты считаешь это удобным, расскажи мне подробно обо всем, что тебя касается. Обнимаю тебя от всего сердца и души, мое дорогое дитя, и прошу тебя хорошенько обнять за меня твоего мужа, так же как и нашего дорогого маленького ангела [2].

131. И. Д. ЯКУШКИН — Е. И. ЯКУШКИНУ [1]

1852. Ялуторовск. Сентября 20-го.

Третьего дня я получил твое письмо от 23 августа и совершенно неожиданное для меня известие о кончине милой нашей Ольги; жаль мне тебя, мой милый друг, и еще более жаль милую и бедную Леночку; все это время, думая о вашем горе, мне и самому жить как-то не совсем ловко, а податься некуда; душевно и крепко обоих вас обнимаю.

И. Якушкин.

132. И. Д. ЯКУШКИН — Н. Д. СВЕРБЕЕВУ[1]

1852. Ялуторовск. Ноября 10-го.

Письмо ваше от 20 сентября на-днях я получил, мой милый и добрый Николай Дмитриевич; мы его прочли сообща, как обыкновенно читаем получаемые от вас листки, из чего вы уже можете заключить, что здесь все вас помнят и любят попрежнему. Что пребывание ваше в Удском и вообще путешествие в тот край оставило в вас навсегда приятное воспоминание, я в этом нисколько не сомневаюсь. Пробыть некоторое время на берегу моря, в котором кишат киты и которое великолепно обстановлено, а вдобавок еще ознакомиться с бытом кочующих дикарей, о котором прежде вас, вероятно, никто не имел никакого понятия,— это такая роскошь, какой, конечно, позавидовал бы иной лорд, при всем комфорте, его окружающем. Немудрено, что пребывание ваше между тунгусами будет и для них на пользу, чего я им искренно желаю.

Вам и в Якутске удалось сойтись с людьми, с которыми подчас вы имеете возможность обменяться и мыслью и чувством,— это особенное вам счастье, и я от души этому за вас радуюсь. Очень верю, что вы чинолюбия нисколько в душе своей не питаете, и даже уверен, что такого рода любовь душе вашей была бы непристойна; до сих пор, зная цену жизни, вы на все иронически смотрите en homme de qualité[2], и это прекрасно, и за это слава богу.

Нынешним летом Фонвизин, с разрешением высшего начальства, приезжал в Тобольск повидаться с братом[3]; на возвратном пути он заезжал к нам; я был с ним прежде коротко знаком, и для меня было истинное удовольствие обнять его, он четырьмя годами меня старше, а нашим старикам он показался совершенно дряхл; при этом невольно приходит на мысль, что в жизни есть летучие начала, которые удобнее сохраняются в таком закупоренном положении, как наше; по морщинам и рединам мы все здесь видимо стареем, но дряхлости как будто еще нет.

Вы непременно хотите, чтобы я вам сказал что-нибудь о Молчановых. Дмитрий Васильевич, как вам известно, по жене своей нам

не чужой, а все-таки при первом свидании, казалось, ему было неловко с нами; потом он как будто оперился и окончательно показался мне человеком не совсем глупым; а кто его знает? Может быть, он во многом и дошлый человек. Более ничего вам о нем сказать не умею; зато могу решительно сказать, что жена его премилое существо и которую мы все здесь от души полюбили [4].

Но пора кончить мое маранье. Все наши старики, наши старые дамы и молодежь дружески вас приветствуют, а я, мой милый Николай Дмитриевич, крепко вас обнимаю. Евгений Петрович к вам писал еще прежде меня и не получил ответа, из чего я заключаю, что его письмо к вам, по какому-нибудь случаю, затерялось.

И. Я.

133. И. Д. ЯКУШКИН — Е. И. ЯКУШКИНУ [1]

[Ялуторовск. 1852].

На этот раз и к тебе, мой милый друг Евгений, в ответ на твое письмо напишу только несколько строк; я живу теперь не дома, гощу у Матвея Ивановича Муравьева, пока у меня морозят тараканов, а на людях без привычки писать очень неловко. Мы имеем здесь теперь «Revue Britannyk» [2] за прошлый год, в которой помещен процесс какого-то священника; говорят, очень любопытная статья, я ее еще не читал, но со временем прочту, хотя и уверен, что уголовные процессы, о которых ты ко мне пишешь, находятся в «Revue» нынешнего года. Очень верю, что эти процессы [3] забавляют тебя более, нежели большая часть повестей и романов, в которых нередко жизнь представляется в искаженном виде. Ты, вероятно, знаешь, что Вальтер Скотт по своей должности, занимаясь очень много уголовными процессами, почерпнул из них глубокое свое знание страстей человека, которые облекают такой действительностью каждый из его рассказов.

Прости, мой милый друг. Крепко тебя обнимаю.

И. Якушкин.

134. И. Д. ЯКУШКИН — Е. И. ЯКУШКИНУ [1]

1853. Ялуторовск. Генваря 10-го.

Два твоих письма, мой милый друг Евгений, от 13 и 20 декабря, на-днях я получил. Очень радуюсь за дядю Алексея Васильевича, что он повидался с своими сыновьями, которых он так нежно любит; вероятно, они побывают у него в Покровском на новоселье.

Ты пишешь, что тебе предстоит опять командировка и потому предстоит опять разлука с семейством, что во всяком случае более или менее горе.

Историю войны России с Францией в 1799 году я прочту, не знаю, с удовольствием ли, но наверно с любопытством [2], до сочинений Данилевского я небольшой охотник, я говорю о Данилевском, который написал историю походов 12-го и 13-го годов и проч. [3]. Как писатель, он может быть и не без достоинств, но как историку ему нельзя простить, что он, имея все нужные средства, чтобы говорить правду, в своих сочинениях беспрестанно и умышленно искажал ее.

Последнее, что я читал о походе русских в 1799, было в сочинении Тиера, который так безбожно врал и врет с плеча, что на него самого нельзя сердиться, а можно только смеяться над его враньем.

На-днях мне случилось беседовать с Башмаковым [4], когда-то славным артиллерийским полковником; он начал свою службу Итальянским походом при Суврове. Ему 78 лет, он много ходит пешком и до сих пор ни летом, ни зимой не носит ни чулок, ни калош, а память сохранил изумительную.

Про Треббию и про Нови он говорит как про происшествия вчерашнего дня. Я любовался на него как на ходячий памятник славных времен для России.

Здоровье мое не совсем дурно, но все еще не совсем в порядке. Прости, мой милый друг, крепко тебя, Леночку и внучку мою обнимаю.

И. Якушкин.

135. И. Д. ЯКУШКИН — Е. И. ЯКУШКИНУ

[Ялуторовск]. Мая 6-го [1853].

Никакого случая не пропускаю, не написавши к тебе несколько строк, мой милый друг Евгений. Не знаю, когда и как ты увиделся с Михаилом Александровичем, который очень желал с тобой познакомиться [1]. Я с ним послал сердоликовую печатку, о назначении которой я к тебе писал.

Сегодня я писал к дяде Алексею Васильевичу и просил его выслать мне от себя 100 [руб.] сер. Эти деньги мне нужны для заплаты долгу; как ни мало значителен этот долг, но он меня тяготит и я очень буду рад, когда уплачу его; я тебя прошу, если можно, напиши мне, что́ ты можешь мне выслать в нынешнем году, чтобы я мог, сколько сумею, по доходу распорядиться своим расходом. Ты можешь быть уверен, что я нисколько не сомневаюсь в твоем желании и готовности высылать мне ежегодно 300 руб. сер., но я очень знаю, что твои средства весьма ограничены, и прошу тебя в этом отношении нисколько со мной не стеснять себя.

Напиши ко мне об этом подробно и откровенно — твои письма с Тобольска не читаются и доставляются мне нераспечатанными. Тихон Федотович [2], старый твой приятель, и со мной и со всеми нашими как нельзя более любезен.

Я просил тебя, если можно, выслать мне две книжки рисунков, которых недостает у меня при сочинении Ильина, и именно 20-ти рисунков, начиная от 21-го до 41-го. Не имея возможности ходить много пешком и собирать растения, я занимаюсь ботаникою по книжкам; такое занятие, само собой разумеется, не имеет никакой особенной цели и решительно от нечего делать может быть только пригодно.

Ты мне писал, что предполагал перевести с товарищем своим некоторые старинные путешествия немцев в России, но что теперь при других своих занятиях не имеешь на это времени; мне пришло на мысль, что в этом случае Михаил Александрович может быть для тебя полезен. Он знает хорошо немецкий язык и очень легко с него

переводит; я уверен, что он охотно возьмется за такую работу, которая при его любви ко всем памятникам русской истории доставит ему приятное занятие.

Но пора кончить, меня ждут. Прости, мой милый друг. Крепко тебя, Леночку и девочку вашу обнимаю. Дай бог вам всем здоровья. Чтобы известить меня о получении этого письма, напиши ко мне. Поклон от Александра Бибикова.

Видел ли ты когда-нибудь Тизенгаузена? Отец его ежедневно ожидает позволения ехать в Нарву.

136. И. Д. ЯКУШКИН — Н. Д. СВЕРБЕЕВУ[1]

Ялуторовск [18]54. Генваря 1-го — 16-го.

Поздравляю вас, мой добрый и любезный Николай Дмитриевич, с новым годом и новым счастьем; то, которое сопровождало вас в прошлом году, очень походило на несчастье — в продолжении 6-ти месяцев сидеть троекратно в карантине — хоть кого покоробит. Вы пишете, что глаз все шалит; надо надеяться, что в Белокаменной найдутся средства прекратить шалость вашего глаза, а если нет, то вы, пожалуй, можете и за границу; я такого мнения, что несравненно удобнее смотреть на прекрасный божий мир двумя глазами, нежели одним глазом.

После вашего отъезда я побывал в Тобольске и там хворал и по возвращению в Ялуторовск опять все хворал.

Из всех восточных вопросов на этот раз для меня самый любопытный вопрос о том, когда Никол[ай] Николаевич[2] выезжает из Петербурга; вероятно, он там задержится известиями с китайской границы, которые помчал к нему кн. Ингалычев.

Крепко жму вам руку. Поклонитесь от меня старым моим друзьям и знакомым.

137. И. Д. ЯКУШКИН — С. Я. ЗНАМЕНСКОМУ [1]

[Ялуторовск] 22-го января 1854 г.

Очень порадовался, увидя из письма вашего, что страстишка в вас к заведению училищ и к распространению образования не прекратились, и от всей души желаю вам успеха [2]. Вы меня знаете и можете быть уверены, что где бы я ни был, я всегда буду сочувствовать вашим добрым стремлениям на этом прекрасном поприще. В Тобольске я пробыл ровно две недели. Петр Николаевич возил меня в свое заведение для девиц; оно помещается теперь в нижнем жилье губернаторского дома, в котором и холодно и всякий день угарно. Более всего понравилась мне в этом заведении главная наставница Резанова, умная, благонамеренная женщина; по моему разумению, она могла бы заменить всех Н. [3] на свете, и при ее содействии можно бы прекрасно устроить училище. Рукодельям вообще обучаются очень хорошо; в грамотном же классе ничего нет особенного; девицы, поступившие уже сколько-нибудь грамотными, читают очень порядочно и даже понимают то, что читают, в тетрадях пишут, как каллиграфы; те же из девочек, которые поступили при открытии училища и не знали грамоты, читают отдельные слова, как у нас читали в третьем полукруге. Предполагаемый порядок в училище — чистый ералаш, а со всем тем я порадовался, видя перед собою слишком сотню бедных девочек, которые, все-таки, в училище сколько-нибудь осмыслятся и научатся чему-нибудь пригодному. Мне очень жаль, что я не заставил девочек писать под диктовку, что у нас было пробным камнем; но пробыв в училище более часа, мне было уже не до того: я так перезяб, что возвратился домой с ознобом, зевотой и потяготой и десять дней не выходил из комнаты.

Надо вам сказать, что Евгений и я приехали в один и тот же день в Тобольск и жили вместе у Петра Николаевича. Евгений воспользовался праздниками и проводил меня в Ялуторовск. При нем я еще кой-как таскал ноги, но с 5 января, после его отбытия, я не выходил за порог. Если поеду в Иркутск и будет какая-нибудь возможность заехать в Омск, то непременно заеду.

138. И. Д. ЯКУШКИН — Е. И. ЯКУШКИНУ[1]

[Ялуторовск]. Июня 11-го [1854].

Письмо твое от 29 мая третьего дня я получил. На этот раз мы решительно не поняли друг друга насчет денег. Не имея возможности выслать их, как ты обещал мне в апреле, ты просил меня, чтобы я занял пока в Ялуторовске; уж это было не совсем ладно, ты знаешь, что я терпеть не могу занимать; в ответ к тебе писал, что в Ялуторовске я не нуждаюсь и нуждаться не буду, когда получу от М. Я. 200 руб. сер. Этим я никак не хотел сказать, чтобы я почитал 200 руб. сер. достаточными для того, чтобы с ними пуститься в Иркутск. Напротив, я все поджидал 300 руб. сер., которые ты должен был мне прислать. В нынешнем году у меня перебывало очень много денег, а остается немного. Из того, что ты вместо 300 руб. сер., о которых писал на прошедшей неделе, посылаешь только 200, я заключаю, что финансы твои не совсем в порядке и что относительно их ты был со мной не откровенен, и потому на счет взаимной откровенности не я перед тобой, а ты передо мной виноват, и я тебе признаюсь, что, не имея твоего великодушия, я на тебя в этом случае немного досадую; досадую также и за то, что ты никогда и ничего не отвечаешь на наши письма; а все это происходит от отсутствия порядка, при котором всегда и со всеми занятиями приходится спешить.

На-днях я узнал, что городничий имеет предписание отправить меня прямо в Томск[2] с казаком, которому и подорожная выслана, но при нем не высланы прогоны, вследствие чего мне предстоит непредвиденная издержка каких-нибудь ста рублей серебром.

Мы было решились с Вечеславом выехать прямо в Омск 15 июня, то-есть дня через четыре, но, вероятно, останемся еще несколько дней после 15-го и во всяком случае дождемся от тебя денег и вещей, которые ты должен нам выслать. Как бы ни желалось увидеться с своими, но ехать на Тобольск не приходится и дорога туды, как говорят, ужасная, да и время уходит.

Здоровье мое все еще очень плохо, но я решился ехать, надеясь, что самая дорога будет для меня полезна, и еще более, чтобы скорее добраться до черемши. Средства, которые употребляет со мной Баршевский, по его собственным словам, должны быть не очень действительны. Мы на этой неделе ждали с ним сигарошницу и, вероятно, она была бы скоро получена здесь, если бы Сазиков не вздумал поумничать.

Ты пишешь, что у тебя теперь дела очень много, а какого — не сказал; я полагаю, по службе, что, конечно, не совсем отрадно.

Очень я рад за Софью, что она в Покровском, она тут сколько-нибудь отдохнет.

Уверен, что ты во всяком случае увидишься с Ел. Ив. и выскажешь ей все, что следует. Книги и вещи твои уложили при мне, они, вероятно, скоро к тебе отправятся; деньги на отправление их я оставлю Иван. Иван., оставлю ему также деньги на содержание дома, который я оставляю в моем отсутствии за мной, до твоего приезда в Ялуторовск, а ты, когда будешь здесь, оставишь Ив[ану] Ив[ановичу] денег на содержание дома с июля будущего года. Прекрасно бы, если бы все эти мечты сбылись.

Мертвые души до сих пор гостят в Тобольске, и Ив[ан] Ив[анович] никак не может их оттуда выручить. Он все собирается послать портрет Вол[конской] к Мише Знаменскому [3], чтобы сделать снимок с этого портрета, для тебя — но по медленности, с какою все поручения исполняются в Тобольске, никак нельзя определить, когда все это уладится.

Пора кончить, глаз мой далеко еще не в порядке и устает смотреть в очки. Прости, мой милый. Крепко тебя, Леночку и Настю обнимаю.

139. И. Д. ЯКУШКИН — М. Я. ЧААДАЕВУ [1]

[Ялуторовск]. 19-го июня [1854 г.]

Очень ты меня порадовал своим письмом, мой старый и добрый друг. Твой почерк напомнил мне былое, и я уверился из строк твоих, что если бы мы каким-нибудь образом увиделись с тобой, то нам

не пришлось бы знакомиться вновь. Здоровье мое все еще довольно плохо, на ногах множество ран и в теле никакой силы; несмотря на это, пора ехать, и я на-днях собираюсь пуститься в дальний путь. Вечеслав мне сопутствует; он поступил на службу в Восточную Сибирь и его начальник, Ник. Ник. Муравьев, позволили ему остаться со мной до моего выздоровления. Старший этот сын гостит у меня уже слишком три месяца, и если я доеду до Иркутска, то и там мы поживем с ним вместе.

Прошлою осенью Евгений приезжал ревизовать межевую часть Западной Сибири и он прожил со мной около двух месяцев. Оба мои сыновья добрые, неглупые ребята и к тому же довольно образованные, и я очень был доволен, что с ними познакомился. У Вечеслава огромная память, но он не помнит своего пребывания в Ярославле, когда и ты был там с ними вместе. Тебе, пожалуй, покажется глупо с моей стороны признание, что я и до сих пор вспоминаю с особенно приятным чувством то, что ты проводил жену и детей моих в Ярославль и прожил с ними там почти месяц. Тебе, может, и не в догад, что ты в этом деле совершил прекрасный подвиг, совершенно достойный тебя [2].

Но довольно на этот лад, а то чего доброго ты и в самом деле на меня прогневаешься. Ты пишешь, что не очень понимаешь, как это случилось, что мои финансы и финансы моих сыновей в плохом состоянии, но что зато положение жуковских крестьян удовлетворительно. Постараюсь объяснить тебе это дело вкратце. Принявши Жуково в управление, я уменьшил господскую пашню на половину и половину эту обрабатывал вольнонаемными работниками и собственными своими средствами; такое распоряжение облегчило крестьян и независимо от них должно было со временем, по моему расчету, дать мне порядочный доход.

Единственный способ жуковских крестьян добывать деньги на заплату податей и покупку необходимого в доме состоит в добывании извести, которая на месте почти нипочем, и в извозе зимой; но эти средства, сами по себе ничтожные, часто оказывались недостаточными, особенно, когда урожаи хлеба бывали скудны. В первый год

моего управления я набрал двенадцать мальчиков, которых, обучивши грамоте, я отвез в Москву и роздал в ученье мастерствам, наиболее требуемым моими соседями помещиками.

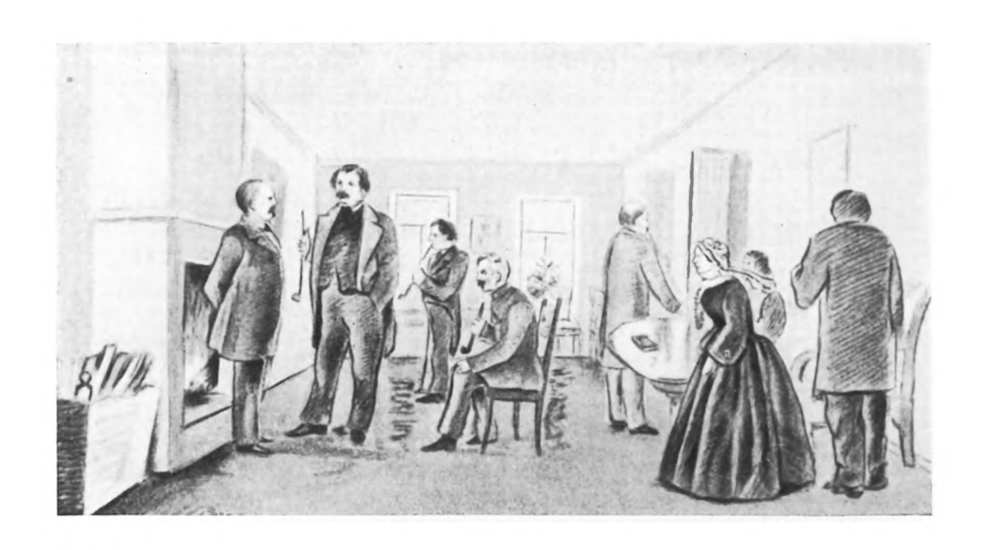
После меня распоряжения мои остались в прежней их силе: мальчиков продолжали с согласия их родителей отдавать в разные мастерства. В этом случае мой расчет оказался очень верным. Обучившиеся мастерству, возвратясь во-свояси, имели возможность, не отлучаясь из дому, добывать деньги и быть полезными своим семействам. Теперь жуковские крестьяне сами отдают своих сыновей учиться грамоте и мастерствам. После меня Надежда Николаевна нежно пеклась о жуковских крестьянах, зная, что тем сделает мне приятное. И теперь в Жукове ни одного нет бедного семейства, и есть крестьяне очень зажиточные, торгующие или которые берут подряды на десятки тысяч, тогда как при начале моего управления этим имением оно было в самом жалком положении. В нем считалось по ревизии 12-го года 126 мужских душ, по последней ревизии их оказалось 185.

Но собственное мое хозяйство после меня пришло в совершенный упадок; по кончине жены моей остались долги, для уплаты которых необходимо было заложить Жуково. Теперь оно на оброке, и крестьяне платят 1.200 р. серебр., из которых 600 идут в опекунский совет. Пока я был здоров, я получал от Евгения 300 р. сер. в год, которых для меня было достаточно, но в нынешнем году при моей болезни расходы мои сделались значительнее прежних, и я решился кликнуть клич к моим друзьям. Благодарить тебя за присланные тобой мне деньги было бы непристойно.

Прости, мой добрый друг, будь здоров и, если вздумаешь меня побаловать, напиши ко мне в Иркутск на имя Вечеслава. Напиши хоть что-нибудь о своем житье-бытье. Матвей тебе кланяется.

Завтра я выезжаю, а когда доберусь до Иркутска — бог знает [3].

Письмо это должно было отправиться к тебе в день моего отъезда из Ялуторовска, но я внезапно простудился и прохворал три недели. Теперь я несколько оправился и опять собираюсь в путь. Если ты получишь мое письмо, которое должно отправиться на дру-



М. И. МУРАВЬЕВ-АПОСТОЛ (слева), И. И. ПУЩИН, В. К. ТИЗЕНГАУЗЕН,
И. Д. ЯКУШКИН (сидит) и другие в Ялуторовске

гой день моего отъезда, то ты будешь уже знать, что я в дороге. Нисколько не сомневаюсь в участии, которое ты принимаешь во мне; если доеду благополучно до Иркутска, то оттуда непременно извещу тебя о себе.

Июля 8.

140. И. Д. ЯКУШКИН — С. Я. ЗНАМЕНСКОМУ[1]

Омск. 12 июля 1854 года.

Сейчас я приехал в Омск и явился бы к вам, если бы ноги ходили. Скажите, когда и где мы с вами увидимся. Посылаю письмо от Оболенского.

141. И. Д. ЯКУШКИН — Е. И. ЯКУШКИНУ[1]

Томск 1854. Июля 24-го.

Выехавши из Омска 15-го, мы приехали в Томск 22-го прямо в дом Лучших, его не было дома и нас не хотели было принять, но это было по недоумению слуги, и все дело уладилось потом, как нельзя лучше. С Гаврилом Степановичем мы обнялись не только как товарищи, но как давнишние приятели[2].

Почти первые его слова были: «А собака Евгений не пишет ко мне»; я его уверил, что ты забыл его адрес, что и в самом деле очень вероятно. После твоего пребывания в Томске, Гав[риил] Степанович далеко ушел вперед; теперь, беседуя с близким человеком, он ничем и нисколько не стесняется. Ты говорил правду, уверяя меня, что он необыкновенно умен: чего он не знает — он во время самого разговора отгадывает, по крайней мере настолько, чтобы почти никогда не упорствовать, защищая ложное мнение. Потом, сколько он в свою жизнь видел и испытал любопытного, и я его слушаю по целым часам с истинным удовольствием. Говорит он много, но решительно не потому, чтобы он был, что называется, говорун; у него несмотря

на то, что ему 60 лет, воображение необыкновенно живо и представляет ему факт за фактом, картину за картиной, когда в разговоре коснешься предмета ему близкого; в таком случае прервать его речь, это как бы прервать его временную внутреннюю жизнь, и он упорно ее защищает, не допуская своих собеседников произнести какое бы то ни было слово, иногда в продолжение часа. Он тебя очень полюбил и признался мне, что питает против меня дурное чувство, завидуя, почему я, а не он,— твой отец; просил меня даже ему уступить тебя; я его уверил, что для тебя будет совсем не лишнее иметь таких двух отцов, как он и я[3]. Теперь было бы очень не худо, если бы ты когда-нибудь написал к нему, а надписывай к нему е. в. б. Николаю Ивановичу Лучших.

26-го июля.

В Томске мы пробыли долее, нежели предполагали пробыть, за переговорами с Бекманом, который не хотел дать прогонов казаку, отправляемому со мной; вчерашняя почта из Омска привезла ему предписание выдать казаку прогоны до Красноярска. Сегодня вся формальная часть нашего отправления будет приведена к концу и завтра мы думаем пуститься в дальнейший путь. В Красноярске придется, вероятно, опять остановиться дня на три и, таким образом, мы почти съедемся с Ник[олаем] Ник[олаевичем]; он должен, по его предположению, возвратиться в Иркутск в первых числах сентября.

У меня есть до тебя покорнейшая просьба. Ты мне, кажется, говорил, что у тебя есть в виду очень хорошая и надежная гувернантка, которая поехала бы в Сибирь, если бы для нее нашлось место в порядочном доме. Казимирский[4] вдов, и у него единственная 11-летняя дочь, единственное его сокровище, девочка очень неглупая, очень добрая и кроткая, но, к несчастью, очень слабого здоровья и подверженная нервическим припадкам, и потому обходиться с ней должно кротко и с большой осторожностью. Она понимает и говорит немного по-французски, играет также немного на фортепьяно. До сих пор была наставницей ее тетка; но теперь Казимирский находит необходимым взять к ней, если бы мог найти, добрую и образованную

гувернантку. Я обещал ему написать тебе об этом деле и обещал еще, что ты дашь без замедления ему ответ через Пущина; а еще бы лучше, если бы ты написал ему прямо в Омск: его превосх. Якову Дмитриевичу Казимирскому. Что у него в доме всякой порядочной женщине будет отлично хорошо, в этом нет никакого сомнения; она всегда будет иметь дело с честным и благородным человеком. Огромного жалованья, как например, 1000 рублей серебром, он дать не в состоянии, это было бы треть его жалования, но и в этом отношении он сделает, конечно, все, что для него только возможно. Уверен, что в этом случае ты охотно исполнишь мою просьбу. Прошу тебя также известить и меня об этом деле.

Я ожидал, что последняя почта привезет мне в Томск от тебя письмо, и, вероятно, Пущин переслал бы нам его, если бы ты после нашего отъезда написал в Ялуторовск. Евгения Сазоновича я освободил от его заключения в аптеке, где он решительно не хотел более оставаться, он надеется найти себе место в конторе Горохова; почерк у него не хорош, но вообще пишет он, не делая почти грамматических ошибок. Старший брат его, бывший на приисках, умер; а об отце его надеюсь узнать что-нибудь в Красноярске.

Прости, мой милый, до Красноярска, душевно тебя, милую мою Леночку и двух ваших девочек, по обычаю стариков, обнимаю. Все твои томские знакомые очень тебе кланяются [5].

Толь тебе очень кланяется. Он болен желтухой и уже несколько дней не выходит из дома; он не живет более у Лутчева, потому что флигель переделывается. У Гавр[иила] Степан[овича] на даче мы провели почти сутки, он — сама откровенность.

142. И. Д. ЯКУШКИН — Е. И. ЯКУШКИНУ

Красноярск. Августа 4-го [1854].

В Томске мы пробыли ровно неделю, ожидая каждый день отправления. О Батенкове я много писал тебе в последнем моем письме, а о Толе не сказал ни слова; с этим я познакомился столько, сколько можно познакомиться в семь дней с человеком его разряда.

Что он малый не глупый и довольно образованный, в этом нет никакого сомнения, но в нем есть какие-то странные выходки, которые заставляют меня думать, что понятия его о том, что происходит на белом свете, не совсем ясны. Он в жалком положении, страдает желчью и почти беспрестанно в хандре, но, надо отдать ему справедливость, нисколько не жалуется на свои обстоятельства, хотя и видит все его окружающее в лимонном цвете. По твоему приказанию, я оставил ему микроскоп и 39 книг, которые просил его держать у себя столько времени, сколько ему угодно будет. Он дает уроки в двух домах и получает за них 40 р. серебром в месяц; но он может лишиться их по болезни или по каким-нибудь обстоятельствам, и тогда его положение, при его хандре, может сделаться точно ужасно.

Из Томска мы выехали 28 июля вечером и приехали в Красноярск 1 августа, в обед. На этом пути тарантас Свербея Свербеича [1] нам изменил; началось с того, что одно колесо развалилось, и мы простояли целый день за его починкой; приехавши сюды, оказалось, что его надо весь чинить и он будет готов не прежде, как послезавтра. Здешние власти обещают отправить нас 7-го.

Не доезжая 14-ть верст Красноярска живет в казачьей станице Спиридов, мы к нему заехали. Что за великолепный человек этот Спиридов; он года [на] два меня моложе и не только сохранил свое здоровье, но красавец для своих лет. Обстоятельства его были бы самые безотрадные для всякого другого. У него много близких родных и очень богатых, в том числе кн. Шаховская и кн. Щербатова ему двоюродные сестры, и он не только не получает ни от кого ни копейки, но никто к нему и не пишет, кроме родной его сестры, которая по временам извещает его о себе, но не присылает ему ничего вещественного, и Михаил Матвеевич, мало того, что не ожесточен затруднениями своего положения, но чистосердечно смеется над ними, говоря, что все это вздор. Он пускался по необходимости в разные предприятия, которые ему не удались, и первый над ними издевается. Теперь некоторые золотопромышленники поручают ему закупку хлеба, и он пока этим кой-как существует. Еще из Ялуто-

ровска я писал к Шаховской о тесных обстоятельствах Спиридова, но из последнего ее письма можно подумать, что она не получила моего листка к ней, отправленного с тобой, хоть я и не понимаю, как бы это могло случиться.

Приехавши в Красноярск, мы пристали прямо у Давыдова, где нас приняли как самых близких родных. Хозяйка предобрая и дочери ее премилые, и мы проводим здесь время очень приятно. Сам же Василий Львович почти всегда болен и, как говорят, почти всегда в хандре. Жена его, дочери и сам он уверяют меня, что он оживился моим присутствием и совсем другой человек, нежели бывает обыкновенно. У нас с ним столько общих воспоминаний, что точно, может быть, при наших с ним беседах он забывает настоящее и переносится в былое, в которое немудрено, что и он и я, мы были лучше, нежели теперь.

Теперь нам остается треть пути от Ялуторовска до Иркутска; что-то нас там ожидает и как-то устроится там наше существование? Дорога не только не утомляла меня до сих пор, но положительно меня укрепила, ноги болят, но гораздо менее, нежели болели в Ялуторовске.

6-го.

Прибавить на этот раз нечего; да если бы и было что, так некогда. Тарантас готов, и, вероятно, мы завтра выедем. Крепко тебя, милую мою Леночку и девочек ваших обнимаю.

143. И. Д. ЯКУШКИН — И. И. ПУЩИНУ[1]

Красноярск. 6-го августа [1854].

Еще из Томска я хотел написать к вам, добрый друг Иван Иванович, но Вечеслав отправил к вам свой листок, и я рассудил, что при его каракулях мои были бы лишними. Мы пробыли там целую неделю, ожидая отправления меня при жандарме, как казенное имущество.

Гавриил Степанович и Любимов 28-го вечером проводили нас четыре версты, за город, тут мы с ними расстались, распивши бутылку шампанского. Батенкова я слушал по целым часам с удовольствием. Он далеко человек не пошлый. Полагаю, что он после того, что вы его видели, много изменился. Теперь он обо всем и обо всех говорит без малейшего запинания и говорит часто умно.

В Томске познакомился я также с Толем. Бедный человек: болен, желт как лимон, по самому роду своей болезни почти в беспрестанной хандре и, чтобы не умереть с голоду, должен ежедневно в двух домах давать уроки, за которые получает 40 рублей серебром в месяц. Он решительно ничего хмельного не пьет. Малый он очень неглупый и образованный, беседа с ним весьма приятна. С Батенковым он видается довольно часто, но зато с чиновниками и купцами, кроме необходимости, почти никогда.

Деньгами в Томске я распорядился, по возможности, окончательно. Из 350 рублей, которые остаются, Евгений должен со временем получить 100 рублей, Павел Григорьевич 50 руб., Лутчеву остается 200 руб. в обеспечение податей, которые он должен платить за Павла, а пока и за Евгения [2]. Впрочем, у нас вышла путаница с этими деньгами. Лутчев имел уже в своих руках 300 руб., но отдал их под залог какому-то неверному человеку: деньги теперь лежат в окружном суде, и вышло из всего этого спорное дело; вот что рассказал мне Любимов, и я передаю вам его слова.

Мы были и ночевали на заимке у Батенкова. Славный у него там домик, и все там прекрасно устроено, но живет он мало на этой заимке, общество людей для него необходимо, и он почти каждый день бывает в городе, где он выстроил вместе с Лутчевым славный дом. Вообще Гавр[иил] Степан[ович] великий строитель и разумеет это дело.

В Красноярск мы приехали 1 августа. Дорогой у нас сломалось колесо, и мы целый день простояли за его починкой, а здесь оказалось, что весь тарантас надо чинить, и его чинят, сегодня он должен быть готов, а власти здешние обещают, что завтра мы будем иметь все нужное, чтобы отправиться далее. У Падалки я не был, боясь его обеспокоить, у него все дети больны коклюшем.

Сегодня я видал [Падалку] у Василия Львовича, у которого мы живем уже шесть дней. Нас приняли здесь, как самых близких родных. Это само собой разумеется. Дочери-итальянки премилые, беседа с ними очень приятна. Саша — красавица, дика, как и при вас, но мне удается всякий день перемолвить с ней несколько слов. Александра Ивановна поручила мне непременно написать к вам от нее поклон. Все здесь вас очень любят. Василия Львовича здоровье не совсем в порядке, у него почти беспрестанная одышка, нога всегда болит и правая рука плохо служит, но далеко не так дряхл, как воображал его по рассказам. Александра Ивановна и он сам уверяют, что мой приезд совершенно оживил его. Я не знаю, до какой степени это правда, но знаю только, что Вас[илий] Льв[ович] мил и любезен и даже весел и остер, как бывало это с ним прежде.

Мы заезжали в Дрокино к Спиридову, про этого нечего много распространяться. Он молодец во всех отношениях. Теперь он занимается закупкой хлеба по поручению некоторых золотоприискателей и покупает в теперешнее время пуд оржаной муки по 15 копеек серебром, давая теперь задатки с тем, что мука поставится в свое время. Все эти дни Михаил Матвеевич живет с нами вместе.

Майора и Стадлера видел. Сегодня здесь в доме познакомился с Поповым и передал ему добрые вести о Полинке. Простите, любезный друг. Крепко жму вам руку. Всем нашим дружеское приветствие. Посылаемых отсюда к вам поклонов не передаю, потому что все это само собою разумеется.

144. В. И. ЯКУШКИН — И. И. ПУЩИНУ [1]

Пятница 3 сентября [1854 г. Иркутск].

Ангара совершенно отрезвила гуляку, а Иркутск закрыл клапан откровенности, так что теперь я могу вам с уверенностью сказать, что поправился и держусь тверд и трезв, несмотря на пиры, устраив[аемые] Венцелем, и банкеты Соловьева и других господ; даже от водки совсем отстал, так что редко, редко когда выпьешь рюмочку и то маленькую (уж такой тут обычай подавать наперсток вместо рюмки).

Здоровье отца, так блистательно поправившееся всю дорогу, по приезде в Иркутск опять свихнулось, раны на ногах страшные, так что он с трудом двигается по комнате (что, однако ж, не мешает ему выезжать). Персин кормит его черемшей (и, что удивительно, отец не находит ее противной) [2] и два раза в день облепляет ноги какой-то вонючей мазью и говорит, что все это пустяки, что важного ничего нет и что много — недели через три все это должно прийти в порядок. Отец в восторге от его решительности и говорит, что он в своей жизни не встречал такого отличного доктора. Здоровье Кат[ерины] Ив[ановны] поправляется очень медленно, часто по целым дням она не оставляет постели. Все остальные пышут здоровьем. Лариса Анд[реевна], как вам, вероятно, уже известно, восьмой месяц как беременна.

Молчановы выезжают отсюда 5 сентября. Он получил отставку и вместе с тем отказ на заграничную поездку. Здоровье его в самом плачевном состоянии — ногами он совсем не владеет, и притом у него бывают припадки с корчами от боли печени, столь сильные, что иногда его выбрасывает из кресел. Наш славный Свербеев должен на-днях прибыть из Якутска предвестником генерала, к которому навстречу за тысячу верст отправилась Катерина Ник[олаевна].

Квартира наша оказалась необыкновенно поместительна и удобна, министерство наше все заключается в лице хозяина, который за исполнение возложенных на него поручений получает сверх платы за квартиру 15 р. сер. в месяц.

Что-то проект Яков Дмитр[иевича] купить дом Балакшина, приводится ли в исполнение? Алекса[ндр] Викторович ничуть не прочь от его исполнения, а Лариса Анд[реевна] так просто в восторге, в таких радужных красках представил ей отец простоту, удобство и дешевизну ялуторовской жизни.

Зиновьева до сих пор нет еще в Иркутске, и неизвестно, где он обретается. Никитин вам очень кланяется, он считает себя важным лицом на том основании, что за неимением на[чальника] отделения (на место Молчанова еще никто не назначен) столоначальники сами докладывают.

Сейчас узнал, что Молчановым готовятся великолепные проводы — по 25 руб. с рыла, на основании чего я от них и отказался.

Всем мой душевный привет, который не без основания надеюсь через год лично заявить.

145. В. И. и И. Д. ЯКУШКИНЫ — И. И. ПУЩИНУ [1]

10 сентября. Пятница [1854 г. Иркутск].

Вчера получил ваш листок от 13 августа и письмо к Александру Викторовичу, которое немедленно и доставил; он последние дни что-то расхворался, все боль в паху, мешающая ему двигаться. Мы с отцом по мере сил его навещаем.

7, наконец, Молчановы двинулись из Иркутска; проводы им, как говорят, были великолепны. Сер[гей] Григ[орьевич] отправился с ними до Нижне-Удинска вместе с Аделаидой, которую вы скоро увидите, так как ее светлость [2] в двадцатых числах этого месяца отправляется обратно с тем, чтобы до зимнего пути успеть побывать в Киеве.

Аргонавты наши все рассеялись: кто в Аяне, кто в Якутске, кто в Камчатке, а генерал [3], свиту которого в настоящее время составляет один камер-юнкер [4], совершенно неизвестно, где находится. Исправник и заседатели недели две как не снимают мундиров и не сходят с тележки. Катерина Николаевна надеется его встретить до Киренска, доехала до Якутска, не имея об нем никаких известий, и там не узнала ничего положительного и потому решилась его дожидаться, не двигаясь дальше.

В последнем письме брат пишет о сигарошнице Баршевского; он ей очень недоволен, говорит, что она недостойна славы Сазикова и что вышло несравненно хуже, чем была на рисунке.

Прощайте. Всем мой поклон. Зенеида Сер[геевна] вам очень кланяется [5].

Много благодарю вас, любезный друг Иван Иванович, за ваши попечения о моей больной; без вас ей было бы плохо жить в моем отсутствии.

Я не писал к вам из Иркутска по той причине, что с каждой почтой ожидал вашего ответа на мое письмо к вам из Красноярска; и я теперь уверен, что вы ко мне писали и что на-днях я получу ваш листок, тогда напишу к вам подробно о нашем житье-бытье.

С нашими я, разумеется, довольно часто видаюсь, на неделе не был только у Волконских, потому что, пресыщаясь ежедневно черемшой и пропитанный ею, я не смел предстать пред светлейшей, которая, впрочем, очень мила и любезна со мной. Она 20-го выезжает из Иркутска и будет в Ялуторовске, вероятно, в первой половине октября.

Молчановы выехали отсюда 7-го; Нелинька очень желала, чтобы 28-е ей удалось провести с вами, это день ее рождения. Славный человек эта Нелинька, но об этом когда-нибудь после. Пока простите, любезный друг. Всем нашим дружеское мое приветствие.

146. И. Д. ЯКУШКИН — С. Я. ЗНАМЕНСКОМУ[1]

Иркутск. 10 сентября 1854 г.

Расставшись с вами, любезный друг, без дальних приключений мы добрались до Томска; тут пришлось прожить целую неделю в ожидании повеления из Омска отправить меня далее и потом в ожидании исполнения этого повеления. Все это время я приятно провел в обществе Гавриила Степановича Батенкова. Вы мне не сказали, что братец ваш служит в Томске, и я, увидав его неожиданно, очень ему обрадовался; и он и все его семейство здоровы; к сожалению моему, я не видал Степанки и узнал после, что он заходил ко мне, когда меня уже не было в Томске. Учится он прекрасно, и есть надежда, что дирекция отправит его в университет.

В Красноярске мы также прожили неделю у Давыдовых; тут потребовалось чинить тарантас.

Наконец, 14 сентября мы приехали в Иркутск и совершили наш путь из Ялуторовска, за исключением стоянок, не более как в осьмнадцать дней.

Дорога вообще была для меня полезна и несколько укрепила меня; но здесь опять пришлось лечиться: и ноги плохо ходят, и глаза плохо видят, впрочем, все лечение состоит в том, что я всякий день съедаю несколько ложек черемши; это полевой чеснок; все уверяют, в том числе и врач, который меня пользует, что черемша самое действительное средство против цынги.

В Иркутске мы устроились довольно удобно в доме, принадлежащем человеку, которого я давно знаю: он жил лет десять у Фонвизиных.

Хозяин нашего дома, вместе с тем и наш повар, и служит нам и вообще усердно за нами ухаживает. Здесь я свиделся со старыми моими друзьями Трубецкими; в их семействе я как дома...

Евгений писал ко мне, что Аннушка Муравьевская скучает по Ялуторовске и охотно возвратилась бы домой, если бы теперь была на это какая-нибудь возможность.

147. И. Д. ЯКУШКИН — И. И. ПУЩИНУ[1]

20 сентября [1854 г. Иркутск]

Сегодня утром Марья Казимировна прислала мне ваше письмо от 20 августа, добрый и любезный друг Иван Иванович, потом заехал Сергей Григорьевич с предложением писать с моряками Крюднером и Савичем, которые отправляются через несколько часов и, проезжая Ялуторовск, непременно будут в доме Бронникова[2]. На моем месте вы, конечно, воспользовались бы таким случаем, а я, как вам известно, не охотник, да и не очень умею поспешно управляться с моей перепиской. Вот и теперь пишу к вам, пока никого нет, и за два дня до отправления почты, чтобы иметь возможность побеседовать с вами на просторе.

О здоровье своем до сих пор ничего положительно хорошего не могу сказать: я менее худ, нежели был в Ялуторовске, и несколько окреп во время дороги и во время пребывания моего в Иркутске, но зато на ногах такие раны, каких не было во всю мою болезнь, и в которых по временам такая боль, что хоть кричать. Персин уверяет, что так и должно быть, что это действие черемши, которой я съедаю каждый день не более как две ложки; я, веря врачу, предоставил ему совершенно распоряжаться в этом деле и надеюсь, что со временем я избавлюсь от моих недугов.

Карсаков заехал к Вам и в самую пору, когда все наши были в сборе; спасибо ему, он никогда не проезжает Ялуторовск, не повидавшись с кем-нибудь из нас. Я полагаю, что по представлению вашему он возвратится полковником. Жаль, что он разъехался со своей сестрой. В главное управление сообщено, что он загнал пять лошадей; это немного для курьера, который проскакивал 5 т[ысяч] верст менее нежели в 14 суток.

Очень рад, что вам удалась шипучка; не имея возможности сам пить ее с вами, поручаю мой бокал Матвею Ивановичу в надежде, что он меня не выдаст. Я воображаю, какие у вас были жаркие дела во время пребывания Якова Дмитриевича в Ялуторовске. Отъезжая из Омска, он взял с собой несколько батарей д'Икем и шипучего

Санпере. Вы знаете, вероятно, что он хотел приобресть собственность около Ялуторовска с тем, чтобы перетащить туды Викторочей [3] и самому жить с вами несколько месяцев в году, но теперь он пишет, что климат ялуторовской ему не нравится, и приглашает Поджио переехать в Омск.

Еще раз большое вам спасибо за попечения ваши о бедной больной Оленьке; вы ее балуете, и это не худо; и ей и Родивоновне поклонитесь от меня; письмо последней давно доставлено, но сестры ее до сих пор я не видал; ни она, ни муж ее ко мне не являлись.

От Батенкова я имел письменные поручения в семи пунктах, отсюда известил его о выполнении всех его поручений.

На-днях Вечеслав получил письмо от Колошина отчаянного содержания: он попал в беду, а в какую — не пишет и просит убедительно спасти его и похлопотать о переводе его из Читы в Иркутск, что решительно невозможно в отсутствии Николая Николаевича, который, хотя и весьма расположен не в пользу Колошина, но, конечно, не захочет погубить молодого человека, еще на что-нибудь годного, несмотря на всю неправильность своего поведения. Из письма нашего к Матвею Ивановичу вы уже знаете, что старик Созонович пока проживает в Иркутске; по приезде Ник[олая] Ник[олаевича] надеюсь отправить его в Тобольск к Пеляшеву, которому дай бог здоровья за то, что он не забыл старого друга. Представляю себе, как вы возились с M-me de Haro et compagnie. Я ее знаю по ее многим жалобам, вписанным в шнуровые книги на станциях; бедный это народ — артисты, самозванцы, отчасти жалок, а отчасти и гадок [4].

Много благодарю вас за известие о Наталье Дмитриевне; уверен, что и вперед будете меня извещать об ней. По приезде моем в Иркутск я к ней писал, но не знаю, дойдет ли мое письмо когда-нибудь до нее; я его отправил к Евгению, а он, может быть, не знает, куда и как переслать его.

Когда я был в Омске, Яков Дмитриевич говорил мне о желании своем иметь порядочную гувернантку при своей Сашуре; я предложил ему написать об этом к Евгению и получил ответ от Евгения;

он пишет, что имеет в виду очень хорошую гувернантку, и я поручил ему написать к вам, а вы, что узнаете от него по этому предмету, передадите Якову Дмитриевичу.

Очень понятно, почему вы не подписались под сочинением моего тезки, и нисколько не сомневаюсь, что вы написали бы совсем иначе, нежели он написал, посылая сигарошницу к Баршевскому, но понятно и то, что Николай Васильевич и Евгений Петрович, не желая огорчить сочинителя галиматьи, подписали свои имена под ней.

Вы напрасно полагаете, что я не видался с Падалкой; я с ним беседовал целых битых два часа у Василия Львовича. По словам губернатора, нет никакой возможности по требованию Баршевского взыскать что-нибудь с Снигирева, который не признает за собой никакого долга, а так как Баршевский не имеет никаких письменных доказательств, действительных перед судом, что противник его точно занимал у него деньги, то все это дело можно полагать повершенным.

От Ребендера и Вечеслав и я, мы получили премилые письма; он приглашает нас к себе; теперь это для обоих для нас решительно невозможно, но если я когда-нибудь попаду за Байкал, то разумеется, что непременно буду у Бестужевых [5].

Вам уже известно, что мы живем в доме Гавриила Григорьевича, которого и вы и я, мы еще знали в Чите, а потом в Петровском. Хозяйство наше упрощено до-нельзя. Хозяин дома вместе с тем и наш закупщик, и наш повар, и наш камердинер. Он ухаживает за мной не хуже Родивоновны и хлопочет о больных моих ногах так же усердно, как и она хлопотала об них в Ялуторовске. Вообще до сих пор мы живем без малейших хлопот. Но пора спать, простите, до завтра.

21-е.

Продолжаю вчерашнюю мою беседу с вами. Несмотря на то, что я воняю черемшой, Катерина Ивановна потребовала от меня, чтобы я непременно обедал у нее два раза в неделю, вследствие чего по воскресеньям и четвергам Вечеслав и я, мы являемся у Трубецких к

обеду и проводим у них остальную часть дня. Лариса Андреевна также не обращает внимание на то, что я пропитан черемшой, потребовала у меня, чтобы я обедал и проводил вечера у нее по вторникам, и я повинуюсь.

У Волконских с тех пор, что ем черемшу, совсем не бываю. Трубецкой и Викторочи часто видаются и в самых лучших отношениях между собой; и у тех и у других Волконские остаются в стороне по известным вам обстоятельствам; оно и быть иначе не может, а я люблю Сергея Григорьевича; он, несмотря на свои причуды, тот же добрый и способный к великодушным порывам человек, как и прежде; только, к сожалению, теперешняя его обстановка мало спосшествует его и доброте и великодушию [6]. С тех пор, что вы его не видали, он очень пополнел и порозовел и вообще очень похож на портрет свой, который висит у вас над этажеркой; здоровье его вполне удовлетворительно.

Трубецкой с своей бородой очень напоминает средневековые фигуры, я любуюсь им во всех отношениях.

Из стариков более всех постарел Александр Викторович, у него много морщин на лице и мало волос на голове, но зато при остатках прежней красивости у него осталась прежняя теплота души. Ларису Андреевну вы знаете и потому легко можете вообразить, как по доброте своей она любезна со мной.

Катерина Ивановна очень постарела и беспрестанно хворает. Кроме других ее недугов, она уже несколько месяцев кашляет, и Персин не надеется, чтобы этот кашель скоро миновал. Мы с ней не имеем почти никакой возможности много беседовать, я крепок на ухо, а она не может громко говорить. Раза два я играл с ней в ералаш по $1/4$ копейки и проиграл, кажется, 15 копеек.

Но зато с Ларисой Андреевной мы совершаем огромные подвиги на зеленом сукне; до сих пор были нашими жертвами Рейхель и господин Аничков. Последний, воспитанный в Пажеском корпусе, провел часть своей жизни в гостиных и вежлив со всеми донельзя; в происшествии с Жордани, как это вполне объяснилось, он нисколько не виноват, чему, вероятно, очень порадуется Евгений Петрович.

Я был в Разводной у Марьи Казимировны, в лице она мало постарела, но очень пополнела и поседела; с истинным удовольствием я обнял Петра Ивановича. Он почти нисколько не изменился; та же поднятая бровь, та же глухота, та же доброта и те же убеждения, как и прежде. Андрея Ивановича не видал, опасаясь внезапным появлением раздражать его.

С Бечасным виделся у Сергея Григорьевича, и потом он был у меня; несмотря на то, что он потолстел, все его движения быстры, как движения молодого человека, на голове у него почти нет седых волос, зато усы, украшающие его верхнюю губу, белы, как зайчий мех. Знаменитая его маслобойня, по собственным его словам, дает самый незначительный доход; он живет подрядами и надеется при новом откупе получить место ревизора.

Раевской был у меня, и я провел с ним целый вечер. Он человек очень бойкий и, как кажется, неглупый, но странный какой-то у него ум: всех и каждого, кроме сильных, он нещадно ругает, ни с кем из наших он не видается, вообще продолжительная беседа с ним произвела на меня тяжкое впечатление.

Дросида Ивановна была у меня, и мы обнялись с ней, как старые, добрые знакомые; потом я заходил к ней, но не застал ее дома; она нисколько не постарела. Недавно она была за Байкалом у своих, но скоро там соскучилась. В Иркутске ей хорошо, она живет у старшей дочери Михаила Карловича, которая преславная женщина и вполне умеет ладить с теткой. Дросида Ивановна очень довольна участью своих детей и в этом отношении весьма благоразумна.

С Фелицатой Ефимовной виделся два раза; много ей здесь хлопот, а житье ее не совсем привольное. Она вспоминает о Ялуторовске с любовью и уверена, что провела там лучшие дни своей жизни.

Однако, пора кончать. Крепко обнимаю вас и добрых моих товарищей. Скажите тысячу любезностей от меня нашим дамам и девицам и обнимите за меня Ваню. Матрене Михеевне поклонитесь от меня. Вечеслав дружески приветствует все ялуторовское семейство. Сейчас мы с ним отправляемся к Трубецким. Поклонитесь от меня доброму Николаю Яковлевичу и Иенафе Филипповне.

Найдите возможность выручить мои книги и рукописный отчет о наших училищах от Свистунова и при случае также пришлите их.

M-lle Olensky просила меня очень вам поклониться от нее, а я прошу вас в комнате, где я спал, в правом шкапчике, на нижней полке взять пистон, который я забыл, от машинки, подаренной мне Яковом Дмитриевичем, и при случае мне его прислать.

148. И. Д. ЯКУШКИН — И. И. ПУЩИНУ [1]

Сентября 30-го [1854 г. Иркутск].

Недели две тому назад я отправил к вам мои два листка и опять пишу к вам сегодня. Обращаюсь с моей покорнейшей просьбой помочь мне в моем горе. Вот в чем дело: отправившись из Ялуторовска при одном моем тулупчике, я был уверен, что в Иркутске без малейших хлопот я заведу себе шубу; оказалось, что здесь, при обилии всякого рода шкурок, построить какую бы то ни было шубу очень трудно, а такую, какую я желаю иметь, и вовсе невозможно.

Сделайте одолжение, попросите доброго Николая Яковлевича выписать для меня из Березова доху пыжиковую, то-есть из молодых оленей, подбитую песцами. Такая доха здесь только и есть, что у Миши Волконского; он мне дает ее на подержание и до тех пор, пока она ему понадобится при какой-нибудь непредвиденной командировке. Бывши уверен в благорасположении Николая Яковлевича ко мне, я нисколько не сомневаюсь, что он поспешит удовлетворить моему желанию. По получению же дохи деньги за нее тотчас будут высланы в Ялуторовск на имя Николая Яковлевича.

На-днях я обедал у Волконских; Сергей Григорьевич счастлив возвращением сына, который очень успешно исполнил данное ему поручение. Ему велено было осмотреть новые переселения по Аянскому тракту и распорядиться по собственному усмотрению. Молодой чиновник перевел шесть станций на места, более для них удобные, и доставил начальству подробные сведения о положении переселенцев, которое оказалось далеко не так плачевно, как его описы-

вали многие из проехавших из Аяна в Иркутск. У Волконских я познакомился с Беклемишевым, про которого, вероятно, вы слыхали; это молодой человек 22 лет, которому на вид нельзя дать и 20-ти: он воспитывался в лицее, хорошо учился, прекрасно говорит по-французски, и к крайнему моему удивлению я узнал, что он исправником в Верхнеудинске. Несмотря на его молодость, он, говорят, человек очень дельный и управляется с своей должностью как нельзя лучше.

Светлейшая располагала тотчас по возвращении племянника и Никол[ая] Никол[аевича] выехать из Иркутска, но теперь, кажется, отъезд ее отложен до зимнего пути.

Вчера мы уговорились с Ларисой Андреевной провести вечер у Катерины Николаевны, возвратившейся из дальнего своего путешествия вместе с своим мужем 26-го ночью. Лариса Андреевна чувствовала себя не очень хорошо и потому не приехала на сборное место. Алекс[андр] Виктор[ович], Сергей Петрович и я, мы провели, и очень приятно, вечер в доме генерал-губернатора, и она и он были с нами любезны донельзя. Николай Николаевич, отвечая на наши вопросы, в продолжение нескольких часов рассказывал нам подробности своего путешествия. В будущем году он собирается опять с экспедицией спуститься по Амуру. В этот раз я не нашел удобной минуты сказать ему о желании Баршевского перейти на службу в Восточную Сибирь. О Павле Григорьевиче взялся хлопотать Бибиков, и потому я об нем ничего не говорил Никол[аю] Никол[аевичу].

Сейчас заезжал ко мне Сергей Петрович с известием о приезде Ребендера, которого я жду к себе и с истинным удовольствием пожму ему руку.

Вчерашний недуг Лар[исы] Андр[еевны] миновал, и она с мужем обедает сегодня у Трубецких; по четвергам и воскресеньям мы обыкновенно у них собираемся. О здоровьи Катерины Ивановны ничего не могу вам сказать хорошего; хотя она и встает с постели и почти ежедневно выходит в гостиную, но она, видимо, с каждым днем худеет и слабеет. Кашель ее ужасно изнуряет, а Персин не предвидит скорого, счастливого исхода этой болезни. Все это вместе довольно плохо.

О себе также ничего удовлетворительно хорошего сказать не могу — страдания, причиняемые болью в ногах, бывают иногда невыносимы, но Персин уверяет меня, что все идет прекрасно, я ему верю и с почтением жду конца.

Простите, любезный друг, крепко жму вам руку и за себя и за Вечеслава, и от него и от меня дружески приветствуйте всех наших.

1-го октября.

Вчера Ник[олай] Ник[олаевич] был у Катер[ины] Иван[овны] и беседовал с ней часа два. Ребендер вам очень кланяется.

Фелиц[ата] Ефим[овна] заходила ко мне, когда меня не было дома, и оставила письмо; оно доставлено куды следует. Оленьке и Родивоновне поклонитесь от меня. От 28 августа Евгений писал ко мне, что при всех его стараниях найти гувернантку, которая согласилась бы ехать в Омск, таковой он не мог отыскать.

Сейчас заезжал ко мне Бибиков и сообщил известие, что сегодня утром оба Борисовы найдены мертвыми. Сергей Григорьевич был в Разводной и полагает, что Петр умер от удара, а что Андрей, убедившись в кончине своего брата, пытался зажечь дом и окончательно повесился. Наряжено следствие, которое, надо полагать, пояснит ужасное это происшествие [2].

149. В. И. и И. Д. ЯКУШКИНЫ — И. И. ПУЩИНУ [1]

Иркутск. 28 октября [1854 г.]

Вчера только я получил письмо ваше от 24 сентября; я несколько дней как вернулся из командировки, ездил по разным степным думам и братским улусам. Во время моего отсутствия скончалась, как вам, вероятно, уже известно, Катерина Ивановна. Персин до последнего дня уверял, что нет никакой опасности, никого до нее не допускал (она очень желала видеть отца и Александра Викторовича) — она умерла, не сделав никакого распоряжения. Сергей Петрович с детьми уехал в Кяхту, где, вероятно, пробудет до будущего года, т. е. до генваря. Алинская и Горбуновы остались в Иркутске. Весь город до сих пор только и толкует, что о делах Сергея Петровича, все судят, рядят, ахают, охают; жар многих женихов на основании этого начинает остывать.

Свербеич последнее время вел себя так дико и непристойно, что из рук вон; отца это очень оскорбляло, и он его шпиговал при всяком случае, но, кажется, без пользы, по крайней мере, видимой.

Недурно было бы, кабы вы в самом деле собрались на Ангару, хотя тут атмосфера и действительно не совсем пригодная для человека порядочного, но к вам, как говорит Зиновьев, ничто не может пристать, следовательно, она вас не заразит и не запачкает, а нам, грешным, вы были бы и в пользу и в утешенье.

Вчера у Александра Викторовича происходил великий акт крещения дщери Варвары; восприемником был я и младшая Бабарыкина; ей же для передачи я отдал ваше письмо, потому что перед нами двери института заперты, и до него можно достигнуть только через квартиру г-жи Липранди, с которой я не знаком — фамилия такая, что уважения не вселяет [2].

Что касается до Дороховой, то, кажется, она не на радость отправилась в Москву, потому что родные Муханова, еще она и не приехала к ним, уже бомбардируют письмами Софью Григорьевну, прося поскорее найти ей место где-нибудь внутри России [3].

Молчанов, мало того что принял вполне неприличный (по составу участвующих) обед, еще хлопотал об описании его в «Московских ведомостях».

Зиновьев провел в Иркутске дней 10 и всякий день бывал у нас. Он в совершенном восторге от Ялуторовска и в особенности от дома Бронникова,— отца совсем очаровал. Теперь он отправился в Кяхту, откуда будет назад недели через две с тем, чтобы тотчас же отправиться во-свояси, следовательно, по первому пути он у вас.

Через неделю я отправлюсь в Енисейскую губернию, чтобы составить записку о положении инородцев, и думаю добраться до Томска, от которого буду всего в 80 верстах. Пока прощайте, всем мой душевный привет. Об отце не пишу, потому что он требует четвертую страницу в свое распоряжение [4].

С настоящей почтой отправляю письмо к Матвею Ивановичу, из которого вы узнаете все подробности о болезни и кончине Катерины Ивановны.

Не очень давно заходила ко мне Дросида Ивановна и просила написать к вам, чтобы вы прислали ей денег; она считает за вами процентов с своего капитала за два года [5]; живет она у своей племянницы, которая преславная женщина.

1 октября [6] я писал к вам и просил вас добыть мне шубу из Березова; как скоро узнаете о цене этой шубы, известите об этом моего Евгения и, если он человек хоть сколько-нибудь порядочный, он не замедлит выслать вам за шубу деньги.

Зиновьев пробыл в Иркутске с неделю; он ежедневно навещал меня; человек он очень приятный; теперь он в Кяхте и возвратится сюды не прежде как дней через десять; потом пробудет в Иркутске, пока установится санный путь.

Простите, любезный друг. Крепко вам и всем товарищам жму руку. Аннушке кланяюсь, обнимите за меня Ваню. С нынешней почтой писал к Баршевскому и приглашаю его от имени Николая Николаевича перейти на службу в Иркутск.

150. И. Д. и В. И. ЯКУШКИНЫ — И. И. ПУЩИНУ[1]

Иркутск. 1854. Ноября 12-го.

Очень давно опоздавшая почта привезла нам вчера два ваших письма, добрый друг Иван Иванович, от 11 и 20 октября. Верю, что вам грустно было смотреть на Нелиньку, сопровождавшую полумертвеца — своего мужа. Надо было ее видеть последнее время пребывания ее в Иркутске,— тут она была истинно великолепна. Зато он был более мандарин, нежели когда-нибудь. Перед отъездом он оставил план, по которому должен перестроиться дом Волконских с прибавлением семи комнат, на случай его возвращения из-за границы; но вам, вероятно, уже известно, что по высочайшему повелению он отдан под военный суд и будет судиться при московском ордонансгаузе. По делу Занадворова[2] могут только оставить Молчанова в сильном подозрении, но по делу Басина ему может быть очень плохо, в этом здесь все уверены.

Я очень порадовался, узнавши, что судьба Бибикова отделилась от судьбы Молчанова, министру юстиции повелено делу, по которому обвиняется Бибиков омскими следователями, дать надлежащее направление. Все это может кончиться, как многие здесь уверяют, одними запросами от министра.

Добрый Сергей Григорьевич иногда заходит ко мне прочесть письмо от Нелиньки или поговорить о своем горе; он извещен добрыми людьми об опасности, угрожающей его зятю, но Марья Николаевна до сих пор ничего не знает про это.

Известия из Крыма очень напоминают рассказы Шехеразады; зато последнее известие, полученное из Камчатки, напоминает Илиаду или, если вам угодно, подвиги наших героев последнего столетия в Турции и в Италии [3].

В нынешнем году из Аяна Николай Николаевич отправил в Петропавловск 300 человек из казаков, спустившихся с ним по Амуру. Он отправил также туды часть орудий с растащенной «Паллады» [4]. По его предписанию выстроены шесть батарей по берегу моря направо и налево от Петропавловска, и седьмая батарея устроена на мысу при самом входе в Авачинскую губу. Все эти распоряжения были сделаны на всякий случай и оказались как нельзя более пригодными. Весь петропавловский гарнизон, считая и прибывших казаков из Аяна, состоял не с большим из 700 человек. На батарее и на «Авроре», стоявшей в Авачинской губе, было не с большим 100 орудий.

18 августа в виду Петропавловска показалась англо-французская эскадра, состоящая из трех фрегатов и трех судов меньшего размера; на всех вместе было 260 орудий и полный комплект экипажей. С 19-го на 20-е утром эскадра приблизилась к берегу и начала обстреливать наши батареи, устроенные налево от города; две из них принуждены были умолкнуть, после чего высаженный десант устремился на нашу третью батарею, с которой так удачно встретили его картечью, что при содействии «Авроры», с которой громили его ядрами, он дрогнул; в это самое время случайно упавшая бомба с неприятельского фрегата лопнула посреди уже смущенной толпы. Весь десант обратился в бегство, преследуемый нашими. Потом и вся эскадра удалилась, остановившись в море в виду города, но вне выстрелов с наших батарей; на ней много было повреждено, и в продолжение трех дней ей необходимо было чиниться.

С 23-го на 24-е, опять утром, неприятель, оставив в море три судна и на них только по десяти человек экипажа, с остальными судами приблизился к нашим батареям направо от города, две из них были устроены на самом берегу, а третья на высоте в некотором отдалении. Первые, несмотря на беспримерную храбрость и офицеров

и нижних чинов, ядрами и бомбами с неприятельских фрегатов были приведены в бездействие. Гребные суда, гораздо в большем числе, нежели 20-го, пристали к берегу и высадили десант. Неприятельская колона, состоявшая из 600 человек, направилась к городу; князь Максутов, начальствующий на третьей батарее, нисколько не поврежденной, и тот самый, который на-днях был здесь и отправлен Завойкой курьером в Петербург, повернул свои орудия против неприятельской колонны и картечными выстрелами привел ее в совершенный беспорядок. Толпа пустилась бежать от батареи, ее поражающей, в гору; взобравшись на гребень, окаймляющий тут море, она была встречена Завойкой с его малочисленным отрядом, с которым он бросился на нее в штыки. В этот раз неприятель потерпел полное поражение, бегущие бросались с крутого берега в море и тут же погибали; некоторые гребные суда, слишком нагруженные ранеными и беглецами, также не могли спастись от погибели. Наши с берега стреляли по ним из ружей и без промаха. Того же 24-го числа неприятельская эскадра удалилась от наших берегов и направилась, как полагают, к Сандвичевым островам. Все, мною тут рассказанное, вы, вероятно, скоро прочтете и с большими подробностями в газетах [5].

Тотчас по получении здесь известия о победе было совершено благодарственное молебствие в соборе, после чего все отправились поздравить Николая Николаевича. Доставшееся нам английское знамя Гибралтарского полка и какую-то особенную саблю возили по улицам Иркутска. На другой день был бал в честь князя Максутова, на котором он присутствовал, и все пили за его здоровье. В пользу храбрых наших камчатских воинов собрано здесь пока до 7 тысяч серебром. Я было забыл сказать вам, что 20-го английский адмирал, командовавший неприятельской эскадрой, был убит и похоронен недалеко от наших батарей [6]. Но пора кончить мой нескладный рассказ, из которого вы можете получить только слабое понятие о подвиге наших при Аваче.

Сергей Петрович с детьми своими в Кяхте и возвратится в Иркутск не прежде генваря. После его отъезда я сижу дома. Здоровье

мое вообще не совсем дурно, но ноги не ходят по той причине, что на них огромные раны. К Баршевскому я недавно писал, узнайте, пожалуйста, дошло ли до него мое письмо.

Евгения Петровича крепко обнимаю, поздравляю его и Варвару Самсоновну с новорожденным сыном, которому желаю расти на утешенье своим родителям.

О многом хотелось бы еще с вами побеседовать, но надо оставить пол-листка Вечеславу, который непременно хочет написать к вам перед отправлением своим в Енисейскую губернию, где ему придется пробыть несколько месяцев по поручению начальства. Простите, любезный друг.

Крепко жму вам руку. Приветствуйте от меня всех наших. Всех вас я очень часто вспоминаю, в этом вы не должны сомневаться. Поцелуйте за меня Аннушку и Ваню. К Евгению писал и опять пишу, чтобы он тотчас по востребовании выслал деньги за шубу. Родивоновне и Оленьке поклонитесь от меня [7].

Отец вам подробно описал все наши современные новости. Интересы и помыслы всей нашей молодежи прикованы теперь к Амуру и будущей по нем поездке. Что же до меня, то я и не мечтаю об этом путешествии; такую мне закатил Николай Николаевич задачу по Енисейской губернии, что дай бог и с ней-то справиться до весны. На мое счастье вчера выпал снежок, и поэтому я имею возможность отправиться в собственном экипаже, то-есть в кошевке. Не знаю, как меня примет Падалко, а вероятно, не очень благосклонно; к нему до сих пор еще не посылали чиновников особых поручений; впрочем, какой бы с его стороны ни был прием, я все-таки надеюсь в Красноярске провести время не без удовольствия. Через месяц ждут сюда Яков Дмитриевича; остановится он, впрочем, не на заимке, как желал, а где-нибудь в городе. Сегодня еду обедать и прощаться к Марье Казимировне и отвезу ваше письмо,— она теперь страшно сиротеет и скучает в Разводной — и, вероятно, переехала бы в город, если бы судьба не наградила ее такой милой семьей, от которой убежишь на край света.

Поздравьте за меня Евгения Петровича и скажите ему, что здесь, на Ангаре, для его сына, потомка Рюрика, готова невеста отчасти итальянского происхождения [8] и что я, как восприемник, постараюсь воспитать в духе православия и приготовить из нее примерную жену и добродетельную мать. Прощайте, всем мой душевный привет.

В. Якушкин.

151. И. Д. ЯКУШКИН — Е. И. ЯКУШКИНУ [1]

Иркутск. 1854. Ноября 19-го.

На неделе мы получили твое письмо от 13 октября и деньги от 16-го. Последние пришли как нельзя более кстати. Вечеслав перед своим отъездом обронил 50 руб. и, вероятно, был бы, хотя он в этом и не признается, очень в затруднительном положении на счет меня и самого себя. Он выехал 16-го и когда возвратится, бог знает. Поручение его состоит в том, чтобы, осмотрев инородцев Енисейской губернии, определить степень их благосостояния и могут ли они в теперешнем своем положении нести повинности, исправляемые натурой, наравне с другими обывателями; задача довольно тяжелая [?] и требующая для разрешения ее и много внимания и много времени. Как-то Вечеслав с ней управится.— По отъезде Трубецкого я сижу дома. Персин, лечивший... [2]

152. И. Д. ЯКУШКИН — В. И. ЯКУШКИНУ [1]

Иркутск, 1854. Ноября 22-го

Меня уверили, что листок мой, отправленный к тебе в пятницу, в ожидании тебя долго лежал бы на почте, и потому я отправляю его только сегодня, надеясь, что он еще застанет тебя в Красноярске. По твоем отъезде в доме Семенова не произошло никакого значительного изменения. Здоровье мое не хуже и не лучше того, как оно было при тебе. Медовый Джибовский меня навещает через два дня; он так же сладок, как и прежде, восхищается моими ранами, прописал мне мазь, которая должна была утолить зуд и боль в ногах, но до сих пор действие ее для меня не ощутительно. Меня он уверяет, что скоро поставит меня на ноги, а со стороны я знаю, что прежде наступления теплой погоды он не надеется, чтобы я поправился.

Он поговаривает о необходимости для меня побывать на Туркинских водах. Все это прекрасно и не выходит из общего порядка.

Точно так же, как и при тебе, я лежу день на диванчике и принимаю посетителей, которых ежедневно бывает по нескольку.

На другой день после твоего отъезда у меня устроился, совсем неожиданно, литературный вечер. Зиновьев, навещающий меня каждый день и иногда и по два раза, принес «Постоялый двор» [2]; вслед за ним приехал Оболенский; пока мы болтали и пили чай, подъехал Владимир Иванович с Ингалычевым. В девять часов началось чтение — Зиновьев читает прекрасно, и что за великолепная повесть этот «Постоялый двор». В продолжение трех часов мы, слушатели, хранили глубокое молчание, находясь под обаянием прелести этого произведения. Вечер кончился банкетом. В двенадцать часов Григорьевич поставил на стол штофчик с оставшейся в нем водкой и биток жареный в сметане, который тотчас был поглощен проголодавшимися гостями. Когда во втором часу я улегся в постель и погасил свечку — Дуняша с своим мужем, и Наум, и Кириловна с своей барыней и дьячок с своей женой Ульяной стояли у меня перед глазами и не дали мне спать целую ночь. На другой день весь город говорил о «Постоялом дворе». Все хотели его читать, многие просят переписать его. Никол[ай] Никол[аевич] его прочел, завтра вечером читают его у Венцеля — словом, Тургенев производит здесь фурор. Вот тебе наша литературная новость.

Из Кяхты недавно получено известие, все там здоровы. Ты, может быть, знаешь, что Зиновьев взялся обделать раздел имения, оставшегося после Катерины Ивановны; но для этого ему необходимо надо было иметь свидетельства из консистории о рождении двух малолетних ее детей и о бракосочетании двух замужних дочерей. Сер[гей] Петр[ович] поручил Горбунову хлопотать по этому делу. Горбунову решительно отказали выдать свидетельства из консистории — он был в отчаянии. Приходилось вступить в переписку с Кяхтой и все дело положить в длинный ящик. Я посоветовал Петр. Алекс. отнестись к Никол[аю] Никол[аевичу] — Никол[ай] Никол[аевич] тотчас разрешил все затруднения; в присутствии Горбунова написал требование в консисторию через главное управление о доставлении ему свидетельств и все это дело на-днях будет приведено к концу.

Вчера был у меня Алекс[андр] Викт[орович], он поручил мне очень тебе поклониться от него — и кума и крестница твои здоровы. Никол[ай] Никол[аевич] расспрашивал его про меня; сказал ему, что он никак не отправил бы тебя с последним поручением, если бы оно не имело особенной важности и если бы он имел в этом случае, кроме тебя, кого-нибудь другого, на кого бы он мог вполне положиться. Каков же ты?

В Иркутске затевается очень важное дело, составляется компания для устройства пароходства по Амуру; Зиновьев и тут одно из главных действующих лиц.

Из Ялуторовска получил письмо от Матвея Ивановича от 29 октября, все они здоровы. Получил также письмо от Леночки от 23-го, в котором она извещает меня об отъезде Евгения и поручает мне обнять тебя за нее. Есть еще и третье письмо к тебе от какого-то надвор[ного] совет[ника].

От Нелиньки с последней почтой есть известие из Костромской деревни, здоровье мужа ее не хорошо.

Сделай одолжение, скажи мое дружеское приветствие Василию Львовичу и всему его семейству; Михайлу Матвеевичу пожми крепко за меня руку. Поклонись от меня Андрею Осиповичу, он извинит меня, что я и с Зиновьевым не буду иметь возможности возвратить ему его книги, которыми он так радушно меня снабдил; их читают и они вразброде.

Прости, мой милый, крепко тебя обнимаю. Когда-то я получу от тебя грамотку и когда-то придется мне опять по утрам поить тебя чаем?

153. И. Д. ЯКУШКИН — И. И. ПУЩИНУ[1]

Иркутск. 1854. Декабря 3-го.

Отрадно мне подумать, добрый друг Иван Иванович, что Петр Васильевич заедет к вам и пробудет у вас несколько дней; как бы я охотно побывал с ним в Ялуторовске, чтобы взглянуть на всех на

вас. Петр Васильевич, бывши в Кяхте, очень познакомился с Сергеем Петровичем и здесь пригляделся к нашему житью-бытью; он будет вам живая грамота. Прошу вас очень крепко пожать ему руку за меня. По отъезде Трубецких в Кяхту я сижу дома, боюсь как-нибудь простудиться, что было бы очень плохо в теперешнем моем положении. Ежедневно бывает у меня много посетителей, и я никому из них не смею запереть мою дверь, из чего вы можете заключить, что я живу совсем навыворот против того, как живал до сих пор.

Вечеслав сам писал к вам о данном ему поручении в Енисейской губернии. До сих пор я не имею об нем никакого известия по той причине, что он может написать ко мне только по прибытии своем в Красноярск, а прежде этого ему надо было заехать в четыре бурятские думы.

Марью Казимировну очень давно не видал, она почти безвыездно живет в Разводной, но по кончине Катерины Ивановны мы прожили с ней вместе несколько дней в доме Трубецких и много беседовали о Ялуторовске; о каждом из вас она у меня расспрашивала с самым живым участием и непременно хотела возобновить переписку с Николаем Васильевичем. Денежные ее обстоятельства довольно хороши. Из двадцати одной тысячи долгу, нажитого Алексей Петровичем и ею самой, она уже успела уплатить четырнадцать тысяч, за что не только Николай Васильевич ее похвалит, но и вы сами не откажете в своем одобрении.

Бечасного и Быстрицкого очень редко видаю, они оба редко бывают в городе, а Люблинского, который живет в Иркутске, я и совсем не видал, у него взрослая, довольно красивая дочь, посвятившая себя на потеху здешним молодым людям.

В прежнюю свою поездку к бурятам Вечеслав познакомился с Таптиковым, которого нашел в самом жалком положении; бедный этот человек, несмотря на то, что он разбит параличом, исполняет должность писаря в одной из бурятских дум недалеко от Балаганска.

Раевский, всякий раз, что он бывает в Иркутске, заходит ко мне, и мои беседы с ним обыкновенно ограничиваются воспоминанием давно прошедшего.

Александр Викторович навещает меня раза два в неделю, и мне всякий раз почти совестно, что он для меня отрывает себя от домашнего своего счастья; он и Лариса Андреевна так хорошо умели устроиться, что не только, когда бываешь у них, с ними прекрасно, но и заочно отрадно об них думать. В будущем месяце они ожидают к себе Якова Дмитриевича.

Сергей Григорьевич довольно часто навещает меня, по временам он бывает очень мрачен, и сердце надрывается, глядя на него; он знает, что Молчанов отдан под военный суд и всеми силами старается этому не верить; с последней почтой он получил из Москвы письмо от зятя, который уверяет его, что здоровье его поправляется и что он скоро уедет за границу; если это не беспримерная дерзость со стороны Молчанова, то надо полагать, что он впал совершенно в детство и потому ничего не видит из ужасов, его окружающих. Здесь не только из частных писем, но и положительно известно, что он отдан под военный суд и будет судиться в московском ордонансгаузе, не по одному делу Занадворова, но и по делу Басина. Сергей Григорьевич старается все это скрыть от Марьи Николаевны, а она, кажется, знает, какая участь ожидает Молчанова, и нравственные ее страдания жестоко потрясли ее здоровье; говорят, что в последнее время она так изменилась, что ее узнать нельзя; вообще в этом семействе разыгрывается такая ужасная драма, что страшно об ней подумать.

Простите, любезный друг, крепко обнимаю вас и всех наших, без различия пола и возраста. Скажите Ольге Ивановне, что последних глав «Мертвых душ» мы до сих пор не получили из Омска; может быть, Яков Дмитриевич привезет их.

Сергей Григорьевич посылает вам оставшийся рисунок после Петра Ивановича Борисова; он напомнит вам и Евгению Петровичу дятла в Петровском и происшествие его с бароном. Сделайте одолжение, возьмите у меня в шкафе, от которого у вас ключ, коньки и при случае пришлите их в Иркутск. Конечно, ни вам, ни мне на них более не кататься. Петр Васильевич обещал Ване Трубецкому выслать коньки из Петербурга, а я вспомнил, что у меня без употребления

те самые, которые вы мне подарили еще в Петровском, и Ваня, катаясь на них, когда-нибудь вспомнит и вас и меня. Славный малый этот Ваня и имеет прекрасные способности, но которыми его педагог до сих пор умел мало воспользоваться.

Катерина Ивановна не оставила никакого письменного распоряжения насчет оставшегося после нее имения. Одна только Давыдова отделена и получила свою часть, а чтобы раздел совершился по желанию покойницы, необходимо будет прибегнуть к особым приемам по этому делу. Впрочем, Петр Васильевич все это объяснит вам подробно.

На-днях получено здесь положительное извещение, что дело Бибикова отделено от дела Молчанова, поручено министру юстиции, которому повелено дать ему должное направление. На первый раз и это уже не худо. До сих пор сам Бибиков не получил никакого запроса.

Здесь все ожидают с нетерпением Карсакова, с его прибытием многое должно решиться относительно плавания по Амуру, над которым горизонт становится все шире и шире, и теперь дело идет не более и не менее как о том, чтобы завести компанию пароходства от Стрелки до Николаевского, и тут опять Петр Васильевич действующее лицо. Погода стоит у нас необыкновенно теплая, всего раза два был мороз за 20°, и потому никак нельзя ожидать, чтобы скоро установилось прямое сообщение с Кяхтой и чтобы Трубецкие возвратились прежде половины января, а без них, когда уедет Петр Вас[ильевич], придется сиротствовать.

Поклонитесь от меня Родивоновне и Оленьке и напишите, жива ли Аленушка.

154. И. Д. ЯКУШКИН — В. И. ЯКУШКИНУ[1]

[Иркутск] Декабря 6-го [1854]

Завтра ровно три недели, что ты уехал из Иркутска, и я до сих пор не получил от тебя ни строчки. Сейчас заезжал ко мне Пфафиус и доказывал, что все это как нельзя больше в порядке; из этих доказательств я убедился, что он хотел меня успокоить на твой счет. Из

Москвы также на неделе не было письма; следующую почту буду ждать с нетерпением.

Джибовский продолжает очень исправно навещать меня, раны на ногах подживают и есть надежда, что когда-нибудь заживут.

Пфафиус мне сказывал, что ко мне есть письмо от Трубецкого, в котором он очень благодарит за донесение Завойки, а где это письмо, я до сих пор еще не знаю, но знаю, что это донесение произвело сильное впечатление в Кяхте; все наперерыв его читали и уже там собрано две тысячи рублей серебром в пользу Камчатских героев. Ребендер посылал Зиновьева к джургучию с известием о разбитии рыжих [2]. Вообще же поступил очень удачно, отправивши во время донесение Завойки.

По делу свидетельств о крещении Вани и сестер его возникли в консистории некоторые затруднения, но Горбунов, может быть, в первый раз познавший собственные свои силы, действовал великолепно и устранил все затруднения по этому делу; все нужные бумаги Зиновьев увез с собой; 4-го, напившись у меня чаю, в семь часов вечера он отправился от нас в дальний путь. Привыкнув к его приятной ежедневной беседе, мне как будто чего-то недостает; ему очень желалось где-нибудь с тобой увидеться. С ним я отправил к Стадлеру четыре книжки Прудона и теперь остаются только здесь последнее сочинение Прудона в одной книжке — две части, 5-я и 6-я, История реставрации и две части Окен-Гаузена [?]; ни одной из этих книг я еще не читал по той причине, что до сих пор они еще у Трубецкого и Волконского.

Кум твой навещал меня раза два в неделю, он велел от него и от кумы [3] очень поклониться тебе.

Сергей Григорьевич бывает у меня, но редко, не знаю, что привезла ему вчерашняя почта, но перед тем он получил письмо от Молчанова из Москвы от 3-го, который к нему пишет, что они собираются с ним в Петербург; все это вместе решительно непонятно.

Бибиков недавно был у меня и сообщил мне, что здесь получена бумага о том, что его дело передано в распоряжение министра юстиции.

Вчера и сегодня мороз за 30°, где-то ты находишься в этом холоде?

Вчера в первый раз истопили обе печи и у нас очень тепло, 2-го были выборы в здешние клубы и, кажется, тебя выбрали действительным членом; на другой день был обед в клубе, на котором присутствовал генерал-губернатор.

Сегодни тяжелый день для чиновников до 7-го класса включительно; в 10 часов надо было ехать с поздравлением, потом в собор, в 2 часа на обед к Николаю Николаевичу, а вечером на бал в клуб. Никитин очень разобижен, что не будет на обеде, считаясь в 8-м классе [4].

Но пора отправить этот листок на почту, с твоего отъезда я пишу к тебе третий раз.

Прости, мой милый. Крепко тебя обнимаю. Ради бога пиши ко мне.

155. И. Д. ЯКУШКИН — И. И. ПУЩИНУ [1]

Иркутск. 1854. Декабря 13.

Письмо ваше от 22 ноября, мой любезный друг Иван Иванович, прислал мне Персин; сам он у меня не бывает и под каким предлогом отказался меня лечить, я, кажется, писал об этом к Матвею Ивановичу. Тут разыгрывается какая-то комедия и притом не совсем удачно.

Через Венцеля я получил письмо от Павла Сергеевича и при письме доху, и еще какую превеликолепную. Сегодня же отправлю в Тобольск на имя Жилина мой благодарственный листок Павлу Сергеевичу.

Премного благодарю и вас за ваши хлопоты и старанье доставить мне теплую лопáть. Теперь остается только мне поправиться в здоровье, чтоб обновить мою доху. К Евгению я несколько раз писал, чтобы он по получении требования от вас тотчас выслал деньги, и надеюсь, что он их немедленно вышлет. Вы спрашиваете у меня о моем здоровьи,— до совершенного выздоровления еще далеко.

14-го.

Вчера посетители прервали мою беседу с вами, и я не успел отослать этот листок на почту; хотя он отправится не прежде как 17-го, мне все-таки хочется сегодня написать к вам несколько строк. Сегодня все наши обедают у вас, и вы можете быть уверены, что я мысленно с вами. Нисколько не сомневаюсь, что все ялуторовские мои друзья меня помнят, точно так же, как и вы не можете сомневаться в том, что я всех вас часто вспоминаю и вспоминаю с любовью.

По последним известиям из Кяхты, все там здоровы и пишут оттуда, что Сергей Петрович ненадолго отправился в Петровский Завод. Я его никак не жду прежде половины января.

От Вечеслава имел письмо из Красноярска; он пишет, что с поручением своим он управляется успешно; сначала Падалко принял его холодно и сухо, но потом дело обошлось, и губернатор с ним очень ласков; о возвращении же своем Вечеслав ничего еще не говорит и, вероятно, возвратится не прежде февраля. В Красноярске он живет у Василия Львовича, и с ним вместе гостит Спиридов; надо полагать, что во все это время чапаруки [2] у них очень в ходу.

Колошин приехал, наконец, в Иркутск, он в ужасном раздражении против Забайкалья; правда, что там ему было очень нехорошо, но и здесь первое время будет не легко; против него все очень предубеждены за исключением Ник[олая] Ник[олаевича] и генерала Осмылкова, последний стоит за него горой. Колошин причислен к казачьему отделению, чего он, конечно, никак не ожидал, а как это устроилось и по чьему старанию — неизвестно.

Я продолжаю сидеть дома, и ноги плохо ходят и глаза плохо глядят, на мое еще счастье жилье наше очень тепло.

Поджио на-днях заезжал ко мне, он также высидел дней десять дома. Лариса Андреевна совсем поправилась после родов и обещала на-днях навестить меня.

Сергей Григорьевич бывает у меня довольно часто; можно было полагать, что полученные им известия из Москвы о подсудимости Молчанова, которого комендант требовал к себе и потом присылал

доктора его свидетельствовать, поразит сильно и его и Марью Николаевну; вышло напротив, они были утешены письмом Нелиньки, которая уверяет их, что она спокойна и весела.— Светлейшая собирается по последнему зимнему пути уехать из Иркутска, но, вероятно, она пробудет здесь до весны.

Надо полагать, что в феврале Ребендер и Саша будут в Ялуторовске: он получил разрешение приехать в Петербург. С моей стороны, я бы очень желал, чтобы они возвратились в Кяхту, а то без них Сергей Петрович совсем осиротеет.

На-днях была у меня Дросида Ивановна и приносила премилое письмо от Тиночки из Ливорно — зиму они проведут в Флоренции. О капиталах своих Дросида Ивановна нисколько не хлопочет и даже просила меня к вам более не писать об этом: видно она в тот раз шарахнулась, сама не зная почему.

В числе посетителей у меня часто бывает князь Оболенский, Александр Васильевич, моряк, преславный малой, очень напоминающий Евгения Петровича.

Филицату Ефимовну иногда видаю. Она, кажется, теперь менее недовольна своим положением, нежели было прежде.

Что вы утешаетесь Аннушкой и Ваней, я этому нисколько не удивляюсь, но от души радуюсь; обоих их, и вас, и всех наших мысленно обнимаю. Поклонитесь от меня Матрене Михеевне, поклонитесь также Оленьке и Родивоновне.

Прилагаю письмо к Наталье Дмитриевне и прошу вас переслать его к ней; я не знаю, как надписывать к ней письма.

156. И. Д. ЯКУШКИН — П. Н. СВИСТУНОВУ

Иркутск. 1854. Декабря 31-го.

Премного благодарю вас, мой добрый и любезный Петр Николаевич, за письмо ваше от 4 декабря. Я вчера его получил и дам его прочесть Сергею Петровичу при первом моем свидании с ним; до сих пор он в Кяхте и ждет только возможности переехать Байкал, чтобы

возвратиться в Иркутск; с ним вместе приедет сюды и Саша со всем своим семейством.— Ребендер вызван министром в Петербург и, вероятно, отправится туда с женой и детьми в конце января; но, как кажется, он намерен возвратиться в Кяхту, чему я очень рад за Сергея Петровича; в теперешнем его положении расстаться навсегда с Сашей было бы для него слишком тяжело.

Очень вы меня порадовали добрым известием о Фердинанде Богдановиче; желаю ему скорого выздоровления и прошу вас пожать ему дружески руку за меня.

За последнее время много недочета в рядах наших; вероятно, до вас дошло уже известие о кончине Спиридова. В августе я с ним виделся в Красноярске и любовался им; какой он был молодец еще и телом и душой!

Старики наши в Иркутске кой-как держатся; Сергей Петрович и Сергей Григорьевич оба пополнели и нисколько не жалуются на здоровье; но Поджио по временам прихварывает и много на нем морщин; зато в семействе своем он вполне счастлив; жена у него предобрая и премилая, и двухмесячная дочь, которой он не нарадуется.

Не очень давно я писал к Павлу Сергеевичу и благодарил его за доху, которая пока висит без употребления по той причине, что я более двух месяцев сижу дома; хотя мое здоровье и поправилось, но я все еще боюсь выйти на холод, к тому же и ноги и глаза у меня не совсем в исправности.

Вечеслав уже полтора месяца как уехал из Иркутска, и я ожидаю его не прежде февраля. Перед его отправлением Никол[ай] Никол[аевич] велел у меня спросить, согласен ли я расстаться с сыном на три месяца; разумеется, что я изъявил на это полное мое согласие и даже очень рад, что Вечеслав живет здесь не совсем без дела.

Вы желаете, чтобы я сказал вам что-нибудь о Ване Трубецком; положительно, он преславный мальчик, и добр, и умен, и дано ему прекрасное направление; можно надеяться, что, при помощи божией, из него выйдет во всех отношениях порядочный человек. Он далеко не так развернут, как Миша Муравьев, которого он, впрочем, несколь-

ко и моложе, и много отстал от него в книжном ученьи; но зато он иногда поражает своей сметливостью и вниманием своим ко всем и и на все, что у него перед глазами.

Простите, добрый Петр Николаевич, дружески обнимаю вас; у Татьяны Александровны целую ручку; поцелуйте за меня ваших малюток и пожмите руку Павлу Сергеевичу и всем нашим — Александру Львовичу кланяюсь и обнимаю Мишу Знаменского.

157. И. Д. ЯКУШКИН — С. П. ТРУБЕЦКОМУ [1]

[Иркутск] Декабрь 7-го [1854].

Вчера я получил твое письмо от 29 ноября, мой добрый друг Сергей Петрович. Полагаю, что с нынешней почтой Петр Александрович к тебе напишет об успешном окончании данного ему тобой поручения. По получении его он обратился за советом к Персину; Персин послал его к Громову; Громов решительно сказал, что из консистории ему не выдадут свидетельств; приходилось писать к тебе в Кяхту, ожидать от тебя просьбы и доверенности, то-есть положить все это дело в длинный ящик. В таком горестном положении Петр Александровичь решил обратиться к Николаю Никол[аевичу], который одним почерком пера отстранил все затруднения; он потребовал из консистории для себя собственно свидетельства о крещении твоих детей и пр. [2].

Консистория не смела ему отказать, но в метрических книгах оказались большие неисправности и потому возникли некоторые недоумения, и тут Петр Александровичь, познавший собственные свои силы, действовал великолепно; всякий день он бывал и в консистории и в главном управлении; два раза ездил в Оёку, добыл от тамошнего причета черновые метрические книги и доставил их в консисторию; наконец, получил от Николая Никол[аевича] все нужные бумаги по этому делу и передал их Зиновьеву в самый день отъезда. В продолжении всего этого времени Петр Александровичь всякий день заходил ко мне, и я, беседуя с ним, убедился, что он не только человек

не глупый, но вместе с тем и человек честный, благородный и умеющий вполне ценить тебя и всех твоих.

Марья Александровна часто бывает у меня; она предобрая, связала два шарфа — один Вечеславу и другой мне. Анна Францевна также иногда навещает меня; на-днях была у меня и [нрзб.] по твоему поручению.

Сегодня ровно три недели, что Вечеслав услан из Иркутска; прежде нежели попасть в Красноярск, он должен заехать в четыре братские думы, и я до сих пор не имею никакого известия о нем.

Очень рад, что он сделал приятное тебе и Николаю Романовичу, пославши вам донесение Завойки. Зиновьев 4-го, напившись у меня чаю, уехал в семь часов вечера. Привыкнув к приятной ежедневной его беседе, мне теперь чего-то недостает. Я нашел в нем человека умного, образованного, с теплым любящим сердцем и сам в него влюбился.

От пребывания своего у вас он в восторге. Не говоря уже о его искренней дружбе к Никол[аю] Роман[овичу], он совершенно тебя понял и любовался тобой во все время своего пребывания у вас; он понял даже милого моего Ваню и прекрасное направление, которое дано ему. В Сашу, не во гнев будь сказано ее супругу, он страстно влюблен. После этого ты поймешь, как мне было легко и приятно с ним беседовать. Возвратясь в Иркутск, он долго не мог привыкнуть к здешнему обществу, которое казалось ему бледно и невыносимо скучно.

Об известиях из Крыма я тебе не пишу; вместе с моим письмом вы получите последние газеты и из них узнаете о резне, происшедшей при наступлениях наших из Севастополя на батареи союзников; огромная потеря наша людьми, повидимому, не искупается никаким последствием сколько-нибудь для нас выгодным. Все это вместе очень не забавно.

Альмское дело встревожило всех в Иркутске; ожидали, что следующая почта привезет известие о взятии Севастополя.

Но после того, что неприятель, находясь полтора месяца в Крыму, не предпринял ничего решительно против Севастополя, надеются, что

он не будет взят и что вместе с тем мы сохраним наш Черноморский флот [3].

Каждый день ожидают здесь Карсакова; он должен привезти много любопытного относительно будущей экспедиции по Амуру. Вероятно, до вас дошли слухи о затеваемой здесь компании для учреждения пароходства от Шилки до Николаевского. Зиновьев взялся хлопотать об этом в Петербурге и по этому делу будет в прямых сношениях с Белоголовым.

О здоровье моем ничего положительно хорошего не могу тебе сказать.

Персин, не принявши Вечеслава, который был у него три раза, написал ко мне письмо, в котором отказался меня лечить под известным тебе предлогом. Как ни странно его вообще поведение относительно меня, я нисколько не сетую на него, зная, что ни от кого нельзя требовать больше того, что он может дать. Теперь через день навещает меня сладкомедовый Джибовский; он в восторге при виде моих ран, которые начинают подживать, но ноги еще очень болят, глаза также болят и много еще есть других неисправностей. Хорошо бы было, если бы хоть сколько-нибудь поправиться к твоему возвращению.

Алек[сандр] Викторович бывает у меня раза два в неделю, и мне почти совестно, что он для меня отрывается от своего домашнего счастья. Лариса Андреевна собиралась на-днях выехать и, вероятно, навестит меня.

Сергей Григорьевич бывает у меня довольно часто; не знаю, что привезла ему последняя почта, но перед тем он получил из Москвы письма от 30 октября и 3 ноября, в которых Молчанов извещает его, что они собираются за границу; а здесь положительно известно, что Молчанов отдан под военный суд и будет судиться в Московском ордонансгаузе.

О Бибикове также здесь положительное известие; дело его у министра юстиции, которому поручено дать ему должное направление.

Прости, мой старый добрый друг, крепко жму тебе руку. Всем своим скажи мое дружеское приветствие.

158. И. Д. ЯКУШКИН — В. И. ЯКУШКИНУ [1]

[Иркутск] Января 3-го [1855]

Сегодня мне бы не следовало писать к тебе, во-первых, потому, что я не получил обещанного письма тобой из Олимска, а во-вторых, это письмо мое, не заставши тебя в Красноярске, евда ли дойдет до тебя; но я так мало дорожу моими письменами, что пускаю этот листок на авось. Вероятно, что в Минусинске ты задержишься долее, нежели полагал, ты там будешь иметь, как мне сказывали, новое поручение.

Очень жаль, что ты теперь не в Иркутске и не увидишься с Гончаровым; он был у меня и просил передать тебе его сожаление, что он не застал тебя здесь, и говорил мне с таким дружеским чувством о тебе, что я с первого раза полюбил его. Сегодня я послал ему «Постоялый двор», и мне очень любопытно знать, какое впечатление произведет на него эта повесть, он ее прежде не читал.

Трубецкие по последнему письму от Сер[гея] Петр[овича] в Петербург должны были вчера выехать из Кяхты и пробыть несколько дней в Селенгинске у Бестужевых. Ребендер очень торопится в Петербург, и по всем вероятиям ты уже не застанешь его в Иркутске. Казимирского ждут сюды после праздников; может быть, он видался с тобой в Красноярске.

Последнее письмо от Евгения от 4 декабря; он обещает выслать тебе Путешествие Кублицкого и предлагал прислать еще Путешествие наших академиков, если ты действительно хочешь заняться изучением Сибири; я ему отвечал, чтобы он выслал и то и другое. Мне какая-то неудача с письмами Евгения; то, которое передал тебе Зиновьев, ты мне до сих пор не переслал. С Карсаковым Евгений приготовил ко мне письмо, но не отправил его с ним. Карсаков был у меня, но не долго, и мне не удалось переговорить с ним о многом, о чем хотелось бы поговорить; он почти никуды не выезжает по той причине, что Ник[олай] Ник[олаевич] еще не наговорился с ним. Скоро он должен уехать за Байкал.

Здоровье мое поправляется, ноги болят по сравнению менее прежнего и глазам как будто лучше. Владимир Иванович не возвратился

еще из Тунки. Оболенский лечится и не выезжает из дома, а у Забаринского жена очень больна, и потому у меня уже давно не бывает раутов по вечерам; днем кой-кто заходит.

29 декабря в клубе был бал, после которого у меня было объяснение с Колошиным; он был им очень растревожен, но спасибо ему, понял участие, какое я принимаю в нем, и нисколько на меня не осердился. Вчера я провел с ним приятно несколько часов, беседуя о русской словесности; малый он не глупый и, кажется, добрый малый: жаль, если он по своей неосторожности как-нибудь сгинет здесь.

Недавно приехал сюды Горонов и недолго здесь пробудет. Появление его дочери в здешнем обществе произвело сильное впечатление на иркутскую молодежь. Накануне нового года у Клейменова был вечер и Горонова была царицей на этом вечере, по случаю чего много рассказов. Ингалычев уехал в Аян, а Мартынов отправился в Камчатку. Я не пожелал бы тебе быть на месте ни того, ни другого.

Прости, мой милый! Крепко тебя обнимаю. Писать к тебе важного более не приходится.

159. И. Д. ЯКУШКИН — И. И. ПУЩИНУ[1]

Иркутск, 1855. Генваря 15-го.

Карсаков привез мне ваше письмо от 15 декабря, добрый друг Иван Иванович, и я тотчас не отвечал вам по той причине, что все поджидал Николая Романовича, чтобы отправить мой листок к вам. На ваше суждение о внешней политике вообще и о делах Крыма, в особенности, могу только сказать: аминь. Как вам известно, я не читаю газет, но все, что бывает в них любопытного, сообщают мне добрые люди, и потому часто приходится толковать и о Севастополе, и об англичанах и о французах, и все это вместе — тоска.

Вам уже, вероятно, известно, что здесь все готовится к экспедиции по Амуру. Говорят, что Никол[ай] Никол[аевич] отправится из Иркутска в конце марта с тем, чтобы в начале мая быть в Николь-

ском и заблаговременно приготовиться к отражению англо-французской эскадры, которая, как известно, готовится в нынешнем году для нападения на наши владения при Охотском море.

Донцы, спасшие от погибели врагов своих турок, в виду покровителей их англичан, помышлявших в это время о своей толь[ко] безопасности, совершили, конечно, прекрасный подвиг, который не мог не порадовать и вас, и меня, и всякого истинно русского человека.

Много благодарен вам за присылку отчета об училищах; и о доставлении мне книг, так долго гостивших в Тобольске, прошу вас нисколько не хлопотать, они мне нисколько не нужны. Здесь есть что читать, лишь бы только глаза поправились.

Посылка Дросиде Ивановне тогда же была ей доставлена; она бывает у меня, но довольно редко. Племянница ее Анна Михайловна недавно заходила ко мне с своим мужем и сообщила мне, что Михаил Карлович собирается приехать в Иркутск, как скоро установится дорога по Байкалу.

Сообщите, что знаете о Наталье Дмитриевне; по приезде в Иркутск я писал к ней, но видно письмо мое до нее не дошло, и потому отправил к ней несколько строк при моем письме к вам.

Евгений недавно писал ко мне, что ожидает Николая Знаменского и что будто ему будут затруднения жениться на лютеранке, но, вероятно, все это уладится и он скоро приедет к вам женатый; желаю ему всего лучшего.

От Вечеслава я недавно имел письмо из Красноярска; он хотел выехать оттуда в Иркутск 10-го, но, как кажется, ему дано новое поручение, и если оно застало его в Красноярске, то ему опять придется ехать в Минусинск, и в таком случае он вернется не прежде как в феврале. Я нисколько не сокрушаюсь, что я с ним розно; но мне досадно за него, что он теперь не в Иркутске и не увидится с Николаем Романовичем и Гончаровым; с обоими ними он коротко знаком. Наверно для вас будет очень приятно познакомиться с сочинителем «Обыкновенной истории»; он славный малый.

На-днях заезжала ко мне Лариса Андреевна; Александр Викторович немного простудился и все эти дни сидит дома. Он приготовил

у себя помещение для Якова Дмитриевича, которого ожидает дней через десять.

Сергей Григорьевич очень часто меня посещает. Колошин также заходит почти всякий день; я иногда с ним ссорюсь за его гусарские выходки, спасибо ему, он на меня не сердится за мою откровенность.

Посылаю Евгению Петровичу и Николаю Васильевичу закаминного зверобою. Меня уверили, что он очень помогает от кашля. В продолжении нескольких дней каждое утро надо пить натощак по стакану настоя из этой травы; таким образом Рейхель избавился от кашля, который, по мнению его лечившего врача, должен был необходимо иметь очень дурные последствия. Если эта трава пойдет на пользу, напишите.

Письмо в Нерчинск отправлено с человеком, на которого можно надеяться. Простите, любезный друг, крепко вас обнимаю, всем нашим скажите мой дружеский привет. Аннушку и Ваню поцелуйте за меня.

Я.

16-го января

После того, что я написал к вам мой листок, Сергей Петрович передал мне ваше письмо от 27-го, а Колошин прислал мне коньки, которые я тот же час и подарил Ване от вас и от себя. Катаясь на них, пусть он вспомнит когда-нибудь и вас и меня.

Я не понимаю, как это могло случиться, что вы до сих пор не получили мою благодарность за доху. Вчера я ее обновил; обедал и провел вечер у Сергея Петровича. Прошу вас достать из шкафа, что в сенях, портреты Катерины Ивановны и Серг[ея] Петр[овича], Саша очень желает их видеть и, может быть, увезет их с собой.

Не смею благодарить вас за все любезности, которые вы мне высказали в последнем вашем письме, и очень верю, что вы для Зиновьева написали с любовью несколько строк о покойной Александре Григорьевне [2]. Очень мне будет жаль, если Гончаров к вам не заедет, он большой чудак.

Простите, еще раз крепко вас обнимаю. Когда будете у меня, поклонитесь и Олиньке, и Родивоновне, и Аленушке.

160. И. Д. ЯКУШКИН — И. И. ПУЩИНУ

1855. Января 31-го.

Оболенский доставил мне, добрый друг Иван Иванович, ваше письмо, и я тотчас вам не отвечал на него, потому что тогда Сергей Григорьевич к вам писал. Прошу вас поцеловать ручку у Александры Васильевны и поблагодарить ее за 28 декабря; собравши в этот день всех вас у себя, она оказала мне истинно дружеское внимание. Федосея Федоровича благодарю за память и крепко жму ему руку.

Давно я не имел никакой надежды на выздоровление Вольфа, а между тем известие о его кончине меня крепко огорчило. Вы совершенно правы, могила со многим примиряет. Написавши о Николае Анненкове, вы ни слова не сказали о брате его Иване. Каково-то он подвигается на службе царской. Евгений писал и ко мне, что для Пушкиных есть надежда возвратиться на родину, и я искренно порадуюсь, когда узнаю, что надежда эта осуществилась.

Желание ваше исполнилось, я обновил доху и не могу ей нахвалиться.

Яков Дмитриевич, наконец, 25-го добрался до Иркутска, и я почти всякий день бываю на милой заимке. У Трубецких также я бываю; у них в доме как-то очень пусто и нет того живительного начала, какое было прежде. Сергей Петрович здоров, но за последнее время постарел; у Зины иногда заплаканные глаза и бывают минуты, что на нее и на Сергея Петровича больно смотреть. Один Ваня живет полной ребяческой жизнью; на коньках он уже катается без стула. Странный этот мальчик, в книжной науке он не далек, но зато иногда поражает своим верным взглядом и вниманием своим ко всем и ко всему его окружающему, и вообще направление у него прекрасное.

Последнее письмо я получил от Вечеслава 17-го из Красноярска; повидавшись там с Яковом Дмитриевичем, он остался еще дожидаться Ребиндера и Гончарова, а потом, получив новое и, как он пишет, не совсем приятное поручение, ему придется ехать в Минусинск, и потому, когда мы с ним свидимся, я не очень знаю, не знаю также,

отправится он или нет в экспедицию по Амуру. Приготовлением этой экспедиции все здесь озабочены, весь почти штаб за Байкалом.

Миша Волконской возвратился только третьего дня и через неделю опять уезжает за море. Карсаков задерживается в Иркутске по болезни Николая Николаевича, который у себя на бале сильно занемог, но теперь ему лучше и он уже принимает доклады. Отправится же он на Стрелку, как говорит, в конце марта, и Катер[ина] Никол[аевна] ему сопутствует.

На-днях получено здесь из Петербурга огромное производство здешних чиновников, в числе их Струве произведен в статские, Бибиков в надворные советники, Свербеев в коллежские асессоры и Волконский в титулярные советники.

На этом слове приехал Александр Викторович и непременно хочет, чтобы я ехал с ним на Заимку. Крепко вас и всех наших без различия пола и возраста обнимаю.

Я.

161. И. Д. ЯКУШКИН — П. Н. СВИСТУНОВУ[1]

Иркутск. 1855. Февраля 21

Письмо ваше от 23 января, мой добрый и любезный Петр Николаевич, я получил и поспешил исполнить ваше поручение. Напомнил Николаю Николаевичу обещание его принять Володю на службу в Восточную Сибирь, причем он мне заметил, что, принявши его на службу, придется дать ему и жалование, на что, разумеется, я отвечал ему утвердительно. Вообще жалованье здесь для чиновников, ищущих мест, составляет камень преткновения, и я не полагаю, чтобы Володя, поступивши на службу в Иркутск, с первого раза мог получить место, которое доставило бы ему более 300 рублей серебром в год. Если Федор Александрович не хлопочет о жалованье, то ему предстоит здесь прекрасное место, место чиновника по особым поручениям при генерал-губернаторе, но без жалованья,— это мне сказал сам Николай Николаевич, который, впрочем, до сих пор не получил прошения ни от Володи, ни от Федора Александровича, а надо

бы поспешить с этим делом. 31 марта Николай Николаевич отправляется в экспедицию на Амур и, вероятно, вернется в Иркутск не прежде сентября.

С прошедшей почтой я получил письмо от Францова [2] из Марьина; он просит меня замолвить за него слово и похлопотать о помещении его на службу в Восточную Сибирь; я право не знаю, за кого он меня принимает, но если бы даже я и имел возможность исполнить его желание, я бы все-таки не посмел никому о нем заикнуться, такую он оставил по себе добрую славу.

Теперь в Иркутске гостят Кюхельбекер и Николай Бестужев. И тот и другой вам очень кланяются. Оба они мало изменились, здоровы, потолстели, а Кюхельбекер даже и красен.

Сергей Петрович по возвращении своем из Кяхты и после разлуки с дочерью опять было осунулся, но теперь опять пришел несколько в порядок; внучек, оставленный на его попечение, очень его утешает.

Вечеслав, окончивши все данные ему поручения в Красноярске, недавно возвратился; он два раза был в Минусинске и познакомился там со всеми с нашими, кроме Тютчева. У Крюкова огромное потомство [3], а Киреев вовсе не женат. Все они живут довольно порядочно, Тютчев один очень в нужде. У Крюкова есть небольшой капитал, Фаленберг промышляет табаком. Прочие имеют места по откупу.

Простите, любезный Петр Николаевич. Крепко вас и Павла Сергеевича обнимаю, у Татьяны Александровны целую ручку — поцелуйте за меня ваших деток [4].

162. И. Д. ЯКУШКИН — И. И. ПУЩИНУ [1]

Иркутск. 1855. Мая 6-го.

Очень давно я не писал к вам, добрый друг Иван Иванович, и не отвечал на многие последние ваши письма. Почти два месяца я не только не мог читать и писать, но и не имел возможности смотреть на божий свет. Пиявки, за обоими ушами нарывной пластырь, разного рода втирания и примочки в продолжении месяца не принесли

мне никакой пользы. По отъезде Вечеслава Сергей Петрович перевез меня к себе, и я с 1 апреля лежал в темной комнате, отложив в сторону все средства, предписанные моим эскулапом, который так долго испытывал их надо мной без малейшего успеха. Теперь глаза мои значительно поправились; левым я читаю без очков, а правым вижу предметы вдали; это хотя и не совсем удобно, но пока хорошо и то, что я не окривел.

Вы можете себе представить, как мне хорошо у Сергея Петровича, и он, и все в доме балуют меня донельзя и к тому же с таким искусством, что нет никакой возможности сопротивляться их баловству. До сих пор я не выезжал еще из дому, погода стоит здесь очень холодная.

Александр Викторович и Лариса Андреевна бывают у нас, но редко; последняя было очень прихворнула на-днях, но ей поставили 25 пиявок к груди, и тем она избавилась от нарыва; Сергей Петр[ович] и Зина навещают ее ежедневно.

Марью Николаевну очень давно не видал; за последнее время она, говорят, очень похудела, видимо ее тревожит положение Нелиньки, или, вернее сказать, прескверное положение самого Молчанова; о его деле я давно ничего не слышал. Сергей Григорьевич накануне праздников отправился в Верхний Удинск, где он ожидал найти Софью Григорьевну, но она из Кяхты проехала прямо на Шилку и засела в какой-то деревушке. Ко мне писали, что Сергей Григорьевич из Бианкина поехал отыскивать ее; в конце месяца они оба должны возвратиться в Иркутск; впрочем, нельзя ручаться, чтобы Софья Григорьевна не отправилась по Амуру.

Никол[ай] Никол[аевич] на своем плашкоте приготовил для нее комнату на всякий случай. Анненков к вам писал из Иркутска перед отправлением своим на Шилку, надо полагать, что он уже не застал там Никол[ая] Никол[аевича] и поплывет по Амуру вместе с Карсаковым, которого отбытие из Шилкинского завода назначено 15 мая.

Вечеслав писал ко мне 9 апреля из Бианкина, что он на другой день отправляется с поручением в Шилкинский завод, оттуда он не имел возможности писать ко мне: есть известие, что льды задержали

Ник[олая] Ник[олаевича] в Бианкине и что он отправится оттуда не прежде как 23 апреля; надо полагать, что теперь он с своим войском и штабом уже плывет по Амуру.

Прилагаю несколько строк в ответ на письмо Клавдии; по желанию вашему не сказал ей ни слова о вашем ей подарке.

Дросиду Ивановну давно не видал, но от ее сожительницы Аннушки знаю, что она здорова.

От Евгения получаю письма очень исправно; он предается какимто надеждам, которых мы с ним здесь нисколько не разделяем [2], и я просил его выслать вам денег не позднее июня на мои домашние издержки. Сегодня я уже не успею написать к Матвею Ивановичу. Крепко его, вас и всех наших обнимаю. Обнимите за меня Аннушку и Ваню.

Я.

Поклонитесь от меня Олиньке и Родивоновне.

163. И. Д. ЯКУШКИН — Н. Д. ФОНВИЗИНОЙ [1]

Иркутск. 1855. Мая 13-го.

Письмо ваше от 27 февраля, мой добрый друг Наталья Дмитриевна, я давно получил, но тогда же отозваться на него я не имел никакой возможности. Более двух месяцев я сидел впотьмах, малейший свет был для меня невыносим; теперь зрение мое хотя и не совсем в порядке, но далеко не в таком отчаянном положении, в каком было прежде, и я могу сколько-нибудь в продолжении дня и читать и писать. Много благодарю вас за подробности, которые вы мне сообщили о подвигах, совершенных вами по управлению крестьянами [2]. Я радовался, видя, как усердно вы исполняете служение, возложенное на вас провидением. Дай бог всевозможного успеха вам в этом благом деле.

Здоровье мое несколько лучше, нежели было зимой, но все еще довольно плохо. Более уже месяца Вечеслав отправился в экспедицию по Амуру, и по его отъезде Сергей Петрович перевез меня к себе;

здесь мне во всех отношениях прекрасно. Очень мне жаль, что вы не съехались в Москве с Сашей Ребендер, ей весьма хотелось увидеться с вами. Саша преславный человек и любит всех, кого любила ее мать; вообще дети Сергея Петровича предобрые и достойные своих родителей.

С некоторого времени из Петербурга и Москвы нам подают огромные надежды, но мы, благодаря богу, нисколько не увлекаемся этими надеждами и живем, полагаясь на волю и благость старшего.

Марью Николаевну я очень давно не видел, она все хворает и, говорят, за последнее время ужасно похудела; положение ее точно не завидно, она на этом свете как будто одна одинешенька; здесь у нее положительно нет ни одного близкого человека. Детей своих она, кажется, страстно любит и беспрестанно сокрушается о Нелиньке, которая в Москве с своим мужем, разбитым параличем и отданным под уголовный суд, а бедная эта Нелинька несет свой крест прекрасно; но каково же матери, положившей тяжелый крест на дочь свою; перед такой действительностью самые ужасные повести бледны.

Сергей Петрович целует ваши ручки; вспоминая с ним былое, мы часто вспоминаем вас и общего нашего друга Михаила Александровича.

Простите, моя добрая, любезная Наталья Дмитриевна, крепко обнимаю вас.

И. Я.

164. И. Д. ЯКУШКИН — И. И. ПУЩИНУ[1]

1855. Июня 13-го [Иркутск].

Письмо ваше от 23 мая на неделе я получил, мой добрый друг Иван Иванович, и в ответ пишу к вам без отлагательства, глаза теперь кой-как видят. Вообще с наступлением теплой погоды и при употреблении свежей черемши здоровье мое очень поправилось, хотя оно далеко не в таком состоянии, какого Вы мне желаете; впрочем,

в этом отношении ни вам на мой счет, ни мне самому не следует быть слишком взыскательным. Я прожил слишком 61 год и до сих пор, несмотря на вечные недуги, живется не совсем дурно, и слава богу. Не стану повторять вам мою благодарность, зная, что вы до нее не охотник, за ваше внимание к Оленьке и Родивоновне, а все же невольно всякий раз подумаешь, какое для них счастие, что вы способны на такое внимание. Когда их увидите, поклонитесь им от меня. Взглянув поближе на бедственное положение Оленьки, для вас теперь легко понять, почему я принимаю в ней такое живое участие.

Нисколько не удивляюсь, что вы удивлены рассказами Струве и Арбузова, и может быть еще более подивитесь, когда узнаете, что Запольский, бывший у нас в Ялуторовске, еще недавно преданный преданностью беспримерной, во время пути из Шилки был высажен на берег по приказанию Николая Никол[аевича] с дозволением отправиться куда знает, и просить на него, кого он хочет. Причина такого распоряжения состоит в том, что Запольский, бывши в этот день дежурным и получивши приказание подать помощь барже, севшей на мель, отвечал, что это не его дело [2].

О Вечеславе ничего не знаю после 29 апреля, и с тех пор нет никаких положительных известий о самой экспедиции; знаю только по изустным преданиям, что 5 мая Ник[олай] Ник[олаевич] с своим штабом и частью войска из Стрелки отправился по Амуру на одиннадцати баржах, остальные девять баржей, составлявшие его передовой отряд, за мелководием от него отстали. Известно также, что отряд Назимова, при котором находился Миша Волконский с посланцами, ушел из Стрелки и что последний отряд под начальством Карсакова отправился также по Амуру 24 мая.

Сергей Григорьевич с светлейшей еще не возвратился из-за Байкала, их ожидают с каждым пароходом.

Я писал к Матв[ею] Ивановичу о болезни Ник. Алек. Бестужева; после тяжких страданий он скончался 15 мая.

Марью Николаевну видаю редко, потому что мало выезжаю, а пешком хожу еще меньше.

Поджио с Горбуновым и Ваней на прошедшей неделе уехали на свои золотые прииски, которые по разведкам обещают много хорошего. На-днях мы ожидаем возвращения наших Аргонавтов.

Лариса Александровна и Варинька ее здоровы.

От Евгения получаю письма еженедельно, он решительно собирается приехать в Иркутск, но я не знаю, удадутся ли ему его сборы.

За Ушаковкой живем мирно и покойно, посетителей бывает очень немного; и Сергей Петрович и Зина вам очень кланяются; а я вас и всех наших крепко обнимаю.

Дросиду Ивановну видел не очень давно; она приносила мне присланный вами расчет, в верности которого она убедилась.

Я.

Сергей Григорьевич возвратился, но я его еще не видал; может быть, он сам напишет к вам.

Колошин вчера был у меня и показывал мне ваше письмо, на которое он собирается к вам отвечать.

165. И. Д. ЯКУШКИН — И. И. ПУЩИНУ [1]

[Иркутск] 6-го августа [1855 г.].

Очень давно не было от вас прямой весточки, добрый друг Иван Иванович, я ждал и не дождался, чтобы вы отозвались на мой последний листок. Сергей Петрович к вам также писал, а от вас ни строчки. Знаю, что у вас много хлопот, и очень порадуюсь узнавши, что Матрена Михеевна хоть сколько-нибудь чувствует облегчение в своей немочи и что вы насчет ее успокоились. Не очень давно приехавшая сюда Ротчева, которую я, впрочем, не видал, сказывала Сергею Петровичу, что, бывши в Ялуторовске, она видела вас только на минуту и что вы озабочены болезнью вашей жены [2].

О себе ничего положительного сказать вам не могу, живу день за день. Здоровье то лучше, то хуже. О Вечеславе после того, что написал об нем Оболенский, 9 мая, из Албазина, я решительно ничего не знаю и не знаю даже, когда я об нем что-нибудь узнаю.

От Евгения получаю письма еженедельно; у него обе девочки были больны, а меньшая и по последнему его письму не совсем здорова. Он все собирается в дальний путь, а я давно не верю, чтобы ему в нынешнем году удалось побывать в Сибири, но может получить командировку в Иркутск не прежде как по приезде Мих[аила] Ник[олаевича], которого ждали в Москву к 20 июля. Все это как-то неладится и, вероятно, не уладится.

На прошедшей неделе я получил письмо от Натальи Дмитриевны, которым она очень меня порадовала; здоровье ее, кажется, не дурно и она, благодаря бога, в своем положении нисколько не унывает. Я теперь не пишу к ней по той причине, что не знаю, как надписать к ней мое письмо; пришлите мне ее адрес.

При случае перешлите книги мои, полученные вами из Тобольска; и еще есть к вам просьба, нельзя ли вам добыть и прислать нам вишневых косточек; здесь многие просили выписать их из Ялуторовска. Полторацкий должен скоро ехать к нам в отпуск и непременно будет у вас. Колошин собирался вместе с Полторацким, но по финансовым обстоятельствам остается у моря и ждет погоды.

Простите, мой любезный друг, крепко вас и всех наших обнимаю, обнимите за меня Аннушку и Ваню.

Олиньке и Родивоновне поклонитесь от меня.

166. И. Д. ЯКУШКИН — И. И. ПУЩИНУ

Иркутск, 1855. Августа 29-го.

Листок ваш от 5-го я получил с прошедшей почтой, добрый друг Иван Иванович, а вчера Дросида Ивановна приносила прочесть ей ваше письмо, также от 5 августа. Она сама писать к вам не будет и поручила мне уверить вас, что нисколько не сомневается на счет своих денег; вообще она живет здесь очень умно и получаемым ею вспоможением распоряжается как нельзя лучше. От Миши и от Тины она получает иногда письма и заочно радуется своими детьми.

Прискорбно подумать о положении бедной Матрены Михеевны, и понятно, с каким усердием вы хлопотали и хлопочете об этой бедной женщине. Понимаю тоже и ваше незавидное положение, когда при этих хлопотах занемог еще Ваня. Очень я порадовался, узнавши, что вы решились отправить Аннушку, наверно ей будет прекрасно у Марии Александровны, которая со своим сердцем, умеющим так горячо любить, обратит всевозможное внимание на Аннушку и будет об ней иметь самое нежное попечение.

Вчера Сергей Петрович получил ваше письмо и при нем письмо Евгения. Мы здесь уже давно знали о несчастном исходе молчановского дела; тут разыгралась такая ужасная драма, какой я не знаю ничего подобного, перед чем бледны все ужасы, читаемые в печатных сочинениях. Слава богу, что Нелинька и на этот раз имеет довольно силы, чтобы нести свой тяжкий крест и, забыв о себе, хлопотать только о других. Что за славное существо эта Нелинька. По последнему письму от Сергея Григорьевича из Красноярска можно полагать, что он уже знает о своем несчастьи, хотя и ни слова не говорит об этом; он пишет, что возвратится в Иркутск недели через две. Все это время очень и очень думается об нем и об Нелиньке.

Я не думаю, чтобы Евгений выехал, как он полагал выехать 5 августа, и потому не жду его прежде половины сентября. Он известил меня, что за болезнью меньшой своей дочери едет один в Иркутск, и это очень для меня неутешительно; я знаю, что для него будет тяжко расстаться на несколько месяцев с своим семейством, и знаю, какое горе для жены его быть с ним в разлуке; невесело подумать, что в этом случае я причиной всех этих горестей, но что же тут делать, податься некуда.

О Вечеславе после 9 мая ничего не знаю, и вообще здесь нет никаких известий об Амурской экспедиции после отплытия из Усть-стрелки. Отсюда отправляются ежемесячно нарочные к устью Амура, и я всякий раз пишу к Вечеславу, зная почти наверно, что не получу от него ничего в ответ. По предположению Ник[олая] Ник[олаевича] всякий месяц один раз должен был приезжать от него нарочный,

но до сих пор это предположение нисколько не сбылось. В Шилкинском заводе выстроили пароход, который должен был отправиться в Николаевский 18 августа, но еще неизвестно, будет ли он иметь довольно силы, чтобы идти против течения реки, и потому никак не известно, когда и каким путем возвратится сам Ник[олай] Ник[олаевич], а о прочих и говорить уже нечего.

Через Якутск получены вести здесь, что англо-французская эскадра в июне была в Петропавловске и, не нашед там живой души, союзники сожгли несколько строений, потом они посетили Аян, который также был оставлен нашими; из Аяна они отбыли 5 июля. Из всего этого надо заключить, что Завойко на наших судах, как было ему приказано, заблаговременно со всеми жителями порта убрался к устью Амура.

Простите, любезный друг, крепко вас и всех наших обнимаю. Сергей Петрович, вероятно, сам к вам напишет; сегодня день его рождения, и невольно вспоминаю, что в прошлом году мы весело праздновали этот день, с нами еще обедала Катерина Ивановна. Поклонитесь от меня Ол[еньке] и Родивоновне.

Жаль бедного Евгения Петровича, много ему горя в нынешнем году. Крепко пожмите ему руку за меня.

167. И. Д. ЯКУШКИН — В. И. ЯКУШКИНУ[1]

[Иркутск]. Сентября 4-го [1855].

Завтра отправляется нарочный, и я опять пишу к тебе, не зная даже и приблизительно, когда получу от тебя хоть какое-нибудь известие; в продолжении четырех месяцев ничего не знал о тебе, как ты можешь себе представить, нисколько не забавно; недавно я получил письмо от Софьи. Она очень расспрашивает о тебе. Варенька Шереметева сделана фрейлиной, чему Софья очень рада; она провела август в Москве, куды выписал ее Мих[аил] Ник[олаевич] из Покровского, чтобы лечить эмской водой.

Последнее письмо Евгения было от 6 августа. Он извещает меня, что отправление его в Иркутск уже подписано и что дня через четыре он выезжает из Москвы, но вынужден один, по той причине, что меньшая дочь его нездорова; вот и это не совсем забавно.

Дело Молчанова в Московском ордонансгаузе кончено. Молчанов приговорен к лишению всех прав и состояния и к отсылке на поселение в Восточную Сибирь.

По объявлении ему приговора он был посажен в острог, но жене его удалось выхлопотать ему позволение жить дома, под домашним арестом. Евгений пишет, что Нелинька ведет себя чудесно.

Я, кажется, писал к тебе, что Марья Николаевна отправилась в Москву для поправления своего здоровья; участь, постигшая ее затя, будет для нее жестокий удар. Сергея Григорьевича скоро ожидают в Иркутск; он писал из Красноярска, что отправился на прииски и пробудет там дней десять; жаль его бедного; тяжко ему будет здесь жить в одиночестве с новым своим горем.

Здоровьем я не могу очень похвалиться, на ногах появились опять раны, против них я употребляю те же средства, какие употреблял и в прошлом году, не прибегая к советам эскулапа.

Мы живем попрежнему очень мирно и спокойно; по получении почты Сергей Петрович приходит ко мне читать газеты; поутру Зина обыкновенно навещает меня, и я с ней несколько ознакомился; в ней особенно произошло много перемены с тех пор, что она избавилась от своей наставницы и проявляет иногда что-то самостоятельное. Она так много имеет занятий дома, что ей некогда предаваться суетности и, выезжая очень мало, почти единственное ее развлечение это проехаться верхом. Посетителей у нас бывает очень немного. Владимир Иванович заезжает через день; с отъездом Колошина и Полторацкого он совершенно осиротел. Пфафиус бывает раза два в неделю, Забаринский иногда обедает и жестоко обыгрывает меня и Пфафиус; он живет теперь в доме Волконских.

Поляки вообще бывают редко. Приезд дам также очень ограничен; чаще всех бывает Ротчева с своими двумя дочерьми; она

женщина довольно образованная, большая почитательница Руссо Жорж Занд и Кине; с ней можно беседовать несколько часов сряду, не касаясь никаких сплетней, а возможность такой беседы, как тебе известно, встречается здесь очень редко. Девицы Ротчевы получили не совсем полное образование, очень просты в обхождении, говорят недурно и не сплетничают; Зина видает их с удовольствием.

Кум и кума твои здоровы, крестница твоя хорошая. Александр Викторович редко отлучается из дому, постояльцы их все съехали, и они сами перебрались уже на зимовье; в последний день я их видел 30 августа, обедал у именинника и провел у него целый день.

Из Ялуторовска получаем известия довольно часто, они все там пока здоровы. В последнем письме своем Пущин известил меня о своей радости. Марья Александровна Дорохова берет к себе его Аннушку, с тем, кажется, чтобы поместить ее в Нижегородский институт. Если это дело уладится, я вместе с Пущиным порадуюсь его радости.

Жозефина Адамовна Муравьева получила позволение ехать за границу, что, конечно, не могло бы случиться год тому назад [2]. Мишу своего она оставит в Москве.

Все здесь тебя очень помнят, а я, мой милый, крепко тебя обнимаю.

168. И. Д. и Е. И. ЯКУШКИНЫ — И. И. ПУЩИНУ [1]

1855. Иркутск. Октября 17.

На послание ваше к нам от 16 сент[ября], добрый друг Иван Иванович, вы не получили до сих пор ответа потому, что все это время не хотелось сообщать вам мрачные впечатления, при которых мы живем здесь. Евгений скоро месяц тому назад обрадовал своим приездом не только меня, но за меня и моих домочадцев, а между тем появилось опасение за Колю Ребендера, который дней десять был опасно болен и болезнь его имела некоторые признаки скарлатины, но теперь он почти совсем здоров.

9-го Марья Александровна Горбунова занемогла очень тяжко; полагали, что она сильно простудилась, но 11-го уже оказалось, что у нее скарлатина; в этот день многие приехали поздравить Зину со днем ее ангела, но, узнавши, что в доме скарлатина, все быстро удалились, и на этот раз у именинницы не было гостей. Теперь дом Трубецких, как дом прокаженных, почти никем не посещается и из дому также никто ни с кем не имеет сообщений. У Вани также скарлатина, но довольно легкая, и можно надеяться, что он скоро будет на ногах, а бедная Марья Александровна вчера скончалась. Жаль ее мужа, которым она была очень любима; жаль также и Зину, они росли с Машей и очень были близки. Вот уже во второй раз, что октябрь ужасно мрачен для меня в Иркутске; еще хорошо, что Евгений здесь. От Вечеслава я получил письмо от 3 июля и потом от 4 августа [2].

Он пишет, что союзный флот показался перед устьями Амура, в то время как к устью из Татарского пролива шел бриг американской компании «Охотск» Бриг этот не мог уйти от неприятельского преследования и не мог также защищаться, шкипер взорвал его на воздух, чтобы он не достался англичанам. 14 матросов, высаженных с «Охотска» перед этим в шлюбку, были взяты в плен англичанами.

Вечеслав надеется быть в октябре в Иркутске, но надежда эта не исполнится. Они ждут парохода к концу августа — теперь известно уже, что пароход этот, вышедший из Шилки 17 августа, сел на мель, не доходя 80 верст до Албазина, где и будет зимовать. Впрочем, ежели бы пароход и спустился вниз по Амуру, то это не помогло бы, потому что против течения идти этот пароход не может. Он должен был иметь машину в 40 сил, а когда стали ее пробовать, то оказалось, что в ней только 6 сил. Самый скорый ход парохода 5 верст в час, где нет теченья, а в Амуре теченье 6 верст, следовательно, вверх по Амуру он никогда не пойдет.

Известия из России наводят на всех здешних тоску. Здесь пронесся слух, что Кавказского Муравьева зарезала какая-то женщина, тайно пробравшись в лагерь под Карсом; так как это известие сообщают из Москвы Сергею Григорьевичу, то оно требует подтверждения; впрочем, ежели оно верно, то вы будете знать это прежде моего письма [3].

Плачевное дело, как говорит С[ергей] Г[ригорьевич], затянулось надолго [4].

По случаю скарлатины мы выдерживаем карантин; с Александр[ом] Викторовичем я вижусь только на улице, а с Ларисой Андр[еевной] через двойную раму. Время тяжелое во всех отношениях.

Поклонитесь от меня всем и напишите, желаете ли вы отпустить со мной Аннушку — я буду в Ялуторовске в начале генваря, а может быть и к новому году.

169. И. Д. и Е. И. ЯКУШКИНЫ — И. И. ПУЩИНУ

15 ноября [1855. Иркутск].

Сегодня утром М. С. [Корсаков] приехал в Иркутск и сегодня же отправляется далее. Полагаю, что он увидится с вами и доставит вам мои строки. Я его не видал, Евгений заезжал к нему, но не застал его дома и вечером опять поедет к нему. Сейчас был у нас Сергей Григорьевич и прочел нам письмо своего сына, который надеется в феврале приехать в Иркутск; он описывает плавание их в Охотском море в то самое время как неприятельская эскадра находилась в заливе Декастри. Но все это расскажет вам подробно К[орсаков].

Письмо ваше от 17-го мы получили. Д[росида] И[вановна] тогда же приходила ко мне, и мы вместе прочли письмо ваше к ней. Вы прекрасно сделали, мой добрый друг Иван Иванович, разрешив Родивоновне распорядиться по своему усмотрению обоями в моей комнате, пусть она и вперед нисколько не стесняется ничем и распоряжается в своем домике, как найдет для себя удобнее. Мы продолжаем жить очень уединенно. Ваня поправляется, но все еще не совсем здоров. Простите, мой любезный друг, крепко вас и всех наших обнимаю, Оленьке и Родивоновне поклонитесь от меня [1].

О благополучном приезде в Аян Ник[олая] Ник[олаевича] и с ним 60 офицеров военных и статских, вам расскажет подробно Корсаков, мы его еще не видели и поэтому сами почти ничего не знаем. Здоровье [отца] до сих пор очень удовлетворительно, наступление зимы не подействовало на него вредно, как этого можно было бы ожидать. Известие о приезде Вячеслава в Аян придало ему много бодрости, а то он уже начинал сокрушаться и думал, что Вячеслав замерз где-нибудь на Амуре вместе с генералом-губернатором и всей его свитой. Полученные вами деньги оставьте у себя до моего приезда — а буду я у вас, вероятно, в конце декабря или в начале генваря.

Мне пишут, что в России сильно поговаривают об удалении Клейнмихеля и даже есть слух, что он уже отставлен, впрочем, все это вы должны узнавать раньше, чем мы [2].

Ваня Трубецкой уже почти совершенно здоров, но карантин еще не окончился, и поэтому мы не видаемся с Александром Викторовичем иначе как через двойные рамы.

Ежели поездка Аннушки с Тобольскими вашими знакомыми не состоится, то я к вашим услугам.

В Иркутске все здоровы, Александр Викт[орович] занят теперь очень приготовлениями по разработке золотых приисков, которые должны обогатить его не позднее как в будущем году, по крайней мере, он так говорит.

Сделайте милость, поклонитесь от меня всем.

Ваш фотограф [3].

170. И. Д. и Е. И. ЯКУШКИНЫ — И. И. ПУЩИНУ

Иркутск, 19 Дек. 1855 г.

Письмо ваше от 26 ноября третьего дня мы получили, добрый друг Иван Иванович. Очень понимаю, как вы довольны, что отправили Аннушку в Нижний, и вместе я понимаю, как вам должно быть тоскливо без нее; тринадцать лет вы были для нее дядей и няней и провидением, и все так удачно, что в этом отношении, можно сказать, слава богу. Когда будете писать к Аннушке, обнимите ее за меня.

Вчера Сергей Петрович и я, мы провели вечер у Николая Николаевича, он мил и любезен попрежнему — до сих пор он и сам не знает, поедет ли в Петерб[ург]. Корсаков должен его известить, какое будет там на этот счет распоряжение. Въезд г[енера]л-г[убернато]ра в Иркутск был очень скромный, может быть, по той причине, что он пришелся 14 декабря и нашли неприличным жечь фейерверк в этот день и осветить город, как это предполагалось прежде. Катерина Никол[аевна] осталась в Якутске и ее ожидают сюда после праздника. Можно бы вам многое еще рассказать, но предоставляю это Евгению совершить изустно, когда он с вами увидится. Крепко вас и всех наших обнимаю.

Вечеслав писал к вам тотчас по приезде в Иркутск. О Ширяеве я до сих пор ничего вам не написал, потому что ничего не могли

здесь узнать про него; он отправлен в Нерчинские рудники, а в котором из них находится — неизвестно; об этом теперь наводятся справки.

С Дросидой Ивановной давно не видался, но знаю, что она здорова. Ваня почти совсем оправился и Сергей Петрович несколько отдохнул. Он и все здешние дружески вас приветствуют. Поклонитесь от меня Олиньке и Родивоновне [1].

1 генваря или около этого числа я сбираюсь выехать из Иркутска; хоть я поеду и не курьером и, разумеется, поживу несколько с вами, но считаю не лишним уведомить вас об этом, чтобы не произошло замешательство в корреспонденции, которая не может быть обширна. А[лександр] Викторыч ленив писать письма, обещается, впрочем, написать со мной теперь; он так занят, что нельзя с него и взыскивать. Стол у него завален бумагами и счеты беспрестанно щелкают при выкладке будущих доходов и еще более — настоящих расходов, которых немало. Деятельность идет такая, что хоть бы министру финансов так поработать. Вы, конечно, стоите в списке будущих богачей, ежели пойдет успешно прииск. Надежды есть большие, но в эту игру немудрено и проиграть, поэтому вы не очень рассчитывайте сделаться Ротшильдом.

Очень бы нехудо приготовить к моему приезду нельмы две или три, чтобы я мог взять их в Москву; разумеется, на это должно употребить часть хранящегося у вас моего капитала, и, разумеется также, если это не затруднит вас. Но ежели вы захотите меня совершенно облагодетельствовать, то приготовите мне свежих (т. е. мороженых) максунов. Здоровье отца порядочно. Вячеслав ведет себя хорошо.

171. И. Д. ЯКУШКИН — Е. И. ЯКУШКИНУ [1]

[Иркутск]. 28 января [1856].

Вечеслав отвез свое письмо, написанное к вам, не дождавшись моей приписки, но отправляемый курьер Волконской [2] неожиданно задержался в Иркутске, и я, пользуясь этим обстоятельством, хочу отправить к вам несколько собственноручных строк, без чего, пожалуй, вы можете обеспокоиться насчет моего здоровья, которое поправляется весьма не быстро, но все же несколько поправилось против

прежнего. Из палаты я не выхожу еще и постоянно сижу у себя наверху, но днем могу читать, а вчера вечером играл даже в карты с Поджио и Пфафиусом.

Не знаю, пригодны ли будут посылаемые курмы; по возрасту девочек они должны быть слишком велики. Но во всяком случае вы найдете возможность распорядиться ими.

Перед самым своим отъездом Свербеев был помолвлен на Зинаиде [3], но тайно, и предполагаю, что никто в городе об этом не знает, почему и вас прошу не разглашать об этом происшествии. Известившись, что дело, по моим отношениям к семейству Трубецких очень близкое мне к сердцу, приняло такой крутой и неожиданный оборот, несмотря на свое нездоровье, я тотчас решился перекочевать на старую нашу квартиру; во всяком другом месте при моих недугах жить мне было бы невозможно, особенно зимой, но тут встретились разного рода препятствия; к тому же Сергей Петрович, узнавши о моем намерении, пришел поверить мне свою тайну, причем я высказал ему откровенно мои опасения насчет будущего брака его дочери и столько же откровенно мое мнение о свойствах будущего его зятя; все это слыхал от меня он и прежде и все это вместе не помешало ему с особенной нежностью просить меня не уезжать от него, вследствие чего я остановился моим переездом из дома Трубецких; но, разумеется, что это не может быть надолго: много что через месяц придется непременно нам жить своим хозяйством, а как это устроим при наших весьма ограниченных средствах, я не очень понимаю, но пока и не очень об этом забочусь.

Вечеслав решительно ведет себя бесподобно; первые два дня после помолвки Свербеева он показался мне как будто не совсем в своей тарелке, но тотчас потом совершенно оправился. Не только на обеды Рукавишникова, но и совершенно никуда не ездит — отлучается из дома только по делам службы или по какой-нибудь особенной необходимости. Всякий почти день обедает, ужинает и чай пьет внизу по заведенному порядку и как будто нисколько не скучает, хотя и не имеет никакого дельного занятия; правда, что он очень постоянно хлопочет с Петром Александровичем, который несколько менее преж-

него, но все еще ужасно хандрит. Вообще характер Вечеслава, со всем моим желанием уловить его, беспрестанно ускользает от меня. Простите, добрые мои друзья, крепко вас обнимаю, обними за меня моих внучек.

Получила ли Леночка твое послание, отправленное с Пестеревым.

172. И. Д. ЯКУШКИН — Г. С. БАТЕНЬКОВУ[1]

1856. Февраля 12. Иркутск.

Очень давно я не писал к вам, почтеннейший Гавриил Степанович. Скоро по отъезде Евгения я захворал и до сих пор едва таскаю ноги; но ваш листок от 20 генваря как будто оживил меня, и я почувствовал потребность отозваться на ваши строки. Похвала живительным и благотворным лучам солнца прекрасна в вашем письме. Я вместе с вами радуюсь окончанию несносно долго продолжавшейся у нас зимы и вместе с вами уповаю на благое действие наступающей весны. Не забывайте, однако, что наше солнце не то, что полуденное солнце; оно непостоянно, как похвалами избалованная красавица, и непоследовательно, как человек, не имеющий никаких убеждений: то оно является во всем своем блеске, играет, то покроется тучей, и завоет ветер, и метель заносит все снегом; но и то уже хорошо, что миновали холода, постоянно продолжавшиеся зимой. Вот уже и половина марта[2] прошла, у добрых людей на юге скоро розы зацветут и соловьи запоют, а у нас все еще покрыто белой пеленой; и сколько надо тепла, чтобы растаять весь этот снег, и сколько грязи и слякоти, прежде чем наступит лето, и все у нас оживится и заживет полной жизнью; но ведь лето наступит, и вы и я мы этому верим, чего же более для нашего обихода.

Вероятно, вы уже знаете, что из наших рядов выбыл Тютчев в чистую отставку. Обоим Пушкиным позволено возвратиться на родину, и позволение это получили они, как писали сюда из Петербурга, по ходатайству тульского предводителя, который после такого подвига получил 162 балла лишних против того, что он имел на прежних выборах[3].

С последней почтой получил еще только известие, что Ник[олай] Ник[олаевич] приезжал в Петербург и хорошо там принят, но когда возвратится, неизвестно. Кроме моих старых, наши все здоровы. Сергей Григорьевич остался бобылем, но не унывает, Раевского не видел я уже более года. Бечаснов бывает у нас довольно часто и держит себя молодцом.

Простите, почтенный друг. Сергей Петрович, Вечеслав и я, мы жмем вам крепко руку. Прошу вас поклониться от меня вашим домохозяевам и всем прочим знакомым.

173. И. Д. и В. И. ЯКУШКИНЫ — Е. Г. ЯКУШКИНОЙ[1]

1856. Иркутск. Апреля 13-го.

Как ты прекрасно сделала, милая Леночка, что написала к нам в ожидании своего мужа. Письмо твое от 14 марта мы получили; я прождал письмо, а негодный Евгений в продолжение трехнедельного своего пребывания в Петербурге не сумел написать к нам ни строчки, тогда как в это время отправилось в Иркутск несколько приятелей, с которыми он мог бы написать к нам, что душе угодно.

Письмо о замужестве Софьи меня очень огорчило; здесь давно были об этом слухи, но я не хотел им верить, привыкнувши видеть в Софье много прекрасного, и я до сих пор не могу примириться с мыслью, что все это прекрасное окажется непроходимой пошлостью. При этом случае я и сам не знаю, что пожелать ей. Знаю только, что мне ее очень и очень жаль[2].

С тех пор, что мы переехали от Трубецких, я еще ни разу не выходил из комнаты и не знаю, решусь ли выходить на праздник.

Прости, моя милая, крепко тебя обнимаю. Обними за меня своего недостойного мужа и милых моих внучек[3].

Известие о свадьбе Софьи за неделю до твоего письма получил Бибиков от сестер и тотчас пришел сообщить мне это. Признаться сказать, такое известие нас с отцом сильно озадачило, и как я ни бился, никак не мог разгадать при-

чин, которые заставили совершиться на вид такому несбыточному событию. Она мне более полгода уже не пишет, несмотря на мои очень обширные письма. Беспутный муж твой тоже уже шесть почт, т. е. три недели ничего не пишет. Напиши, пожалуйста, подробно и ясно, как совершилось сватовство Шереметева, кем оно было с большой приятностью принято и как Софья после всех об нем насмешек решилась разделять страсть его, которая должна быть очень смешна, и как она решилась вступить в такое, во всех отношениях неуклюжее семейство; чудеса да и только, тем более чудеса, что по всем данным никак нельзя ожидать большого принуждения к этому браку со стороны дражайших родителей. Очень бы мне хотелось быть теперь в Москве, да что же делать — на всякое хотение есть терпение. Я тебе наготовил разных китайских подарков, которые, впрочем, не пришлю, а когда случится, сам привезу.

Скажи Евгению или сама пиши всякую почту, а то отец, не получая от вас на какой-нибудь почте письма, приходит в совершенное отчаяние и просто захварывает. На следующей почте напишу побольше, а теперь некогда, сидят гости и если при них не кончить, то опоздаешь на почту. Отец возымел страшную страсть к картам, и нет посетителя, которого бы он не засадил в помпадур.

174. И. Д. ЯКУШКИН — С. П. ТРУБЕЦКОМУ [1]

Томск. Августа 17-го [1856].

Сегодня в пятом часу после обеда мы прибыли в Томск, остановившись в первой гостинице, какая случилась на пути. Вечеслав тотчас отправился отыскивать Батенкова, который, оказалось, весь вчерашний день провел в городе, а сегодня уезжает в свой соломенный дворец, куды и Вечеслав отправился за ним, а меня оставил хоть сколько-нибудь отдохнуть. На всем пути мы один только раз ночевали в Красноярске.

Зиновьев очень досадует на себя, что до сих пор не собрался написать тебе в ответ на твое, как он говорит, предоброе письмо; хоть сам он человек и грамотный, но до такой степени ненавидит процесс писания, что от души проклинает того, кто выдумал письмена.

Дела его по приискам идут очень недурно, но он и в своем воображении придает им будущность таких огромных размеров, что, слушая его, становится как-то страшно за него. Издержки по приискам

на будущий год определены в 800 т[ыс.] и у них будет около 4 т[ыс.] работников, но это еще начало; Петр Васильевичь видит возможность не в продолжительном времени на всех приисках своей компании поставить до 12 т[ыс.] работников и так далее, а до сих пор у них до 70 приисков, из которых очень немногие пока разрабатываются. Прииск княгини Трубецкой, говорят, очень хорош, но он в закладе у Соловьева и потому не разработан.

У вас, вероятно, уже известно, что И. О. Рябиков переводится в Красноярск и что его место заступит теперешний красноярский комиссионер, а как его зовут, не помню. Оболенский получил известие, что коронация отложена до 26 августа; к нему также пишут, что Леонид Васильевич остается на своем месте и пр.

Вечеслав не застал Гаврилы на Соломенном; я уже не знал, как быть, и совсем неожиданно сам собой отыскался Гавр[иил] Степ[анович]. Он и Вечеслав всех вас дружески приветствуют, а я тебя, мой добрый, сердечный друг, крепко обнимаю; обними за меня всех наших добрых друзей и у себя дома [нрзб.] [2].

Меня так ошеломил приезд Ивана Дмитриевича, особливо при [нрзб.] меня, что едва успеваю руку приложить. Благодарю за грамотку и Александру Ивановну. Я более еще удивился, когда мне сказали, что приехали Свербеевы. Прощайте.

175. И. Д. ЯКУШКИН — С. Я. ЗНАМЕНСКОМУ [1]

Ялуторовск. 8 сентября 1856 г.

Очень мне было прискорбно миновать Омск и тем лишить себя радости обнять вас и всех ваших. Получив письмо от Натальи Дмитриевны, в котором она приглашала меня приехать повидаться с ней в Ялуторовск и вместе с тем писала ко мне, что останется в Сибири не долее как до конца августа, не смотря на мою хворость, я тотчас собрался в путь; Вечеслава отпустили со мною, и мы спешили усердно, но на дороге встретились задержки, которых мы не предвидели; заехав в Омск, пришлось бы, может быть, не застать Наталию Дмитриевну

в Ялуторовске, и я с сокрушенным сердцем из Абатской решился ехать кратчайшим путем, миновав ваш город. Утешаю себя мыслию, что мы с вами и вдалеке друг другу близки и заочно без слов друг друга понимаем.

Очень меня порадовали Яков Дмитриевич и Наталья Дмитриевна известиями о вашем училище, в котором все так прекрасно устроилось при усердном участии благородной вашей сотрудницы. Дай бог ей за это здоровья! Здесь я заходил один раз в девичье училище; в нем все идет довольно порядочно и считается более пятидесяти учениц.

Семен Петрович заходил ко мне и сказывал, что у него все идет попрежнему; он, несмотря на свое очень плохое здоровье, трудится усердно [2].

Своих стариков я нашел не совсем в вожделенном здравии, но слава богу и за то, что еще ноги таскают. Петр Николаевич сегодня со всем своим семейством возвращается в Тобольск. Наталья Дмитриевна послезавтра от нас уезжает, а мы пока остаемся в ожидании того, как и когда распорядится нами тобольское начальство. Простите, добрый друг...

176. И. Д. ЯКУШКИН — С. П. ТРУБЕЦКОМУ [1]

1856. Ялуторовск. Декабря 7-го.

Очень давно я не писал к тебе, мой добрый друг Сергей Петровичь, а почему и как это получилось, я и сам не очень понимаю. Сперва я все ожидал возможности известить тебя о скором моем отбытии, потом общее волнение при проводах наших молодцов, в том числе и Александры Васильевны. Она точно отправилась молодцом вместе с Оболенским, от которого я получил письмо из Казани от 22 ноября. Через неделю после Оболенского мы проводили Пущина: он также написал ко мне из Казани от 26-го. Матвей Иванович выехал 1 декабря; в Шадринске он соединился с Свистуновым, который заезжал к нам из Тобольска очень ненадолго и отсюда проехал в Курган. Из Шадринска Муравьев и Свистунов отправились вместе

до Нижнего, где Свистунов останется на житье, а Матвей заедет ненадолго в Москву, оттуда вернется в Полтаву.

Теперь Оболенский должен уже быть в Калуге, где давно ожидает его Наталья Петровна; она туды переехала с ним, чтобы жить вместе с братом.

Пущин хотел пробыть очень недолго в Нижнем, он спешил на дачу своего брата под Петербургом, чтобы увидеться со всеми своими, которые давно его ждут.

Батеньков еще в начале ноября был в Москве у моего Евгения и оттуда проехал в Белев.

Штейнгель прежде его был в Москве, но ни с кем из наших не видался; он писал к Закревскому, который позволил ему пробыть несколько дней в столице, и он там выкидывал разные коленца.

Серг[ей] Григор[ьевич] почти живет в Москве и даже бывает на балах.

Анненков еще не знает, поедет ли он на Запад или останется в Тобольске.

А Щепин уехал из Кургана на прошедшей неделе и Бригин собирается весной в Царское Село на житье к дочери, которая приглашает его к себе.

Басаргин также весной собирается уехать странствовать по России, а пока он отправился странствовать по городам Западной Сибири, и я теперь остался один с больным моим Вечеславом, и когда мне можно будет отсюда выехать, я не предвижу, а Евгений давно ждет меня и дачу нанял мне в одной версте от Москвы; в последнем своем письме он писал, что Ник[олай] Ник[олаевич] выезжает 24 ноября, но если бы этого числа он выехал из Москвы, то давно бы проехал Ялуторовск.

Очень может быть, что это письмо не застанет уже тебя в Иркутске, но сегодня явилась какая-то особенная потребность написать к тебе.

Крепко тебя и всех вас, милые друзья мои, обнимаю.

Не забудь отправить мои книги на имя Евгения в 3-ю Мещанскую, у Филиппа митрополита, в дом Аббакумовой.

177. В. А. ДОЛГОРУКОВ — А. А. ЗАКРЕВСКОМУ[1]

Петербург. № 402. 17 февраля 1857 г.

Секретно

Милостивый государь граф Арсений Андреевич. До сведения государя императора дошло, что из лиц, по политическим преступлениям находившихся в Сибири и прощенных в. день св. коронования их величеств, некоторые (кроме Трубецкого и Волконского, о которых между вашим сиятельством и мною ведется особая переписка), именно Муравьев-Апостол, Оболенский и Батенков проживают в Москве без разрешения и позволяют себе входить в самые неприличные разговоры о царствующем порядке вещей. Скромнее всех, по слухам, ведет себя Муравьев. Что же касается до Трубецкого и Волконского, то они, будто бы, бывают во всех обществах с длинными седыми бородами и в пальто. Его величеству угодно знать, в какой степени слухи сии справедливы, и потому обращаюсь к вам, милостивый государь, с покорнейшей просьбой почтить меня об этом уведомлением для всеподданнейшего доклада.

178. С. В. ПЕРФИЛЬЕВ[1] — В. А ДОЛГОРУКОВУ

Москва. № 80. 23 февраля 1857 г.

Секретно

Во исполнение секретного предприятия вашего сиятельства, от 17 сего февраля за № 403, я имею честь донести, что из лиц, по политическим преступлениям находившихся в Сибири и возвращенных в день священного коронования их величеств, *Муравьев-Апостол, проживая* в Московском уезде, в близком от города расстоянии, иногда, с разрешения военного генерал-губернатора, бывает в Москве; *Батенков*, с разрешения его сиятельства, действительно после проезда уже на место избранного им жительства приезжал сюда для совещания с докторами; *Оболенскому* же дозволено было пробыть здесь несколько дней по случаю болезни жены и для свидания с родными, которых у него очень много, но это было во время его проезда на место жительства в Калужскую губернию.

Чтобы лица сии позволяли себя входить в самые неприличные разговоры о существующем порядке вещей — я подтвердить не могу. Несмотря на столь продолжительное отчуждение от общества, при вступлении в него вновь, — они не выказывают никаких странностей, ни уничижения, ни застенчивости, свободно вступают в разговор, рассуждают об общих интересах, которые, как видно, никогда не были им чужды, не взирая на их положение; словом сказать, 30-летнее их отсутствие ничем не выказывается, не наложило на них никакого осо-

бенного отпечатка, так что многие этому удивляются и предполагая их встретить совсем другими людьми: частию убитыми, утратившими энергию, частию одичалыми, могут находить, что они лишнее себе дозволяют...

Волконский, проживая близ Москвы в уезде, имея дозволение посещать больную жену и недвижимого зятя, действительно являлся в описываемом виде в общество. Зять его Раевский давал вечер для празднования княжеского достоинства, дарованного племяннику [2]. Отец при начале находился в отдаленной внутренней комнате; когда публика собралась, начались танцы, его уговорили выйти полюбоваться на дочь — Молчанову, которая действительно обращала на себя общее внимание; старик соблазнился; то же самое повторил и на другом у Раевского вечере. Те, которые знали коротко отношения его к семейству, находили побуждение Волконского естественным, другим же могло показаться это неблаговидным. Волконский также был на семейном вечере у Свербеева, сын которого, служа в Сибири, женился там на дочери Трубецкого; *Трубецкой* — отец — также тут находился; кроме же того последний, исключая близких родных, нигде не бывал.

Обращаясь к неприличным разговорам поименованных лиц, я имею честь доложить, что кроме изложенного выше удивления, что они сохранили способность об всем говорить не сдерживаясь и не выказывали отсталости, я ничего сказать не могу. Если бы кто-нибудь из них позволил себе лишнее, то, конечно, граф Закревский обратил бы на это внимание, но до него, как мне известно, подобных сведений не доходило.

О пребывании здесь некоторых лиц я не доносил потому, что это было временно и с разрешения военного генерал-губернатора, а потому, если я не исполнил в этом случае мою обязанность, то покорнейше испрашиваю начальнического вашего сиятельства снисхождения.

Генерал-лейтенант *Перфильев*.

179. А. А. ЗАКРЕВСКИЙ — В. А. ДОЛГОРУКОВУ

Москва. № 297. 12 марта 1857 г.

Секретно

Из секретных сведений, которые собраны были по особому учредительному мною за помянутыми лицами надзору, и таковых же сведений, истребованных ныне от и. д. московского обер-полицеймейстера, оказывается: Все означенные лица проживали здесь с моего ведома, для свидания с родственниками и совета с докторами: *Муравьев-Апостол* у племянницы своей Бибиковой три дня, по истечении коих, 3 января переехал Московского уезда в подмосковную деревню Зыково. *Оболенский* в прошедшем году у сестры своей Прончищевой, также три

дня, и 9 декабря выбыл [в] Калугу. *Батенков* — у полковника Якушкина на десять дней, по прошествии коих выехал 13 февраля Тульской губернии, Белевского уезда, в имение Елагиных. Во время пребывания здесь они навещали только родных, а также прежних сослуживцев и близких знакомых и в неприличных разговорах о существующем порядке вещей замечены не были. *Трубецкой* и *Волконский*, о проживании которых в Москве имеется особая переписка с вашим сиятельством, ни в чем предосудительном не замечены. Одежда их заключается в пальто или сертуках и, действительно, они носят бороды. Оба находились постоянно в домашнем кругу и появлялись в обществе только случайно, Трубецкой один раз у дочери своей Свербеевой, а Волконский сверх того у зятя своего отставного полковника Раевского...

Московский военный генерал-губернатор
Генерал-адъютант граф *Закревский*.

180. И. Д. ЯКУШКИН — В. И. ЯКУШКИНУ [1]

1857, Москва, марта 15.

На неделе мы получили два твоих письма, последнее от 4 марта из Казани; ты до такой степени действуешь прекрасно, что не только в доме Аббакумовой вообще возбуждаешь к себе глубокое сочувствие, но даже сам Кетчер изумляется твоей исправности и готов признать, что в тебе произошло нравственное переобразование. Все это прекрасно и из всего самое прекрасное то, что твое здоровье поправляется.

Вчера дядя Алексей возвратился из Петербурга и прямо с железной дороги заехал к нам напиться чаю. Он зажился в Петербурге по случаю происшествий с его сыном, который перед самым приездом своего отца гульнул через край со своими товарищами, вследствие чего они перебили стекла в нескольких домах — сперва хотели было гуляк выписать тем же чином в армию, но кончилось тем, что их посадили на две недели под арест. Варенька осталась в Петербурге, не напишешь ли ты к ней и к Софье.

Евгений совсем поправился и уже выезжает. Настя вне опасности, но не встает еще с постели и Мин продолжает ежедневно посещать ее. Клер почти живет у нас.

Всякий день посетителей бывает так много, что во все это время я не имел свободной минуты и потому не писал к тебе. В последний вторник собралось у нас человек десять филипповцев [2], в том числе был и Евгений Корш. Жаркие беседы продолжались далеко за полночь, и я имел возможность больше, нежели когда-нибудь, убедиться, что мои легкие в совершенной исправности.

Все эти люди живые, и я с ними живу пока легко. Я продолжал жить в комнате и надеялся, что такое скромное мое поведение заставит кого следует забыть о моем существовании, но к крайнему нашему удивлению вчера получена бумага, в силу которой я не только не могу оставаться в Москве, но даже не имею права жить в Московской губернии. В первую минуту нас всех это смутило, но потом я подобрался и очень вижу, что все это не стоит выеденного яйца. Пока я болен, может быть в этом положении не решатся вывезти меня из столицы и бросить на шоссе, а затем, что будет, то будет, а в крайнем случае я могу отправиться обратно на восток.

Скажи Бабсту, что ящики пришли благополучно [3] и поставлены у Кетчера. Речь его не печатается только потому, что в типографии нет шрифта, но должно надеяться, что на будущей неделе она будет уже печататься. Цензурная гроза была за пугачевщину [4], а потом прогремел гром за статью Ламанского. Впрочем, все обошлось.

Я не писал до сих пор потому, что две недели, пока Настя была опасно больна, я почти не выходил из ее и соседней комнаты, а потом сам расхворался было так, что 5 дней лежал совершенным пластом — не ел, не пил, не курил и даже не говорил. Вчера я только в первый раз вышел из дому. Ежели будет что-нибудь новое, напишу следующей почтой.

181. И. Д. и Е. Г. ЯКУШКИНЫ — В. И. ЯКУШКИНУ

Москва, 1857, марта 19.

Письмо твое от 11-го мы получили только третьего дня, и я с истинным удовольствием прочитал, что, извещая нас о себе с каждой почтой, ты сверх моих ожиданий ведешь себя великолепно. При

других обстоятельствах, конечно, я не остался бы у тебя в долгу, и ты с каждой почтой получал бы от меня широковещательные послания, но до сих пор, не выходя из палаты, я веду до такой степени распутную жизнь, что редкий день выдается полчаса, в который остаюсь один и можно взяться за перо; вот и теперь я пишу к тебе накануне почтового дня, не зная, что будет со мною завтра и не зная даже, не прервется ли моя беседа с тобой на следующей строке.

Надо тебе сказать, что последние пять или шесть дней мы все живем здесь в очень смутных обстоятельствах; только что больные наши вышли из опасного положения и Мин успокоился на их счет, как мы узнали, что Закревский из 3-го отделения получил отказ на свое представление оставить меня в Москве по причине моей болезни, засвидетельствованной Гороховым [1].

Отец поручил мне докончить его письмо, беспрестанно посещения не оставляют ему минуты свободной. Вот уже неделя как Евгений просил Закревского прислать свидетельствовать отца, что он в таком положении, что не может сейчас же уехать из Москвы; до сих пор еще никто не являлся, но в случае ежели отцу необходимо будет уехать, он на первое время думает ехать в деревню к Толстому, управляющему удельной конторы; деревня эта Тверской губернии, четыре часа езды по железной дороге и шесть верст от станции. Толстой сослуживец отца в Семеновском полку, сам приехал предложить ему свою деревню; я не знаю, писал ли тебе, что он не имеет права жить и в Московской губернии [2]. Евгений в первые дни очень приуныл, но теперь стал бодрее.

Отец тяготится этой неизвестностью, и ему хочется, чтобы поскорее дело чем-нибудь кончилось. Настя хотя еще в постели, но ей уже гораздо лучше, и мне с ней теперь беда, беспрестанно просит есть, и велят кормить как можно меньше, за всякую лишнюю крошку я получаю нагоняй от Кетчера [3].

Мне очень хочется, чтобы ты поскорее совсем поправился и приехал, и может быть до тех пор и отцово дело уладится и мы хоть немного поживем все вместе и совершенно спокойно.

Софья Муравьева в восторге, что у ней дочь и к тому же рыженькая, чего ей очень хотелось; она сама кормит; в конце апреля они думают приехать на несколько времени в Москву и потом ехать в деревню.

Поклонись Бабсту, об его невесте я ничего не могу сказать ему, потому что с тех пор как он уехал, я никого из них не видала.

Прощай, мой голубчик, продолжай писать так же часто.

Е. Якушкина.

Отец велел спросить у тебя, что сталось с статьей Лунина? Да еще передай, кому следует, что письмо, данное ему из Казани в Петербург, отправлено по адресу с рыжим [5].

Поблагодари от меня Булича за книгу; посылку к Буслаеву я доставил тотчас же по приезде отца.

182. И. Д. и Е. И. ЯКУШКИНЫ — С. П. ТРУБЕЦКОМУ [1]

1857. Москва. Марта 26-го.

Письмо твое, мой любезный друг Сергей Петровичь, от 8-го уже с неделю как я получил; до сих пор не отозвался на него, потому что по приезде в Москву живу совершенно в очарованном мире, хотя все это время живу в доме Аббакумовой и не видал Москвы по причине моей болезни. Закр[евский] присылал нотариуса из врачебной конторы свидетельствовать меня. Пока в Петербург ходило представление о разрешении мне остаться в Москве по причине моей болезни, я не выходил из палаты и был беспрестанно посещаем близкими мне и вообще людьми, принимающими во мне участие.

Графиня Потемкина также посетила меня, и ты можешь себе представить, с каким взаимным чувством мы говорили о тебе и обо всем тебе близком.

Зина была у меня один раз, и то противно моему желанию; мне казалось, что в ее положении неблагоразумно по дурной дороге предпринимать такие дальние путешествия, какое предстояло ей до дома Аббакумовой. Николай Дмитриевичь был у меня по возвращении из Петербурга и, вероятно, подробно писал тебе о себе и о Пущине.

Освидетельствованный врачем, я почитал себя если не совсем в отставке, то, по крайней мере, в бессрочном отпуску и думал уже, что придется кончить век мой на розанах, но вышло иначе. Гр[аф] Закревский представлял о разрешении Матвею и мне, по болезни, остаться в Москве; в ответ на это представление ему напомнили о распоряжении 33-го года [2], сохранившем свою силу, по которому лица, не имеющие права пребывания в столицах, лишены права на огонь и воду в

Московской и С.-Петербургской губерниях; случай [нрзб.]; распоряжение 33-го года возникло по той причине, что некие шулера, проживавшие в окрестностях столиц, находили возможность обыгрывать неких столичных богачей — и манифестом 26 августа, дозволившим нам пребывание во всем государстве, кроме Москвы и Петербурга, не воспрещается нам жить в губерниях Московской и С.-Петербургской, и потому, веря, что государь ничего не знает о треволнении, так непредвиденно постигшем нас, можно бы, пожалуй, по этому делу начать тяжбу, но зная также, что самая правая тяжба всегда более или менее сомнительна, я почел за лучшее не подымать этого дела и завтра отправлюсь по железной дороге за границу Московской губернии с тем, чтобы поселиться в какой-нибудь деревушке, куда бы для Евгения было удобно приезжать ко мне.

Матвей уезжает в Тверь. Все эти дни я не видел Волконского; вероятно, он останется в Москве, но не на радость. Молчанов решительно сходит с ума.

Сейчас приехал Басаргин; он думал было здесь отдохнуть и полечиться; но при теперешних обстоятельствах ему придется ехать, а куда, он и сам не знает; вероятно, он направится на Киев [3].

Нынешним летом я надеюсь с тобой увидеться; если ты не поедешь в Пензу, то мы с Евгением приедем погостить к вам и потому до свиданья, мой милый друг, крепко тебя обнимаю. Всех своих от мала до велика обними за меня.

И. Якушкин [4].

Вчера (29 марта) отвез отца в Тверскую губернию. Басаргину Закревский не позволяет остаться в Москве больше 4-х дней, несмотря на его весьма серьезную болезнь. Через 3 дня Басаргин выезжает в Киев.

183. Е. И. ЯКУШКИН — И. И. ПУЩИНУ [1]

Марта 30 [1857 г. Москва].

Вы, вероятно, знаете уже теперь, что дошедшие до вас слухи об отце совершенно справедливы. Ему точно не только не позволено лечиться в Москве, но не позволено даже жить в Московской губернии. Третьего дня я отвез его в

Тверскую губ[ернию] в дер[евню] Новинки, отстоящую 6 верст от Завидовской станции железной дороги. Хорошо, что Толстой, старый семеновец, предложил ему переехать на время в его деревню, а то мы право не знали, что делать; финансы не бог знает у нас какие; в Твери отец не мог поселиться по многим весьма основательным причинам; надо лечиться, средств к этому нет; все это вместе так серьезно, что, ежели бы я знал это прежде, то я написал бы отцу, чтобы он не приезжал из Сибири, и по всей вероятности он сам не захотел бы приехать. Несмотря на все удобство сообщения, я не могу часто бывать у отца, а в мае, когда у меня будет больше дела, я, может быть, не увижу его целый месяц. Летом я буду хлопотать о командировке на юг и поеду вместе с отцом, что, вероятно, поправит его здоровье.

Все эти строгости, этот указ 1833 года, по которому нельзя жить в Московской губернии и который выдвинули на сцену только теперь, мне совершенно непонятны. Все это до такой степени противоречит всему, что делал и делает государь, что не верится, чтобы это было его желанье. Как наказанье, эти меры не имеют смысла после 30-летней ссылки в Сибири, как предосторожность они также непостижимы. Неужели два 63-летних старика (потому что кроме Муравьева и отца никто не просил позволения жить в Москве) могут взволновать город, даже ежели бы им и пришла в голову такая нелепая мысль.

Эта мера скорее может повредить правительству, чем невнимание к возвращенным. Вас ставят на пьедестал, вам придают такое значение, которое, по правде сказать, вы иначе бы не имели. Разумеется, в городе говорят об этих строгостях, и вы можете сами понять, за кого общественное мнение. Приведу в пример себя: III отделение сделало все, чтобы раздражить меня против правительства. Судите сами: в Москву приезжает Волконский и спокойно живет за городом, никто не говорит ни слова об указе 1833 года, сам генер[ал]-губернатор думает, что этот указ нисколько не относится к возвращенным по манифесту [2].

На этом основании приезжает мой отец ко мне, потому что у него нет другого пристанища; ему 63 года, он сурьезно болен; я прошу, чтобы ему позволили лечиться в Москве, пишу, что у меня нет средств содержать его в губернском городе, и тем более лечить его там,— вы знаете, что это совершенная правда. Мне не отвечают на письмо до сих пор. Закревский делает представление в этом же смысле, ему не только отказывают, но велят выслать отца из Московской губернии. Другого бы это раздражило против правительства, но я убежден вполне, что до сведения государя это не было доведено.

Любопытно бы было знать, доложено ли государю представление, сделанное Закревским, и ежели доложено, то каким образом. Вся эта переписка и надоела и запугала Закревского. На-днях приехал Басаргин, больной до такой степени, что он вошел ко мне на лестницу, и у него сделался такой припадок одышки, который перепугал всех. Тотчас позвали докторов, и они объявили, что ему необходимо остаться в Москве недели две или три. К Закревскому ездила Ольга

Ивановна и объяснила ему, что муж ее вовсе не хочет жить в Москве, что он захворал дорогой и что доктора не позволяют ему ехать. На это Закревский отвечал, что он не может позволить остаться Басаргину в Москве более 5 дней.

Басаргин болен так сурьезно, что по мнению врачей он может умереть вдруг, хотя в настоящую минуту нельзя сказать, долго ли он поживет или нет. У него грудная жаба (angina pectoralis). Тимашев сказал Полторацкому, что странно, что все нездоровые, то же сказал Закревской Ольге Ивановне. А мне странно, что они этому удивляются. Немудрено, что после 30-летней ссылки в Сибирь люди возвращаются больные, да и много ли их возвратилось? 10 человек.

Вы, вероятно, получили уже 3 портрета, которые я отправил к вам через Бибикова. Катерине Анд[реевне] отвез портрет сегодня, а для Натальи Дмитриевны у меня готов, но ее нет в Москве.

На-днях отправлю один портрет Аннушке в Нижний. Ольга Ив[ановна], Полинька и Николай Вас[ильевич] вам очень кланяются. Ник[олай] Вас[ильевич] просит вам сказать, что он писать к вам не может, потому что очень устает: он послезавтра едет в Киев; разумеется, по болезни ему придется часто останавливаться, и он думает даже прожить неделю или две в Серпухове.

Посылаю вам два письма, переданные мне Николаем Васильевичем. Все это доставит вам Митрофан Щепкин, сын профессора и племянник актера.

Пишите, пожалуйста, хоть не очень часто, что и как вы. А чтоб это было для вас не так трудно, то не дописывайте листки или возьмите бумагу самого маленького формата. А то все известия, которые доходят до нас, оказываются напоследок выдуманными, а прямые известия мы получаем очень редко. Письмо тезки меня возмутило. Я бы дал год жизни, чтобы оно не было так пошло [3].

Жду оказии, чтобы побраниться с ним, а главное в нем досадно, что это сделано по какой-то необъяснимой несообразительности и с очень хорошим намерением. Что будешь делать?

Е. Якушкин.

184. И. Д. ЯКУШКИН — И. И. ПУЩИНУ [1]

1857. Новинки. Апреля 10-го.

Как-то вы теперь поживаете, добрый друг Иван Иванович; по последним известиям я знаю, что вам лучше, но когда же вы будете совсем здоровы, вот чего ждут и не дождутся многие и очень многие, которые вас искренно любят, а за что? вот это уже не ваше и не

мое дело. Я знаю только, что вы и сами умеете любить людей истинной любовью, не требуя от них совершенства и не выкраивая из них богатырей, а любите их за то, что они люди; такое уменье не всякому дается. Аминь!

Вероятно, вам уже известно, что мы, последние выходцы из Сибири, не имеем права жительства ни в Московской, ни в Петербургской губерниях; вследствие чего Матвей водворяется в Твери, где он уже нанял себе домик. Басаргин, задыхающийся более нежели когда-нибудь, думал, было, приостановиться в Москве и полечиться, но ему дозволено было пробыть в столице не более трех суток, которые он прожил у Евгения, приехал же он за день до моего отъезда, и потому я мало с ним виделся.

Поехал он — куды, я думаю, он и сам не очень знает,— будучи принужден выехать неожиданно из Москвы, где он надеялся прожить до лета. Ему пришлось второпях сочинить себе маршрут, и он направился на юг. Если он благополучно доберется до Курска, то у него есть там какая-то родственница, которую он никогда не видел в глаза и у которой, вероятно, проведет святую неделю, а потом потянется с Ольгой Ивановной, с Полинькой, с Шариком и Моськой в Киевскую губернию, к сестре первой своей жены, урожденной княжны Мещерской.

От Сергея Петровича недавно я получил письмо; он, благодаря бога, блаженствует в кругу своих дочерей, зятей и внучат. По железной дороге я ехал в одном вагоне и сидел рядом с графиней Потемкиной, она хотела непременно с вами увидаться.

В Москве я прожил ровно месяц, не выходя из дома Аббакумовой, и за то слава богу; мне было там очень хорошо, и за это время я как будто укрепился и телом и душой. Многие близкие люди и старые знакомые меня посещали; с нашими почти со всеми, бывшими в Москве, я виделся.

Павел Сергеевич поздоровел и как будто помолодел. Он приезжал ко мне с своей сестрой.

Нарышкин очень похудел и постарел, но, кажется, не опустился. Лизавета Петровна, я нашел, мало изменилась.

Сутгоф молодцом и в своем мундире смотрит совершенно лейб-гренадером, только руки поражены у него параличом, и пальцы почти не служат.

Лорер до такой степени сохранил в целости свою особу, что можно подумать, он заживо набальзамирован. Мы с ним вспоминали былое и Бичаснова, и посошек, и возглас ваш: *Лорер, утешай меня!* и многое другое.

Валерьян Голицин был у меня один только раз, прежде я его не знал, а Кривцова и Загорецкого совсем не видал.

Наталья Дмитриевна меня навещала, но только один раз мне удалось побеседовать с ней глаз на глаз. Теперь, полагаю, она в Петербурге, куда она давно стремится.

Свистунов заезжал ко мне один и то на минуту, ему едва дозволили остаться в Москве для свидания с братом и сестрой, на несколько дней.

К Оболенскому следовало бы мне давно написать, но при этом необходимо надо с ним ругаться [2], что на бумаге очень неудобно, а все-таки придется скоро отправить к нему листок.

В Москве у меня была беспрестанно перед глазами какая-то фантасмагория, и я во все время был там в каком-то опьянении, так что и до сих пор еще не отрезвился, хотя и живу уже две недели в совершенном одиночестве в имении Ник[олая] Ник[олаевича] Толстова, старого моего сослуживца; оно почти на самой грани Московской губернии и только в 6-ти верстах от железной дороги. По обстоятельствам и по моему нраву такое одиночество имеет свои удобства, тут я не боюсь никаких неприятных столкновений, которых трудно избежать в каком-нибудь городке. Евгений приезжал ко мне, и на-днях я его опять ожидаю, он хотел послать Аннушке, вместо красного яичка, ваш портрет.

Когда вы переедете на житье в Нижний, мне очень удобно будет приезжать погостить к вам, я живу в трех верстах от Волги, по которой ежедневно взад и вперед ходят пароходы и по пути подбирают и высаживают пассажиров. От Вечеслава получаю часто письма, он пишет, что совершенно поправился и думает выехать из Казани в конце апреля; в начале мая он, вероятно, будет в Петербурге и,

может быть, вас еще там застанет. Евгений потому мало послал вам ваших портретов, что их много разобрали у него в Москве.

Но пора кончить. Крепко вас обнимаю. Если вздумаете исписать ко мне листок, то отправьте его в Завидовскую станцию на железной дороге для пересылки в контору господ Толстых и для передачи мне.

Александра Васильевна была у меня, она неимоверно как постарела в последние эти месяцы, Сергей Петрович пишет то же о Марье Казимировне.

Быстрицкой и Соловьев в проезд свой через Москву заходили ко мне. Быстрицкой отправился в Киев, а барон — в имение брата своего недалеко от Рязани.

Волконский, вероятно, уже известил вас о затруднительном положении, в каком находится теперь..., но еще неизвестно, оставят ли.

Видаете ли вы барона, бывшего нашего товарища? [3].

185. Е. И. ЯКУШКИН — И. И. ПУЩИНУ [1]

Апреля 10-го 1857 [Москва].

Третьего дня возвратился от отца; он устроился довольно покойно в деревне Н. Н. Толстого, брата Якова Николаевича и сенатора, ревизовавшего Сибирь, вы должны его знать. Надеюсь, что весна в России будет благодетельна для здоровья отца — поздним летом хочется мне свозить его на юг, хоть, например в Киев — и я надеюсь, что это можно будет устроить; разумеется, это будет возможно только в таком случае, когда мне дадут туда командировку. Матвей Иванович уехал в Тверь, куда через неделю отправляется и его семья. Портреты вышлю вам, как только они будут готовы; вы мне за них ничего не должны, они сделаны экономическим образом, и об этом не будем больше говорить. Александре Васильевне портрет будет доставлен, что же касается до доски, то я вам ее не вышлю, потому что производство здесь далеко не кончено, я решительно не успеваю удовлетворять требования; из ялуторовских поднес экземпляр только Матв[ею] Ив[анови]чу, вашей тетушке, признаюсь — не догадался, доставил портрет без рамки.

Скоро ли вы будете к нам, я готовлю к вашему приезду полный экземпляр сочинений Пушкина,— работы за ним еще много, но в мае кончу. В этом экземпляре будет многое, чего не будет и в 7 томе; словом, этим трудом вы останетесь довольны [2]. Как видите, я не забыл данного мною обещания два года тому назад.

Что же касается до вашего обещанья, то я хорошо понимаю, что теперь вам вовсе нет времени его выполнять, но я считаю его за вами [3].

Сергея Григорьевича видел недавно, он довольно покойно говорит о Молчанове, но, разумеется, сумасшествие Молчанова не может его не расстраивать; что за несчастная судьба старика. Молчанов теперь довольно покоен, но иногда приходит в бешенство. Иноземцев говорит, что он не может долго жить.

О Басаргине не имею еще никаких известий — он хотел написать из Курска — и поэтому письма его я еще долго не могу получить.

Михаил Бестужев собирается ехать в Америку для покупки парохода на Амур.

Свистунов ужасно скучает и пишет, что более года не останется в Калуге.

До свиданья.

Е. Якушкин.

186. И. Д. ЯКУШКИН — Н. Д. СВЕРБЕЕВУ [1]

с. Новинки. Апреля 29-го [1857].

Спасибо вам, мой любезный Николай Дмитриевич, что вы отгадали, как я порадовался, узнавши о благополучном разрешении милой Зины, и с каким чувством в эту минуту мысленно обнимал и ее, и вас, и доброго моего Сергея Петровича. Новорожденному желаю всего, чего можно только пожелать такому малорослому человеку, как ваш теперь Сережа; от Сергея Петровича получил письмо еще на страстной и тогда же ему отвечал на него. Вы пишете, что может быть в августе он приедет к вам в Нижний; в таком случае, разумеется, не придется ехать в Киев, а надо будет спуститься по Волге, которая от меня в двух верстах, с тем, чтобы погостить у вас в Нижнем.

Странно, что вы не получаете писем из Иркутска; я также не имею ответа от Викторочей [2] на мои листки, отправленные к ним из Казани и из Москвы. Не знаю, передал ли вам Евгений письмо мое к Ник[олаю] Ник[олаевичу]; полагаю, что вы найдете возможным отправить приличным образом мое послание к г. г. В. С. [3].

О себе не буду с вами много разглагольствовать и скажу вам только, что в Новинках я живу совершенно один и благодаря бога

живу не дурно; правда, что последние два дня я беспрестанно в гостях; Толстые всем семейством приехали в свое поместье на три дня, чтобы подышать весенним деревенским воздухом, но на этот раз погода до того отвратительная, что лучше бы ее совсем не было, и все многочисленное общество в Новинках все эти дни греется у камина, в том числе и Матвей Иванович, который теперь также здесь.

Как это вы ничего мне не пишете об Лизавете Дмитриевне и Наталье Дмитриевне; я надеюсь нынешним летом увидеться с ними в Рожествине и, разумеется, нисколько не рассчитываю на обещание их приехать ко мне по железной дороге.

Ежели вам вздумается посетить меня, то напишите наперед, когда вы будете, чтобы можно было выслать за вами экипаж на железную дорогу. Простите, любезный Николай Дмитриевич. Зину, вас и первенца вашего обнимаю.

И. Якушкин.

187. И. Д. ЯКУШКИН — С. П. ТРУБЕЦКОМУ

1857. с. Новинки [апрель].

На-днях я получил твое письмо от 19 марта, добрый друг Сергей Петровичь, и теперь, вероятно, дошел уже мой листок, отправленный к тебе из Москвы, из которого ты знаешь, что я благополучно добрался до Белокаменной, пребывание в которой в продолжении целого месяца меня во всех отношениях очень освежило. Ноги не болят, и вообще если я не исцелился от моих недугов, то и то уже прекрасно, что я об них нисколько не думаю.

От Вечеслава с каждой почтой получаю письма, и в этом отношении он прикидывается совершенно порядочным человеком; здоровье его поправилось, и, вероятно, в конце апреля он приедет в Москву.

Свистунов был у меня на одну минуту; к нему в Москву приезжал брат, с которым ему позволили пробыть три дня; на четвертый к нему приехала сестра его из Орловской своей деревни и на другой

день отправилась с ним в Калугу, чтобы после тридцатилетней разлуки хоть сколько-нибудь пожить с ним.

Я к тебе писал о положении 33 года, так внезапно воскресшем и воспрещающем пребывание в Московской и С.-Петербургской губерниях всем государственным преступникам, возвращенным на родину манифестом 26 августа, которым дозволено им жить во всех местах империи, кроме Москвы и Петербурга. Постановление 33-го года, сделавшись известным, необходимо должно было изменить положение некоторых из нас.

Матвей, считавшийся проживавшим в какой-то деревне близ Москвы и спокойно отдыхавший в кругу своих, был вынужден выехать из Московской губернии, а куды, для него было все равно, и он избрал Тверь местом своего пребывания.

Сергею Григорьевичу дозволено приезжать в Москву для свидания с больной своей женой, но позволят ли ему жить в Москве, я не знаю, а по обстоятельствам присутствие его в семействе необходимо; он был у меня перед моим отъездом и сказывал, что Молчанов положительно сошел с ума и в минуту бешенства он бросил стулом в [нрзб.]; ненавидя тестя, он не может его видеть и всячески его избегает, что не дает возможность Сергею Григорьевичу усмирять сумасшедшего своего зятя.

Басаргин, не получивши моего письма, в котором я объяснил ему смутные для нас обстоятельства и советывал ему приостановиться в Нижнем, приехал в Москву; от удушья едва передвигает ноги; он надеялся тут воспользоваться советом и помощью врачей, но ему дозволили пробыть в столице не более трех суток, и он не знал, куды ему деться, пока приедет Барышников из Дрездена; поплелся со своим семейством на юг. В Киевской губернии живет сестра первой его жены и приглашала его приехать к ней; если он не задержался где-нибудь по болезни, то, вероятно, ты скоро с ним увидишься.

Я теперь живу в совершенном одиночестве в имении старого нашего сослуживца Толстого; оно на границе Московской губернии и близко от железной дороги. Евгений приезжал ко мне, и на-днях, я опять его ожидаю. По обстоятельствам жить здесь мне одному очень

удобно, а поселиться в каком-нибудь городе я решительно не хотел; там трудно бы было избежать каких-нибудь неприятных столкновений.

Что за добрый человек твоя сестра; она была у меня и потом мы ехали с ней в одном вагоне и, сидя рядом, во все время беседовали, как самые короткие знакомые. Воображаю с истинной радостью, как ты счастлив в кругу своих; мы собираемся с Евгением приехать летом взглянуть на вас.

Очень я рад, что Ваня взялся за ум и понимает, как было бы для него неудобно остаться жуком; надеюсь, что он и Федя когда-нибудь ко мне напишут.

Свербеевых не видал перед отъездом, они в это время говели; на минутку видел только Никол[ая] Дмитр[иевича] на железной дороге; он приезжал проводить гр[афиню] Потемкину.

До свиданья, мой милый друг, крепко тебя и всех вас обнимаю.

Надписывай ко мне свои письма: на Завидовскую станцию железной дороги, а оттуда в с. Новинки, в контору г[оспо]д Толстых для доставления И. Д. Я.

188. И. Д. ЯКУШКИН — И. И. ПУЩИНУ[1]

1857. [Новинки]. Мая 5.

Поздравляю вас, мой добрый друг Иван Иванович, с прошедшим днем вашего рождения и с будущим днем вашего тезоименитства. В нынешнем году вы проведете эти дни в кругу ваших родных, и я понимаю вашу радость при этом случае, но уверен, что вы все-таки вспомнили и вспомните, как бывало в доме Бронникова мы торжествовали 4 и 8 мая.

Письмо ваше от 13 апреля я уже недели две как получил, но не писал к вам потому, что все это время не имел сказать вам ничего особенного о себе. Вот уже целый месяц прожил в Новинках, и несмотря на то, что погода стоит прескверная, живется здесь недурно. Евгений был у меня три раза и на-днях ожидаю Вечеслава, который теперь в Москве. На прошедшей неделе приезжало все семейство

Толстых, и они пробыли здесь три дня. На это время приезжал и Матвей из Твери; мне показалось, что он очень похудел и как будто озабочен; на-днях он ожидает поверенного своего брата для совершения купчей на Тамбовскую деревню и в августе думает отправиться в свое имение для того, чтобы только взглянуть на него[2].

От Евгения я узнал, что нынешним летом вы собираетесь в Киев, там мы можем с вами съехаться и, очень вероятно, съедемся где-нибудь и прежде.

Если вы едете в Киев по совету врачей и для того, чтобы пожить в более теплом климате, то почему бы вам не отправиться на зиму в Симферополь, где уже гораздо теплей, нежели в Киеве. Если бы вы решились ехать в Крым, то, может быть, и я с Евгением потянулись бы туда за вами.

Когда поедете из Петербурга, известите меня, чтобы я мог выехать к вам в Тверь.

Очень досадно, что по возвращении Натальи Дмитриевны я не видался с ней, она бы подробно мне рассказала об вас, но, бог даст, вы поправитесь, и мы скоро с вами где-нибудь увидимся.

От Рюрика[3] получил не очень давно письмо в ответ на мое обличительное послание к нему: он доволен своим пребыванием в Калуге, и слава богу. О Басаргине никаких нет слухов, а Трубецкой писал ко мне недавно. Свербеев приедет, может быть, в Нижний, когда переедет туда Зина с своим мужем. От Николая Яковлевича не получил еще ответа на мои два к нему письма. Я видно забыл сказать вам, что Фиена вышла замуж за молодого чолдана, она и Гурьяничпа бывали у меня по нескольку раз; а Афанасий по отъезде вашем всякий день являлся ко мне с своей серенькой лошадкой.

О пребывании моем в Нижнем я к вам писал. Аннушке прекрасно у доброй ее мамаши, а Ваню надо бы вам куды бы нибудь пристроить; оставаться, как он живет теперь в Нижнем, ему не приходится. Но при помощи божией все это устроится.

Простите, любезный друг. Крепко вас обнимаю.

189. И. Д. ЯКУШКИН — А. Н. БАЛАКШИНОЙ[1]

Давно бы мне следовало написать в ответ на твое доброе письмо ко мне, милая моя Саша, но ты уже знаешь причину моего молчания: во время продолжительной болезни я не только не мог писать, но едва мог шевелить пальцами. Ты просишь меня заметить ошибки в твоем письме: их так немного, что не стоит об них и говорить, но если бы их было и более, то и тут беда была бы небольшая. Когда ты пишешь письмо, забудь о правописании и старайся сколько возможно просто и ясно высказать то, что придет тебе на мысль. Ты очень меня порадовала, вспоминая с любовью о былом; я также вспоминаю об нем, как о прекрасном времени моей жизни; любивши вас всех так, как я любил, посреди вас я жил полной жизнью, а если когда надоедал вам, то это происходило от излишнего рвения к вам.

Не взыщи, что я пишу к тебе не на особом листке и на этот раз немного,— писать лежа очень неловко. Обнимаю тебя, моя милая, обними за меня сестер своих и Клавдию; надеюсь, что вы продолжаете действовать вместе и дружно.

ПРИЛОЖЕНИЯ



ПОПЫТКА И. Д. ЯКУШКИНА ОСВОБОДИТЬ СВОИХ КРЕСТЬЯН [1]

1. МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ О. П. КОЗОДАВЛЕВУ [2]

Милостивый государь Осип Петрович.

Осмеливаюсь беспокоить ваше высокопревосходительство письмом моим; могу оправдать себя тем, что обстоятельства поставляют меня в необходимость отнестись лично к вашему превосходительству.

Желая отпустить на волю доставшихся мне по наследству крестьян Смоленской губернии, Вяземского уезда, числом сто двадцать [3] душ, предоставляя им их имущество, строение и землю, находящуюся под усадьбами, огородами и выгонами, не требуя с них никакой за это платы, принимаю смелость спросить ваше высокопревосходительство, могут [ли] люди сии получить освобождение на означенном положении и могут ли по освобождении своем причислены быть к сословию вольных хлебопашцев и пользоваться правами сих последних: могу ли я по отпущении на волю крестьян заключать с ними добровольные с их стороны условия касательно обрабатывания земель моих?

Зная, сколько ваше высокопревосходительство снисходительны были к представлениям многих частных людей, смею надеяться, что удостоите и мое вашего внимания, почему честь имею уведомить ваше высокопревосходительство, что я живу в деревне своей, Смоленской губернии, Вяземского уезда, в сельце Жукове.

С глубочайшим почтением и совершенною преданностью честь имею быть вашего высокопревосходительства, милостивый государь, покорнейший слуга

Иван Якушкин.

1819 года [4], июля 29.

2. ПРЕДВОДИТЕЛЮ ДВОРЯНСТВА[1].

Его высокоблагородию вяземскому г. уездному дворянства предводителю Матвею Петровичу Потулову.

От капитана Ивана Дмитриева сына Якушкина

Прошение.

На объявленное мне вами предписание господина смоленского губернского предводителя от 22 августа сего года сим вам объяснить имею, что отпущаемых мною в вольные хлобопашцы крестьян за мною состоит: Вяземского уезда в деревнях Истоминой 47, Арефановой 30 и Земщине 35 да переводимых Бельского уезда из деревни Павловой в деревню Истомину 4 и в Арефанову пять, всего ж с переводимыми 121 ревижских душ[2], коим я предоставляю всю под поселением, огородами, огуменниками и под выгоном лежащую землю всего к каждой деревне по девяти десятин с их строением, имуществом, скотом, с наличным и посеянным на принадлежащей мне земле к 1820 году хлебом, оставляя всю прочую землю за собою, не требуя за сие и за их увольнение от них никакой платы, ни работы, и не предполагаю теперь заключать никакого рода с ними условия. Если же сей земли для них будет и недостаточно, то они могут у меня или у других помещиков нанимать по добровольным между собою условиям, сколько им будет потребно, о чем и в письме моем к г-ну министру внутренних дел относился; поясняя к тому, что на мне и имении моем долгов казенных и партикулярных не состоит, кроме взятых в 1813 году на продовольствие тех же крестьян, но и оный платеж, не обременяя крестьян, приемлю на себя, кои имею взносить в свое время в надлежащее место, обеспечивая платеж оных четырьюстами земли, Вяземского уезда в сельце Жукове имеющейся, что объясня вашему высокоблагородию, покорнейше прошу с прописанием всего вышеписанного довести до сведения вышнего начальства.

К сему прошению капитан Иван Дмитриев сын Якушкина руку приложил.

Сентября 12 дня 1819 года[1].

3. МНЕНИЕ СМОЛЕНСКОГО ПОМЕЩИКА ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ КРЕСТЬЯН ОТ КРЕПОСТНОЙ ЗАВИСИМОСТИ[4].

Вопр[ос]. Как можно согласить выгоды помещиков с свободою крестьян?

От[вет]. Мне кажется, что это весьма легко. — Вот как бы я полагал. Я бы уступил поселянам дворы их с землей под поселением и общим выгоном, оставил себе всю прочую землю, поселян же освободил от крепостного состояния.

Воп[рос]. Что же крестьяне сим выигрывают?

От[вет]. Не трудно доказать выгоды, от сего происходящие для крестьян. Личная их свобода и собственность их обеспечены. Собственность же крестьян в России состоит не в земле, ибо она везде общая, но в имуществах, состоящих в дворах их. Отношения, остающиеся между владельцами земель и крестьянами, равно выгодны и для того и для другого — первым выгоднее отдавать землю свою обрабатывать крестьянам, уже живущим подле оной; а крестьянам выгоднее нанимать землю, возле жилья их находящуюся, чем другую. Чрез освобождение же свое крестьяне вовсе не лишаются средств нанимать землю.— Помещик будет получать тот же оброк, но только в другом виде; вольные, уверенные в своей собственности и в своей личной свободе, будут работать прилежнее, приобретать более и следственно могут платить более. Многие фабрики и теперь действуют посредством наемных людей. Сверх того сим постановлением благотворная связь крестьян с помещиками, потеряв все то, чтó было в ней противно нравственности и правам человечества, изменив существо свое, останется невредимой и сохранит все то, что в ней полезно было.

Воп[рос]. Но помещик заставит платить крестьян за землю все, что он только захочет?

От[вет]. Во-первых: помещики теперь пользуются сим же правом и возможностью, кроме того, располагают и самыми крестьянами, берут их во двор, заставляют их работать на фабриках, в рудниках, меняют их и торгуют ими, и так даже, что в том случае, когда бы сие возражение было справедливо, состояние поселян все бы сим утрачено не было.— 2-е. В случае, если б помещик затруднил наем земли, осталась бы поселянам возможность нанимать землю у соседей, наниматься самим на работу, ходить на промысел, извоз и так далее, между тем как земли помещика останутся пустыми, или наняты будут верно ниже той цены, которую б ему дали поселяне, живущие на оных. Не надобно забыть притом, что первые, поелику работники со стороны, должны будут или бивакировать в поле, или платить за ночлег туземцам; кроме того, что одна решительная прибыль могла их вызвать из собственных жилищ, будучи в домах своих обеспечены от насилий и притеснений помещика, которому остается токмо [...] одна возможность делать им добро.

Казенные поселяне или однодворцы, имеющие иногда одну четверку земли, хотя предоставлена им возможность переходить на другие земли, не делают того по многим причинам:

1. По привязанности к месту рождения или жительства.

2. По затруднениям, которые бы им представились в переселении от перевозки малолетных детей.

3. Им должно продавать дворы за низкую цену.

4. Некоторые имеют скотоводство, должны также прекратить оное на время и терять выгоды, оттого происходящие.

5. Привычка к известным, неизвестность других мест, где по большей части (т. е. в южных губерн[иях]), если земля и обещает более плодов, то зато почти везде недостаток в воде или в лесе.

6. Издержки, нераздельные с таковым переселением. Одна крайность может понудить поселян к сему поступку. Те, которые полагают, что они не будут заниматься земледелием, забывают, что у них есть на то все потребные орудия, что они привыкли с давнего времени к сему занятию и что употреблен уже ими на то некоторый капитал. Надобно заметить, что в тех губерниях, где наиболее промышленности, земли не остаются праздными и что даже в оных, возьмем напр. Ярославскую, земли обработаны с бо́льшим тщанием, чем в тех губерниях, где мало промышленности. Те помещики, у коих крестьяне находились на пашне, должны взять в рассуждение, что они давали часть своей земли даром, для того чтобы им обрабатывали барщиной остальную. По освобождении же они в состоянии будут отдавать всю землю в наем, избавляя себя притом от тягостного присмотра и строгих произвольных мер.

Подати освобожденных крестьян будут обеспечиваться целым обществом, на подобие мещан, однодворцев и ныне существующих вольных хлебопашцев.

Воп[рос]. Как же можно будет выходить из сего состояния?

Отв[ет]. С дозволения правительства, которое, вероятно, положит за то выкуп в пользу общества, которое по нынешним постановлениям несет до следующей ревизии тягости за выбывшего члена. И так это возмездие требует сила справедливости.

Желательно также, чтобы сим обществам поселян предоставлено было право принимать к себе людей из других сословий, которым покажется выгоднее пристать к оным, чем итти в мещане.

Желательно, чтобы общества сии не платили в казну более казенных крестьян и были в сем отношении уравнены с ними.

Чтобы им предоставлено было также право покупать земли целым обществом.

Управление сих обществ остается по народному обыкновению избирательное. Староста и головы распоряжаются в ежедневных случаях, в важных решает мир, или громада.

Казна может позволить освобождать крестьян и тех имений даже, которые заложены в банк или в ломбард — назначив над сим имением опеки до заплаты казенного долга.

Общественное владение поселян имеет некоторые неудобства, конечно, но имеет также большие выгоды. Все частные действия направлены духом общественности, и при оном не может быть почти нищих. Всякий сохраняет свое право на участок земли как бы ни увеличилось население, а тунеядцев общественная власть принуждает к работе.

Выгода помещиков будет состоять в том, чтоб сии общества защищать от неправильных и беззаконных притязаний земских властей [1].

ИЗ СЛЕДСТВЕННОГО ДЕЛА И. Д. ЯКУШКИНА [1]

В 1816 году я был один из тех, которые тайное общество составить предположили [2]. Я служил тогда в Семеновском полку и был в Петербурге. Сочленами, кого я имел, сказать не могу, ибо на сие дал мое обещание. В этом же году был я переведен в 37-й Егерский полк, куда не медля отправился. Во время моего пребывания в армии никакого сношения я не имел с членами общества до переводу полка моего в Московскую губернию. Тогда я получил позволение от полкового командира ген[ерал]-майо[ра] Фон-Визена жить в Москве, где был в сношении с теми, кои общество сие составляли. Намерение общества было сблизить дворянство с крестиянами и стараться первых склонять к освобождению последних. Сверх сего распространить свои отрасли умножением членов и приготовить все сословия в государстве к представительному правлению.

В 1817 году многие члены получили известие, что Польские губернии будут присоединены к Царству Польскому. Сие обстоятельство, и сверх сего уверение, что государство не может быть в худшем положении как под управлением государя Александра Павловича, решили меня на жизнь его покуситься. Решение сие было взято на совещании некоторых членов, когда положено было оными назначить жребием то лицо, которое действие сие должно было исполнить. Я вызвался, не хотя повергнуть себя жребию. На другой день, при новом совещании тех же лиц, мне объявили, что решение мое полагают не нужным, что известие, полученное из Петербурга, может быть не основано и что действию моему противятся. В след сего я им сказал, что более их обществу не принадлежу, ибо они меня заставили к действию или необходимому, или пагубному. В первом случае дурно делают, что меня останавливают, в последнем заставили меня решиться на вещь, совершенно гибельную для России.

Хотя я обществу более не принадлежал, но я знаю, что в 1818 году оное получило образование и устав, которой я читал. В 1819 году, когда я приезжал

в Петербург, некоторые из членов сказали мне, что я слишком много знаю, чтоб остаться чуждым, и я дал подписку, что обществу опять принадлежу. Общество сие называлось Союз благоденствия. До 1821 году содействие мое и сношения были совершенно ничтожны.

В 1821 году, быв притеснен местным правительством, намерился сделать государю изложение всего зла, которое внутри государства заметил [1], и предложить обществу оное за общим подписанием доставить.— На сей счет общество в Москве собралось, но после многих разговоров и разнообразных мыслей, видя невозможность продолжению оного в сем виде, решилось оное уничтожить и заменить другим, которого цель и намерение остались те же, но распространение членов должно было быть ограничено. В сем новом обществе я остался; но с тех пор как правительством были запрещены все тайные общества, то устав был уничтожен.

Я же поехал тогда в деревню и с тех пор никакого сношения с обществом не имел до прошедшего декабря. Приехав 8-го в Москву, слышал 16-го или 17-го числа от одного из сочленов, что получено обществом письмо, извещающее о некотором предприятии в Петербурге. В след за сим получено было известие о происшествии 14-го числа.

Отставный капитан *Якушкин* [2].

Имя мое Иван, отца моего звали Дмитрий, от роду мне 32 года.

Воспитывался я у родителей моих, учителями были у меня отставный подпоручик Попов, отставный артиллерии подполковник Оже, иностранцы Пост, Русло, Дювернуа и Дельк. С 1808 года до 1811-го жил я у профессора Московского университета Мерзлякова.

В студенты был произведен я в Московском университете по факультету словесности, а впрочем никаким предметом в особенности не занимался.

Слушал я лекции в Московском университете: российской словесности у профессора Мерзлякова; всемирной истории у профессора Черепанова; российской истории у профессора Каченовского; эстетики у профессора Сохацкого; теории законов и прав знатнейших народов у профессора Цветаева; статистики у профессора Гейма; чистой математики у профессора Чумакова; физики у профессора Страхова; военных наук у адъюнкта Мягкого. Сверх сего никаких особых лекций я не слушал [2].

Я никак не припомню, чтобы кто-нибудь именно или чтение каких-нибудь книг исключительно возбудили во мне свободный образ мыслей.

Пребывание во время похода за границей, вероятно, в первый раз обратило внимание мое на состав общественный в России и заставило видеть в нем недостатки. По возвращении из-за границы крепостное состояние людей представилось мне, как единственная преграда сближению всех сословий и вместе с сим общественному образованию в России. Пребывание некоторого времени в губер-

ниях и частные наблюдения отношений помещиков с крестьянами более и более утвердили меня в сем мнении. В первом показании моем высочайше учрежденному комитету я объявил, каким образом я был один из первых, которые согласились учредить тайное общество.— Я не смею сказать, чтобы сообщество или внушения кого-нибудь именно, гораздо вероятнее молодость, необузданная пылкость нрава, страсти и вместе с сим ощущаемый какой-то избыток жизни заставляли меня забывать все обязанности и предаваться нелепому и преступному негодованию на правительство.

Отставный капитан *Якушкин.*

1826-го года. Маия 25-го дня[1].

Лицы, принадлежавшие вместе со мной к тайному обществу, известны мне единственно по тому, что я дал им уверение хранить имена их в тайне. Доверенность их ко мне обратить во зло, дабы сим уменьшить ответственность мою перед законами, почитаю я нарушением обязанности, совестью моей на меня возложенной; почему на требование Комитета назвать лица, принадлежавшие вместе со мной к тайному обществу, удовлетворительно отвечать я не могу.

Во всем, относящемся до меня лично, употреблю старание отвечать чистосердечно и сколько возможно справедливо.

С 1812 году на исповеди я не был; не имея истинного убеждения в таинстве причастиям, не почитал я себя вправе приступить к оному, тем более, что никакие постановления, мне известные в России, не позволяют видеть в исповеди и причастии единственно обряд наружный.

Государю императору Николаю Павловичу на верность подданства я не присягал, ибо мне известно, что в приносящем присягу предполагают веру к исповеданию церкви, которой в себе не чувствуя, я не почитал себя в праве присягнуть по установленному на сей щет порядку.

По причинам, изложенным в начале сего показания, на вопрос: кто первый из членов возъимел мысль «основать тайное общество?» отвечать я не могу; но причины, родившие мысль сию, сколько могу припомнить, были следующие: Во-первых, усмотрение бесчисленных неустройств в России, большею частью происходящих, как казалось мне и другим, от тесных видов вообще всех частных людей, имеющих единственным предметом выгоды личное, подало намерение обратить сколько возможно внимание каждого к выгодам общественным и тем самым образовать мнение общее. Во-вторых, пример тайных обществ, имевших сильное влияние во многих государствах и особенно в Швеции и Пруссии, подавал надежду, что введение таковых обществ могло быть успешно и в России.

Каким образом между членами общества возрастали и вкоренялись республиканские мнения? я не знаю. Что в особенности побуждало меня к ревностному содействию составления общества? Естьли не ошибаюсь, в то время единственно надежда споспешествовать сим к благоденствию России. Распространению же

круга действий общества, не по недостатку желаний на то, но вероятно по недостатку на то личных способностей, сколько мне известно, содействовал я очень не много.

Посредственные и явные цели общества изменялись с преобразованием самого общества, но главная цель оставалась всегда одна: приготовить государство к правлению представительному.

В 1816 году в С.-Петербурге на совещании нескольких лиц, в числе которых был и я, собравшихся определить цель и средства тайного общества, существование и влияние которого могли бы быть в России успешны, было решено, что главная цель общества вообще есть благо России, для достижения которой будут употреблены средства, какие общество в последствии признает удобными и соразмерными способам своих действий; но пока отстранение иноземцев от влияния в государстве было признано единственной посредственной целью, для достижения которой, сколько припомнить могу, способы никогда определены не были. Быв переведен из лейб-гвардии Семеновского полка в 37-й Егерский, вскоре после упомянутого мной совещания, отправился я в г. Сосницы, где тогда 37-й Егерский полк находился. Во время пребывания моего в Сосницах никакого извещения о существовании и успехах общества я не имел.

В начале 1817-го года 37-й Егерский полк переведен был в Московскую губернию. В это время чрез приезжающих в Москву я был извещен, что общество сделало приращение в членах и что оно, получив образование, занимается сочинением для себя устава. В том же году, по прибытии гвардии в Москву — и многих членов общества — устав, сочиненный и принятый обществом в Петербурге, после некоторых прений на совещаниях, единогласно всеми членами, находящимися тогда в Москве, был найден неудобным для хода общества и потому уничтожен. Сколько могу припомнить, в сем уставе предполагалось четыре степени, имеющие разные объявленные цели, постепенно сближающиеся с главной целью: приготовить государство к принятию представительного правления; последняя цель сия предполагалась быть известной одним только членам высшей степени, равно как и намерение, в случае смерти царствующего в то время императора, не прежде принести присягу наследнику его императорского величества, как по удостоверении, что в России единовластие будет ограничено представительством.

По уничтожении сего устава члены, находящиеся тогда в Москве, предположили заняться новым письменным учреждением для общества, а между тем было устроено приготовительное общество под названием военного, которого цель была приготовлять членов для главного общества [1], не имеющего еще тогда настоящего своего образования. В то же время получен был печатный устав тайного общества, существовавшего в Пруссии под названием Tugend-Bund [2], который во многом послужил образцом уставу Союза благоденствия, при учреждении которого я не присутствовал, ибо в это время, по причинам, изложенным далее, к обществу, я

не принадлежал. Цель, изложенная в сем новом уставе, приближалась к той, которую предполагали при самых началах Общества, то-есть благо России; главные средства к достижению оной были следующие: сближение дворянства с мыслию освободить крепостных людей, образование сих последних и вообще людей низшего состояния распространением школ и наконец образование общего мнения, обратив внимание всех к пользе общественной.— С выступлением гвардии, кажется, правление общества перенесено было в Петербург, а в Москве осталось одно только отделение оного; до 1820 года не имев никаких сношений с Обществом, я не могу точно определить, когда образовалось отделение оного в Тульчине.

В 1821 году на совещаниях в Москве некоторые члены, уполномоченные от своих отделений и нарочно прибывшие из Петербурга и из Тульчина, чтобы вместе с членами, в это время в Москве уже находящимися, обозреть положение и способы общества и определить причины, до сих пор препятствующие распространению и успехам Общества, нашли: во-первых, что неограниченность цели, изложенной в уставе Союза благоденствия [1], охлаждая многих членов, замедляла ход общества; а во-вторых, что положение относительно принятия, не довольно отраждая общество от вступления ненадежных членов, подвергало ход оного беспрестанным опасностям и что сии две главные причины не только противились успехам Общества, но даже угрожали ему совершенным уничтожением; вследствие чего и решено было вновь переобразовать устройство Общества — устав Союза благоденствия при сем получил разного рода изменения, из коих главные, сколько припомнить могу, состояли в том, что в новом уставе члены Общества разделялись на две степени; принадлежащим только к первой из оных известно было, что главная цель Общества состоит в том, чтобы приготовить государство к принятию представительного правления. В члены первой степени никто не мог быть принят без согласия на то главного правления Общества, которого место пребывания назначено было в Петербурге. В члены второй степени никто, кажется, не мог быть принят без согласия на то всех членов каких-нибудь двух отделений; членам второй степени главная цель Общества оставалась неизвестной.

С изменением устава Общество получило другое название, которого я не припомню [2]. Устав союза благоденствия при сем был уничтожен и членам ненадежным положено было объявить, что общество более не существует. По рассмотрении положения Общества предположено было учредить четыре отделения, или управы: в Петербурге, в Москве, в Смоленской губернии и в Тульчине; что происходило в Петербурге и в Тульчине, я не знаю, но сколько мне известно, в Москве и в Смоленской губернии предположенные управы никогда учреждены не были. Совещания, происходившие в Москве в 1821 году в генваре месяце, по окончании нового устава прекратились. Списки сего устава, один оставленный в Москве, и другой, данный мне для учреждения управы в Смоленской губернии,

в том же году или в 1822-м были истреблены по обнародовании высочайшего указа об. уничтожении в России масонских лож и всякого рода тайных обществ. Вот все, сколько припомнить могу, что я знаю о существовании, действиях и изменениях Тайного общества, к которому я принадлежал.

Кто составлял управы? и протчие, по объясненным мной причинам объявить я не могу.

Требуемые обязательства от поступавших в члены состояли в обещании содействовать успехам Общества, хранить существование его в тайне, равно как и имена членов, ему принадлежащих.

Все, что мне известно о происхождении совещаний Общества и о том, что было предметом оных, я объяснил выше.

В чем состояли пособия и надежды, кои Общество имело в виду для исполнения своих намерений? И кто из известных лиц в государственной службе подкреплял своим участием сии надежды? я не знаю.

Когда и где Общество предполагало начать открытые действия свои, какими средствами думало оно преклонить на свою сторону войска и произвесть революцию и что в сем случае замышляло употребить противу священных особ августейшей царствующей фамилии? Кто какие делал о том предложения и кто одобрял их? мне совершенно не известно.

Единственно в конце 1820 года я был в Тульчине дабы пригласить членов тамошнего отделения отправить от себя уполномоченных в Москву на совещание, о цели и действиях которого я уже объявил в сем показании [1].

После генваря 1821 года ни на одном совещании я не был и ни об одном из оных сведения не имел; почему и обо всем происходившем на сих совещаниях я ничего не знаю.

В 1821 году при постановлении объявить Общество более не существующим, намерение отдалить сим не надежных членов мне было известно.

Что Южное общество не сходилось с Северным во мнении на счет конституции; с какого времени первое из них приняло намерение ввести республиканское правление посредством революции; тогда или в последствии предположено было истребить царствующую фамилию или увести оную на флоте за границу; кто делал о том предложения или одобрял и настаивал о исполнении оных, равно как и то, на кого полагались надежды общества в том или другом предприятии,— мне совершенно не известно.

Сочиненные членами Общества прокламации к народу и войскам, также и преступный Катехизис я не читал и о сочинении оных никогда ничего не слыхивал.

О существовании польских тайных обществ, равно как и о сношениях, после генваря 1821 года, здешнего Общества с Южным я ничего не знаю.

Об обществах, существовавших в Малороссии, в отдельном Кавказском корпусе и в других местах, я никогда никакого сведения не имел.

От кого я имел предварительное уведомление о происшедшем неустройстве 14-го декабря в минувшем 1825 году по изложенным мной причинам объявить я не могу.

В 1817 году, кажется в октябре месяце, которого числа не припомню, но прежде прибытия покойного государя императора в Москву, был я вместе с другими сочленами приглашен на особенное совещание, назначенное по случаю чрезвычайных известий, полученных из Петербурга. На сем совещании один из членов сообщил другим письмо, содержание которого, до сих пор со всем моим старанием, точно припомнить я не мог, но вообще есть ли не ошибаюсь, то оно заключало в себе извещения, что будто бы покойный государь император, дав конституцию Польше, учредив отдельный Литовский корпус, присоединяя польско-российские губернии к Царству Польскому, старается сим привлечь к себе привязанность поляков, дабы иметь в них верную опору в случае сопротивления в России угнетения, угрожающим ей при учреждении военных поселений и протчие.

Излагая содержание упомянутого письма, я, может быть, и ошибаюсь, но уверен, вопреки единогласного показания всех бывших моих сочленов, что в это время от князя Трубецкого никакого письма я не получал, что письмо, читанное на совещании, было писано не ко мне и что не я его читал[1]. По выслушании читанного письма, представляющего Россию в самом гибельном положении, я спросил у присутствующих на совещании членов, точно ли они убеждены в справедливости полученных извещений, и по уверении, что они нисколько не сомневаются в достоверности оных, равно как и в том, что для России не может быть ничего несчастнее, как остаться управляемой покойным государем; объявил я им, что в таком случае я готов пожертвовать собой, дабы спасти Россию от погибели, и решаюсь покуситься на жизнь покойного государя императора. Присутствующие на совещании члены предложили мне разделить со мной опасность предприятия и предоставить жребию назначить того, кто должен совершить оное; но я отверг их участие, не желая никого из них подвергнуть опасности предложенного мной предприятия.

На другой день некоторые из членов, показывая сомнение в достоверности полученных извещений, безуспешно предлагали мне отложить мое намерение. В тот же день, на совещании, все члены единогласно объявили мне, что полученные из Петербурга, извещения кажутся им совершенно невероятными и потому они убеждают меня оставить отчаянное мое намерение; вследствие чего и согласился на их предложение, но вместе с сим объявил им, что сообщество их подвергло меня малодушно отказаться от исполнения того, что ими же признано было единственным средством спасти Россию, или, в противном случае, увлекло меня к намерению, исполнение которого не только было бы вредно, но совершенно пагубно для России; почему я и поставляю себе долгом отказаться от всякого сношения с ними, как с членами тайного общества, и к оному более не принадлежать. Не могу наверно припомнить, была ли при сем доказываема скудость

средств Общества; но уверен, что показание, будто бы я был убежден только отложить покушение до времени, совершенно не справедливо. После сего совещания до 1820 года с Обществом никакого сношения я не имел.

Каким образом хотел я совершить убийство, я не знаю и, сколько могу припомнить, никогда не знал, ибо не имел довольно время, чтобы сие обдумать, но во всяком случае предполагал по совершении оного убить себя.

С 1820 года с Никитой Муравьевым я не видался. О совещании, бывшем в прошлом 1825 году в Москве по случаю покушения Якубовича, я ничего не слыхал. О покушениях на жизнь покойного государя членов Южного общества в 1823 году в бытность его величества в Бобруйске, равно как и во время пребывания его величества в Таганроге, сколько припомнить могу, я ничего не слыхал.

Кроме сделанных уже мной показаний, должен я объяснить, почему, оставив в 1817 году Общество, опять вступил я в него. В 1819 году подавал я прошение бывшему тогда министром внутренних дел графу Кочубею, чтобы позволено было мне отпустить на волю принадлежащих мне крестьян, но на таком положении, которое не согласовалось с учреждениями, на сей счет существующими. Не получив на сие удовлетворительного разрешения, в 1820 году решился я отправиться в Петербург, чтобы опять просить о сем деле г-на министра лично.

Проезжая через Москву, получил я от тамошних членов препоручение сообщить в Петербурге сочленам их несколько письменных вопросов, относящихся до существования общества, к которому в это время я не принадлежал. По выполнении сего препоручения некоторые из прежних моих сочленов в Петербурге представили мне, что, имея с ними личные сношения, зная о существовании общества и не желая принадлежать к оному, многим из членов подаю я на себя подозрение; что причины, по которым я оставил Общество, не существуют, ибо общество, получив образование, определило в уставе цель свою и признанные им средства к достижению оной, почему они и предлагают мне вступить опять в их Общество. В это время все члены в Петербурге, с которыми я был в сношении, почти единственно занимались разного рода предположениями относительно освобождения крепостных людей в России, что совершенно согласовалось с тогдашними моими занятиями. Все это вместе решило меня опять вступить в Общество и дать требуемую от меня в сем расписку.

Вот все, что я могу припомнить о собственных действиях в духе Тайного общества, к которому я принадлежал, и вообще о существовании оного.

1826-го года. Февраля 13-го дня. Отставный капитан *Якушкин*.

При требовании от меня показаний [1] относительно лиц, вместе со мной принадлежавших к Тайному обществу, видел я единственно способ, предлагаемый мне уменьшить ответственность мою перед законами, почему, не почитая позволенным воспользоваться оным, отказался я в показаниях, мной отправленных сего

дня в высочайше учрежденный Комитет, удовлетворить на многие вопросы, мне предложенные; но после, усмотрев, что в таком случае отказ мой есть истинно преступный противу законов и вместе с сим вредный для бывших моих сочленов, лишая меня возможности свидетельствовать истину их показаний, поставляю себе обязанностию признать вину мою и, есть ли можно уменьшить ее истинным показанием всего от меня требуемого [1].

1826-го года. Февраля 13-го дня. Отставный капитан *Якушкин.*

Мысль об основании Тайного общества первый сообщил мне Александр Муравьев. Кто составлял управы Общества, я не припомню, ибо я никогда ни к одной из оных не принадлежал. Первые, которые решились основать Тайное общество в 1816 году, были: Александр, Никита, Сергей и Матвей Муравьевы, князь Сергей Трубецкой и я. В том же году при переводе меня в 37-й Егерский полк сообщил я командиру оного Фонвизину о намерении моем и других учредить Тайное общество и согласил его моими представлениями присоединиться к нам в сем намерении. В 1817 году, по прибытии в Москву гвардии, на совещаниях при учреждении приготовительного общества под названием военного, сколько припомнить могу, бывали кроме названных уже мной лиц двое Перовских, бывший Преображенского полка капитан Катенин и князь Федор Шехавский. Сверх сего, сколько мне известно, были приняты в Петербурге прежде: князь Лопухин, Пестель, Бурцев и старший Калошин. В 1820 году при вступлении моем опять в общество в Петербурге были вместе со мной на совещаниях: художник граф Толстой, полковник Глинка, Тургенев, служивший тогда при министре финансов, двое Шиповых, служившие в Преображенском полку, и Семенов, служивший после при главнокомандующем в Москве князе Голицине. В это время принадлежал также к обществу князь Илья Долгорукий и покойный отставный майор Охотников; последний сей, сколько мне известно, принял в Общество: отставного полковника Давыдова, служившего в каком Гусарском полку не знаю, и служившего, кажется, в 5-м Карабинерном полку капитана Воронца, которому я первый сообщил о существовании Общества и который впоследствии объявил мне, что он принадлежать к оному более не желает по семейным обстоятельствам.

В 1820 году в Тульчине виделся я с принадлежащими тогда к тому отделению членами: Бурцевым, Пестелем, Юшневским, Комаровым, кажется, князем Барятинским, Крюковым и многими другими, но которых имен я не припомню, ибо никогда с ними ни в каких сношениях не находился. В 1821 году на совещаниях в Москве, сколько могу припомнить, бывали: Тургенев, Глинка, отставный генерал-майор Фонвизин и брат его отставный полковник Фонвизин, Северского конно-егерского полка полковник Граббе, Бурцев, старший Калошин, генерал-майор князь Волконский, Каверин, Комаров, Охотников, кажется служивший в свите его императорского величества Тучков и Михайло Муравьев. В это время к Обществу принадлежал также Шереметев, адъютант графа Толстого,

5-го пехотного корпуса командира. На одно из сих совещаний был приглашен Михайло Федорович Орлов, на котором ему предложили вступить в Общество; но он на сие не согласился [1]. В том же 1821 году по данному мне препоручению на бывших тогда совещаниях принял я в общество покойного отставного генерал-майора Пассека и отставного лейб-гвардии Гусарского полка ротмистра Чаадаева.

Вот, сколько припомнить могу, все известные мне члены, принадлежавшие когда-нибудь к Обществу.

В 1816 году первое совещание, на котором несколько уже показанных мной лиц решились устроить Тайное общество, было у Сергея и Матвея Муравьевых. В 1817 году в Москве все бывшие [тогда] совещания происходили у Фонвизина, с которым я жил вместе, у Александра и Никиты Муравьевых. В 1820 году при вступлении моем опять в Общество был я в Петербурге на двух совещаниях, из коих одно было у Глинки, а другое у Никиты Муравьева. В том же году в Тульчине было совещание у Пестеля по случаю моего туды приезда [2]. В 1821 году все совещания в Москве происходили у Фонвизиных. Что было предметом всех сих совещаний, я объяснил уже в прежнем моем показании.

После сделанного постановления в 1821 году объявить некоторым членам об уничтожении Общества, о существовании его, кроме меня, знали, сколько мне известно, Сергей и Матвей Муравьевы, князь Сергей Трубецкой, Тургенев, Глинка, оба Фонвизина, Граббе, Бурцев, Юшневский, Охотников и Михайло Муравьев. О получении предварительного уведомления относительно происшедшего 14-го декабря в Петербурге неустройства, узнал я от отставного генерал-майора Фонвизина.

Совещание, на котором я объявил несчастное намерение покуситься на жизнь покойного государя императора, происходило у Александра Муравьева; письмо от Трубецкого было к нему же. Я не помню, чтобы кто-нибудь, кроме означенных лиц в вопросе, до сего относящемся, разделял сие совещание [2]. На совещании, происходившем на другой день у Фонвизина, может быть, были Перовские и Катенин, но я наверно сего не помню. В тот же вечер, как я объявил намерение мое, Фонвизин уверял меня, что оно сумасшедшее и что решительность моя привести его в действие, вероятно, пройдет с лихорадкою, которую я тогда чувствовал. Частные мнения на сей счет других членов я точно не припомню.

Кроме Пассека и Чаадаева, я никого в члены Общества не принял.

1826-го года, февраля 16-го дня. Отставный капитан *Якушкин.*

На совещаниях, происходивших в Москве в 1821 году, на которых присутствовали Тургенев, Глинка, Граббе, Фонвизины, Бурцев и я, был учрежден новый устав; на сих совещаниях было положено иметь списки с сего устава Тургеневу для Петербурга, Бурцеву для Тульчина, и, как я показал прежде,

меньшему Фонвизину для Москвы и мне для Смоленской губернии; список с устава, у меня находившийся, был списан мною собственно, кажется с того, который находился у Бурцева, и потому я не могу сказать, чтобы мне когда и кем был дан помянутый список с устава и на каком точно совещании, но вообще было положено мне получить оный. Все вышепомянутые лица после бывших в Москве в 1821 году совещаний остались в обществе; но действовали ли они в пользу оного, мне неизвестно. Тургенева, Глинку и Бурцева после помянутых совещаний я не видал и почти ничего не слыхал об них, с Граббе после сего я виделся только один раз в проезд мой через Ярославль на несколько часов и, сколько припомнить могу, в продолжении оных об Обществе мы ничего не говорили. Михайло Муравьев, который при учреждении устава на совещаниях в Москве не присутствовал, но которому, как я объяснил прежде, устав был прочтен на последнем из бывших в Москве совещаний, также и Фонвизины, сколько мне известно, не только не действовали в пользу Общества, но полагали его не существующим после указа об уничтожении в России тайных обществ. Устав, как я объяснил сие выше, был учрежден или переобразован в присудствии и с согласия помянутых членов, а писали оный, сколько припомнить могу, Тургенев и Бурцев.

1826-го года. Марта 9-го дня. Отставный капитан *Якушкин* [1]

На совещании, кажется мне, князь Федор Шехавский был, но подавал ли на оном какое особенное мнение, я припомнить не могу.

1826-го года, Марта 9-го дня. Отставный капитан *Якушкин* [2].

Муханов, рассказав о происшедшем 14-го декабря в Петербурге, предложил Митькову, чтобы нескольким человекам отправиться в Петербург, дабы покуситься на жизнь царствующего государя императора; на что Митьков отвечал, что он на сие, так как и ни на какого роду убийство, никогда не решится; я, может быть, виновен, что в первом моем показании не упомянул о сем разговоре. Но по уверению Митькова я был убежден, что он никогда не принадлежал к Обществу, также не был уверен, чтобы Муханов когда принадлежал к оному, и предложение сего последнего казалось мне не заключающим в себе ни малейшего смысла, но истинно одним пустословием.

1826-го года февраля 20-го дня Отставный капитан *Якушкин*.

В ответе моем на вопрос, предложенный высочайше учрежденным Комитетом мне, в чем состоял разговор полковника Митькова и штабс-капитана Муханова, объявил я несколько слов того и другого, но после я вспомнил, что именно при разговоре их я не присутствовал, а был в другой комнате с Нелединским, который также принадлежал к Обществу. В сем ответе упустил я также главное. По рас-

смотрению всех обстоятельств я чувствую, что во всем сем происшествии я более всех виновен, ибо я привез к полковнику Митькову штабс-капитана Муханова, не быв почти с ним знаком, без чего, вероятно, Муханов не подверг бы себя ответственности за несколько пустых и необдуманных слов; может также, слыша от него что-то подобное прежде, молчанием моим поощрил я его сделать неистовое предложение свое. Я вспомнил, что полковник Нарышкин и Горскин, служившие в лейб-гвардии Егерском полку, принадлежали также к Обществу. Также Бестужев, служивший в лейб-гвардии Семеновском полку. Также полковник Капылов.

1826-го года февраля 22-го дня. Отставный капитан *Якушкин.*

Государь! [1]

Преступнейший из подданных ваших осмеливается повергнуть себя к стопам вашего императорского величества в надежде на неограниченное милосердие ваше.

В показаниях моих высочайше учрежденному Комитету объявил я, что в присутствии моем и полковника Митькова штабс-капитан Муханов произнес несколько слов, конечно, необдуманных, но по тому не менее преступных против лица вашего императорского величества. Повелите, о государь! да подвергнусь за сие один я взысканию законов как единственно в сем виновный; я привез Муханова к Митькову, без чего, вероятно, он не подверг бы себя ответственности за несколько пустых слов; может быть, я преступным молчанием моим поощрил его повторить Митькову то, что я слышал от него прежде. Не позвольте, о государь, чтобы все сие происшествие обременяло другого кроме меня новым преступлением перед лицем вашего императорского величества.

Пусть узы мои стеснятся, пусть буду осужден я к наистрожайшему наказанию; но избавленный милосердием вашим, о государь! от упрека совести, что малодушием или неосторожностию вверг я других в несчастие, не перестану я благословлять августейшее имя вашего императорского величества. Всемогущий поможет мне не изменить обету сему.

Да будет за меня предстательницей пред лицом вашего императорского величества вера моя к неограниченному милосердию вашему.

Вашего императорского величества верноподданный

1826-го года февраля 22-го дня. Отставный капитан *Якушкин.*

В показаниях моих высочайше учрежденному Комитету я не хотел сказать, чтобы я был в другой комнате, когда *Муханов* сделал *Митькову* сказанное мной предложение [1]; но в первом вопросе, до сего относящемся, от меня требуемо было показание, *в чем состоял разговор Митькова с Мухановым по получении известия о происшествии 14 декабря;* по отправлении моего на сей вопрос ответа я вспом-

нил, что в тот вечер, как я привез Муханова к Митькову, я не во все время был с ними вместе и что, объявив несколько слов того и другого, вероятно, я не отвечал на предложенный вопрос мне, *в чем состоял разговор Митькова и Муханова*, ибо несколько слов не есть еще разговор, и что тот разговор, о котором у меня спрашивается, вероятно происходил не в моем присутствии, а в то время, как я был в другой комнате с Нелединским, почему я почел обязанностию объявить о сем высочайше учрежденному Комитету.

До сих пор я не могу наверно припомнить, когда именно Муханов сделал предложение, прежде мной показанное, в тот ли вечер, как я привез его к Митькову и когда тут же были отставный генерал-майор Фонвизин, Семенов и Нелединский, или на другой день, когда я застал его, Муханова, одного у Митькова. Не могу также припомнить, чтобы кто подавал какое-нибудь мнение или соглашался на предложение Муханова или говорил что-нибудь тому подобное. Ответ Митькова Муханову, *что он не чувствует себя способным ни на какое убийство*, я объявил уже в прежнем моем показании. Не только мне не известно, *что именно принято было за непременное и в сем случае какое и кому сделано поручение*, но я до сих пор был уверен, что предложение Муханова никто не мог принять за что другое, как за слова человека весьма неосторожного, и что ответ Митькова заключал в себе намерение остеречь Муханова, дабы он в словах своих был обдуманнее.

Не было ли кому либо из членов Общества предварительно дано знать о том? Я уверен, что нет; ибо никто не мог предвидеть, что я встречусь нечаянно, в первый раз отроду, с Мухановым и привезу его к Митькову, с которым я даже не знаю, был ли он когда знаком прежде.

В показаниях моих я не имел намерения сказать, что Муханов слышал *Митькова что-то подобное* своему предложению, но что я слышал прежде от *Муханова что-то подобное*.

Я не имел также намерения сказать, как сие и видно из начала показания сего, чтобы я не присутствовал при произнесении Мухановым предложения *отправиться нескольким человекам в Петербург, дабы покуситься на жизнь ныне царствующего государя*, или чтобы, кроме сего, я знал иное неистовое предложение, сделанное Мухановым. Но чтобы, есть ли возможно, объяснить все сие, я постараюсь, сколько припомнить могу, изложить все обстоятельства, до сего относящиеся. Вместе с высочайшим манифестом о восшествии на престол государя императора получено было в Москве первое известие, весьма неподробное и во многом невероятное, о происшествии 14 декабря. В этот день я был у Михайлы Федоровича Орлова и от него обещал я заехать к Митькову, где дожидался меня отставный генерал-майор Фонвизин, и привезти им, что узнаю нового обо всем происшедшем в Петербурге.

При мне приехал к Орлову Муханов, которого я никогда не видывал и с которым Орлов меня тут познакомил. Муханов рассказывал все происшествие

14 декабря со всеми подробностями, называя все главные лица, в нем действовавшие, и из которых многие даже имена мне были неизвестны; по окончании сего рассказа он прибавил, что ужасно, естьли они все погибнут, и что он знает человека, который, чтобы помешать сему, готов убить его; Орлов не сказал на сие ни слова, но взял его за ухо и подрал; вскоре после этого, выходя вместе с Мухановым, предложил я ему заехать к Митькову, думая, что он, вероятно, знаком с ним или по службе или встречал его как-нибудь в Москве; но Муханов спросил у меня, кто такой Митьков. Орлов сказал ему, что он полковник Финляндского полка, после чего он согласился со мной ехать. В санях я не припомню всего, чего он говорил мне, но, кажется, опять повторил, что знает человека, который готов убить его, чтобы спасти всех бывших при упомянутом происшествии, или что-то сему подобное. Приехав к Митькову, я сказал ему, что я привез к нему Муханова, который знает все подробности о происшедшем в Петербурге. После рассказа Муханова я остался с Нелединским в одной комнате, а Митьков, Муханов, Фонвизин и Семенов, сколько припомнить могу, были в другой.

Я истинно до сих пор не могу припомнить, в этот вечер или на другой день, когда я был только с ним у Митькова, Муханов сделал предложение, *чтобы нескольким человекам и пр.*, но знаю, что в то же утро, когда Муханов ушел, я просил извинения у Митькова, что привез к нему Муханова, совсем его не зная, на что Митьков отвечал мне, что он постарается как-нибудь избавиться от его посещений; впротчем все сие единственно потому, что Митьков и я, мы заметили, что Муханов в словах весьма не воздержен. После я бывал у Митькова почти всякий день и ни разу не встретил у него Муханова, которого я еще раз видел у Семенова, где он не упоминал ни о предложении своем и не повторял ничего из изречений вышеупомянутых.

Теперь остается мне только изъяснить, почему я себя во всем этом не только более всех, но единственно виновным чувствую; есть ли бы я не пригласил Муханова, которого совсем не знал, ехать со мной к Митькову, вероятно, Муханов никогда бы у Митькова не был и никто бы не был в ответственности за несколько пустых слов. Во-вторых, естьли бы я исполнил свою обязанность, в первый раз услыша слова Муханова о убийстве, и заметил бы ему, что они не пристойны, то, вероятно, он не позволил бы себе никогда сделать предложение у Митькова, чтобы ехать нескольким человекам в Петербург и пр., почему я почел бы себя счастливым, естьли бы за все сие мог один я подвергнуться взысканию!

Нелединского я видел один только раз у Митькова; он, кажется, был адъютантом у его высочества цесаревича; где живет он, не знаю. Капылов служил в лейб-гвардии Конной артиллерии. Кроме названных уже мной, никого не припомню, кто бы принадлежал к Тайному обществу.

1826-го года, Февраля 24-го дня. Отставный капитан *Якушкин*.

ВОСПОМИНАНИЯ О И. Д. ЯКУШКИНЕ

Е. И. ЯКУШКИН[1]

Я родился, когда отец уже был заключен в Алексеевский равелин. Мать не могла меня кормить, у нее пропало молоко, кормилицы найти не могли — и меня принуждены были питать коровьим молоком и кашкой из сухарей, потому что мне было два месяца, когда мать моя поехала в Петербург и взяла меня с собой. Дорогой не везде можно было достать свежего молока, и его поневоле должны были заменить сухарями. Я был ребенок хилый, больной и вследствие этого страшно избалованный. Хотя и потом меня мать очень баловала, и это едва ли не входило в систему воспитания, как впоследствии у меня. После поездки в Петербург меня повезли зимой в Ярославль, когда мне было с небольшим год. Словом, в молодости самым маленьким ребенком я натерпелся так, как другому не приходится терпеть во всю свою жизнь.

Все это я знаю по рассказам, но с 4-х лет я все помню сам очень хорошо. Так, например, я хорошо помню холеру 30 года. Помню осмотр приходивших в деревню, курение в доме хлором, ладонки с чесноком, которые все носили, в том числе и я, и, наконец, сильно забавлявшие нас, детей, смоляные бочки, которые зажигали у дома. В деревне, где мы жили, в селе Покровском, в 80-ти верстах от Москвы, холеры не было, и так как были убеждены, что смоляные бочки, хлор, ладонки и устроенные в деревнях заставы не пропустят болезнь, то жилось очень весело. Огромный деревянный дом комнат в 20 был окружен с одной стороны большим столетним садом, с другой — рощей десятин в двенадцать, спускавшейся к реке. В этих рощах летом чуть не каждый день мы собирали грибы; страсть собирать грибы у меня с тех пор, как я себя помню. Но замечательнее и садов и дома были люди, которые тут жили, ежели принять в расчет то время ничем не сдержанного крепостного права. Когда лакея называли, но не считали человеком, когда безнаказанно можно было бить, сечь, ссылать в Сибирь.

Семья была невелика. Старушка бабушка, мать моей матери, сын ее Алексей Васильевич Шереметев и моя мать с братом моим и мною.

Бабушка Надежда Николаевна была человек довольно оригинальный. Маленького роста, с совершенно белыми волосами, картавая старушка,— она всегда была одета в черный капот, только причащалась и в светлое воскресенье была в белом — тоже капоте. Волосы у нее были острижены в кружок, и только когда выезжала, она надевала тюлевый чепец с черными или белыми лентами. Ни закрытых экипажей, ни шляпок она не любила, и даже в Москве, где было у нее пропасть знакомых, она выезжала в дрожках, и когда появились пролетки, то в пролетке — в том же тюлевом чепце на голове, который снимала, как только входила в гостиную. Она не получила хорошего образования и даже по-французски говорила плохо, но у нее был природный ум, и между друзьями своими она считала Жуковского, Гоголя, Киреевских и Аксаковых. С первыми двумя она была в постоянной переписке.

Набожная до чрезвычайности, она соблюдала все постные дни, никогда не пропускала ни одной службы и читала книги только религиозного содержания, и в то же время у нее было какое-то поклонение к моему отцу, хотя она знала, что он человек неверующий. Зная это, она считала его едва ли не лучшим христианином во всем мире. До самой своей смерти она писала ему непременно раз в неделю. Она была очень добра, готова была объехать весь город, чтобы похлопотать о нуждающемся, хотя и мало известном человеке, но о сделанном ею добре она никогда не говорила никому ни слова.

Вспыльчива она была до невозможности, но я никогда не слыхал и никогда не видел, чтобы она на кого-нибудь из прислуг подняла руку. Она обыкновенно вспылит, разбранит и сейчас же попросит прощения. Чем делалась она старее, тем становилась все сварливее и сварливее, но мы с братом были уже тогда большие, да и не жили с ней вместе, так что, при горячей притом любви ее к нам, у нас не было с ней никаких неприятных столкновений. Только иногда она, бывало, обратится ко мне с жалкими словами насчет моего безверия, которое при ее глубокой набожности доставляло ей большое горе. «Ты меня страшно огорчаешь, — говорила она, — тем, что ни во что не веришь».— Вы меня тоже страшно огорчаете тем, что верите, — отвечал обыкновенно я ей, — и все-таки продолжаете верить. — Всякий раз она рассмеется, так казалось ей всегда забавным мое огорчение — и разговор о вере у нас прекращался сейчас же.

Гораздо труднее мне очертить лицо моей матери. Она мне всегда казалась совершенством, и я без глубокого умиления и горячей любви не могу и теперь вспоминать об ей. Может быть, моя любовь, мое благоговение перед ней преувеличивают ее достоинства, но я не встречал женщины лучше ее.

Она была совершенная красавица, замечательно умна и превосходно образована. Ее разговор просто блистал, несмотря на чрезвычайную простоту ее речи.

Но все это было ничего в сравнении с ее душевною красотою. Я не встречал женщины, которая была бы добрее ее. Она готова была отдать все, что у нее было, чтобы помочь нуждающемуся, нередко просиживала ночи у больных, иногда почти ей неизвестных (у нас в доме нередко находили приют бедные, бесприютные женщины), но требующих тщательного присмотра, сама перевязывала раны, до такой степени отвратительные, что я не мог даже на них и смотреть. Но были несчастия, не требовавшие ни денежной помощи, ни присмотра; она всегда являлась и здесь утешительницей, и действительно умела поднять человека, упавшего духом и близкого к отчаянию.

500 душ и 400 десятин было в то время состояние, при котором можно было жить хорошо. Кроме того, брат моей матери присылал ей деньги, когда она в них очень нуждалась; однако же, очень часто случалось, что полученные деньги все раздавались, и в доме не оставалось ни гроша. Никакие лишения, впрочем, не были тяжелы моей матери.

Она любила изящную обстановку: ей нужно было все или ничего. Она могла долго носить одно и то же платье, но если заказывала новое, то всегда в лучшем и поэтому самом дорогом магазине. Ежели она покупала для дома какую бы то ни было безделицу, эта безделица была всегда артистическая вещь. Ежели она хотела кому что-нибудь подарить на память, то она не покупала подарок, а заказывала его и дарила такую изящную вещь, какой не бывает в продаже. Все добро, которое она делала, делала она не потому, что этого требует религия или по убеждению, что хорошо делать добро, но просто без всяких рассуждений, потому что не могла видеть человека в нужде и не помочь ему.

Она была религиозна, но без всякого ханжества, без особого уважения к обрядам, выше которых она ставила истинное христианское чувство, чувство любви к ближнему. Все люди были для нее равны, все были ближние. И действительно, она одинаково обращалась со всеми, был ли это богач, знатный человек или нищий, ко всем она относилась одинаково. С независимым характером, какие встречаются редко, она при всей своей снисходительности и мягкости никому не позволяла наступать себе на ногу, да редко кто на это и отваживался, потому что ее тонкая, но острая насмешка сейчас же заставляла человека отступить в должные границы.

В то время произвола ее глубоко возмущало всякое насилие, она высказывалась горячо и прямо, с кем бы ей ни приходилось говорить. Очень веселого характера, она любила удовольствия и общество и оживляла самых скучных людей своей веселостью. Прислуга и простой народ любили ее чуть не до обожания...

Когда мой отец был арестован в Москве, бабушка послала верного человека в смоленское наше имение привезти оттуда бумаги отца. Когда там сделали обыск, бумаги были уже в деревне, у бабушки, которая, зная их опасную важность, хранила их под полом своего кабинета, чтобы передать их отцу, когда он

вернется из ссылки. Незадолго до смерти, боясь, что бумаги эти попадут кому-нибудь в руки, она сожгла их. Никто этой тайны не знал, кроме Якова Игнатьевича. Мне он рассказал об этом только после смерти бабушки...

Н. В. БАСАРГИН[1]

Иван Дмитриевич Якушкин по своему уму, образованию и характеру принадлежал к людям, выходящим из ряда обыкновенных. Отличительная черта его характера была твердая, непреклонная воля во всем, что он считал своею обязанностью и что входило в его убеждения. Будучи предан душою всему прекрасному, всему возвышенному, он был отчасти идеалист, готовый жертвовать собою для пользы ближнего, а тем более для пользы общественной. О себе он никогда не думал, нисколько не заботился ни о своем спокойствии, ни о своем материальном благосостоянии. В последнем отношении он доходил даже до оригинальности.

Имея очень ограниченные средства, он уделял последние на помощь ближнему, и во все время жительства своего в Сибири не мог завести себе даже шубы. В Ялуторовске, без всяких средств он вздумал завести школу для бедного класса мальчиков и девиц и одною своею настойчивостью, своей деятельностью и, можно сказать, сверхъестественными усилиями достиг цели. Для этого он в течение 10 лет должен был бороться не с одними надобностями, но и с препятствиями внешними. Правительство строго воспрещало, чтобы кто-нибудь из нас имел влияние на воспитание юношества. За этим предписывалось наблюдать местным властям, от которых нельзя было скрывать его участие. Начались доносы, следствия, происки недоброжелателей из местных чиновников, смотревших на нас, как на порицателей такого порядка, с которыми были нераздельно соединены их выгоды и их значение. Все это надобно было терпеть и кое-как улаживать. К чести высших губернских властей должно сказать, что они в этом случае были на стороне полезного дела и хотя явно не могли защищать того, что касалось до нас, содействовали намерениям Якушкина и одобряли его прекрасную цель. Вскоре оказались благодетельные следствия заведенной им школы. Простой народ с радостью отдавал в них своих детей, которые кроме рукоделия и первоначального научного образования получали тут и некоторое нравственное воспитание.

Якушкин целые дни проводил с учениками и ученицами, сам учил их, наблюдал за преподавателями и их руководил. Часто даже помогал бедным из своего тощего кошелька и нисколько не затруднялся просить у каждого имеющего способы помочь нуждам школы. Пользуясь общим уважением, он воспользовался этим, чтобы где только возможно приобретать материальные средства для осно-

ванного им заведения. Пример его подействовал и на высшие местные власти. В Тобольске и Омске начальство завело подобные женские учебные заведения, которые по значительности своих средств получили и большее развитие. Ялуторовская школа, несмотря на бедные свои способы, не только существовала во все время нашего пребывания в Сибири, но и теперь даже продолжает существовать под ведением местного училищного начальства. Можно положительно сказать, что общественное женское образование низших классов народонаселения Тобольской губернии многим обязано И. Д. Якушкину.

В частных сношениях он отличался замечательным прямодушием и был доверчив, как ребенок. Будучи весьма часто обманут, он никогда на это не жаловался; горячо вступался за хорошую сторону человеческой природы, не обращал никакого внимания на худую, всегда заступаясь за тех, кто нарушил какой-нибудь нравственный закон, приписывая это не столько испорченности, сколько человеческой слабости.

Одного только не прощал он и в этом отношении был неумолим. Это — лихоимство. Ничто в глазах его не могло извинить взяточника. Конечно, в этом случае он иногда противоречил самому себе и своему снисхождению к остальным недостаткам человечества. Но именно это-то и служит доказательством, что суждения его не были плодом [не]обдуманной и принятой без убеждения мысли. К этому надобно присоединить, что он любил горячо спорить и всегда готов был вступиться за того, кто не мог или не умел себя защищать. Были в нем также и недостатки, но они еще более выказывали прочие его достоинства.

Он был большой систематик и доходил в этом отношении иногда до упрямства. Приехавши в Ялуторовск, он остановился на прескверной квартире и прожил в ней двадцать лет, именно потому, что все советовали ему переменить ее, а ему хотелось доказать, что можно жить во всяком жилище. Не раз он бывал даже от того болен, но никогда не признавал настоящую причину и не любил, когда ему напоминали об ней. Пришло ему также в голову, что полезно купаться в самой холодной воде,— он вздумал испытать это на себе и отправлялся каждый день на Тобол в ноябре, даже, месяце, при 5 и 6 градусов морозу. Выйдет бывало из реки синий, измерзший, с сильною дрожью и уверяет, что это чрезвычайно приятно и полезно. Впрочем, раз простудившись жестоко и получив горячку, он принужден был отказаться от этого удовольствия, хотя и не сознавался, что причиной болезни было осеннее купанье.

Возвратившись в Россию к сыновьям своим, он прожил только несколько месяцев. Главной причиной его кончины было невнимание и неизвинительное равнодушие местного московского начальства. В Москву, где в то время служил его сын, он приехал зимой 1854 г., надеясь тут отдохнуть от дальней дороги и поправиться.

Е. П. ОБОЛЕНСКИЙ [1]

Наше знакомство началось с 1827 года, в начале которого, как мне помнится, он привезен был в Читинский Острог [2], где мы размещались, в числе ста человек или немного менее, в четырех довольно больших комнатах, с большим двором, внутри частокола. Довольно холодный при первом знакомстве, он не привлекал в себе тою наружною ласкою, которая иногда скрывает сердце холодное, но влечет невольно к тому, который желает нравиться. В нем этого желания не было: он умел любить и любил искренно, верно, горячо; но никогда не хотел ничем наружным высказать внутреннее чувство; эту черту характера он сохранил до конца своей жизни.

Находясь между столькими людьми, в тесном пространстве, весьма естественно, что все общество разделилось на несколько кружков, составленных большею частью из тех лиц, которых дружеские связи начались с юношеских лет. Но общая идея, общее стремление к одной и той же цели давало каждому лицу тот живой интерес, возбуждало то сочувствие, которое составляло из стольких лиц одну общую семью. Это чувствовалось в ежедневных близких сношениях, в невольных столкновениях друг с другом и отражалось в каждом более или менее отчетливо.

В этой большой семье, где юноши 18- и 20-летние ежечасно находились в столкновении с людьми пожилыми, которые могли бы быть их отцами, ни одного разу не случилось видеть или слышать не только личное оскорбление, но даже нарушение того приличия, которое в кругу людей образованных составляет одно из необходимых условий жизни общественной. Мирно текла наша жизнь среди шума желез, которыми скованы были наши ноги. Не без пользы протекло это время для Ивана Дмитриевича: он умел возбудить в юношах, бывших с нами, желание усовершенствоваться в познаниях, ими приобретенных, и помогал им по возможности и советом, и наставлением. Часто по целым часам хаживал он с юным Одоевским и возбуждал его к той поэтической деятельности, к которой он стремился.

В 1830 году мы совершили 600-верстный поход и переведены были в Петровский Завод, где размещены были каждый в отдельном номере, т. е. комнате, в которой было 9 шагов по диагонали в длину и 6 шагов в ширину; каждые пять номеров с общим коридором составляли отделение. Не помню, с самого ли начала, или впоследствии, но мы с Иваном Дмитриевичем занимали две оконечные комнаты; я занимал 12-й, а он 16-й номер в том же коридоре. Здесь мы провели 9 лет [3]. Каждый из нас избрал род занятий, сообразный с его умственным направлением, и отдельная жизнь каждого не лишала нас того единства в общем, которое постоянно продолжалось и продолжается доселе. Иван Дмитриевич занялся сначала математикой, потом естественными науками. Здесь родилась у него мысль о упрощении способа чертить географические карты, здесь состав-

вил он свои многотрудные таблицы, где долгота и широта мест переложены по новому его способу, с градусов на версты и сажени.

Наши сношения в течение этого времени были теснее, ближе. Жизнь под одной кровлей, ежедневный общий чай, обед и невольное сближение в одном и том же коридоре, беседы о предметах более или менее близких сердцу каждого из нас произвели тот обмен мыслей и чувств, который утвердил довольно полное и короткое знакомство с личностью каждого из нас. О предметах близких его сердцу — о молодой жене, о детях — он редко говорил и не любил, чтобы заводили о них речь; но иногда сам невольно высказывал тайну сердца. Таким образом, выслушал я от него о первом воспитании Вячеслава, о том, каким образом он с малолетства старался ему внушить идею о правах собственности. каким образом, отдавая ему полную волю делать со своими игрушками все, что ему бы ни вздумалось, он наглядно убеждал его, что, если он не касается его собственности — игрушек, то и он с своей стороны не должен касаться того, что ему принадлежит, т. е., что лежит на его письменном столе и тому подобное. Многое он говорил и о жизни семейной, и часто разговор его заставлял задуматься и искать во внутренней его жизни разгадки психического настроения, по которому он поступал в важных случаях жизни. Таким образом, доселе остался для меня неразгаданным один случай в его жизни, который замечательно характеризует его личность.

Он мне говорил, что вскоре после того, как он вышел в отставку из старого Семеновского полка, он временно был в Москве и жил (сколько мне помнится, но не ручаюсь за верность фамилии) у старого своего товарища по полку, кн. Щербатова. Тут он сблизился с его сестрой и полюбил ее от всего сердца. Любовь была взаимная. Брат был в восторге, надеясь видеть счастие двух существ, равно им любимых. Казалось, что близкое счастие должно было увенчать первую чистую любовь нашего Ивана Дмитриевича, который хранил свято чистоту своего девства, вопреки всех соблазнов и обольщений как столичной, так и заграничной жизни. Но он решил иначе: рассмотрев глубоко свое новое чувство, он нашел, что оно слишком волнует его; он принял свое состояние, как принимает больной горячечный бред, который сознает, но не имеет силы от него оторваться,— одним словом, он решил, что этого не должно быть, и затем уехал и тем окончил первый истинный роман его юношеской жизни [1].

Тогда он уже принадлежал Тайному обществу и вскоре по его поручению ездил на юг, был у Пестеля, у Бурцева, был в Киеве, со всеми толковал, во всех возбуждал ревность к одной цели и приглашал на общее совещание в Москве. В это время, кажется, познакомился он и сблизился с Александром Сергеевичем Пушкиным и понял его высокую личность как поэта. Знаменательный съезд в Москве избранных членов Тайного общества с юга н с севера, наконец, состоялся. Вы знаете из собственных его слов о предмете совещания, который должен был положить твердое основание и цели союза и средств к достижению цели. Иван

Дмитриевич перестал видимо принадлежать Тайному обществу: он не шутил ни своим словом, ни своей речью,— и потому отступил, когда увидел, что его решимость принята, как прекрасный вызов высокого самоотвержения, но что он напрасно высказал себя.

Между тем, видимо отстранив себя лично от Тайного общества, он не переставал ревностно содействовать его целям. Но он находил пищу своей деятельности и любви к добру везде, где случай открывался действовать с некоторой пользой. Таким образом, голод, свирепствовавший в 20-м и 21-м годах в Смоленской, Витебской и Могилевской губерниях, вызвал его деятельность на пользу страждущих ближних. Собранная сумма от благотворителей была вручена ему, и он в сотовариществе с М. Н. Муравьевым (или с другими, не помню) ездил к голодным братьям и раздавал им пищу или деньги на покупку пищи.

Многое и многое вспоминается и теперь из его бесед, и с любовью переносится мысль к его характеру — любящему, но с тою твердостью правил и убеждений, которыми он неумолимо показывал себя сам в самых близких отношениях его в жизни. Зная близкую его привязанность к кн. Трубецкой, к Наталье Дмитриевне, к Александре Григорьевне Муравьевой, зная, как близко к сердцу он принимал всякое горе их, всякую болезнь, и видев не один раз, сколько бессонных ночей он проводил у их изголовья, когда мужья их изнемогали от усталости,— как разгадать, почему он не позволял Настасье Васильевне приехать к нему и разделить с ним и горе, и радость. Тут замечательна полнота убеждения, которая вынудила его пожертвовать и щастием своим, и щастием жены — для пользы Вячеслава и Евгения. Он уверен был, что воспитание и любовь матери — первые и лучшие проводники всех лучших чувств.— Чувство высокое, самоотвержение полное! Если я коснулся близкого вам[1] предмета — то это единственно потому, что, уважая чувство высокое, невольно воздаю ему дань полного уважения.

Но довольно о том, что вам известно лучше, нежели мне.

Мы расстались на неопределенное время. Со времени моего выезда из Петровского Завода и моего поселения в Итанце весть об нем только изредка доходила до меня через Трубецкого, с которым он изредка переписывался. В начале 1842 г., переезжая из Итанцы в Туринск для соединения с Пущиным, я заехал в Ялуторовск и нашел Ивана Дмитриевича занятым устройством первого приходского училища для мальчиков. Дело было новое, но он с обычною своею ревностью занялся делом и наконец привел к концу. С радостию встретились мы после долгой разлуки и на этом свидании решили наш переезд из Туринска в Ялуторовск. В 1843 году исполнилось общее желание, и мы соединились в ялуторовскую дружную семью.

Теперь перейду к устройству двух училищ, которые наиболее занимали полезную деятельность Ивана Дмитриевича во все время его пребывания в Ялуторовске.

Желание истинное быть полезным — вот первое и лучшее основание, положенное Иваном Дмитриевичем для созданных им училищ. Но на этом основании нужно было много трудов для преодоления многих препятствий в исполнении. Первым помощником Ивана Дмитриевича был почтенный и многоуважаемый протоиерей Степан Яковлевич Знаменский. Сблизившись с ним, Иван Дмитриевич нашел в нем истинного ценителя его доброго намерения, готового и словом и делом быть ему помощником. С этой надежной опорой он начал изыскивать способы к осуществлению своего намерения.

В Ялуторовске находился тогда купец Иван Петрович Медведев, человек предприимчивый, который завел первую стеклянную фабрику в 17 верстах от Ялуторовска. Его жена Ольга Ивановна (впоследствии Басаргина) привлекала к себе всех тех, которые умели ценить ее сердечную доброту. Иван Дмитриевич пользовался расположением Ивана Петровича, который не мог не уважать в нем и его образованность и то высшее общественное положение, которое давало его слову тот вес, от которого зависел успех предпринимаемого им дела. Иван Петрович сам предложил свое содействие для устройства училища и на свой счет перевез строение из Коптюля, которое можно было обратить в здание училища. Не сомневаясь более в успехе, протоиерей наш сделал представление по своему начальству об устройстве приходского училища, и вскоре последовало архипастырское благословение на сооружение здания внутри церковной ограды ялуторовского соборного храма и на открытие приходского училища, где кроме детей крестьян, мещан и купцов г. Ялуторовска могли приготовляться к семинарскому учению дети священно-церковнослужителей ялуторовского духовного ведомства.

Скоро доброе и полезное дело было приведено к желаемому концу, дом выстроен, и все здание приспособлено к помещению училища по ланкастерской методе. Явились деньги, явились помощники, и в 184[2] году училище открыто. Тогда началась та неутомимая и усидчивая деятельность Ивана Дмитриевича, которая была выражением не только его доброго желания быть полезным, но и той твердой воли и того постоянства в достижении цели, без которых ничто истинно полезное никогда не совершалось.

В Ялуторовске о методе взаимного обучения никто не имел понятия. Надобно было все создать — и учителей, и учеников. Дети купцов, мещан и даже священников недоверчиво смотрели на училище, в котором ученики размещались по полукружиям и обучали друг друга по таблицам. Скоро, однако же, первые препятствия были преодолены. Первые таблицы Греча оказались в скором времени недостаточными для изучения тех предметов, которые должны были входить в курс учения. Постепенное распространение учебных предметов потребовало новых таблиц, которые были изготовляемы Иваном Дмитриевичем. Таким образом, постепенно составил он таблицы первой и второй части грамматики — с тетрадями вопросов для старших в круге, или для монитеров. Затем следовали таблицы первой и второй части арифметики. Для изучения географии им же

начерчен глобус по новейшим географическим исследованиям; глобус имел в диаметре едва ли не $^3/_4$ аршина. Под его руководством составлены были таблицы первой части латинской и греческой грамматики — для детей духовного ведомства, которые готовились в семинарию. Вслед за тем составлены Иваном Дмитриевичем таблицы русской истории, протоиереем Знаменским составлены таблицы для катехизического учения и потом для толкования литургии и наконец таблицы для священной истории. Постепенно расширился круг познаний учеников, Иван Дмитриевич присоединил к математическому классу первые четыре правила по алгебраическим знакам с решением уравнений первой степени и, наконец, черчение всех математических фигур и вычисление простых машин, т. е. рычага, клина, блока и зубчатого колеса.

Нельзя было не удивляться его постоянному усердию и ревности к усовершенствованию и преуспеванию училища. Ежедневно в продолжение 12-ти или 13-ти лет приходил он в училище в начале 9 часа утра и оставался там до 12. После обеда тот же урок продолжался от 2 до четырех часов. Неутомимо преследуя избранную им цель, он никогда не уклонялся от обязанностей, им на себя наложенных, и хотя дьякон и соборный причетник, им приготовленные, могли бы его заменить, он никогда не доверял им дело обучения; он не надеялся в них найту ту нравственную силу, ту ревность, которые необходимы для успешного достижения цели. В этом он не ошибался. Едва ли кто мог итти не только наравне с ним, но и следовать за ним было весьма трудно.

Не утомившись долгими трудами, Иван Дмитриевич задумал устроить подобное училище для девиц. После нескольких переговоров и совещаний с людьми благомыслящими, открылись способы к осуществлению желания,— явилась сумма, в Коптюле куплен сарай и перевезен в город. Работа закипела, и в 18[46] году открыто училище для девиц, под покровом и с содействием того же достойного протоиерея Степана Яковлевича Знаменского. В этом училище девицы, кроме обыкновенного учения: грамматики, священной истории и истории российской, географии и арифметики, занимались три раза в неделю рукоделием, вышиванием и проч. Эти работы, усовершенствуясь постепенно, послужили впоследствии к умножению способов школы. Продажа изделий воспитанниц доставляла ежегодно сто и более рублей серебром ежегодного дохода.

Между тем общество купеческое и мещанское г. Ялуторовска, видя несомненную пользу, приносимую училищами, решилось пожертвовать для поддержания оных частью суммы из городских доходов, и таким образом с 18[48] года ежегодно в пользу училища отделялось до 200 рублей серебром, из которых в вознаграждение за труды старшие учителя стали получать до 70 рублей в год жалования, младшие же получали соразмерную с их трудами плату. Таким образом, устройство училищ получило твердое основание, и есть надежда, что и в будущем времени они будут рассадниками, откуда уездное училище получает ежегодно лучших учеников. Девицы же после двухлетнего курса получат то образование,

которое в кругу семейном послужит им для обучения детей и первоначального развития их способностей. Неоднократно быв на экзаменах девиц, я был удивлен орфографическою правильностью их письма под диктовку, ясностью изложения в сочинениях на заданные темы, довольно трудные, напр[имер] ответ на вопрос: «Изложите в кратком обзоре главные действия Петра Великого». Ученица, которая в полчаса времени сделала этот обзор, изложила и поездку за границу, и шведскую войну, и полтавскую битву, и войну турецкую, и основание Петербурга. Все было упомянуто языком ясным и по возрасту девицы — довольно точным и верным. Нельзя было не удивляться их географическим познаниям: по немому глобусу девицы, кончавшие курс, так же свободно называли все главные реки, города, заливы и горы китайского и японского государств, как и всех прочих частей света.

Заключу мои воспоминания словом сердечной искренней благодарности и любви чистой к памяти достойного Ивана Дмитриевича.

В жизни каждого нравственно развитого и образованного человека в большей или меньшей степени отражается и дух времени, в котором он живет, и сознание нравственных требований того общества, среди которого он живет. В Иване Дмитриевиче, как одном из первых основателей Союза благоденствия, дух времени отразился в деятельном участии, которое он принял в составлении Тайного общества. Почему в то время тайна была одним из условий для действий нравственных, имевших первоначальною целью не ниспровержение существовавшего порядка вещей, но единственно улучшение нравственное всех слоев общества посредством развития — и умственного и нравственного — и распространения идей истины и правды, заглушаемых большею частию своекорыстными видами лиц правительственных, глубоким невежеством управляемых и общим равнодушием ко благу общему? Почему, повторяю, тайна была одним из необходимых условий для действия членом Общества? Другого ответа не нахожу, кроме одного — это было в духе времени.

Но и дух времени имел свою законную причину. Ни одно общество, ни одно правительство не сознавало и не могло сознавать того зла, которое таилось и в учреждениях, но еще более в совокупности и взаимной связи всех правительственных лиц, во взаимных их отношениях и, наконец, в их отношениях к массе общества — к управляемым. Это сознание недоступно лицам правительственным, потому что их правительственные действия никем не контролируемы, но, напротив, переходя от высшего лица к низшим, постепенно искажаются согласно с нравственною и умственною степенью тех лиц, через которые они проходят, касаясь, наконец, всею своею тяжестью массы народа, которая одна и может судить по личному болезненному или благотворному ощущению о той массе зла или добра, которая пала на нее с высших степеней управления.

Но народ в совокупности не имеет ясного понятия о том, что он чувствует — добро или зло. В массе его ощущений он чувствует то, что относится до него

лично,— и совокупность этих ощущений, более или менее ясных, составляет то, что мы называем общим народным голосом, но еще не мнением народным, выражение которого требует большего или меньшего ясного понимания и суждения и умственного развития, не всегда доступного массе. Но сознание нравственных требований народа, ощущаемое более или менее ясно во всех слоях общества, должно было найти себе орган и, как мне кажется, оно нашло его отчасти в членах Общества, примыкавших одной своей стороной к народу, а другой — к сословию правительственному. По сочувствию оно отражало нужды и требования народные: по общественному положению оно прикасалось к правительственным лицам. Если бы сочувствие, ими сознаваемое и ощущаемое, могло бы быть передано лицам правительственным, тогда не было бы нужды в тайне, но этого не было и не могло быть.

Вот почему Тайное общество было необходимо, как выражение более или менее ясное того, что в народе было ощущаемо и чувствуемо. Не скажу, чтобы в числе лиц правительственных не было лиц с направлением благородным, с желанием добра. Многие из них чувствовали зло, желание его искоренить; но оно пустило столь глубокие корни, что, исторгая один из них, должно бы потрясти все общественное здание. Вот почему и правительственные лица, покоряясь злу неизбежному и замечая его проявления, карали только то, которое видимо являлось на свет божий. Итак, одно проявление зла, т. е. его цвет, был истребляем, но большею частию в то время, когда оно успевало уже семенами оплодотворить окружавшую его землю.

Что же оставалось делать людям, более или менее сознавшим зло, которое проявлялось вокруг них и в них самих и которое росло беспрепятственно с каждым днем? Они должны были теснее соединиться между собою и, в сомкнутом своем круге, развивая по возможности семена добра, стать наконец твердым оплотом в защиту истины и правды. С постепенным расширением их собственных понятий расширялся и круг их действия. Долго он не принимал того характера политического единства, который впоследствии послужил им в укоризну и осуждение. Но и тут надобно сказать, что и политический характер, принятый Обществом, подчинялся нравственному, принятому в основание Общества.

Но обращусь к Ивану Дмитриевичу. Если можно назвать кого-нибудь, кто осуществил своею жизнью нравственную цель и идею Общества, то, без сомнения, его имя всегда будет на первом плане. Едва вступил он в управление имения, как мысль об освобождении крестьян если не была приведена в исполнение, то единственно потому, что встретила неодолимое препятствие в Петербурге, где требовали для исполнения такие условия, которых невозможно было исполнить. Но в нем готовность и решимость была полная. Если вспомним все течения его жизни, то увидим, что он преследовал везде одну и ту же идею — идею пользы и добра, которую видимо осуществил в училищах, невидимо же в беседах, в жизни нравственной, в преследовании порока и всего того, что составляет

нравственное искажение общества. Не быв облечен властию, он мог противопоставить пороку одно слово, но оно имело силу, подкрепляемую примером жизни нравственной и деятельной на пользу общую...

П. Н. СВИСТУНОВ[1]

Скромность следует приписать в Якушкине тому, что он собою никогда не был доволен. Он так высоко ценил духовное начало в человеке, что неумолим был к себе за малейшее отступление от того, что признавал своим долгом, равно и за всякое проявление душевной слабости. Несмотря на то, я редко встречал человека, который бы оказывал ближнему столько терпимости и снисходительности...

Деятельность И. Д. Якушкина на поприще ученом и учебном тем более заслуживает уважения, что здоровье его было крайне расстроено. Во время похода 12-го года он занемог лихорадкой, от которой никакими средствами не мог избавиться. Она неотступно сопутствовала ему до конца жизни.

В числе его занятий помяну о гальваническом аппарате, им устроенном, посредством которого он весьма удачно занимался гальванопластикой. В Ялуторовске проживал механик-самоучка, мещанин Росманов, которому И. Д. пояснил теорию маятника и передал несколько научных сведений о законах равновесия и движения тел. Этот Росманов устроил электрическую машину, гальваническую батарею Бунзена, гигрометр, пружинный термометр, часы стенные изящной работы, также и ветромер, заказанный ему И. Д. Якушкиным. Этот ветромер, устроенный на башне, вышиной в несколько сажен, помещался во дворе дома, занимаемого И. Д., в котором он прожил 20 лет. Помощью стрелки, ходившей по циферблату и приводимой в движение системой колес и пружиной, на которую давил флюгер, сила ветра определялась пройденным стрелкой расстоянием по циферблату в данный промежуток времени...

По поводу этого ветромера был следующий случай, не лишенный комизма. Вследствие знойного и сухого лета подгорные крестьяне не без основания опасались неурожая и заказывали молебны о дожде. Тогдашний городничий Вл[асов][2] из числа чиновников безупречных и потому недоброжелательствующих нам (хотя, подобно стоокому Аргосу, мы все видели, но по принятому нами правилу о всем молчали), явился однажды к И. Д. предупредить его об опасности, которой он подвергается. Распространилось будто бы между крестьянами поверье, что он, будучи чернокнижником, с высоты своей башни разгоняет облака, чем и наводит засуху. Городничий заявил перед ним свое опасение о том, что крестьяне могут вломиться к нему во двор, свалить его башню и даже покуситься на его жизнь. И. Д. отвечал ему очень спокойно, что это его не касается, потому что за целость его отвечает перед правительством городничий и поэтому если взбунтовавшиеся

крестьяне его убьют, городничему придется за то поплатиться, следовательно предоставляется ему унять крестьян, как знает, убеждением или угрозой. Дело тем и кончилось...

При таких свойствах ума и сердца он не мог оставаться без влияния на молодых товарищей своих; и точно, он равно сочувствовал и верующим, и неверующим, лишь бы признавал в них искренность и прямодушие, а потому доверившиеся ему прибегали к нему за советом во время скорби и упадка духа, и он умел их утешить и ободрить. От душевного недуга, говорил он, надо лечиться напряжением умственного труда и усердным исполнением нашего долга в отношении к ближнему. Своим же примером подтверждал он действительность врачебного средства, им предлагаемого.

Хотя уважал и любил его, я нисколько не думаю писать ему панегирик, но желаю ознакомить читателя, дабы тем определить степень доверия, какую заслуживают составленные с его слов Записки. Зная его добросовестность, можно за то поручиться, что не только он не был способен выдавать ложь за правду, но и не передал бы факта или сведения, в подлинности коих предварительно не удостоверился...

М. С. ЗНАМЕНСКИЙ[1]

I

(По неизданным материалам)

В конце 1839 года из Тобольска назначен был в Ялуторовск протоиереем молодой священник. Прибыв в Ялуторовск и ознакомившись с своими прихожанами, он обратил внимание на честную до аскетизма личность Якушкина и просил его нравственной поддержки: быть строгим судьей насчет даров и приношений.

Для местного ялуторовского чиновного мира И. Д. Якушкин, живший бедно, в одной перегороженной на-четверо комнате, избегавший знакомства чуждых ему по уму и развитию местных властей, был субъектом совсем неинтересным, а для простого ялуторовского люда он был колдун, собирающий травы по полям (его ботанические экскурсии) и лазящий зачем-то на устроенный им столб (изобретенный им ветромер). Но, не сходясь с чиновным миром, он любил сходиться с народом и особенно с крестьянскими детьми; детей он особенно любил; сибирские бойкие, находчивые ребята очень нравились ему, и мысль дать им средства поучиться, устроить для них школу была его мечтою, но это и оставалось мечтой до встречи и знакомства с новым протоиереем, Якушкин с свойственною ему проницательностью угадал в новоприезжем дорогого человека для осуществления своей заветной мечты и старался сойтись с ним поближе. «Якушкин,— пишет

Фон-Визина ялуторовскому протоиерею,— не то что жалуется, а говорит в письме своем ко мне, что с месяц как не видел уже вас, и что потому к вам не ходит, что полагает, что вы имеете какие-нибудь причины не видеть его; неужели это так? Уж не глупые ли слухи, что он колдун, вас останавливают? Разуверьтесь в таком случае, или вы боитесь, что ваше начальство знакомство это найдет предосудительным? Я тоже не думаю, чтобы это было так. Это было бы нехорошо, скажу прямо, в нашем положении внешнем *обидно.* Я не о себе говорю, для меня все положения равны и все равно, но говорю о тех, например, Якушкине и Муравьеве, которые ценят это. За что же их обижать понапрасну, когда они уж и без того в изгнании и не на цветочном пути? Вы не бывали в этом положении и не знаете, как трудно переносить *пренебрежение* добрых людей, которых несколько любишь и знаешь, что они добрые. Мы это испытали много раз; и право, это стоит креста порядочного... Якушкину я пишу об тебе, как полагаю, что хлопоты, нездоровье, усталость и, может быть, отчасти лень — причиною твоих редких посещений, а не что иное; по крайней мере, мне так кажется по тому, как я тебя знаю; уверена, что если бы что другое было, то не скроешь от меня...»

Но в то время, как писалось это письмо, знакомство переходило уже в дружбу и шли горячие беседы о приведении якушкинской мечты в действительность: план преподавания со всеми подробностями был уже готов: это — способ взаимного обучения по методе ланкастерской.

II

Из сибирских воспоминаний[1]

В дверях... стояла фигура неизвестного господина и с добродушной улыбкой смотрела на нас. Это был господин в легонькой шубе с коротеньким капишоном, в остроконечной мерлушечьей шапке на маленькой голове. По бокам его острого с горбом носа блестели темные, быстрые глаза; улыбающийся красивый рот его обрамливался сверху черными усами, а снизу маленькой, тупосрезанной эспаньолкой. Он не походил ни на духовного, ни на чиновника,— единственно пока знакомые мне два типа.

Заметив, что глаза мои впились в него, он снял свой колпак и вошел в нашу комнату.

— Устраиваетесь? — спросил он, целуя моего отца, в то время как отец спешил вытереть руки.

— Да, понемногу.

— Нам наши много писали об вас хорошего, мы верим им и очень рады. Хороший человек на нашем хорошем свете вещь не лишняя.— И он улыбнулся.— А это сын ваш?

— Да.

— А я вам еще не сказал своей фамилии, я Якушкин.— Он снял свою шубу, подошел ко мне, взял сухими, горячими руками за голову, нагнулся и поцеловал в лоб.

Я отличался колоссальной дикостию, и появление всякого чужого человека служило мне предлогом с быстротою молнии уноситься в отдаленную комнату. Этого, должно быть, боялся, ожидал отец мой в настоящую минуту, потому что положил на мое плечо свою белую руку, но, к его удивлению, бегства с моей стороны не последовало. Напротив, я не отрывал глаз от посетителя; все мои смутные понятия о черной даме, о ее друзьях, добрых людях, несчастных потому, что были добры, казалось олицетворились в этом сухом, сутуловатом человеке в серой куртке со стоячим воротником, сверх которой была надета широкая черная тесемка со спрятанными в боковом кармане концами. Брюки из той же материи, как и куртка, оканчивались такими светлыми сапогами, каких я еще не видал ни у кого.

Я не переставал его рассматривать во все время, пока он говорил с отцом. Гость с первого же разу понравился мне...

Гость встал, погладил меня по голове, поцеловал крепче прежнего и сказал, что он скоро познакомит меня с хорошими, умными детьми.

— Однако я не буду вам мешать теперь, устраивайтесь; а пока до свидания.— Он надел свою шубку, надвинул на лоб свою остроконечную барашковую шапку и вышел...

Пришлось мне обновить свой новый, блестящий костюм... Причина этого необыкновенного наряжения был Якушкин, пришедший, чтобы увести меня в гости — к детям. В ожидании меня он сидел и весело разговаривал с отцом. Мне сделалось почему-то вдруг страшно... пусть бы завтра. Но отступление было заперто; в руках моих была шапка, и руки сестры выдвинули меня прямо к гостю.

— А вот и он: здравствуй! — говорил улыбаясь Якушкин, целуя меня опять в лоб.— Ты готов? пойдем. Прощайте,— обратился он к отцу,— а о школе мы с вами потолкуем основательнее... вещь необходимая.

Неопределенные мысли волновали мою голову в то время, как я шагал по широким улицам Ялуторовска. Якушкин, нагнав какого-то мужика с медными подсвечниками, толковал с ним, рассказывая ему, как бы можно было сделать эти же подсвечники и лучше, да и обошлись-то они бы подешевле; тот с ним спорит:

— Чудно вы говорите, Иван Дмитриевич, право чудно, так-таки из синего купоросу и сорудуете медную вещь: без огня, значит.

— Ну, а ты зайди ко мне, так я тебе покажу эту штуку... штука не мудреная.

— Непременно завтра же зайду, посмотрю, посмотрю,— говорил, усмехаясь и приостанавливаясь в перекрестке, медяк: — а теперь прощенья просим.

И он пошел прямо, а мы повернули в переулок. Жутко мне было подходить к сереньким воротам серенького небольшого дома с большими стеклами в окнах,

притом же и совесть мучила, что я обновляю свой новый костюм, идя не в церковь, а в гости.

В длинной, с одним окном, передней встретили нас веселенькая девочка и низенький, толстенький господин с трубкой во рту и в таком же костюме, как и Якушкин. Вся его фигура напомнила Наполеона первого...[1].

Молодое поколение, занятое беседой о такой подирающей по коже материи, не заметило, что герой важного рассказа, с маленьким чемоданчиком за плечами, с небольшим заступом и облитый с одной стороны ясным месяцем, усталыми шагами приближался по окраине озера к беседующим. Это был Якушкин, в один из зимних вечеров несшийся по льду и спугнувший молодцов, поивших коней. Но если бы Ивана, под присягой, спросить: не Якушкина ли он тогда видел? то он мог бы, по чистой совести, сказать, что нет. Так эффектен и могуч был тогда на коньках Якушкин и таким сгорбленным, в своей серой курточке, шел он теперь по берегу, опираясь на свой маленький заступ.

Неожиданное появление его между мальчуганами произвело большой эффект: струсили все. Золотушный Митрий, прошептав: «колдун», поспешил к деревне; прочие замолкли и испуганно смотрели на подходящую фигуру. Здоровенные ребята, настроенные беседой на чертовщину, при виде Якушкина, известного в окрестных деревнях под именем колдуна, почувствовали себя скверно. Некоторым показалось холодновато, другие неожиданно припомнили, что пожалуй лаяться будут дома: засиделись, мол, до полночи,— встали с своих мест. Остались только трое — гастроном зубастый, Молотилов да Ванька. Им, очевидно, хотелось быть героями и на завтра хохотать над трусами, хотя и самим было жутко.

— А вам что же, не хочется спать? — смеясь спросил Якушкин, подсаживаясь к трио.

— Чего, спать-то? выспимся еще — не баре,— заметил Молотилов.

— Разве только барам и спать?

— А чего им больше делать,— есть да спать.

Якушкин внимательно взглянул на мальчика, добродушная физиономия которого ясно показывала, что в его словах сказывалось убеждение без всякой иронии.

— Ты грамотный?

— Нет.

— Отчего же не учишься, разве не хочется?

— Нашто нам... нас и дома дерут ладно.

— Разве непременно драть надо, чтобы грамотным сделать?

— Не поймешь, так зато... Не надо, на што нам грамота-то!

— Ты парень умный, а с грамотой-то тебя каждый купец в прикащики возьмет... Ты посмотри на наших купцов-то, все почти из деревень ребятами пошли... Честно, да хорошо будешь жить, так и сам со временем купцом будешь.

Якушкин сразу, хотя и нечаянно, попал в больное место мальчугану: ему не раз мечталась геройская жизнь, сидя верхом на лошади и таская по вспаханному полю борону. Ко́стюшка задумывался о другой, менее тяжелой и более обеспеченной жизни, и вдруг колдун узнал его заветную думушку, и пришел даже дорогу показать. Костя задумался. «Нет, трудно... не поймешь», закончил он свои размышления.

— Тебе который год?

— Четырнадцатый.

— Ну, погоди, через полгода, а может и раньше, мы выстроим у собора школу, и если твой отец тебя отпустит, так приходи... попробуй: драть там не будут...

— Отец-то отпустит.

— Ну, и кончено дело. А ты не хочешь учиться? — обратился Якушкин ласковее обыкновенного, смотря на симпатичное лицо Вани.

— Нет.

— Он в батраки нанялся,— пояснил гастроном.— Я, пожалуй, пойду, коли драть не будете; я аз... буки... до земли уж знаю.

Якушкин повеселел. Расспросив двух прозелитов о месте их жительства, он записал фамилии и пошел в город. Весело шел по длинной и пустой улице Иван Дмитриевич, так звали Якушкина. Молотилов значился в его списке уже двадцатым охотником, и все эти 20 изъявили желание сами: кто хотел поскорее узнать, какие такие люди да города есть на свете; кто мечтал о будущей писарской карьере; кто хотел поскорее научиться, как мельницы разные да машины строить. Отличаясь способностию сходиться с простым народом, Якушкин действовал на мальчуганов с разных сторон и умел показать грамоту, как двери к интересному практическому знанию. Сойдясь со вновь прибывшим протопопом, он двинул быстро свою давнишнюю мечту, и в соборной ограде был уже готов фундамент школы, не раз посещаемый будущими завербованными учениками...

Якушкин с чашкою кофе присел к протопопу.

— Наша школа растет.

— Да, двигается. К зиме можно будет и начать.

— У меня еще вчера двое кандидатов прибыло.

— К открытию-то, пожалуй, нужно будет пристройку делать: — вы сотню, пожалуй, навербуете,— сказал со смехом священник.

— Хорошо бы вашими устами да мед пить. Но дело в том, что нам с вами придется вести войну и наше новорожденное детище отстаивать энергически. Что со стороны родителей будет сочувствие, об этом нечего и толковать много... ребята тоже будут охотно заниматься,— я на это уж надеюсь. Но много придется нам перенести со стороны здешнего начальства...

Поднявшись по узенькой лестнице, какие устраиваются на пароходах и ведут в каюты, Якушкин вступил в свою комнату, более похожую на каюту, чем на комнату, и, засветив свечу, осветил всю свою каюту. Стены ее были обтянуты

черным коленкором, на котором резко выдавался в переднем углу артистической работы бюст красивой женщины,— это был бюст его жены. Между окон, над письменным столом, висели два детских портрета,— это были его дети. Над ними полочка с книгами, барометр, небольшая иконка на меди — работа старых великих мастеров Италии. Вот и все украшение Якушкинского логовища. Но входя в эту комнату, как выразился один любитель аллегорий, чувствуешь, словно заглянул в сердце самого Якушкина.

Переодевшись в халат и вязаные туфли, Якушкин подвинул к столу складной табурет и принялся за письма. Быстро бегало его перо по бумаге, листок за листком откладывался в сторону, и не замечал Якушкин, что, сев писать при свете свечи, он дописывал при розовом утре, обрисовавшем холодные, но прекрасные черты белого бюста. У ворот послышался топот лошадей и дребезжание тележки; затем стукнул калиткой широко шагающий Лилин [1]. Иван Дмитриевич, предложив ему трубку, поспешил закончить и запечатать письма, после чего вручил ему на расходы весь имевшийся в наличности капитал, и молча, с признательностью обнял Лилина. По уходе его он задул свечу и заснул сном, каким дай бог нам спать почаще...

— Вишь ты, от скворешницы дождя нет.

— Это, парень, не скворешница.

— А лешак его знает, што тако.

— Я ономнясь возил туда картофь. Тамотка Якушкин живет,— пояснил пригородный крестьянин.

— Это колдун-то?

— Какой колдун?

— А Якушкин-то: он, бают, колдун.

— Ну?

— Вон он де живет.

— Где скворешница-то?

— Кто-те скворешница... Картофь продавал, сам видел... Стрелки там на верху-то знать.

— О?

— Он при мне лазил туда... А в столбе-то, слышь, воет...

— Да кто?

— Да колдун-то

Публики прибывало. Однако мало кто понимал, о чем идет дело. Знали только, что между дождем, столбом и Якушкиным существует что-то общее...

Речь о столбе, Якушкине и дожде ходила из уст в уста и волновала базарную площадь...

Якушкин с раннего утра был занят делом: разостлав на полу своей каюты простыню, он клеил изящно приготовленный им самим глобус для будущей, быстро подвигающейся в соборной ограде, школы. Не один он трудился для нее;

Мурашев клеил картон для таблиц; Илья Яковлич, отличающийся хорошим почерком, каллиграфировал грамматику, арифметику, географию и первоначальные правила механики; Кандальцева вязала шелковые шнурки для глобуса, указок и проч. Коленкоровый чехол с кистями, для земного шара, у ней уже давно готов. Кабаньский[1] точил вешалки для детских шуб и шапок; словом, все друзья были заняты приготовлением к школе.

Якушкин с увлечением ребенка трудится над бумажной землей, и, склеив окончательно две большие чаши, он с любовью смотрит на свое произведение. Присев на колени и вытирая полотенцем свои руки, он хотел приняться за забытый им стакан чаю, но замечтался. Грезится ему, что пройдет немного годов, а в Ялуторовске и его окрестностях не останется ни одного безграмотного; умная, честная книга заменит штоф отравленной водки, и имена их, невольных временных жильцов, будут произноситься с любовию. А они, один за другим спускаясь в свою трех-аршинную квартиру, смело скажут, что делали честное дело и с связанными руками. Пусть же нарождающееся поколение, которое, во всяком случае, будет счастливее их, поведет далее святую борьбу с невежеством! Слава святому труду! — так мечтает Якушкин. Тихий ветер, подчас врываясь в раскрытое окно, колеблет лежащий на полу легкий глобус...

Тешилось и радовалось сердце Якушкина, смотря на весь этот дружный между собою сброд, так весело прибегающий ежедневно в классы, несмотря ни на какую погоду: ни на зной, ни на стужу. И еще с большей энергией принимался он с другом своим, протопопом, отстаивать свое незаконное детище, отписываясь от разных дрязг. Много, должно быть, было этих дрязг, но мы, дети, их не знали. Только раза два проносился между нами слух, что закроют нашу школу, и вешали мы головы и соображали, зачем и почему? Редкое явление, не правда ли: что мы, ребята, любили школу и учились без розги!

Ялуторовские власти, присутствовавшие при открытии школы, отнеслись сначала благосклонно, т. е. мысленно решили: плевать-де нам, тешьтесь, коли есть охота; ни тепло нам от вашей школы, ни холодно. Но оказалось, что одной власти — именно ученой, могло быть и холодно: в уездное училище перестали отдавать, даже стали брать оттуда. Предвиделся плохой исход — быстро приближалась цифра, при которой, пожалуй, начальство найдется вынужденным закрыть уездное училище. Полетел в губернию донос, что лицо, которому никоим образом нельзя доверить просвещение, обучает детей. На донос последовал запрос: как и почему? Оказалось, что обучает детей протопоп, а незаконное лицо только показало порядок, как устраиваются ланкастерские школы...

Скрипнула дверь, и в морозном облаке показалась темная фигура Ивана Дмитриевича, в своей острой шапке и в шубке с крылышками.

— А, вот они все за работой. Здравствуйте! — говорит Якушкин, освобождая усы от длинных ледяных сосулек. Поздоровавшись с отцом, он подошел к батарее, попробовал на язык проводники и посоветовал уменьшить силу батареи,

потом показал, как держать воронило, чтобы удобнее полировать выпуклые места; затем, пододвинув низенькую скамеечку, сел рядом с отцом перед печью.

— Ну, мы с вами теперь настоящие колдуны... снадобья варим... А мороз сегодня добрый!

— Я не ожидал вас!

— Решился было не выходить сегодня, да не утерпел... вспомнил, что около вас дом пустой...

— И заговорило ретивое! — рассмеялся отец: — несмотря на мороз побежали, чтобы не упустить квартиру для школы.

— Да, и нанял очень дешево. С завтрашнего дня начнем кой-какие переделки да поправки; а недели через две у нашей мужской школы будет сестрица — женская школа.

— Успеем ли так скоро?

— Да отчего же: столы и полукружия почти готовы, таблицы тоже можно взять у нашего первенца... Наши дамы торопят, — просят труда и работы. Пусть же и ведут эту школу, а мы теперь будем только архитекторы да руководители.

И они принялись толковать подробно о своей новой школе.

А. П. СОЗОНОВИЧ[1]

Басня о гибели ветромера, изобретенного Иваном Дмитриевичем Якушкиным и устроенного на высоком столбе во дворе его квартиры, от рук мещан, ночью тайком пробравшихся в этот двор, — пустая выдумка.

Жители маленького городишка у всех на перечете. За такое самоуправство всякий побоялся бы наказания от местного начальства, так как все от малого до великого видели и знали благосклонность к декабристам высших властей Сибири, служившую внушением не для одних мещан, но и для высшего слоя общества, а кроме того, знали, что они умели и могли крепко постоять за себя.

Хотя Иван Дмитриевич в самом деле подозревался в чернокнижии за собрание растений (он составлял гербарий растений Тобольской губ.), постоянную письменную работу, за клейку различной величины глобусов из картона, чтение книг, сначала даже и за катанье на коньках в отдаленной от города местности по р. Имбирею, так как он, позднею порой, при лунном свете, неожиданно вылетал стрелой из развалин водяной мельницы и исчезал из вида случайных наблюдателей. При подобной обстановке, в высокой, почти остроконечной шапке, в коротенькой шубейке, перетянутый кожаным ремешком, весь в черной одежде, при его худобе, он должен был казаться народу колдуном, стремительно летевшим на пир или на совет к нечистой силе. Но вместе с тем перед ним благоговели за чистоту его безупречной жизни и безграничную любовь к ближнему,

благодетельно отражавшуюся на всех, кто бы ни встречался на его пути. Его проницательный взгляд быстро подмечал выдающиеся в людях способности; он не пропускал возможности развить их, чтобы приложить к делу, соответственному положению человека, и считал себя счастливым, если ему удавалось ободрить кого-нибудь, убедив, что и у него есть доля способностей, над которыми стоит потрудиться, а не оставлять их под спудом...

Происхождение басни о неправдоподобном случае с ветромером Якушкина следующее (сочинители забавной истории забывали о воротах с крепким запором, о злых дворняжках, о неподкупной хозяйке дома Федосье Родионовне, пользовавшейся хорошей славой между мещанами, которые, во всяком случае, не могли тихомолком, с топорами и заступами, действовать на маленьком дворе квартиры Ивана Дмитриевича, да еще почти перед самым его окном): в Ялуторовске был городничим всеми уважаемый и любимый Дмитрий Григорьевич Скорняков, настолько мягкий и безобидный человек, что за него, в случаях, требующих строгости, иногда распоряжалась его тщедушная жена Ольга Александровна, уроженка Березова, хорошая знакомая Ентальцевых. Он из расположения к декабристам приезжал предупредить Якушкина, что крестьяне и мещане винят его в отводе дождя и что по городу слухи носятся, будто они собираются убить его, приписывая сильную засуху ежедневному его колдовству на столбе; при этом он просил сделать милость, до греха, срубить столб. Якушкин посмеялся над такими мрачными сказками, заключив, что все это вздор *, и наотрез отказал исполнить его просьбу, объясняя, что городничий обязан охранять государственных преступников, состоящих под его надзором, и отвечать за жизнь каждого из них, а в случае несчастья — сам рискует лишиться места. Следовательно, он считает себя в безопасности, вполне полагаясь на его бдительность и здравый смысл русского народа. После этого добрейший Дмитрий Григорьевич чрезвычайно смутился, вероятно, сообразив, что у слабого начальства от страха глаза велики.

Иван Дмитриевич предполагал, что Ольга Александровна, может быть, сама верила в его колдовство на столбе, поэтому приплела к местным толкам покушение на его жизнь, перепугала мужа, надоумила отправиться к нему и воздействовать на него страхом.

Как бы то ни было, но после вышеупомянутого разговора со Скорняковым высокий столб, на вершине которого был утвержден механизм ветромера, не производивший ни особенного визга, ни скрипа, много лет спустя был снят со столба самим Якушкиным, когда его здоровье окончательно расстроилось и он не в состоянии был ежедневно лазить для метеорологических наблюдений на стол-

---

* У Ивана Дмитриевича была привычка прибавлять, даже после весьма серьезного разговора: «Впрочем, все это вздор!» и, возражая, восклицал: «Какой вздор!» — *А. С.*

бе, при тогдашних его усиленных хлопотах о приходских школах и занятиях в мужской и женской, которые были основаны им — первая в 1842 г., вторая в 1846 г., в память скончавшейся в этом году его жены. Под его руководством и с его участием учение в них велось по кратким, но толково им же составленным учебникам, и по методу Ланкастера.

С основанием школ все остальные занятия Ивана Дмитриевича отодвинулись на второй план. Ему посчастливилось завести их благодаря сочувствию протоиерея Сретенского собора Стефана Яковлевича Знаменского (переведенного из Тобольска в 1840 г.), с восторгом согласившегося взять на себя почин благого дела, что представлялось главным затруднением, а денежные средства он считал второстепенным.

Жертвуя не от больших излишков своими деньгами, трудами, здоровьем, Иван Дмитриевич увлекал своим примером не только ялуторовских и тобольских товарищей, но и посторонних. Например, купец И. П. Медведев *, имевший близ Ялуторовска, в деревне Коптюль, стеклянный завод, сделался самым крупным из жертвователей. Таким образом, денег собрали в достаточном количестве, а учителя были свои, безвозмездные: прот[оиерей] Знаменский, Якушкин, соборный дьячок Евгений Флегонтович Седачев и пр.

Особенный успех имела женская школа. В то время она была единственной в Тобольской губ. и чуть ли не единственной во всей Западной Сибири. Кроме общего первоначального образования, девочки еще учились рукоделию.

Наблюдать за рукодельным классом вызвалась Фелисата Ефимовна Выкрестюк, умная и добрая женщина, жена новоприбывшего исправника, жестокого человека и взяточника, вымогавшего деньги безразлично как с богатых, так и с неимущих крестьян; последним Фелисата Ефимовна, потихоньку от мужа, давала денег ему же на взятки и этим избавляла несчастных от побоев.

Выкрестюк был тем более невыносим для крестьян, что его предшественник Менькович славился относительным бескорыстием.

Фелисата Ефимовна приобрела много денег для школы: сбывала рукоделия учениц в ближайшие города и собирала по 25 руб. в год за ученицу (учение в обеих школах было бесплатное, но этот временный сбор был удачно придуман Якушкиным при открытии женской школы для ее упрочения и был в ходу первые годы ее существования) с бездетных и более или менее состоятельных людей, так как всякому лестно было иметь в этой школе свою стипендиатку.

Фелисата Ефимовна тоже была бездетна; увлекаясь занятиями и выгодами школы, она забывала на некоторое время горечь своей семейной жизни и дорожила участием Якушкина, которому без объяснений была понятна всякая семейная драма.

---

* Женатый на Ольге Ивановне Менделеевой, сестре нашего знаменитого химика.— *А. С.*

Из сочувствия к Фелисате Ефимовне декабристы делали исключение — изредка посещали дом отъявленного взяточника...

Второй сын протоиерея Знаменского, Михаил Степанович (впоследствии сделавшийся гордостью своей родины, Сибири, как недюжинный художник, остроумный карикатурист, любитель археологии и вообще человек даровитый; он скончался на 59-м году жизни от разрыва сердца, 3 марта 1892 г.), нарисовал хорошенькую карикатуру, представив Якушкина охраняющим свой цветничок от козлов, которые со всех сторон покушаются в него ворваться.

Иван Дмитриевич, находясь на поселении, приобрел странность: он вообще не любил, когда люди женятся или выходят замуж, особенно, если это касалось его близких знакомых...

Иван Дмитриевич привлекал детей своим терпением и веселостью. Он охотно удовлетворял их любознательность, отвечая не только на все вопросы, но и повторяя по нескольку раз, он затевал для них на дворе разнообразные игры и, к их общей радости, сам участвовал в них.

Употребление в разговоре слова «вздор» невольно заимствовалось учащимися в обоих училищах.

Денежные вклады для существования женской школы с каждым годом увеличивались и, наконец, дали возможность Ивану Дмитриевичу выстроить для нее весьма приличный дом и оставить после своего отъезда в Россию благоустроенной.

Механизм ветромера был заказан Росманову, механику-самоучке, мещанину с дарованиями, который без инструментов и руководителя мастерил часы и довольно верные. Большие стенные часы его работы были привезены М. И. Муравьевым-Апостолом в Россию в память Ялуторовска и трудов его лучшего друга И. Д. Якушкина, открывшего Росманова, познакомившего его с теорией маятника, с законами равновесия, движения тел и т. п.

Сибирские часы, по желанию Матвея Ивановича, после его кончины переданы старшему внуку Ивана Дмитриевича В. Е. Якушкину.

Если б Росманов не был семейным и пожилым человеком, то Якушкин не допустил бы его таланту затеряться в глуши. Но он обогатил его жизнь приобретением необходимых познаний в его ремесле и осчастливил интересными для него заказами — гальванической батареей Бунзена, гигрометром и пр.

Иван Дмитриевич получал достаточно посылок и денег, почему мог жить в Ялуторовске, при тогдашней дешевизне, ни в чем себе не отказывая. Но, сторонник суровой жизни, он был ее живым примером и советовал подрастающему поколению, в видах своей независимости, всегда довольствоваться только крайне необходимым, не лишая себя известных удобств, в которых нуждается всякий образованный человек.

Якушкин нанимал у Родионовны верхний этаж её маленького деревянного домика в две комнаты. Первая комната была довольно просторная, в два окна,

выходящие на улицу, и третье налево от выходной двери, в левой стене, шло во двор; из него виден был столб с устроенным на вершине его ветромером. У задней стены, направо от входной двери, стояла большая старинная печь, за ней вторая дверь вела в маленькую спальню с одним окном, выходившим на противоположную часть двора. Правая стена большой комнаты была глухая. Входная дверь шла в темные, холодные сени, из них другая, низенькая, вела на небольшую продолговатую площадку, к концу которой примыкала, прилегая к стене, узкая, почти отвесная, деревянная лестница, спускающаяся в сени нижнего этажа, имевшие общий выход во двор.

В первой комнате, между двумя окнами, стоял письменный стол на двух шкафиках, вольтеровское кресло с круглой ножной подушкой, два складных стула, этажерка, маленький диванчик, по обеим сторонам комнаты две большие песочницы и в обеих комнатах по стенной вешалке. В спальне находились: узенькая кровать, стол, табурет и шкаф. Вся мебель была выкрашена черной краской под лак и обтянута, как и стены, темносерым коленкором. В первой комнате стены оживлялись замечательной работы копией Мадонны с оригинала одного из великих художников, портретами семейными, товарищей, протоиерея при Казанском С.-петерб.[ургском] соборе П. Н. Мысловского и магнитом, висевшим в виде подковы; этажерка украшалась гипсовым, в естественную величину, бюстом замужней сестры Ивана Дмитриевича.

Родионовна, как и большая часть сибирячек, обладала проворством, чистоплотностью и поваренным искусством; поэтому он имел дома здоровый и вкусный обед, и квартира его, светлая и теплая, всегда щеголяла необыкновенною опрятностью.

В одежде Якушкина соблюдалась тоже строгая простота: он носил неизменного покроя черный казакин зимой, а летом серый, из хорошей, прочной ткани с ослепительно белым отложным воротничком или пробивающимся кантом из-под широкого черного галстуха и нарукавниками, и часы на черно-муаровой тесемке; дома, смотря по погоде, он надевал куртку или ваточный халат с вышитыми туфлями.

Отсутствие неряшества и общая гармония придавали праздничный вид и свежесть квартире, одежде и хозяину, или лучше сказать, что его свойства отражались на всем его окружающем.

Он смеялся над непостоянством и часто бессмысленностию моды, надеясь, что со временем люди будут одеваться сообразно климату, сложению и образу жизни, имея прежде всего в виду сохранение здоровья, что не может помешать красоте покроя одежды. Сам любя красоту во всем, во имя ее и жалея девочек-подростков, он с жаром доказывал барышням и их маменькам вред и безобразия неестественно удлинять свои талии, перетягивая самые важные органы в ущерб здоровью, а следовательно, и красоте. В подтверждение своих слов он показывал им очерки изящных форм Венеры Медицейской...

Якушкин считался лучшим ботаником. Занимаясь преимущественно естественными науками, он не переставал постоянно пополнять свое общее образование, так как для него умственный труд был насущной потребностью и высшим наслаждением. Поэтому он легко мирился с превратностями судьбы, был всегда бодр и весел. По выдающимся свойствам ума и характера, он имел влияние на большую часть своих товарищей, хотя многие из них были значительно старше его годами, например, М. А. Фонвизин, которым он овладел с первой встречи с ним; в минуты скорби и упадка они искали его нравственной поддержки и, побеседовав с ним, чувствовали себя сильнее. Он умел живо представить им, что всякое дурное положение имеет свои хорошие и даже полезные стороны, что во всяком положении провидение налагает на нас известные обязанности к ближним, строгое исполнение которых, при усиленном умственном труде и прочих занятиях, не допускает человека до уныния.

— Да тогда у вас, господа, нехватит времени заниматься таким вздором,— добавлял он с добродушной улыбкой, которая казалась еще привлекательнее от ряда видневшихся зубов ослепительной белизны. Такое неожиданное и своеобразное заключение вызывало смех и изменяло унылое настроение духа собеседников на весьма продолжительное время...

СТИХИ О БЫВШЕМ СЕМЕНОВСКОМ ПОЛКУ[1]

Ф. Н. Глинка

Была прекрасная пора:
Россия в лаврах, под венками,
Неся с победными полками
В душе — покой, в устах — «ура!»
Пришла домой и отдохнула[2].
Минута чудная мелькнула
Тогда для города Петра.
Окончив полевые драки,
Носили офицеры фраки,
И всякий был и бодр и свеж.
Пристрастье к форме пригасало,
О палке и вестей не стало,
Дремал парад, пустел манеж...

. . . .

Но перед вами отличался
Семеновский прекрасный полк.
И кто ж тогда не восхищался,
Хваля и ум его, и толк
И человечные манеры?
И молодые офицеры,
Давая обществу примеры,
Являлись скромно в блеске зал,
Их не манил летучий бал
Бессмысленным кружебным шумом:
У них чело яснелось думой,

Из-за которой ум сиял...
Влюбившись от души в науки
И бросив шпагу спать в ножнах,
Они в их дружеских семьях
Перо и книгу брали в руки,
Сбираясь, по служебном дне,
На поле мысли, в тишине...
Тогда гремел, звучней, чем пушки,
Своим стихом лицейским Пушкин.
И много было... — Все прошло! [1]
Прошло и уж невозвратимо —
Все бурей мутною снесло,
Промчалось, прокатило мимо...
И сколько, сколько утекло,
Волною пасмурной, печальной
(И здесь и по России дальной)
В реках воды, а в людях слез;
И сколько пережито гроз!..
Но пусть о них твердят потомки;
И мы, прошедшего обломки,
В уборе париков седых,
Среди кипучих молодых,
Вспомянем мы хоть про Новинки,
Где весело гостили Глинки,
Где благородный Муравьев
За нить страдальческих годов
Забыл пустынную неволю
И тихо сердцем отдыхал; [2]
Где, у семьи благословенной,
Для дружбы и родства бесценной,
Умом и доблестью сиял
И к новой жизни расцветал
Якушкин наш в объятьях сына,
Когда прошла тоски година
И луч надежды обещал
Достойным им — иную долю.

ПРЕДИСЛОВИЕ К 1-му ИЗДАНИЮ [«ЗАПИСОК» И. Д. ЯКУШКИНА] 1905 ГОДА[1]

Иван Дмитриевич Якушкин родился в 1793 г. Первоначальное образование он получил в доме родителей, которые очень заботились об его учении и приглашали для него многих учителей, русских и иностранных. В 1808 г. Якушкин был помещен в дом профессора Мерзлякова и затем был «произведен» в студенты по словесному факультету. В университете он слушал лекции по российской словесности у Мерзлякова, по всемирной истории у Черепанова, по российской истории у Каченовского, по эстетике у Сохатского, по геории законов и прав знатнейших народов у Цветаева, по статистике у Гейма, по чистой математике у Чумакова, по физике у Страхова, по военным наукам у Мягкого.

В конце 1811 г. Якушкин поступил подпрапорщиком в Семеновский полк и в составе этого полка участвовал в походах и сражениях 1812, 1813 и 1814 гг. За сражение под Бородиным Якушкин получил знак военного ордена, а за сражение под Кульмом — прусский железный крест. В декабре 1812 г. Якушкин был произведен в прапорщики. В 1814 г. он вернулся с полком из Франции морем в Кронштадт, после чего продолжал службу в Петербурге в Семеновском полку. В 1816 г. он был произведен в подпоручики и вскоре перевелся в 37-й егерский полк с чином штабс-капитана, а в 1818 г. вышел в отставку с чином капитана.

И. Д. Якушкин был женат на Анастасии Васильевне Шереметевой; у них было два сына, Вячеслав и Евгений. В январе 1826 г. И. Д. Якушкин за участие в Тайном обществе был арестован в Москве, отвезен в Петербург, где был заключен в Алексеевский равелин Петропавловской крепости. Якушкин верховным судом был отнесен к первому разряду и приговорен к смертной казни отсечением головы, но по смягчении приговора был присужден к 20 годам каторги.

По отбытии каторги (первоначальный срок был уменьшен высочайшими указами) И. Д. Якушкин был водворен на поселение в Ялуторовск. Здесь на поселении вместе с ним жили Н. В. Басаргин, А. В. Ентальцев, М. И. Муравьев-Апостол, кн. Е. П. Оболенский, И. И. Пущин, В. К. Тизенгаузен. Весь этот кружок декабристов оставил глубокий след в жизни Ялуторовска; в частности же, И. Д. Якушкин много содействовал развитию образования среди местного населения. Им были основаны два училища — одно для мальчиков (в 1842 г.), другое для девочек (в 1846 г.); преподавание велось по ланкастерской системе взаимного обучения; главным преподавателем и руководителем всего дела был сам Якушкин. Хотя училища назывались «приходскими», но программа обучения в них применялась широкая, так что проходилась начальная алгебра, геометрия, механика. В этих училищах до отъезда Якушкина из Ялуторовска окончили курс: в мужском 531 человек, в женском 191.

По силе высочайшего манифеста 26 августа 1856 г. Якушкин получил возможность вернуться в Европейскую Россию. Ему сначала воспрещено было жить в Москве, он был выслан оттуда; затем ему разрешили приехать временно в Москву для лечения. Но лечиться уже было поздно, и он скончался в Москве в 1857 г. Он погребен на Пятницком кладбище, причем, согласно его воле, на могиле его не поставлено никакого памятника, она только обнесена решеткой. Могила эта находится недалеко от ограды могилы Грановского и рядом с могилою другого декабриста — Н. В. Басаргина.

К настоящему изданию приложены три портрета Ивана Дмитриевича Якушкина, исполненные фототипически в мастерской П. П. Павлова в Москве. Первый из этих портретов снят с акварели, рисованной Уткиным в 1816 г., второй — с портрета, рисованного карандашом в 1823 г. (имя художника не известно)[1], третий — также с карандашного портрета, рисованного в 1851 г. Мазером. Первый портрет никогда не был издан; со второго портрета был дан снимок в альбоме московской Пушкинской выставки 1899 г.; с третьего портрета снимок был приложен к VII книжке «Полярной звезды» в 1861 г., а еще ранее был выпущен в свет в виде отдельной литографии работы Скино[2].

Первые две части записок И. Д. Якушкина были изданы А. И. Герценом в Лондоне в 1862 г. и потом были перепечатаны в 1874 г. в Лейпциге; третья часть была помещена в «Русском Архиве» 1870 г. В первой и во второй части «Записок» в настоящем издании пришлось, к сожалению, сделать несколько пропусков, впрочем небольших по размерам; всего в пяти местах пропущено около десяти строк[3].

Записки Ивана Дмитриевича Якушкина напечатаны в настоящем издании по подлинной, принадлежащей мне рукописи. Часть их написана рукою Ивана Дмитриевича, а часть была продиктована им мне и брату моему Вячеславу.

Евгений Якушкин.

ПРЕДИСЛОВИЕ К ИЗДАНИЮ 1925 года[1]

Прежде всего надо объяснить, почему в заглавии этой книги не сказано «Записки декабриста И. Д. Якушкина». Иван Дмитриевич не называл себя декабристом — он считал, что называться декабристом имел право только тот, кто принимал непосредственное участие в восстании 14 декабря.

В издании 1925 г. восполнены те пропуски, которые в 1905 г. были сделаны по цензурным условиям. В приложении помещены: 1) сводка показаний И. Д. Якушкина, 2) письмо Якушкина к Николаю Павловичу (из дела Муханова), 3) записка Н. Д. Фонвизиной к Якушкину относящаяся, вероятно, к 1830 г. Кроме того, даны пояснения некоторых мест в «Записках».

Что касается самой рукописи «Записок», то 1 и 2-я части сохранились в белом виде: 1-я часть переписана рукой старшего сына Ивана Дмитриевича Вячеслава, 2-я — рукой младшего Евгения; 3-я часть, черновая, писана рукой Ивана Дмитриевича, карандашом, с многочисленными поправками. В изданиях 1905 г. в 3-й части во многих местах язык рукописи был переделан ближе к современному. В издании 1925 г. текст 3-й части почти везде восстановлен по подлиннику. Я говорю — почти везде, потому что в некоторых местах карандаш стерся и вследствие многочисленных поправок и перечеркиваний рукопись читается с трудом.

За сто протекших лет у бывших якушкинских крестьян не сохранилось решительно никаких воспоминаний об Иване Дмитриевиче Якушкине; они попросту его забыли. Сына же его Евгения Ивановича, который в 1855 г. отпустил крестьян на волю и отдал им всю землю вместе с помещичьей усадьбой, крестьяне помнят и память его чтут.

Август 1925 г.

Е. Е. Якушкин.

КОММЕНТАРИИ



СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

БЛ — Государственная библиотека имени В. И. Ленина в Москве.
ВАН — „Вестник АН СССР".
ВД — „Восстание декабристов", изд. Центрархива, тт. I—IX 1925—1950.
ВО — Военное общество, побочная отрасль СБ; основано А. Н. Муравьевым в 1818 г., вскоре прекратилось.
„Временник" — „Пушкин. Временник Пушкинской комиссии". Изд. АН СССР, вып. I—VI, 1936—1941.
ГМ — „Голос минувшего", исторический журнал.
ГЦИА — Государственный центральный исторический архив в Москве.
ГЦЛА — Государственный центральный литературный архив в Москве.
„Донесение" — Донесение Следственной комиссии — в книге „Государственные преступления в России в XIX в.". Т. I, СПб., 1906.
ЗЛ — Общество „Зеленой лампы", литературная отрасль СБ.
ИАН — „Известия АН СССР".
КА — „Красный архив", исторический журнал Центрархива.
КС — „Каторга и ссылка", историко-революционный журнал.
МС — „Морской сборник"
ОА — „Остафьевский архив князей Вяземских".
ОД — сб. Общественные движения в России в первую половину XIX в., т. I. Ред. В. И. Семевского и др. СПб. 1905.
ОС — Вольное общество любителей российской словесности, наук и художеств, побочная отрасль СБ.
ПД — Пушкинский дом, Институт русской литературы АН СССР в Ленинграде.
„Путеводитель" — Полн. собр. соч. А. С. Пушкина, 1931, т. VI.
РА — „Русский архив", исторический журнал.
РО — Рукописный отдел БЛ.
РС — „Русская старина", исторический журнал.
СБ — Союз благоденствия, вторая организация, из которой развилось движение декабристов.
СК — Следственная комиссия (Комитет) для изыскания злоумышленных обществ (о заговоре и восстании декабристов).
Сл. — Общество соединенных славян, организация декабристов на юге.
СО — Северное общество декабристов.
„Собрание" — „Собрание правил и законов, составленных членами тайных обществ", документы декабристов в ЦГИА (шифр: ф.48, № 10).
СС — Союз спасения, или истинных и верных сынов отечества,— первая организация, из которой развилось движение декабристов.
ТО — Тайное общество декабристов.
ЮО — Южное общество декабристов.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

В настоящем издании собраны произведения одного из выдающихся участников движения декабристов — Ивана Дмитриевича Якушкина. Наряду с его известными «Записками», являющимися наиболее достоверным документом по истории тайных обществ 20-х годов XIX в., здесь помещены также его статьи мемуарного характера и его философская материалистическая статья о происхождении жизни на Земле. К ним присоединены письма И. Д. Якушкина, в огромном большинстве публикуемые впервые. По содержанию эти документы — яркий образец эпистолярного наследства декабристов. Они характеризуют И. Д. Якушкина как политического деятеля, как мыслителя и человека.

Записки И. Д. Якушкина — самый интересный и яркий документ по истории политического движения в России первой четверти XIX в. Ввиду значительности содержания они переиздавались чаще мемуарных произведений всех других декабристов. Небольшие отрывки опубликованы А. И. Герценом в «Полярной звезде» на 1862 г. (Лондон, 1861, кн. 7, вып. 1, стр. 1—25) с портретом Якушкина 1851 г. (работы художника К. Мазера). Затем первые две части были изданы Герценом отдельной книжкой в серии «Записки декабристов» (вып. 1, Лондон, 1862, 116 стр.) с пояснением от издателя: «Записки И. Д. Якушкина не кончены. Последняя часть их будет напечатана в одном из следующих выпусков». На 4-й странице обложки сообщается: «Все вырученные деньги... мы разделим пополам. Одну половину перешлем для вспомоществования лицам, сосланным в Сибирь вследствие политических гонений, другую оставим в Лондоне для вспомоществования русским, которые вынуждены будут покинуть отечество по причинам тех же гонений». Вскоре после этого сообщено было в «Колоколе», что «Записки» Якушкина распроданы и доставили в пользу ссыльных 1000 франков (Герцен, XVI, 307). 3-ю часть Записок Герцену не пришлось печатать, но в «Исторических очерках о героях 1825 г. ...», написанных в 1868 г., Герцен в значительной мере использовал опубликованную им часть «Записок» Якушкина (Соч., т. XX,

стр. 340 и сл..). В одном письме 1862 г. Герцен назвал эти «Записки» шедевром (Соч., т. XV, стр. 567). Третья часть опубликована в России в 1870 г. (РА, № 8—9). Издание Герцена (ч. 1 и 2) было повторено в Лейпциге в 1874 г. одним текстом, но под разными обложками, в двух сериях: «Биографические очерки из жизни вольнодумцев в начале XIX в.» и «Международная библиотека», т. IV, (150 стр.). В последней серии «Записки» вышли 2-м изданием в 1875 г. Текст 1 и 2 частей перепечатан в России в 1905 г. в журнале «Всемирный вестник» (№ 1—4, всего 67 стр., с портретом 1851 г.).

Все три части, с небольшими по объему цензурными сокращениями, изданы в России в одной книге, под редакцией и с предисловием сына автора Е. И. Якушкина (М., 1905, 201 стр., с тремя портретами — 1816, 1823 и 1851 гг.). Книга напечатана была Е. И. Якушкиным в конце 1904 г. и, несмотря на сделанные им самим исключения (они отмечены в Примечаниях к тексту настоящего издания), была задержана цензурой и могла быть выпущена в свет только через 3—4 месяца. Издание быстро разошлось, и в том же году пришлось его выпустить еще два раза. После этого «Записки» (все три части) были изданы в Москве в 1906 г. в «Библиотеке декабристов» (вып. 7-й, 163 стр. и два портрета — 1823 и 1851 гг.). И, наконец, «Записки» изданы полностью, без всяких цензурных урезок, под редакцией внука автора Е. Е. Якушкина, в советское время (М. 1925, 191 стр., с портретом 1851 г. и несколькими приложениями биографического содержания). Здесь на титульном листе значится: «Издание 7-е, дополненное и исправленное»; в действительности, учитывая приведенную выше справку, «Записки» И. Д. Якушкина были изданы, в 2 или 3 частях, отдельными книгами девять раз и три раза печатались до революции в журналах. В советское время отрывки из «Записок» много раз печатались в журналах и сборниках.

И. Д. Якушкин заслуженно пользуется репутацией правдивейшего человека своего времени. Его «Записки» с полным основанием считаются в литературе о движении декабристов одним из достовернейших документов (Никитин, 113 и сл.). Но они требуют значительных дополнений ввиду их чрезвычайной сжатости и встречающихся подчас фактических неточностей или ошибок памяти. Это сделано в Комментариях. Здесь даны поправки и дополнения к отдельным местам текста по сообщениям других участников движения в их воспоминаниях и письмах, по официальным документам (среди них многие публикуются впервые).

Из дополнений к основному тексту, помещенных в книге, чрезвычайно важное значение имеют документы, относящиеся к попытке освобождения И. Д. Якушкиным крестьян его родового имения Жуково. В Комментариях приводится также сообщение об осуществлении Е. И. Якушкиным этого намерения его отца, причем сын освободил крестьян с землею совершенно безвозмездно в 1855 г., задолго до отмены «крепостного права» царским правительством под влиянием усиливавшихся и разраставшихся крестьянских восстаний. Несомненно, что Е. И. Якушкин освободил крестьян по совету своего отца-декабриста, с которым он был очень близок

идейно. Таким образом устанавливается, что Иван Дмитриевич Якушкин не только осуществил мечту своей молодости об отмене личного рабства трудового народа, но фактически признал, что земля должна принадлежать тем, кто на ней трудится, а не тем, кто владел ею по праву захвата или царской «милости».

Значительный интерес для характеристики И. Д. Якушкина представляют его высказывания в письмах о революционном движении в Западной Европе, о произведениях русских писателей, о выдающихся деятелях русской культуры, о жизни декабристов на поселении в Сибири. В отзывах Ивана Дмитриевича о Лермонтове, И. С. Тургеневе, Островском и других писателях виден трезвый критический ум глубокого знатока и ценителя отечественной литературы, пристально следящего за ее развитием, верно определяющего пути этого развития и *условия отставания* литературы от потребностей народа. Чрезвычайно ценны встречающиеся в письмах соображения о задачах преподавателя вообще и в высшей школе в особенности, а также мысли о воспитании детей; отмечу возмущение Якушкина по адресу А. И. Михайловского-Данилевского за искажение исторических фактов в книге о войне 1812—1813 гг., его патриотическое негодование по поводу «безбожного вранья» А. Тьера в книге об итальянском походе гения русского военного искусства А. В. Суворова.

В книге помещены также письма П. Я. Чаадаева, М. И. Муравьева-Апостола и других лиц к И. Д. Якушкину, в значительной степени освещающие его революционное окружение и его собственные философские взгляды.

Приложенные ко всем этим документам воспоминания сына И. Д. Якушкина, Евгения Ивановича, декабристов Н. В. Басаргина, Е. П. Оболенского, П. Н. Свистунова и двух лиц, знавших его в сибирский период, дополняют характеристику декабриста как одного из ярких представителей своего поколения.

В Комментариях даются пояснения к произведениям, включенным в настоящий сборник, вместе с отрывками из документов, которые по тем или иным причинам не могли быть помещены целиком в основном тексте.

Указания относительно расположения материала в настоящем сборнике и фактического содержания комментариев получены от М. В. Нечкиной. Значительно облегчил работу по сверке основного текста с подлинными рукописями И. Д. Якушкина и другими документами начальник публикаторского отдела Государственного центрального исторического архива Г. Н. Кузюков.

С. Штрайх.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕКАБРИСТЕ И. Д. ЯКУШКИНЕ *

Иван Дмитриевич Якушкин, сын Дмитрия Андреевича Якушкина и Прасковьи Филагриевны, рожденной Станкевич, родился в 1793 г. (29 декабря). Кроме него, в семье были две дочери — Варвара и Елизавета. Варвара в 1812 г. была уже замужем за Василием Васильевичем Воронцом. Елизавета Дмитриевна была замужем за Мардарием Васильевичем Милюковым. У Дмитрия Андреевича были братья — Иван (известный этнограф-народник Павел Иванович Якушкин приходится двоюродным братом Ивану Дмитриевичу) и Семен, и сестры — Анна и Екатерина. Последняя была замужем за Гавриилом Решетовым. Сохранилось несколько ее писем от начала 30-х годов к Ивану Дмитриевичу в Сибирь. В них видна необыкновенно нежная любовь к племяннику и двум его мальчикам.

Когда дети еще были маленькие, Дмитрий Андреевич заболел и умер в усадьбе Лыкошиных. Имение Лыкошиных было верстах в 15 от имения Якушкиных — Жукова. Меропия Ивановна Лыкошина, урожденная Леслей, была двоюродной сестрой Прасковьи Филагриевны. Якушкины часто подолгу гостили у Лыкошиных. Дети учились вместе. Настасья Ивановна Лыкошина, по мужу Колечицкая вспоминает: «Прасковья Филагриевна была добрейшая женщина и очень дружна с нашей матерью, хотя ее светские вкусы и характер напоминали (легкую) виконтессу в жанлисовской «Адель и Теодор» столько же, как благоразумная баронесса походила на маменьку»... Мать Ивана Дмитриевича умерла летом или осенью 1827 г.

Иван Дмитриевич Якушкин женился в 1822 г. на Анастасии Васильевне Шереметевой (род. 1 IX 1806 г.); она вышла замуж 15 лет; судя по портретам и

* Приведенные в начале этой биографической справки данные сообщены внуком декабриста, Евгением Евгениевичем Якушкиным, которому принадлежит ряд других сведений о семейном и имущественном положении И. Д. Якушкина, использованных здесь.

по отзывам, Анастасия Васильевна была необыкновенно привлекательна. У них было два сына — Вячеслав (1823—1861) и Евгений (1826—1905).

Анастасия Васильевна умерла в 1845 г. (Е. Е. Якушкин *, стр. 170; по Баркову, стр. 23 — в марте 1846 г.; но Н. Н. Шереметева сообщала о смерти дочери 28 февраля 1846 г., см. здесь стр. 659) в Москве; после свидания в Ярославле в 1827 г. она с мужем уже не видалась.

С сыновьями своими И. Д. Якушкин познакомился в начале 50-х годов. Вячеслав Иванович получил место чиновника особых поручений при генерал-губернаторе Восточной Сибири. Евгений Иванович получил в 1853 г. командировку в Сибирь от министерства государственных имуществ.

В цитированных Е. Е. Якушкиным неизданных воспоминаниях А. И. Колечицкой-Лыкошиной много сообщений, относящихся к детским и юношеским годам И. Д. Якушкина. Большой интерес для характеристики декабриста имеет извлеченный из «Дневника» Колечицкой за 1870 г. отзыв о «Записках» И. Д. Якушкина: «В своих «Записках» он встает весь передо мною, как в дни молодости, в своем милом характере, добродушном, прямом, в этой прекрасной простоте, свободной от всякого тщеславия, от всякого желания рисоваться и выставлять себя на пиедестал».

Дополнения к приведенным Е. Е. Якушкиным кратким сведениям о родных декабриста — в статье Е. Н. Щепкиной, основанной на документах из сенатского архива. Здесь — интересные сообщения о роде Якушкиных, о земельных владениях его предков. о ближайших родственниках.

Предок рода Федор-Ян Якушевский пришел из Польши к великому князю Василию Васильевичу около 1422 г. и тотчас будто бы получил 26 деревень с 320 крестьянскими дворами в Вяземсдом уезде; Жуково,— повидимому, давнее гнездо Якушкиных. В хозяйстве последних предков, дедов и дядей декабриста, заметна неустойчивость, частые перемены числа крестьян по деревням. В 1763 г. за прадедами Григорием и Степаном Федоровичами состояло 228 душ (в Жукове тогда было дворовых и крестьян 85 ревизских душ, в Арефиной 14, Истомине и Михалевой 47 душ).

Через 20 лет, в 1782 г., за сыновьями деда, Андрея Степановича, за Семеном, Иваном и Сергеем Андреевичами, было 322 души мужчин, 290 женщин. В Жукове дворовых 20 мужчин, 22 женщины, крестьян более 80 ревизских душ...

Отец декабриста, титулярный советник Дмитрий Андреевич почему-то не числился с братьями; когда он умер, не известно. В 1810 г. дядя и опекун декабриста Семен Андреевич просил дворянских свидетельств для опекаемых, перечислив наличных близких родичей: он, Семен, 57 лет, капитан в отставке,

---

* Полное название упоминаемых здесь литературных источников — на стр. 696 и сл.

холост; за ним имения: в Вяземском уезде — сельцо Жуково, 153 ревизских души; в Бельском у[езде] Павлово, 35 мужских душ. У него брат родной Иван, 52 лет, холост; имения за ним не состоит (?); да сестры: девица Татьяна 50 лет, замужняя Катерина 48 лет.

Сын умершего брата Дмитрия Андреевича Иван (декабрист), недоросль 17 лет; за ним деревня Арефино, 35 ревизских душ; у него сестры: Варвара 18 лет, замужняя, девица Елизавета 15 лет... В 1813 г. умер Семен Андреевич. После него осталось в Вяземском у[езде] 141 ревизская душа, в Бельском у[езде] 17 душ и более доходное имение в Орловской губернии, Малоархангельского у[езда], сельцо Сабурово, 121 рев. душа и 203 дес. земли в Ливенском у[езде]... Холостой дядя Иван Андреевич взял Сабурово, с господским домом (без одного крестьянина, которого почему-то возвратили в Смоленскую губ.) и бо̀льшую половину ливенской земли.

Племянник, Иван Дмитриевич, уже офицер, получил все смоленские имения, 158 рев[изских] душ (кроме дворовых музыкантов, проданных графу Каменскому за 40 тыс.)..., одного крестьянина с семьей и 91 дес. земли в Ливенском у[езде]. Еще ранее покойный дядя-опекун записал за ним родовую деревню Арефино с 35 душами и 310 дес. земли.

Таким образом, юный декабрист начал свою самостоятельную жизнь с состоянием в 193 рев. души в родной губернии при одном сельском хозяйстве, без винокурен, сукновален и пр[очих] доходных предприятий своих земляков и соседей» (стр. 13 и сл.).

В другом источнике находим дополнительные данные о земельных владениях семьи И. Д. Якушкина. После осуждения участников ТО * царь затре́бовал сведения о «положении и домашних обстоятельствах ближайших родных всех тех преступников, кои... осуждены». В справке о Якушкине сообщалось: «Мать его, вдова, титулярная советница Прасковья, живет Орловской губернии, в Ливенском уезде, на содержании зятя своего, поручика Василия Воронца, имеющего 9 человек детей, 30 тысяч рублей долгу, а имения 67 душ в Ливенском уезде и 120 душ в Смоленской губернии. Жена Якушкина имеет двух детей; у нее общего с̄ ее сестрою [П. В. Муравьевой] имения в Рославском уезде Смоленской губернии 400 душ, из коих часть ее заложена в Московском опекунском совете. Сверх того, в Вяземском уезде до 200 душ крестьян. Родные тетки его, действительная статская советница Решетова и девица Якушкина (живут в Рославском уезде), но крайности [нужды], по собственному показанию их, в отношении состояния своего никакой не имеют» (КА, 1926, № 2(15), стр. 199).

Иван Дмитриевич Якушкин один из учредителей СС и СБ, член СО. Воспитывался сперва дома, в 1808 г. поступил в домашний пансион проф. А. Ф. Мерз-

* См. список сокращений на стр. 514.

лякова (1778—1830). Вскоре был «произведен в студенты» Московского университета по словесному факультету; слушал лекции по литературе, философии, общественным и естественным наукам. Сохранились записанные Якушкиным в 1809 г. лекции проф. Л. А. Цветаева (1777—1835) о правах знатнейших древних и новых народов и лекции по теории словесности (вероятно, Мерзлякова) 1811 г. (ГЦИА, ч. 279, оп. 1, № 3 и 4).

В университете Якушкин был в близких дружеских отношениях с А. С. Грибоедовым. Они были знакомы с детства и встречались после своих студенческих лет. В литературе о комедии его называют в числе прототипов Чацкого (Нечкина, VII, 76, 137, 220, 338, 410, 496).

Из университета И. Д. Якушкин, согласно его формулярному списку о службе, вынес следующие знания: «По-российски и по-французски читать и писать умеет, географии, математике и истории знает».

В 1811 г. Якушкин поступил на службу в гвардейский Семеновский полк подпрапорщиком. Участвовал во всех крупных сражениях 1812—1814 гг. 26 августа 1812 г. при Бородине «находился в действительном сражении», за храбрость получил «знак отличия военного ордена № 16697» (ВД, III, 40 и сл.).

Сохранилось пять с половиной страничек (малого формата) из «Дневника» Якушкина во время похода гвардии к границе в 1812 г. (ГЦИА, ф. 279, № 6). Записи велись на французском языке; помечены числами с 18 по 22 и 30, без указания месяца. Содержание их отрывочное, состоит из отдельных фраз, занесенных в тетрадь для последующего изложения на их основе воспоминаний о походе.

В одной записи отмечено, что Якушкин с Муравьевым (повидимому, с М. И. Муравьевым-Апостолом) несли знамена, что они проделали с И. Д. Щербатовым и другими 30 верст по очень плохой дороге и т. п.

Есть одна запись, свидетельствующая, что молодых семеновских офицеров, будущих членов ТО, занимали во время похода крупные политические события, происходившие в отечестве. В дневнике упоминается «предательство» (trahison) Сперанского. Из записи Якушкина не видно, как он и его товарищи отнеслись к этим слухам. Но можно полагать, что мечтавшие о благе отечества офицеры не верили толкам, исходившим из реакционных кругов.

За отличие в знаменитом сражении под Кульмом (в августе 1813 г.) Якушкин снова награжден орденом и железным крестом за храбрость. В формулярном списке, представленном при прошении Якушкина 1 сентября 1817 г. об увольнении от службы, отмечено, что он «к повышению достоин», а приказом 1 февраля 1818 г. уволен за болезнью от службы с чином капитана (ВД, III, 40 и сл.).

Еще в 1816 г. И. Д. Якушкин, его сослуживцы по Семеновскому полку братья Матвей и Сергей Муравьевы-Апостолы и С. П. Трубецкой совместно с А. Н. и Н. М. Муравьевыми решили основать тайное общество. Высокопатриотическая цель общества кратко, но выразительно и чрезвычайно содержательно

определена самим И. Д. Якушкиным в его «Записках»: трудиться для блага России (см. стр. 11 и сл.). О своем участии в Тайном обществе И. Д. Якушкин рассказал в «Записках» и на следствии.

Арестованный в Москве 9 января 1826 г., И. Д. Якушкин был доставлен в Петербург. О первом допросе, снятом с него генералом Левашевым в присутствии царя, он рассказал в своих «Записках» (62 и сл.). Там же и в Показаниях Якушкина — подробности о поведении его на следствии, о пребывании в крепости, о жестоком обращении с ним и другими декабристами по приказу Николая.

По данным следствия составлена была для царя следующая справка об И. Д. Якушкине: «Был в числе основателей Общества. В 1817 г., будучи томим несчастною любовью и готов на самоубийство, вызвался на совещании в Москве покуситься на жизнь покойного императора. Вскоре после того от Общества отстал, но в 1819 г. снова присоединился к оному. В 1820 г. ездил в Тульчин приглашать уполномоченных на съезд в Москву по делам Общества. По мнимом закрытии оного в 1821 г. ему дан был список с устава для заведения Управы в Смоленской губернии, но в 1822 г., по обнародовании высочайшего указа об уничтожении тайных обществ всякого рода, он сжег список сей и более никаких сношений по Обществу не имел. В 1825 г., 16 или 17 декабря, услышал он о полученном из С.-Петербурга предварительном известии насчет возмущения. Побуждаемый чистосердечием, он сделал показание о словах штабс-капитана Муханова, говорившего при нем, что для спасения взятых под арест мятежников необходима смерть ныне царствующего государя; однако по исследовании оказалось, что слова сии были следствием горячего разговора, а не замысла. Он сначала явился человеком совершенно чуждым веры, но убежденный назиданием протоиерея, посещавшего арестантов, познал истины религии и душевно раскаялся» («Алфавит», 216 и сл.). О том, как «раскаялся» Якушкин после «назидания» протоиерея Мысловского, рассказал сам Иван Дмитриевич в «Записках» (75 и сл.)

В «Списке лиц, кои по делу о тайных злоумышленных обществах» преданы были верховному уголовному суду, И. Д. Якушкин назван в числе членов Северного общества двадцатым. В «Росписи государственным преступникам, приговором верховного уголовного суда осужденным к разным казням и наказаниям», Иван Дмитриевич включен под № 22 в число «государственных преступников первого разряда», осуждаемых «к смертной казни отсечением головы». Приговор этот был представлен царю, который рассмотрел его 10 июля и признал «существу дела и силе законов сообразным». «Но силу законов и долг правосудия желая по возможности согласить с чувствами милосердия», Николай признал «за благо смягчить» наказание. Для Ивана Дмитриевича это «смягчение» выразилось — «по уважению совершенного раскаяния» — в замене смерти ссылкою «в каторжную работу на двадцать лет и потом на поселение».

13 июля по приказу Николая повесили пять участников Тайного общества и подвергли обряду лишения чинов и званий остальных осужденных. Якушкину при этом поранили голову (см. дальше, стр. 575). Через месяц его отправили в Роченсальмскую крепость и сократили срок каторжных работ до 15 лет. В конце декабря 1827 г. Якушкина доставили в Читу (см. «Записки», 103), включив в число каторжан Нерчинских рудников («Алфавит», 431). В 1830 г. И. Д. Якушкина вместе со всеми декабристами перевели из Читы в Петровский Завод, а в ноябре 1832 г. снизили ему срок каторги до 10 лет. Вследствие этого Иван Дмитриевич был в конце декабря 1835 г. «обращен на поселение». О пребывании Якушкина в Сибири — в его «Записках» (107 и сл.) и в Письмах (249 и сл.).

По манифесту Александра II 26 августа 1856 г. И. Д. Якушкин получил право вернуться в Европейскую Россию, но вследствие болезни не мог сразу воспользоваться царской «милостью». Приехав в Москву в начале 1857 г., он был выслан оттуда по приказанию царя (см. стр. 447 и сл.) и поселился в деревне своего товарища по службе в Семеновском полку. Деревня находилась в болотистой местности, пребывание в ней оказалось гибельным для Ивана Дмитриевича. Болезнь его осложнилась, и 11 августа 1857 г. И. Д. Якушкин умер. Свои материалистические воззрения И. Д. Якушкин сохранил до конца жизни: отказался исполнить перед смертью формальный обряд причащения.

Приведу еще маленькую справку о потомстве И. Д. Якушкина. Старший сын его, Вячеслав Иванович, умер бездетным. Младший сын, Евгений Иванович, женился на Елене Густавовне Кнорринг. У них было несколько детей.

Евгений Иванович Якушкин был крупным общественным деятелем 1860—1900-х годов, участвовал в революционном обществе «Земля и воля» (1860-х годов). Был выдающимся научным деятелем в области обычного права.

Старший сын Е. И. Якушкина, Вячеслав Евгеньевич (1856—1912), выдающийся исследователь в области истории русского общественного движения и литературы, был также крупным общественным деятелем. Он был одним из редакторов дореволюционного академического издания сочинений А. С. Пушкина, имел ученую степень магистра русской истории, в 1906 г. был избран членом-корреспондентом Академии Наук по отделению русского языка и словесности. Опубликовал много статей и документов по истории декабристов.

Второй сын Е. И. Якушкина, Евгений Евгеньевич (1860—1930) был преподавателем в средней школе и Московском университете. Он был филологом. После Октябрьской революции опубликовал много документов по истории декабристов.

Сын В. Е. Якушкина, правнук декабриста, Иван Вячеславович (род. в 1885 г.) — один из крупных ученых нашей страны в области сельского хозяйства. Он — профессор Московской сельскохозяйственной академии им. Тимирязева, имеет звание академика. Кроме публикации обширных, специальных научных трудов, удостоенных в 1943 и 1948 гг. Сталинской премии, И. В. Якушкин часто

выступает в центральной и местной печати со статьями научно-популярного содержания. Он принимает также участие в общественной жизни, ревностно отстаивая интересы советской, мичуринской сельскохозяйственной науки. Заслуги И. В. Якушкина отмечены правительством: он награжден орденом Ленина и двумя орденами Трудового Красного Знамени.

Другие потомки декабриста — его правнуки и праправнуки (доктор сельскохозяйственных наук Ольга Вячеславовна Якушкина, кандидат биологических наук Наталья Ивановна Якушкина и другие) — также активно работают в различных областях науки, литературы и советского строительства.

С. Штрайх.

ПРИМЕЧАНИЯ К ЗАПИСКАМ

К странице 7

[1] Рукопись мемуаров И. Д. Якушкина хранится в ЦГИА (ф. 279, оп. 1, № 8). Первая часть занимает л. 1—41, большого формата, записана под диктовку автора его старшим сыном В. И. Якушкиным в 1854 г. Дошедшая до нас рукопись — чистовая, с самыми незначительными, по объему, поправками.

[2] Он — Александр I.

К странице 8

[1] Ф.-Ц. Лагарп (1754—1838), швейцарский государственный деятель. Екатерина II вызвала его в Петербург для воспитания ее внуков Александра и Константина. Лагарп сочувствовал идеям французской буржуазной революции конца XVIII в.

[2] Иван Николаевич Толстой (1792—1854), однополчанин И. Д. Якушкина, служивший с ним в Семеновском полку. В рукописи вместо слова «однокашник» (однополчанин) — ошибочно: «однопажник»; эта ошибка повторялась во всех предшествующих изданиях.

К странице 9

[1] Остальное, до конца абзаца, вычеркнуто цензурой в издании 1905 г.

[2] Декабрист Н. Р. Цебриков (1800—1866) рассказывал, что однажды Александр I встретил пехотный полк, за которым везли несколько телег с розгами. Царь подъехал к полковнику и крикнул: «Это безобразие!» Командир понял царский окрик так, что розги не нужны. Но Александр раздраженно объяснил ему: «Да нет, а прикажите воз прикрыть или ковром, или чем другим, чтобы не было видно розог» («Новое время», заграничное издание, 1925, № 1400—401).

К странице 10

[1] А.-К. Веллингтон (1769—1852), английский политический и военный деятель.

К странице 11

[1] Первое ТО — Союз спасения, или истинных и верных сынов отечества (СС) — было задумано в самом начале 1816 г. Кроме названных в тексте, к СС вскоре присоединились М. Н. Новиков (1777—1825), М. С. Лунин (1783?—1845) и Ф. П. Шаховской (1796—1829). Подробности — Нечкина (I); ср.: Семевский I, 417, 669 и сл.

[2] Устав СС был составлен П. И. Пестелем («Донесение», 15; ВД, I, 299 и сл.). По поводу показания одного из принятых Пестелем в ТО его спрашивали в СК, верно ли, что, принимая новых членов, он угрожал: «малейшая измена или нескромность наказаны будут ядом или кинжалом». На это Пестель ответил: «Сии угрозы не входили в правила Общества с самого времени уничтожения Первого союза [СС] в 1817 г. В Первом же обществе входили они в правила устава, будучи приняты из масонских статутов и форм. Может быть, что в разговорах об обществе и о целом ходе оного с самого его начала я о сих угрозах рассказывал»; но в данном частном случае Пестель с принимаемого «не клятву брал, а честное слово» (ВД, IV, 149 и 168).

Задолго до основания СС А. Н. Муравьев был также инициатором кружка, из которого не по образцу иноземных масонских лож, а на русской почве развилось общественное движение первой четверти XIX в. Это «Священная артель» — дружеский кружок будущих декабристов, основанный А. Н. Муравьевым и его близким другом И. Г. Бурцовым. Кружок возник в 1814 г. и существовал до осени 1817 г. (до похода гвардии в Москву). Члены «артели»: братья Муравьевы (Александр, Николай и Михаил), И. Г. Бурцов и братья Колошины (Петр и Павел). Постоянные гости и друзья «Священной артели» — четверо лицеистов: И. И. Пущин, В. Кюхельбекер, А. Дельвиг и В. Вольховский, а также Михаил Пущин, Алексей Семенов и Александр Рачинский. «Священная артель» в известной мере явилась колыбелью первой декабристской организации — Союза спасения (Нечкина, II; печатается в ее новом исследовании «Декабристы», 1951).

В этой связи следует иметь в виду, что некоторые участники первых тайных обществ примыкали также к юношескому кружку, составленному знаменитым впоследствии русским военачальником, участником Отечественной войны 1812 г. и штурма Карса в 1828 г., покорителем Карса в 1855 г., Николаем Николаевичем Муравьевым (Карским; 1794—1866), младшим братом А. Н. Муравьева. Это было до войны 1812 г. «Как водится в молодые лета,— рассказывает Н. Н. Муравьев в своих «Записках»,— мы судим о многом, и я, не ставя пре-

грады воображению своему, возбужденному чтением «Общественного договора» Руссо, мысленно начертывал себе всякие предположения в будущем. Думал и выдумал следующее: удалиться чрез пять лет на какой-нибудь остров, населенный дикими, взять с собою надежных товарищей, образовать жителей острова и составить новую республику, для чего товарищи мои обязывались быть мне помощниками. Сочинив и изложив на бумагу законы, я уговорил следовать со мною Артамона Муравьева, Матвея Муравьева-Апостола и двух Перовских, Льва и Василия, которые тогда определились колонновожатыми; в собрании их я прочитал законы, которые им понравились. Затем были учреждены настоящие собрания и введены условные знаки для узнавания друг друга при встрече... Меня избрали президентом общества, хотели сделать складчину, дабы нанять и убрать особую комнату по нашему новому обычаю; но денег на то ни у кого не оказалось. Одежда назначена была самая простая и удобная: синие шаровары, куртка и пояс с кинжалом, на груди две параллельные линии из меди в знак равенства; но и тут ни у кого денег не оказалось, посему собирались к одному из нас в мундирных сюртуках. На собраниях читались записки, составляемые каждым из членов для усовершенствования законов товарищества, которые по обсуждении утверждались всеми. Между прочим, постановили, чтобы каждый из членов научился какому-нибудь ремеслу, за исключением меня, по причине возложенной на меня обязанности учредить воинскую часть и защищать владение наше против нападения соседей. Артамону назначено быть лекарем, Матвею — столяром. Вступивший к нам юнкер конной гвардии Сенявин должен был заняться флотом» (РА, 1885, № 9, стр. 25 и сл.).

Названные у Н. Н. Муравьева члены кружка участвовали в войне 1812 г., впоследствии привлекались к делу декабристов. Вернувшись после Отечественной войны в Петербург, Н. Н. Муравьев снова устроил небольшой кружок, где «читали, обсуждали читанное, мечтали», но в ТО, где были его братья и много близких родственников, Н. Н. Муравьев не вошел, так как вскоре был переведен на Кавказ.

К странице 12

[1] О попытке И. Д. Якушкина уничтожить в своем имении рабство — дальше (стр. 27 и сл.).

К странице 15

[1] Протест против военных поселений имел большое значение для развития среди солдат и крестьян брожения, которое создало почву для революционной пропаганды в армии. Ко времени восстания декабристов военные поселения насчитывали 90 батальонов в Новгородском округе, 12 батальонов в Могилевском, 36 батлаьонов и 240 эскадронов в Слободско-Украинском, Екатеринославском и Херсонском округах, несколько десятков рот в других местностях.

Литература о военных поселениях насчитывает много воспоминаний и рассказов лиц, участвовавших в управлении ими, свидетелей возмущения поселян и зверской расправы с ними аракчеевских ставленников, а также специальных исследований по истории поселений. Из этой литературы отмечу сводку данных о военных поселениях в связи с движением декабристов у В. И. Семевского (I, 167 и сл.) и книгу П. П. Естафьева — Восстание новгородских военных поселян, М. 1934; у обоих авторов указаны другие источники. Интересные документы о поселениях — у Дубровина (I, стр. 212 и сл., 230 и сл., 244 и сл.).

[2] Этот абзац в издании 1905 г. был вычеркнут цензурой.

К странице 16

[1] В издании 1905 г. этот абзац также вычеркнут цензурой.

К странице 18

[1] Вся остальная часть текста, почти до конца абзаца («и в заключение объявил... обществу»), отсутствует в издании 1905 г. по вине цензуры.

[2] В официальном сообщении СК, опубликованном 12 июня 1826 г., об этом заявлялось на основании показаний некоторых участников совещания: «Якушкин, который в мучениях несчастной любви давно ненавидел жизнь, распаленный в сию минуту волнением и словами товарищей, предложил себя в убийцы. Он в исступлении страстей, как кажется, чувствовал, на что решался. «Рок избрал меня в жертвы,— говорил он.— Сделавшись злодеем, я не должен, не могу жить, совершу удар и застрелюсь». Все прочие, хотя и поздно, устрашились или образумились и остановили его» («Донесение», 16 и сл.; ср. Показания И. Д. Якушкина, стр. 476 и сл.). О «несчастной любви», упоминаемой в «Донесении» СК, подробно рассказано в письмах И. Д. Якушкина к его товарищу по Семеновскому полку И. Д. Щербатову за 1817—1819 гг. (стр. 207 и сл.).

К странице 19

[1] СС был преобразован в СБ в 1818 г. Устав его составляли главным образом Мих. Ник. Муравьев (1796—1866), впоследствии ренегат (Муравьев-вешатель) и Петр Колошин (1794—1849); в составлении устава участвовали Н. М. Муравьев, С. П. Трубецкой и др. (Семевский, I, 421 и сл.; «Алфавит», 357; Кропотов, 215 и сл.). Один из списков устава хранится в ЦГИА («Собрание», ф. 48, № 10, стр. 1—47). На первой, титульной, странице выведено: «Устав Союза благоденствия, или Зеленая книга». Вторая часть заглавия дана уставу по цвету переплета, в который была вставлена подлинная рукопись. Устав был опубликован А. Н. Пыпиным (II, стр. 547 и сл.) под названием «Законоположение Союза благоденствия» (в последнее, пятое, издание этой книги, в 1918 г., «Законоположение» не включено).

В тексте Пыпина имеются сравнительно с текстом ГЦИА некоторые незначительные разночтения и значительные отличия в подчеркивании слов и целых предложений. Список ГЦИА, повидимому, является копией того экземпляра устава СБ, который был представлен в 1822 г. Александру I генералом А. И. Чернышевым (Семевский I, 427 и сл.). Царь давал его читать вел. кн. Константину Павловичу в 1822 или 1823 г. («Былое», 1925, № 5, стр. 48). Экземпляр Чернышева, так же как и экземпляр ГЦИА, был снабжен параллельными сопоставлениями отдельных пунктов устава СБ с некоторыми местами, заимствованными из двух немецких книг об ордене иллюминатов: «Оригинальные [подлинные] писания ордена иллюминатов, книга I», Мюнхен, 1787 г. и «Полная история гонения иллюминатов в Баварии», соч. проф. А. Вейсгаупта, 1786 г. Сопоставления устава СБ с уставом иллюминатов сделаны во многих случаях произвольно. Они отсутствуют у Пыпина, но у него — в сносках — имеются параллельные выписки из устава Тугендбунда (Союза добродетели). А. Н. Пыпин отметил важное умолчание в уставе СБ: в нем нет двух параграфов устава Тугендбунда — об освобождении его членами крепостных. Но, как видно из § 11 и 12 устава СБ, члены последнего должны были бороться с произволом помещиков по отношению к крестьянам. Известно также, что главной целью своей деятельности огромное большинство членов СБ считало уничтожение рабства в России.

С. Г. Волконский сообщил на следствии о важной стороне деятельности членов ТО, не нашедшей отражения в уставе. Одною из целей СБ было уничтожение жестокого обращения с солдатами и охрана их собственности (денег, заработанных на посторонних работах) от расхищения (начальством). Н. Комаров говорил, что одною из задач СБ было распространение кроткого обращения в войсках с офицерами и солдатами (Семевский, I, 425).

В ходе следствия возник вопрос о второй части устава СБ. В собственноручном «добавлении к вопросам» СК от 29 марта 1826 г. С. П. Трубецкой (которому приписывается работа над второй частью) сообщал: «Обещанная вторая часть «Зеленой книги» никогда не была написана, и занимались ли члены... сочинением сей второй части или определили, как ее написать, осталось мне неизвестным» (ВД, I, 86). Более определенно говорил в тот же день на следствии Е. П. Оболенский: «Нашей управе известна была первая часть «Зеленой книги»... О второй части мы были известны, что оная существует; но никто нам оную не объявлял и содержание даже оной никто из нас не знал» (там же, 252). Биограф М. Н. Муравьева положительно говорит, на основании рассказов родных последнего, что вторую часть «сочинил» Н. М. Муравьев (Кропотов, 219).

А. Н. Муравьев показывал на следствии: «Вторая часть «Зеленой книги» сочинена была в Москве на весьма отдаленный случай умножения общества. Подлинного экземпляра не было и быть не могло, потому что она не была утверждена и даже не всем известно ее содержание. Черновой экземпляр был у

князя Сергея Трубецкого; моего содействия в написании оной совсем не было. О сей второй части я не упомянул в первом моем показании, потому что она не была ни утверждена, ни принята обществом, а была в виде проекта, в котором можно было делать перемены и даже совсем уничтожить. Она не была прошнурована, как первая часть, и при ней не было ни печати, ни подписи» (ВД, III, 24).

Определенное показание об этом дал М. И. Муравьев-Апостол на допросе в СК 29 марта 1826 г. «Вторая часть Зеленой книги была составлена в 1818 году в Москве Александром Муравьевым, Бурцовым, Никитой Муравьевым. Она более клонилась к распространению мыслей о представительном правлении. Подлинный список хранился у Александра Муравьева» (ВД, IX, стр. 244).

К странице 20

[1] Доломан (долман) — короткий гусарский плащ-полукафтан; ментик — короткая гусарская куртка с меховой опушкой.

Павел Христофорович Граббе (1789—1875), офицер с 1805 г., участник войны 1807—1812 гг., член СБ. «При первом допросе отрицался от всякой принадлежности и даже знания о существовании общества»; на очной ставке «признался, что участвовал» в съезде 1821 г., фиктивно распустившем СБ, «содействовал разрушению сего общества и... старался изгладить не только из сердца, но... из самой памяти воспоминание сего кратковременного заблуждения... Повелено посадить на 4 месяца в крепость и потом выпустить» («Алфавит», 73). Успешно продолжал службу; в 1839 г.— генерал-адъютант; в 1853 г. предан военному суду за бездействие власти, но оправдался и через год возвращен в свиту царя; в 1866 г.— член Государственного совета и граф. См. еще в тексте (стр. 35 и сл.).

Дружеские, сердечные отношения между Якушкиным и Граббе, основанные на единомыслии, сохранялись вплоть до событий 1825 г. Об этом свидетельствуют письма Граббе к Якушкину за 1823 и другие годы, а также стихотворение Граббе, воспевающее Якушкина и его деревню Жуково. См дальше письмо Якушкина к Граббе (стр. 235 и сл.).

К странице 21

[1] О своем «обращении» А. Н. Муравьев говорил также в СК (ВД, III, 8). Об этом см. Штрайх, I. Жена А. Н. Муравьева — Прасковья Михайловна (1790—1835), рожденная Шаховская, последовала за ним в Сибирь.

К странице 24

[1] М. В. Нечкина в своей статье о Лорере отмечает неточность этого сообщения. Лорер вступил в ТО в 1823 г. («Записки», стр. 18).

К странице 26

[1] Сельцо Жуково, Вяземского уезда, Смоленской губернии, находилось на речке Дыме (6 сажен ширины, 3 вершка глубины). В Жукове был господский деревянный дом с плодовым садом, была мучная мельница. Ближайшим соседом И. Д. Якушкина по Жукову мог быть артиллерийский майор А. И. Барышников. Он был совладельцем дяди декабриста С. А. Якушкина по деревне Арефиной, причисленной к Жукову. Барышникову принадлежало там 12 дворов с населением в 85 крестьян: 44 мужчины, 41 женщина (Щепкина, 12). В Смоленской губернии был еще богатый помещик Дорогобужского уезда, полковник Барышников, родственник декабриста Н. В. Басаргина, щедро помогавший ему материально во время поселения в Сибири («Записки», 208). По предположению М. В. Нечкиной, это один и тот же Барышников, друг А. С. Грибоедова. По данным семейных архивов, Барышников был членом СБ.

[2] В упомянутом выше стихотворении П. Х. Граббе писал про деревню Якушкина — Жуково:

> Твой двор и сад и ветхий дом
> Устройства вид не представляли...
> Подъезда не было к крыльцу,
> Тропинка скромная извилась,
> И дева сельская к ключу
> Ходить чрез сад твой не страшилась.

У большинства помещиков крестьяне не имели права проходить через усадьбу помещика.

К странице 27

[1] См. дальше официальные письма И. Д. Якушкина о желании отменить рабство в своем имении (стр. 463 и сл.).

[2] Об этом Якушкин писал в июне 1854 г. М. Я. Чаадаеву и сыну Евгению 15 февраля 1850 г.

К странице 28

[1] Резко отрицательный отзыв о С. А. Якушкине в связи с упомянутой здесь его помещичьей практикой — в «Воспоминаниях» родственницы декабриста А. И. Колечицкой.

К странице 29

[1] У Якушкина — описка: 1805.

[2] Проект И. Д. Якушкина 1819 г. представляет значительный интерес, как и отношение к нему правящих кругов российского дворянства в 20-х годах.

XIX в. Счастливая случайность сохранила официальные документы по этому делу. Среди них упомянутые выше два заявления самого Якушкина (см. дальше, стр. 463 и сл.).

[3] И. А. Долгоруков (1797—1848) был весною 1817 г. в Берлине, откуда 12—24 мая сообщал Аракчееву (главному своему начальнику по артиллерийскому ведомству) о тамошнем «расположении умов: большинство народа дышет беспокойным и неприязненным духом относительно к правительству... Ограничусь только желанием, чтобы пруссаки остановились в столь опасном пути» (Дубровин, I, 194 и сл.).

К странице 30

[1] Н. И. Тургенев заявляет, что он старался помочь Якушкину в этом деле, но письма к Джунковскому не давал, так как не был знаком с последним (Письмо к редактору «Колокола», № 155, 1 февраля 1863 г.).

К странице 31

[1] Виктор Павлович Кочубей (1768—1834), министр внутренних дел в 1802—1812 гг. и в 1819—1825 гг. Указ 1803 г. о вольных хлебопашцах издан при Кочубее, но по инициативе С. П. Румянцова (1755—1838).

[2] Н. И. Тургенев записал в «Дневнике» под 18 марта 1820 г.: «Якушкин, приезжавший сюда для того, чтобы получить позволение сделать своих мужиков вольными, не успел в своем предприятии. Министр внутренних дел сказал ему, что мужики должны быть отпускаемы на волю не иначе, как с землею. Из таких отзывов, в которых видна или самая тупая нерассудительность, или неохота к освобождению, чтó можно заключать для будущего!» («Дневники», III, 225).

Любопытное замечание находим, однако, в письме Н. И. Тургенева к брату Сергею (1792—1827) от 20 апреля 1820 г.: «Вся просьба Якушкина состояла в том, чтобы дозволить вольным теперь его мужикам *нанимать* у него землю» (Письма, 299).

К странице 32

[1] См. об этом в письме к И. Д. Щербатову от 10 сентября 1819 г. (стр. 232).

[2] Взгляды И. Д. Якушкина в это время на крестьянский вопрос изложены также в его записке «Мнение смоленского помещика об освобождении крестьян от крепостной зависимости», составленной около 1820 г. и опубликованной в 1865 г. (см. стр. 464 и сл.).

К странице 33

[1] В трех верстах от Жукова была деревня Каблукова (17 дворов, 93 мужчины, 96 женщин, 279 дес. пашни). Крестьяне — на пашне (Щепкина, 14).

К странице 34

[1] Рекрутские зачетные квитанции представлялись в комиссии по набору солдат (рекрут) вместо лиц, подлежавших приему в армию. В военную же службу поступали охотники, которым выплачивалась часть цены квитанций. Иные помещики злоупотребляли этой системой: отдавали «провинившихся» в чем-либо крестьян в рекруты, получали за них зачетные квитанции, которые затем продавали.

К странице 35

[1] Об этом — в Показаниях Якушкина (стр. 468).

[2] Михаил Федорович Орлов (1788—1842) — один из выдающихся людей первой четверти XIX в. Племянник екатерининского фаворита Г. Г. Орлова, он принадлежал к богатой и знатной семье, получил хорошее образование. В 1801 г. зачислен на службу в Коллегию иностранных дел. Отсюда перешел в 1805 г. в Кавалергардский полк. Участвовал в войнах с Наполеоном начиная с 1805 г., получал награды. Особенно отличился в Отечественной войне 1812 г., проявил военную распорядительность, храбрость, умелыми действиями помогал нашим войскам одержать успех в ряде сражений. Так же удачны были действия отрядов, которыми командовал М. Ф. Орлов в сражениях 1813—1814 гг. за рубежом. Еще в 1812 г. Александр зачислил его в свою свиту; давал ему ответственные поручения.

Разносторонне одаренный, Орлов действовал и как военный и как дипломат, всюду успешно. Участвуя во взятии Парижа в 1814 г., он вел по поручению царя переговоры о капитуляции французской столицы и в награду произведен в генералы. В 1820 г. назначен командующим 16 пехотной дивизии, штаб-квартира которой была в Кишиневе.

Первое, документально установленное активное политическое выступление М. Ф. Орлова связано с проектом учреждения Ордена русских рыцарей (1814—1815). Но еще раньше, в августе 1808 г., он вместе со своим другом П. Д. Киселевым собирался подать Александру I записку о необходимости реформ в государственном управлении. «Проект представления» о такой необходимости сохранился в бумагах Киселева, но исследователь считает, что записка составлена Орловым, так как «некоторые утверждения записки поразительно совпадают с уставом Ордена русских рыцарей» (Дружинин, IV, 36 и сл.).

Обладая широким кругозором, интересуясь всеми сторонами общественной и государственной жизни, Орлов выступал с публичными речами в различных

учреждениях, заводил с друзьями оживленную переписку по вопросам истории, образования, политики и т. д. Речи и письма Орлова распространялись в тогдашнем обществе, возбуждали полемику, выходившую, вследствие полицейского досмотра на почте, за пределы круга друзей. Первая речь Орлова, дошедшая до нас в его собственноручном списке, произнесена 22 апреля 1817 г. в известном литературном объединении Пушкинской эпохи «Арзамас». Остроумными, язвительными выступлениями на своих заседаниях и, по возможности, в печати члены «Арзамаса», в котором участвовали А. С. Пушкин, его дядя В. Л. Пушкин, В. А. Жуковский, П. А. Вяземский, Н. М. Муравьев, Н. И. и А. И. Тургеневы и др., боролись с литературными староверами и политическими реакционерами во главе с А. С. Шишковым. В резких по существу выступлениях арзамасцев преобладала, однако, форма шутливого балагурства, снижавшая их общественно-политическую ценность. В своей вступительной речи М. Ф. Орлов призвал членов «Арзамаса» к более серьезной деятельности: «Ожидаю того счастливого дня, когда общим вашим согласием определите нашему обществу цель достойнейшую ваших дарований и теплой любви к стране Русской. Тогда-то Рейн прямо обновленный потечет в свободных берегах Арзамаса, гордясь нести из края в край, из рода в род не легкие увеселительные лодки, но суда, наполненные обильными плодами мудрости вашей и изделиями нравственной искусственности. Тогда-то просияет между ними дух отечественности и начнется для Арзамаса тот славный век, где истинное свободомыслие могущественной рукой закинет туманный кризис предрассудков за пределы Европы» («Арзамас», 206 и сл.); там же воспроизведена автотипически заключительная часть речи (к стр. 210). Рейн — арзамасское прозвище М. Ф. Орлова.

Познакомившись с Пушкиным по участию в «Арзамасе», Орлов особенно сблизился с ним в Кишиневе, куда поэт был выслан из Петербурга в 1820 г. за «вольномысленные стихи». Интересный отзыв Орлова о Пушкине с высокой оценкой его творчества — в письме к П. А. Вяземскому от 9 ноября 1822 г. (РА, 1884, кн. II, № 4, стр. 391 и сл.).

Орлов обладал большим политическим темпераментом и огромным честолюбием. «Я вижу славу вдали,— писал он сестре, когда вступил в СБ,— и, может быть, когда-нибудь я добуду немного ее». Тут же добавлял в соответствии с уставом СБ: «Жить с пользою для своего отечества и умереть оплакиваемый друзьями — вот что достойно истинного гражданина». Желая сестре с ее семьей «счастья и покоя», он себе просит у судьбы «жизни бурливой за родную страну» (Гершензон, 13 и сл.).

К этому времени относится участие Орлова в объединении группы придворных, крупных помещиков, для подачи Александру I заявления о постепенной отмене рабства крестьян.

Этот шаг Орлова усилил раздражение Александра, вызванное его фрондирующими выступлениями. Орлов лишился милости императора. Чтобы отдалить

его от себя, царь назначил его начальником штаба корпуса в Киеве. Это было началом заката легальной политической карьеры Орлова (ОА, I, 457 и сл.).

Но в Киеве Орлов не смирился. Здесь он был избран вице-президентом киевского отделения Библейского общества. Это была организация, пытавшаяся распространять среди населения нравственность чрез «священное писание». Впрочем, и это «просвещение» велось безуспешно. Орлов решил использовать Библейское общество для распространения в народе не «библейской» грамоты, а настоящей, в духе просветительства. 11 августа 1819 г. он произнес в киевском отделении Общества речь, получившую широкое распространение в списках. Она опубликована в 1891 г. в специальном малораспространенном издании («Сборник Русского исторического общества», т. 78, стр. 519—528).

В этой речи Орлов восхвалял ланкастерскую систему взаимного обучения, которую он с большим успехом применял в войсковых частях. Речь Орлова произвела сильное впечатление в русском обществе, она распространялась в списках, ее политическими намеками пользовались для агитации.

В Киеве Орлову было тесно. Ему хотелось развернуть всю мощь своей пылкой натуры. Он писал П. Д. Киселеву, что в Киеве ему не к чему приложить всю свою энергию, жаловался на бездействие и скуку. Начальник штаба армии готов был помочь Орлову, но он хорошо знал своего друга и предупреждал его о необходимости сдержать свои порывы, быть умереннее (PC, 1887, т. 51, № 7, стр. 231 и сл.). Считая, что он убедил Орлова, начальник штаба 2-й армии добился у Александра самостоятельного положения для своего друга. Орлова назначили начальником крупного воинского соединения — 16-й пехотной дивизии. «Я, наконец, назначен дивизионным командиром,— писал он А. Н. Раевскому.— Иду на новое поприще, где сам буду настоящим начальником». Штаб-квартира 16-й дивизии была в Кишиневе.

10 июля 1820 г. М. Ф. Орлов выехал из Киева. Побыл в Тульчине, где беседовал с Пестелем и Юшневским о делах ТО. В конце месяца приехал к месту своего нового служения.

Вся жизнь в Кишиневе пошла по-иному. Первым делом назначение нового начальника дивизии отразилось на солдатах. Строгими приказами генерал запретил обращаться с рядовыми солдатами, как с преступниками, нарушившими режим каторги. Приказы Орлова по дивизии распространялись в списках не только в других частях армии, но и в широких кругах общества. Два из них опубликованы в 1906 г. («Былое», 1906, № 7, 310 и сл.).

Среди изданных Орловым «положительных правил» для офицеров имеется «Секретная инструкция» от 13 ноября 1820 г. В ней начальник дивизии объявлял: «Воля моя тверда, и ничто от предмета моего меня не отклонит. Терзать солдат я не намерен: я предоставляю сию постыдную честь другим начальникам, кои думают более о собственных своих выгодах, нежели о благоденствии защитников Отечества... Я уверен, что в скором времени воспоследует совершенное

преобразование дивизии» (Базанов, I, 58). «Другие начальники», которым Орлов предоставлял «постыдную честь», ополчились на него. Было использовано все: деятельность В. Ф. Раевского под покровительством начальника дивизии, его речи, политические письма. Киселев больше не поддерживал Орлова, выдал его Закревскому. Орлова отстранили от командования, зачислили «состоять по армии» — сдали в архив.

К странице 36

[1] Алексей Петрович Юшневский (1786—1844), генерал-интендант 2-й армии, ближайший друг Пестеля, один из главных деятелей Южного общества, член СБ. «Разделял цель — введение республиканского правления с истреблением царствующего дома... Исправлял в слоге «Русскую Правду» Пестеля... По тому уважению, коим пользовался в гражданском отношении, служил для многих соблазном присоединиться к Обществу» («Алфавит», 214). Присужден «к смертной казни отсечением головы». По «чувству милосердия» Николай I решил «сослать» его «вечно в каторжную работу» и постепенно сокращал этот срок. В 1839 г. Юшневский «обращен на поселение».

Н. И. Лорер, близко знавший А. П. Юшневского, дает в своих «Записках» интересную характеристику его как выдающегося участника заговора: «Юшневский пользовался отличной репутацией человека с большими сведениями, серьезного, бескорыстного, практического... Он был... добродетельный республиканец, никогда не изменявший своих мнений, убеждений, призвания. Он много способствовал своими советами Пестелю к составлению «Русской Правды» (стр. 76 и сл.). Лорер приводит примеры осторожности Юшневского, его благоразумия. Действительно, когда Юшневский находился в Петровской каторжной тюрьме, его пытались сделать главным объектом жандармской провокации по раскрытию нового заговора, якобы составленного декабристами после осуждения. Юшневский сразу понял провокацию и не поддался ей (см. Штрайх, II, III, IV, с иллюстрациями, в числе которых — подложный диплом участника нового заговора, написанный от имени Юшневского). Его жена Мария Казимировна последовала за ним в Сибирь, откуда Николай I не выпускал ее и после смерти Юшневского, вплоть до 1855 г. О Юшневском — у Белоголового (6 и сл.).

[2] Павел Дмитриевич Киселев (1788—1872), начальник штаба 2-й армии при главнокомандующем П. Х. Витгенштейне (1768—1842), который «мало занимался службою, предоставляя все управление армией начальнику штаба... Главнокомандующий ни во что почти не мешался» (Басаргин, 4 и сл.). Витгенштейн и Киселев высоко ценили П. И. Пестеля и любили его; благодаря этому он мог широко развернуть деятельность ТО на юге. Киселев выдвигал Пестеля перед высшими правительственными кругами, давая ему ответственные дипломатические поручения и проведя, вопреки нежеланию других влиятельных лиц, назначение его командиром Вятского полка.

Письма Пестеля к Киселеву характеризуют их взаимоотношения, показывают степень близости командира Вятского полка к начальнику штаба 2-й армии. Большой интерес представляет письмо Пестеля из Тульчина от 19 июля 1821 г., когда он был еще адъютантом главнокомандующего, а Киселев находился в Кишиневе для секретного расследования революционной деятельности В. Ф. Раевского. Оно показывает, как ошибался Киселев, когда писал дежурному генералу главного штаба А. А. Закревскому в ответ на предупреждение последнего, чтобы он остерегался Пестеля: «Я ему надел узду и так ловко, что он к ней привык и повинуется. Конь выезжен отлично, но он с головою и к делу очень способен». Несмотря на повторные советы Закревского в том же роде и собственное признание Киселева, что он «без дальних изворотов» заявил Витгенштейну и самому Пестелю, что расходится с последним во взглядах на «нравственность», начальник штаба армии продолжал выдвигать адъютанта главнокомандующего на ответственную должность командира полка. Узду фактически надевал подполковник Пестель на генерал-адъютанта Киселева: «Генерал, образ действий вашего превосходительства в отношении меня таков, что для меня является истинным удовольствием сказать во всеуслышание, что благодарность, которою я вам обязан, очень велика, и мне приятно это сказать, так как слова эти служат истинным выражением моих чувствований. Фраза: *уничтожить артикул, касающийся подп. Пестеля,* не причинила мне ни малейшей неприятности. Я уже слишком привык к неприятностям по службе, чтобы обращать на них какое-нибудь внимание. Я совершенно равнодушен ко всему неприятному, что может со мною случиться; но взамен этого я бесконечно чувствителен к малейшему знаку внимания и дружбы, и вот почему письмо, которое вы изволили написать мне из Кишинева, доставило мне в тысячу раз более удовольствия, чем сколько неприятностей причинило содержание приложенной к нему бумаги Закревского. Мне очень тяжело, что вы потратили еще несколько слов в мою пользу. Дело не стоило того... Но что представляется мне забавным в этой истории, так это то, что я с самого ее начала рассказал, Ивашеву то, что произойдет и очень боюсь, что и в настоящем случае мои предположения также осуществятся. Вы увидите, что г. Кромин, благодаря своему покровителю, станет 30 августа генералом. Желаю ему всевозможного счастия, однако не хотел бы служить ступенькою для него. В таком случае, может быть, согласятся дать и мне полк, но, вероятно, без чина полковника. Возможно, что в одно и то же время получит повышение и Ностиц, потому что он является пятым, как мне пишет. При таком предположении, мое назначение в Вятской полк, в то время как я буду самым старым из старших офицеров Смоленского полка, станет нового рода унижением. Это будет иметь вид, что меня нашли неспособным командовать кавалерийским полком и выбросили вон, чтобы очистить место другому. Согласитесь, что это не из приятных» («Памяти декабристов», III, 158 и сл.).

Киселев повиновался узде, нажал на Закревского. 1 ноября Пестель был произведен в полковники, через две недели получил полк. Поблагодарив генерала, Пестель стал добиваться увольнения негодных ему офицеров и привлечения таких, которые помогли бы ему преобразовать запущенный полк. В февральском письме 1822 г. он, «чтобы не изменять своей старой привычке располагать все по цифрам», сообщает начальнику штаба «по пунктам» все, касающееся устройства полка. Солдаты, по вине прежнего командира, «не имеют представления о том, что такое военное обучение. Все спит глубоким сном... Полк должен быть освежен, без этого есть отчего повеситься» (стр. 167 и сл.).

Пестель добился от Киселева всего, что ему нужно было: начальник штаба хотел оправдать перед Александром I свой выбор. Благодаря генерала за исполнение его требований, Пестель спустя несколько месяцев пишет Киселеву: «Солдаты и офицеры... теперь все очень хорошо знают, что такое суровость. Но так как одной суровости мало, чтобы наладить как следует дело службы, то я даю клятву, что вы найдете полк в таком состоянии, которое позволит вам дать моим офицерам доказательство, как после дождя наступает хорошая погода. Поднять в них чувство долга, добиться от них самих некоторого доверия к себе, это — один из наиболее действительных способов, чтобы совершенно улучшить полк». Что касается солдат, то, «по их собственным словам, они никогда не видели столько заботы о себе. Их пища превосходна, так как я из собственных моих средств даю им тройную порцию каши. В настоящее время, в добавление к этому, будет отпускаться и говядина. Таким образом, единственной причиной является перемена системы» (стр. 183 и сл.).

[3] Участники ТО, служившие во 2-й армии при Киселеве, почти все в своих воспоминаниях заявляют, подобно Якушкину, что начальник штаба знал о существовании ТО, но смотрел на это сквозь пальцы, требуя только от них добросовестного отношения к служебным обязанностям. Однако сам Киселев в официальной и частной переписке с руководящими правительственными кругами всегда с осуждением отзывался о «либеральных заблуждениях» не только молодых офицеров, но и таких своих личных друзей, товарищей по службе, как генерал М. Ф. Орлов. На допросах в СК декабристы говорили, что Киселев постоянно делал им внушения о необходимости заниматься исключительно служебными делами. В этом отношении характерно показание С. Г. Волконского от 9 марта 1826 г.: «Генерал-адъютант Киселев не только в 1825 г., но с самого, могу сказать, начала служения моего во 2-й армии, неоднократно отклонял меня входить в связи дружбы с Пестелем, как с человеком ненадежным в таковых сношениях... Киселев... советовал мне прекратить мои дружеские связи с Давыдовым, как с человеком, который, по неосторожности своих разговоров, уже на замечании у правительства». Подчеркнув, что эти советы Киселева основаны на их 20-летней дружеской связи, Волконский продолжал: «Служба же и образ мнений г.-а. Киселева порукою, что, будь хоть малая была польза государствен-

ная, он бы пожертвовал дружбою для оной». И закончил уверением, что Киселев не имел «какого-либо понятия» о действиях ТО (КА, 1925, т. 9, стр. 223). После освобождения из Сибири Волконский вспомнил какой-то свой разговор с Киселевым незадолго до восстания 1825 г. «Послушай, друг Сергей,— сказал Киселев,— у тебя и у многих твоих тесных друзей бродит в уме бог весть что; ведь это поведет вас в Сибирь... уклонись от всех этих пустяшных бредней, которых столица в Каменке..., выпутайся из этого грозящего тебе исхода; повторяю: это пахнет Сибирью, послушайся давнишнего и теперешнего твоего друга!» («Записки», 425).

Киселев не только «с удовольствием слушал здравые, но нередко резкие суждения Пестеля» (Басаргин, I, 11; см. еще у него по указателю). Доказательством его глубокого уважения к Пестелю служит то, что он бережно хранил всю жизнь письма командира Вятского полка, устанавливающие их близость не только в порядке служебных отношений.

[4] Владимир Федосеевич Раевский (1795—1872), член СБ. Сын крупного курского помещика, предводителя дворянства, он воспитывался в Московском университетском пансионе; в 1811 г. поступил в военную школу и в мае 1812 г. выпущен офицером в артиллерию. Участвовал в 11 сражениях; по изгнании Наполеона из России был в заграничных походах; получал награды за отличия; в 25 лет он — майор.

Раевский вернулся из походов убежденным революционером. О том, как это произошло, он сообщал сестре в автобиографическом письме от 21 мая 1868 г.: «Сотни тысяч русских своею смертью искупили свободу целой Европы. Армия, избалованная победами и славою, вместо обещанных наград и льгот, подчинилась неслыханному угнетению. Военные поселения, начальники такие, как Рот, Шварц, Желтухин и десятки других, забивали солдат под палками; крепостной гнет крестьян продолжался, боевых офицеров вытесняли из службы... усиленное взыскание недоимок, увеличившихся войною, строгость цензуры, новые наборы рекрут и проч. и проч. производили глухой ропот... Власть Аракчеева, ссылка Сперанского... сильно встревожили, волновали людей, которые ожидали обновления, улучшений, благоденствия, исцеления тяжелых ран своего отечества... И вот причины, которые заставили нас высказаться так решительно и безбоязненно: дело шло о будущности России, об оживлении, спасении в настоящем» (РС, 1902, т. III, стр. 601 и сл.).

По службе в Кишиневе Раевский близко сошелся с начальником дивизии, членом ТО, генералом М. Ф. Орловым, который поручил ему заведывать военными школами взаимного обучения для юнкеров и рядовых солдат. Здесь Раевский действовал в соответствии с самым широким, революционным толкованием духа устава СБ. Деятельность Раевского была прервана 6 февраля 1822 г. его арестом. Раевского обвиняли в том, что «для обучения солдат и юнкеров, вместо данных от начальства печатных литографических прописей и разных

учебных книг, он приготовил свои рукописные прописи, поместив в оных слова: *свобода, равенство, конституция, Квирога, Вашингтон, Мирабо;* при слушании юнкерами уроков говорил: «Квирога, будучи полковником, сделал в Мадриде революцию и когда въезжал в город, то самые значительные дамы и весь народ вышли к нему навстречу и бросали цветы к ногам его; и Мирабо был тоже участником во французской революции и писал много против *государя;* и что конституционное правление лучше всех правлений, а особливо нашего *монархического,* которое хоть и называется *монархическим,* но управляется деспотизмом... В географических тетрадках юнкерской школы, под заглавием *о постановлениях,* названо правление конституционное самым лучшим, новейшим; в отобранных у Раевского бумагах найдена одна черновая, в коей написано, что блаженной памяти *государь император* медлит дать конституцию народу русскому и миллионы скрывают свое отчаяние до первой искры. Сверх того, Раевский во время командования 9-ю ротою толковал офицерам и нижним чинам о равенстве и конституции, говоря, что между солдатами и офицерами не должно быть различия, а должно быть равенство и что природа создала всех одинаковыми... Когда узнал Раевский о случившемся в лейб-гвардии в Семеновском полку происшествии, то при офицерах и нижних чинах 32-го Егерьского полка, равно и в дивизионной юнкерской школе, одобряя буйственный поступок солдат Семеновского полка, называл их молодцами... При собрании роты, объявляя нижним чинам о происшествии Семеновского полка, говорил: «Придет время, в которое должно будет, ребята, и вам опомниться»... Во время командования 9-ю Егерьскою ротою и управления школами потворствовал нижним чинам, обращаясь с ними фамильярно и по-дружески; целовал их и себя заставлял целовать, нюхал с ними табак и сам их оным потчивал, советовал прочим офицерам обходиться с ними подобным образом и, толкуя о тиранстве и варварстве, говорил при офицерах «что палки противны законам и природе и кто нижних чинов наказывает, тот злодей»» (Доклад И. И. Дибича, 1827 г.; см. Щеголев, I, 59 и сл.).

Кроме политической агитации, Раевский вел в заведуемых им школах пропаганду, направленную против сказок о сотворении мира божественным велением, носившую явно материалистический характер. Он объяснял солдатам, что «земля наша обращается около солнца и, обращаясь около солнца, обращается также около своей оси. Осью мира называется мысленная линия, проведенная сквозь центр земли от одного полюса к другому. Полюсами называются две противоположные точки, около которых кажется обращается небо. Один из них находится на севере, другой на юге». Это из конспекта Раевского, в котором намечена также программа устных бесед с солдатами: «Сказать о человеке в первобытном состоянии или при рождении. Представить человека как животного, имеющего ум, дар слова и душу, которые влекли его к совершенствованию языка» Сообщал он также солдатам о происхождении религии, о разных ее системах (Базанов, I, 103).

Арестовали Раевского за четыре года до восстания, держали в разных крепостях около шести лет. Доносов и показаний о его революционной пропаганде было много, определенных улик не могли добиться. Только после декабрьских событий 1825 г. его предали военному суду как участника ТО. и сослали на поселение.

В цитированном выше письме к сестре Раевский сообщал: «Брат твой прежде других (по неясному подозрению только) был арестован и заключен в крепость Тираспольскую. Тайна оставалась тайною, и только 14 декабря 1825 г. она объяснилась на Сенатской площади. Из Тирасполя я был отправлен в креп[ость] Петропавловскую, по решении дела протестовал, меня отправили в Царство Польское в креп[ость] Замосць, а 1827 г. октября 25 участь моя была решена,— через месяц на почтовых меня отправили в Сибирь на поселение. После шестилетнего крепостного заключения я, наконец, дышал свежим воздухом, видел людей, мог говорить с ними, мне дозволяли обедать на постоялых дворах, ночевать не в тюрьме, не под замком; чиновники и офицеры, которые назначались губернаторами тех губерний, через которые я проезжал, обходились со мною не только вежливо, но с непритворным уважением. Я потерял чины, ордена, меня лишили наследственного имения, но умственные мои силы, физическая крепость, мое имя оставались при мне. После жизни военной и тюремной, с 1827, или, вернее, 1828, года, начинается жизнь ссыльная. Вот уже 40 лет, как я в Сибири». В 1856 г. Раевский был восстановлен во всех правах, получил разрешение вернуться в Россию. Воспользовался он этим только в 1858 г., поехал в Петербург и Москву для свидания с родными и друзьями. В том же году вернулся в Сибирь, в село Олонки, близ Иркутска. Там умер и похоронен.

В. Ф. Раевский был талантливым поэтом. Его стихотворения опубликованы в разное время в периодических изданиях. Часть собрана в книге В. Г. Базанова; самые яркие революционные — в публикациях П. С. Бейсова, в сборниках Б. С. Мейлаха и др.

В Кишиневе Раевский близко сошелся с А. С. Пушкиным. Эта дружба, по свидетельству мемуаристов, имела большое влияние на великого поэта. Раевский «очень много способствовал к подстреканию Пушкина заняться положительнее историей и в особенности географией... Пушкин... искал выслушивать бойкую речь Раевского... Когда шел разговор о каких-либо науках, в особенности географии и истории, Пушкин хладнокровно переносил иногда довольно резкие выходки со стороны» Раевского, «занятый только мыслью обогатить себя сведениями... Беседы... с Раевским... дали толчок к дальнейшему развитию научно-умственных способностей Пушкина по предметам серьезных наук» (Липранди, 1950, стр. 254, 280 и др.).

Это подтверждает биограф Пушкина: «Исследователь русской литературы со вниманием остановится на отношениях Раевского к Пушкину... отметит влияние политического агитатора и заговорщика на поэта-художника... Эпизод его отно-

шений к В. Ф. Раевскому — одна из наиболее интересных и значительных страниц истории кишиневской жизни поэта» (Щеголев, I, 9, 34 и сл.). К влиянию бесед Раевского с Пушкиным относит Щеголев строфы в кишиневском послании Чаадаеву, где великий поэт говорит, что он учится, чтоб «в просвещении стать с веком наравне» (стр. 42). То же говорит другой исследователь творчества великого поэта: «Интерес Пушкина к русской истории... в годы южной ссылки был подкреплен Раевским» (М. А. Цявловский, «Временник» VI, 43).

Политические очерки Раевского «О солдате», «О рабстве крестьян», его политические письма опубликованы в советское время (у Базанова, у Бейсова, в сб. «Декабристы», XI; КА, 1925, № 6). Кроме названных источников, см. еще его биографию у Щеголева (I).

К странице 37

[1] И. Г. Бурцов заявил об этом на допросе в СК, рассказав, конечно, о Киселеве. Имя его, кроме того, упоминалось в СК. Приехав в январе 1826 г. в Петербург, Киселев пытался рассеять скопившиеся вокруг него тучи. 16 января он писал Николаю I, что «с горестным чувством узнал о подозрении» в сочувствии заговорщикам (Заблоцкий-Десятовский, I, 249 и сл.). Не помогло. Тогда Киселев написал на имя Витгенштейна обширную исповедь для передачи царю (письмо от 4 марта 1826 г.). Здесь он заявлял, что сделался жертвой двуличия Пестеля и других офицеров, которым доверял, и что только донос Майбороды раскрыл ему глаза. Что касается списка членов ТО, о котором показывал Бурцов, то Киселев в свое время ведь говорил об этом Витгенштейну. Оба они тогда не придали списку значения, так как сам Сабанеев, приславший его Киселеву, сообщал, что все это неважно (там же, IV, 37 и сл.).

Яркая характеристика Киселева — в послании Пушкина к А. Ф. Орлову (1819):

На генерала Киселева
Не положу своих надежд,
Он очень мил, о том ни слова,
Он враг коварства и невежд;
За шумным, медленным обедом
Я рад сидеть его соседом,
До ночи слушать рад его;
Но он придворный: обещанья
Ему не стоят ничего.

[2] См. Семевский, I, 544, 550.

К странице 38

[1] «Александр I, заранее извещенный о предприятии Орлова, призвал своего любимца и потребовал составленную им записку. Орлов, видя, что дело их при-

няло дурной оборот и не желая выдавать соучастников, отказался представить требуемый документ, за что и был удален в Киев» (Саитов, ОА, I, 457 и сл.).

К странице 40

[1] Василий Львович Давыдов (1792—1855), единоутробный брат героя 1812 г. ген. Н. Н. Раевского старшего (1771—1829), отца жены М. Ф. Орлова и жены С. Г. Волконского, служил в гусарах с 1808 г., участвовал во всех войнах с Наполеоном; ранен под Кульмом и Лейпцигом. Член СБ и видный деятель ЮО. «Соглашался на введение республики с истреблением государя и всего царствующего дома... Однако в 1825 г. не одобрял предложения о начатии возмутительных действий... знал о порывах Сергея Муравьева к возмущению... Осужден в каторжную работу вечно» («Алфавит», 76). Умер на поселении в Сибири. Жена его, Александра Ивановна, последовала за ним в Сибирь. После смерти Давыдова семья его вернулась в Россию.

[2] В имении Давыдовых Каменка Пушкин пробыл с ноября 1820 г. до марта 1821 г.; встречался там с членами ТО, присутствовал при их беседах революционного содержания. 4 декабря 1820 г. он писал Н. И. Гнедичу из Каменки: «Теперь нахожусь в Киевской губернии, в деревне Давыдовых, милых и умных отшельников, братьев генерала Раевского. Время мое протекает между аристократическими обедами и демагогическими спорами. Общество наше... разнообразная и веселая смесь умов оригинальных, людей известных в нашей России, любопытных для незнакомого наблюдателя... много острых слов, много книг». В послании В. Л. Давыдову (1821) Пушкин вспоминал:

Тебя, Раевских и Орлова,
И память Каменки любя...
Когда и ты, и милый брат,
Перед камином надевая
Демократический халат,
Спасенья чашу наполняли
Беспенной, мерзлою струей
И за здоровье *тех* и *той*
До дна, до капли выпивали...
...мы счастьем насладимся,
Кровавой чашей причастимся...

Те — деятели революции в Неаполе. *Та* — свобода, революция.

К странице 41

[1] Александр Львович Давыдов (1792—1855), брат декабриста, владелец Каменки; был равнодушен к беседам членов ТО, собиравшихся в его доме. Пушкин

посвятил ему в 1824 г. послание («Нельзя, мой толстый Аристип...») Его жене. Аглае Антоновне, дочери герцога Граммон, поэт посвятил две эпиграммы (1821 и 1822); их дочери Адели посвящено послание (1822). Впоследствии она уехала в Париж и поступила там в католический монастырь.

[2] Из комментируемого текста, вопреки мнению некоторых дореволюционных пушкинистов, видно, что Якушкин сообщает названия произведений Пушкина, которые вообще распространялись до восстания 1825 г. Якушкин перечисляет здесь и те произведения Пушкина, которые еще не были созданы в 1820 г.

К странице 42

[1] «Первый, бесценный друг» поэта, его лицейский товарищ И. И. Пущин рассказывает в своих «Записках» о вступлении в Тайное общество (Союз спасения) по окончании лицея: «Эта высокая цель жизни самой своей таинственностью и начертанием новых обязанностей резко и глубоко проникла душу мою; я как будто вдруг получил особенное значение в собственных своих глазах: стал внимательнее смотреть на жизнь во всех проявлениях буйной молодости, наблюдал за собой, как за частицей, хотя ничего не значущею, но входящею в состав того целого, которое рано или поздно должно было иметь благотворное свое действие. Первая моя мысль была открыться Пушкину: он всегда согласно со мною мыслил о деле общем, по-своему проповедывал в нашем смысле — и изустно, и письменно, стихами и прозой... Тогда везде ходили по рукам, переписывались и читались наизусть его «Деревня», «Ода на свободу», «Ура! В Россию скачет...» и другие мелочи в том же духе. Не было живого человека, который не знал бы его стихов» («Записки», 1937, стр. 65 и сл.).

В одной из рукописей декабриста Д. И. Завалишина имеется следующее свидетельство: «Можно наверное сказать, что по крайней мере $^{9}/_{10}$, если не $^{99}/_{100}$ тогдашней молодежи первые понятия о безверии, кощунстве и крайнем приложении принципа, что «цель оправдывает средства», т. е. крайних революционных мер, получили из его стихов. Самое достоинство стиха... содействовало распространению кощунственных и революционных идей, и если не все прилагали их к делу, то все знакомы были с ними по Пушкину... В наше время едва ли был какой взрослый воспитанник, который не списывал и не выучивал наизусть этих стихотворений» (Гессен, I, 198; ср. «Литературный Ленинград», 1934, № 62). «Кощунственные», по Завалишину,— антицерковные; цитированный рассказ он писал много десятилетий спустя после 14 декабря, когда стал сотрудником реакционных изданий и положение обязывало его к таким определениям. Но сущность его сообщения подтверждается показаниями огромного большинства декабристов, заявлявших на следствии, что революционные стихи Пушкина оказали большое влияние на формирование их мировоззрения. Много таких показаний, извлеченных из архивных документов, приведено в исследовании М. В. Нечкиной на рассматриваемую тему (III).

Определенное заявление о распространении «вольнодумных» стихотворений А. С. Пушкина и влиянии их на развитие революционных идей — в показании М. П. Бестужева-Рюмина от 5 апреля 1826 г.: «Вольнодумческих сочинений Пушкина столько по полкам, что это нас самих удивляло» (ВД IX, стр. 118; ср. там же, стр. 49).

[2] Александр Николаевич Раевский (1795—1868), старший сын героя 12-го года; участвовал в кампаниях 1810—1814 гг. Арестован вместе с братом Николаем (1801—1843) по доносу И. О. Витта, будто они хотели «заразить Черноморский флот». Оба доставлены в Петербург 5 января 1826 г. и признаны невиновными. 17 января их освободили «с аттестатами» («Алфавит», 160). Оба — друзья Пушкина, играли ту или иную роль в его личной и творческой жизни.

Известно, что А. Н. Раевский — герой пушкинского стихотворения «Демон» (1823). Об этом стихотворении существует в пушкинской литературе много замечаний и рассуждений, но его содержание, как заявляет Б. С. Мейлах, «не было до сих пор раскрыто». Пушкин «многозначительно» писал о Раевском, что ему «предназначено, может быть, управлять ходом весьма важных событий» («Новое о политической эволюции Пушкина», «Литературная газета», 1936, 5 июля). Сводка сообщений современников о Раевском, его собственные высказывания о деле декабристов в связи с арестом мужа его сестры, С. Г. Волконского — у Гершензона (стр. 44 и сл.). Н. И. Лорер приводит в своих записках смелый ответ А. Н. Раевского на упрек Николая I, почему он нарушил присягу и не донес о существовании ТО: «Государь. Честь дороже присяги: нарушив первую, человек не может существовать» (стр. 202).

К странице 43

[1] И. И. Пущин рассказывает: «Не знаю, к счастью ли его, или к несчастью, он не был тогда [в 1817 г., по окончании Лицея] в Петербурге, а то не ручаюсь, что в первых порывах, по исключительной дружбе моей к нему, я, может быть, увлек бы его с собою. Впоследствии, когда думалось мне исполнить эту мысль, я уже не решался вверить ему тайну, не мне одному принадлежавшую, где малейшая неосторожность могла быть пагубна всему делу. Подвижность пылкого его нрава, сближение с людьми ненадежными пугали меня. К тому же в 1818 г., когда часть гвардии была в Москве по случаю приезда прусского короля, столько было опрометчивых действий одного члена общества, что признали необходимым делать выбор со всею строгостью, и даже несколько лет спустя объявлено было об уничтожении общества, чтобы тем удалить неудачно принятых членов. На этом основании я присоединил к союзу одного Рылеева, несмотря на то, что всегда был окружен многими разделяющими со мной мой образ мыслей.

Естественно, что Пушкин, увидя меня после первой нашей разлуки, заметил во мне некоторую перемену и начал подозревать, что я от него что-то скрываю. Особенно во время его болезни и продолжительного выздоровления, видаясь чаще

обыкновенного, он затруднял меня спросами и расспросами, от которых я, как умел, отделывался, успокаивая его тем, что он лично, без всякого воображаемого им общества, действует как нельзя лучше для благой цели...

Самое сильное нападение Пушкина на меня по поводу общества было, когда он встретился со мною у Н. И. Тургенева, где тогда собирались все желавшие участвовать в предполагаемом издании политического журнала. Тут между прочими были Куницын и наш лицейский товарищ Маслов. Мы сидели кругом большого стола. Маслов читал статью свою о статистике. В это время я слышу, что кто-то сзади берет меня за плечо. Оглядываюсь — Пушкин! «Ты что здесь делаешь? Наконец, поймал тебя на самом деле»,— шепнул он мне на ухо и прошел дальше. Кончилось чтение. Мы встали. Подхожу к Пушкину, здороваюсь с ним; подали чай, мы закурили сигареты и сели в уголок. «Как же ты мне никогда не говорил, что знаком с Николаем Ивановичем? Верно, это ваше общество в сборе? Я совершенно нечаянно зашел сюда, гуляя в Летнем саду. Пожалуйста, не секретничай; право, любезный друг, это ни на что не похоже!» Мне и на этот раз легко было без большого обмана доказать ему, что это совсем не собрание общества, им отыскиваемого, что он может опросить Маслова и что я сам тут совершенно неожиданно...

Глядя на него, я долго думал: не должен ли я в самом деле предложить ему соединиться с нами? От него зависело принять или отвергнуть мое предложение. Между тем тут же невольно являлся вопрос: почему же, помимо меня, никто из близко знакомых ему старших наших членов не думал об нем? Значит, их останавливало то же, что меня пугало: образ его мыслей всем хорошо был известен, но не было полного к нему доверия. Преследуемый мыслью, что у меня есть тайна от Пушкина и что, может быть, этим самым я лишаю общество полезного деятеля, почти решался броситься к нему и все высказать, зажмуря глаза на последствия». «В постоянной этой борьбе с самим собою» Пущин встретил С. Л. Пушкина, и тот рассказал ему о какой-то «последней проказе» сына; «что именно, припоминать» не хотелось. Но «эта встреча,— рассказывает Пущин,— совершенно случайная, произвела свое впечатление: мысль о принятии Пушкина исчезла из моей головы. Я страдал за него, и подчас мне опять казалось, что, может быть, тайное общество сокровенным своим клеймом поможет ему повнимательней и построже взглянуть на самого себя, сделать некоторые изменения в ненормальном своем быту. Я знал, что он иногда скорбел о своих промахах, обличал их в близких наших откровенных беседах, но видно, не пришла еще пора кипучей его природе угомониться. Как ни вертел я все это в уме и сердце, кончил тем, что сознал себя не вправе действовать по личному шаткому воззрению, без полного убеждения, в деле, ответственном пред целию самого союза» («Записки», 1937, стр. 66 и сл.).

Внук декабриста С. Г. Волконского сообщает подробность, которая сохранилась в их семье «как драгоценное предание»: «Деду моему, Сергею Григорьевичу,

было поручено завербовать Пушкина в члены Тайного общества; но он, предвидя славное его будущее и не желая подвергать его случайностям политической кары, воздерживался от исполнения возложенного на него поручения» (С. М. Волконский, 43 и сл.). О взаимоотношениях Пушкина и декабристов, о роли поэта в развитии общественного и революционного движения 20-х годов XIX в.— см. в работах М. В. Нечкиной (I, II, III, IV, V, VI), Б. С. Мейлаха (I, II, III — здесь гл. 2-я), В. И. Семевского (I, по указателю), Н. К. Пиксанова (стр. 61 и сл., 64 и сл.), А. Н. Шебунина (I, III).

Пушкин встречался с Якушкиным еще до Каменки, познакомился с ним у П. Я. Чаадаева (Нечкина, VII, 151 и сл.; Томашевский, 406). Поэт посвятил Якушкину три стиха в X главе «Евгения Онегина» (строфа 15-я):

Меланхолический Якушкин,
Казалось, молча обнажал
Цареубийственный кинжал.

Первое слово первого стиха читается в рукописи Пушкина предположительно. В ней можно прочесть только «Мела», за этим — черта, указывающая, что слово недописано. Оправданием чтения, принятого в литературе о творчестве Пушкина, может служить характеристика «Донесения» (Томашевский, 406). О характеристике Якушкина в «Донесении» см. на стр. 528, 573 и 628.

2 Н. Комаров, подполковник, член СБ. «Предвидя пагубные следствия от сего... наиболее настаивал о уничтожении оного... После подробных и чистосердечных показаний отпущен... с аттестатом» («Алфавит», 97). Показания Комарова — донос на руководителей ЮО, главным образом на П. И. Пестеля; опубликованы в сб. «Мемуары» (стр. 27 и сл.)

К странице 44

1 В упомянутом здесь письме Брут упрекал Цицерона в малодушном отказе от прямой борьбы с самовластием Цезаря.

2 Краткий рассказ Якушкина о поведении М. Ф. Орлова на московском съезде вызвал в 70-х годах полемику между сыном Орлова, Николаем, и сыном Якушкина, Евгением; в полемике принял участие П. Х. Граббе.

См. дальше рассказ И. Д. Якушкина об участии М. Ф. Орлова в собраниях московских членов ТО во время декабрьских событий 1825 г. (стр. 59 и сл.).

К странице 45

1 После опубликования «Записок» И. Д. Якушкина в 1862 г. Н. И. Тургенев прислал Герцену обширное опровержение рассказа о его участии в съезде 1821 г. Оно не соответствует действительности, являясь продолжением взятой Тургеневым еще в 1826 г. линии оправдания себя перед царем.

По поводу второй части устава нового ТО исследователь заявляет определенно: «Н. И. Тургенев решительно отрицал» это. «Но если принять во внимание,

что Тургенев отрицал то, что ему надо было отрицать, чтоб остаться хоть сколько-нибудь верным принятой на себя роли человека, не участвовавшего ни в каких собственно политических проектах..., то станет ясно, что версия Якушкина ближе к истине. А в своем письме в «Колокол» Тургенев уже признавал в сущности, что он поддерживал... идею новой организации» (Шебунин, II, 139).

К странице 46

[1] Петр Яковлевич Чаадаев (1794—1856), выдающийся представитель русского общества 1820—1840-х годов; член ТО; друг Пушкина, близкий друг Якушкина. О нем — в их переписке и в показаниях Якушкина.

[2] Иван Григорьевич Бурцов (1794—1829), член СБ. «Впоследствии, проникая виды Пестеля, который... увлекал за собою других, Бурцов устремился к разрушению Союза... С того времени не участвовал в тайных обществах... Высочайше повелено... посадить на 6 месяцев в крепость и отправить на службу» («Алфавит», 45 и сл., 290). В войну 1828 г. на Кавказе Бурцов заслужил орден храбрых — георгиевский крест; в апреле 1829 г. произведен в генерал-майоры, через два месяца был смертельно ранен в сражении при Байбурте.

[3] Надежда Николаевна Шереметева (1775—1850), родная тетка поэта Ф. И. Тютчева; известная приятельница Гоголя. Ее старшая дочь, Пелагея Васильевна (1802—1871),— жена Михаила Николаевича Муравьева, вторая, Анастасия (1806—1846),— жена И. Д. Якушкина (с 1822 г.).

К странице 47

[1] «Николай Васильевич Левашев был женат на двоюродной сестре И. Д. Якушкина Екатерине Гавриловне Решетовой, мать которой Екатерина Андреевна была родная сестра Дмитрия Андреевича Якушкина. Из сохранившихся писем Екатерины Гавриловны к И. Д. Якушкину в Сибирь видно, что это была женщина большой душевной глубины. Она была хорошая знакомая П. Я. Чаадаева. И с Левашевыми и с братьями Чаадаевыми Иван Дмитриевич был очень близок» (Е. Е. Якушкин, 171). Н. П. Огарев посвятил памяти Левашевой стихотворение (1839 г.; изд. 1937 г., т. I, стр. 49 и сл.). О Левашевых — много в «Записках» А. И. Дельвига.

К странице 48

[1] См. письмо И. Д. Якушкина к П. X. Граббе (стр. 236).

[2] Биограф М. Н. Муравьева приводит его записку, относящуюся к тому времени: «В 1820 г. известный голод в нашем крае понудил меня издержать 20 т. руб. для прокормления крестьян» (Кропотов, 115). Тот же автор сообщает по рассказам родственников Муравьева: «Народ... стал употреблять в пищу... редьку, лебеду, жолуди и древесную кору. Все дороги покрылись крестьянами, их женами и детьми... просившими... подаяния». Рославльским уездным властям было предписано «напомнить помещикам», что они обязаны «продоволь-

ствовать своих крестьян во время неурожаев... Но... смертность постепенно увеличивалась» (там же, 116—129). Какой-то агент Аракчеева писал ему в январе 1822 г. по поводу приезда сенатора Мертваго в Смоленск, что многие помещики продают свои хлебные запасы в другие губернии, перерабатывают рожь на своих винокуренных заводах, требуют от крестьян сверх обрабатывания господской земли тяжких налогов всякого рода живьем и вещами (Дубровин, I, 332 и сл.). А помощь Якушкина и других членов ТО голодающим крестьянам показалась Александру I и его правительству чем-то крамольным, опасным для господствующего класса. Министр внутренних дел В. П. Кочубей писал весною 1821 г. царю: «Я слышал, что, когда в Москве была открыта подписка для помощи крестьянам, то некоторые лица, вероятно с целью очернить правительство, пожелали пожертвовать большие суммы и подчеркнуть этим его мнимое безучастие» (РС, 1902, № 2, стр. 390).

К странице 49

[1] У Якушкина в тексте описка: «21-м».

К странице 50

[1] Волнения в Семеновском гвардейском полку, начавшиеся 16 октября 1820 г.,— результат того развития в рядах русской армии идей свободы, протеста против крепостного строя и сознания человеческого достоинства, которые через пять лет привели 3000 солдат к выступлению на Сенатской площади.

Среди документов по истории волнения в Семеновском полку выделяются распространявшиеся тогда в гвардейских частях две прокламации. В одной из них приносилась «жалоба от Семеновского полка Преображенскому полку за притеснение... начальниками». «Смотрите на горестное наше положение! Ужасная обида начальников довела весь полк до такой степени, что все принуждены оставить орудие и отдаться на жертву злобе сих тиранов, в надежде, что всякий из воинов, увидя невинность, защитит нас от бессильных и гордых дворян. Они давно уже изнуряют Россию чрез общее наше слепое к ним повиновение... Скажите, что должно ожидать от царя, разве того, чтобы он нас заставил друг с друга кожу сдирать! Поймите всеобщую нашу глупость и сами себя спросите: кому вверяете себя и целое отечество и достоин ли сей человек, чтоб вручить ему силы свои, да и какая его послуга могла доказать, что он достоин звания царя? И если рассмотрите дела своего царя, то совершенно не вытерпите, чтобы публично не наказать его!.. Неужели и вы, господа воины, должны просить государя, как разбойника, о помиловании себя тогда, когда он без вашей силы не в состоянии обидеть вас? Страшитесь, чтобы он не приказал вам самих себя пересечь кнутом. Не напрасно дворяне почитают воинов скотами, ибо воины себя не спасают от несчастия. а сами себе соделывают оное! Удивительное заблуждение наше! У государя много войска, но это вы сами и есть, а потому вы составляете силу государя, без вашего

же к нему послушания он должен быть пастухом. Потому войско должно себя почитать в лице царя, ибо оно ограждает своими силами отечество, а не царь. Царь же значит приставник или сторож всеобщего имущества и спокойствия; но вы, воины, почитаете его не только полным владетелем имущества, но и в жизни вашей хозяином...

Честно истребить тирана и вместо его определить человека великодушного, который бы всю силу бедности народов мог ощущать своим сердцем и доставлять средства к общему благу. Бедные воины! Посмотрите глазами на Отечество, увидите, что люди всякого сословия подавлены дворянами. В судебных местах ни малого нет правосудия для бедняка. Законы выданы для грабежа судейского, а не для соблюдения правосудия. *Чудная слепота народов!*

Хлебопашцы угнетены податьми: многие дворяне своих крестьян гоняют на барщину шесть дней в неделю. Скажите, можно ли таких крестьян выключить из числа каторжных? Дети сих несчастных отцов остаются без науки, но оная всякому безотменно нужна; семейство терпит великие недостатки; а вы, будучи в такой великой силе, смотрите хладнокровно на подлого правителя и не спросите его, для какой выгоды дает волю дворянам торговать подобными нам людьми, разорять их и вас содержать в таком худом положении... Ищу помощи бедным, ищу искоренить пронырство тиранов и полагаюсь на ваше воинское правосудие и на вашу великую силу. Вы защищаете отечество от неприятеля, а когда неприятели нашлись во внутренности отечества, скрывающиеся в лице царя и дворян, то без отменно сих явных врагов вы должны взять под крепкую стражу и тем доказать любовь свою друг к другу.

Вместо сих злодеев определить *законоуправителя*, который и должен отдавать отчет во всех делах избранным от войска депутатам, а не самовластителем быть. Взамен государя должны заступить место *законы*, которые отечеством за полезное будут признаны. По таковым народ должен управляться чрез посредство начальников. Выбор начальников следует основать на беспристрастных законах... Не знать той важной причины, от которой жизнь людей безвременно отнимается, значит не иметь разума; вам бог дал разум, и вы по своему разуму должны сберегать жизнь свою и Отечество и не разумом тиранов управлять собою; но следует истреблять врага и в руки им не отдаваться, а злодеев в руках у себя должны держать крепко».

В другой прокламации давался солдатам совет: «1. Единодушно арестовать всех начальников, дабы тем прекратить вредную их власть. 2. Между собою выбрать по регулу надлежащий комплект начальников из своего брата солдата и поклясться умереть за спасение оных, если то нужно будет, а не выдавать своих. 3. Вновь выбранные начальники должны разослать приказы прочим полкам чтоб поступали так же, а командированные, посланные полки возвратить в Петербург. Когда старые начальники по всем полкам будут сменены и новые учреждены, то Россия останется по сему случаю без пролития крови. Если сего не учините

и станете медлить в сем случае, то вам и всему отечеству не миновать ужасной революции!..» Подписана эта прокламация так: «Любитель отечества и сострадатель нещастных. Единоземец».

Составление этих прокламаций приписывается исследователями самим солдатам, среди которых было уже тогда много грамотных и развитых людей. Кроме Семеновского полка, волнения среди солдат происходили в 1819—1820 гг. в других войсковых частях. Интересно, что какое-то брожение среди офицеров-семеновцев тревожило их родных еще за два года до восстания. Сестра И. Д. Щербатова (о нем — в «Записках» И. Д. Якушкина вслед за комментируемым текстом) Наталия Дмитриевна писала ему 29 сентября 1818 г.: «Друг мой! не забудь сообщить нам о том, что происходит в вашем полку? Твои сослуживцы, вернулся ли к ним здравый смысл, и каково решение? Новости, которые обсуждают в Москве, прискорбны» (Нечаев, 176).

Что касается результатов отмеченной И. Д. Якушкиным рассылки в 1820 г. офицеров и солдат Семеновского полка в армейские части, то они были прямо противоположны тем, на которые рассчитывал Александр I. В числе переведенных в армию офицеров Семеновского полка были С. И. Муравьев-Апостол и М. П. Бестужев-Рюмин — главные деятели ТО на юге. Разосланные в армию солдаты-семеновцы также явились перед восстанием Черниговского полка в конце 1825 г. деятельными участниками пропаганды идей свободы.

С полным основанием вел. кн. Константин Павлович упрекал своего брата-царя в том, что «не кто иной, как он сам, заразил всю армию, разослав в ее недра семеновцев, и что это распространит заразу повсюду». Первый декабрист В. Ф. Раевский отзывался с похвалой о поступке семеновцев и говорил в 1821 г. солдатам: «Придет время, в которое должно будет, ребята, и вам опомниться». Ф. Ф. Вигель подчеркивает в своих записках, что «это происшествие имело важные последствия; рассеянные по армии недовольные офицеры встречали других недовольных и вместе с ними, распространяя мнения свои, приготовили другие восстания, которые через пять лет унять было труднее». Декабрист И. И. Горбачевский считал семеновских солдат «ревностными агентами Тайного общества», так как они «возбуждали в своих товарищах ненависть и презрение к правительству». В связи с запрещением солдатам Саратовского полка иметь сношения с бывшими семеновцами возникло волнение в одной роте, и командир полка вынужден был сменить ротного командира, от которого исходило упомянутое запрещение.

П. И. Пестель заявлял на следствии, что заговорщики рассчитывали на третий армейский корпус, между прочим, потому, что там было много семеновцев, «которые влияние имеют на других солдат». Таковы же были надежды декабристов и на другие корпуса. М. П. Бестужев-Рюмин на допросе по поводу восстания Черниговского полка показал, что «по мере того, как семеновские солдаты узнавали, что С. И. Муравьев-Апостол в лагере, они к нему приходили; все

изъявляли величайшее негодование; мы же им говорили, что если у них духу станет, то их участь скоро переменится... если они пристанут к нам, когда мы начнем возмущение». Солдаты обещали выполнить этот совет. Декабрист В. Л. Давыдов также показал, что С. И. Муравьев-Апостол действовал чрез бывших семеновцев. Сам Муравьев-Апостол признал на следствии, что он перед восстанием 1825 г. с бывшими семеновскими солдатами «разговаривал о тягости службы, бранил ее, вспоминал им старый полк», выражал уверенность, «что они от своих старых офицеров никогда и нигде не отстанут». И солдаты сдержали слово.

В конце 1825 г. К. Ф. Рылеев говорил Г. С. Батенькову, что не следует повторять ошибки 1820 г., когда члены ТО не использовали волнения в Семеновском полку для осуществления своих революционных целей.

Из литературы о происшествии в Семеновском полку отмечу исследование В. И. Семевского (II), сжатое изложение у него же (I, гл. I, стр. 130 и сл.), документы А. И. Яковлева, С. Я. Штрайха (V; здесь обе прокламации опубликованы полностью, первая перепечатана отсюда в «Хрестоматии», стр. 533 и сл.)

[2] Иван Дмитриевич Щербатов, внук известного историка, капитан Семеновского полка, ротный командир. Во время восстания 1820 г. был в отсутствии из Петербурга, но писал офицеру-семеновцу Д. П. Ермолаеву: «Ты не поверишь, как жалко было мне узнать, что офицеры не остались при солдатах... нашему брату не нужно было отставать в благородной решимости сих необыкновенно расположенных... людей» (Яковлев, 197). Кроме этого письма, Щербатову вменялось в вину, «что он в присутствии своем допускал нижних чинов его команды забавляться неприличными шутками насчет своего полкового командира» Шварца (там же, 198). Щербатов был предан суду, находился в заточении 6 лет, присужден к смертной казни, замененной разжалованием в солдаты; сослан на Кавказ, где умер в 1829 г. (см. письма И. Д. Якушкина к И. Д. Щербатову, стр. 202 и сл.).

К странице 51

[1] И. Г. Бурцов писал 23 января 1823 г. П. Д. Киселеву: «Ваше превосходительство объявили мне, что государь император изволит меня считать принадлежащим к какому-то тайному обществу, происками коего в 1821 г. учреждена была подписка на вспоможение жителям Смоленской губернии, страдавшим от случившегося в то время голода». Сообщив дальше, что он «лично видел толпы нищих, наполнивших городские улицы и бродивших по уезду без пропитания», Бурцов добавляет: «Пособия правительства не могли быть успешно оказаны». Местные власти и дворяне опасались «непокорства от крестьян и всех следствий их жестокого положения». Бурцов сам пожертвовал 200 р. и просил «других давать», а «злобная клевета очернила» его. Киселев представил это письмо Александру I, и служебное положение Бурцова облегчилось (Заблоцкий-Десятовский, IV, стр. 28 и сл.).

[2] Тургенев заявил в письме к Герцену, что он никого не посылал к Якушкину («Колокол», 1863, № 155).

К странице 52

[1] Короткие приятели П. Х. Граббе — сам Якушкин, П. П. Пассек, братья И. А. и М. А. Фонвизины и другие члены ТО.

[2] Никита Михайлович Муравьев (1796—1843) принадлежал к старинной дворянской семье, давшей России многочисленных государственных, общественных и культурных деятелей самого различного социально-политического направления. Отец Н. М. Муравьева, Михаил Никитич (1757—1807), высокообразованный человек и писатель, преподавал Александру I русскую историю, литературу и нравственную философию; был товарищем министра просвещения и сенатором; покровительствовал Н. М. Карамзину; в качестве попечителя Московского университета содействовал его расцвету; в своих сочинениях проповедывал, что «верховное счастье» человека — в добродетели, выше всего ставил одобрение совести. Мать Муравьева Екатерину Федоровну (1771—1848) провокатор Медокс называл одной из главных участниц выдуманного им нового заговора декабристов после разгрома движения (Штрайх, II, III, IV). В списках участников ТО числятся еще семь Муравьевых, близких родственников Н. М.; среди них — его младший брат Александр (1802—1853); по делу о заговоре осуждены также двоюродный брат Муравьевых М. С. Лунин, брат жены Никиты Михайловича — Захар Григорьевич Чернышев (1796—1862).

Н. М. Муравьев учился в Московском университете. Любовь к родине и высокий патриотизм влекли его в ряды защитников отечества. «Лето памятного 1812 г. мы проживали в подмосковной,— вспоминал впоследствии А. М. Муравьев.— Успехи, одержанные врагом над нами, отступление нашей армии до самого сердца России удручали моего брата. Он ежедневно надоедал матушке, чтобы добиться от нее разрешения поступить на военную службу. Он сделался печальным, молчаливым, потерял сон. Матушка, хотя и встревоженная его состоянием, не могла дать ему столь желанное разрешение ввиду его здоровья, очень слабого с детства. Матушка опасалась, что он не перенесет лишений тяжелой войны. Однажды утром, когда мы собрались за чайным столом, брата не оказалось. Его ищут всюду. День проходит в томительной тревоге. Брат ушел рано утром, чтобы присоединиться к нашей армии, приближавшейся к стенам Москвы. Он прошел уже несколько десятков верст, когда его задержали крестьяне. Он без паспорта и у него находят карту театра войны и бумагу, на которой намечено расположение сражающихся армий. С ним обращаются плохо, его связывают; возвращенный в Москву, он был ввергнут в городскую тюрьму. Генерал-губернатор граф Ростопчин призывает брата и допрашивает его. Пораженный таким патриотизмом у столь молодого человека, граф отсылает его к матушке, поздравляя ее с сыном, воодушевленным столь благородными и возвышенными чувствами»

(«Записки», 1922, стр. 15 и сл.). В июле следующего года Н. М. Муравьев был выпущен в офицеры Главного штаба и с отличием проделал кампании 1813, 1814 и 1815 гг. (см. дальше «Замечания» И. Д. Якушкина на «Записки» А. М. Муравьева, стр. 160 и сл.).

В формулярном списке Н. М. Муравьева указано: «813 сентября 21 командирован в Польскую армию, с коею был в сражениях против французских войск» (перечислено 6 сражений, в том числе под Лейпцигом); «за сии дела пожалован орденом» (перечислено еще 4 сражения), «за что пожалован орденом... 815 апреля с 5 находился... в Париже со вступления российских войск во Францию по ноябрь» (ВД, I, 291). «Политические науки стали» после войны «единственным предметом его размышлений»,— пишет А. М. Муравьев (стр. 16).

После закрытия в 1821 г. СБ образовалось на его основе два общества. «По объявлении в 1821 г. об уничтожении в Москве Союза благоденствия продолжился оный Союз в Тульчине и в Петербурге. О продолжении оного в Петербурге уведомил меня Никита Муравьев... Наименование в Петербурге и в Тульчине осталось прежнее, но образование общества получило словесные изменения, письменного же нового Статута не было» (П е с т е л ь, показание от 13—19 января 1826 г., п. 2; ВД, IV, 101).

В Петербурге был центр Северного общества (СО), в Тульчине — Южного (ЮО). Руководители обоих заявляли, что не признают решения московского съезда о роспуске ТО и действуют в соответствии с его программой. Однако непосредственными продолжателями традиций СБ были организаторы СО. Они также, как руководители ЮО, ставили конечной целью заговора преобразование России в демократическую республику, но подчеркивали, что на первое время империя должна довольствоваться конституционно-монархическим строем. Такие мнения оформлены в трех конституционных проектах Н. М. Муравьева, подвергавшихся обсуждению в сравнительно широких кругах ТО. Все они публиковались неоднократно, особенно второй, сохранившийся в списке К. Ф. Рылеева среди бумаг И. И. Пущина, перешедших после 1859 г. в архив семьи И. Д. Якушкина. О том, как рукопись Рылеева сохранилась от декабрьского разгрома 1825 г. — в письмах И. И. Пущина за 1857 г. («Записки», 1925 и 1927 гг.). Теперь эта рукопись — в РО. Проекты конституции Н. М. Муравьева напечатаны в исследовании о нем Н. М. Дружинина (II).

Кроме конституции Н. М. Муравьев составил еще прокламацию. Под названием «Любопытный разговор» она распространялась до восстания 1825 г., перепечатывалась много раз после 1905 г.; текст ее — в «деле» Муравьева (ВД, I, 321 и сл.). На допросе в СК он заявил: «Я начинал писать катихизис в вопросах и ответах, который к счастию мною никогда не был кончен; кроме Думы и двух или трех членов никому не известен и брошен по той причине, что я занялся единственно окончанием моего проекта конституции. По этой причине он и не был распущен. Сергею Муравьеву я, кажется, доставил его, но сомневаюсь, чтобы это

был тот же самый, есть ли он доказывает, что существование царей противно богу и естественному праву. Катихизис, писанный мною, имел только целью доказать необходимость ограничения властей и пользу представительных собраний. Он приводил в доказательство веча, существовавшие в Киеве, Владимире и Москве при великих князьях российских и под их председательством. Генваря 12-го дня. Капитан Муравьев» (ВД, I, стр. 310).

Н. М. Муравьев всегда интересовался вопросами родной истории. В 1816 г. появилось в печати его обширное «Рассуждение о жизнеописаниях Суворова», за подписью М. Н. («Сын отечества», 1816, № 6, стр. 218—232; № 16, стр. 121—140; № 46, стр. 3—16). Это критический обзор вышедших в начале XIX в. в свет русских и иностранных биографий Суворова. Вступительные страницы обзора определяют научно-исторические взгляды 20-летнего автора и представляют особенный интерес, если вспомнить, что они написаны перед самым выходом в свет первых восьми томов «Истории» Карамзина. Муравьев знал о работе Карамзина над своей «Историей», так как историограф был близок к Муравьевым, писал свой труд в значительной степени у них в доме. Приведя большой отрывок из сочинения Е. Фукса о Суворове (1811), где говорится, что «недоведомая вышняя причина посылает» таких людей «устраивать на развалинах колыбель государства», Муравьев пишет: «это привело мне на память место из Фонтана. Я раскрываю его надгробную речь о Вашингтоне, на французском языке, и с удивлением нахожу те же мысли, тот же оборот и почти те же слова... Должно признаться, что есть ли сие вступление слишком пышно для Вашингтона, не имевшего столь отважного гения, ни такого непреоборимого порыва в своих предприятиях, часто претерпевавшего неудачи и поражения... то... сии строки более приличны ему, чем Суворову».

С особенным интересом изучал Муравьев «Историю Государства Российского» Н. М. Карамзина. В конце апреля 1818 г. он писал матери: «С моего приезда я принялся жестоко за «Российскую историю» и прочел первые ее четыре тома». В середине мая Муравьев сообщал, что «на-днях» он «кончил седьмую часть «Истории» Карамзина... Теперь читаю Историю с карандашом и пестрю книгу своими замечаниями». Карамзину первому показал молодой критик свои замечания. Опубликовавший их в 1866 г. историк М. П. Погодин рассказывает, что когда Карамзин появился после выхода в свет его «Истории» в доме Муравьевых, то ему пришлось выслушать от своего молодого критика горячий упрек «за похвалы самодержавию, за монархический дух его истории». Несмотря на это, он разрешил Муравьеву распространять свои замечания как угодно. Так как напечатать их тогда нельзя было из-за цензуры, то замечания распространялись в списках. Со взглядами Муравьева были согласны М. А. Фонвизин и другие члены ТО. По поводу этих замечаний А. С. Пушкин назвал Муравьева «человеком умным и пылким». Обзор рукописей Н. М. Муравьева на исторические темы — в исследовании Н. М. Дружинина (II, 98—104, 373—376).

Интересные замечания Н. М. Муравьева о любви к отечеству, о патриотизме вообще найдены в его пометках на полях I тома «Опытов в стихах и прозе» его двоюродного брата, поэта К. Н. Батюшкова (1787—1855). Там, где поэт хвалит сподвижников Петра I, которые «создали величие русского государства», Н. М. Муравьев приписал: «Вздор! Россия и без них была велика». Где Батюшков пишет о покровительстве монархов музам, Муравьев замечает: «Похабное, поганое слово». Батюшков пишет, что поэзия — лучшее достояние человека. Муравьев спрашивает: «А добродетель? А свобода?» Вообще все замечания Муравьева относятся к прозе Батюшкова, к стихам пояснений нет, так как в них у поэта нет ни слова лести к властям (Розанов, I, 49).

В справке СК значится об Н. М. Муравьеве: «Был в числе основателей общества... Писал конституцию в умеренном монархическом духе... В 1822 г. участвовал в восстановлении Северного общества... избран первым членом в Думу.. Не соглашался» на принятие СО «республиканской цели с истреблением императорского дома». С осени 1825 г. «сношений с обществом не имел и о намерении возмущения предварен не был» («Алфавит», 132 и сл.).

Николай послал Муравьева в каторгу на 20 лет. В 1835 г. выпущен на поселение. Умер в с. Урик, близ Иркутска.

Жена Н. М. Муравьева, Александра Григорьевна Чернышева, последовала за ним в Сибирь. Умерла в Петровском Заводе 22 ноября 1832 г. См. дальше статью о ней (стр. 167 и сл.).

К странице 53

[1] Еще в 1821 г. Александру I была представлена «Записка» о ТО с перечнем имен главных деятелей его. «При судебном исследовании,— сообщалось в «Записке», — трудно будет открыть теперь что-либо о сем Обществе: бумаги оного истреблены, и каждый для спасения своего станет запираться; но правительство легко может удостовериться в истине, поручивши наблюдение за сими людьми, их связями и пр., и вследствие того принять на будущее время надлежащие меры. Необходимо, однако, при сем сказать, что сего наблюдения вовсе не можно поручить настоящему господину с.-петербургскому военному генерал-губернатору, который окружен людьми, участвующими в Обществе или приверженными им». Автор записки — член коренной управы СБ, доктор прав М. К. Грибовский, ставший после Семеновской истории тайным агентом полиции. По своему положению в ТО он знал, что состоявший при генерал-губернаторе, М. А. Милорадовиче, член ТО поэт Ф. Н. Глинка осведомляет руководство СБ о мерах, предпринимаемых против Общества. Вместе с тем он знал, что в ТО участвуют главным образом офицеры гвардии.

После успокоительных заверений, что «буйные головы обманулись бы в бессмысленной надежде на всеобщее содействие», предатель подходит к главной цели своего доноса: «Отрицать, впрочем, невозможно, что есть зародыш беспокойного

духа в войсках, особенно в гвардии, прильнувший, так сказать, от иноземцев во время нахождения за границею и поддержанный стечением разных обстоятельств; но войска, сами по себе, ни на что не решатся, а могли бы разве послужить орудием для других, как пагубные новейшие примеры в других странах доказали. При бдительном надзоре и кротких, но постоянных мерах сие может быть постепенно отвращено. Между прочим, весьма не худо бы казалось, чтобы офицеры, как люди, до поступления еще на службу совершенно приготовившиеся, перестали посещать частно-преподаваемые курсы, особенно политических наук, поверхностное изучение которых без предварительных прочных оснований и без пособия других наук наносит величайший вред. Сие полупознание поставляет в такое сомнительное положение, в котором воображение воспламенено, дух встревожен, а ум, блуждая во мраке без руководителя, ищет того, чего не видит и не постигает, и кончает тем, что или еще более возрастает сомнение, или приводит на скользкий путь заблуждений» (Грибовский, стр. 580). После этого доноса Грибовскому поручили устройство тайной полиции в войсках для борьбы с политическими организациями.

[2] Александр Сергеевич Меншиков (1787—1869) скоро вернул себе «милость» императора; придворный балагур и острослов, он делал большую и разнообразную карьеру: был дипломатом, генерал-губернатором Финляндии, морским министром, сухопутным военачальником. Дутая репутация его как государственного деятеля совсем испарилась в 1854 г., когда ему пришлось уйти в отставку за бездарное распоряжение военными действиями в Крыму.

[3] П. М. Волконский (1776—1852) был близок к Александру I со дня его воцарения (Семевский, I, 261). Скоро после рассказанного Якушкиным ему была возвращена «милость» императора; при Николае I был министром царского двора, имел звание фельдмаршала; был женат на сестре декабриста С. Г. Волконского.

К странице 54

[1] Архимандрит Фотий (1792—1838), монах-интриган, сумевший втереться в придворные правящие круги; имел большое влияние на Александра I; среди его придворных поклонниц была Анна Алексеевна Орлова (1785—1848), передавшая ему значительную часть неисчислимого богатства, полученного от своего отца А. Г. Орлова-Чесменского (1737—1808), брата фаворита Екатерины, участника убийства Петра III. Пушкин написал три эпиграммы (1824 г.) на Фотия и Орлову.

[2] Александр Петрович Куницын (1783—1841), преподаватель царскосельского Лицея, где учился Пушкин, по кафедре нравственных и политических наук, один из самых талантливых профессоров Пушкинской эпохи. Поэт высоко ценил Куницына, его одного из своих преподавателей упоминал с любовью в

стихотворениях. Особенно показательно в этом отношении знаменитое «19 октября 1825 г.»:

Он создал нас, он воспитал наш пламень,
Поставлен им краеугольный камень,
Им чистая лампада возжена.

В лицейском курсе «Изображение политических наук» Куницын заявлял, что «граждане независимые делаются подданными и состоят под законами верховной власти: но сие подданство не есть состояние кабалы. Люди, вступая в общество, желают свободы и благосостояния, а не рабства и нищеты; они подвергаются верховной власти на том только условии, чтобы она избирала и употребляла средства для их безопасности и благосостояния; они предлагают свои силы в распоряжение общества, но с тем только, чтобы они обращены были на общую и, следовательно, также и на их собственную пользу». В лекциях о государственном хозяйстве Куницын сообщал лицеистам: «Крепостной человек не имеет никакой собственности, ибо сам он не себе принадлежит. Не ему принадлежит дом, в котором он живет, скот, который он содержит, одежда, которую он носит, хлеб, которым он питается» (Мейлах, IV, 81 и 87).

Самостоятельный теоретик, Куницын в курсе «Естественное право» (ч. I, 1818; ч. II, 1820) выступал в защиту прав человека и гражданина, проповедывал идеи всеобщего равенства. Он учил своих слушателей. что «каждый должен быть признаваем нравственным существом», что «соединение людей для достижения общей цели не может произойти иначе как через договор, ибо никто не имеет первоначального права принуждать других желать того, чего он сам не желает, и действовать для целей, им не назначенных». Власть монарха, по учению Куницына, ограничена «естественными» правами человека — свободой личности, слова, совести — и договором, на основании которого общество вручило ему власть: «Употребление власти общественной без всякого ограничения есть тиранство, а кто оное производит, тот есть тиран». Особенно резко протестовал Куницын против крепостного права: «Никто,— говорил он,— не может приобресть право собственности на другого человека ни против воли, ни с его на то согласия, ибо право личности неотчуждаемо» (цит. по книге: Пущин, Записки, 1937, стр. 129 и сл.).

Книга была рассмотрена в министерстве, где признано было, что «Марат был искренний и практический последователь науки, которая излагалась Куницыным». Главное правление училищ нашло «нужным по принятым в сей книге за основание ложным началам и выводимому из них весьма вредному учению, противоречащему истинам христианства, и клонящемуся к ниспровержению всех связей семейственных и государственных, книгу сию, как вредную, запретить повсюду к преподаванию по ней и притом принять меры к прекращению во всех учебных заведениях преподавания естественного права по началам столь разрушительным,

каковые излагались в книге Куницына». Начальству Лицея было сделано «строгое замечание» за допущение книги, «вселяющей в сердца неопытных юношей... дух неповиновения, своеволия и вольнодумства» (Мейлах, IV, 84).

Кроме Лицея, Куницын занимал также кафедры в Петербургском университете и других учебных заведениях. Его публичные лекции слушали декабристы И. Г. Бурцов, А. В. Поджио, Е. П. Оболенский и др. После признания курса «Естественного права» вредным Куницын был устранен из Лицея и университета. Книгу отбирали из библиотек и у частных лиц, автора хотели даже предать суду.

[2] Филарет (В. М. Дроздов, 1783—1867); имеется в виду катехизис, в котором все славянские тексты даны в русском переводе (1823). С усилением влияния Фотия подвергся опале Филарет, вошедший в милость Николая I после декабрьских событий 1825 г.

К странице 55

[1] Киевские контракты — ежегодная торгово-промышленная многолюдная ярмарка в январе. Здесь членам ТО удобно было устраивать свои совещания.

К странице 56

[1] Михаил Павлович Бестужев-Рюмин (1803—1826) воспитывался дома под руководством виднейших профессоров Московского университета и нескольких иностранных учителей. 15-ти лет от роду поступил на службу в Кавалергардский полк. Через два года переведен в гвардейский Семеновский полк за какую-то провинность. Сообщая брату в письме от 28 декабря 1820 г., перехваченном почтовыми шпионами, что Бестужева снова перевели — на этот раз в Полтавский армейский полк, Н. А. Враский добавил: «Кажется он сделался поскромнее, чувствует, что некоторым образом сам виноват; ибо, если бы лучше себя вел в кавалергардах, то не имел бы надобности переходить в Семеновский полк». Что касается удаления Бестужева из гвардии вообще, то Враский понимал, что «это участь общая и наказание сие не лично им заслужено» (Штрайх, VII, 68 и сл.). В собрании Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина имеется также полицейское извлечение из письма самого М. П. Бестужева к отцу от 29 декабря 1820 г. Оно прямо относится к восстанию Семеновского полка, но в нем также упоминается о вынужденном уходе из кавалергардов: «Сию минуту еду в Полтаву. Долго ли пробудем, не известно; есть надежда, что нас простят. Ради бога, не огорчайся, карьера может поправиться. В бытность мою в Петербурге не успел заслужить прежние вины, но новых не делал и впредь все возможное старание употреблю сделаться достойным вашей любви. Прощайте. Бог даст, все переменится». В цитированном выше письме Враский сообщал, что из Петербурга Бестужев был «выслан» с тем, чтобы ни под «каким видом никуда не заезжать».

В Петербурге Бестужев-Рюмин был принят в самом передовом кругу русского культурного общества. Встречался с Пушкиным, П. Я. Чаадаевым, с членами СБ — Ф. П. Шаховским и другими, бывал в доме президента Академии художеств А. Н. Оленина. В письме из Кременчуга, где стоял Полтавский пехотный полк, Бестужев сообщал Чаадаеву в феврале 1821 г. о своей жизни в армии, напоминал о постоянном дружеском отношении Чаадаева к нему, просил «всех, кто принимает участие» в нем, облегчить его участь. Провинциальный быт раскрыл Бестужеву глаза на то, чего он раньше не замечал. Он «повидал много таких вещей, от которых волосы становились дыбом; отрадного было очень мало».

Сближение на юге с бывшим сослуживцем по Семеновскому полку С. И. Муравьевым-Апостолом облегчило тягость «несчастной участи», на которую Бестужев жаловался Чаадаеву. Войдя в круг ЮО, он перестал обращать внимание на свои личные невзгоды. Нашлась высокая цель жизни — борьба с общим несчастьем всего народа.

Бестужев-Рюмин стал одним из усерднейших членов ТО. Близость к Пестелю, Юшневскому и другим вождям ЮО дала серьезное политическое направление его революционным стремлениям. Он был самым деятельным посредником в сношениях с польским Тайным обществом. В январе 1824 г. он составил с представителями последнего договор о взаимной помощи. Здесь Бестужев между прочим писал: «Россия, предпочитая иметь благодарных союзников на место тайных врагов, по окончании сего преобразования отдает независимость Польше. Будет сделано новое начертание границ, и области, не довольно обрусевшие, чтобы душевно быть привязанными к пользе России, возвратить Польше. При сем, кроме народности, будут наблюдать также и местные выгоды, кои останутся на стороне России, дабы она имела хорошую военную границу... Общество русское всеми мерами будет стараться искоренять ненависть, существующую между обоими народами, представляя, что в просвещенном веке, в котором мы живем, польза всех народов одинакова, а закоренелая ненависть есть принадлежность времен варварства...» Текст договора воспроизведен Бестужевым по требованию СК и хранится в его деле (ГЦИА, ф. 48, д. № 396, л. 47 и сл.; см. ВД, IX, стр. 63 и сл.).

Бестужев-Рюмин был энтузиастом революционного действия. Узнав от бывшего своего товарища по Семеновскому полку А. И. Тютчева о существовании Сл., он повел среди членов последнего усиленную агитацию. Он распространял среди них извлечения из «Русской Правды» Пестеля, заявлял, что Верховная Дума имеет уже вполне выработанную конституцию: «Наша конституция,— говорил он,— утвердит навсегда свободу и благоденствие народа... Мы поднимем знамя свободы и пойдем на Москву, провозглашая конституцию... Для приобретения свободы не нужно никаких сект, никаких правил, никакого принуждения, нужен один энтузиазм. Энтузиазм пигмея делает гигантом! он разрушает все и он создает новое!» (Г о р б а ч е в с к и й, 71 и сл.). На сентябрьском собрании Сл. Бестужев-Рюмин произнес речь, в которой, наряду с агитационным энтузи-

азмом, имеется важное политическое содержание: русская революция будет началом освобождения всех других народов от тираннической монархии. «Коль скоро» будет провозглашена свобода в России, «все народы восторжествуют, великое дело совершится и нас провозгласят героями века» (речь воспроизведена Бестужевым-Рюминым для СК, ВД, IX, стр. 117).

Агитация и пропаганда Бестужева-Рюмина увенчались успехом. Сл. присоединились к ЮО. Они дали самых решительных и самых боевых участников восстания Черниговского полка в декабре 1825 г.

Приведу еще характеристику Бестужева-Рюмина из воспоминаний очень близкой к декабристам С. В. Скалон: «С Сергеем Ивановичем приезжал иногда к нам и друг его Бестужев-Рюмин, образованный молодой человек с пылкою душою, но с головою до того экзальтированною, что иногда он казался даже странным и непонятным в своих мечтах и предположениях. Дружба его с Сергеем была истинно примерная, за него он готов был броситься в огонь и воду» (стр. 358). Там же — о впечатлении, произведенном на М. И. и С. И. Муравьевых-Апостолов и М. П. Бестужева-Рюмина известием о смерти Александра I. Оно было получено во время вечернего бала у одного из соседей Скалон. Вместе с автором воспоминаний там были ее друзья. «Трудно описать положение братьев Муравьевых и Бестужева-Рюмина при этом известии; они как бы сошли с ума, не говорили ни слова, но страшное отчаяние было на их лицах; они в смущении ходили из угла в угол по комнате, говоря шопотом между собой; казалось не знали, что делать. Бестужев-Рюмин, более всех встревоженный, рыдал как ребенок, подходил ко всем нам и прощался с нами как бы навеки... В эту ночь Муравьевы-Апостолы и Бестужев-Рюмин поспешно уехали, но не известно куда» (стр. 336 и сл.).

Николай I подсказал своему суду вид наказания для пяти «государственных преступников, кои поставлены вне сравнения с другими» и в числе которых был М. П. Бестужев-Рюмин. «Сообразуясь с высокомонаршим смягчением казней», царский Верховный суд приговорил их «вместо мучительной казни четвертованием» к повешению. 13 июля 1826 г., на рассвете, перестало биться сердце 23-летнего энтузиаста, пылавшее желанием освободить не только свой народ, но и все остальное человечество от угнетающего их ярма рабства и самовластия тиранов.

[2] Яркую характеристику личности И. Д. Якушкина этого времени находим в письме 18-летней С. М. Салтыковой от 30 июня 1824 г. к ее подруге из имения П. П. Пассека: «Я вошла в гостиную и нашла там еще одного человека. Это был г. Якушкин, которого уже давно ожидали в Крашнево. Я очень довольна, что не приходится ничего убавлять из того, что мне о нем говорили, — я не могу достаточно высказать похвал этому молодому человеку; он очарователен, прекрасно воспитан, умен, имеет, как говорят, прекрасную душу, всеми вообще любим и ценим, наконец, все говорят (и я не нахожу в этом преувеличения), что этот

молодой человек положительно совершенство; природа не отказала ему даже во внешних выгодах: у него лицо совершенно своеобразное, но очень приятное и полное ума... Его приезд произвел здесь целую революцию. Дядя [Пассек] и папа́ обожают его... Что мне нравится в нем, это — откровенность» (Модзалевский, I, 33 и сл.). В письме от 7 июля Салтыкова сообщала: «Якушкин... провел здесь три дня; весь дом сожалеет об его отъезде» (стр. 35). Скоро это сожаление сменилось радостью. 22 июля Салтыкова писала: «У нас здесь провели несколько дней г-н и г-жа Якушкины; его я уже знала, но она была для меня новым знакомством. Ей нет еще 17 лет, она никогда не бывала в свете и никогда в нем не будет, от этого она очаровательна своею естественной простотой. Она красива, интересна, вполне своеобразна; муж ее соединяет в себе самые восхитительные качества в смысле внешности, ума, тона, характера, манер и т. д. Их маленький Вячеслав будет красив; он похож на своего отца, бледного, с черными усами (хотя он и в отставке), с великолепными глазами, живыми и черными; нос у него красивый, отличные зубы; несмотря на все эти внешние достоинства, можно еще сказать о нем, что его внутренние качества превосходят его внешнюю очаровательность. Невозможно, однако, составить себе представление об этом человеке, не зная его лично. Это семейство в полном смысле очаровательное» (стр. 41).

[3] Цесаревич — вел. кн. Константин Павлович (1779—1831), второй сын Павла I; считался наследником престола после Александра I, у которого не было детей. В 1821 г. Константин женился на польской дворянке; так как она не принадлежала к владетельной семье, Константин был вынужден, по требованию Александра, отказаться от прав на престол. Специальным манифестом Александр передал императорскую власть следующему брату — Николаю, но оставил это распоряжение в закрытом пакете, который можно было вскрыть только после его смерти. Это вызвало в конце 1825 г. замешательство в Зимнем дворце, бывшее причиной двухнедельного междуцарствия.

[4] Степан Михайлович Семенов (1789—1852) — личность замечательная в кругу декабристов. Окончив Московский университет в 1814 г., он через два года защитил диссертацию на степень магистра этико-политических наук; оставлен для подготовки к профессуре, но через три года вступил в гражданскую службу. Его университетский товарищ рассказывает, что «мудрейший и хладнокровнейший» Семенов был «славой и красой студенчества». «Он замечателен был, кроме познаний, строгою диалектикою и неумолимым анализом всех, по его мнению, предрассудков... Он всею душою предан был энциклопедистам XVIII в.; Спиноза и Гоббес были любимыми его писателями. Лет семь, восемь после этот Семенов сделался душою тайного политического общества». При защите в университете диссертации на тему «Неограниченное монархическое правление есть самое превосходное из всех других правлений, в России необходимое и единственно возможное», Семенов выступил оппонентом. По поводу заявления декана факультета, профессора С. Н. Сандунова (1756—1820), что в республиках часто

учреждается «диктаторство». Семенов сказал: «Медицина часто прибегает к кровопусканиям и еще чаще к лечению рвотным; из этого нисколько не следует, чтобы людей здоровых, а в массе, без сомнения, здровых более, чем больных, необходимо нужно было подвергать кровопусканию или употреблению рвотного». Сандунов резко прервал оппонента: «На такие возражения всего бы лучше мог отвечать московский обер-полицмейстер, но так как университету приглашать его сюда было бы неприлично, то я, как декан, закрываю диспут» (Свербеев, I, 105 и сл., 275 и сл.).

Диссертацию защищал М. Я. Малов (1790—1849), впоследствии профессор Московского университета по кафедре юридических наук. Бездарный и невежественный, презираемый всеми своими слушателями, он получил печальную известность в истории русской общественности благодаря А. И. Герцену, который оставил в «Былом и думах» яркую характеристику этого защитника неограниченной монархии (ч. I, гл. VI — Маловская история).

Конечно, выступления, подобные тому, о котором рассказал Д. Н. Свербеев, и вызвали уход С. М. Семенова из университета. Семенов был членом СБ и СО, секретарем коренной думы и вместе с И. И. Пущиным главным деятелем московского отделения ТО. «Сначала при допросах и на очных ставках от всего отрицался, отвечая, что членом не был и ничего не знает» («Алфавит», 174). Но «ответы его пред следователями были до того преисполнены осторожной, хитрой и при всем том строго честной и юридической[1] мудрости, что как ни хотели предать его суду вместе с прочими, исполнить этого не могли» (Свербеев, 106). «По докладу Комиссии... повелено, выдержав еще 4 месяца в крепости, отправить в Сибирь на службу» («Алфавит», 174).

Сибирское начальство оценило ум и знания Семенова. В 1829 г. ему поручили сопровождать в поездке по Сибири знаменитого натуралиста А. Гумбольдта (1769—1859). Приехав в Петербург, Гумбольдт рассказал Николаю I, что встретил в дальнем и диком крае в лице мелкого чиновника образованного человека. Царь велел узнать, кто сопровождал Гумбольдта, и приказал «употребить Семенова на службу в отдаленном месте без права выезда» (Дм.-Мамонов, 56). Но Семенов был необходим местной власти. Его снова выдвинули на ответственные должности. Интересные подробности об этом у М. И. Муравьева-Апостола (74 и сл.). Умер в Тобольске.

К странице 57

[1] Об этом письме И. И. Пущина — в его деле (ВД, II, стр. 217).

К странице 59

[1] Донской монастырь.

[2] Ну вот, генерал, все кончено.

[3] Как это — кончено? Это только начало конца.

К странице 60

[1] Петр Александрович Муханов (1799?—1854), писатель, член СБ. «При первом допросе сделал во всем отрицание.. на совещаниях нигде не участвовал и действий его по обществу никаких не видно... После... 14 декабря... в Москве он говорил... что для избавления арестованных мятежников... сам готов убить его величество, но по исследованию обнаружилось, что это были одни дерзкие слова... а не замысел... осужден в каторжную работу на 12 лет» («Алфавит», 134). О нем — в статьях А. А. Сиверса (II) и П. С. Попова (II). Его дело в ВД, III, 131 и сл.

[2] Рассказ Якушкина о поведении М. Ф. Орлова в декабрьские дни 1825 г. вызвал еще более резкое опровержение Н. М. Орлова, чем рассказ о съезде 1821 г. (см. прим. 2 к стр. 44).

М. Ф. Орлова арестовали значительно раньше И. Д. Якушкина. 23 декабря 1825 г. Николай писал брату Константину, что ждет Михаила Орлова, который арестован в Москве 21 декабря. Между прочим Орлову вменялось в вину то, что он, «поручив Раевскому юнкерскую школу, оставлял без внимания действия его относительно внушения юнкерам вредных правил, и в том, что он приказами по дивизии, объявляя нижним чинам покровительство свое противу частных начальников, велел читать их в ротах, из чего произошли все неустройства в 16 дивизии и буйственный поступок нижних чинов Камчатского пехотного полка, коим Орлов объявил прощение, не имея на сие никакого права» («Алфавит», 143).

28 декабря Орлова доставили к царю. Впоследствии Николай, в «Записках» о событиях 1825 г., восстановил сцену своего разговора с Орловым. «С большим умом, благородной наружностию, он имел привлекательный дар слова... Полагаясь на свой ум и в особенности увлеченный своим самонадеянием, полагал, что ему стоит будет сказать слово, чтоб снять с себя и тень участия в деле. Таким он явился. Быв с ним очень знаком, я его принял как старого товарища и сказал ему, посадив с собой, что мне очень больно видеть его у себя без шпаги, что, однако, участие его в заговоре нам вполне уже известно и вынудило его призвать к допросу, но не с тем, чтобы слепо верить уликам на него, но с душевным желанием, чтоб мог вполне оправдаться; что других *я допрашивал*, его же прошу как благородного человека, старого флигель-адъютанта покойного императора *сказать* мне откровенно, что знает» («Междуцарствие», 34).

Как допрашивал царь Николай пленников, известно из его собственного рассказа о своем обращении с С. И. Муравьевым-Апостолом: «Одаренный необыкновенным умом, получивший отличное образование, он был во своих мыслях дерзок и самонадеян до сумасшествия, но вместе скрытен и необыкновенно тверд. Тяжело раненый в голову, когда был взят с оружием в руках, его привезли закованного. Здесь сняли с него цепи и привели ко мне. Ослабленный от тяжкой раны и оков, он едва мог ходить. Знав его в Семеновском полку ловким офицером, я ему сказал, что мне тем тяжелее видеть старого товарища в таком го-

рестном положении... и увещал ничего не скрывать и не усугублять своей вины упорством. Он едва стоял; мы его посадили и начали допрашивать... Когда допрос кончился, Левашев и я, мы должны были его поднять и вести под руки» (там же, 33).

М. Ф. Орлова доставили к царю здоровым и не в цепях. «Он слушал меня,— читаем в «Записках» Николая,— с язвительной улыбкой, как бы насмехаясь надо мной, и отвечал, что ничего не знает, ибо никакого заговора не знал, не слышал и потому к нему принадлежать не мог; но что ежели б и знал про него, то над ним бы смеялся, как над глупостию. Все это было сказано с насмешливым тоном и выражением человека, слишком высоко стоящего, чтоб иначе отвечать как из *снисхождения*. Дав ему договорить, я сказал ему, что он, повидимому, странно ошибается насчет нашего обоюдного положения, что не он снисходит *отвечать мне*, а я снисхожу к нему, обращаясь не как с преступником, а как со старым товарищем, и кончил сими словами: «Прошу вас, Михаил Федорович, не заставьте меня изменить моего с вами обращения; отвечайте моему к вам доверию искренностию». Тут он рассмеялся еще язвительнее и сказал мне: «Разве общество под названием «Арзамас» хотите вы узнать?» — Я отвечал ему весьма хладнокровно: «До сих пор с вами говорил старый товарищ, теперь вам приказывает ваш государь: отвечайте прямо, что вам известно». Он прежним тоном повторил: «Я уже сказал, что ничего не знаю и нечего мне рассказывать». Тогда я встал и сказал генералу Левашову: «Вы слышали? Принимайтесь же за ваше дело,— и обратясь к Орлову: — а между нами все кончено». С сим я ушел и более никогда его не видел» (там же, 34 и сл.).

Ни Левашеву, ни царю не приходилось вести Орлова под руки. Его отвезли в Петропавловскую крепость при записке Николая, приказавшего посадить его в Алексеевский равелин, но «содержать хорошо». На другой день царь писал коменданту: «позволить Орлову Михайле видеться у вас с Алексеем Орловым». После этого свидания Николаю было доставлено в тот же день письмо М. Ф. Орлова с таким заявлением: «Лестные слова, которыми ваше величество удостоили меня в приписке, обращенной ко мне в письме моего брата, слова, произнесенные вами, когда я имел счастье быть принятым в вашем кабинете... все это взволновало мое сердце и преисполнило его надежды... Я был расположен к самой большой откровенности. Но... благодаря присутствию третьего лица... я не мог говорить непринужденно». Когда же Орлову было «предложено назвать собственные имена», в нем «проснулся невольный ужас перед такого рода разоблачениями». Николай якобы предоставил Орлову «выбор — говорить или молчать». Он и «замолчал», не предполагая, что «молчание вызовет гнев» царя, который ввергнет его «в позорную тюрьму». Теперь он просит удостоить его «частной беседой», о которой «осмелился дважды докучать» через Левашева (Попов, I, 157 и сл.).

Николай отказал М. Ф. Орлову в «частной беседе». Под влиянием брата М. Ф. Орлов составил для Николая «Записку» о ТО. Желая доказать свою

непричастность к заговору, Орлов писал очень осторожно, стараясь не называть имен, умалчивая о важных фактах из декабрьских событий в Москве (история с Мухановым и Митьковым). Те несколько имен, которые проскальзывают в его записке, ничего нового не дали следствию, они принадлежат лицам, о которых он знал, что они арестованы. Конечно, через брата М. Ф. Орлов мог знать содержание их показаний в СК.

Ценным в «Записке» Орлова является его указание на то, что восстание декабристов «носило совершенно демократический характер» (Попов, 166). Эта оценка движения — если не единственная, то во всяком случае самая яркая в высказываниях деятелей ТО перед СК и в позднейших воспоминаниях.

В своей «Записке» Орлов между прочим изложил содержание упомянутого выше письма И. И. Пущина, посланного в Москву накануне восстания в Петербурге. В показании от 14 марта Пущин заявлял: «К Семенову писал я единственно с тем намерением, чтобы уведомить его о действиях общества, в окончании ж прибавил, что успех в руках бога!» О письме Пущина в Москву к С. М. Семенову и М. Ф. Орлову от 11 декабря 1825 г. комиссии сделалось известно из показаний нескольких лиц. Отдельные фразы письма (которое Орлов сжег) в их показаниях в общем совпадали, и это дает возможность составить следующий сводный текст письма Пущина: «Когда вы получите сие письмо, все будет решено. Мы всякий день вместе у Трубецкого и много работаем. Нас здесь 60 членов. Мы уверены в 1000 солдатах, коим внушено, что присяга, данная императору Константину Павловичу, свято должна наблюдаться. Случай удобен; если мы ничего не предпримем, то заслужим во всей силе имя подлецов. Покажите сие письмо Михаилу Орлову». Семенов в своем показании так излагает письмо Пущина: «Он с 50 или 60 человеками, имея на своей стороне 1000 или 1500 гвардейских солдат и надеясь, что прочие к ним пристанут, намерены провозгласить императором цесаревича Константина Павловича, но что плана, как сие произвести, еще не сделано, и чем все сие кончится, он не знает; что он и спит в одежде, чтобы по первому зову явиться на площадь, и когда получу сие письмо, все уже будет кончено. В заключение просил показать его письмо нашим сочленам» (ВД, II, 217; Пущин, 1927, стр. 34).

Записка М. Ф. Орлова была заслушана в СК 30 декабря. В «журнале» СК об этом сказано: Комитет по выслушании показаний генерал-майора Орлова, находя, что в оных не видно чистосердечия и что объяснения его неудовлетворительны и запутаны собственными противоречиями, его обвиняющими, положил испросить соизволения его императорского величества, дабы запрещены были всяческие сношения с ген.-майором Орловым. На докладной о сем записке 30 декабря государь император изволил собственноручно написать следующее: *«Кроме с братом его Алексеем»* (Попов, I, 167).

Николай I был убежден, что М. Орлов — один из крупнейших членов ТО; он понимал, что заговорщики с полным основанием рассчитывали на М. Ф. Орлова

как на одного из главных деятелей в задуманном перевороте. Царь знал, что счастливая для него неподготовленность ТО к неожиданной смерти Александра I сыграла большую роль в неудаче выступления 14 декабря. Но ему хотелось, во-первых, получить непосредственно от М. Орлова прямые указания, во-вторых, сломить его гордость, унизить его. Не в пример своему обхождению с другими арестованными из высокопоставленных семейств, вопреки личному чувству злобы против М. Орлова за его поведение во дворце 28 декабря, Николай писал коменданту крепости 30 декабря, в самый день заседания СК: «Генерал-майору Орлову дать видеться с братом Алексеем и перевести на офицерскую квартиру, дав свободу выходить, прохаживаться и писать, что хочет, но не выходя из крепости» (Щеголев, I, 270). Царь смягчился к М. Ф. Орлову вследствие просьбы его брата Алексея (1786—1861), который был главным помощником Николая I по разгрому восстания 14 декабря. На другой день А. Ф. Орлов получил в награду графский титул. Во все 30-летнее царствование Николая I А. Ф. Орлов был его ближайшим советником, личным другом. Через него царь и добивался показаний от М. Ф. Орлова. 31 декабря он писал коменданту: «Генерал-адъютанту Бенкендорфу поручено мною снять допрос с г. Орлова, допустить сделать наедине» («Алфавит», 370).

М. Ф. Орлову помогали выгородить себя из числа «государственных преступников» (см. дальше в «Записках», стр. 78), которые по своей вине, по мнению Николая, подлежали смертной казни. Но в то время, как другим участникам этой группы царь по «милосердию» своему заменил «отсечение головы» вечной каторгой, к брату А. Ф. Орлова он отнесся иначе. На докладе о М. Ф. Орлове царь написал: «Продержав еще месяц под арестом, и в первом приказе отставить от службы с тем, чтобы впредь никуды не определять. По окончании же срока ареста отправить в деревню, где и жить безвыездно; местному начальству иметь за ним бдительный тайный надзор» (Попов, I, 171). А в официальном приказе от 16 июня 1826 г. об этом сообщалось уже с чрезвычайно лестной оценкой прежней военно-служебной деятельности М. Ф. Орлова: «Состоящий по армии генерал-майор Орлов, доказанный в прежних связях с обществом злоумышленных, от которых отстал, и в распоряжениях, вовсе противных порядку военной службы в командовании его 16-ю пехотною дивизиею, хотя бы и подвергался по строгости законов суду, но в уважение прежней отличной его службы и вменяя в штраф шестимесячное содержание в крепости, отставляется от службы с тем, чтобы и впредь никуда не определять и с запрещением въезда в обе столицы» («Декабристы», V, 209). Некоторые подробности о допросе М. Ф. Орлова царем, об отношении к нему Николая, заявления царя относительно виновности Орлова и ожидающей его участи — в письмах А. Н. Раевского к родным (Гершензон, 58 и сл.).

Исход дела М. Ф. Орлова поразил не только его товарищей по ТО. В письме к брату от 14 июня 1826 г. Константин Павлович заявлял: «Одно меня

удивляет... это поведение Орлова и то, что он как-то вышел сух из воды... Можно только пожать плечами» («Междуцарствие», 196).

Декабрист Н. И. Лорер рассказывает, что А. Ф. Орлов добился всего этого у Николая неотступными просьбами, обещанием посвятить ему всю свою жизнь самоотверженным служением («Записки», 107).

В 1831 г., по ходатайству старшего брата, М. Ф. Орлову было разрешено жить в Москве. Здесь с ним встречался А. И. Герцен, оставивший яркую характеристику М. Ф. Орлова («Дневник» за 25 марта 1842 г.; Соч., III, 17 и сл.; «Былое и думы», ч. II, гл. 8). В них — оценка всей деятельности и жизни этого выдающегося представителя русских людей первой трети XIX в., не имевшего возможности в условиях феодально-крепостнической царской России принести родине ту пользу, которую хотел и способен был принести.

О московских событиях в декабре 1825 г. см. статьи М. В. Нечкиной (XI) и Н. П. Чулкова.

К странице 61

[1] Вторая часть «Записок» И. Д. Якушкина занимает в подлиннике л. 42—60. Рукопись чистовая, с самыми незначительными, по объему, поправками; продиктована автором младшему сыну Е. И. Якушкину, который приезжал к отцу в Сибирь в 1853—1854 г. и в 1855—1856 г. Е. И. Якушкину литература о декабристах обязана очень многими документами по истории движения 20-х годов XIX в. Он настойчиво добивался от бывших членов ТО в Сибири и по возвращении их в Россию, чтобы они писали свои воспоминания. По его неотступным просьбам составил И. И. Пущин свои знаменитые «Записки о Пушкине». Он также собирал всякого рода материалы, связанные с историей декабризма и с биографией декабристов: их статьи в рукописях, переписку, портреты, рисунки и проч. Он распространял копии с наиболее ярких документов, портреты декабристов в фотографиях и литографиях. О составе собранного им архива — в статье С. В. Бахрушина («Декабристы», II, 7 и сл.).

[2] Приказ об аресте И. Д. Якушкина отдан в Петербурге 4 января 1826 г.; арестован в Москве 9 января; в тот же день отправлен в Петербург; доставлен туда 13 января и посажен на главную гауптвахту. 14 января переведен в Петропавловскую крепость, посажен в арестантский покой Алексеевского равелина (Б. С. Пушкин, 409).

СК знала о принадлежности И. Д. Якушкина к ТО из показания С. П. Трубецкого еще в 20-х числах декабря 1825 г. В большом перечне товарищей по заговору Трубецкой называет Якушкина присоединившимся к обществу в 1818 г. и добавляет: «отстал» (ВД, I, 30). Но как видно из первых слов первого показания Якушкина, записанного В. В. Левашевым в зале Эрмитажа 14 января и

заслушанного СК 16 января, он сам заявил, что вступил в ТО в 1816 г., т. е. с самого основания (см. стр. 467).

[3] «Лет десять тому назад [в 1915 г.] я слышал от С. Д. Шереметева, что Иван Дмитриевич в 1825 г. перед отъездом в Москву передал в Покровском, имении его тещи Н. Н. Шереметевой, управляющему Якову Игнатьевичу Соловьеву, как верному человеку, значительное количество бумаг, чтобы он их спрятал. Когда Иван Дмитриевич был арестован, Яков Игнатьевич сжег эти бумаги» (Е. Е. Якушкин, 173).

К странице 62

[1] А.-Д. Тэер (1752—1828), ученый агроном; распространена была его книга «История моего хозяйства» (1816); были известны его сочинения по сельскому хозяйству; развивал учение о плодосменном хозяйстве.

В читинской тюрьме «многие занимались изучением агрономии по Тэеру и другим писателям, а наши огородники приложили теорию к практике» (Беляев, 232). О Тэере — в сочинениях К. А. Тимирязева (т. III, по указателю).

[2] У Якушкина описка: «1818»: дальше — так же.

К странице 63

[1] «Теперь я буду говорить с вами не как ваш судья, а как дворянин, равный вам. Не понимаю, зачем хотите вы быть жертвой людей, предавших и назвавших вас».

[2] «Я здесь не для того, чтобы судить о поведении моих товарищей, и могу думать только об исполнении обязательств, взятых на себя при вступлении в Общество».

К странице 65

[1] И. Д. Якушкина отправили в крепость при следующей записке Николая: «Присылаемого Якушкина заковать в ножные и ручные железа; поступать с ним строго и не иначе содержать, как злодея» (Щеголев, I, 272). На эту записку комендант крепости А. Я. Сукин ответил царю следующей: «При высочайшем вашего императорского величества повелении ко мне присланный Якушкин для содержания, как злодея, во вверенной мне крепости, мною принят и по заковании в ножные и ручные железа посажен в Алексеевском равелине в арестантский покой № 1, о чем вашему императорскому величеству всеподданнейше доношу. Комендант генерал-адъютант Сукин. С.-Петербургская крепость, 14 января 1826»

Как действовали оковы на психику пленников Николая I, видно из письма Я. М. Андреевича в СК: «Движимый горестью и удручением связывающих меня желез! Кои заслужил я чрез мои преступные деяния, осмеливаюсь просить вторично правосудных членов высочайше учрежденного комитета; видя мое печальное

страдание, уважьте сию униженную просьбу; и если есть возможность, облегчите участь мою; хотя снятием желез, с коими я почти три месяца каждую минуту не разлучен, кои днем и ночью мне не дают спокою... Окажите снисхождение к сей моей просьбе. Ах! я почту тот день и тот час, в который свершится сие благо... Ах! умоляю вас именем всевышнего, разрешите мои столь тягостные узы, узы, коих я во всю жизнь мою иметь не полагал» (Щеголев, 265).

См. рассказ М. С. Лунина о том, каким пыткам подвергали декабристов в Петропавловской крепости (стр. 586 и сл.).

Спустя два дня после допроса И. Д. Якушкина Николай писал брату Константину в Варшаву: «Еще один, который в 1817 г. должен был по собственному желанию стать убийцей! Он не скрывает этого, а вместе с тем всеми силами отрицает, чтобы у него были сообщники; это бывший семеновский офицер Якушкин. И не нашлось никого, кто бы его изобличил!» («Междуцарствие», 181). А в заметках на полях рукописи М. А. Корфа о событиях 14 декабря «Восшествие на престол императора Николая I» (составлена в 40-х годах, опубликована в 1857 г.) при рассказе о доносе Грибовского царь отметил: «По некоторым доводам я должен полагать, что государю [Александру I] еще в 1818 г. в Москве после богоявления сделались известными замыслы и вызов Якушкина на цареубийство».

2 Траур по Александре I.

К странице 66.

1 Из «Божественной комедии» Данте.

К странице 67

1 Трагедия Ф. Шиллера.

К странице 68

1 «П. Н. Мысловский в письмах своих к И. Д. Якушкину (1835—1841) несколько раз с чувством вспоминает те беседы по вопросам веры, которые они вели с Якушкиным во время заключения последнего в Петропавловской крепости» (Е. Е. Якушкин, 173). А. И. Колечицкая в своих «Воспоминаниях» о Якушкине писала: «Надо знать, что в молодости Якушкин имел несчастие не веровать, но никогда не позволял себе насмешек над верованиями других и не вступал ни в какие прения на этот счет» (цит. у Нечкиной, VII, 88).

К странице 69

1 «У этого — железа на руках и ногах».

2 Александр Михайлович Булатов (1793—1826), сын боевого генерала М. Л. Булатова (умер 2 мая 1825 г.); служил в гвардии, участвовал в войне 1812—1814 гг., был в сражениях под Смоленском, под Бородиным; за отличия получал награды. С 1823 г.— командир полка в г. Керенске, Пензенской губ. В Петербург прибыл 11 сентября 1825 г. по делам о наследстве после смерти

отца. Как заявил Булатов в письме от 25 декабря из крепости, он не имел «совершенно никаких мыслей не токмо о возмущениях, но привыкши к занятиям, возложенным» на него «по обязанности службы, ждал с нетерпением выезда из столицы... Быв в театре, встретил приятеля детских лет Рылеева, с которым воспитывался вместе в кадетском корпусе... Просили навестить друг друга», но этого не исполнили. При встрече в другой раз в театре Рылеев подошел к Булатову и «говорит потихонько с усмешкою о каком-то заговоре, который существует 8 или 10 лет, и в будущем году будет всему решение» (стр. 218). Тут наступило междуцарствие. Пошли толки. Одни были против Константина, другие вообще против царей. Кончилось тем, что члены ТО предложили Булатову быть 14 декабря помощником командующего восставшими войсками. Накануне Булатов, по его рассказу, получил письмо от Рылеева, который просил его: «Явись завтра, пожалуста, в 7 часов в лейб-гвардии Гренадерский полк. Любезный! Честь, польза, Россия!» (стр. 234). Булатов долго служил в названном полку и руководители ТО рассчитывали на то, что ему удастся вывести этот полк на площадь.

Булатов соглашался командовать восставшими войсками, но при условии, что члены ТО выведут на площадь значительные силы. Уходя утром из дому, Булатов «имел несчастие похвастать» своему брату: «естли я буду в действии, то и у нас явятся Бруты и Риеги, а может быть и превзойдут тех революционистов» (стр. 238).

Весь день 14 декабря Булатов провел в разъездах близ Сенатской площади, был и на ней, к восставшим, не примкнул, видя, что у них мало войска. Когда же Николай велел стрелять по мятежникам, Булатов подумал с досадою о распорядителях заговора, «не имевших понятия в военном деле». «Естли бы они не обманули меня числом войск и открыли бы видимую пользу отечества и русского народа, я сдержал бы свое слово и тогда бы труднее рассеять партию»,— заявлял Булатов в письме к Михаилу Павловичу (стр. 239).

Вечером 14 декабря Булатов в порыве раскаяния явился в Зимний дворец, был арестован и посажен под присмотром в доме коменданта Петропавловской крепости (Б. С. Пушкин, 387). На допросах в СК многие декабристы говорили о согласии Булатова участвовать в восстании (ВД, I и II по указателям). Сам он еще до восстания находился в состоянии нервного возбуждения, в крепости его болезненное состояние усилилось. Это и отразилось в цитированном выше письме Булатова к Михаилу Павловичу. Однако, наряду с полубредовыми признаниями в своих «преступных» замыслах, Булатов обличал в этом письме непорядки в государственном управлении, говорил о страданиях народа, об истязании солдат. Особенно резко отзывался об Аракчееве.

Уже после ареста А. М. Булатова его родных предупредили «однажды», что ночью у них будет обыск. «Мы отправились в кабинет, который брат занимал до ареста,— рассказывал много лет спустя младший брат Булатова, одноименный ему,— и стали пересматривать его вещи и бюро, на котором он занимался.

В чемодане были только белье, платье и нессесер дорожный; ручной же мешок, в виде портфеля, весь был набит бумагами; масса писем (времени терять было нельзя и я мельком поглядел на некоторые подписи) Пестеля, Рылеева, Бестужева, Панова, Каховского, Трубецкого и других, разные проекты реформ, списки участвующих лиц,— все это нами тут же было брошено в камин и предано огню. Также все, что было в бюро, было сожжено» (Титов, 15).

Свиданий с арестованным не разрешали, но родным доставлял ежедневно сведения протоиерей П. Н. Мысловский. Он говорил, что часто беседует с А. М. Булатовым и «замечает в нем сильное нервное возбуждение; брата несколько раз допрашивали — и строго, добавил Мысловский,— на что брат отвечал все одно и то же: «я виноват, но более ни слова не скажу». Через два или три раза допросов заключился в полное молчание, не раскрыв ни планов, ни намерений, ни имен своих товарищей; «допрашивающие сильно на него негодуют»,— говорил Мысловский. Несколько раз он мне доставлял записки от брата, где он просил бумаги и все, что нужно для писанья; в одной из записок была приписка: «и перочинный ножик». Я все, что просил брат, переслал к нему, кроме перочинного ножа, который, по совету Мысловского, ему не послал».

В момент обострения болезни Булатов разбил себе голову о стены каземата. Его отправили в Военный госпиталь, где он умер в ночь на 19 января. «Как он умер, что произошло, не ведаю; три последних дня,— говорил Мысловский,— он был более нежели тревожен; на него находили даже как бы припадки умопомешательства, ему представлялся призрак умершей жены, упрекавшей его за то, что он не пожалел детей, и т. д. Вечером 18 января, в 9 часов, часовые услыхали стон в каземате, вошли в него и нашли его лежащим на полу близ стены, череп с левой стороны был надтреснут и из этой раны выходила кровь и часть мозга. Мне говорили — комендант Сукин, Мысловский и другие,— что в припадке умопомешательства брат мой бился головой об стену и раздробил себе череп» (Титов, 18). Явившийся в госпиталь младший Булатов нашел брата мертвым, но тело было еще теплым (стр. 17).

По поводу сообщения И. Д. Якушкина о свидании А. М. Булатова с дочерьми брат погибшего заявлял, что это ошибочно: дочери несчастного, Пелагея 4 лет и Анна 3 лет, оставались в Керенске и доставлены в Петербург после смерти отца (Титов, 18).

Попытки заключенных в Петропавловской крепости на самоубийство были частым явлением во время следствия по делу о ТО. Кроме того, вследствие условий заключения и угроз пытками несколько человек заболели психически.

К странице 71

[1] Это второй сын Якушкина, Евгений Иванович. «Письмо это от 22 января 1826 г. сохранилось. Настасья Васильевна сообщает мужу о рождении сына — 20 января; говорит, что она и ребенок здоровы» (Е. Е. Якушкин, 173).

К странице 73

[1] В «Донесении» читаем: «Хотели бросить жребий, и наконец Якушкин, который в мучениях несчастной любви давно ненавидел жизнь, распаленный в сию минуту волнением и словами товарищей, предложил себя в убийцы. Он в исступлении страстей, как кажется, чувствовал, на что решался. „Рок избрал меня в жертвы,— говорил он,— сделавшись злодеем, я не должен, не могу жить: совершу удар и застрелюсь“» (стр. 16 и сл.). Это сообщение основано на показаниях Н. М. Муравьева и некоторых других декабристов.

[2] Это и следующее примечания И. Д. Якушкина к тексту (на стр. 78) помещены в рукописи вслед за второй частью «Записок» (л. 59 и 60).

К странице 74

[1] Дальнейший текст, до конца абзаца, изъят цензурой в издании 1905 г.

[2] См. дальше подлинные показания И. Д. Якушкина в СК (стр. 475 и сл.).

[3] За границей был П. Я. Чаадаев, выехавший туда 5 июля 1823 г. (Муравьев-Апостол, 78) и вернувшийся в Россию в августе 1826 г.

К странице 75

[1] «Мысловский понял и оценил декабристов и к некоторым из них привязался, как, например, к И. Д. Якушкину, но никак нельзя сказать, что Мысловский «совершенно перешел на их сторону». Взгляды Мысловского ясно видны из письма его к теще Якушкина Н. Н. Шереметевой от 29 июня 1832 г. «Не твердил ли я вам почти во всяком письме, что на все должна быть воля божия? а с его волею, отдающеюся в сердцах царевых, наш долг согласоваться». А так как воля царева отдавалась далее в сердцах министров и близких к царю лиц, то в конце концов Мысловский в своих поступках попросту согласовался с указаниями начальства. Это хорошо показывают письма его к А. В. Якушкиной (1827) и Н. Н. Шереметевой (1832). В 1827 г., когда начальство согласно было отпустить А. В. Якушкину к мужу в Сибирь, Мысловский всячески поддерживает ее намерение ехать к Ивану Дмитриевичу, а в 1832 г., когда выяснилось, что правительство не хочет отпустить ее в Сибирь, Мысловский пишет матери А. В. Якушкиной совершенно обратное тому, что писал раньше» (Е. Е. Якушкин, 173 и сл.). Документы из семейных архивов И. Д. Якушкина и Н. Н. Шереметевой находятся теперь в ГЦИА (ф. Якушкиных, № 279), в РО, в ГЦЛА (ф. Якушкиных, № 586), в ПД (разр. 1, оп. 40).

Большинство отзывов о Петре Николаевиче Мысловском (1777—1846) в позднейших воспоминаниях декабристов — положительные. Однако Н. В. Басаргин относился недоверчиво к искренности этого служителя церкви, хотя сообщает, что Мысловский противился вторичному повешению сорвавшихся с петель 13 июля 1826 г. («Записки», 52 и сл., 79; ср. Лорер, 104—123). В 1905 г. опубликована «Записная книжка» Мысловского.

К странице 76

[1] Петр Петрович Пассек, отставной генерал-майор, сын Белорусского генерал-губернатора; в 1812 г. служил в Смоленском ополчении; умер в апреле 1825 г. О нем и его просветительной деятельности — у Модзалевского (I), там же портрет его.

[2] «Мысловский в письмах своих к Якушкину не один раз вспоминает этот день исповеди и совсем иначе рисует настроение Якушкина. К сожалению, письма Якушкина к Мысловскому, вероятно, не сохранились; его ответы Мысловскому могли бы разъяснить это дело. Во всяком случае Мысловский не мог писать самому же Якушкину того, чего не было. Может быть, истина посередине. Но я все-таки думаю, что Мысловский ближе к правде. «Записки» Якушкина писались в 1854—1855 г.; прошло 30 лет и тогдашнее настроение затерлось жизнию. Надо отметить, что в «Артельной книге» Петровского Завода в 1835 г. среди лиц, желающих говеть великим постом на шестой неделе, записано и имя Якушкина. Говенье в Петровском не было обязательно» (Е. Е. Якушкин, 179).

К странице 77

[1] Ножные оковы сняли с И. Д. Якушкина 14 апреля, ручные — 18 апреля (ВД, III, 411).

К странице 78

[1] Донесение СК от 30 мая 1826 г. опубликовано в виде особого приложения к газете «Русский инвалид» 12 июня. Но еще 4 июня был напечатан в этой газете манифест Николая от 1 июня об учреждении верховного уголовного суда.

[2] Письмо опубликовано в деле Муханова (см. стр. 478).

К странице 79

[1] Свидание И. Д. Якушкина с женой было разрешено после ее письма к царю от 15 июня следующего содержания:

«Всемилостивейший государь! Мучительная неизвестность об участи мужа, которого обожаю и с которым была счастлива, понудила меня совершить дальнее путешествие. Удрученная скорбью и болезнью, с грудным пятимесячным ребенком и с двухлетним сыном, проехала я 700 верст, в надежде на благость вашего императорского величества. Не об облегчении судьбы мужа моего молю вас, государь, не оправдания о нем дерзаю приносить вам,— я решилась с покорностью ждать часа правосудия и милосердия вашего.

Но, государь! Вы отец и супруг нежный, сердцу вашему знакомы чувства, коими теперь исполнено сердце мое: два невинных младенца у подножия престола вашего императорского величества просят обнять несчастного отца своего; 18-летняя жена, проливая горькие слезы, умоляет вас дозволить ей свидеться с

мужем и писать ему. Государь, не отриньте прошение несчастной, на бога и на вас упование полагающей».

Николай разрешил А. В. Якушкиной свидания с мужем и переписку с ним (Дубровин, II, 45).

[2] Дочь Елизаветы Петровны и А. Г. Разумовского, Августа Тимофеевна, известная под именем княжны Таракановой, родилась около 1744 г. Отправленная матерью за границу, она была привезена в Россию в 1785 г. и заключена в московский Ивановский монастырь, где была пострижена в монахини. Там она пробыла в полнейшем уединении до смерти (1810). Похоронена в Новоспасском монастыре, рядом с боярами Романовыми; за ее гробом шли Разумовские. Была еще самозванка Тараканова, неизвестного происхождения (возможно, немецкого). Жила с 1772 г. в Париже, где назвалась княжной Владимирской. В 1774 г. назвалась дочерью Елизаветы Петровны и сестрою Пугачева, объявила себя претенденткой на русский престол. Ее-то и привез в Россию в мае 1775 г. А. Г. Орлов обманом, прикинувшись ее поклонником и готовым жениться на ней. Екатерина заключила ее в Петропавловскую крепость, где она 4 декабря того же года умерла от чахотки.

Легенда о гибели лже-Таракановой во время наводнения 1777 г. послужила темой для картины, распространенной в снимках. О ней написаны романы, повести, очерки.

К странице 80

[1] Здесь в рукописи тщательно зачеркнуты две строки.

К странице 81

[1] Декабрист Н. Р. Цебриков рассказал в «Воспоминаниях о Кронверкской куртине»: «Над первым Якушкиным профос палачь изломал над головою так шпагу, что всю ее окровавил» (сб. «Воспоминания», I, 262). О том же рассказывает декабрист А. Е. Розен: «Шпаги и сабли были заранее уже подпилены, так что палач без всякого усилия мог их переломить над головою; только с бедным Якубовичем поступил он неосторожно, прикоснувшись его головы, пробитой черкесской пулею над правым виском. С И. Д. Якушкина также неосторожно содрали кожу с чела» («Записки», 98 и сл.).

К странице 82

[1] В 1873 г. была напечатана в РС биография С. И. Муравьева-Апостола, написанная М. К. Балласом. В его рассказе об этом свидании С. И. Муравьева-Апостола с сестрой имеются неточности. Исправляя их, М. И. Муравьев-Апостол сообщил: «В рассказе выпущено одно обстоятельство, указывающее на необыкновенное спокойствие духа со стороны брата в роковую минуту. Сестра, едва оправившись от родов, была в полном неведении об участи, его ожидавшей; муж ее, не решившись сообщить ей грозной вести, посоветовал ей испросить

дозволения на свидание с братом. Это было накануне казни. Она поспешно съездила в Царское Село, где, ради ходатайства генерала Дибича, получила на то высочайшее разрешение. Ночью, за несколько часов до казни, она, увидев брата, закованного в кандалы, залилась слезами; брат, чтоб ее утешить, сказал ей с спокойным видом, что напрасно ее так смущают эти оковы, что они ни чувства, ни языка у него не связывают и поэтому не помешают им дружески побеседовать. Он сумел рассеять ее опасение и пробудить в ней надежду, так что касательно его участи она осталась в том же неведении; просил ее только позаботиться о брате» (изд. 1922 г., стр. 28). Упоминаемый здесь брат — Василий, сын И. М. Муравьева-Апостола от второго брака.

[2] О последних днях жизни П. И. Пестеля, об его антирелигиозном настроении во время следствия рассказывает П. Н. Мысловский. Его сообщение интересно в виду распространенности рассказа лютеранского пастора Рейнбота, будто Пестель исповедывался у него и причащался на рассвете 13 июля. «Пастор Рейнбот, отличного ума человек, был с Пестелем несколько часов и вышел от него без всего: преступник и слышать не хотел о таинствах веры; он только вдавался в словопрения с своим священником и не переставал доказывать правоту своих мыслей и поступков. Я посещал его очень редко... Вечером 12 числа июля Рейнбот пришел к нему в каземат, дабы приготовить его к смерти. Снова начались споры как о догматах веры, так и о делах политических. Пастор со слезами на глазах оставил жестокосердого... Пестель... в половине пятого часа, идя на казнь и увидя виселицу, с большим присутствием, духа произнес следующие слова: «Ужели мы не заслужили лучшей смерти? Кажется, мы никогда не отвращали чела своего ни от пуль, ни от ядер. Можно бы было нас и расстрелять!» (РА, 1905, № 9, стр. 132 и сл.).

К странице 83

[1] Об этом рассказывает Мысловский в цитированной выше «Записной книжке».

[2] Эти фамилии декабристов, сорвавшихся с петель, перечислены также в донесении царю присутствовавшего при казни петербургского генерал-губернатора П. В. Кутузова: «Экзекуция кончилась с должной тишиной и порядком как со стороны бывших в строю войск, так и со стороны зрителей, которых было немного. По неопытности наших палачей и неумению устраивать виселицы при первом разе трое, а именно Рылеев, Каховский и Муравьев, сорвались, но вскоре опять были повешены и получили заслуженную смерть» (Щеголев, I, 292).

[3] «Якушкин говорит, конечно, со слов Мысловского» (Е. Е. Якушкин, 179).

[4] «Это единственный случай, когда Мысловский разошелся с волей начальства. Видно, что любовь и жалость к повешенным взяли в этом случае верх» (там же).

К странице 84

[1] Третья часть «Записок» И. Д. Якушкина сохранилась в подлинной рукописи автора карандашом (л. 61—92). Рукопись — черновая, с очень многими помарками, поправками и перечеркиваниями. Многое из того, что здесь с трудом разбиралось Е. Е. Якушкиным в 1925 г., стерлось впоследствии, выцвело и не поддается прочтению.

К странице 85

[1] А. В. Якушкина также подъезжала к крепости в ялике вместе с Н. Д. Фонвизиной (Семевский, V, 55).

[2] Александр Николаевич Сутгоф (1801—1872), поручик гвардейского Гренадерского полка. Воспитывался в московском университетском пансионе; в военную службу вступил 16 лет. В феврале 1823 г. «за содействие в доведении батальона нижних чинов своей части до надлежащего познания правил фронтовой службы» получил «благоволение» царя (Формулярный список, ВД, II, 121).

Чтение «Естественного права» Куницына и агитация П. Г. Каховского привели Сутгофа осенью 1825 г. в ТО, так как он «желал блага общего». 14 декабря пришел в роту и говорил солдатам: «Ребята, вы напрасно присягнули, ибо прочие полки стоят на площади и не присягают; оденьтесь скорее, зарядите ружья, следуйте за мною и не выдавайте меня. Вот со мною ваше жалованье, которое раздам не по приказу». Почти вся рота побежала за своим командиром и выстроилась в каре на Сенатской площади (из дела Сутгофа, ВД, II, 123 и сл.). Приговорен к отсечению головы. Николай из «милосердия» послал его на вечную каторгу. В 1839 г. «обращен на поселение». В 1848 г., по ходатайству матери, определен рядовым в кавказскую действующую армию и через пять лет получил первый офицерский чин. После амнистии управлял Боржомом, где и умер.

По выходе в свет книги М. А. Корфа «Восшествие на престол императора Николая I» Сутгоф написал, по настоянию Е. И. Якушкина, некоторые поправки к ней. В заказанной ему царем книге Корф заявляет, что участники восстания представляли собою на площади «зрелище совершенно своеобразное: шинели с мужицкими шапками, полушубки при круглых шляпах, полотенца вместо кушаков и т. п., целый маскарад распутства, замышляющего преступление. Солдаты... большею частью пьяны». Сутгоф заявляет по поводу этой клеветы официального историка: «Очевидец — или плут, или трус; все были одеты прилично; в народе были точно лица непрезентабельные, но буйных, пьяных солдат не было... Московцы стояли в большом порядке». По поводу заявления Корфа, будто солдаты стреляли в генерала Волкова, Сутгоф пишет: «В г. Волкова, не стреляли, его народ чуть не убил камнями». По поводу включенного в книгу Корфа заявления СК, будто Сутгоф прельщал солдат жалованьем не в очередь, он пишет: «О жалованье разговор был после, когда лейб-гренадеры уговаривали» его «скрыться». Он же отвечал солдатам, что «этого никогда не сделает и что к тому же их

жалованье у него в кармане. Солдаты сказали тогда, что они без жалованья обойдутся, лишь бы он не попал в руки правительству» (В. Якушкин, II, 168 и сл.).

К странице 86

[1] А. М. Муравьев оставил интересные «Записки», в которых использовал сообщения и заметки своего брата Никиты Михайловича. См. «Замечания» И. Д. Якушкина на эти «Записки» (стр. 160 и сл.).

К странице 87

[1] «Об этой поездке и встрече в Парголове вспоминает Мысловский в письме к Якушкину от 31 июля 1837 г.» (Е. Е. Якушкин, 179).

[2] Матвей Иванович Муравьев-Апостол (1793—1886), старший брат повешенного Николаем руководителя восстания Черниговского полка, Сергея Ивановича М.-А. (1796—1826), сын писателя, дипломата, одного из образованнейших людей своего времени — Ивана Матвеевича Муравьева (1762—1851), получившего вторую часть фамилии от матери; ее дед — украинский гетман Даниил Павлович Апостол (1658—1734). К моменту развития заговора декабристов Иван Матвеевич был сенатором, пользовался репутацией свободолюбивого сановника; он смело и резко выступал против Аракчеева; руководители ТО намечали его вместе со Сперанским и Мордвиновым в состав временного правительства («Тайные общества», 80 и сл.). Взгляды Ивана Матвеевича на воспитание сыновей отражены в его письме 1812 г. к Г. Р. Державину: «Я родился с пламенной любовью к отечеству; воспитание еще возвысило во мне сие благородное чувство, единое, достойное быть страстью души сильной». Годы «не уменьшили его ни на одну искру... Выращу детей, достойных быть русскими, достойных умереть за Россию» (Державин, 331 сл.). Во время Отечественной войны 1812 г. он печатал «Письма из Москвы в Нижний-Новгород», в которых резко восставал против низкопоклонства знати перед мнимым иноземным превосходством, против наплыва в Россию французских парикмахеров, поваров, учителей и т. п.

Мать Матвея Ивановича — Анна Семеновна Черноевич (ум. 1810 г.), образованная женщина, обладала литературным дарованием, учила сыновей ненавидеть рабство. Матвей Иванович воспитывался вместе с братом Сергеем в парижском пансионе, затем учился в петербургском корпусе инженеров путей сообщения. В 1811 г. вступил подпрапорщиком в Семеновский полк. Участвовал в сражении при Бородине; в сражении под Кульмом ранен; один из основателей СС и СБ, член ЮО; при возмущении Черниговского полка находился только потому, что был в конце декабря 1825 г. в гостях у брата. Присужден к смертной казни, но так как «в показаниях своих был весьма чистосердечен... осужден... в каторжную работу на 20 лет» («Алфавит», 130 и сл.). Был на поселении в Сибири; в 1856 г. вернулся в Россию, жил в Твери, умер в Москве. Его «Воспоминания и письма»

изданы в 1922 г.; его дело издано Центрархивом (ВД IX, ред. М. В. Нечкиной, Г. Н. Кузюкова, А. А. Покровского).

К странице 88

[1] Проживавший в начале 50-х годов на поселении в Сибири петрашевец Ф. Г. Толь (1823—1867) был знаком со многими декабристами. Их рассказы он записывал в особую тетрадь, которая впоследствии поступила в архив семьи Якушкиных. Среди других записей у Толя имеется такое сообщение, слышанное им, конечно, от И. Д. Якушкина: «Когда декабристы сидели в крепости в Финляндии, туда два раза приезжал фельдъегерь с приказанием, чтобы у них забрали досками окна. Сырость была так велика, что в комнате была постоянная капель, подобная по стуку на тиканье часов. Постель нельзя было оставлять и ее по утру клали в чемодан. Арестанты не раздевались» («Декабристы», II, 130).

К странице 90

[1] М. Монтень (1533—1592), французский писатель; автор «Опытов»; в них наряду с философскими рассуждениями о смысле жизни, консервативными высказываниями социально-политического свойства,— ценные мысли о воспитании прежде всего человека вообще, с развитым умом, твердой волей и благородным характером, который умел бы наслаждаться жизнью и стоически переносить выпадающие на его долю несчастья. «Читали они Монтеня, но печать была мелкая, а свету в каземате мало, и глаза страдали у многих» («Декабристы», II, 130).

К странице 91

[1] «Китайская головоломка» (игра).

[2] Первая глава повести А. А. Бестужева в стихах «Андрей князь Переяславский» напечатана в 1828 г. (цензурное разрешение от 20 февраля); вторая глава напечатана в 1830 г.; отрывок из пятой главы — в 1831 г.; все — без фамилии автора; включены в Сочинения А. Марлинского (изд. 4-е, 1847, т. 4, ч. 11).

К странице 92

[1] Буквально: «дурной вкус», «дурная манера».

К странице 93

[1] Великий князь Константин Николаевич родился 9 сентября 1827 г., но слух о царской «милости» мог дойти в крепость позже.

Александр Александрович Бестужев (1797—1837) принимал деятельное участие в подготовке восстания 14 декабря 1825 г. и в самом восстании; «изъявил совершенное раскаяние»; присужден к отсечению головы; царь заменил казнь 20-летней каторгой. В 1827 г. «по особому высочайшему повелению обращен прямо на поселение» («Алфавит», 280). Отправлен в Якутск, а оттуда в

1828 г.— рядовым на Кавказ; участвовал в сражениях, проявлял храбрость; в 1836 г.— прапорщик; убит 17 июня 1837 г. при занятии войсками мыса Адлер.

[2] «Это было начало октября, как видно из донесения возвратившихся из командировки жандармов, сопровождавших до Иркутска Якушкина, Арбузова и Тютчева (Лефортовский архив, 1826 г., связка 26, д. 544). Жандармы эти, Сильвестр Щедрин и Гордей Исаев, прибыли в Роченсальм 6 октября, где, «взяв означенных преступников, отправились в город Тобольск и прибыли 21 октября. 22-го отправились в Иркутск и прибыли 14 ноября» (Е. Е. Якушкин, 180).

[3] Здесь в рукописи было еще: «При этом я вспоминаю не совсем с удовольствием об одном моем поступке; когда замкнули на ногах железа, я взобрался на одну из тележек и, легко спрыгнув с нее, стал уверять коменданта, что оковы нисколько меня не беспокоят; это было что-то похожее на хвастовство». Автор не пожелал оставить это в тексте и зачеркнул.

К странице 94

[1] «Сохранился коротенький дневник, который вела Н. В. Я[кушкина] по возвращении в Москву из Ярославля; всего восемь почтовых листков — с 19 октября по 21 ноября. Под 23 октября сказано, что прошла уже неделя с их последнего свидания. Следовательно, в Ярославле они свиделись 16 октября. Таким образом в «Записках» все даты, относящиеся к этой поездке, ошибочны» (Е. Е. Якушкин, 180).

К странице 95

[1] И. И. Пущин записал под 25 октября 1827 г. в своем дневнике путешествия в Сибирь, который переслал отцу и сестрам: «Завтра две недели, что мы путешествуем. Я имел дорогой две прелестные минуты, о коих я должен с вами побеседовать и коими я насладился со всею полнотою моего сердца. В Ярославле Якушкина с матерью имела свидание с мужем, который ехал перед нами. Мы приезжаем туда вечером пить чай, вдруг является к нам [слово неразб.] и спрашивает, не имеем ли мы в чем-нибудь надобности; мы набрали табаку и прочих вещей для дороги. Это был человек Уваровой, сестры Лунина, которая ждала своего брата Лунина. Она пришла в дом и вызвала фельдъегеря; от него узнала, что здесь Муханов, которого она знает, и какими-то судьбами его пустили к ней. Вслед за сим приходят те две и вызывают меня, но как наш командир перепугался и я не хотел, чтобы из этого вышла им какая-нибудь неприятность, то и не пошел в коридор; начал между тем ходить вдоль комнаты, и добрая Якушкина в дверь меня подозвала и начала говорить, спрося, не имею ли я в чем-нибудь надобности и не хочу ли вам писать. Меня это так восхитило, что я бросился целовать руки у этой милой женщины. Мать ее благословила меня образом и обещала непременно скоро с вами повидаться в Петербурге» («Записки», изд. 1927 г., стр. 99 и сл.).

К странице 96

[1] «Попытка Н. В. Якушкиной уехать к мужу в Сибирь имела длинную и не совсем ясную историю с печальным концом. В нашем архиве сохранился ряд относящихся сюда документов... 1. Письмо на имя В. А. Жуковского за подписью Дибича от 3 февраля 1828 г. о том, что Н. В. Якушкиной не возбраняется отправиться к мужу вместе с детьми. 2. Письмо на имя Н. В. Якушкиной за подписью В. Адлерберга от 15 февраля 1829 г.: «Вам одной не возбраняется ехать к мужу в Сибирь на известных условиях, но детям вашим по силе того же положения сие дозволено быть не может». 3. Письмо на имя Н. В. Якушкиной от 27 ноября 1832 г. за подписью графа А. Бенкендорфа, который сообщает Настасье Васильевне, что так как она не воспользовалась в свое время данным ей дозволением ехать к мужу, то «и не может ныне оное получить» (Е. Е. Якушкин, 180 и сл.).

Имеются и другие документы. Упомянутое здесь письмо начальника Главного штаба И. И. Дибича от 3 февраля — ответ на письмо В. А. Жуковского от 22 января 1828 г. к А. Н. Голицыну: «Имею честь представить вашему сиятельству письмо, недавно мною полученное. Прибегаю к вам, чтобы, наконец, иметь какую-нибудь возможность отвечать на него. Оно писано тещею несчастного Якушкина, которая желает знать, может ли дочь ее *вместе с детьми* поехать к мужу, изгнаннику. Благоволите прочитать это письмо, благоволите взять на себя труд сказать мне, можно ли надеяться получить такого рода позволение и какое для этого средство. Простите, что обременяю вас моими письмами. Хлопочу за других и знаю, что такого рода хлопоты вам не могут быть неприятными».

Голицын передал это письмо Дибичу, который и сообщил В. А. Жуковскому 3 февраля: «Государь император отозваться соизволил, что исполнение (Якушкиной) сего желания, на существующих для того правилах, ей не возбраняется. Но при этом его величеству благоугодно, дабы ей поставлено было на вид, что в месте пребывания мужа своего не найдет она никаких способов к воспитанию детей, устройству будущего состояния коих полагает она чрез то не малую преграду, а потому нужно ей предварительно размыслить о всех последствиях своего предприятия, дабы избегнуть позднего и бесполезного раскаяния» (Дубровин, II, 45 и сл.).

Правила для жен декабристов, отправлявшихся вслед за мужьями в Сибирь, заключали в себе приказ иркутскому губернатору стараться не допускать жен «государственных преступников» ехать дальше Иркутска. По распоряжению царя, губернатору предписывалось «употребить все возможные внушения и убеждения к остановлению их в сем городе и к обратному отъезду в Россию. Внушения могут состоять в том: 1) Что, следуя за своими мужьями и продолжая супружескую с ними связь, они естественно сделаются причастными к их судьбе и

потеряют прежнее звание, то-есть будут уже признаваемы не иначе, как женами ссыльно-каторжных, а дети, которых приживут в Сибири, поступят в казенные крестьяне. 2) Что ни денежных сумм, ни вещей многоценных взять им с собою, коль скоро отправятся в Нерчинский край, дозволено быть не может: ибо сие не только воспрещается существующими правилами, но необходимо и для собственной безопасности их, как отправляющихся в места, населенные людьми, на всякие преступления готовыми, и следственно, могущих подвергнуться при провозе с собою денег и вещей опасным происшествиям. 3) Что с отбытием их в Нерчинск уничтожаются также и права их на крепостных людей, с ними прибывших. С тем вместе должно обратиться к убеждениям, что переезд в осеннее время чрез Байкал чрезвычайно опасен и невозможен, и представить, хотя мнимо, недостаток транспортных казенных судов, безнадежность таковых, у торгующих людей состоящих, и прочие тому подобные учтивые отклонения; а чтобы успех оных вернее был достигнут, то, ваше превосходительство, не оставите принять и в самом доме вашем, который, без сомнения, будут они посещать, такие меры, чтобы в частных с ними разговорах находили они утверждение таковых убеждений. По исполнении сего с надлежащею точностью, если и затем окажутся в числе сих жен некоторые непреклонные в своих намерениях, в таком разе, не препятствуя им в выезде из Иркутска в Нерчинский край, переменить совершенно ваше с ними обращение, принять в отношении к ним, как к женам ссыльно-каторжных, тон начальника губернии, соблюдающего строго свои обязанности, и исполнять на самом деле то, что сперва сказано будет в предостережение и вразумление, а именно: все имеющиеся у них деньги, драгоценные вещи, серебро и прочее... отобрать..., из крепостных людей... дозволить следовать за каждою токмо по одному человеку, но и то из числа тех, которые добровольно на сие согласятся...» Кроме средств, «на законных постановлениях основанных», губернатору предлагалось «по собственной предусмотрительности употребить все возможные способы к достижению собственно той цели, чтобы последовавших за осужденными преступниками жен решительно отвратить от исполнения их намерения» (Волконская, 1924, стр. 24 и сл.).

Губернатор старался, но не мог сломить волю тех жен декабристов, которые успели выехать в Сибирь в 1826—1827 гг. Н. А. Некрасов в поэме о «декабристках» («Русские женщины») заставил иркутского губернатора сказать Е. И. Трубецкой:

Простите! да, я мучил вас,
Но мучился и сам,
Но строгий я имел приказ
Преграды ставить вам.

А. В. Якушкина не добралась до Иркутска. Ей ставили преграды в Петербурге. Как сообщает Н. Ф. Дубровин, это не могло «пересилить чувства любя-

щей женщины, но домашние обстоятельства не дозволили ей отправиться немедленно». А. В. Якушкина продолжала, однако, добиваться возможности поехать в Сибирь. Об этом — дальше (стр. 602 и сл.).

[2] В дневнике путешествия на каторгу Пущин отметил 25 октября: «Сегодня мы нагнали Якушкина, и он просил, чтобы вы им при случае сказали по получении сего письма, что он здоров, с помощью божьей спокоен. Вообрази, что они, несмотря на все неприятные встречи, живут в Ярославле и снабжают всем, что нужно. Я истинно ее руку расцеловал через двери, я видел в ней сестру, и это впечатление надолго оставило во мне сладостное воспоминание — благодарите их... Подвигаемся к Тобольску». На другой день Пущин записал: «Якушкин мне говорил, что он видел в Ярославле семью свою в продолжение 17 часов и все-таки не успел половины сказать и спросить» (стр. 101).

К странице 97

[1] М. А. Бестужев сообщает, что тюремную азбуку изобрел он, и подробно рассказывает о своей системе в «Воспоминаниях» (168 и сл.).

[2] О жестоком обращении Желдыбина с ямщиками — у Пущина (изд. 1925 г., 155, 317). О том же сообщают другие декабристы.

К странице 98

[1] Князь Борис Алексеевич Куракин (1784—1850) попутно с ревизией Сибири посылал главному начальнику жандармского ведомства А. Х. Бенкендорфу подробные донесения о своих разговорах с декабристами. О свидании с И. Д. Якушкиным он сообщал 18 ноября 1827 г., ссылаясь на свое предшествующее донесение об Н. А. Панове: «Он имеет тот же непринужденный вид, тот же легкомысленный тон, когда говорит о своих прошлых подвигах, а вместе с тем, несмотря на кандалы на ногах, очень занимается своими красивыми черными усами, к которым он присоединил еще и эспаньолку. Вы согласитесь, что есть отчего «растянуться во весь рост», как говорит известная пословица: молодой человек 25 лет, предающий своего государя, цареубийца хотя бы по намерению, лишенный чинов и дворянства, осужденный на 15 или 20 лет каторжных работ и затем на вечную ссылку, имеет смелость, несмотря на все это, заниматься своей физиономией и находит совершенно естественным, раз войдя в члены Тайного общества, не выходить из него по крайней мере до тех пор, пока истинная цель его не будет ему открыта; все это, как я говорил вам, рассказывая о Панове, превосходит меру разумения, данного мне небом» (Модзалевский, II, 124). При разговоре с Н. А. Пановым сенатора привело в ужас заявление этого декабриста о том, что ТО хотело «положить границы власти монарха». Такое заявление убедило Куракина в том, что Панов «еще не исправился и не раскаялся» (там же, 120). Опубликовавший эти донесения Б. Л. Модзалевский

дал на основании обширного материала исчерпывающую характеристику Куракина как государственного деятеля. Обладатель огромнейшего состояния, человек независимый по своему общественному положению, Куракин «в высшей степени приниженно держит себя перед Бенкендорфом, человеком, по существу, ничтожным и сильным лишь своим временным официальным положением главы явной и тайной полиции. Его донесения полны отталкивающего раболепства, лишены чувства всякого собственного достоинства. Разыгрывая большую роль, представляясь важным там, в далекой сибирской провинции, перед маленькими людьми, темными и загнанными, он в сношениях с Бенкендорфом ведет себя как самый мелкий чиновник, робеющий перед начальником и постоянно опасающийся сделать промах, быть не так понятым, попасть в подозрение... Правда, посылая свои донесения Бенкендорфу, он полагал, что они попадают и выше, в руки самого Николая I, быть может потому именно они и наполнены столь многочисленными изъявлениями верноподданнических чувств» (стр. 105).

К странице 99

[1] Морем называют в Сибири озеро Байкал.

[2] Поэма Пушкина «Цыганы» начата в 1823 г.; отрывки печатались в 1825 и 1826 гг.; полностью издана в 1827 г.; в мае о ней сообщалось уже в газетах.

К странице 101

[1] В рукописи еще: «Проехав в этот день слишком 60 верст» (зачеркнуто).

К странице 102

[1] Варвара Михайловна Шаховская (? — 1836), сестра жены А. Н. Муравьева. Судьба ее сложилась трагично в связи с делом декабристов. Она и П. А. Муханов любили друг друга, после его ссылки хотели повенчаться. Для этого Шаховская приехала в Сибирь к сестре, П. М. Муравьевой. Живя в Иркутске, помогала переписке декабристов с их родными. Николай не разрешал брак Муханова и Шаховской. Заводивший по соглашению с Бенкендорфом провокацию среди декабристов авантюрист Медокс избрал в числе других и Шаховскую своей жертвой. См. статью П. С. Попова о Муханове (II), книги С. Я. Штрайха о Медоксе (II, III, IV), «Алфавит» (361). Архив В. М. Шаховской — в РО. Родство Шаховской с Мухановым заключалось в том, что его сестра Елизавета была замужем за братом Шаховской Валентином.

[2] В рукописи еще: «узнав, что император полагал уже в Нерчинске первоначально сосланных в работу, перепугался и» (зачеркнуто).

К странице 105

[1] После этого в рукописи было еще: «и заперли под строгим караулом» (зачеркнуто).

К странице 106

[1] Об одном таком случае, едва не окончившемся для декабристов трагически, сообщает Н. В. Басаргин: «Раз как-то г-жа Муравьева пришла на свидание с мужем в сопровождении дежурного офицера. Офицер этот подпоручик Дубинин, не напрасно носил такую фамилию, и сверх того в этот день был в нетрезвом виде. Муравьев с женой остались по обыкновению в присутствии его в одной из комнат, а мы все разошлись, кто на дворе, кто в остальных двух казематах. Муравьева была не очень здорова и прилегла на постели своего мужа, говорила о чем-то с ним, вмешивая иногда в разговор французские фразы и слова. Офицеру это не понравилось, и он с грубостию сказал ей, чтобы она говорила по-русски. Но она, посмотрев на него и не совсем понимая его выражения, спросила опять по-французски мужа: «Чего он хочет, мой друг?» Тогда Дубинин, потерявши от вина последний здравый смысл свой и полагая, может быть, что она бранит его, схватил ее вдруг за руку и неистово закричал: «Я приказываю тебе говорить по-русски». Бедная Муравьева, не ожидавши такой выходки, такой наглости, закричала в испуге и выбежала из комнаты в сени. Дубинин бросился за ней, несмотря на усилия мужа удержать его. Большая часть из нас, и в том числе и брат Муравьевой гр. Чернышев, услышав шум, отворили из своих комнат двери в сени, чтобы узнать, что происходит, и вдруг увидали бедную женщину в истерическом припадке и всю в слезах, преследуемую Дубининым. В одну минуту мы на него бросились, схватили его, но он успел уже переступить на крыльцо и, потеряв голову, в припадке бешенства, закричал часовым и караульным у ворот, чтобы они примкнули штыки и шли к нему на помощь. Мы в свою очередь закричали также, чтобы они не смели трогаться с места и что офицер пьяный, сам не знает, что приказывает им. К счастью, они послушали нас, а не офицера, остались равнодушными зрителями и пропустили Муравьеву в ворота» («Записки», 113 и сл.).

К странице 107.

[1] Александр Осипович Корнилович (1800—1834), историк, писатель; офицер с 1816 г.; служил в Генеральном штабе, занимаясь по поручению начальства розысканием в архивах материалов из области русской военной истории; много печатал (очерки, исторические повести). Член ЮО с мая 1825 г.; приехал в Петербург 13 декабря с поручением от ЮО к руководителям СО; арестован 15 декабря; осужден в каторгу на 12 лет. По доносу Ф. В. Булгарина жандармам (якобы по болтливости Корниловича австрийский посол «выведывал» у него о том, «что делается, что говорится в среднем классе»), вытребован из Читы, посажен в феврале 1828 г. в Петропавловскую крепость. Здесь содержался до конца 1832 г., составлял по запросам правительства и присланным ему в крепость материалам доклады по экономическим, торговым, военным и административным вопросам («Алфавит». 329 и сл.). Просил еще в феврале 1829 г.

разрешить ему отправиться на Кавказ рядовым, Николай отказал, так как считал его докладные записки ценными для себя и для министров. В ноябре 1832 г. отправлен на Кавказ, умер в 1834 г. «от желчной горячки». См. статьи о нем П. Е. Щеголева (I) и А. Г. Грум-Гржимайло.

[2] В рукописи еще: «две комнаты; в одной были» (зачеркнуто).

К странице 108

[1] Иван Александрович Анненков (1802—1878), сын богатейшей помещицы А. И. Анненковой (?—1842), обладавшей имениями в 5000 «душ». Слушал лекции в Московском университете; служил в Кавалергардском полку; вступил в СО в 1824 г., числился в ЮО. «Слышал о намерении истребить императорскую фамилию... по принесении присяги», 14 декабря «все время находился при полку» («Алфавит», 25). Осужден в каторгу на 20 лет; в 1835 г. обращен на поселение. По ходатайству матери, разрешено в 1839 г. вступить на службу в Туринске — канцеляристом 4-го разряда в земском суде. До восстания находился в гражданском браке с Полиной (Прасковьей) Егоровной Гебль (у Якушкина, согласно с официальными сведениями,— Поль; 1800—1876). Настойчивостью добилась от Николая разрешения поехать в Сибирь; там обвенчалась. Имели детей. После амнистии 1856 г. Анненковы вернулись в Россию, жили в Нижнем-Новгороде. П. Е. Анненкова оставила «Записки», где помещены также воспоминания ее мужа.

К странице 109

[1] Большинство портретов декабристов, написанных Н. А. Бестужевым, а также виды Читы и Петровского Завода, нарисованные им, воспроизведены в книге «Декабристы. 86 портретов, вид Петровского Завода и 2 бытовых рисунка того времени» (М., 1906). Имеются автотипические снимки с его произведений в других изданиях. О художественном наследстве Н. А. Бестужева — в статьях И. С. Зильберштейна (который хранит подлинные портреты декабристов работы Н. А. Бестужева) и М. Ю. Барановской. Н. А. Бестужев обладал замечательными способностями во многих областях техники и механики.

[2] Ножные кандалы были сняты с декабристов в конце августа 1828 г.

[3] См. дальше очерк И. Д. Якушкина о 14 декабря, составленный на основании тюремных рассказов участников ТО.

К странице 110

[1] Обстоятельную оценку деятельности СК и ее докладу дал М. С. Лунин в «Разборе донесения, представленного российскому императору Тайной комиссией в 1826 году». «Доклад сей достиг своей цели: ему последовали казнь и ссылка обвиненных. Но истина, необходимая для всех человеков и для всякого времени, налагает на нас обязанность возразить на некоторые из обвинений, находящихся

в сем донесении, обратившемся в исторический документ. Три главные причины в совокупности влияли на действия комиссии, несмотря на старание и рвение, с которыми она стремилась исполнить важный труд, ей порученный. Первая причина заключается в отсутствии начал, в несовершенстве обрядов судопроизводства и в несообразности самого законоположения. Обвиненные, из коих многие допрошены лично государем, содержались под строгим заключением сперва в императорском дворце, а потом в казематах Петропавловской крепости. Они не могли ожидать ни заступления законоведца, ни охранительных обрядов уголовного производства, ибо таковое желание их вменялось им в число преступлений; спокойствие духа было им необходимо для соображения ответов, а все средства употреблены были, чтобы раздражать и волновать их... Члены предлагали вопросы на жизнь или смерть; требовали ответов мгновенных и обстоятельных; обещали именем государя помилование за откровенность; отвергали оправдания, объявляя, что оные будут допущены впоследствии перед судом; вымышляли показания, отказывали иногда в очных ставках и, часто увлеченные своим рвением, прибегали к угрозам и поношениям, чтобы вынудить показание или признание на других. Кто молчал или по неведению происшествий, или от опасения погубить невинных, того в темнице лишали света, изнуряли голодом, обременяли цепями. Врачу поручено было удостовериться, сколько осужденный мог вынести телесных страданий. Священник тревожил его дух, дабы исторгнуть и огласить исповедь». Перечисляя причины неверного освещения в докладе СК дела декабристов, Лунин пишет, что одна из них «заключается в политических соображениях, понудивших комиссию исключить или изменить некоторые обстоятельства и обратиться к страстям толпы, чтобы поколебать в общем мнении людей, коих влияние и за тюремными затворами казалось опасным... Однакож правительство нашлось принужденным вступить в состязание с союзом, воздвигать оплоты противу его потока, сойти в ристалище, чтобы бороться грудью с частными лицами». По поводу клеветы СК на руководителей ТО автор «Разбора» заявляет: «Члены Тайного общества не имели, без сомнения, ни желания, ни средств покорить своих соотечественников, а здание, которое они воздвигали, долженствовало простоять не один день, ибо его обломки противятся еще бурям, высятся над уровнем отечественных постановлений, наподобие пирамид, для указания будущим поколениям стези на политическом поприще... Тайный союз не мог ни одобрять, ни желать дворцовых революций, ибо таковые предприятия даже под руководством преемников престола не приносят у нас никакой пользы и несовместны с началами, которые Союз огласил и в которых заключалось все его могущество. Союз стремился водворить в отечестве владычество законов, дабы навсегда отстранить необходимость прибегать к средству, противному и справедливости и разуму».

Имеется еще в «Разборе» Лунина сжатая характеристика ТО — глубоко научное замечание о связи движения декабристов со всей предшествующей историей страны, о преемственности революционного движения в России, о чисто

национальных истоках деятельности членов ТО, о народности движения в целом: «Надлежит сознаться, что тайный союз не отдельное явление и не новое для России. Он связуется с политическими сообществами, которые одно за другим, в продолжение более века, возникали с тем, чтобы изменять формы самодержавия; он отличается от своих предшественников только бо́льшим развитием конституционных начал. Он только вид того общественного преобразования, которое уже издавна совершается у нас и к торжеству которого все русские содействуют, как сподвижники, так и противники оного. Происшествия, среди которых возник и распространился тайный союз, долженствовали благоприятствовать его успехам. Упорная борьба против соединенных сил Европы совокупила народ для защиты своего достояния, которое одни меры правительства не в состоянии уже были охранять. Вслед за отпором внешнего врага совокупностью народных сил общее внимание естественно обратилось на внутреннее устройство края... Союз постиг необходимость коренного преобразования; ибо народы, подчиненные самодержавию, должны или исчезнуть, или обновиться. Он положил начало преобразованию, открыв новые источники просвещения и вруча народу новые средства к могуществу. Право союза основывалось на самом свойстве живительных начал, им провозглашенных, на потребностях народа, которые надлежало удовлетворить» (изд. 1923 г., стр. 67 и сл.).

К странице 111

[1] Захар Григорьевич Чернышев (1796? — 1862), ротмистр Кавалергардского полка; член СО, числился в ЮО. «Слышал, что Общество будет действовать силою оружия... На совещаниях нигде не был... 14 декабря находился в отпуску вне Петербурга» («Алфавит», 204). Это послужило основанием для включения Чернышева в VII разряд «государственных преступников», осуждаемых в каторгу на 4 года. После двойного снижения срока по царскому «милосердию» Чернышев пробыл в каторжных работах год. Затем его отправили в Якутск, а оттуда рядовым на Кавказ (апрель 1829 г.). Здесь Чернышев участвовал в сражениях, в октябре 1830 г. ранен в грудь на вылет. В 1833 г. произведен в прапорщики, через год уволен в отставку. Имения, которые должны были достаться З. Г. Чернышеву, находились в трех черноземных губерниях, в них было много десятков тысяч десятин земли, около 9000 крепостных.

Александр Иванович Чернышев (1786—1857), участник войн с Наполеоном (1807—1813); один из усердных деятелей СК. Знаменитый А. П. Ермолов язвительно заметил по поводу претензий А. И. Чернышева на имения своего однофамильца-декабриста, что в подобном требовании нет ничего удивительного: одежда жертвы всегда и везде поступала в собственность палача (Дружинин, III. 18; ср. 35, 37). О мерзком поведении А. И. Чернышева в СК, о его низости вообще говорят в своих воспоминаниях многие декабристы и другие мемуаристы. А. С. Гангеблов пишет, что на следствии «Чернышев сломил» его «обманом»

(стр. 130, 216). М. А. Фонвизин рассказывает, что А. И. Чернышев поступал в СК «всех пристрастнее и недобросовестнее... допрашивая подсудимых... осыпал их самыми пошлыми ругательствами» (стр. 198). Есть сообщения, что в пору высшего расцвета карьеры А. И. Чернышева (при Николае он был пожалован в светлейшие князья) его не хотели принимать во многих домах петербургской знати. Ф. Г. Толь записал слышанное от декабристов: «Г-жа Захаржевская, зная, что он в соседней комнате, сказала громко камердинеру, вошедшему с докладом о нем: «ведь я тебе раз навсегда запретила принимать этого подлеца» («Декабристы», II, 126).

Чернышев «вел себя в продолжение всего следствия с самою возмутительною дерзостью, жестокостью и пристрастием» (Басаргин, 67).

[2] Глава «конгрегации» Павел Сергеевич Бобрищев-Пушкин (1802—1865) учился в Московском университетском пансионе и в школе Н. Н. Муравьева-отца. Член ЮО с 1822 г. СК вменяла ему в вину: «знал о предположении лишить жизни» Александра I, «установить временное правление» на 10 лет, «а потом устроить правление представительное... Он также участвовал в сокрытии бумаг Пестеля». За это его послали в каторгу на 12 лет. В 1832 г. П. С. Бобрищев-Пушкин вышел на поселение в Красноярск, а в 1839 г. ему разрешено было переехать в Тобольск для надзора за братом Николаем (1800—1871; осужден к вечной ссылке), находившимся в доме умалишенных. В Россию разрешено вернуться с братом в январе 1856 г. Оба брата писали стихи, печатались еще в 1816 г.

Усерднейшим членом «конгрегации», ревностно исполнявшим все церковные обряды, был Николай Александрович Крюков (1800—1854). До восстания он принадлежал к числу наиболее убежденных декабристов-материалистов. Рассмотрев захваченные при его аресте бумаги, СК установил, что в них имееется «полный свод соблазнительных и развратных умствований новейшей философии». Сын нижегородского губернатора Александра Семеновича Крюкова (ум. в 1844 г.), женатого на англичанке Елизавете Ивановне Манжэн (ум. в 1854 г.), Н. Крюков получил первоначальное воспитание дома. Затем учился в Московском университетском пансионе, имел домашних учителей, в их числе англичанина, француза и преподавателей Нижегородской гимназии. В 1817 г. поступил в знаменитую школу колонновожатых (офицеров квартирмейстерской части), учрежденную отцом декабристов, Ник. Ник. Муравьевым (1768—1840). В 1819 г. Крюков был выпущен из школы офицером и направлен в штаб 2-й армии в Тульчине. Здесь сблизился с Пестелем и в 1820 г. вступил в ТО. Начальник штаба армии П. Д. Киселев заметил, что Крюков разделяет вольный образ мыслей Пестеля и решил «исправить» Крюкова — выслал его из штаба в глухое местечко на съемку. Крюков не «исправился», а усиленной пропагандой революционных и материалистических идей склонил шесть молодых офицеров к «развратным умствованиям». После ареста Пестеля, 13 декабря 1825 г., забрали Крюкова. Ему

вменялось в вину: «изъявил согласие на введение республиканского правления и одобрял революционный способ действия, с упразднением престола... Он предложил спрятать бумаги Пестеля... Ездил, по поручению Пестеля, в Васильков к Муравьеву с известием, что Общество открыто правительством... В Тульчин возвратился с духовым ружьем, полученным от Пестеля, которое намеревался употребить... при открытии возмутительных действий. Увлеченный ложным мнением, он готов был, как сам выражается, на всякое злодеяние... Осужден в каторжную работу на 20 лет» («Алфавит», 105). «Ложное мнение» — конечно, в признаниях, вынужденных СК под угрозой пыток и других застращиваний.

В «своде развратных умствований» Н. Крюкова имеются многочисленные выписки из Бентама, Детю-де-Траси, Гольбаха, Вольтера, Беккарии, Паскаля, Дидро, Гельвеция, Боссюета, Бюффона, Кондильяка, Аристотеля (франц. перевод) и других авторов. Крюкова спрашивали в СК, его ли рукой писаны предъявленные ему забранные при аресте бумаги с выписками, переводами и мыслями по разным предметам. Крюков признал принадлежность этих выписок ему и добавил, что делал их, имея в виду готовиться к статской службе, никому не давал и не имел в виду печатать (ГЦИА, ф. 48, д. № 408, л. 14 и сл.).

Философские записи Н. А. Крюкова хранятся теперь в ГЦИА, в папке под названием «Бумаги штаб-ротмистра князя А. П. Барятинского и поручика Николая Александровича Крюкова 2 — членов Южногоо бщества» (ф. 48, д. № 474). Крюкову принадлежат тетради 3—25 (л. 33—296). Философские записи в тетрадях — на французском и русском языках. Большинство последних — собственные размышления и рассуждения Крюкова по поводу прочитанных книг. Иногда это резюмирующие замечания о высказываниях того или иного автора. Все тетради Крюкова представляют значительный интерес для изучения материалистических взглядов членов ТО. В одной тетради имеются такие записи: «Все способности душевные заключаются в способности чувствовать». «Душа сама по себе в нас не действует, но действует лишь посредством чувств, и мы действий, собственно душе принадлежащих, не знаем и знать не можем» (тетрадь 14, л. 187 и сл., бумага с водяными знаками 1823 г.)

Кроме бумаг в деле № 474, при аресте Н. А. Крюкова была забрана небольшая записная книжка в $^{1}/_{32}$ долю листа. Она хранится в ГЦИА, в деле № 475, озаглавленном: «Записная книжка П. Ив. Пестеля». Долго эта книжка так и считалась принадлежащей Пестелю. Но в наше время установлено, что она представляет собою собрание выписок из сочинений философов-материалистов, сделанных Н. А. Крюковым.

В книжке 57 листов грубой синей бумаги, исписанных чернилами на русском и французском языках; на бумажной обложке надпись «Nicolas Крюков». Записи по содержанию такие же, как в деле № 474. Есть записи социально-политического содержания. Один такой листок имеется в следственном деле Н. А. Крюкова. Читая биографию братьев Гракхов, римских политических деятелей II в.

до н. э., проводивших аграрную реформу с наделением землей неимущих за счет богатых помещиков, Крюков сделал на листке следующую выписку из французского издания книги Плутарха: «Издали закон, по которому ни один гражданин не имел права владеть более чем пятью десятинами земли. Этот закон обуздал на некоторое время жадность богатых». Тут же Крюков приписал от себя: «Всякий гражданин имеет право объявить правительству, что такой-то гражданин нарушает закон, обладая свыше позволенного имением под чужим именем или каким бы то ни было другим образом. Кто достигнет до количества положенного законами имения и захочет иметь больше, того отрешить от должностей». Затем: «Собрать сведения о доходах каждого помещика, о количестве и качестве земли, наложить подати сообразно по количеству и качеству земли» (ГЦИА, д. № 408, л. 19). Обширные извлечения из всех названных выше бумаг Н. А. Крюкова публикуются в сб. «Декабристы» XI.

Сидя в крепости в условиях, при которых даже И. Д. Якушкин признал необходимым подчиниться формальным требованиям царского правительства в области религии, Н. А. Крюков перешел на позиции полного признания церковных предписаний. В Сибири эта сторона его мышления усилилась до беспредельности. Ни о каком материализме он уже не помышлял.

Выйдя в 1835 г. на поселение, Н. Крюков занимался сельским хозяйством. Оно велось образцово и считалось одним из лучших участков ссыльных декабристов. «Николай Крюков — мужик сущий, хлебопашец пристрастный — хозяин, домосед» (из письма М. К. Юшневской к С. П. Юшневскому от 26 ноября 1845 г.; ср. В. Арсеньев, 35). В Сибири Крюков женился на крестьянке, от которой имел двух сыновей. Один из них женился на местной крестьянке П. М. Сайлотовой. Ее рассказ напечатан в газ. «Пятигорск» от 25 декабря 1925 г.).

К странице 112

[1] Петр Иванович Борисов (1800—1854), сын отставного штаб-офицера Черноморского флота; воспитывался дома; служил в артиллерии. Основатель и главный деятель Сл. (см. примеч. 2 к письму 148).

В 1926 г. М. В. Нечкина опубликовала несколько писем П. И. Борисова и его товарища по обществу, которые сразу вводят в круг некоторых настроений Сл. Относятся они к середине 1825 г. и дают хорошее представление о тесно сплоченном кружке разночинных вольтерьянцев, глубоко проникнутых просветительной философией XVIII в. Больше всего занимают «славян» «вопросы просветительной морали, являющейся, по их убеждению, лишь совокупностью норм поведения, полезных для общественной жизни. А общественная польза — высший критерий их оценок». Названия месяцев берутся из календаря французской революции XVIII в., фамильные прозвища членов общества заменяются именами.

прославленных республиканцев древнего мира из жизнеописаний Плутарха (Нечкина, IX, 57 и сл.).

Два письма Борисова адресованы его сочлену по обществу Павлу Фомичу Выгодовскому (1802 — после 1866 г.), который занимает видное место в кружке южных декабристов-материалистов. Сын крестьянина Волынской губернии Тимофея Дунцова (Нечкина, VIII, 42), он обучался в католической духовной школе; 17 лет бежал из дому; добыл документы на имя дворянина Выгодовского и поступил на службу в земский суд в г. Ровно. Позднее переехал в Житомир. По данным СК, принят в общество в 1825 г. «Знал цель оного — соединение всех славянских племен; дальнейшие же намерения и средства общества ему известны не были» («Алфавит», 59). Портрет его опубликован И. С. Зильберштейном (1950 г.).

В показаниях Выгодовский смело заявил: «Ежели природное российское дворянство волнуется противу правления, от веков свыше России данного, то я, яко поляк, безгрешно могу к тому принадлежать, тем более что сей случай может когда-либо привести в первобытное положение упадшую Польшу, которую любить я поставлял для себя ненарушимым долгом» (Нечкина, VIII, 94).

Осужденный в каторгу на 4 года, с постепенным смягчением наказания, Выгодовский не терял бодрости. Сообщая 18 июня 1827 г. Бенкендорфу о состоянии встреченных им в Тобольске «государственных преступников», Б. А. Куракин перечислил Выгодовского в ряду лиц, «кои находились в веселом виде» («Декабристы», VI, 117). Получив в 1835 г. 15 десятин земли, Выгодовский отказался от занятия хлебопашеством, сообщив Томской казенной палате, что «по местоположению почвы близ г. Нарыма, климату и свойству промышленности... от хлебопашества совершенно не возможно извлечь какой-либо пользы». Поэтому Выгодовский «не в состоянии заниматься сельским хозяйством» (Дм.-Мамонов, 113). Занимался Выгодовский на поселении главным образом изложением своих политических и философских размышлений, которые к моменту его вторичного ареста в 1854 г. составили собрание записей на 3588 листах. О содержании их — дальше. В письме к Выгодовскому от 12 июня (24 прериаля) 1825 г. Борисов заявляет, что ему «приятно сблизиться с человеком, умеющим ценить добродетель и чувствующим пользу, проистекающую от света и истины. Такому человеку, как вы, слова друга не покажутся пустыми комплиментами, следовательно, с вами я могу говорить всегда откровенно... Наш Катон жалуется на суетность мира, но что же делать? Должно себя ограничить малым числом друзей, коих расположение и участие стоят гораздо более, нежели все почести, оказываемые светскими невеждами таким людям, коих они не понимают... Мы будем усовершенствовать себя в священных правилах морали, морали не ложного, но истинного, которая считает первою обязанностью человека предпочитать всему в мире общественную пользу. Будем в тишине уединения искать святых истин. Просвещение есть надлежащее лекарство

против всех моральных зол. Невежество никогда никого не делало счастливым, а было всегда источником лютейших бедствий человеческого рода. Итак, любить добродетель и истину — вот наша обязанность». Подписано именем Протагора (480—411 до н. э.). В учении этого греческого философа-моралиста и скептика были элементы материализма. Катон этого письма — член Сл., секретарь его, Илья Иванович Иванов (1800—1838), сын почтальона, осужден в каторгу на 12 лет; умер на поселении в Сибири.

Второе письмо Борисова к Выгодовскому интересно именем третьего основателя их общества, Юлиана Казимировича Люблинского (1798—1873). Он был доставлен в 1823 г. из Варшавы в Новоград-Волынский за участие в польском революционном кружке и отдан под надзор полиции. Товарищи по ТО старались оградить его от преследования католических священников. «Слышал о намерении» ЮО «ввести конституцию». В Сл. «никого не приглашал... Борисов 2-й и Горбачевский присовокупили, что Люблинский, услышав о замыслах Муравьева и Бестужева-Рюмина, насмехался над теми, кто слушал Бестужева, и что он, Люблинский, не хотел иметь с ними никаких сношений» («Алфавит», 120). Старания товарищей выгородить Люблинского не избавили его от приговора к 5-летней каторге. В 1829 г. поселен в Тункинской крепости, Иркутской губ. Женился на местной уроженке. По амнистии выехал в 1857 г. с семьей в Россию. В письме от 11 июля (23 мессидора) 1825 г. Борисов приносит Выгодовскому «чувствительную благодарность за благородное рвение помочь бедному страдальцу» Люблинскому. Его преследовали католические священники за неисполнение церковных обрядов. «Я и вы согласны,— иронически пишет Борисов,— что это нехорошо, но надобно вникнуть хорошо в сущность поступков человека». К этому посланию Борисова приписка: «Просим о ходатайстве от суеверов за нашего Юлиана». Подписано именем Сципиона-старшего (235—183 до н. э.), римского полководца и выдающегося государственного деятеля. Это прозвище одного из самых замечательных членов кружка — Ивана Ивановича Горбачевского (1800—1869), подпоручика артиллерии. Он, по сведениям СК, «говорил в разное время с нижними чинами в возмутительном духе... угрожал тому из членов, кто подаст малейшее подозрение в отречении от общества... Говорил, что для установления конституции необходимо истребление всей августейшей фамилии» («Алфавит», 70). Присужден к отсечению головы, «помилован» Николаем с ссылкой навечно в каторгу. В 1839 г. вышел на поселение. После амнистии 1856 г. остался до конца жизни в Петровском Заводе, главным образом за недостатком средств на переезд в Россию. Его «Записки» имеют, по определению их редактора Б. Е. Сыроечковского, совершенно исключительную ценность для истории Сл. Это «не личные мемуары, а повествование, основанное на рассказах многочисленных участников описываемых событий и только отчасти на собственных воспоминаниях автора». Собранный и тщательно проверенный Горбачевским материал «связан в искусно построенный рассказ, с продуманным

до деталей планом и с определенным, проводимым через все изложение истолкованием излагаемых событий». Для выяснения политических и социальных взглядов Горбачевского как члена Сл., как представителя большинства этого общества, как автора истории Сл. интересно его письмо от 12 июня 1861 г. к М. А. Бестужеву. По поводу «Записок» И. И. Пущина о Пушкине он дает сжатую яркую характеристику умеренных членов СО: «Прочти со вниманием об их воспитании в лицее; разве на такой почве вырастают... республиканцы и патриоты? Такая ли наша жизнь в молодости была, как их? Терпели ли они те нужды, то унижение, те лишения, тот голод и холод, что мы терпели?... Ты скажешь, а Пущин Ив. Ив. разве худой человек? Я скорее скажу, чудо человек, что хочешь, так он хорош. Но я тебя теперь спрошу, республиканец ли он или нет? Заговорщик ли он или нет? Способен ли он кверху дном все переворотить? Нет и нет,— ему надобны революции, сделанные чтобы были на розовой воде. Они все хотели всё сделать переговорами, ожидая, чтобы сенат к ним вышел и, поклонившись, спросил: «Что вам угодно,— все к вашим услугам» («Записки», 360).

В ответ на письмо Борисова Выгодовский заявлял, что не понимает, как может «укрепитель духа других быть окружен в существенных обстоятельствах горестями» (о которых говорилось в письме от 12 июня). «В чьем сердце помещается храм добродетели, тот верно будет в нем находить подобную радость»,— старается Выгодовский в свою очередь укрепить дух руководителя их общества. «Сего-то счастья, сей дружественной любви, восхищающей и благородные и возвышенные чувства, я бы не согласился променять ни на мнимое горнее царство, ни на самый прелестями наполненный рай Магомета. Нам приятнее, ежели кто разделяет с нами наше удовольствие, либо когда удовлетворим чьей пользе, нежели когда мы сами только благополучием пользуемся. И это — не суетная мечта: кто мыслит истинно благородно, чье сердце безынтересно, кто не живет добродетельно для боязни Тартара, либо для получения неописанного счастия Элисейского края, а только совершает доброе единственно от того, что оно само по себе лучше зла, тот может увериться, что это не есть одна мечтательность».

В свете этих высказываний представляют интерес сибирские размышления Выгодовского на 3588 листах. Присланные после ареста автора в III отделение, эти рукописи затерялись. Но в деле Выгодовского сохранился составленный чиновником жандармского ведомства конспект с подлинными выдержками из произведений декабриста демократа и материалиста. «Одна необходимость... держит государей в России. Церковь и религия на откупу у самых злейших синодальных иуд-христопродавцев, всем священным в церквах промышляющих и во взяточничестве и хищничестве наравне с мирскими властями упражняющихся, не говоря уже о их мошеннических чудотворных иконах, древах, мощах, потому что здесь чисто безбожнейшее шарлатанство» (Л у р ь е, 90). Такими рассуждениями

наполнены почти все цитаты из рукописей Выгодовского (приводятся в сборнике «Декабристы» XI). За это старый декабрист был сослан в 1855 г. на поселение в Якутскую область под надзор полиции. Там находился под надзором еще в 1866 г., дальше след его теряется.

Что касается основателей Сл. братьев Борисовых, то в каторжной тюрьме они, по отзывам начальства, были «всегда печальны, тихи, молчаливы и с большим терпением» переносили «свое состояние» (Волконская, 146). В 1839 г. Борисовы вышли на поселение. Об этой поре жизни сохранились их письма к родным и друзьям (ГЦИА, ф. Якушкиных, № 279, оп. 1, документы № 207; РО, ф. Пущина, переплет М. 7581). В неизданном письме к И. И. Пущину за 1842 г. младший Борисов сообщает: «До сих пор я все еще бездомный *пролетер*, мое хозяйство впереди; однако же с переменою места поселения жизнь моя улучшилась; я начинаю дышать свободнее и хотя будущность остается попрежнему необеспеченною, по крайней мере есть надежда обеспечить ее и жить своими трудами, не будучи в тягость другим, а это одно из пламенных моих желаний... Брат здоров, спокоен, а мне только этого и надобно» (М. 7581, л. 45). Брат П. И. Борисова, Андрей Иванович, психически заболел в Сибири. «Мужество и труд — вот наш девиз»,— заявляет П. И. Борисов в письме к сестрам за 1839 г. В 1842 г. он с радостью сообщает за себя и брата: «Постоянные труды приносят нам столько, что мы живем сносно» (ф. 279, № 207, л. 24 и сл.; цитировано у Рындзюнского).

Среди различных рукописей П. И. Борисова, сохранившихся в семейном архиве Якушкиных, имеется его очерк-рецензия на книгу А. Дейхмана «Мысли об основании землеиспытательной науки» (СПб., 1829). Этот очерк свидетельствует о широте научных интересов Борисова, о большой его начитанности в литературе по естествознанию, о материалистических взглядах основателя Сл., стоявшего на уровне передовой науки того времени. «Изо всех предположений о происхождении земного шара и других небесных тел,— пишет Борисов,— самое вероятнейшее есть предположение, что вначале первоначальные атомы, составляющие нашу планету, были рассеяны в неизмеримом пространстве, что вследствие непременного закона природы они совершали поступательное и вращательное движение, что, приблизясь один к другому на такое расстояние, на котором обнаруживается влияние притягательной силы, они сцеплялись вместе и составляли известные сочетания. Это продолжалось до тех пор, пока однородные и разнородные атомы, имеющие между собою сходство, вошли в новые сочетания и образовали различные тела, которые также двигались и обращались вокруг самих себя и, наконец, встретившись вместе, по силе притяжения, составили какую-нибудь планету». Система Дейхмана кажется Борисову «весьма удовлетворительной» потому, что «она соглашает науки математические с естественными» (№ 207, 35 и сл.). Полностью очерк Борисова публикуется в сб. «Декабристы», XI.

Самое обстоятельное освещение деятельности Славян в исследовании М. В. Нечкиной (VIII).

К декабристам-материалистам, сохранившим после 1825 г. свои убеждения, пронесши их неизменными через все испытания Петропавловской крепости, каторжных тюрем и поселения в Сибири, принадлежит Александр Петрович Барятинский (1798—1844). Он воспитывался в пансионе, который содержали иезуиты в Петербурге, сдал экзамен в Педагогическом институте и поступил на службу переводчиком в Коллегию иностранных дел. В 1817 г. перешел в военную службу — в гвардейский гусарский полк. В 1820 г. переведен во 2-ю армию, в Тульчин, адъютантом к главнокомандующему П. Х. Витгенштейну. Здесь сблизился с Пестелем. «Был весьма коротко связан с Пестелем»,— показал о нем на следствии Н. В. Басаргин («Записки», 38). В 1821 г. Барятинский вступил в ЮО. На вопрос, что побудило его вступить в ТО, Барятинский ответил: «Молодость, идея о конституции и о свободе крестьян прельстили меня, и я себя почел обязанным взойти в общество, которое мне казалось стремящимся ко благу моего отечества» (Неизданное следственное дело Барятинского, ГЦИА, ф. 48, № 401). «Не только знал республиканскую цель оного с изведением государя... но одобрял решительный революционный способ действия... Начинал переводить «Русскую Правду» на французский язык... Поддерживал в членах дух общества и устроил коммуникацию между Тульчиным и Линцами, где жил Пестель... Его называют деятельнейшим членом, который был весьма силен по обществу... Осужден... в каторжную работу вечно» («Алфавит», 29). Об усиленной деятельности Барятинского по ТО свидетельствовал тридцать лет спустя С. Г. Волконский. Рассказывая о своем участии в ЮО, он написал: «Возобновил знакомство с князем Барятинским, человеком замечательным по теплоте чувств к делу... Я взошел в тесную связь со многими членами этого общества, между которыми замечательными лицами по сочувствию к общей отечественной пользе были... князь А. Барятинский» («Записки», 404 и сл.).

Барятинский был человек разносторонне образованный, серьезный математик, убежденный философ-материалист. По словам мемуариста, знавшего Барятинского в Сибири, он был «обогащен величайшим знанием древних и новых языков, предан ученым занятиям» (Погоржанский, 472). К тому же обладал поэтическим дарованием. За год до восстания декабристов была издана в Москве книжка стихов «лейтенанта гвардейских гусаров князя А. Барятинского» под названием «Несколько часов досуга в Тульчине». Экземпляр этой книжки, изданной в небольшом количестве и составляющей теперь библиографическую редкость,— в Библиотеке имени В. И. Ленина в Москве. На нем — авторские записи и поправки. Стихи Барятинский писал по-французски. В книжке 14 произведений, выявляющих не только стихотворное искусство Барятинского, но — что гораздо важнее — его широкую образованность, превосходное знание языка и литературы древних римлян, новой русской и французской литературы (М о д з а л е в с к и й, V. 9).

При аресте Барятинского были забраны его бумаги, которые так охарактеризованы П. Д. Киселевым и А. И. Чернышевым: «Из пересмотренных бумаг замечено нами... Штаб-ротмистра князя Барятинского стихи, вчерне рукою его написанные, обнаруживают вольнодумческий образ мыслей его насчет религии, а двусмысленность подчеркнутых речей внушает некоторое подозрение... Доносимое Майбородою злоумышление подтверждается... в особенности тем подозрением, которое внушают замеченные нами бумаги... князя Барятинского» (ВД, IV, 41 и сл.).

Среди «вольнодумческих» стихотворений Барятинского — большая «своеобразная атеистическая поэма, имеющая философский характер»,— заявляет М. В. Нечкина, подготовившая к печати ее стихотворный перевод (Л о р е р, 407). До последнего времени в печати был известен следующий прозаический перевод отрывка из этой поэмы: «Восседающий на молниях, исполненный гнева, этот бог вдыхает испарения дымящейся повсюду крови. Да, у всех народов, во все времена, всегда лилась кровь во имя твое, страшное всем. Ты дал им это всеобщее стремление, ты сам пил без конца беспощадно кровь жертв... Когда темная ночь распространяет свои широкие завесы, читаю я твое величие на челе звезд. Но крик птички, попавшей в острые когти кошки, внезапно отталкивает от тебя мое упавшее сердце. Вопреки всему величию твоего творения, жестокость инстинкта кошки, отрицая благость твою, отрицает твое существование. Разобьем же алтарь, которого он не заслужил. Он бог, но не всемогущ, или всемогущ, но не благ. Вникните в природу, вопросите историю, вы поймете тогда, наконец, при виде зла, покрывающего весь мир, что для собственной славы бога, если бы он даже существовал, надо было бы его отвергнуть» (П а в л о в-С и л ь в а н с к и й, II, 103; Р о з а н о в, II). Конечно, стихотворение не могло быть включено автором в сборник 1824 г. по цензурным причинам. Неотделанные черновые наброски французского подлинника в ЦГИА (ф. 1123, оп. I, № 474, л. 16 и сл.). Самая острая в идеологическом отношении часть этой атеистической поэмы опубликована в 1950 г. в стихотворном переводе Б. В. Томашевского (М е й л а х, V, 648 и сл.).

Другое стихотворение Барятинского до-сибирского периода не включено в тот сборник, потому, что написано в Петропавловской крепости. М. В. Нечкина опубликовала его в своем стихотворном переводе при редактированных ею «Записках» Лорера (стр. 119 и сл.).

Ценное наследие Барятинского в области его материалистических воззрений заключается также в его философских записках, сохранившихся в ГЦИА (д. № 474, тетради 1 и 2, л. 1—32). Здесь несколько выдержек из них: «Если бы просвещение (по части общественной науки) было распространено как можно более, то народы произвели бы средства (изобретенные умом человеческим) в действо, несмотря на государей и вельмож, коих выгоды заставляют как можно сему препятствовать...» (тетрадь 1, л. 1). «Человек добродетельный есть тот, который имеет наклонность к добру; но наклонность есть не что иное как привычка, в нас укоренившаяся; привычки же приобретаются повторением одних и

тех же действий. Следов[ательно], человек добродетельный есть тот, который привык делать добро...» (I, л. 4). «Первое благо, нам принадлежащее, от которого происходят все прочие блага, есть *свобода*... Свобода заключает в себе все наши прочие блага, потому что она есть средство к избавлению нас от всех бед, к исполнению всех желаний, к удовлетворению всех нужд. Свобода и наше благополучие суть одно и то же, ибо мы счастливы, когда можем исполнять все наши желания... Мы, конечно, не знали б зла, если бы всегда, когда пожелали избавиться оного, могли бы исполнить сие желание» (II, л. 32).

В Петровском каземате Барятинский был самым ярым противником упоминаемой И. Д. Якушкиным «конгрегации». В Сибири он не терял бодрости и даже веселости. Продолжал писать «вольнодумческие стихи». М. Бестужев сообщает в «Записках», что Барятинский написал «Плоды тюремной хандры» (стр. 322), не дошедшие до нас. Было еще в это время какое-то философское сочинение Барятинского на французском языке. Оно было написано в материалистическом духе и направлено против тех декабристов, которые составляли так называемую «религиозную конгрегацию», устраивали моления и тому подобные обрядности (Головачев, 11). О пропаганде Барятинским в Петровской каторжной тюрьме материализма упоминает Завалишин (стр. 347).

В 1839 г. Барятинский был выпущен на поселение. Здесь продолжал заниматься математикой, изучал греческий язык. Жил в крайней бедности, тяжело болел и умер на больничной койке.

К странице 113

1 О тюремном быте декабристов в Сибири рассказывает Н. В. Басаргин («Записки», 122 и сл.). Он приводит также устав Большой артели, в котором объяснены «подробно как цель, так и весь механизм этого вполне оправдавшего себя учреждения... Женатые не пользовались ничем из артели, подписывая между тем значительные ежегодные взносы: Трубецкой от 2 до 3 т. ассиг., Волконский до 2 т., Муравьев от 2 до 3 т., Ивашев до 1000, Нарышкин и Фон-Визин тоже до 1000 рублей. Те из холостых, которым присылали более 500 р. в год, вносили в полтора раза или вдвое противу получаемого ими из артели, кто 800, а кто и 1000. Остальные, по уставу, отдавали все присылаемые им деньги, так что не было ни одного года, в который бы не доставалось каждому члену артели пятисот рублей ассигнациями. Из экономической суммы и из сумм маленькой артели отъезжающие на поселение получали временное пособие от 600 до 800 на каждого человека». В уставе имеются такие разделы: Цель учреждения артели. Средства к учреждению (подписка на взносы, жалованье от казны...). Назначение сумм (хозяйственная — на продовольствие всех, частная — на удовлетворение потребностей отдельных лиц...). Управление суммами (выборные комиссии) и т. п. (стр. 138—156). «Это благодетельное учреждение,— пишет Басаргин,— избавляло

каждого от неприятного положения зависеть от кого-либо в отношении вещественном и обеспечивало все его надобности. Вместе с тем оно нравственно уравнивало тех, которые имели средства, с теми, которые вовсе не имели их, и не допускало последних смотреть на товарищей своих как на людей, пользующихся в сравнении с ними бо́льшими материальными удобствами и преимуществами. Одним словом, оно ставило каждого на свое место, предупреждая, с одной стороны, тягостные лишения и недостатки, а с другой — беспрестанное опасение оскорбить товарища своего не всегда уместным и своевременным предложением помощи» (стр. 156). Ср. у Завалишина (стр. 341 и сл.).

Кроме Большой артели была учреждена Малая для помощи отъезжающим на поселение. Средства Малой артели составлялись из добровольных пожертвований. Делами этой артели, существовавшей и после 1856 г., заведывал И. И. Пущин, который в связи с этим вел обширную переписку с декабристами и членами их семейств. Из сумм Малой артели выдавались пособия вдовам и сиротам декабристов. Много писем, связанных с деятельностью артелей,— в собраниях Пущина (РО и ЦГЛА, ф. 586, № 2).

[2] «Наши дамы» — жены декабристов, постепенно приезжавшие к мужьям в Читу и Петровский Завод: П. Е. Анненкова, М. Н. Волконская, А. И. Давыдова, А. В. Ентальцева, К. П. Ивашева, А. Г. Муравьева, Е. П. Нарышкина, А. В. Розен, Е. И. Трубецкая, Н. Д. Фонвизина, М. К. Юшневская. После выхода декабристов на поселение приехали мать и сестра К. П. Торсона: Шарлотта Карловна и Екатерина Петровна, сестры М. А. и Н. А. Бестужевых: Елена, Мария и Ольга Александровны. Просились в Сибирь к родным многие другие жены, матери и сестры декабристов, но получили отказ. В их числе сестра А. П. и П. П. Беляевых — Елизавета Петровна, жена А. Ф. Бриггена — Мария Алексеевна, жена А. З. Муравьева — Вера Алексеевна, жена Ф. П. Шаховского — Наталия Дмитриевна. Хотела разделить участь П. А. Муханова его невеста Варвара Михайловна Шаховская (см. стр. 584). Литература о женах декабристов — основная у Н. М. Ченцова (№ 855 и сл.); статьи о них, их воспоминания и воспоминания декабристов о них — в извлечениях в сборнике В. И. Покровского. Отдельно изданы воспоминания и записки П. Е. Анненковой, М. Н. Волконской, опубликованы письма многих жен. До разрешения ссыльным декабристам переписки с родными жены, находившиеся в Чите и Петровском Заводе, писали за них под их диктовку.

К странице 114

[1] В рукописи еще: «на пути они претерпели много нужды и много неприятностей от офицеров, провожавших партию. В Чите приняли их, как товарищей» (зачеркнуто).

[2] Константин Густавович Игельстром (1799—1851), офицер Литовского пионерного батальона. Александр Иванович Вегелин (? — 1860), двоюродный брат

первого, офицер того же батальона, в 1820 г.— подпоручик. Михаил Иванович Рукевич, шляхтич; его сестры: Корнелия, невеста Игельстрома, Ксаверия, невеста Вегелина.

Игельстром, Вегелин и Рукевич были членами Общества военных друзей. Об этой организации — статья А. А. Сиверса, основанная на деле III отделения (I экспедиция 1827 г., № 136; теперь — ГЦИА, ф. декабристов). Во вступительной заметке к документам по делу Общества военных друзей А. А. Сиверс сообщает: «Предпринятая Игельстромом и Вегелином попытка использовать присягу императору Николаю I для возмущения войск Литовского корпуса при помощи тех самых приемов, которые пущены были в ход при возмущении 14 декабря, и тех же самых посулов, что император Константин Павлович убавит срок военной службы и увеличит получаемое нижними чинами жалованье, указывают несомненно, что эти лица находились в сношении с членами Северного тайного общества. С другой стороны, отмеченные в переговорах Сергея Муравьева-Апостола и Бестужева-Рюмина с представителями польских патриотических обществ беспокойство и опасение, какое положение займут войска Литовского корпуса при возникновении революции, делают весьма вероятным, что со стороны Южного общества были приняты меры к пропаганде в среде Литовского корпуса. Эти соображения и, наконец, то обстоятельство, что сосланные в каторгу Игельстром, Вегелин и Рукевич были впоследствии доставлены в Читу и содержались вместе с декабристами, приводит к убеждению, что Тайное общество военных друзей и предпринятая им попытка возмущения Литовского пионерного батальона представляют собой одно из проявлений того же общественнного движения, которое вылилось в возмущение 14 декабря в Петербурге и в бунт Черниговского полка в Киевской губернии» (III, 240).

Дело началось арестом 27 декабря 1825 г. и позднее Игельстрома, Вегелина и некоторых других офицеров различных частей Литовского корпуса. В докладе Аудиториатского департамента сообщается: «Капитан Игельстром имел в команде своей Литовского пионерного батальона 1-ю пионерную роту, но когда за найденные в оной неисправности в августе месяце 1825 г. было отказано ему от командования сею ротою, то он, донеся начальству о болезни своей, находился [в] Белостокской области, в деревне Филиппах, в квартире поручика Вегелина, а 22 декабря того года, отлучась без позволения начальства в Белосток, явился к начальнику штаба отдельного Литовского корпуса генерал-майору Вельяминову 2-му; в сие время был получен манифест о вступлении на престол вашего императорского величества, почему генерал-майор Вельяминов того же дня по утру в 11 часов отправил Игельстрома из Белостока в местечко Брянск к командиру пионерного баталиона подполковнику Обручеву с конвертом, в коем были предписания от генерала Бовре о приведении того баталиона на верное подданство вашему величеству к присяге и о возвращении Игельстрому попрежнему в командование 1-й пионерной роты».

Игельстром принял роту. 24 декабря командир батальона стал приводить солдат к присяге Николаю. Из их рядов раздались крики: «Ура государю цесаревичу Константину Павловичу». Командир захотел объяснить солдатам историю с занятием престола Николаем, но Игельстром «объявил ему, что люди все знают, что было читано, но желают иметь яснейшие доказательства в истине ими слышанного». После этого солдаты всех рот стали самовольно выходить из строя. Произвели расследование. Выяснилось, что Вегелин уговаривал солдат присягать Константину, говорил им: «быть может, хотят и несправедливо дать присягу» его младшему брату. Игельстром еще 23 декабря уговаривал солдат присягать Николаю.

Затем выяснилось, что оба они и другие офицеры принадлежали к Обществу военных друзей, учрежденному в 1825 г. и «цель коего была якобы просвещение и взаимная помощь». Упомянутая выше болезнь Игельстрома — «умышленная», отпуск использовался им для «возмущения» офицеров и солдат корпуса. При этом говорилось о двух партиях в Петербурге. Рукевича обвиняли в том, что он уговорил Игельстрома и других завести в войсках тайные общества, «содействуя им своими советами, не принадлежа к оным лично, управлял ими»; в декабре 1825 г. убеждал не присягать Николаю. «Подозрительные собрания» происходили в разных местах еще 19 декабря.

В результате следствия военный суд приговорил: Игельстрома и Вегелина «повесить», Рукевича (он не был военным) «казнить смертию». Приговор отправили Константину, который решил, что первых двух следует сослать в каторгу на 20 лет и оставить в Сибири на поселение, Рукевича — в каторгу на 15 лет и оставить на поселении. Кроме того, в соответствии с материалами дела, Константин предлагал: «сестер Рукевича Ксаверию и Корнелию, из коих первая скрыла бумаги Игельстрома и потом, как сама созналась, оные сожгла, делая перед судом разнообразные и ложные показания; а последняя тоже виновна в ложных перед судом показаниях, поелику поступки их суть, по законам, разрушающие дворянское достоинство, лишив оного, сослать в Сибирь на поселение». Николай приказал: Игельстрома, Вегелина и Рукевича — в каторгу на 10 лет и поселение, сестер Рукевича — в монастырь: Ксаверию на год, Корнелию на 6 месяцев. Другим участникам общества — разные наказания (С и в е р с, III, 241 и сл.; ср. «Алфавит», 233 и сл.).

Вегелин, Игельстром и Рукевич вышли на поселение в 1832 г. Первый был отправлен в 1837 г. рядовым на Кавказ, второй — туда же в 1836 г.

[3] Иван Иванович Сухинов (1795 или 1797—1828), поручик гусарского полка; член Сл.; участвовал в восстании Черниговского полка; после разгрома его скрылся; арестован 15 февраля 1826 г. в Кишиневе; осужден на каторгу вечно. В Зерентуйском руднике участвовал в возмущении каторжан и ссыльных; приговорен к расстрелу; повесился до прихода за ним конвойных (об этом у Нечкиной, X; там же — библиография; см. также ВД, V, по указателю).

К странице 115

[1] Такую попытку делал В. П. Ивашев. В 1831 г. он хотел бежать при помощи некоторых уголовных каторжан из тюрьмы Петровского Завода. От этого намерения Ивашев отказался в связи с приездом к нему К. П. Ледантю, ставшей его женой (Басаргин, 124 и сл.; ср. Буланова, 126 и сл.). См. очерк И. Д. Якушкина об Ивашевой (стр. 172 и сл.).

К странице 116

[1] Вопрос о поездке А. В. Якушкиной в Сибирь продолжал занимать ее семью. Больше всего об этом заботилась ее мать Н. Н. Шереметева. Едва только декабристы прибыли в сентябре 1830 г. в Петровское, Якушкину пришлось просить тещу оставить мысль о соединении его с женой (см. письмо от 28 сентября 1830 г.). Но хлопоты в Петербурге продолжались. В ход были пущены все связи. Результат был отрицательный. В этом играли роль какие-то закулисные влияния.

Можно полагать, что по настоянию своей матери А. В. Якушкина соглашалась уже ехать к мужу без детей. Дело представлено было царю в докладе III отделения, главным начальником которого был А. Х. Бенкендорф: «Жена государственного преступника Якушкина в 1829 г. просила о дозволении ехать с детьми в Сибирь к мужу, и ей объявлен был высочайший отзыв, что желание ее может быть исполнено, но что в месте пребывания ее мужа она не найдет никаких способов к воспитанию детей и, взяв их с собой, она положит не малую преграду к устройству будущего их состояния, а потому она до́лжна предварительно обдумать все последствия своего предприятия, дабы избегнуть позднего и бесполезного раскаяния. В 1832 г. Якушкина, намереваясь одна, без детей, отправиться к мужу, просила доставить ей нужные для проезда бумаги. По собранным частным сведениям оказалось, что Якушкина неискренно желает ехать в Сибирь, а принуждает ее к тому ее мать, женщина странная. Она выдала ее замуж за Якушкина; на эту поездку заставила занять 20 т. руб. сына своего Шереметева, который и без того много должен. Если можно воспрепятствовать этой поездке, то оказана будет милость всему семейству». 3 апреля 1832 г. на этом докладе была положена следующая резолюция: *«Отклонить под благовидным предлогом!»* (Щеголев, II, 195). Слова: «не искренно» подчеркнуты мною. Верить заявлению Бенкендорфа о неискренности А. В. Якушкиной нельзя. Но ее внук, Е. Е. Якушкин, в своих комментариях к соответственному месту «Записок» его деда, недаром писал, что попытка Анастасии Васильевны «уехать к мужу в Сибирь, имела длинную и не совсем ясную историю» («Записки», 180; подчеркнуто мною). Повидимому, эту неясность Е. Е. Якушкин усматривал в приведенном докладе III отделения Николаю, хотя он про этот доклад не упоминает.

Несмотря на новый и как будто окончательный отказ, хлопоты продолжались. Судя по ходу дела,— по инициативе Н. Н. Шереметевой — в деле принимали участие ее друзья. Вскоре после отказа «под благовидным предлогом» в семье Якушкиных было получено обширное письмо Ивана Дмитриевича от 13 марта 1832 г. на имя Н. Н. Шереметевой. В начале письма — пространное рассуждение о том, как он страдает от разлуки с женой и детьми. Высказывается предположение, что жена, может быть, уже уехала из России, говорится о неполноте и неясности получаемых И. Д. Якушкиным от жены сообщений о детях. Упоминаются много раз имена приехавших в Сибирь жен декабристов. И вслед за этим высказывается надежда, что, «поместив детей» в пансион, «Настенька, вероятно, сюда приедет». И тут же — уверение: «Ей здесь будет, по-моему, недурно» (см. стр. 254 и сл.).

Только с этим уверением можно связать факт, что в июне 1832 г. родственница В. А. Жуковского, известная в истории русского общества первой половины XIX в. А. П. Елагина, переслала ему просьбу А. В. Якушкиной на имя В. Ф. Адлерберга о разрешении поехать к мужу. Теперь А. В. Якушкина снова заявляла, что согласна ехать без детей. К своему письму Елагина прибавила: «Дети помещены очень хорошо, и она не с ними». Жуковский ответил Елагиной 15 июня: «Письмо Якушкиной передано мною Адлербергу. Он сказал, что не может ничего на оное отвечать, ибо ответ дан уже Бенкендорфом» («Уткинский сборник», 55).

Действительно, как уже сообщено выше, А. В. Якушкина получила от Бенкендорфа ответ от 27 ноября 1832 г., из которого Е. Е. Якушкин привел одну фразу. Н. Ф. Дубровин дал более пространную выдержку из письма начальника жандармов: «Государь император, по всеподданнейшему моему докладу о желании вашем отправиться в Сибирь к вашему мужу, высочайше повелеть мне соизволил уведомить вас, что сначала дозволено было всем женам государственных преступников следовать в Сибирь за своими мужьями; но как сим дозволением вы в свое время не воспользовались, то и не можете ныне оного получить, ибо вы нужны теперь для ваших детей и должны для них пожертвовать желанием видеться с вашим мужем» (Д у б р о в и н, II, 46). Имеется еще одна редакция этого ответа, выявляющая фарисейство Николая I в его отношении к семьям декабристов. «Его величество,— писал Бенкендорф,— повелел изъявить вам свое удовольствие за намерение ваше посвятить себя воспитанию двух ваших сыновей, быв удостоверен, что ныне в нежном возрасте они нигде не могут найти того попечения, а впоследствии того образования, какое обретут под собственным и непосредственным надзором вашим. Что же принадлежит до изъявленного вами желания ехать к мужу своему в Сибирь, то на сие его величество решительно отозваться изволил, что сие вам разрешено быть не может» (С е р б о в, 122). Не помогли также неоднократные личные поездки Н. Н. Шереметевой в Петербург.

В одном из тогдашних писем к мужу (ЦГЛА, ф. 586, № 6) А. В. Якушкина сообщает: «Иду в церковь молить бога, чтоб смягчил твое сердце и чтобы пожелал видеть возле себя твою подругу». Всех ее писем (в копиях) за 1827—1834 гг. в указанном собрании 81. В них — обычные сообщения о здоровье членов семьи, о встречах с родственниками, пожелания мужу здоровья и т. п. Большинство — из Покровского и из Москвы. В декабре 1832 г. А. В. Якушкина писала из Петербурга, где она была, повидимому, в связи с хлопотами о разрешении ей поехать в Сибирь. В письме это не отражено.

В. А. Жуковский не забывал И. Д. Якушкина. В 1844 г. поэт «с умилением» читал письма Якушкина к родным из Ялуторовска («Письма к А. И. Тургеневу», М., 1895, стр. 299). В письме от 1 (13) июня 1846 г. к помощнику Бенкендорфа по управлению III отделением Л. В. Дубельту, в связи с переводом А. Ф. Бриггеном «Записок Цезаря», поэт сообщал: «Между остальными из находящихся в ссылке я позволю себе особенно обратить ваше внимание на Якушкина (он должен быть в Ялуторовске); я читал (когда находился в Москве) его письма к детям, писанные во время ссылки, и что чтение произвело во мне какое-то благоговейное умиление перед несчастием, отдающимся в волю божию с полной покорностью» (Дубровин, II, 117).

К странице 118

[1] По официальным сведениям Лунин значится прибывшим на каторгу 11 апреля 1828 г. («Алфавит», 347).

[2] Младший брат декабриста Д. И. Завалишина Ипполит за два года до восстания 14 декабря, 16-летним юнкером петербургского артиллерийского училища, совершил, по словам его родного брата, такой гадкий поступок относительно одного из своих товарищей, что его чуть было не выгнали из училища с позором. Поступок этот связан с какой-то грязной денежной историей, которую Дмитрию Завалишину удалось замять только внесением крупной суммы в возмещение убытков потерпевшего. Дальнейшая деятельность молодого юнкера развертывалась в том же направлении. Пробравшись 22 июня 1826 г. на Елагин остров, где жил тогда Николай I, Ипполит Завалишин лично подал ему донос на своего родного брата Дмитрия. Стараясь доказать, что последний является одним из самых гнусных злоумышленников против государства, Ипполит Завалишин пишет в своем «всеподданнейшем донесении»: «Движимый усердием к особе и престолу вашего императорского величества и ныне имея случай открыть уже тайну, долго тлевшую под скопищем различных непредвиденных обстоятельств, спешу очистить сердце, горящее любовью к отечеству и царю справедливому, от ига, его доселе угнетавшего». И обвиняет брата своего Дмитрия в государственной измене, в шпионаже, в предательстве на сторону иностранных держав. Попутно он обвинял в неблагонадежности еще четырех друзей брата и родственни-

ков и просил царя «позволить ему съездить на время в Казань и в Симбирск, дабы по связям родства, между ними существующим, узнать их намерения и тем доказать его величеству преданность и усердие».

Николай принял донос, передал его своим генералам для расследования, а юнкера велел содержать под самым строгим секретным караулом. Через несколько дней Завалишин подал на имя царя второй донос, подтверждая прежние обвинения против брата и называя ряд других «злоумышленников» против государя, в том числе несколько своих родственников, многих офицеров гвардии, одного казанского профессора и двух испанских граждан, проживавших в Петербурге. За свои доносы, доказывающие его преданность и любовь к отечеству, Ипполит Завалишин просил приблизить его к императору и дать ему флигель-адъютантское звание, обещая еще послужить престолу в том же направлении. На очной ставке с братом Ипполит подтвердил все свои обвинения, добавив, что видел у брата мешки с английскими золотыми и немецкими серебряными монетами на сумму около 10 тысяч рублей, очевидно полученными Дмитрием за шпионство в пользу иностранных держав.

Д. И. Завалишин опровергал эти обвинения; о монетах объяснил, что у него не было английских, а было «около 150 червонцев, 50 или 60 испанских пиастров и несколько голландских ефимков, коими все на фрегате получали жалованье, в том числе и он, до 7-ми тыс., из которых и осталась у него означенная сумма». Производившие следствие по доносам Ипполита Завалишина генералы признали наветы его несостоятельными. Царь велел разжаловать доносчика в рядовые, и в сентябре 1826 г. он был отправлен на службу в Оренбург. Тамошняя военная молодежь сочувствовала декабристам. Прибывший в Оренбург Ипполит, успевший в попутных городах проделать несколько мошенничеств, стал вести среди офицеров и солдат провокаторские разговоры о необходимости положить конец своеволию начальства. Уверяя, что он член ТО декабристов, заявлял: «Что нами посеяно, то и вырастет, хотя бы и дождя не было».

Таким образом, И. Завалишину удалось учредить Оренбургское тайное общество. Собрав всякими ухищрениями подписи участников, он представил начальству список заговорщиков. В их числе были названные в «Записках» И. Д. Якушкина. Вся эта молодежь была предана военному суду, на котором обнаружилась провокация разоблачителя. Суд приговорил четырех прапорщиков, одного хорунжего, одного унтер-офицера, в их числе Ипполита Завалишина, к смертной казни. Генерал Эссен, в порядке конфирмации, осудил провокатора на вечную каторгу, других — на разные сроки. Николай сбавил наказание всем, кроме И. Завалишина. По пути в Сибирь осужденные молодые люди были печальны. «Один бесчувственный предатель наш,— рассказывает В. П. Колесников,— насвистывал арии, довольно несносно для слуха, и этим медленно тиранил нас». Кроме насвистывания, он проявил себя новым доносом, писал Николаю, что генерал Эссен помешал ему раскрыть оренбургский заговор полностью и теперь семена зла остались.

Николай не поддался на провокацию, оставил донос без последствий; Эссена наградил графским титулом и перевел генерал-губернатором в Петербург.

По просьбе Д. Завалишина, читинские узники согласились допустить Ипполита в их тюрьму в надежде, что он среди них исправится. С декабристами он был переведен в Петровский Завод, но в 1842 г. его пришлось удалить оттуда. На поселении в Сибири И. Завалишин вел себя так, что его несколько раз сажали в тюрьму, а один раз даже высекли розгами. В апреле 1855 г. его снова предали суду за ябедничество и кражу. Манифест 1856 г. освободил его.

Ипполит Завалишин дожил до глубокой старости. Он был плодовитым писателем-обличителем с уклоном в доносительство. Книги, его, преимущественно исторические, печатались в 60-х годах, в годы наибольшей свободы русской печати при царизме, но тон их — угоднический, лакейский, с неумеренной похвалой великому милосердию царя и его жандармских генералов (Д. И. Завалишин, 251 и сл.; Колесников — по указателю; сводка всех данных — Штрайх, VI).

К странице 119

[1] В таком же виде передают это, более подробно — П. Е. Анненкова (182 и сл.), сжато — Н. В. Басаргин (129 и сл.).

К странице 120

[1] Михаил Карлович Кюхельбекер (1799—1859); лейтенант Гвардейского морского экипажа, младший брат поэта-декабриста В. Кюхельбекера (1797—1846). Был на Сенатской площади во главе своей роты; осуждён в каторгу на 8 лет; в 1831 г. вышел на поселение; после амнистии остался в Сибири. Хозяин артели — П. С. Бобрищев-Пушкин.

[2] Лопоть — верхняя простая, рабочая, одежда (В. И. Даль).

[3] В издании 1905 г. Е. И. Якушкин исправил это слово и написал: «себя».

К странице 121

[1] Выше сообщалось, что самозванец Медокс избрал В. М. Шаховскую одной из жертв своей провокации среди декабристов в Сибири. История с ящиком была использована Медоксом очень широко. В его дневнике под 27 января 1831 г. в Иркутске записано: «Варинька породила во мне неизъяснимое любопытство, поручив достать от Дружинина как некую драгоценность дрянный, никуда негодный ящичишко, оклееный дабою и из Читы привезенный».

В Иркутске Медокс втерся в дом А. Н. Муравьева в качестве учителя его детей и разыгрывал роль ссыльного, но умеренного по своим политическим взглядам. Для своих провокаторских целей он притворялся влюбленным в В. М. Шаховскую и делал соответственные лживые записи в своем дневнике, листки которого «забывал» в доме Муравьева. Разыскав Дружинина, он добыл ящик, упо-

минаемый в комментируемом здесь тексте. Под 17 февраля Медокс записал в дневнике: «В продолжение урока Варинька мало сидела с нами. По известию от Дружинина, я уведомил ее, что ящик цел и что он, уже зашитый в холст, скоро получится. Приметно изменившись в лице, засыпала воспросами: когда? сегодня ли? завтра ли? кто привезет? и т. п. Потом посыпались просьбы: прислать тотчас по получении, хоть в 9, хоть в 10 часов вечера, прислать не читая, а наконец — и не раскрывая. Я, варварски радуясь, отвечал двусмысленно; да и как не радоваться письмам, за прочтение коих готов откусить себе палец... Подошла: Роман Михайлович! могу ли надеяться? Я едва лишь взглянул на нее, как роковое *можете* само вырвалось... Я вне себя при одной мысли, что через мои руки пройдет муханово письмо к Вариньке. Что же будет тогда, как я его получу и как прочесть его будет в моей власти?

18-го февраля. Боже! какая ужасная страсть! И я плачу!... Влюбившись, мучиться, чтоб, пресмыкаясь средь долу во прахе, не сметь сказать: люблю, не сметь поцеловать руки. Ах! где гордые мечты мои? Ящик получен; взглянув на него, я задрожал, почувствовал щемоту сердца, обернувшись к зеркалу, увидел себя бледным, как бумага, и отер холодный пот. Нет, подобные ощущения не могут быть напрасны; в этом ящике мой смертный приговор, счастие Муханова. Чтоб угостить крестьянина, привезшего ящик, я велел поставить самовар, попросил его меж тем отдохнуть в прихожей; а сам, легши на диван и поставив пред собою ящик, колебался прочесть письмо, чтоб узнать, жить ли мне, или умереть; но она просила не открывать, возможно ли же открыть? неужели варинькины просьбы не священны для меня? Клянусь, священны и век пребудут священными. Напоив мужичка чаем, сам выпил две рюмки мадеры, чтоб быть повеселее, и отправился; доставил ящик, как получил, зашитый в холст».

Это записано для прочтения В. М. Шаховской. На самом деле Медокс вскрыл ящик, нашел в двойном дне «несколько больших кувертов», прочитал все письма и вложил их обратно. Письма декабристов к их родным были самого невинного содержания в политическом отношении. Пересылались они тайно только из желания сосланных декабристов сообщить родным о своей жизни в тюрьме подробности, которые не пропускались жандармским управлением, просматривавшим всю официальную переписку государственных преступников. На фоне фактических сообщений декабристов своим родным Медокс разрисовал в своем очередном доносе А. Х. Бенкендорфу узоры выдуманного им нового «заговора».

Центр выдуманного Медоксом нового заговора находился якобы в Москве в доме Е. Ф. Муравьевой, матери декабристов А. М. и Н. М. Муравьевых. А заключенные в Сибири декабристы сносились с центром при посредстве В. М. Шаховской, пересылавшей их письма по оказии, в данном случае — в ящике с табаком. Нанизывая в доносе фамилию за фамилией, указывая, что сибирский центр сношений по новому заговору — в доме иркутского городничего А. Н. Муравьева, Медокс заявляет, что сам Муравьев хорошо знал об этих

сношениях, делая это, однако, под видом старания выгородить его: «Муравьев по сему предмету иногда ссорился с княжною... Варваре Шаховской... я не мог сообщить своего открытия в ящике с табаком, ибо тогда наша дружба лишь начиналась, следующие же розыски в посылках делались, так сказать, непозволительным против нее образом».

В своих доносах Медокс сообщал сведения о сибирских купцах, сочувствовавших декабристам, пересылавших их родным невинные в политическом отношении письма осужденных членов ТО, доставлявших им деньги от родных, выписывавших ради них много отечественных и зарубежных книг, газет и журналов. В доносе Медокса — сведения, любопытные для характеристики тогдашнего сибирского общества: «Верхнеудинский купеческий сын 1-й гильдии Григорий Шевелев, 28 лет от роду, умный, малосведущий, очень щедрый и слишком предприимчивый. Ныне по нескольким подрядам вдруг он оказался несостоятельным, и имущество его описано. Как посредник сношений с государственными преступниками, он верно ничем не пользовался; напротив, своим жертвовал, обманываясь софизмами модной политики. Дом Шевелева был один из лучших в Верхнеудинске. Мичурина я видывал лишь мельком и знаю более по слуху. Он купеческий сын 3-й гильдии, очень молод, лет 23-х. Никогда не имев собственного достатка, торговал на кредит и теперь совершенно банкрут, тысяч на 80. Его лавка в Петровском Заводе запечатана, посредником он никогда не был, а пересылал письма из мздояния. Юшневская сказывала мне, что первый год в Чите он брал по 1000 руб. за письмо; а от Шевелева я слышал, что жандармский полковник Кельчевский по каким-то подозрениям требовал к себе сего Мичурина». «Они все хорошо знают свой урок»,— заканчивает эту часть доноса Медокс, желая показать, что нельзя доверять показаниям Мичурина, ибо Кельчевский не сумеет добыть от него точных сведений.

Провокация Медокса причинила декабристам, их родным и друзьям много страданий, осложнила их сибирскую жизнь, затруднила их сношения с Россией помимо жандармов. Имела, конечно, его провокация влияние на отрицательный исход дела о женитьбе П. А. Муханова на В. М. Шаховской. Но для самого Медокса его затея закончилась печально. Несколько лет морочил он Николая и Бенкендорфа и снова угодил в крепость. В первый раз посадил его туда «на всю жизнь» Александр I за мошеннические проделки на Кавказе в 1812 г., где он под видом адъютанта министра полиции собирал у легкомысленных и трусливых царских администраторов деньги на устройство ополчения для борьбы с Наполеоном. В 1834 г. посадил Медокса в крепость «на всю жизнь» Николай, когда сообразил, что тот без основания пугал его новым заговором декабристов. За два месяца до амнистии декабристов Александр II выпустил Медокса из крепости, и одряхлевший авантюрист поехал к брату заканчивать свою нелепую жизнь под надзором полиции. 22 декабря 1859 г. Роман Медокс, как сообщено было в Третье отделение, умер в родовом селе Притыкине, Каширского уезда, от дву-

кратного апоплексического удара (Штрайх о Медоксе, изд. 1930 г., стр. 72 и сл., 76 и сл., 130 и сл., 222).

К странице 123

[1] «Я, Вольф и Якушкин прошли всю дорогу пешком и никогда не садились в повозки, даже для краткого отдохновения» (Завалишин, 297).

[2] «Наше шествие... открывалось почти всегда Завалишиным в круглой шляпе с величайшими полями и в каком-то платье черного цвета своего собственного изобретения, похожем на квакерский кафтан. Будучи маленького роста, он держал в одной руке палку гораздо выше себя, а в другой книгу, которую читал. За ним Якушкин в курточке à l'enfant [по-детски]; Волконский в женской кацавейке; некоторые в долгополых пономарских сюртуках, другие в испанских мантиях, иные в блузах» (Басаргин, 130).

Этот отрывок из рассказа Басаргина и небольшое продолжение его имеются в копии при рукописи «Записок» И. Д. Якушкина (ГЦИА, ф. 279, № 8, л. 93). Но в копии, почти дословно совпадающей с печатным текстом, вместо фамилий Завалишина, Якушкина и Волконского оставлены пустые места.

К странице 125

[1] Кроме упомянутых выше, описания перехода декабристов из Читы в Петровский Завод оставили еще П. Е. Анненкова (стр. 190 и сл.), А. П. Беляев (стр. 233 и сл.), М. А. Бестужев — дневник за 7 августа — 23 сентября 1830 г. («Декабристы», X, 21 и сл.; «Воспоминания», 351 и сл.), Н. И. Лорер («Записки», 151 и сл.), А. Е. Розен («Записки», 161 и сл.), В. И. Штейнгель — дневник за 7 августа — 23 сентября 1830 г. («Декабристы», VI, 128 и сл.). Шли 46 дней, дневок было 15. Официальные документы изложены в статье А. И. Михайловской.

[2] «Мы приехали сюда 23 и уже с третьего дня я с Михаилом в его тюрьме» (письмо Е. П. Нарышкиной из Петровского Завода от 27 сентября 1830 г.; Штрайх, VIII, 36). «Мужчины прибыли сюда 23» (Е. И. Трубецкая — матери А. Г. Лаваль; там же, стр. 41).

К странице 126

[1] «На последней станции к Петровскому Заводу нас встретили... крестьяне. — «Бывали ли вы в Петровском Заводе, ребята?» — «Мы там плотничали... Строение без окон... Мы и сами удивлялись, когда строили... нам сказали, что так план прислан из Питера» (Лорер, 153).

[2] Вот что рассказывает М. Н. Волконская о читинской тюрьме, где Якушкин провел три года: «В тюрьме... было очень тесно: между постелями было не более аршина расстояния; звон цепей, шум разговоров, и песен были нестерпимы.

Тюрьма была темная, с окнами под потолком, как в конюшне» («Записки», изд. 1906 г., стр. 76). О первом времени пребывания И. Д. Якушкина в Петровском Заводе — в большом письме его к Н. Н. Шереметевой от 13 марта 1832 г. (стр. 249 и сл.).

[3] «Что мне рассказать вам о комнате, которую мы с ним [М. М. Нарышкиным] занимаем в тюрьме? Она темная, сырая, и ее никак нельзя проветривать» (письмо Е. П. Нарышкиной от 27 сентября; см. примеч. 2 к стр. 125). «Желая разделить вполне участь мужа моего, поступила в острог, где занимаю один нумер с ним; здесь мы лишены не только воздуха, но и дневного света» (М. К. Юшневская — родным, 27 сентября 1830 г.; Штрайх VIII, 39). «Опишу вам наше тюремное помещение. Я живу [с мужем] в очень маленькой комнатке с одним окном, на высоте *сажени* от пола, выходит в коридор, освещенный также *маленькими окнами*. Темь в моей комнате такая, что мы в *полдень не видим* без свечей. В стенах много щелей, отовсюду дует ветер и сырость так велика, что пронизывает до костей» (Е. И. Трубецкая — А. Г. Лаваль; подчеркивания — в подлинном письме; там же, стр. 42). Такие же письма послали родным жены других декабристов. Все письма были пересланы сибирской администрацией, по установленным правилам, в III отделение. Здесь они были задержаны Бенкендорфом, который как будто выжидал последнего письма, чтобы принять решение. Прибыло письмо А. Г. Муравьевой от 1 октября к отцу, графу Г. И. Чернышеву. Он занимал при царском дворе почетную должность обер-шенка (главного наблюдателя за царским винным погребом), ему был пожалован императором милостивый рескрипт после осуждения его сына З. Г. Чернышева. Царь принял его сторону в процессе с А. И. Чернышевым о майорате. Графу Г. И. Чернышеву отдавалось высочайшее предпочтение в придворных танцах (Дружинин, III, 37). См. письмо А. Г. Муравьевой (стр. 248).

А. Х. Бенкендорф принял меры. На копии письма А. Г. Муравьевой главный начальник жандармского ведомства положил следующую резолюцию: «сие письмо не выдавать, а женам написать, что напрасно они печалют своих родных, что мужья их посланы для наказания и что все сделано, что только человеколюбие и снисхождение могло придумать для облегчения справедливо заслуженного наказания. Государь, получив от Лепарского рапорт, сам уже предписал дабы были окошки для лучшего свету, что жены могут жить с мужьями хоть уже, а для детей нельзя построить помещение, ибо нельзя знать сколько будет сих несчастных жертв необдуманной любви» (Штрайх, VIII, стр. 47).

6 декабря 1830 г. Бенкендорф сообщил сестре П. А. Муханова, Е. А. Шаховской, которой вместо ее брата писала об устройстве Петровской тюрьмы М. Н. Волконская. «...Долгом считаю уведомить вас», что Николай, получив от С. Р. Лепарского «рапорт об устройстве сего острога, по собственному побуждению беспредельного своего великодушия», велел, «чтобы в остроге сделаны были светлые окна и проч. При сем не могу я не заметить, что жены, разделяющие по

собственному непреодолимому своему желанию участь в сем остроге несчастливых своих мужей, неумеренным ропотом своим на случайные, но необходимые неприятности, оказывают неблагодарность к монарху милосердному» («Декабристы», IV, стр. 21).

[4] Всякое мало-мальски значительное строение, где бы оно ни возводилось в России при Николае, строилось по плану, утвержденному самим царем. Тем более, конечно, разработан был план тюрьмы для декабристов по указанию императора.

К странице 127

[1] «Разрешение сделать в каземате окна было дано, но наш старый комендант [С. Р. Лепарский], более трусливый, чем когда-либо, придумал пробить их высоко, под самым потолком... Наши заключенные устроили подмостки к окнам, чтобы иметь возможность читать» (Волконская, 1906, стр. 94).

К странице 128

[1] В рукописи еще: «Но все эти увеселения ужасно напоминали собой увеселения падших ангелов на берегу огненной реки, так великолепно изображенных Мильтоном» (зачеркнуто). Дж. Мильтон (1608—1674), автор поэм «Потерянный рай», «Возвращенный рай»

[2] И. Д. Якушкин занимался в Сибири садоводством. Об этом много в его письмах 40-х годов.

К странице 130

[1] Ассигнации — бумажные деньги (приблизительно четверть стоимости серебряных денег).

К странице 132

[1] М. К. Кюхельбекер плавал в 1819 г. на бриге «Новая Земля» от Архангельска до Новой Земли и обратно. В 1821 г. ушел в кругосветное плавание на шлюпе «Аполлон» под командой капитана 1 ранга Тулубьева. Был на Камчатке, в колониях Российско-американской компании. Экспедиция вернулась в Кронштадт в 1824 г. Кюхельбекер был образованный моряк, дельный и знающий офицер. Отзывы начальства о его службе отличные. Обладая большой наблюдательностью, он часто рассказывал в кругу членов ТО о быте и нравах населения посещенных им мест, о ловле морских зверей в заокеанских колониях и т. п. Правление Российско-американской компании предполагало поручить М. К. Кюхельбекеру начальство над ближайшей экспедицией в колонии. Уже подбирался личный состав, и лейтенант Арбузов просил Кюхельбекера зачислить его офицером на снаряжаемый корабль. Декабрьские события разрушили этот план. Выйдя на поселение, М. К. Кюхельбекер, кроме сельскохозяйственных занятий, вел специальную научную работу. Так, зимою 1837 г. он совершил, по просьбе администрации, промер

глубины Байкала («Общий морской список», т. VII, 1893, стр. 371; Штрайх, IX, 111 и сл.; А. Сгибнев — Зимний промер Байкала в 1837 г. МС, 1870, т. 107 № 4, стр. 17—21; ВД, II, по указ.).

[2] При объявлении указа о запрещении жить с женою М. К. Кюхельбекер написал по адресу начальства: «1837-го марта 5-го дня, в присутствии Баргузинского словесного суда... объявлено мне решение Правительствующего синода, потому если меня разлучают с женою и детьми, то прошу написать меня в солдаты и послать под первою пулю, ибо мне жизнь не в жизнь. Михайла Кюхельбекер» («Алфавит», 338). Это заявление признано было «неуместным», и Кюхельбекера приказно было перевести в село Елань, Иркутского округа. По просьбе его сестры, Ю. К. Глинки, распоряжение было отменено через два месяца, и Кюхельбекер жил в Баргузине с женою. У них было шесть дочерей.

[3] Николай Петрович Репин (1796—1831), член СО и ЮО; учился в частном пансионе; с 1811 г. служил в гвардейской артиллерии; участвовал в заграничном походе 1813 г. По формулярному списку за 1825 г., к повышению «за беспокойный характер и дурное поведение по службе не аттестуется» (ВД, II, 357). 8 января 1826 г. Репин показал в СК: «Назначая себя служить в артиллерии, старался я наиболее усовершенствоваться в науках математических и военных; впоследствии, по собственной охоте, искал сведений исторических и занимался по сему предмету в течение нескольких лет с довольным успехом, но без посторонней помощи. Особенных лекций никогда не слушал. Что касается до свободного образа мыслей, то получил оный весьма недавно, и не могу обвинить в сем случае ни сообщество, ни чьи-либо внушения, но единственно пристрастие к чтению. Авторы, в коих почерпнул первые политические идеи, хотя еще и весьма несовершенные, суть: Монтескю, Филанжиери, Дестю де-Трасси, Адам Смит и Сэй. Укоренению же сих мыслей во мне не способствовал совершенно никто» (ВД, II, 360 и сл.). По данным СК, Репин принят в ТО «за два дня до возмущения; был на совещаниях у Рылеева и признавал перемену правления нужною; одобрял поведение» солдат, не хотевших выступать против «возмутителей» («Алфавит», 171). Сослан в каторгу на 8 лет; выпущен на поселение в июле 1831 г., а в сентябре погиб от пожара в доме, где жил. Обладал искусством художника. О рисунках Репина — «Декабристы», I, 250.

К странице 134

[1] В рукописи после этого: «и мы все вообще под разными предлогами выходили из каземата» (зачеркнуто).

К странице 135

[1] «Маленькое общество наше было поражено смертью общей нашей благодетельницы А. Г. Муравьевой... Нежная женщина эта, с восприимчивым характером,

во все продолжение и исполнение своего супружеского долга постоянно тревожилась за мужа, за брата его и за детей своих, оставленных в России, и даже за всех нас. Не вынесло слабое тело, и, несмотря на попечение Вольфа, после 20 дней страдания сильная волею Муравьева скончалась» (Лорер, 155). См. дальше — очерк И. Д. Якушкина об А. Г. Муравьевой (стр. 167 и сл.).

К странице 136

[1] В тексте ошибка. Приезжал в Петровский Завод, по должности, К. В. Чевкин (1802—1875), начальник горного ведомства, непричастный к декабрьским событиям 1825 г. Однако в Петровском он виделся с А. З. Муравьевым (Басаргин, 172). «Неудачно действовал» его младший брат, Александр Владимирович (1803—1887), офицер гвардейского Конноегерского полка. Он был арестован в казармах Преображенского полка в ночь с 13 на 14 декабря за попытку отговорить солдат от присяги Николаю. В военной службе оставался до 1829 г., впоследствии служил по дипломатическому ведомству.

[2] Вохин приезжал в связи с провокацией Медокса. Когда Николай и Бенкендорф еще верили в новый заговор декабристов, они послали Вохина в Сибирь якобы для собирания сведений о состоянии тамошних войск. Медокса прикомандировали к нему под видом его писаря (Штрайх, IV). И. Д. Якушкин — единственный из декабристов, оставивший сообщение о действительной цели приезда Вохина в Петровский Завод.

[3] Возможно, что Лепарский, желая предупредить декабристов, что Вохин имеет какое-то поручение, связанное с их поведением в Сибири, намекнул об этом И. Д. Якушкину. На свидания Медокса с декабристами и их женами комендант смотрел сквозь пальцы.

К странице 139

[1] Декабрист А. Е. Розен сообщает, что Николай принял Н. А. Бестужева «ласково, был тронут его выражениями и чувствами, исполненными высокой любви к отечеству, и сказал ему: «Вы знаете, что все в моих руках, что могу простить вам, и если бы мог увериться в том, что впредь буду иметь в вас верного слугу, то готов простить вам».— «Ваше величество! в том и несчастье,— ответил Бестужев,— что вы все можете сделать; что вы выше закона; желаю, чтоб впредь жребий ваших подданных зависел от закона, а не от вашей угодности» («Записки», 77 и сл.).

[2] С Сенатской площади Н. А. Бестужев ушел 14 декабря 1825 г., после разгрома восстания, «на Кронштадтскую косу, сделав себе ложный вид» («Алфавит», 34). По официальным данным, арестован 16 декабря в с. Косном, в 8 верстах от Кронштадта; в Петропавловскую крепость доставлен 16 декабря в 10 ч.

вечера, посажен в Алексеевский равелин (Б. С. Пушкин, 386). В реестре коменданта крепости приведена записка Николая: «Присылаемого при сем Николая Бестужева посадить в Алексеевский равелин под строгий арест, дав писать, что хочет». Комендант пометил, что получил записку царя 16 декабря в половине девятого вечера (Щеголев, 268). Сводка различных рассказов современников о приключениях Н. А. Бестужева после 14 декабря до ареста — в примечаниях к его «Воспоминаниям» (стр. 268 и сл.).

К странице 140

[1] Об этом угощении арестованного государственного преступника Н. А. Бестужева в царском дворце рассказывает А. Е. Розен: «Он был измучен и голодом и холодом. На счастье его, проходил в это время великий князь Михаил Павлович, так что Бестужев мог обратиться к нему с просьбою, чтобы он приказал дать ему пищи для подкрепления сил, иначе он не будет в состоянии отвечать на допросе. Кстати в этой же комнате стоял ужин для дежурных флигель-адъютантов, и великий князь приказал ему сесть за стол и во время его ужина беседовал с ним несколько минут» («Записки», стр. 77).

[2] О картах говорит в воспоминаниях о брате М. А. Бестужев (стр. 340 и сл.). Н. А. Бестужев не хотел назвать имя дамы, приславшей ему карты, потому что это была жена морского офицера, занимавшего видное служебное положение; она была в любовной связи с Н. А. Бестужевым (там же, стр. 250).

[3] В опубликованном Центрархивом деле Н. А. Бестужева (ВД, II) имеются показания, обличающие непорядки в государственном управлении, высказывания о зле так называемого крепостного права и т. п. Он писал об «удручении земледельческого состояния налогами», о «строгости, с которою управлялись военные поселения, и неудовольствии войска». Однако в деле Н. А. Бестужева нет более «смелых разглагольствований», чем, например, ответы М. С. Лунина. Не проявлял также Н. А. Бестужев упорства в отказе от признаний и показаний вообще, что так раздражало Николая и настраивало его против других декабристов.

[4] Подлинник «Записок» И. Д. Якушкина кончается в собрании ГЦИА (ф. 279, оп. 1, № 8) на л. 92-м. Лист 93-й, как указано в прим. 2 к стр. 123, занят копией отрывка из «Записок» Н. В. Басаргина. На л. 94 — отрывок рассказа Н. М. Муравьева о свидании с женой после отправления его из Петербурга на каторгу: «...каторжную работу закованными. Нам надели кандалы и посадили в телеги с жандармами. В Пелле я нашел жену мою и брата Александра; княгиню С. Г. Волконскую с сыном. Жена сказала мне, что она завтра же за мною выезжает, мы пробыли вместе часа два и расстались. Свежий воздух укрепил меня и, невзирая на скорую езду и тряску кибитки, я приехал в Иркутск совершенно здоровый».

ПРИМЕЧАНИЯ К СТАТЬЯМ

К странице 143

[1] Очерк «Четырнадцатое декабря» сохранился в подлинной рукописи И. Д. Якушкина.

Впервые очерк опубликован А. И. Герценом в сб. «Записки декабристов» (вып. 2—3, Лондон, 1863, стр. 137 и сл.) как произведение И. И. Пущина. Имя настоящего автора было названо еще в 1881 г. Е. И. Якушкиным при передаче им копии «Записок» Пущина о Пушкине в Пушкинский музей при Лицее. Затем И. Д. Якушкин был назван автором комментируемого очерка в предисловии Е. И. Якушкина к первому полному изданию «Записок о Пушкине» (СПб., 1907, стр. 3). Это сообщение было повторено во всех моих изданиях «Записок» Пущина (1925 г. и сл.). Текст очерка И. Д. Якушкина перепечатан в сб. «Воспоминания», I, 165 и сл. Е. И. Якушкин сообщил, что его отец написал этот очерк на основании рассказов лиц, бывших на Сенатской площади 14 декабря. Очерк писался позднее, по памяти, и потому в нем имеются фактические неточности. Очерк представляет интерес для характеристики взглядов И. Д. Якушкина на события 1825 г.

К странице 144

[1] Михаил Павлович был тогда в Варшаве, у брата Константина, и не мог присягнуть ему в Петербурге раньше 14 декабря.

С. П. Трубецкой находился во дворце после панихиды по Александре I и лично слышал распоряжения Милорадовича о приведении войск петербургского гарнизона к присяге Константину. «Это распоряжение было сделано графом до совещания Государственного совета»,— рассказывает С. П. Трубецкой. Затем он излагает по личному наблюдению сцену объяснения Милорадовича с членами Государственного совета в официальном заседании в общем сходно с комментируемым очерком («Записки», 27 и сл.).

[2] Подробности о совещании Голицына и Филарета — в воспоминаниях последнего (Шильдер, I, 210 и сл.).

[3] Эти слова повторяют рассказ Е. П. Оболенского в его «Воспоминаниях» (ОД, 248). В действительности, о прекращении деятельности ТО были разговоры несколько дней спустя после присяги Константину.

[4] Начиная с 3 декабря в Петербург доставлялись из Варшавы частные письма Константина, подтверждающие отречение от престола. Все такие документы — в сб. «Междуцарствие» (стр. 127 и сл.).

К странице 145

[1] А. И. Одоевский успел использовать свой отпуск до декабрьских событий

К странице 146

[1] Николай и придворные ждали, что Константин приедет в Петербург, чтобы личным присутствием разрешить вопрос, а он отыгрывался подобными фразами и подтверждением отказа от престола в письмах, составленных так, что их невозможно было публиковать. 2 декабря Николай писал старшему брату: «Мы все ожидаем вас с крайним нетерпением; совершенная неосведомленность, в которой мы находимся о том, что вы делаете и где находитесь, чрезвычайно тягостна... Приезжайте, приезжайте, как можно скорей, умоляю вас». На другой день снова: «Приезжайте, ради бога» («Междуцарствие», 142 и сл.).

Константин не приезжал. Есть основания полагать, что он не прочь был, вопреки своему тайному отречению, стать императором. В Петербурге находился в эти дни Ф. П. Опочинин, женатый на дочери М. И. Кутузова. «Не было человека, который был бы ближе его к Константину Павловичу. Его и избрал Николай посредником между собою и братом и ему поручил ходатайствовать об уступке ему престола... Опочинин рассказывал мне, что Константин, получив известие из Таганрога о смерти Александра, заперся на целый день в комнате, никого не принимал... и ничего о кончине государя не было объявлено в Варшаве... Опочинин поехал с намерением употребить все средства, чтоб уговорить Константина приехать в столицу» — либо принять власть, либо открыто отречься от нее. В конце концов «Николай получил от Константина собственноручную записку, в которой, в самых неприличных выражениях, и даже неблагопристойных, писал, что он знать ничего не хочет, что делается в Петербурге и чтоб делали, что хотят и как хотят» (Трубецкой, 31 и сл.).

[2] Кандидаты в члены временного правительства намечались без их ведома. Кроме названных в очерке, рассчитывали еще на адмирала Д. Н. Сенявина, П. Д. Киселева и других. Подробности — в статье М. В. Муравьева. Во время следствия по делу декабристов до Николая дошли слухи о кандидатах. Особенно интересовали его имена М. М. Сперанского и Н. С. Мордвинова. О Сперанском допрашивал С. П. Трубецкого в крепости по поручению царя генерал А. Х. Бенкендорф. Он уверял, что признания Трубецкого о сношениях членов ТО со Сперанским будут известны только Николаю. Красочный рассказ об этом выпытывании имени Сперанского — в «Записках» С. П. Трубецкого (стр. 57 и сл.). Несмотря на угрозы смертью, Трубецкой отрицал какую бы то ни было связь со Сперанским. Что касается Н. С. Мордвинова, то в переписке Николая с Константином, в дневнике его и записках о 14 декабря много упоминаний о подозрительном с его точки зрения поведении старого адмирала («Междуцарствие», по указателю).

[3] Начальником штаба военно-учебных заведений Я. И. Ростовцев был с 1835 г. при Михаиле Павловиче, а после его смерти в августе 1848 г.— при Александре Николаевиче.

К странице 147

[1] Эта снисходительная, добродушная оценка И. Д. Якушкиным поведения Я. И. Ростовцева в декабре 1825 г. объясняется, конечно, влиянием Е. П. Оболенского, который еще в Сибири, по религиозным соображениям, простил своему бывшему другу его поступок.

[2] Уверенность М. А. Милорадовича в политической безобидности собраний литераторов — членов ТО поддерживалась его ближайшим сотрудником Ф. Н. Глинкой (см. прим. 1 к стр. 53).

К странице 149

[1] Михаил Бестужев подробно и несколько точнее рассказывает о событиях в Московском полку, о действиях своих, своего брата Александра и Д. А. Щепина-Ростовского в полку и на площади, о поведении А. И. Якубовича накануне и в день восстания («Воспоминания», 138 и сл.).

[2] В собственноручном показании в самый день 14 декабря А. И. Якубович записал: «Гуляя на тротуаре, услышал шумы и крики ура! Увлеченный любопытством, пошел навстречу, где, присоединясь к толпе, и кричал: ура, Константин... возвращаясь ко дворцу встретил императора, которому лично объявил мое преступление, произошедшее единственно от усердия и личной привязанности к цесаревичу. Его величество удостоил меня личного разговора, милостивого прощения и незаслуженных мной ласок» (ВД, II, 280). Николай в своих «Записках» о 14 декабря много раз упоминает Якубовича; рассказ царя в общем схож с показанием Якубовича («Междуцарствие», 24; ср. 113 и др. по указателю).

К странице 150

[1] Здесь имеется в виду капитан гвардейской конной артиллерии В. В. Пистолькорс.

[2] Среди других фактических неточностей неправилен рассказ о полковнике П. А. Сумарокове; он был с 1824 г. в отставке и потому не мог никого арестовывать в день восстания. Об А. М. Голицыне «главные члены отозвались, что он не принадлежал к обществу», и царь велел освободить его («Алфавит», 67).

[3] И. Д. Якушкин неверно оценивает роль П. Г. Каховского в революционном восстании 14 декабря 1825 г. Характеристика его как пылкого революционера-романтика — у П. Е. Щеголева (I, 153 и сл.). Письма Каховского к Николаю I из Петропавловской крепости выявляют его политическую зрелость и умение разбираться в вопросах государственного управления. Следственное дело Каховского опубликовано Центрархивом (ВД, I).

К странице 151

[1] Осип Викентьевич Горский (1766—1849) не был графом, не был и членом ТО. Участник войны 1812 и следующих годов, он был ранен, награжден за

отличие в сражениях; был губернатором на Кавказе. 14 декабря был на Сенатской площади. «Участь его... возбуждает... крайнее удивление, что человек, который бунтовал с пистолетом на площади, привесив звезды к мундиру, и назывался сенатором,— избавился от суда потому только, что не принадлежал к Тайному обществу. И Пугачев не принадлежал к Тайному обществу... Сослан в Березов... затем переведен в Тару, оттуда в Омск и здесь же умер» («Алфавит», 252).

О сочувствии восставшим войскам рабочих, в большом числе окружавших Сенатскую площадь, упоминается в различных мемуарах декабристов и других лиц Был момент, когда опасность угрожала Николаю, находившемуся возле Исаакиевского собора.

[2] Николай не приходил к Милорадовичу, а послал ему записку.

К странице 154

[1] Свод данных о действиях морского Гвардейского экипажа и всех поименованных здесь офицеров-моряков в день 14 декабря — Штрайх, IX.

[2] Об А. В. Чевкине см. прим. 1 к стр. 136.

К странице 155

[1] «В ночь с 13 на 14 число полковой командир Преображенского полка старался привлечь свой полк на сторону Николая Павловича... Кроме обещаний, роздана была большая сумма денег из артельных, и... когда Николай, подъехав, спросил рядовых, хотят ли они его своим государем, они отвечали утвердительно. Тогда он приказал зарядить ружья и итти за ним» (Трубецкой, 37 и сл.).

[2] О расположении войска в день восстания 14 декабря 1825 г. на Сенатской площади и вокруг нее — см. военно-историческую справку Г. С. Габаева, стр. 173 и сл.).

К странице 157

[1] Близкий друг С. П. Трубецкого, знавший его по совместной борьбе с врагом в рядах Семеновского полка в 1812—1813 гг., бывший с ним на «ты» наравне с ближайшими своими друзьями П. Я. и М. Я. Чаадаевыми, проживший с ним бок-о-бок десятилетия в Сибири, И. Д. Якушкин, очевидно, отражает в этой записи позднейшее объяснение, которое давал своему поведению на площади сам Трубецкой. С. П. Трубецкой не присягал Николаю и не присоединялся на Сенатской площади к его свите. Рассказ Трубецкого о декабрьских событиях 1825 г., записанный им по настоянию Е. И. Якушкина, опубликован Н. М. Дружининым (см. «Декабристы», IX, 9 и сл.). Копия Е. И. Якушкина — в собрании бумаг Н. А. Морозова (Архив АН СССР, московское отделение, ф. 543, оп. 5).

К странице 158

[1] Здесь фактические неточности. А. О. Корнилович, как он признал на допросе, был на площади, по сообщению СК — «зрителем» (см. прим. 1 к стр. 107),

а по словам декабриста А. П. Беляева,— в рядах восставших войск (стр. 173). Корнилович был захвачен не в Преображенском полку, а в здании Главного штаба (Б. С. Пушкин, 394).

[2] П. И. Пестель арестован в Тульчине на рассвете 13 декабря.

К странице 160

[1] Настоящий очерк сохранился в списке Е. И. Якушкина, относящемся к 1895 г. История его написания рассказана самим Евгением Ивановичем в конце очерка. «Эти замечания написаны мною в 1854 г. Все сообщенные в них факты записаны главным образом со слов моего отца И. Д. Якушкина; то, что записано не с его слов, было ему прочтено, и верность фактов им подтверждена. Замечательно, что все декабристы без исключения, с которыми я говорил о Пестеле, высказывали об нем одно и то же мнение относительно высоты его ума и твердости его убеждений». При безусловной достоверности всего напечатанного или записанного Е. И. Якушкиным, при его добросовестном отношении к собранным им материалам, комментируемый очерк по праву занимает известное место в ряду рассказов и воспоминаний И. Д. Якушкина, передающих его взгляд на дело декабристов. Впервые очерк опубликован в несколько иной редакции Е. Е. Якушкиным в 1924 г. («Былое», № 25, стр. 273 и сл.). Настоящая редакция, весьма незначительно отличающаяся от первой, опубликована П. А. Садиковым («Воспоминания», I, 137 и сл.). Сообщение о Никите Муравьеве, сходное с рассказом И. Д. Якушкина,— у П. Н. Свистунова («Воспоминания», II, 285 и сл.).

Записки А. М. Муравьева напечатаны по-русски два раза: в 1922 г. (отдельное издание) и в 1931 г. (назв. сборник, 117 и сл.).

[2] «Мой дорогой друг, я должен рассказать тебе и нашим детям о моей жизни. Читая эти строки, они узнают, что их изгнанный отец страдал за прекрасное и благородное дело и что он мужественно нес цепи за свободу своего отечества» (отд. изд., стр. 11).

К странице 161

[1] «Тайное общество». Заметки Никиты Муравьева о Тайном обществе напечатаны в сборнике «Воспоминания I» (стр. 135 и сл.).

[2] «Причиной разделения Общества на Северное и Южное односторонне указывается зависть Бурцова к Пестелю» (Е. Е. Якушкин, «Былое», 1924, № 25, стр. 273). Дело объясняется тем, что И. Г. Бурцов принадлежал к умеренному крылу ТО и сильно боялся революционных стремлений П. И. Пестеля.

[3] Опыт теории налогов. Сочинение Николая Тургенева. СПб., 1818; 2-е изд., СПб., 1819; 3-е изд., М., 1937.

[4] См. примеч. 2 и 3 к стр. 36 и примеч. 1 к стр. 37.

К странице 162

[1] Имеются в виду законоположения о крестьянах, выработанные П. Д. Киселевым в качестве министра государственных имуществ (1837—1856).

[2] См. примеч. 2 к стр. 36.

[3] Это заявление, явно утрированное, скорее отражает мнение И. Д. Якушкина, чем намерения П. И. Пестеля. После 14 декабря 1825 г. И. Д. Якушкин резко высказывался против революционных действий в деле преобразования родины.

К странице 163

[1] «Ради бога, не говорите со мной, вы погибнете!».

[2] «С. Муравьев был человек замечательный по своему уму, своей доброте, своим знаниям и энергичному характеру. Солдаты обожали его. Его любил каждый, имевший счастье быть близким к нему. Сами тюремщики говорили о нем с уважением» («Записки» А. М. Муравьева, изд. 1922 г., стр. 16).

[3] По поводу этого несправедливого отзыва И. Д. Якушкина о М. П. Бестужеве-Рюмине см. прим. 1 к стр. 56 «Записок».

К странице 164

[1] В рассказе об основании Сл.— неточность; см. прим. 1 к стр. 112.

К странице 165

[1] О Сл. см. исследование М. В. Нечкиной (VIII).

[2] Агент графа Витта — А. К. Бошняк.

К странице 166

[1] «Фаленберг, приведенный заключением в умственное расстройство, дошел до обвинения самого себя в умысле, которого никогда не имел; его друг, князь Барятинский, доказал это ему перед комиссией в сжатой и логической форме. Комиссия, не обратив внимания на нравственное и умственное расстройство Фаленберга, чрезвычайно похвалила его раскаяние, но осудила его» («Записки» А. М. Муравьева, изд. 1922 г., стр. 22 и сл.).

Петр Иванович Фаленберг (1791—1873) на допросе в СК заявил, что в беседах с ним А. П. Барятинский говорил о крепостном праве: «Это страм нашего просвещения иметь крепостных... У нас торгуют людьми, как скотом» («Воспоминания», I, 206). Двумя-тремя разговорами такого рода ограничились сношения Фаленберга с ТО, куда его принял Барятинский. Вскоре после вступления в ЮО он женился и совсем отошел от общества. Осужден в каторгу на 12 лет; в 1832 г. вышел на поселение. Жена его Е. В. Раевская (1803—1857) после осуждения мужа вышла замуж за другого, воспользовавшись общим разрешением Николая. Фаленберг оставил записки (назв. сборник, стр. 223 и сл.). Упоминаемый в тексте Раевский — Александр Николаевич; о нем — прим. 2 к стр. 42.

К странице 167

[1] Александра Григорьевна Муравьева (1804—1832), рожденная графиня Чернышева, вышла замуж за Н. М. Муравьева 22 февраля 1823 г. По свидетельству друга семьи Чернышевых, «когда в декабре 1825 г. Никита Муравьев, гостивший в это время в имении своего тестя, был арестован, то он упал перед своей женой на колени, прося простить его за то, что он скрыл от нее свое участие в Тайном обществе; в ответ на это она бросилась ему на шею, заявив, что последует за ним и разделит во всем его судьбу» (сб. «Портреты декабристов в собрании Музея». Гос. Исторический музей, М. 1927, стр. 11). Оставив у матери мужа Е. Ф. Муравьевой двух детей, А. Г. Муравьева быстро добилась разрешения отправиться в Сибирь и первая из жен декабристов прибыла туда. Портрет ее в названном издании, другой — в сборнике В. И. Покровского.

Воспоминания И. Д. Якушкина о Муравьевой написаны в 1854 г. по просьбе ее сестры Н. Г. Долгорукой. Опубликованы в 1915 г. (ГМ, № 4, стр. 187—190). «Иван Дмитриевич рассказал тепло и верно о незабвенной спутнице нашего изгнания» (Пущин, 1927, 172).

[2] Екатерина Федоровна — мать Н. М. Муравьева.

[3] Софья Никитишна Бибикова (15 III 1826—1892) — дочь Н. М. Муравьева; вышла замуж за племянника М. И. и С. И. Муравьевых-Апостолов, сына их сестры, Михаила Илларионовича. О ней — много в воспоминаниях и переписке декабристов.

[4] Н. М. Дружинин дает такую характеристику А. Г. Муравьевой по документам семейного архива, по ее дневнику и письмам: «Далекая от политики, А. Г. Муравьева поняла бескорыстие революционного подвига и возвела на героический пьедестал заточенного и обвиняемого мужа... Задолго до официального приговора отбрасывает от себя всякие иллюзии... и заранее хлопочет о разрешении на поездку... Ее ничто не пугает, она готова порвать со всем миром, она во власти единственной мысли о неразлучной жизни с Никитой» (II, 36).

К странице 170

[1] «В последние минуты она просила Трубецкую написать свое желание быть похороненной подле отца в фамильном склепе... Предсмертного желания ее не исполнили. Из Петербурга отказано» (Лорер, 156).

К странице 171

[1] «Ее последние минуты были величественны: она продиктовала прощальные письма к родным и, не желая будить свою четырехлетнюю дочь Нонушку, спросила ее куклу, которую и поцеловала вместо нее» (Волконская, 1906, 96).

[2] Вместе с воспоминаниями И. Д. Якушкина были опубликованы воспоминания И. И. Пущина, который писал: «Во время оно я встречал Александру Григорьевну в свете, потом видел ее за Байкалом. Тут она явилась мне

существом, разрешающим великолепно новую трудную задачу. В делах любви и дружбы она не знала невозможного: все было ей легко, и видеть ее была истинная отрада. Вслед за мужем она поехала в Сибирь (в 16 суток прискакала из Москвы в Иркутск). Душа крепкая, любящая поддерживала ее слабые силы. В ней было какое-то поэтически возвышенное настроение, хотя в сношениях она была необыкновенно простодушна и естественна. Это составляло главную ее прелесть. Непринужденная веселость с доброй улыбкой на лице не покидала ее в самые тяжелые минуты первых годов нашего исключительного существования. Она всегда умела успокоить и утешить, придавала бодрость другим. Для мужа была неусыпным ангелом-хранителем и даже нянькою... Помню тот день, когда Александра Григорьевна через решетку отдала мне стихи Пушкина. Эти стихи она привезла с собой. Теперь они напечатаны. Воспоминание поэта, товарища Лицея, точно озарило заточение, как он сам говорил, и мне отрадно было быть обязанным Александре Григорьевне за эту утешительную минуту. В 1849 г. я был в Петровском; подъезжая к заводу, увидел лампадку, которая мне светила среди туманной ночи.. Этот огонек всегда горит в часовне над ее могилой; я помолился на ее могиле. Тут же узнал от Горбачевского, поселившегося на старом нашем пепелище, что, гуляя однажды на кладбищенской горе, он видит человека, молящегося на ее могиле. Подходит и знакомится с генералом Черкасовым. Черкасов говорит ему, что счастлив, что имел возможность преклонить колена перед могилой, где покоится прах женщины, которой он давно в душе поклоняется, слыша о ней столько доброго по всему Забайкалью. Вот уже слишком 20 лет, что светится память нашей первомученицы» («Записки», 1927, стр. 172 и сл.).

Такие же отзывы о Муравьевой оставили А. Е. Розен, Н. В. Басаргин, Н. И. Лорер (по указателям). Н. А. Некрасов хотел посвятить третью часть «Русских женщин» А. Г. Муравьевой.

К странице 172

[1] Очерк И. Д. Якушкина сохранился в подлинной рукописи: 4 страницы большого формата, чернилами (ГЦИА, ф. Якушкиных, № 279, оп. 1, № 10). По сообщению В. Е. Якушкина, предназначался для отсылки в Лондон к А. И. Герцену, но отправлен не был. Написан по поводу напечатанной в «Полярной Звезде» третьей главы первой части «Былого и дум» (кн. 2, 1856, стр. 43—166). Герцен говорит в этой главе о декабристах, попутно рассказывает историю брака Ивашевых. В этом рассказе — некоторые неточности. Помимо самостоятельного значения очерка, он выявляет интерес и внимание, с которыми ссыльные декабристы относились к вольному типографскому станку Герцена. В статье Якушкина указана страница «Полярной Звезды», содержание которой вызвало его поправки. Опубликована в 1906 г. («Былое», № 4, стр. 190—193). В настоящем издании печатается с поправками по рукописи автора.

Камилла Петровна Ивашева (1804—1839), дочь одного из французских эмигрантов-республиканцев Ле-Дантю, бежавших в Россию от Наполеона. Старшая сестра ее Сидония — мать русского писателя Д. В. Григоровича. Мать ее, Мария Петровна (1773—?), была воспитательницей дочерей богатого помещика Петра Никифоровича Ивашева (?—1837), сподвижника А. В. Суворова. При матери жила Камилла, влюбившаяся в В. П. Ивашева.

[2] Василий Петрович Ивашев (1794—1840), кавалергардский офицер, адъютант П. X. Витгенштейна. В Тульчине вступил в ЮО. «Кроме одного совещания, ни на каких других не присутствовал и с 1821 г. по самое взятие его в Москве, все почти время находился то на водах, то в домовых отпусках... Неоднократно говорил, что общество гибельно... что надобно оставить его» («Алфавит», 88). За это Ивашев послан в каторгу на 20 лет. Камилла Ле-Дантю заявила, что хочет поехать в Сибирь разделить участь В. П. Ивашева, которого любит. Завязалась переписка, царь разрешил. 9 сентября 1831 г. Камилла приехала в Петровский Завод. 16 сентября было венчание. Подробности всей истории — в книге О. К. Булановой; в книге — несколько портретов обоих Ивашевых, много видов Читы и Петровского Завода по рисункам В. П. Ивашева. Документы из архива Ивашевых — в ГЦЛА (ф. 229) и в РО.

К странице 173

[1] «Неравный брак»; о нем упоминает А. И. Герцен, как о причине, по которой аристократ В. П. Ивашев не мог жениться на дочери гувернантки. Басаргин пишет, что Камилла «очень нравилась» Ивашеву до его ссылки (стр. 128).

[2] По поводу предположения И. Д. Якушкина, что главной причиной поездки Камиллы в Сибирь были соображения материального порядка, ее внучка О. К. Буланова приводит в своей книге ряд писем Камиллы, из которых видно, что в ее отношениях к Ивашеву было много восторженного.

К странице 174

[1] По этому поводу О. К. Буланова пишет на основании документов семейного архива: «свидание произошло у Волконской, при этом потрясенная и измученная [долгой, тяжелой ездой] Камилла упала без чувств» (стр. 199).

[2] «Свадьба была разрешена высшим начальством, и не было никаких оснований совершать ее скрытно» (Буланова, 200 и сл.).

М. Н. Волконская сообщает: «Жених знал ее еще в отроческом возрасте. Это было прелестное создание во всех отношениях... Свадьба состоялась при менее мрачных обстоятельствах, чем свадьба Анненковой: не было больше кандалов на ногах, жених вошел торжественно со своими шаферами (хотя и в сопровождении солдат без оружия). Я была посаженной матерью молодой четы; все наши дамы проводили их в церковь. Мы пили чай у молодых и на другой день у них обедали» (изд. 1906 г., стр. 94).

А. И. Одоевский написал на приезд Камиллы Петровны стихотворение «Далекий путь». Здесь поэт говорит от имени К. П. Ивашевой: «С другом любо и в тюрьме... Свет он мне в могильной тьме».

К странице 175

[1] В книге О. К. Булановой — много документов, свидетельствующих, что Камилла Ле-Дантю была влюблена в Ивашева до его осуждения, после его ссылки заболела с горя и только по страстной любви решила ехать к нему в Сибирь.

[2] Елизавета Петровна Языкова приезжала в Туринск в 1838 г. в мужской одежде, под видом служащего родственника Ивашева Г. М. Толстого, имевшего якобы торговые дела с туринским откупщиком (об этом — у А. П. Топорнина; ср. у Н. А. Крылова, 182 и сл.).

М. П. Ле-Дантю приехала в Туринск в 1839 г. «Премилая старушка m-me Ledantu», писал И. И. Пущин 1 декабря 1839 г. Е. П. Оболенскому.

[3] Герцен не упоминает о «ссылке» Ивашевой в Париж, о смерти ее от потрясения. «Камилла Петровна простудилась после короткой прогулки пешком и заболела... болезнь быстро приняла грозные размеры. 25 декабря (1839 г.) К. П., бывшая на восьмом месяце беременности, разрешилась преждевременно дочерью Елизаветой, прожившей лишь сутки, и 30 декабря скончалась от последовавшей родильной горячки» (Буланова, 349).

«Грустное, сильное впечатление,— писал И. И. Пущин 12 января 1840 г. Е. П. Оболенскому.— Ты с участием разделишь горе бедного Ивашева. 30 декабря он лишился доброй жены, ты можешь себе представить, как этот жестокий удар поразил нас всех, трудно привыкнуть к мысли, что ее уже нет с нами. Десять дней только она была больна, нервическая горячка прекратила существование этой милой женщины. Она... с спокойной душой утешала мужа и мать, детей благословила, простилась с друзьями. Осиротели мы все без нее, эта ранняя потеря тяготит сердце невольным ропотом» («Записки», 1927, стр. 128).

[4] В. П. Ивашев умер 28 декабря 1840 г. от апоплексического удара. Подробности — в письме Пущина от 17 января 1841 г. к И. Д. Якушкину (там же, стр. 139 и сл.). М. П. Ле-Дантю после долгих хлопот родных Ивашева добилась разрешения выехать с внуками в Россию.

К странице 177

[1] Рукопись этого очерка — в собрании Якушкиных в ГЦИА (ф. 279, от. 1, № 10) — черновик на двух страницах большого формата карандашом. По описи значится: «Записка о Чаадаеве». Опубликована в 1906 г. («Былое», № 4, стр. 188—189). В настоящем сборнике печатается по автографу; описки черновика исправлены. Сообщивший статью в печать В. Е. Якушкин заявляет, что она

написана по поводу первой книжки «Полярной звезды». «Не известно, было ли это письмо переписано и отправлено по назначению. Часть стихотворений, предполагавшихся к отсылке при письме, напечатана в следующей книжке «Полярной звезды», но вместе с другими стихотворениями, что заставляет думать, что они все получены Герценом от другого лица». Первая книжка «Полярной звезды» — на 1855 год.

[2] Письмо адресовано А. И. Герцену.

[3] В «Полярной звезде» (книга 2-я на 1856 г.) напечатаны из перечисленных здесь: «Гражданин» К. Ф. Рылеева, «Послание в Сибирь» А. С. Пушкина («Во глубине сибирских руд»). По поводу этого стихотворения в рукописи Якушкина два раза говорится, что оно написано у А. Г. Муравьевой и ею привезено в Сибирь. В. Е. Якушкин не включил это место в опубликованный им текст ввиду неправильности сообщения. Ноэль Пушкина («Ура, в Россию скачет») опубликован в 1858 г. в Лейпциге в сборнике стихотворений Пушкина, Рылеева и других. Но Герцен напечатал это стихотворение в исправленном виде в 4-й книжке «Полярной звезды» (на 1859 г.), возможно, по списку И. Д. Якушкина. Стихотворение В. К. Кюхельбекера «Тень Рылеева» опубликовано в Лейпциге в 1862 г. в сборнике «Собрание стихотворений декабристов».

К странице 178

[1] И. Д. Якушкин делает поправку к тексту главы 26-й, части 4-й «Былого и дум», напечатанной в «Полярной звезде» (кн. 1, 1855, стр. 78 и сл.).

Дмитрий Николаевич Бологовский (1775—1852) служил в Измайловском полку вместе с отцом Герцена И. А. Яковлевым. Как солдат Измайловского полка, он был дежурным во дворце в момент смерти Екатерины II. Его курьезный рассказ об этом записал А. С. Пушкин в «Дневнике» под 3 июня 1834 г. Пушкин встречался с ним в Кишиневе во время своей ссылки на юг. Однажды, за обедом у Бологовского 11 марта, Пушкин поздравил хозяина. Это был намек на убийство Павла I (Липранди, изд. 1950 г., стр. 255 и сл.). К убийству Павла имел какое-то отношение Бологовский.

[2] История с поездкой П. Я. Чаадаева к Александру I в связи с восстанием Семеновского полка в 1820 г. рассказана Герценом в главе 30-й «Былого и дум», частично напечатанной в 1-й книжке «Полярной звезды».

[3] Н. И. Греч был главным наблюдателем ланкастерских школ в гвардии. После истории в Семеновском полку отстранен от должности.

[4] Дмитрий Андреевич Шеппинг (1790—1874) кавалергардский офицер; упоминается в послании Пушкина к Чаадаеву.

[5] В рукописи имеется еще фраза о том, что А. И. Одоевский был переведен из Сибири на Кавказ, где и умер солдатом, что Лермонтов знал его и посвятил ему одно из лучших своих стихотворений.

К странице 179

[1] Печатается по авторским рукописям, сохранившимся в той части архива семьи Якушкиных, которая поступила в ГЦИА (отд. личных фондов, № 279, оп. 1, № 36). Чистовая рукопись — чернильная, на 26 страницах большого формата, почти без помарок и поправок. Черновая — карандашная, на 33 страницах, с многочисленными следами упорной и вдумчивой авторской работы над ней. Якушкин писал это рассуждение в середине 30-х годов, когда вышел на поселение и занимался философией естествознания; см. Письма — к П. Я. Чаадаеву за 1837 г. и к А. Ф. Бриггену от 15 декабря 1838 г. (стр. 261; ср. прим. 2 к письму 70).

Чистовая рукопись — без заглавия; черновая имеет два; на 1-й странице — «Что такое человек», на 7-й — «Что такое жизнь» (см. иллюстр. на стр. 183). Очерк напечатан в журнале «Вопросы философии» за 1949 г. (№ 3—8, стр. 291—298) с ошибками. В настоящем издании они исправлены при содействии Г. Н. Кузюкова. Текст печатается без соблюдения особенностей правописания и пунктуации автора.

В названной публикации очерк имеет первое заглавие черновой рукописи. Мы даем второе, которое более соответствует основному содержанию произведения. В описи архива, где рукопись находилась до передачи в ГЦИА, рассуждение Якушкина также получило заглавие близкое ко второму авторскому: «Эмбриология и вопросы о жизни» (Дружинин, I, 39).

Статья И. Д. Якушкина — результат сосредоточенной внутренней работы и глубокого изучения биологии во всех ее областях. «Первое, что бросается в глаза при анализе этого небольшого документа,— несомненное и искреннее желание автора отгородиться от традиционного религиозного мировоззрения... Якушкин ищет ответа на основные жизненные проблемы не в догматах религиозного откровения, а в выводах современного естествознания; он отвергает понятие бессмертной души, как признака, отличающего человека от животного; философская позиция Декарта представляется ему с точки зрения освобожденного человеческого разума непоследовательным компромиссом. Рассуждение Якушкина о происхождении и сущности жизни пронизано явной материалистической тенденцией: он не только повторяет обобщающие выводы современной ему биологии, но устраняет всякую принципиальную грань между бытием и мышлением, между миром духовного и миром материального» (Дружинин, I, 39 и сл.).

К странице 180

[1] Имеется в виду Р. Декарт (1596—1650), французский философ, служивший в 1617—1628 гг. в войсках и участвовавший в нескольких сражениях.

К странице 181

[1] Дж. Локк (1632—1704), английский философ.

К странице 182

[1] П.-Ж. Кабанис (1757—1808), французский философ врач. Грег. Сен-Венсан (1584—1667), бельгийский математик-философ.

[2] После этого выставлено в черновой рукописи, на стр. 7, заглавие «Что такое жизнь».

К странице 184.

1. В рукописи: «всасываемая».

К странице 188

[1] У автора — описка: ощущаемого.

К странице 196

[1] Вопросами философии Якушкин много занимался в студенческие годы. Слушал лекции проф. И.-Ф. Буле (1763—1821), который в Московском университете занимал кафедру философии. С 1804 по 1812 г. он читал о философии Канта, Фихте, Шеллинга, о правах естественном, публичном и народном, историю изящных искусств в России, опытную психологию и логику, мифологию и пр. Кроме университета, Буле читал частные лекции у себя на дому. В письме к Граббе от 21 октября 1821 г. Якушкин сообщает, что в деревне ему «попался Буле» и он «десять дней провел очень приятно» (стр. 236).

Вопросы философии много обсуждались Якушкиным в беседах с друзьями, главным образом с П. Я. Чаадаевым и Д. А. Облеуховым. Это нашло некоторое отражение в переписке с ними.

ПРИМЕЧАНИЯ К ПИСЬМАМ

В настоящем сборнике печатаются с автографов все дошедшие до нас письма И. Д. Якушкина к его родным и друзьям, сохранившиеся в разных архивах, а также опубликованные раньше. Письма расположены в хронологическом порядке и помечены порядковыми номерами. Примечания перенумерованы по отдельным письмам. Упоминаемые в них имена и фамилии поясняются — в соответствии с их значением в истории декабристов или в личной жизни И. Д. Якушкина — в примечаниях. Знаки препинания и орфография подлинников — в интересах связного чтения — не сохраняются, кроме особых случаев, которые оговариваются в примечаниях. Письма И. Д. Якушкина печатаются корпусом; письма и приписки других лиц — петитом.

К письму 1

[1] И. Н. Толстой — товарищ И. Д. Якушкина по Семеновскому полку (см. стр. 8). Послано во время заграничного похода гвардии после изгнания Наполеона из России. Письма № 1—5 и 8 печатаются впервые. Подлинники в ПД — в собрании П. Я. Дашкова. Все письма из собрания ПД получены и сверены благодаря любезности директора ПД проф. Н. Ф. Бельчикова и научного сотрудника ПД писателя В. В. Данилова.

[2] Братец — Николай Николаевич (1794—1872), офицер Семеновского полка, или Яков Николаевич (1791—1867), член ЗЛ и СБ.

[3] «Мечты» — произведение популярного в начале XIX в. французского поэта Ж. Делиля (1738—1813).

К письму 2

[1] Послано, повидимому, из Жукова, смоленского имения И. Д. Якушкина.

[2] Медали в память Отечественной войны.

К письму 4

[1] Муравьев — М. И. Муравьев-Апостол.

Трубецкой Сергей Петрович (1790—1860) — офицер Семеновского полка; участвовал в Отечественной войне 1812—1814 гг.; во многих сражениях, в том числе под Бородиным, проявил храбрость. В «битве народов» под Лейпцигом ранен ядром. Основатель СС и СБ, один из руководителей СО. Приговорен к смертной казни, сослан в пожизненную каторгу; в 1839 г. вышел на поселение. Жена его Екатерина Ивановна последовала за ним в Сибирь; умерла в 1854 г. в Сибири; одна из героинь поэмы Н. А. Некрасова «Декабристки». После амнистии 1856 г. Трубецкой вернулся в Россию, умер в Москве. Оставил «Записки». Дело его опубликовано Центрархивом (ВД I).

К письму 5

[1] Приводимые дальше 36 писем к И. Д. Щербатову, другу и однополчанину И. Д. Якушкина, опубликованы В. Н. Нечаевым в 1928 г. в русском переводе с французских подлинников («Декабристы», VIII). Письма сохранились в Военно-судном деле комиссии, разбиравшей степень виновности группы офицеров Семеновского полка в октябрьских событиях 1820 г. В числе преданных суду был И. Д. Щербатов (см. по Указателю). Все письма к Щербатову относятся к истории «несчастной», по определению СК, любви И. Д. Якушкина к сестре его корреспондента Наталье Дмитриевне Щербатовой (1795—1885). Они, как правильно отмечает автор публикации, подтверждают основанный на показаниях Н. М. Муравьева и М. А. Фонвизина вывод СК о том, что Якушкин «в мучениях несчастной любви ненавидел жизнь», что главным образом этим объясняется его решение пойти на своеобразную дуэль с Александром I: убьет царя и тут же

покончит с собой (см. письмо от 7 апреля 1818 г., в настоящем сборнике — 21-е). «Ненавидя жизнь», Якушкин решает, однако, принести ее в жертву Родине: убить того, кто делает несчастной жизнь народа, по чьей вине народ страдает. В письмах к Щербатову, относящихся к неразделенной любви их автора, только один раз встречается слово «люблю». Тем более ценны эти письма для общей характеристики Ивана Дмитриевича: сдержанный в сердечных излияниях, он высказывается в них как человек, вынашивающий в сердце проект уничтожения рабства в родной стране, готовый отдать жизнь за свободу тех, кто ее достоин. Что касается Н. Д. Щербатовой, то в ее письмах к брату, сохранившихся в том же Военно-судном деле, автор публикации нашел много данных для комментирования писем И. Д. Якушкина. Н. Д. Щербатова знала его с детства и при всем равнодушии к его сердечным чувствам, при критическом отношении к некоторым его неудачным поступкам и высказываниям, неизменно и глубоко уважала Ивана Дмитриевича, преклоняясь перед моральной высотой его личности.

К письму 6

[1] В первых девяти письмах Якушкина сохранено при первой публикации обычное для французской корреспонденции того времени обращение к адресату на «вы». В остальных (начиная с 18-го в настоящем сборнике) официальное «вы» заменено самим Якушкиным на «ты». В настоящем издании все обращения переведены на «ты», что более соответствует содержанию всех писем к Щербатову, отражающих глубоко интимные переживания их автора. Такая замена практикуется даже при переводе французских писем начала XIX в., в оригинале которых ни разу не встречается местоимение «ты».

[2] Описка; должно быть: «августа»; правильность начальной даты подтверждается письмом Н. Д. Щербатовой от 10 августа, где она сообщает брату, что Якушкин передал ей письмо И. Д. Щербатова.

[3] Чаадаевы — М. Я. и П. Я.; Муравьевы — М. И. и С. И. Муравьевы-Апостолы.

К письму 7

[1] Сосницы — штаб-квартира 37-го Егерского армейского полка, куда Якушкин переведен из гвардии 5 июня 1816 г. (ВД, III, 40).

[2] Подчеркнуто автором, как и во всех дальнейших письмах.

[3] Друзьям, упомянутым в прежних письмах.

К письму 8

[1] «Обещать и сдержать [слово] — две» [вещи разные].

[2] Его высокоблагородию милостивому государю — обычная формула того времени.

[3] Дмитрий Александрович Облеухов (1790—1827), по отзыву И. Д. Щербатова,— «самый скромный, кроткий, умный и ученейший человек». Он защитил в 1811 г. в Московском университете диссертацию «О главных основаниях равновесия и движения», имел ученые степени магистра словесных наук и доктора наук физико-математических. Образованный натуралист и математик, он интересовался философией. Четыре его письма к И. Д. Якушкину за 1824 и 1825 гг. опубликованы в 1927 г. В них — отражение занятий обоих друзей философией. Высказывая в письме от 16 апреля 1824 г. (послано в Рузу) пожелание увидеться с Якушкиным в Москве, Облеухов уверен, что, «сошедшись вместе», они не будут «молчать, особливо, когда коснется до метафизики». В письме от 24 августа 1825 г. Облеухов заявляет, что он «готов был бы и теперь пуститься в старинные метафизические споры». 30 сентября 1825 г. Облеухов высказывает опасение, «не разошлись ли» они «в метафизике в различные стороны, так что трудно было бы сойтись. Это было бы очень досадно».

[4] Один Николай Николаевич — Толстой, брат адресата. Дмитрий Петрович Ермолаев — семеновский офицер; в связи с октябрьскими событиями 1820 г. признан виновным в сочувствии восставшим солдатам, приговорен к смертной казни; высидел 6 лет в крепости, из полковников разжалован в солдаты, сослан на Кавказ.

К письму 9

[1] В цитированных выше письмах Д. А. Облеухова встречается выражение: «жизнь моя здесь есть золотое ничегонеделание» и т. п.

К письму 10

[1] «Речь идет, видимо, о какой-то особе, в которой был заинтересован И. Д. Щербатов» (Нечаев, 154).

[2] В письме от 2 апреля Н. Д. Щербатова жалуется брату, что никого не встречала из «тех лиц, воспоминание о коих могло быть приятно» ему. «Единственным и последним» источником для получения новостей, интересующих И. Д. Щербатова, его сестра называет в этом письме графиню Толстую (там же).

[3] Н. Д. Щербатова тогда же писала брату, что вся семья, вплоть до отца, оплакивает «прелестную собачку Мими».

[4] Сообщение о поклоне от М. А. Фонвизина написано по-русски. Затем следует приписка М. И. Муравьева-Апостола, написанная по-французски и содержащая привет, пожелание не скучать, сообщение о П. Я. и М. Я. Чаадаевых, которые ленятся писать к своим родным.

К письму 11

[1] Это было не «маленькое нездоровье», а тяжелая болезнь — следствие сильного нравственного потрясения из-за «несчастной» любви Якушкина. Во время его болезни Н. Д. Щербатова писала брату про «смертельное беспокойство», вы-

званное этой болезнью. Другая ее сестра. Елизавета, писала, что положение Якушкина «почти безнадежное». Больному стало легче, потому что, по словам Н. Д. Щербатовой, «мольбы его друзей дошли до неба. Муравьев, Фонвизин и сам Облеухов оказывали ему заботы самые нежные. Матвей не покидал его даже по ночам». «Какие люди! Они примиряют меня с человеческим родом»,— восклицает Н. Д. Щербатова и просит брата, «во имя всего, что ему дорого», писать к Якушкину, так как это может ускорить выздоровление. «Ах, если бы ты мог видеть Якушкина! Его отчаяние, его страсть».

В письме Н. Д. Щербатовой к брату от 3 мая раскрывается драма И. Д. Якушкина и самой Натальи Дмитриевны: «Ты должен все знать. Нужно, чтобы ты через мое перо узнал то, что ты, быть может, давно знал в глубине своего сердца... Якушкин меня любит... Его отчаяние, его болезнь были причинены крушением всех его надежд... Подумай об ответе, который ты должен мне дать. Покой, я скажу больше — жизнь твоего друга от этого зависит. Не бойся предложить мне средство наиболее верное для обеспечения счастья Якушкина,— отказаться от союза с Нарышкиным. Борозда в моем сердце проведена не настолько глубоко, чтобы я не могла ее изгладить, не нарушив спокойствия своей жизни... Я благодарила бы небо, если бы могла вернуть мир *этой небесной душе* пожертвованием моих надежд. Мой друг, подумай же о твоем ответе, остерегись приговорить твоего несчастного друга, это существо, исключительное по благородству и стойкости своих чувств... Не обращай внимания на счастье твоей сестры, или скорее, сочетай его со счастьем того, кто заслуживает твою привязанность во всех отношениях. Меня ты должен осыпать упреками, я их заслуживаю... Я ввергла в бездну несчастья друга, любезного твоему сердцу, товарища моего счастливого детства... Раскаяние меня мучит... Сколько вероломства в моем поведении! Я понесу кару за то во всю мою жизнь». Щербатова глубоко уважает Якушкина, высоко ценит его, но ей не хочется выходить за него. Д. В. Нарышкин больше года «упорно» сватался к Наталье Дмитриевне, но,— пишет она брату: душа Нарышкина такая, как ты мне ее рисовал: порочная, низкая, не имеющая другой цели, кроме личной выгоды, за счет своей совести и уважения тех, кто его знает,— может ли она сочетаться с душою твоей Натали? Хотя женившись на мне, он сделает свои выгоды моими, но смогу ли я снести самые легкие следы того, что называется интригою, нечестностью, если бы даже его выгоды и мои служили им мотивом?.. Одобряя чувства Нарышкина, ты вонзишь *кинжал в сердце твоего друга*... Он от того умрет, рано или поздно, и что станется тогда с Натали, с тобою самим?.. Не думай, что, отказавшись от любви Нарышкина, я хочу сейчас же сделаться женою другого... Нет, я чувствую себя в силах жить монахинею в вихре света, противиться его удовольствиям и охранить мою душу от всего, что могло бы поколебать ее стойкость. Друг мой, дай мне следовать этою дорогою счастья, которую небо, кажется, простерло под моими ногами. Мир моей совести, спокойствие Якушкина, твоя дружба поддержат меня до конца

моего существования... И тогда, быть может, мне останется недолгий путь для соединения с моей матерью» (матери Н. Д. Щербатовой не было в живых). Заявляя, что не может «испытывать чувство очень глубокое» к Нарышкину, Щербатова переходит в конце письма к Якушкину и просит брата. «Ради любви ко мне, подумай о спокойствии этого ангела доброты... Его болезнь познакомила меня с тремя людьми, которые составляют славу человеческого рода :Фонвизин, Муравьев, Облеухов — это люди единственные. Последний из них заклинал меня изложить тебе вещи, так, как они есть, чтобы потребовать у тебя совета и принести хоть некоторое облегчение несчастному Якушкину. Друг мой, если бы ты мог написать несколько слов особо, чтобы я могла показать их Якушкину, который не поверит мне на слово». В следующем письме, без даты, но того же мая, переданном, видимо, через Якушкина, Наталья Дмитриевна еще яснее высказала, что в пользу Нарышкина говорили соображения расчета, что отец ее был очень рад, узнав об его намерениях, и что она сама сначала увлечена была мечтами о «блестящем будущем». Повторяя, что она мало его видела и не уважает, она проводила такую параллель: «Воспоминание о Нарышкине дает кое-что моему воображению, а об Якушкине — возбуждает мое восхищение. Я люблю его, как друга, и буду его так любить до конца моих дней... Друг мой, позаботься о спокойствии этой души, столь благородной и великодушной, которой я принесла несчастие; принеси жертву, если от этого зависит его спасение».

В середине мая Якушкин поехал в Петебург. Наталья Дмитриевна писала брату 14 мая: «Не удивляйся приезду Якушкина, я посылаю тебе моего больного, чтобы удалить его от здешних мест печали и страданий»,— и вновь просила брата «подумать об Якушкине, об его страсти и его несчастии и о той, которая их причинила. Я была вероломна к твоему другу, я извлекла его из заблуждения, чтобы вонзить кинжал в сердце. Срази меня своими упреками, презрением; он один заслуживает твою нежность».

В другом письме (от 24 мая) она заявляла, что «способна на подвиг добродетели, чтобы спасти жизнь несчастного» (Н е ч а е в, 157 и сл.). Об исходе всей этой драмы см. прим. 1 к письму 36.

В другом собрании сохранилось три документа, относящихся к драме Якушкина и Щербатовой и разъясняющих приведенные выдержки из писем Натальи Дмитриевны. Документы переданы внуком последней, Д. И. Шаховским, в Архив Октябрьской революции (инв. № 2331) и опубликованы в русских переводах там же, где напечатаны письма Якушкина к Щербатову.

К п и с ь м у 12

[1] Письмо Н. Д. Щербатовой непосредственно связано с письмом И. Д. Якушкина к ней (№ 13) и к ее брату И. Д. Щербатову за то же время (№ 6 и сл.). Сохранилось в бумагах Н. Д. Шаховской, опубликовано в сб. «Декабристы», VIII, 189 в переводе с французского.

[2] Имя Талания получается от перестановки букв имени Наталия. К таким условностям часто прибегали к своей переписке молодые люди того времени.

[3] N — Д. В. Нарышкин.

[4] Н. Д. Щербатова, в замужестве Шаховская, переписывалась с И. Д. Якушкиным в последние годы его жизни.

[5] Лиза — сестра Н. Д. Щербатовой Елизавета Дмитриевна (1792—1885).

[6] В том же собрании сохранился черновой набросок записки к И. Д. Якушкину матери его близкого друга Д. А. Облеухова. Опасаясь за жизнь Ивана Дмитриевича, П. Ф. Облеухова писала ему: «Возможно ли, чтобы в поисках исцеления от ваших страданий вы совершенно забыли ту, которая оказывается их невинной причиной? Подумайте о том, что весь остаток своей жизни она будет нести всю тяжесть безумия, которое подсказано вашим отчаянием. Поверьте, она все знает, и она так поражена этим, как это и должно быть... Может быть, я бы вам могла сообщить кое-что утешительное, если бы вы согласились продолжить еще жизнь на несколько дней и позволили ли бы мне с вами побеседовать.

Мать вашего достойного друга Облеухова.

Я прошу только этой милости и в надежде на нее...» («Декабристы», VIII, 190).

К письму 13

[1] Письмо без даты, но непосредственно связано с майскими письмами Якушкина и Щербатовой к И. Д. Щербатову. Печатается по тексту первой публикации («Декабристы», VIII, 190).

К письму 14

[1] Тетка — Анна Михайловна Щербатова; ее деревня — Алексейцево, Дмитровского уезда, Московской губ.

[2] В письмах к брату Н. Д. Щербатова с восторгом отзывается о М. А. Фонвизине: «Я видела полковника — это ангел! ...Он добр, любезен... Он обожает Якушкина» (Нечаев, 161).

[3] Это связано с какой-то неловкостью Д. А. Облеухова по отношению к Н. Д. Щербатовой. В позднейших письмах она заступалась перед братом за Облеухова и, видимо, считала в этой истории Якушкина неправым.

К письму 15

[1] Ему — Д. В. Нарышкину.

[2] Старания людей, желающих устроить брак Нарышкина с Н. Д. Щербатовой.

[3] В письме от 11 июня Н. Д. Щербатова сообщала брату, что его письмо (упомянутое Якушкиным) успокоило ее. Она добавляет, что «не могла» не быть

искренней с Якушкиным: он внушает ей доверие, которым не будет жесток злоупотребить».

К письму 16

[1] Опубликовано В. Н. Нечаевым среди писем к И. Д. Щербатову. Послано Щербатову при письме от 16 июня (см. прим. 3 к письму 17). На конверте: «Его высокоблагородию милостивому государю Дмитрию Васильевичу Нарышкину, лейб-гвардии Семеновского полка г-ну капитану в корпусе графа Воронцова. В Мобеж во Франции».

К письму 17

[1] Это письмо, как и следующие за ним, адресовано: «Его сиятельству милостивому государю князю Ивану Дмитриевичу Щербатову. Лейбгвардии Семеновского полка г-ну поручику. В доме Ефремовой на Екатерининском канале близь Казанского мосту. В С.-Петербург».

[2] Имеется в виду евангельский текст: «Воздайте кесарево кесарю». В одном из писем к Щербатову этот текст употребил Нарышкин, и Н. Д. Щербатова с тех пор называла его в насмешку «бедным Цезарем» (Нечаев, 163).

[3] Н. Д. Щербатова не только была «не вполне довольна» письмом Якушкина к Нарышкину. 15 июня она писала брату: «Последствия этого письма заставляют меня дрожать. Это — форменный вызов, который обязывает Нарышкина (если он делает мне честь спешить вернуться в Россию) узнать честную личность, которая является его автором... Это бескорыстное доброжелательство, которое мне оказывают полковник [Фонвизин] и Якушкин, мне более чем тягостно. Я боюсь, как бы оно не вовлекло их в бесконечные тревоги, в ущерб для их мирной жизни». В письме от 21 июня Н. Д. Щербатова просит брата сообщить ей о своем отношении к поступку Якушкина: «Я с нетерпением хочу узнать твои чувства от письма Якушкина к Нарышкину и от того, что могло дать повод такой неистовой выходке. Со времени возвращения Якушкина я с ним очень мало или почти совсем не говорила. Ты знаешь. что я его видела только в деревне. Он только сообщил мне об этом последнем поступке, которому я живейшим образом противилась. Я ему даже сказала, так же как полковнику [Фонвизину], что он не должен был давать себе труд действовать за меня и браться за мою защиту (если только это так необходимо), когда я могу одним словом уничтожить его надежды и опрокинуть его химеры... Друг мой! Обещай мне никоим образом не отправлять этого нелепого письма, которое не может произвести никакого действия на голову, которая (если все хорошо разобрать), может быть, и не думает, что она так дурно поступила... Я не помню, чтобы я обращалась к твоему решению в выборе одного из двух бойцов. Если бы я могла их обоих [Якушкина и Нарышкина] успокоить... я бы им сказала: *«господа, живите мирно, на мое здоровье, и оставьте меня в покое»* (Нечаев, 164 и сл.) Письмо к Нарышкину не было отправлено.

К письму 18

[1] Михайловское — имение Щербатовых в Ярославском уезде, Рожествино — их имение в Серпуховском уезде.

К письму 19

[1] Якушкин не уехал из Москвы; он оставался там до весны 1818 г., но с Щербатовыми, повидимому, больше не переписывался, а с Н. Д. Щербатовой не виделся. О письме брата к Якушкину, содержащем фразу Щербатовой, что она хотела бы избавиться от его «доброжелательных» забот, Щербатова узнала лишь в августе, была этим огорчена. «Я узнала от г. Фонвизина,— писала она брату,— про поспешное решение, которое твое письмо заставило принять Якушкина... Друг мой, если мое спокойствие тебе дорого, извлеки из заблуждения твоего превосходного друга. Скажи ему, что его уважение мне более чем дорого, что оно мне необходимо, что было бы неблагодарностью с моей стороны смешивать его с человеком, которого я не уважаю и чье уважение ничего не прибавило бы к моему благополучию. Боже мой! Как могла бы я это сделать после тех доказательств, которые он мне дал о постоянстве его чувств. Мой друг, внуши ему, что я знаю всю его цену, и что *уважение, дружба, благодарность*, которые я к нему питаю, не изгладятся из моего сердца раньше его последнего биения... Объяснись с ним ясно, когда будешь ему писать, так, чтобы он не прибавил к твоим извещениям чего-нибудь своего». В другом письме Н. Д. Щербатова заклинала брата: «Будь нежен, снисходителен в отношении к твоему другу, к этой небесной душе [три слова зачеркнуты]. Вспомни, что чувство, которое он питает ко мне, наполняет его с 13-летнего возраста и что было бы ужасно уничтожить химеры, которые составляли единственное счастие его жизни... Мой друг! Я открываю перед тобою до дна мое сердце... мое сердце ничуть не занято Нарышкиным, и голова моя совершенно исцелена... Якушкину — вся моя дружба, все мое уважение, все мое восхищение... *Если ты думаешь, что этого достаточно...*» После этого И. Д. Якушкин вызвался в собрании членов ТО на своеобразный поединок с Александром I (см. «Показания» Якушкина, стр. 473). Затем он решил оставить службу, приказом от 1 февраля 1818 г. уволен «за болезнию» (ВД, III, 41) и уехал в орловскую деревню.

К письму 21

[1] Якушкин думал, что Е. Д. Щербатова участвует в «заговоре» в пользу Нарышкина.

[2] «Это может, видимо, служить подтверждением того, что Щербатов был посвящен в общественные дела Якушкина» (Нечаев, 170), т. е. в дела СБ.

К письму 22

[1] С этого письма и вплоть до письма от 12 мая (наш № 26) адрес такой: «Его сиятельству кн. И. Д. Щербатову. На Девичьем поле в собственном доме. В Москве». Этот дом позднее перешел к М. П. Погодину и связан со многими событиями в истории русской общественности и литературы.

К письму 23

[1] Речь идет об отношении Н. Д. Щербатовой к Д. В. Нарышкину.

К письму 24

[1] Якушкин имел в виду отправиться в Южную Америку, чтобы бороться в рядах повстанцев против испанского владычества.

К письму 27

[1] Начиная с этого письма и до конца переписки с Щербатовым письма Якушкина посылаются в Петербург: в Семеновский полк или на Владимирскую улицу (дом Щербатовой).

[2] «Они» — повидимому, сестры Щербатова; кто «он» — установить трудно, но это не Нарышкин, который еще долго находился во Франции.

К письму 29

[1] Якушкин пробыл в Рожествине у Щербатовых восемь дней.

К письму 31

[1] У Щербатовых — в Серпуховском уезде. В письмах за это время к брату Н. Д. Щербатова упоминает о своих ночных прогулках с Якушкиным, «которые причиняли ей много страха, не говоря об усталости, которая делала ее почти больной« (Нечаев, 176).

[2] Матвей Яковлевич Мудров (1776—1831) — талантливый клиницист, основатель русской терапевтической школы (см. книгу В. Н. Смотрова, статью А. Г. Гукасян при сочинениях Мудрова). Вместе с тем Мудров был незаурядным общественным деятелем. В молодости был близок к семье И. П. Тургенева, где встречался с выдающимися представителями русской культуры. Возможно, что отрицательный отзыв Якушкина объясняется принадлежностью Мудрова к масонству (Свербеев, I. 30). Кроме указанных книг, много упоминаний о Мудрове, как замечательном враче, в статьях и мемуарах дореволюционного времени (у Г. А. Колосова, Н. И. Пирогова и у Д. А. Кропотова на стр. 85). Отрицательный отзыв о Мудрове встречается у Е. Д. Щербатовой (Нечаев, 175).

[3] Теперь в этом доме находится филиал Большого оперного театра (б. Зимина).

К письму 33

[1] Н. Д. Щербатова писала брату, что Якушкин «разделяет скуку» ее и сестры Лизы; он приехал к именинам старого князя и остался в Рожествине по просьбе Д. М. Щербатова, уехавшего в Москву раньше дочерей.

К письму 34

[1] Эта фраза в письме написана по-английски.

[2] В течение полутора месяцев, прошедших между этим и следующим письмом, в отношениях Якушкина и Н. Д. Щербатовой были какие-то осложнения. 4 ноября она писала брату: «Ты будешь удивлен, если я у тебя буду просить новостей об Якушкине... Мы его не видим уже десять дней. Так как он казался нездоровым, то папа послал узнать о нем; его не оказалось дома; ясно, что он здоров и что это каприз... Это меня не огорчает, но удивляет и беспокоит. Я, кажется, не давала ему ни малейшего повода к недовольству моим поведением; с некоторого времени оно постоянно было благожелательно и одинаково» (Нечаев, 178). Ср. с упоминанием в письме от 3 октября о «нем», который уехал и скоро не вернется, так как сестер Щербатовых еще нет в Москве.

К письму 35

[1] Мишель и Пьер — Чаадаевы. Жорж — гувернер Щербатовых.

К письму 36

[1] С этим кратким тревожным письмом Якушкина связано тревожное письмо Н. Д. Щербатовой к брату от 8 декабря: *«Нарышкин приезжает немедленно.* Эта новость (которая была сообщена мне Якушкиным) меня сразила... Она повлияла на мое здоровье». Дальше Щербатова пишет о том, что ее отказ Нарышкину разорит отца, который думал поправить свои материальные дела браком дочери с богатым женихом. Но если она выйдет за Нарышкина, может погибнуть Якушкин. «Все, что я могу распутать в моем положении, настоящем и будущем, это то, что для успокоения умов, т. е. для того, чтобы сохранить жизнь одному [Якушкину] и щадить другого [Д. М. Щербатова], я стараюсь удалить всякую возможность перемены, какого-бы рода она ни была», т. е. не выходить за Нарышкина и не отказывать ему окончательно. «Якушкин уезжает печальный, больной... Есть что-то, что его очень тревожит, так как он не удостаивает меня словом... Не имеет ли он несправедливости бояться вероломного поступка с моей стороны [что она выйдет за Нарышкина]... Я полна разных чувств. Боюсь всего от отца... Проникнута состраданием к Якушкину... недовольна сама собою... Что бы тебе привить мне хоть немного благосклонности к человеку, которого я могу только уважать» (Нечаев, 179).

Распуталось все само собой. В это время в письмах Н. Д. Щербатовой стало часто встречаться имя Ф. П. Шаховского, сослуживца и приятеля

И. Д. Якушкина и И. Д. Щербатова (см. письмо 41). Якушкин видел, что его мечта о счастье с Н. Д. Щербатовой не может осуществиться, однако не имел сил расстаться с ней.

К письму 37

[1] Н. Д. Щербатова с ужасом ждала этого приезда. «Я узнала, что Якушкин должен через несколько дней приехать сюда,— писала она брату 17 февраля.— Это *дурная* новость для меня. Не говоря о малой взаимности, какая царит между нами, он сделал все, чтобы потерять мое уважение, слабостью своего характера». «Приезд Якушкина заставил меня сделать выводы, очень для него неблагоприятные,— писала Щербатова 8 марта.— Я надеялась, что, руководимый своим здравым смыслом, он не будет иметь слабость вернуться так скоро. Я не знаю мотивов его возвращения, но имею печальное убеждение, что я виновата в отношении него этим обвинением, которое, может быть, очень несправедливо. Он вернулся печальный, больной. Он мне вручил письмо, которое я должна была прочесть. Я была благоразумна, т. е. эгоистична. Я его не открыла. Бог знает, хорошо ли я поступила. Я вернула ему письмо вчера, сказав, что он должен был адресоваться к тебе, если имел сообщить мне что-нибудь столь важное. Он его принял, сказав мне, что я хорошо сделала, не прочитав его, что это была последняя попытка и что он решил теперь твердо покинуть Россию, и потом... *что о нем, может быть, будут говорить в течение нескольких месяцев, что он себя убьет и что я тогда буду освобождена от его назойливости.* Я не знаю, что он хотел сказать... Эти слова меня сразили; я чуть-чуть не попросила у него письмо назад... Голос мне изменил... Он ушел, оставив меня в состоянии, которое я не умею изобразить... Я забыла сказать, что он отказался сообщить тебе содержание письма, не желая более пользоваться посредником в сношении со мной». Щербатова просит брата сообщить ей о намерениях Якушкина и о том, где он будет жить. В следующих письмах она спрашивает брата: «Пишет ли тебе Якушкин? Что он делает? Где он?» Наконец, получилось известие, что Нарышкин женился, и Наталья Дмитриевна писала брату 23 июля: «Небо сжалилось надо мною, оно послало мне освобождение в момент, когда я менее всего того ожидала. Конец волнениям, объяснениям...» (Нечаев, 180 и сл.).

К письму 38

[1] Якушкин жил в Жукове, обдумывал проект освобождения своих крепостных крестьян.

К письму 39

[1] См. письма к министру внутренних дел О. П. Козодавлеву и др. об уничтожении рабства в Жукове (стр. 463 и сл.).

К письму 41

[1] В письмах к брату за август 1819 г. Н. Д. Щербатова упоминала Ф. П. Шаховского: «Много ума, возвышенная душа, превосходное сердце. Маленькие заблуждения молодости дали ему опыт; его голова созрела, у него достаточно разума, чтобы сознаться в безумствах, которые он совершил». Он действовал «как честный человек», «очень лойяльно»; «горячо любя», он, доказал деликатность своих чувств, обратившись прямо к отцу, чтобы получить руку» Натальи Дмитриевны. Старый князь Щербатов сначала не соглашался. Он был недоволен отказом Нарышкину. Вскоре примирился с решением дочери, сообщил об этом сыну. После этого Якушкин узнал об окончательном крушении его надежд. 12 ноября 1819 г. Н. Д. Щербатова вышла замуж. Писем Якушкина об этом больше не было. Сам он женился только в 1822 г.

Федор Петрович Шаховской (1796—1829) — учредитель СС и СБ. В 1817 г. «говорил, что сам готов посягнуть на жизнь государя»; сослан на поселение в Сибирь бессрочно, там психически заболел. Жена просила отпустить его для лечения. Николай велел заточить Шаховского в тюрьму Суздальского Спасо-Евфимьевского монастыря, где он умер через два месяца («Алфавит», 205 и 421 и сл.; ср. у Щеголева I, 343 и сл., и у Ченцова, 563 и сл.).

К письму 43

[1] Написано по-русски. Якушкин уехал в Смоленскую губ. помогать голодающим крестьянам (см. «Записки», стр. 46 и сл.). По поводу «непредвиденных обстоятельств» в этом письме И. Д. Щербатова допрашивали в ноябре 1821 г. на следствии по делу о Семеновской истории 1820 г. Щербатов показал, что не помнит, спрашивал ли он Якушкина об этих обстоятельствах и куда тот поехал (Яковлев, 178).

В деле о Семеновской истории имеется рапорт председателя суда А. Ф. Орлова в военное министерство по поводу найденных у Щербатова писем его сестры и Якушкина за 1816—1821 гг. «Связка писем штабс-капитана Якушкина и сестры Тарутинского пехотного полка майора князя Щербатова, заключающих взаимную привязанность их друг к другу, повидимому, без сведения родителей, которая, по личному объяснению князя Щербатова, заключает семейную тайну, почему, для предосторожности прочитав сам оные письма и запечатав их печатью герба моего, сдал ему для хранения в том виде до совершенного решения дела» (там же, стр. 204).

К письму 44

[1] Это последнее из дошедших до нас писем Якушкина к И. Д. Щербатову; написано по-русски.

[2] Речь идет о допросах по Семеновскому делу. См. письмо И. Д. Якушкина от 25 мая 1825 г. к Е. Д. Щербатовой (стр. 244).

К письму 45

[1] Публикуется впервые по автографу в ГЦИА (ф. Якушкиных, № 279, оп. 1, № 47). О Граббе см. в «Записках» (стр. 20 и 51). В большом стихотворении, относящемся к 1824 г., Граббе воспел имение Якушкина Жуково:

Ты помнишь ли, любезный друг,
Как раз в развалинах отцовских
Очам твоим явился вдруг
Усатый гость с брегов днепровских.
Твой двор и сад и ветхий дом
Устройства вид не представляли
И муравьи спокойно в нем
Свой муравейник основали.
Подъезда не было к крыльцу,
Тропинка скромная извилась,
И дева сельская к ключу
Ходить чрез сад твой не страшилась. .
Меж тем как мы рука с рукой,
Земных забот отбросив бремя,
В беседе дружеской с тобой
Друг другу окрыляли время.
Как чистый огнь на алтаре,
Сердца восторгом в нас пылали,
И взор, безмолвствуя, горе
Мы часто вместе устремляли...

(„Изв. Об-ва археол., ист. и этногр. при Казанск. ун-те“,
т. XXXIV, вып. 3—4, стр. 293)

В письме к Якушкину от 14 февраля того же года Граббе заявлял: «Самое важное для меня, чтобы ты меня любил с моими несовершенствами, не скрывая их от меня, как ты, золотое создание, и делаешь» (там же, стр. 297).

[2] Слово «удовлетворить» Якушкин всю жизнь писал: «удоблетворить».

[3] Вероятно, шеститомная «История новой философии» (Геттинген, 1800—1804; на немецком языке). Об авторе — профессоре Московского университета И.-Ф. Буле — см. прим. 1 к стр. 96.

[4] Хлеб покупался для голодающих крестьян Смоленской губ.

К письму 46

[1] Из предыдущих писем видна близость Якушкина с Чаадаевым. Их дружба зародилась на скамьях Московского университета, где они оба учились одновременно, и укрепилась в доме Щербатовых, куда Якушкина ввел А. С. Грибоедов.

(Нечкина, VII, 74). П. Я. Чаадаев — племянник Д. М. Щербатова и вместе с братом Михаилом воспитывался в его доме. Якушкин и Чаадаев проделали весь поход 1812—1813 гг. в рядах Семеновского полка, жили в одной палатке. Чаадаев познакомил Якушкина в 1820 г. с Пушкиным. Через год Якушкин принял Чаадаева в ТО. В июле 1823 г. Чаадаев уехал за границу, и с тех пор Якушкин с ним лично не встречался. Связь продолжалась непосредственно — перепиской и через общих друзей (см. по Указателю). Чаадаев в письмах к третьим лицам называет Якушкина братом. Строя планы о жизни в глухой деревне, Чаадаев мечтает видеться там в числе немногих близких людей с И. Д. Якушкиным.

К сожалению, из их переписки до нас дошло всего шесть бесспорных документов: по три письма с каждой стороны. Первое из них — комментируемое здесь письмо Якушкина — опубликовано в 1932 г. в русском переводе с французского подлинника, хранящегося в ПД («Декабристы», IX, 167 и сл.). Даты на письме нет, по содержанию и всем обстоятельствам в жизни обоих корреспондентов оно может быть отнесено к июлю — ноябрю 1821 г.

[2] Опубликовавший это письмо Д. И. Шаховской полагает, что слово «ученик» отражает отношения между Якушкиным и Чаадаевым по ТО и подтверждает факт вступления в него Чаадаева (стр. 168 и сл.).

[3] На обороте листка рукою И. Д. Якушкина написано по-французски: «Господину Чаадаеву».

После этого вплоть до следующего письма Якушкина (от 4 марта 1825 г.) имя И. Д. Якушкина упоминается в ряде писем П. Я. Чаадаева. 19 (31) июля 1823 г. он писал брату с корабля в виду Копенгагена: «Кланяйся брату Якушкину, когда станешь писать к нему; жаль, что вы не вместе, письма мои могли бы вам обоим быть» (т. I, стр. 9). 1 (13) сентября он просит брата, из Англии: «Якушкину скажи или отпиши, чтобы он не сердился на меня за то, что не пишу... скучно писать [одно и] то же к двум или трем» (стр. 12 и сл.). В письме к М. Я. Чаадаеву от 20 ноября упоминается «брат Якушкин» (стр. 15). «Не позабудь,— пишет П. Я. Чаадаев брату 1 января 1824 г. из Парижа,— что мне не об одном тебе нужно знать... О брате Якушкине и об Облеухове» (стр. 18). 1 августа он пишет, что кроме брата «есть еще добрые люди на свете», с которыми «хотелось бы повидаться: Якушкин». Ради этого готов приехать скоро в Москву (стр. 32). Узнав о ноябрьском наводнении 1824 г. в Петербурге, Чаадаев просит брата, из Милана: «отписать к Якушкину и велеть ему мне написать, что узнает про общих наших приятелей, особенно об Пушкине..., о Муравьеве» (стр. 38).

К письму 47

[1] Письмо к Н. Н. Шереметевой написано незадолго перед женитьбой Якушкина на ее дочери Анастасии Васильевне. Подлинник был в архиве Якушкиных,

найти его не удалось. Из письма опубликован в 1924 г. отрывок, который приводится здесь.

[2] Дальше зачеркнуто: «и несносный нрав мой».

[3] В промежутке между этим и следующим письмом были еще упоминаемые в разных источниках письма за 1824 г. к И. А. и М. А. Фонвизиным, Д. А. Облеухову. В одном из цитированных выше писем к Якушкину Облеухов приводит выдержку из письма И. Д. Якушкина от 9 декабря 1824 г., в котором тот напоминает Облеухову евангельский текст: «да оставит муж отца своего и мать свою и прилепится к жене своей».

К письму 48

[1] Настоящее письмо опубликовано в 1932 г. («Декабристы», IX, 174 и сл.). Ответом на него является письмо И. Д. Якушкина от 4 марта 1825 г., в котором разъяснено все содержание настоящего документа (стр. 240 и сл.).

[2] Князь Иван — кн. И. Д. Щербатов; Пушкин — Александр Сергеевич; Чаадаев спрашивает, не погиб ли кто во время ноябрьского наводнения 1824 г. в Петербурге.

[3] На письме — адрес: «Господину Якушкину, в Москву, в России. На Тверской, в доме генеральши Облеуховой, близ Триумфальных ворот, Д. А. Облеухова просят доставить И. Д. Якушкину». Первые четыре слова — по-французски.

К письму 49

[1] Послано в Италию. Опубликовано в 1913 г. (Чаадаев I, 360 и сл.). Исправлено после сверки с подлинным в РО (№ 1032—88, л. 63 и сл.). Это — ответ на письмо Чаадаева от 8 января 1825 г. из Милана (стр. 238 и сл.).

[2] Было: «глупости» и по этому слову написано: «вздор».

[3] Хрипуново — нижегородское имение М. Я. Чаадаева.

[4] Слово «совершенно» написано по другому слову, которое трудно разобрать.

[5] Князь Иван — Щербатов; неприятное положение его — тюремное заключение по делу о Семеновской истории 1820 г.; о поездке Е. Д. Щербатовой в Витебск для свидания с братом — см. письмо Якушкина к ней (стр. 244). Тетушка Чаадаева — княжна А. М. Щербатова, его воспитательница.

[6] Последние восемь слов пропущены в т. I Сочинений Чаадаева, вероятно, по цензурным соображениям, но без замены их многоточием.

[7] В Сочинениях П. А. Вяземского под заглавием «Сравнение Петербурга с Москвой» — пустая страница и сообщение редакторов, что это стихотворение не предназначалось автором к печати (т. III, стр. 289). Редакция Сочинений относит его к 1821—1822 гг. Опубликовано Н. П. Огаревым в 1861 г. Перепечатано в издании 1935 г. (стр. 393 и сл.); *В. С. Нечаева* относит его к 1811 г. (стр. 526 и сл.).

[8] С. П. Трубецкой назначен, в чине полковника, дежурным офицером 4-го корпуса приказом от 22 декабря 1824 г. (ВД I, 4). Штаб-квартира корпуса была в Киеве. До А. Г. Щербатова корпусом командовал Н. Н. Раевский-отец.

[9] Слово «жить» написано по другому, неразборчивому, слову.

[10] И. М. Муравьев-Апостол приказал сыну Матвею жить безвыездно в деревне вследствие полученного им сведения, что правительство знает об участии его сыновей в ТО. М. И. Муравьев-Апостол послал брату Сергею из их родового полтавского имения, с. Хомутец, куда был «сослан» отцом, обширное письмо от 3 ноября 1824 г. (ВД IX, 207, и сл.).

[11] На слове «всех» кончается 4-я страница первого листа большого почтового формата этого письма. Остальное — на полулисте такой же бумаги; края полулиста сильно оборваны и куски вырваны из середины при вскрытии письма, так как добавочный полулист послужил для него конвертом.

[12] Старший сын И. Д. Якушкина — Вячеслав.

[13] И. Д. Якушкин всю жизнь писал имя старшего сына: Вечеслав.

[14] Здесь на изорванном полулисте осталось пять первых букв.

[15] М. Я. Чаадаев писал брату 24 октября 1823 года: «Если ты из чужих краев сюда приедешь такой же больной и горький, как был, то тебя надо будет послать уже не в Англию, а в Сибирь... Ты как-то боишься исцелиться от моральной и физической болезни,— как-то тебе совестно» («Декабристы», IX, стр. 181).

[16] На этом слове письмо посередине 6-й страницы прерывается для адреса и продолжается внизу полулиста.

[17] Иван Яковлевич — камердинер П. Я. Чаадаева.

[18] На 6-й странице письма, посредине, адрес по-французски: «Господину Чаадаеву, к любезному попечению г. Сверчкова, поверенного в делах его величества императора России — в Риме. Заказное — в русское посольство». На 1-й странице надпись Чаадаева: «Получено в Риме 1825 года 9 мая».

В промежутке между этим и следующим письмами были письма И. Д. Якушкина к М. И. Муравьеву-Апостолу. О них последний упоминает в письме к Якушкину от 13 марта 1825 г. (изд. 1922 г., стр. 83 и сл.). Было письмо Якушкина к Облеухову от 25 марта 1825 г.; о нем упоминает последний (см. прим. 3 к письму 47).

К письму 50

[1] Печатается впервые в переводе с французской копии, переданной в 1926 г. в ГЦИА (ф. Якушкиных, 279, № 52); на подлинном, которого не удалось разыскать, почтовый штемпель: «Вязьма» и адрес: «Княжне Елизавете Дмитриевне Щербатовой на Девичьем поле, в собственном доме, в Москве».

[2] Михаил — М. Я. Чаадаев. Ср. с таким же заявлением Якушкина в письме к П. Я. Чаадаеву от 4 марта (стр. 240).

[3] О поездке Е. Д. Щербатовой к брату Ивану Дмитриевичу летом 1824 г. см. в письме Якушкина к Чаадаеву от 4 марта (стр. 242).

[4] На копии письма Якушкина приведена французская выдержка из тетради Е. Д. Щербатовой (бумага с водяными знаками 1818 и 1819 гг.): «Суббота. Писать Якушкину, чтобы получить известие о его ребенке». Дальше у Щербатовой заметка по-русски об отправленном ею к Якушкину письме с сообщением, что она к брату в Витебск не ездила. Затем еще запись, из которой видно, что в мае Е. Д. Щербатова ездила в Витебск. Об этом упоминал также М. И. Муравьев-Апостол в письме к И. Д. Якушкину от 27 мая 1825 г. (стр. 246).

Комментируемым документом кончаются письма И. Д. Якушкина досибирского периода. После письма к Е. Д. Щербатовой было письмо Якушкина к Д. А. Облеухову в августе 1825 г. О нем упоминает Облеухов в письме к И. Д. Якушкину от 24 августа 1825 г.

К письму 51

[1] Опубликовано в издании 1922 г. (стр. 83 и сл.) по копии в переводе с французского (из собрания П. Е. Щеголева).

[2] Это письмо И. Д. Якушкина не найдено; с комментируемой фразой можно сопоставить следующее место письма Д. А. Облеухова от 24 августа 1825 г. к И. Д. Якушкину: «Вы, как сами говорили в вашем прежнем письме, чувствуете над собою всемогущное владычество лени и также стремитесь беспрестанно к золотому ничегонеделанию».

[3] В классическом сочинении И. М. Муравьева-Апостола «Путешествие по Тавриде» (II, 1823), стр. 176—177, читаем: «Удивительное чувство, которое заставляет человека и бояться опасностей и любить их; если опасности угрожают разрушением, зато они и дают человеку способность живее ощущать свое бытие; в чем единственно состоит настоящая жизнь души. Опасности миновались и жизнь воина становится темною... способности души его дремлют. Переход к сему положению от деятельности есть ужаснейшее состояние на свете, от коего зарождается смертельная души болезнь — скука, источник несметных зол, нещастий и вместе бичь, какого провидение кажется не могло избрать жесточе».

[4] Письмо М. И. Муравьева-Апостола от 7 июля 1823 г. к М. Я. Чаадаеву об отъезде его брата — в издании 1922 г. (стр. 78).

[5] О поездке Е. Д. Щербатовой к брату в Витебск. см. прим. 3 к письму 50.

К письму 52

[1] Опубликовано в 1925 г. (Штрайх, VIII, 43 и сл.) с подлинника; сохранены некоторые особенности стиля. Подобно письмам всех декабристов, до получения ими по выходе на поселение права личного обращения к родным, и настоящее послание переписано Н. Д. Фонвизиной по черновику Якушкина.

К нему добавлено кое-что о самой Фонвизиной, которая была знакома с Шереметевой до 1825 г.

[2] См. письмо И. Д. Якушкина к Н. Н. Шереметевой от 13 марта 1832 г.

[3] Дети, рождавшиеся у Фонвизиных в Сибири, не выживали.

[4] Подчеркнуто в подлиннике.

[5] См. сообщения о том же А. Г. Муравьевой и других (стр. 248 и сл.).

[6] Настя — А. В. Якушкина; Екатерина Гавриловна — Левашева. На конверте: «Ее высокоблагородию Надежде Николаевне Шереметевой, Московской губернии в город Рузу».

К этому времени относится приписка Н. Н. Шереметевой для И. Д. Якушкина в январском письме К. П. Ле-Дантю из Москвы (1831 г.) к В. П. Ивашеву: «До последней минуты жизни пребуду к нему с одинаковым дружеством, любя и уважая его всею душой, и принадлежу ему, семейству его до гроба, и в самой горести была бы счастлива, если бы могла его и семейство его чем успокоить». Н. Н. Шереметева благодарит Е. И. Трубецкую за то, что она «частными известиями» о Якушкине «успокаивает» его семью. К. П. Ле-Дантю, с своей стороны, передает Якушкину, что видела в Москве его сыновей и по приезде в Сибирь сумеет сказать, похожи ли они на их портреты, присланные отцу (Буланова, 177 и сл.).

К письму 53

[1] Опубликовано в переводе с французского в 1925 г. (Штрайх, VIII, 45 и сл.).

[2] Подчеркнутое здесь и дальше написано в подлинном по-русски.

[3] На обороте листка — по-русски: «Графу Чернышеву в Москву у Каменного моста, в доме Миротворцева».

К письму 54

[1] Печатается по тексту, опубликованному Е. Е. Якушкиным в 1915 г. (ГМ, № 3, стр. 210 и сл.). Это первое и самое обширное из дошедших до нас писем декабристов, в котором сообщаются подробности об условиях их существования в каторжной тюрьме на основе личного опыта. Послано было не официальным путем через тюремное начальство, а с оказией. Письмо распространялось тогда же в копиях, по одной из которых оно было напечатано также в 1915 г. в сб. «Русские пропилеи» (I, 82 и сл.).

[2] О коменданте Петровской тюрьмы С. Р. Лепарском оставили хорошие отзывы все декабристы в своих тогдашних письмах и в позднейших воспоминаниях; см. еще в «Записках» по Указателю.

[3] Популярный профессор Московского университета Михаил Григорьевич Павлов (1793—1840); преподавал физику, минералогию, сельское хозяйство —

последнее по Тэеру, у которого сам когда-то учился. Несколько лет заведывал пансионом при университете. В 1831 г. открыл свой пансион, который вскоре прославился как образцовое учебное заведение.

[4] Павлов преподавал в Московском университете с 1820 г.; он был человек разносторонне образованный. Играл видную роль в развитии философии естествознания (об этом у Герцена в «Былом и думах»).

[5] Дальше в письме зачеркнуты две строки (ГМ, № 3, стр. 215). В копии после этого: «особенно если и последняя барышня, которая живет у него, вздумает оставить его в покое» («Русские пропилеи», I, 90).

[6] А. В. Розен, жена декабриста А. Е. Розена, который вначале августа 1832 г. был переведен в гор. Курган, Тобольской губернии.

[7] Сестры И. Д. Якушкина: Варвара Дмитриевна Воронец, Елизавета Дмитриевна Милюкова.

[8] Иван Дмитриевич — Щербатов, умер в 1829 г. на Кавказе.

[9] Письма от декабристов к их родным.

В начале 30-х годов были письма И. Д. Якушкина к Е. Г. Левашевой. Одно из них, по поводу смерти горячо любившей Ивана Дмитриевича тетки Е. А. Решетовой упоминается в статье о Якушкине и Чаадаеве: «Якушкин прослезился и прислал особенно тронувшее и Левашеву, и Чаадаева послание» («Декабристы», IX. 182). П. Я. Чаадаев вместе с Левашевой читал письма к ней из Петровского, которые Якушкин писал рукою Е. И. Трубецкой (там же, стр. 183).

Сношения Якушкина из Петровского с московскими друзьями были очень оживленными. Левашева посылала ему, а также М. И. Муравьеву-Апостолу и М. А. Фонвизину книги, семена для их цветников, наставления по уходу за растениями.

В 1834 г. П. Я. Чаадаев послал Якушкину небольшую картину с подписью художника Романелли, изображающую, наподобие иконки, семейную группу. Картина эта висела в камере Ивана Дмитриевича. Сам Чаадаев послал Якушкину не дошедшее до него большое письмо от 2 мая 1836 г. Вместо этого недошедшего письма Чаадаев послал 19 октября 1837 г. другое (стр. 257 и сл.). Были также за это время письма Ивана Дмитриевича к его другу-философу («Декабристы», IX, 193).

Следующее письмо в настоящем сборнике — первое после выхода И. Д. Якушкина на поселение. Указ Николая об этом подписан 14 декабря 1835 г. Якушкину было назначено с. Олонки, Иркутского округа, но по ходатайству Н. Н. Шереметевой его поселили в г. Ялуторовске, Тобольской губ. 19 июня 1836 г. Якушкин прибыл из Петровского Завода в Иркутск и тотчас же отправлен был под надзором жандарма в Тобольск. В «Статейном списке о государственном преступнике Якушкине» сообщалось: «Из дворян. От роду 43 года. Мерою 2 арш. 6¾ вершка; лицом смугл, волосы черные с проседью, глаза серые, нос посредственный. Мастерства не знает. Женат... имеет сыновей... дворяне»

(Дм.-Мамонов, 164). В списке вещей И. Д. Якушкина перечислено: 98 книг разных.

112 штук белья разного, тулуп, чекмень и т. п. (там же). Оба документа в ПД. 16 сентября 1836 г. И. Д. Якушкин прибыл в Ялуторовск, отстоящий от Тобольска в 260 верстах. Описание Ялуторовска см. у Дружинина, I, 34 и сл.

К письму 55

[1] Французский подлинник этого письма не найден; русский перевод опубликован в 1874 г., перепечатан в Сочинениях (I, 205 и сл.).

[2] Приключение — преследование Чаадаева и объявление его сумасшедшим за опубликованное в 1836 г. его первое «Философическое письмо». В 1935 г. все «Философические письма» опубликованы в точной редакции с комментариями, документально доказывающими неправильное толкование этого произведения как свидетельства политической реакционности П. Я. Чаадаева (сб. «Литературное наследство», вып. 22—24).

[3] Журналист — Н. И. Надеждин, журнал — «Телескоп», где напечатано первое «Философическое письмо».

[4] Для «вразумения» властей Чаадаев и ссылался в письме от 2 мая 1836 г. на библейские сказания о сотворении мира. Об этом — и в настоящем письме.

[5] Е. Г. Левашева.

К письму 56.

[1] Письмо И. Д. Якушкина к жене и сыну печатается впервые; первая часть — в переводе с французского подлинника (ПД, шифр 40—48).

[2] Н. Н. Шереметевой.

[3] Э. Сведенборг (1688—1772) — шведский ученый; начал свою деятельность в качестве натуралиста, затем стал мистиком; в своих письмах утверждал, что его посещают видения с «божественными откровениями», что он был «в сердечной области бога, в левом желудочке», и тому подобный бред.

[4] «Прозябание» — слово, которое часто употребляет Якушкин в противопоставление умственно-деятельной жизни.

[5] Дальнейший текст — письмо к сыну Вячеславу. Написано по-русски на том же почтовом листе, что и французское письмо к жене.

К письму 57

[1] Печатается впервые в переводе с французского подлинника (ПД, шифр 2589. IX, л. 48).

Александр Федорович Бригген (1792—1859) — полковник, участник Отечественной войны; в Бородинском сражении контужен в грудь; получил награды за храбрость; масон; член СБ. Осужден в каторгу на 2 года; на поселении в Сибири был до амнистии; в 1857 г. выехал в Россию.

[2] См. очерк И. Д. Якушкина «Что такое жизнь» (стр. 179 и сл.).

[3] Книги английского историка В. Роско (1753—1831): «Жизнь Лоренцо Медичи» (1795), «Жизнь и понтификат Льва X» (1805).

[4] Бригген был одним из образованнейших декабристов. В Сибири занимался переводом «Записок» Юлия Цезаря на русский язык. В. А. Жуковский, проездом через Курган, читал этот перевод и одобрил литературный язык Бриггена; пытался помочь ему издать эту книгу, но безуспешно (Дубровин, II, 117). Бригген оставил очень интересный очерк о происхождении Павла I («Былое», 1925, № 6). 32 письма Бриггена хранятся в Государственной Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде.

К письму 58

[1] Печатается впервые с подлинного (РО, собрание И. И. Пущина, переплет № 7577; дальше указывается: РО, №).

Послано в Туринск, где Пущин был поселен по выходе из Петровской тюрьмы. Это — ответ на письмо Пущина от 16 ноября: «Поджидал весточки от вас. Вы должны быть уверены, что мне всегда будет приятно хоть изредка получить от вас словечко» (Пущин, 1927, стр. 125 и сл.). На письме пометка Пущина: «получено 28 декабря».

[2] В том же письме от 16 ноября Пущин писал: «Я попал сюда потому, что сестра [А. И. Пущина] в просьбе своей назначила два города: Туринск и Ялуторовск — жребий пал на первый».

[3] Зачеркнуто слово, не поддающееся прочтению.

[4] В Ялуторовске жили тогда: М. И. Муравьев-Апостол, А. В. Ентальцев, В. К. Тизенгаузен. В 1842 г. к ним присоединились И. И. Пущин и Е. П. Оболенский, а в 1848 г.— Н. В. Басаргин.

[5] Дамы: К. П. Ивашева и ее мать М. П. Ле-Дантю, П. Е. Анненкова; товарищи: В. П. Ивашев, И. А. Анненков, Н. В. Басаргин.

После этого было письмо Якушкина к Пущину в феврале 1840 г.; оно упоминается в письме Пущина к Е. П. Оболенскому от 29 февраля, не найдено («Якушкин здоров и попрежнему занят неутомимо» — изд. 1927 г., стр. 132).

К этому периоду относится письмо Н. Н. Шереметевой к М. Я. Чаадаеву от 5 февраля 1839 г. с сообщениями о Якушкине и его детях («Действия Нижегородской Архивной комиссии», VIII, 1909, 382; ср. там же, 375).

К письму 59

[1] Печатается впервые (РО № 7578, л. 31—32). Перед этим — письмо Пущина к Якушкину от 19 января с извещением о К. П. Ивашевой.

[2] В с. Урик, Иркутской губ., жили А. и Н. Муравьевы, М. С. Лунин.

[3] В письме к Е. И. Трубецкой от 28 июня 1840 г. Пущин сообщает: «Верно, вы... слышали историю о *рыбе*, т. е. о географической карте, которую мы с

Якушкиным чертили в Петровском. За это на меня гонение от губернатора» (изд. 1927 г., стр. 135). Власти усмотрели в этом названии что-то крамольное.

[1] Этим началась педагогическая деятельность И. Д. Якушкина в Ялуторовске, занимающая виднейшее место в истории просвещения Сибири XIX в.

К письму 60

[1] Печатается впервые (РО № 7580, л. 9—13); на письме пометка: «получено 14 февраля». Листки вшиты в переплет и многое с трудом поддается прочтению; в тексте много приписок сбоку.

[2] Речь идет о семействе В. П. Ивашева. В письме от 17 января (Пущин, 1927, стр. 139 и сл.) Пущин вспоминает о «приятных минутах» «освежившего» его душу свидания с Якушкиным и Муравьевым-Апостолом во время его поездки в Тобольск для лечения, сообщает о смерти В. П. Ивашева, передает привет священнику Степану Яковлевичу Знаменскому; при деятельном сотрудничестве этого священника Якушкин разрабатывал тогда план устройства в Ялуторовске школы для мальчиков, которую вел вместе с ним многие годы. В письме к Е. И. Трубецкой от 28 июня 1840 г. Пущин заявляет: «В. Ялуторовске мне было бы лучше, с Якушкиным мы бы спорили и мирились» (изд. 1927 г., стр. 135 и сл.)

[3] П. Н. Свистунов 39 лет от роду женился в 1842 г. на дочери курганского окружного начальника А. И. Дуронова Татьяне Александровне; имел с нею трех детей (Дм.-Мамонов, 185; ср. «Алфавит», 394).

[4] Дальнейший текст — приписки на разных листках.

[5] От родных.

[6] Для занятий с учениками.

[7] Это приписка на отдельном листке.

[8] Возможно, что это был один из манифестов в связи с публикацией законоположения о «кочевых инородцах Восточной Сибири», переиздававшегося в это время; издавались тогда также отдельные части Свода законов, законоположения по крестьянскому вопросу (Полиевктов, 263 и сл., 271 и сл., 308 и сл.).

[9] Раздосадованный влюбленный.

К письму 61

[1] Печатается впервые (РО, № 7580, л. 41—42), Пометка: «получено 3 марта».

[2] Дочерей В. П. Ивашева Марию и Веру, которых М. П. Ле-Дантю отвезла к их родным в Симбирск.

К письму 62

[1] Печатается впервые (РО, № 7580, л. 43).

К письму 63

[7] Печатается впервые (РО, № 7580, л. 56—57). Пометка: «получено 7 марта».

[2] Буинск — Симбирской губ., где жили родные Ивашева.

К письму 64

[1] Печатается впервые (РО, № 7580, л. 64—65).

[2] Каролина Карловна Кузьмина — директриса Иркутского женского института, была в конце 30-х годов гувернанткой дочери Н. М. Муравьева Нонушки; после смерти А. Г. Муравьевой «искала сближения с Н. М. Муравьевым. В начале 1840 года она уехала в Россию, но в начале 1841 года вернулась неожиданно и приехала прямо в Урик, чтоб увидеться с Никитой Михайловичем. Александр Михайлович и Вольф очень грубо ее встретили и не допустили ее до Никиты, так что она была вынуждена уехать от них. Она поехала в Оёк к Трубецким, а месяца через три вернулась в Россию. Во многих письмах декабристов подробно рассказывается о ее приезде в Урик. Все осуждают поведение Александра Михайловича и Вольфа, а отчасти и Никиты Михайловича» (Е. Е. Якушкин, «Декабристы», II, 80).

[3] «Купец и франт».

[4] Дети В. П. Ивашева.

К письму 65

[1] Печатается впервые (РО, № 7580, л. 62—63). Пометка: «получено 29 марта».

[2] Свадьба — наследника престола Александра Николаевича — была 16 апреля 1841 г., и декабристы ждали по этому поводу некоторого облегчения своей участи.

К письму 66

[1] Печатается впервые (РО, № 7580, л. 99—100). Пометка: «получено 19 мая».

В тот же день, 2 мая, И. И. Пущин писал И. Д. Якушкину. О детях Ивашева он сообщал: «Свадьба должна была совершиться 16 апреля, следовательно, по всем вероятиям, недели через две узнаем здесь милость для детей. Это теперь главная моя забота» (Пущин, 1927, стр. 145).

[2] Кабинет И. Д. Якушкина в Ялуторовске воспроизведен в книге «Письма Г. С. Батенькова, И. И. Пущина и Э. Г. Толя», изд. Библиотеки им. В. И. Ленина, 1936 (вкл. лист в стр. 289); имя автора рисунка не обозначено.

К письму 67

[1] Печатается впервые (РО, № 7580, л. 124—131), пометка: «получено 20 июня».

[2] Речь идет о романе Александра Дюма-отца «Учитель фехтования». Россия изображена в романе в обычном для иностранных писателей стиле «развесистой клюквы»; героями являются служащая модного магазина француженка Луиза Дюпюи (П. Е. Анненкова) и ее муж граф Анненков, за которым она поехала в ссылку. В письме от 2 мая 1841 г. И. И. Пущин сообщает И. Д. Якушкину: «Я жду от Вадковского книгу об Анненковой. Марья Петровна получила письмо из-за границы от своей дочери Амалии, которая уже спрашивает некоторые объяснения по этому случаю. Прасковья Егоровна непременно хочет, увидевши, в чем дело, написать к своей матери в Париж с тем, чтобы ее ответ на клевету, лично до нее относящуюся, напечатали в журнале. Я понимаю, что это непременно должно сделать. За что бедную лишают единственного ее богатства и чернят тогда, когда она совершенно чиста. Если от Вадковского не будет этой книги, мы ее достанем из Франции. Нельзя ничего сказать, не прочитавши. Я все секретничаю — не хочется прежде времени ее тревожить. Скоро должен быть ответ Вадковского... Между тем пусть добрый Матвей Иванович напишет мне resumé того, что об ней в книге сказано. На его памяти можно основаться. Прошу его говорить, как оно есть, я не сделаю злоупотребления. Покажу ей, и тогда она сможет действовать, как хочет» (П у щ и н. 1927, стр. 145 и сл.; ср. у Анненковой (стр. 67, 308 и сл.). Ф. М. Достоевский в 1876 г. отмечал в «Дневнике писателя» об Анненкове: «тот самый, первоначальную историю которого исковеркал покойный Александр Дюма-отец в известном романе своем» (изд. 1929 г., стр. 173).

[3] В письмах к друзьям за 1841—1842 гг. И. И. Пущин часто упоминал о сделанном им совместно с П. С. Бобрищевым-Пушкиным переводе «Мыслей» Б. Паскаля (1623—1662). Директору Лицея Е. А. Энгельгардту (1775—1862) он писал 29 мая 1841 г., посылая в Петербург свой перевод: «Будьте крестным отцом возрожденного русского Паскаля... Постарайтесь денежно вознаградить труд Павла Сергеевича Пушкина... Это вознаграждение для него, с больным его братом, будет существенно полезно... пора старому Паскалю явиться на нашем языке» (П у щ и н, 1927, стр. 147). Из этого дела ничего не вышло. Пущин упоминает об этом в письме к Энгельгардту от 29 апреля 1845 г. (стр. 156). «Мысли» Б. Паскаля вышли в Петербурге в 1843 г. в русском переводе Ив. Бутовского. Цензурное разрешение от 11 июня 1843 г. Более ранних переводов не найдено позднейших было несколько: 1880-х годов и др.

[4] В Акатуй Лунин попал за свои знаменитые «Письма из Сибири» и очерки о ТО. Это были смелые и резкие памфлеты против самовластия царского правительства. Большинство этих произведений собрано в изданиях Сочинений М. С. Лунина (1923 и 1926 гг.) и в книге Гессена и Когана.

Эти памфлеты Лунин посылал сестре своей, Е. С. Уваровой, через III отделение и распространял в многочисленных списках. Осенью 1836 г. Лунин прибыл на поселение в Урик, близ Иркутска. Уже первые письма его к Уваровой

обратили на себя внимание III отделения, и с каждым новым письмом возмущение жандармов росло. В декабре 1837 г. Бенкендорф обратился к Е. С. Уваровой с письмом, в котором, «свидетельствуя совершенное почтение ее превосходительству Катерине Сергеевне», имел «честь сообщить полученное из Сибири от брата ее письмо, из коего ее превосходительство изволит усмотреть, сколь мало он исправился в отношении образа мыслей и сколь мало посему заслуживает испрашиваемых для него милостей».

Лунин не унимался. В августе 1838 г. III отделение сообщало генерал-губернатору Восточной Сибири, что «государственный преступник Лунин со времени обращения его на поселение в письмах к сестре, доставляемых в III отделение, часто дозволяет себе входить в рассуждения о предметах, до него не касающихся, и вместо раскаяния обнаруживал закоренелость в превратных его мыслях». Через некоторое время Бенкендорф сообщил генерал-губернатору, что он «нашел нужным воспретить Лунину всякую переписку в продолжение одного года, так как он, не умея ценить монаршего снисхождения и вопреки сделанных ему наставлений, не перестает помещать в письмах своих неуместные и предосудительные рассуждения». Генерал-губернатор передал распоряжение шефа жандармов Лунину, который подчинился насилию и умолк.

Первое письмо Лунина по истечении срока его вынужденного молчания, помеченное 15 сентября 1839 г., адресовано самому Бенкендорфу. И это письмо и посланное одновременно письмо сестре, но ей не переданное, доказали III отделению, что Лунин неисправим в отношении «вольного образа мыслей».

За письмами к сестре и Бенкендорфу последовали письма об угнетении царизмом поляков, о незаконности крепостного права и на другие социально-политические темы. Тон их становился все резче и резче. III отделение приняло тогда свои меры борьбы с «политическим орудием», которым Лунин, как он сам писал, «пользовался на защиту свободы». Когда Лунину было передано разрешение Бенкендорфа возобновить переписку с сестрой, но с ограничением ее содержания исключительно областью семейных интересов, он решил совсем отказаться от переписки. (Л у н и н, I, 100 и сл.). 10 (22) января 1840 г. он писал сестре: «Не зная, какие мысли и какие выражения могут им нравиться, предпочитаю лучше вовсе не писать к тебе, чем стараться скрывать свои мысли и взвешивать слова, которые обращаю к сестре» (там же, стр. 59).

Это решение не предотвратило столкновения Лунина с III отделением — столкновения, в котором он оказался совершенно раздавленным. Общественное мнение, служившее Лунину, по его собственным словам, «могучей подпорой», в «опасной борьбе» с правительством за свободу, было силой весьма невещественной в сравнении с физическим могуществом правительственной власти. По представлению Бенкендорфа царь велел «сделать внезапный и самый строгий осмотр в квартире Лунина, отобрать у него с величайшим рачением все без исключения принадлежащие ему письма и разного рода бумаги, запечатать оные и доставить

в III отделение, его же, Лунина, отправить немедленно из настоящего места его поселения в Нерчинск, и произвести строжайшее исследование» о распространении его «преступных» сочинений.

В полночь 26 марта 1841 г. чиновник генерал-губернатора П. Н. Успенский выехал из Иркутска с полицейскими и жандармами, в начале второго часа ночи прибыли в Урик. Обыск продолжался до 5 часов утра, а затем Лунина доставили в Иркутск. После допроса его отправили из Иркутска, но куда именно — об этом официально не сообщалось. Когда через несколько лет Е. С. Уварова подняла об этом вопрос и заявила, что брат ее находится в одном из худших сибирских каторжных рудников, в Акатуевском, была составлена справка с указанием, что III отделению об этом неизвестно. Между тем в связке бумаг о декабристах, в «Приложении к делу № 61, ч. 1, по экспедиции», имеется пачка документов о Лунине и среди них сообщение генерал-губернатора начальнику Нерчинских горных заводов о том, что Бенкендорф «велел Лунина отправить немедленно в Акатуевский рудник, но не употреблять в работу, а подвергнуть строжайшему заключению отдельно от других преступников, чтобы он не мог иметь решительно ни с кем сношений ни личных, ни письменных, и содержать его так впредь до особого повеления». Это сообщение генерал-губернатора помечено 25 февраля 1841 г., т. е. отправлено вместе с предписанием об аресте Лунина, но велено было держать это в секрете. Сообщая в Петербург о результатах обыска, сибирские власти писали, что «в доме Лунина, кроме значительного числа книг на латинском, частью греческом и польском языках, религиозного содержания, найден также алтарь, устроенный в особой задней комнате, и на нем все принадлежности священного действия, даже потир и каменная доска, которая заменяет у католиков наш антиминс, равно полное священническое облачение». Отмечу, что при упоминании о товарищах Лунина их называют «декабристами» и сообщается, что «государственные преступники очень потревожены взятием Лунина».

В Акатуе Лунина держали в одиночном заключении. Е. С. Уварова настойчиво добивалась смягчения участи брата. Полные скорби письма ее в III отделение оставались безрезультатными. В письме к Николаю от 12 октября 1845 г. она просит перевести в Урик томящегося на границе Китая многострадального брата ее, героя Аустрелица. Но милосердие было чуждо Николаю I, особенно в делах, касавшихся его «друзей 14 декабря». Е. С. Уваровой было сообщено в конце ноября 1845 г., что «высочайшего соизволения на ее просьбу не воспоследовало».

Когда Уварова получила этот ответ, Лунину уже ничего не нужно было. Все годы каторги и ссылки он провел без единой просьбы к своим политическим противникам, как называл он бывших своих товарищей и друзей, управлявших Россией. 29 января 1846 г. главный начальник жандармов А. Ф. Орлов представил царю доклад о том, что «содержавшийся при Нерчинских горных заводах, в Акатуевском тюремном замке, государственный преступник Лунин 3 декабря

1845 года скоропостижно умер», а помощник Орлова Л. В. Дубельт сделал на этом докладе надпись: «его величество изволил читать» (там же, стр. 114).

[5] Имеются в виду декабристы, отправленные на Кавказ в качестве солдат.

[6] Отсюда и до слов «говорить о себе» написано по-французски.

[7] Это неправильное суждение, не соответствующее ни содержанию исключительно революционных по замыслу и выполнению произведений Лунина, ни его намерениям, разделялось некоторыми другими декабристами (Ф. Ф. Вадковским, А. Н. Сутгофом). Но были и такие, которые понимали значение политических памфлетов Лунина. Так, М. И. Муравьев-Апостол, С. Г. Волконский, П. Ф. Громницкий переписывали его произведения. Тот же Вадковский писал Пущину по поводу сочинений Лунина: «Замечательный старик с неимоверною твердостью духа и характера!» С. П. Трубецкой не соглашался с мнением И. Д. Якушкина, что при составлении памфлетов Луниным руководило тщеславие. Трубецкой отмечал, что лунинские памфлеты представляют интерес, но считал, что у Лунина было стремление к мученичеству (сб. «Декабристы», IX, 25 и сл.). Упоминаемый в комментируемом отрывке А. Д. Копьев (1767—1846) — писатель конца XVIII ст., известен выходками, несвойственными его возрасту и положению.

[8] Старик — А. В. Ентальцев (ум. в 1845 г.); «другой старик» — В. К. Тизенгаузен.

[9] «Очень безобразна».

[10] О Панаеве, который рисовал для Пущина, вспоминал в 1854 г. В. И. Штейнгейль в письме к нему («Декабристы», IV, 370).

К письму 68

[1] Печатается впервые (РО, № 7580, л. 132—133). Пометка: «получено 15 июля».

[2] Михаил Иванович Пущин (1800—1869) — капитан, командир гвардейского Конно-пионерного эскадрона. «Тайному обществу не принадлежал и о цели его понятия не имел. Только за два дня до 14 декабря сблизился с Рылеевым и стал посещать его с тем единственным намерением, чтобы удостовериться, точно ли существует заговор... Притворился согласным делать то, что другие будут делать... 14 декабря присягнул с эскадроном... Осужден к лишению чинов и дворянства и написанию в рядовые... в полевые полки Кавказского корпуса» («Алфавит», 157 и сл.).

На Кавказе М. И. Пущин в шинели солдата руководил работами при осаде Эревани и других укрепленных пунктов. За отличие произведен в 1828 г. в первый офицерский чин. В следующем году при взятии Ахалцыха ранен пулей в грудь навылет. В 1831 г. уволен под строжайший тайный надзор. В мае 1841 г. ему разрешен въезд в Петербург с условием являться в III отделение для определения срока пребывания («Алфавит», 381). Напечатаны его ценные воспоминания о встречах с Пушкиным на Кавказе.

[3] В неизданном письме к И. И. Пущину от 20 февраля 1841 г. А. Н. Сутгоф передает «скандальную хронику», сообщает слухи о многих декабристах; о плохом обращении с К. К. Кузьминой; о М. С. Лунине, который «живет для истории»; о Е. И. и С. П. Трубецких, дом которых «набит слепыми, хромыми и всякими калеками» и «хозяева радушны» (РО, № 7580, л. 101—103).

К письму 69

[1] Печатается впервые в переводе с французской копии в собрании Якушкиных (ГЦИА, ф. 279, № 50, л. 1—4). Характеристику адресатки см. в письме М. И. Муравьева-Апостола к И. Д. Якушкину от 27 мая 1825 г. (письмо № 51).

К письму 70

[1] Печатается впервые с копии в собрании Якушкиных (ГЦИА, ф. 279, № 49, л. 5—6); написано по-русски.

[2] В настоящем письме систематически, хотя и кратко, изложены педагогические взгляды Ивана Дмитриевича, которые он применял в своей школьной ялуторовской практике.

И. Д. Якушкин «интересовался вопросами истории и политической жизнью, но главное его внимание поглощали точные науки и естествознание. Еще в России, в крепостных казематах Роченсальма, он страстно увлекался математикой и находил особенную прелесть в разрешении головоломных задач; в Петровском заводе он начал втягиваться в изучение природы, изобретал новые способы черчения географических карт и приступил к составлению большого руководства по географии. В Ялуторовске он сосредоточился на изучении ботаники и начал большое самостоятельное исследование западносибирской флоры» (Д р у ж и н и н, I, 37). Еще в первом письме к Н. Н. Шереметевой из Петровского Завода Иван Дмитриевич сообщал, что учится много в надежде быть когда-нибудь полезным для своих детей (см. стр. 255).

Но кроме этого, И. Д. Якушкин хотел еще приобщить к знанию широкие народные массы. Поселившись в Ялуторовске и задумав основать там школу для детей местных мещан и окрестных крестьян, он составил ряд учебных руководств по всем областям знания. В ГЦИА хранится составленная И. Д. Якушкиным «Записка о применении метода взаимного обучения в уездных училищах (ф. 279, оп. 1, № 24). Там же имеются составленные им «Учебные пособия» по русской истории, географии, по физиологии и анатомии человека, по русскому языку, по грамматике французского языка, по арифметике, ботанике, зоологии, физике, химии (ф. 279, оп. 1, № 28—37). Копия «пособия» по географии имеется в ГЦЛА (ф. 586, оп. 819, № 38). Записки по зоологии имеются в Музее революции СССР (папка № 1031).

По поводу этих руководств П. Н. Свистунов сообщает: в Ялуторовске «И. Д. Якушкин принялся переписывать свой огромный труд, конченный в

Петровском каземате: учебник географии, составленный по особому плану и по новой, им изобретенной методе. Затем он занялся изучением ботаники и составил полный гербарий ялуторовской флоры, распределив растения по семействам» («Воспоминания», II, 265; Созонович, 501).

Все эти рукописи обследованы в статье Н. М. Дружинина, в которой педагогическая деятельность Якушкина рассматривается не только в рамках ялуторовской школы, но как «типичное явление своего времени в широкой перспективе социально-педагогических течений начала XIX в.» (I, 34).

В курсе русского языка И. Д. Якушкин пользовался популярной тогда грамматикой Н. И. Греча, переработав ее, выбросив менее важные разделы, сократив формулировки, увеличив количество примеров. Руководство по географии он «разнес на 47 таблиц, которые охватывали собой краткие сведения из математической географии (о форме и движении Земли, о полюсах, экваторе, меридианах и пр.), важнейшие определения географии физической (понятия моря, материка и пр.) и длиннейший перечень географических названий, гораздо более детальный и сложный, чем это было принято в позднейших учебных пособиях... Для наглядного ориентирования в пространстве служил самодельный географический глобус; он был подвешен шнурком на железном блоке, мог подниматься и опускаться, описывать криволинейные движения и вращаться вокруг собственной оси... Было введено самостоятельное черчение карты Западной Сибири под непосредственным руководством самого Якушкина...

Курс русской истории был содержательнее и полнее, чем курс географии. Якушкин разнес его содержание на 56 стенных таблиц, начав с призвания Рюрика и кончив воцарением Николая I. Вчитываясь в историческое изложение декабриста, мы напрасно будем выискивать отголоски его политического мировоззрения. Перед нами — сжатое сухое строго фактическое повествование, которое ведется по династическим рубрикам и выдвигает на первый план события внешней политики и акты правительственной власти. Исторические явления, которые особенно интересовали и волновали декабристов,— вечевые собрания, тирания Грозного, реформа Петра I, попытки ограничения самодержавия — переданы очень глухо, без всякой политической тенденции. О вече упомянуто только в Новгороде; при изложении царствования Ивана IV главное внимание перенесено на внешние войны; экономические и культурные преобразования Петра I совершенно не затронуты; из всех конституционных попыток упомянуты только кондиции Анны Ивановны; очень вскользь задета екатерининская комиссия «из всех сословий государства»; о внутренней политике Павла не сказано ни одного слова. Зато подробно изложены польские, турецкие и шведские войны; особенно подробно передана война 1812—1814 гг. ...Опричнина была изложена Якушкиным в следующих словах: «В 1560 г. скончалась царица Анастасия, после чего царь отказался от престола, но по убедительной просьбе духовенства и выбранных членов сословий согласился опять царствовать; вслед затем два первые его любимца и

главные советники: новгородский иерей Сильвестр и Алексей Адашев были удалены; Сильвестр сослан был в Соловецкий монастырь (на острове Соловецком), Адашев послан в Ливонию, где он и умер. В 1565 г. Иоанн, отделив себе 20 городов с многими волостями, под названием опричнины, и учредивши особенных телохранителей, под названием опричников, остальную часть государства предоставил управление касимовскому царю Симеону, а впоследствии избранным боярам». Характеристикой реакционного десятилетия 1815—1825 гг. заканчивается исторический курс Якушкина: «В последние десять лет своего царствования император Александр особенно заботился о мире и общей тишине в Европе; он скончался в 1825 г. в Таганроге и завещал престол брату своему, ныне благополучно царствующему императору Николаю Павловичу». Революционные оценки не могли, конечно, найти место в элементарном изложении Якушкина. «Составляя свое школьное пособие, он старался устранить всякий намек на собственную политическую позицию; содержание курса должно было остаться благонамеренным и неуязвимым для явных и скрытых наблюдателей; его единственная задача была сообщить школьникам определенный минимум исторических фактов, расширить их хронологический кругозор и укрепить их национальное чувство. О закрепощении крестьян мы находим только два очень осторожных беглых упоминания» (Дружинин, I, 82 и сл.).

Обучая детей ботанике, Якушкин показывал им растение, «разбирал его основные части, рассказывал о корне, стебле и листьях, анализировал внутреннее строение цветка, знакомил школьников с классификацией растений, раскрывал характерные отличия растений друг от друга. Того же типа были школьные беседы по зоологии: Якушкин давал систематическое описание животных, разбирал их анатомическое строение, выяснял их деление на «отделы», «порядки», «колена» и «семейства»... В программу школы было введено рисование растений и животных» (там же, стр. 85).

И. Д. Якушкин «внес в учебную жизнь ялуторовской школы новую и свежую педагогическую струю. Прежде всего он занял определенную позицию по отношению к учащимся школы: он не изолировался от них, не поставил себя в положение сурового и недоступного ментора, а постарался внешне и внутренне сблизиться со всею массою школьников. Во время перемен он не уходил из классного помещения, а отвечал на разнообразные вопросы, которые задавали ему учащиеся; очень часто он выводил их во двор и затевал коллективные игры, в которых принимал самое непосредственное и активное участие». Экскурсии в поле и уроки в классе «осуществляли идею естественно-научного образования, которая с самых первых шагов вдохновляла Якушкина как педагога; они были решительным отступлением от ланкастерского метода, устанавливали непосредственную связь между учителем и учащимися, влагали в систему обучения недостающую ей жизненную конкретизацию и широко раздвигали умственный кругозор учащихся... Для полной характеристики ялуторовской школы нужно отметить полное

отсутствие телесных наказаний, которое резко контрастировало с порядками городского уездного училища. Якушкин пользовался исключительно методами нравственного воздействия и только в самых крайних случаях прибегал к высшей форме школьного наказания: на виновных надевали «лентяя», сделанного из бумаги и лент, производившего на детей сильное впечатление. Наоборот, в случае успехов выдвинувшийся школьник украшался похвальным ярлыком, который должен был возбуждать взаимное соревнование. Такое сочетание умелых воспитательных приемов вместе с внешней занимательной формой взаимного обучения делали школу привлекательной и любимой со стороны учащихся». (там же, стр. 84 и сл.).

Подробности о внешнем устройстве школы, о материальной помощи учащимся см. там же, стр. 75 и сл.

Об устройстве ялуторовской школы и педагогической деятельности И. Д. Якушкина см. еще «Воспоминания» Е. П. Оболенского (стр. 489 и сл.) и М. С. Знаменского (стр. 494 и сл.).

[3] Дальше — приписка по-французски.

К письму 71

[1] Печатается впервые (РО, № 7580, л. 187—190).

[2] В 1840 г. умерла мать И. И. Пущина Александра Михайловна, урожденная Рябинина.

[3] Слова Е. И. Трубецкой приведены по-французски.

К письму 72

[1] Опубликовано Е. Е. Якушкиным в 1926 г. («Декабристы». II, 104 и сл.). Это — ответ на письмо И. И. Пущина от 7 марта.

[2] В письме от 7 марта Пущин сообщал: «Племянник мой Гаюс вышел в отставку и едет искать золото с кем-то в компании. 20 февраля он должен был выехать; значит, если вздумает ко мне заезжать, то на этой неделе будет здесь. Мне хочется с ним повидаться, прежде нежели написать о нашем переводе; заронилась мысль, которую, может быть, можно будет привести в исполнение. Басаргин вам объяснит, в чем дело» (Пущин, 1927, стр. 150).

[3] В том же письме Пущин сообщал, что хочет просить о переводе его вместе с Е. П. Оболенским в Ялуторовск.

[4] Новобрачные — П. Н. и Т. А. Свистуновы.

[5] Е. П. Оболенскому.

К письму 73

[1] Печатается впервые (ПД, разр. 1, оп. 40, № 45).

К письму 74

[1] Опубликовано Н. К. Пиксановым в журнале «Историк-марксист» (1926, № 1, май, стр. 197).

К письму 75

[1] Печатается впервые в переводе с французской копии (ГЦИА, ф. 279, оп. 1, № 50, л. 5—6).

[2] Четверо: И. Д. Якушкин, М. И. Муравьев-Апостол, Е. П. Оболенский, И. И. Пущин.

[3] Дядя Нонушки (С. Н. Муравьевой) — А. М. Муравьев.

[4] После смерти Н. М. Муравьева правительство разрешило отправить его дочь в Москву, к бабушке — Е. Ф. Муравьевой.

Следующее из дошедших до нас писем И. Д. Якушкина — сентябрьское за 1846 г. Но еще в середине апреля этого года он получил известие о смерти Анастасии Васильевны. Ее мать, Н. Н. Шереметева, писала 28 февраля С. Я. Знаменскому: «Отношусь к вам, к вашей любви: поберегите нашего общего сына». И просит приготовить Ивана Дмитриевича к тяжелому для него удару. Зная любовь и привязанность И. Д. Якушкина к жене, Надежда Николаевна посылает С. Я. Знаменскому на одной неделе три письма, умоляя его не оставлять Ивана Дмитриевича в тяжелые минуты и сообщать ей, как переносит он свое тяжелое горе. Якушкин решил основать в память Анастасии Васильевны женскую школу. Действовал он при посредстве своих тобольских друзей, и 1 мая М. А. Фонвизин сообщал С. Я. Знаменскому о результатах своих переговоров с архиереем и губернатором. Женская школа была открыта 1 июля (Знаменский, 1, 93).

К письму 76

[1] Послано сыновьям Вячеславу и Евгению и жене последнего Елене Густавовне. Опубликовано в числе других 72 писем И. Д. Якушкина и его сыновей в сб. «Декабристы», IV, под редакцией и с примечаниями Н. П. Чулкова (в дальнейшем — «Декабристы», IV). Сверено с подлинным — в ГЦЛА (ф. Якушкиных, 586, № 2; в дальнейшем — ГЦЛА).

[2] В подлинном: «нескольких»; в дальнейшем мелкие разночтения и поправки не отмечаются.

[3] Х.-З. Я. Слонимский (1810?) изобрел числительную машину, за которую получил в 1845 г. от Академии Наук Демидовскую премию. По отзыву академика В. Я. Буняковского, машина Слонимского основана на «весьма примечательной» арифметической теореме. Слонимский напечатал много работ в различных областях естествознания, между прочим о вечности материи, курс математики, геометрии и др., сделал много технических изобретений.

К письму 77

[1] Печатается впервые по копии в ГЦИА (ф. 279, № 49, л. 25). Пометка Трубецкого: «отвечал 2 декабря».

[2] Эти подробности и сообщаются в приложенном здесь же письме М. И. Муравьева-Апостола.

[3] Письмо М. И. Муравьева-Апостола печатается в переводе с французской копии (там же, л. 26—29).

[4] Вдова В. К. Кюхельбекера — Дросида Ивановна; их дети — Михаил и Юстина.

К письму 78

[1] Печатается впервые в переводе с французской копии в ГЦИА (ф. 279, оп. 1, № 50, л. 7—10).

[2] Дочери С. П. Трубецкого: Елизавета (1834?), впоследствии вышла замуж за П. В. Давыдова, сына декабриста; Зинаида (1837?), вышла замуж за Н. Д. Свербеева.

[3] Две младшие дочери Трубецких учились с 1845 г. в Иркутском девичьем институте.

К письму 79

[1] Письма 79—84 опубликованы в сб. «Декабристы», IV; подлинные — в ГЦЛА (ф. 586, № 2).

[2] Статья о книге «Стихотворения Кольцова. СПб., 1846» написана критиком В. Н. Майковым (1824—1847); напечатана в журнале «Отечественные записки» за 1846 г. (№ 11, стр. 1—70). «Отрывки» его брата — стихотворения поэта А. Н. Майкова (1821—1897) «Очерки Рима» напечатаны в том же номере. Следует иметь в виду, что в это время в «Отечественных записках» на первом месте печатались статьи В. Г. Белинского, и комментируемые строки И. Д. Якушкина ясно показывают, что он эти статьи читал не менее прилежно, чем статью В. Н. Майкова.

К письму 80

[1] Первая часть письма — к жене младшего сына — по-французски.

[2] Имеются в виду события февральской революции 1848 г. Об этом — в серии статей А. И. Герцена «Опять в Париже» (Сочинения, т. VI), в труде К. Маркса «Классовая борьба во Франции». При чтении этого и следующих писем, в которых говорится о революционных событиях 1848 г. на Западе, нельзя упускать из виду, что письма проходили цензуру III отделения. Таким образом, становятся понятны выражения «шумиха» и «трескотня» по отношению к революционному движению. А подлинное — сочувственное — отношение И. Д. Якушкина

к событиям 1848 г. становится особенно ясным, если обратить внимание на слова «занимательность Пролога, разыгранного на улицах Парижа» (стр. 307). См. еще заявление И. Д. Якушкина в письмах от 22 октября 1849 г. и 13 января 1850 г. об «обстоятельствах, управляющих перепиской» декабристов.

[3] Василий Михайлович Муравьев (1824—1848), сын М. Н. Муравьева; умер в Иркутске, через три недели после свидания с И. Д. Якушкиным.

К письму 81

[1] События мартовской революции в Германии.

[2] Разбор сочинения Ж. Мишле «История революции» (французской, конца XVIII в.; I том вышел в 1847 г., напечатан в парижской газете, названной в тексте письма). Из многотомной «Истории Франции» того же автора, доведенной впоследствии до революции 1789 г., И. Д. Якушкин мог читать т. I—VI (1831—1843).

[3] Седьмая часть 20-томной книги А. Тьера «История Консульства и Империи (Наполеона I, перед которым автор благоговеет) опубликована в 1847 г.

К письму 82

[1] «Ум легко верит тому, чего желает сердце».

[2] Т.-Р. Мальтус (1766—1834) — английский пастор, буржуазный экономист, автор книги «Опыт о принципе народонаселения» (1798). Выдвинул «теорию», в которой утверждал, что рост народонаселения обгоняет рост средств существования и что первое увеличивается в геометрической прогрессии, а вторые — в арифметической.

К. Маркс и Ф. Энгельс во всех своих произведениях резко разоблачили эту реакционную теорию. Маркс (в «Нищете философии») называл книгу Мальтуса «пасквилем на человеческий род» и доказывал вздорность его «теории» (см. «Капитал», по указателю). См. Сочинения В. И. Ленина (по указателям).

Русский экономист В. А. Милютин (1826—1855) напечатал за год до комментируемого письма И. Д. Якушкина большую статью «Мальтус и его противники. Обзор различных мнений об отношениях производительности к развитию народонаселения» («Современник», 1847, № 8 и 9). Милютин писал, что «окончательный результат» борьбы Мальтуса и его противников «оказался» для теории Мальтуса «в высшей степени невыгодным» (В. Милютин, 1946, стр. 41).

[3] Хартисты — чартисты, участники политического и социального движения в Англии 30—40-х годов XIX в. В. И. Ленин в статье 1919 г. «Третий интернационал и его место в истории» писал, что чартизм — «первое широкое, действительно массовое, политически оформленное, пролетарски-революционное движение» (Соч., т. 29, стр. 282, 4 изд.).

[4] В. Годвин (1756—1836) — английский писатель, проповедывавший идеи утопического социализма. Против Мальтуса выступил с книгой «О народонаселении», где резко высмеивал его «теорию».

К письму 83

[1] Имеется в виду А. И. Чивилев (1808—1867), читавший в Московском университете (1835—1849) лекции по политической экономии и статистике. Его диссертация на степень магистра философии — «О призрении бедных» (1833). О трагической смерти Чивилева см. в «Воспоминаниях» Н. И. Пирогова (стр. 314).

[2] Ср. с письмом к М. Я. Чаадаеву от 19 июня 1854 г. (стр. 375).

К письму 84

[1] Дальше — приписка по-французски.

[2] Имеется в виду многотомная книга А. Тьера «История французской революции с 1789 г. до 18 брюмера» (1823—1827) — до переворота Наполеона I (1799 г.).

К письму 85

[1] Печатается впервые по копии в ГЦЛА (ф. 586, № 2). Первая часть письма — к Е. Г. Якушкиной — по-французски.

К письму 86

[1] Письма 86—90 опубликованы в сб. «Декабристы», IV. Подлинники — в ГЦЛА (ф. 586, № 2).

[2] Сухарева башня (в Москве) помещалась на нынешней Колхозной площади. Никольская ул.— нынешняя улица 25 октября.

[3] О Париже писали двое Мерсье. Л.-С. Мерсье написал многотомное сочинение «Картина Парижа» (1781) — резкую сатиру на парижан, и «Новый Париж» (1797). К.-Ф. Мерсье составил «Руководство для приезжающего в Париж» (1800). И. Д. Якушкин, повидимому, упоминает «Картину Парижа» (Чулков, 408, прим.).

Месмер (1733—1815) — врач, использовавший свои знания для шарлатанской проповеди о животном магнетизме, при помощи которого планеты якобы действуют на человеческое тело. Объявляя, что при помощи своих таинственных сил он может производить чудеса. Месмер обирал доверчивых парижан.

[4] Просмотр переписки декабристов сибирским начальством и в III отделении.

[5] Следующая часть письма — к Е. Г. Якушкиной — по-французски.

К письму 87

[1] Первая часть письма — к Е. Г. Якушкиной — по-французски.

К письму 88

[1] Вторая часть письма — к Е. Г. Якушкиной — по-французски.

К письму 89

[1] См. об этом в «Записках» (стр. 27). «Е. И. Якушкин оставил по себе память, как один из самых выдающихся деятелей крестьянской реформы... В широких слоях населения... это имя пользовалось известностью... стойкого и неуклонного ревнителя крестьянских интересов... Даже близкие люди только случайно, спустя много лет, узнали о том, что смоленское имение в полном составе... Е. И. отдал безвозмездно крестьянам... еще раньше освобождения» 1861 г. (Семевский — Евгений Иванович Якушкин. «Русское богатство», 1905, № 5, стр. 258 и сл.).

[2] С. А. Маслов. О всенародном распространении в России грамотности на религиозно-нравственном основании, М., 1845.

К письму 90

[1] Текст для Е. Г. Якушкиной написан по-французски.

[2] В большой поэме Т. Мура (1779—1852) «Лалла Рук» один из самых красивых эпизодов — «Рай и Пери». В нем тоскующая по раю Пери ищет драгоценных даров, которые открыли бы ей ворота неба. Этим даром оказывается слеза раскаявшегося грешника.

[3] Речь идет о пьесе А. Н. Островского «Банкрут», которую автор читал во многих домах, в том числе у Шереметевых; напечатана в мартовской книге журнала «Москвитянин» за 1850 г. под названием «Свои люди — сочтемся»; книга еще не могла быть в Ялуторовске в момент отправления комментируемого письма. Пьеса Островского вызвала, с одной стороны, гонение цензуры, с другой — сочувственные отклики в литературе, хотя ценителям таланта Островского приходилось писать, не упоминая имени автора и названия пьесы.

К письму 91

[1] Письма 91 и 92 опубликованы в статье М. С. Знаменского (I, 94 и сл.).

[2] Лукин — смотритель ялуторовского уездного училища, предшественник Н. А. Абрамова. Застав однажды Ивана Дмитриевича в учрежденной им школе, Лукин наговорил ему грубостей и приказал ему удалиться оттуда. Школа считалась в заведывании С. Я. Знаменского. «Разгорячившийся Якушкин вывел его самого». Лукина особенно возмущало то, что в школе преподает лишенный прав «государственный преступник» (Знаменский, I, 88).

К письму 92

[1] Крупный сибирский заводчик И. П. Медведев, кроме денежной помощи школе И. Д. Якушкина, пожертвовал для нее целое здание, находившееся на его

стеклоделательном заводе в с. Коптюле. Это здание перевезли в Ялуторовск и приспособили к нуждам школы (Дружинин, I, 75).

[2] Александр Львович — Жилин, был учителем в Ялуторовске, в это время — асессор строительной комиссии (Знаменский, I, 97).

К письму 93

[1] Письма 93—95 хранятся в ГЦЛА (ф. 586, № 2). Опубликованы в сб «Декабристы», IV.

К письму 94

[1] Бабушка — Н. Н. Шереметева, род. 26 сентября 1775 г., ум. 11 мая 1850 г.

[2] За все время существования основанного И. Д. Якушкиным в Ялуторовске мужского училища (1842—1856) в него было принято 594 мальчика, окончили курс 531 человек. В женское училище за 1846—1856 гг. принято 240 девочек, окончили курс 192 (Сербов).

[3] Ланкастерский — метод взаимного обучения. Система эта подробно изложена и охарактеризована в работе Н. М. Дружинина (I).

[4] Сменивший Лукина в должности смотрителя ялуторовского уездного училища Н. А. Абрамов (1812—1870) имел репутацию писателя, преданного науке. Он опубликовал много ценных материалов по истории Сибири, главным образом в области церковной древности и жизнеописания деятелей церкви (Венгеров, I, 20 и сл.). Но по отношению к ялуторовской ланкастерской школе он вел себя в высшей степени воинственно. Однако упоминаемое в комментируемом письме нападение Абрамова на школу И. Д. Якушкина было ликвидировано тобольскими декабристами: по распоряжению губернатора училищу для мальчиков была возвращена самостоятельность (Знаменский, I, 90 и сл.; см. еще письмо 106).

«Слава о нашем ялуторовском училище,— писал протоиерею Знаменскому декабрист Штейнгейль,— неумолкаемо гремит. На Кочурина (директора гимназии) она произвела, как видно, не минутное впечатление, а очень продолжительное: он относится об этом заведении в самых лестных выражениях...»

Смотритель курганского училища Т. Карентин писал 11 декабря 1842 г. «Г. директор от вашей школы в восхищении, считает ее образцовой не только в дирекции, но даже в Сибири. Мне говорил и даже просил меня, чтобы постарался устроить приготовительный класс по образцу ее. Радуюсь за вас, радуюсь и тому, что дело правое торжествует, а клевета и низкие доносы падают. О вашем командире (смотритель) невыгодное мнение. Пусть ухо держит востро, а иначе будет плохо. Впрочем, у всякого свой ум, как говорится, царь в голове». Такая директорская рекомендация заставила смотрителей училищ являться в Ялуторовск для знакомства со школой и затем присылать учителей для той же цели (Знаменский, I, 90 и сл.).

[5] И. Д. Якушкин «переработал ланкастерскую систему: он отказался от ее подчеркнутой религиозно-консервативной тенденции и стремился к максимальному расширению преподаваемых знаний» (Дружинин, I, 74).

К письму 95

[1] Написано по-русски.

[2] См. в «Записках» (стр. 94 и сл.).

К письму 96

[1] Опубликовано в статье М. С. Знаменского (I, 97 и сл.). Адресата часто вызывали в Тобольск по делам службы, и там он при помощи декабристов защищал ялуторовскую ланкастерскую школу.

[2] См. письмо 92 и прим. 1 к нему.

К письмам 97 и 98

[1] ГЦЛА (ф. 586 № 2); «Декабристы», IV.

К письму 99

[1] Письма 99—105 опубликованы там же, где предыдущие; настоящее написано по-русски.

[2] «Ветеран-поэт» — В. А. Жуковский. Цитата взята из его «Послания к Тургеневу» (Чулков; «Декабристы», IV, 417).

[3] Следующая фраза — по-французски.

К письму 101

[1] Докторская диссертация знаменитого профессора Московского университета Т. Н. Грановского (1813—1855) «Аббат Сугерий» вышла в свет отдельным изданием в 1849 г.

Диссертация вызвала нарекания со стороны высших представителей духовенства. Грановского, вызывал даже для объяснений полицейски-жандармского свойства митрополит московский Филарет (Станкевич, I, 224 и сл.). Хвалебный отзыв о диссертации был в журнале «Современник» за 1850 г. (т. XIX, отд. 5, стр. 67 и сл.).

[2] Письмо И. Д. Якушкина об А. Н. Островском не найдено (ср. письмо 90, стр. 320).

К письму 102

[1] Все письмо написано по-французски, за исключением фразы о поклонах Шереметевым — в конце.

К письму 103

[1] Горе — смерть Н. Н. Шереметевой.

[2] Статья А. И. Герцена «Несколько замечаний об историческом развитии чести» была опубликована в «Современнике» (1848, № 4; Соч., т. V, стр. 210 и сл.). Статья написана в 1843 г., имеет дату: «сентябрь 1846».

[3] «Вопрос чести».

[4] Статья перерабатывалась несколько раз, подвергалась искажениям цензуры.

К письму 104

[1] См. письмо 101.

[2] Е. И. Якушкин печатал в журналах, начиная с 50-х годов, статьи по литературе, истории общественного движения. В статьях о сочинениях А. С. Пушкина он дал много ценных дополнений к ним по рукописям поэта. Впоследствии стал печатать научные работы по этнографии, по крестьянскому вопросу, по обычному праву и т. п. (см. прим. 1 к письму 89).

К письму 105

[1] Аббат Сугерий — французский государственный деятель XII в., писатель. С 1122 г. был настоятелем аббатства св. Дионисия, близ Парижа (основано в 630 г.). Государственная деятельность Сугерия была в условиях его времени прогрессивной.

[2] Кислотвор и водотвор — тогдашние названия кислорода и водорода.

К письму 106

[1] Опубликовано в статье М. С. Знаменского (I, 98 и сл.).

[2] 3 февраля 1848 г. М. А. Фонвизин сообщил из Тобольска С. Я. Знаменскому, что министр внутренних дел признал Ялуторовское училище полезным потому, что в нем учатся дети разных сословий, и велел отпускать из городских средств сумму на содержание школы (Знаменский, I, 93). В делах Якушкинской школы принимал участие декабрист С. М. Семенов, занимавший видную должность в Тобольском губернском правлении.

К письму 107

[1] Подлинные письма 107—118 — в ГЦЛА (ф. 586, № 2); опубликованы в сб. «Декабристы», IV.

[2] Книжка профессора Киевского университета П. В. Павлова (1823—1895) — его докторская диссертация «Об историческом значении царствования Бориса Годунова» (1849). Книга обратила на себя внимание, была переиздана в 1863 г.

К письму 108

[1] Е. И. Якушкин был назначен преподавателем Константиновского межевого института 1 ноября 1850 г. Институт состоял в главном заведывании М. Н. Муравьева. Фактически Е. И. Якушкин начал преподавание значительно раньше опубликования приказа.

К письму 109

[1] Первая часть письма — к Е. Г. Якушкиной — по-французски.

К письму 111

[1] Отзыв о диссертации П. В. Павлова — в «Современнике» (1850, т. XXII).

К письму 112

[1] Такие замечания, исполненные высокого патриотизма и горячей любви к Родине, имеются во многих письмах И. Д. Якушкина и в письмах других декабристов.

[2] В «Отечественных записках» была напечатана статья К. Д. Кавелина (1818—1885) о докторской диссертации П. В. Павлова (1850, № 9). Инвалид русской истории — М. П. Погодин (1800—1875), реакционный историк и публицист, редактор журнала «Москвитянин». Кавелин выступал против Погодина.

[3] И. Д. Якушкин недоволен содержанием русских журналов того времени. Из-за жестоких гонений реакционной Николаевской цензуры на все самостоятельное, оригинальное, передовое журналы в основном наполнялись статьями, написанными либо бесцветным, либо тем «птичьим языком», которым А. И. Герцен вынужден был писать свои философские статьи по естествознанию. В истории русской литературы время с 1848 по 1855 г. называется «эпохой цензурного террора». Конечно, Якушкин, пристально следивший за современным ему культурным движением во всем его объеме, понимал причину сухости и бесцветности периодических изданий, но ему самому, еще больше, чем находившимся в относительно свободных условиях писателям и ученым, приходилось избегать в своих письмах точных и ясных определений.

К письму 113

[1] Кроме Межевого института Е. И. Якушкин преподавал гражданское и уголовное право в Сиротском доме, помещавшемся близ здания Межевого института.

[2] Д. А. Валуев (1820—1845) — писатель-славянофил, издал в 1845 г. «Симбирский сборник», в котором опубликованы материалы по истории допетровской Руси.

К письму 114.

[1] Речь идет о славянофильском «Московском литературном и ученом сборнике». Выпуски I и II вышли в свет в 1846—1847 гг., выпуск III — в 1852 г.

К письму 115.

[1] А. В. Шереметев не был избран смотрителем этой больницы.

К письму 117

[1] Написано по-русски.

К письму 118

[1] «Москвитянин» — орган реакционной группы славянофилов. Сцены А. Н. Островского напечатаны в № 22 за 1850 г. (ноябрь, кн. 2). Впоследствии Островский печатал свои пьесы главным образом в «Отечественных записках» Н. А. Некрасова.

[2] Во втором номере «Современника» за 1850 г. напечатано начало романа М. В. Авдеева (1821—1876) «Записки Тамарина». Авдеев — второстепенный романист; его произведения имели в 50-х годах большой успех. Меткие, правильные замечания И. Д. Якушкина в этом и многих других письмах по поводу произведений таких авторов, как А. Н. Островский, М. Ю. Лермонтов и др., показывают, что Иван Дмитриевич обладал хорошим вкусом и внимательно следил за развитием родной литературы.

К письму 119

[1] Опубликовано в статье М. С. Знаменского (стр. 99). А. В. Мясникова материально поддерживала школы И. Д. Якушкина.

К письму 120

[1] Подлинные письма 120—122 — в ГЦЛА (ф. 586, № 2). Часть письма — к Е. Г. Якушкиной — написана по-французски.

К письму 122

[1] В Тобольске, куда И. Д. Якушкин приехал для лечения и по делам своей школы, жили тогда декабристы: И. А. Анненков с женой (1841—1856), Н. С. и П. С. Бобрищевы-Пушкины (1840—1856); М. Б. Вольф (1845—1854), А. М. Муравьев с женой (1844—1853), П. Н. Свистунов с женой (1841—1856), С. М. Семенов (1841—1852), М. А. Фонвизин с женой (1838—1853).

[2] Е. И. Якушкин был директором Чертежного архива Межевого ведомства (Чулков, 434).

[3] Дальше — по-французски.

К письму 123

[1] Опубликовано в статье М. С. Знаменского (стр. 99 и сл.).

[2] Н. Н. Анненков (1800—1865), племянник И. И. Пущина, двоюродный брат декабриста И. А. Анненкова; ревизовал тогда деятельность сибирской администрации; после осуждения И. А. Анненкова относился к декабристу совсем не как брат, пытаясь завладеть его наследством. В результате беседы И. Д. Якушкина с Н. Н. Анненковым Тобольск получил школу для девочек — вторую в Сибири: «Здесь, по настоянию ревизора, учреждается женское училище» (из письма Н. Д. Фонвизиной от 22 апреля 1851 г. к С. Я. Знаменскому; указ. статья, стр. 100).

[3] Омск был областным центром Западной Сибири, в состав которой входила Тобольская губ.

К письму 124

[1] Подлинное в ГЦЛА (ф. 586, № 2); опубликовано в сб. «Декабристы», IV.

[2] В. И. Якушкин служил тогда по Межевому ведомству, которым управлял М. Н. Муравьев.

[3] В 1849 г. открылось движение по железной дороге от Петербурга до Чудова и от Вышнего-Волочка до Твери.

[4] Известный профессор Московского университета по кафедре всеобщей истории П. Н. Кудрявцев (1816—1858) защитил в 1850 г. для получения степени магистра труд под названием «Судьбы Италии от падения Западной Римской империи до восстановления ее Карлом Великим». И. Д. Якушкин читал похвальный отзыв об этой диссертации в «С.-Петербургских ведомостях» от 17 марта 1850 г.

К письму 125

[1] Подлинное в РО. Опубликовано в 1932 г. в переводе с французского («Декабристы», IX, 200); является добавлением к письму Н. Д. Свербеева (1829—1859), близкого по дружеским и родственным связям к декабристам. Свербеев женился в 1856 г. на дочери С. П. Трубецкого Зинаиде. Отправляясь из Петербурга на службу в Восточную Сибирь, Свербеев заехал в Ялуторовск — повидаться с тамошними декабристами — и привез И. Д. Якушкину портрет П. Я. Чаадаева. Сообщая о своем пребывании в Ялуторовске, Н. Д. Свербеев писал Чаадаеву: «Я провел здесь целую неделю, и, конечно, это время не забудется мною никогда... Радует то, что все, этими людьми перенесенное, не убило в них... жизненности... Письмо ваше и портрет были отданы Ивану Дмитриевичу в самый день моего приезда; о том, как была принята эта посылка, говорить не буду; в этом письме пишет сам получивший. Но не могу умолчать того, как мне было приятно познакомиться с этим живым и умным человеком; я, так сказать,

прислушивался к биению горячего, благородного его сердца и с каждой минутой любил его все более и более, и теперь, когда необходимо расставаться, чувствуется какая-то тоскливая тягость. То же впечатление, хотя и не равносильное, произвели на меня и все его товарищи... Много было расспросов об вас» (там же, стр. 199 и сл.).

Письмо П. Я. Чаадаева к И. Д. Якушкину за 1851 г. не найдено. Комментируемое письмо — последний, известный в литературе непосредственный документ о взаимоотношениях П. Я. Чаадаева и И. Д. Якушкина, кроме «Записок» И. Д. Якушкина, продиктованных им в 1853—1854 гг. Когда умер Чаадаев (в 1856 г.), И. Д. Якушкин был в Иркутске. Н. Д. Свербеев писал оттуда 9 августа Н. Д. Шаховской: «Пожалели мы здесь о бедном Чаадаеве. жаль его, что бы ему еще пожить и, быть может, свидеться со старыми товарищами; смерть его особенно опечалила Ив. Дмитриевича; кстати, он вчера уехал на старое пепелище в Тобольской губернии» (там же, стр. 100).

По возвращении из ссылки И. Д. Якушкин виделся с племянником П. Я. Чаадаева, первым его биографом, М. И. Жихаревым. Последний рассказывает, что «несокрушимая дружба» Ивана Дмитриевича к Чаадаеву после 34-летней разлуки была «так же жива, так же любопытна, так же баловлива, так же снисходительна, так же разговорчива, как в лучшие дни молодости» (стр. 184).

[2] Тетушка Чаадаева — А. М. Щербатова, кузины — Е. Д. Щербатова и Н. Д. Шаховская, брат — М. Я. Чаадаев.

К письму 126

[1] Подлинные письма 126 и 127 в ГЦЛА (ф. 586, № 2); опубликованы в сб «Декабристы», IV.

К письму 127

[1] «Комета» — альманах, изданный в 1851 г. Н. М. Щепкиным. Там было напечатано произведение Евгении Тур «Антонина. Эпизод из романа». Ее повесть «Племянница» была опубликована в «Современнике» за 1851 г. (№ 1 и 4).

К письму 128

[1] Письма 128 и 129 печатаются впервые с копий в ГЦИА (ф. 279, № 48, л. 5—6 и 17—18).

[2] «Все действительное — разумно».

[3] Н. Д. Свербеев был в родстве с декабристом Е. П. Оболенским.

К письму 129

[1] «Он имеет все, что нужно для того, чтобы делать счастливых и детей». Сын декабриста П. В. Давыдов женился на дочери декабриста Е. С. Трубецкой.

К письму 130

[1] Подлинное в ГЦЛА (ф. 586, № 2). Опубликовано в сб. «Декабристы», IV.

[2] В конце письма — по-французски: «обычай древних» и какие-то цифровые расчеты; к тексту отношения не имеет.

К письму 131

[1] Публикуется впервые; подлинное в ПД (Р I-40-45).

К письму 132

[1] Печатается впервые по копии в ГЦИА (ф. 279, № 48, л. 11—12).

[2] «Как достойный человек».

[3] Приезжал И. А. Фонвизин (разрешение было от 14 июля) повидаться с М. А. Фонвизиным.

[4] Молчановы: Дмитрий Васильевич, чиновник в Главном управлении Восточной Сибири; в 1850 г. женился на дочери декабриста Елене Сергеевне Волконской (1835—1916). Через год возникло дело по обвинению Молчанова во взяточничестве, тянувшееся несколько лет; Молчанов сидел некоторое время в тюрьме; дело кончилось в 1856 г. признанием его невиновным. Но еще в 1854 г. Молчанов заболел прогрессивным параличом, сошел с ума и в 1857 г. умер. За Молчанова выдала 15-летнюю Елену Сергеевну ее мать М. Н. Волконская против воли своего мужа, и это вызвало возмущение среди декабристов, которые относились к Молчанову недоброжелательно. Этим объясняется тон сообщения И. Д. Якушкина о Молчанове. Что касается Е. С. Волконской-Молчановой, то в письмах всех декабристов, особенно И. И. Пущина, о ней — самые нежные, родственные отзывы; она, с своей стороны, так же относилась к И. И. Пущину (см. письмо 145).

К письму 133

[1] Подлинное в ГЦЛА (ф. 586, № 2). Опубликовано в сб. «Декабристы», IV. Дата установлена по содержанию приблизительно; относится к середине зимы.

[2] Якушкин написал неправильно; надо: «Britannique».

[3] Н. П. Чулков обследовал названное издание за несколько лет и не нашел статьи, непосредственно связанной с письмом И. Д. Якушкина (стр. 438 и сл.).

К письму 134

[1] Письма 134 и 135 печатаются впервые; подлинные хранятся в ПД (PI-40-45).

[2] В 1852—1853 гг. вышел из печати 5-томный капитальный классический труд Д. А. Милютина (1816—1912) «История войны России с Францией в царствование императора Павла I в 1799 году» (итальянский поход А. В. Суворова); это исследование положило начало научному изучению военной истории.

Работа Милютина удостоена была премии Академии Наук, избравшей его членом-корреспондентом; переведена на французский и немецкий языки, переиздана в России в 1857 г. Т. Н. Грановский высоко ценил ее; не утратила своего научного значения в наше время (см. статью П. А. Зайончковского, Милютин, I, 15 и сл.).

[3] А. И. Михайловский-Данилевский (1790—1848) только начал составлять историю итальянского похода А. В. Суворова, но работа его была прервана смертью. Работы его по истории войны 1812—1815 гг. всегда вызывали отрицательные отзывы специалистов, сходные с отзывом И. Д. Якушкина.

[4] Флегонт Миронович Башмаков (1775?—1859) находился в военной службе с 1794 г.; участвовал в итальянском походе Суворова (1799 г.); за проявленную храбрость в войнах с Турцией и Швецией — в кампании 1812—1814 гг.— получил награды. После 1818 г. служил на Кавказе в артиллерии; разжалованный за растрату в солдаты, определен в Черниговский полк; в связи с возмущением полка доставлен в Петербург в кандалах. На следствии Башмаков заявил, что «с 29 декабря 1825 г. по 6 генваря 1826 г. находился в разных местах для того, чтобы уклониться от преступного возмущения, в котором не принимал никакого участия» («Алфавит», 31). Николай велел предать его военному суду при 1-й армии. Его приговорили к ссылке в Сибирь, где он и умер.

К письму 135

[1] М. А. Фонвизину разрешено было в феврале 1853 г. выехать с женою в Россию; по официальным данным, он прибыл в Москву 11 мая и через день отправлен в имение брата под Москвой. Возможно, что Е. И. Якушкин виделся с ним где-нибудь в пути из Сибири.

[2] Тихон Федотович — Прокофьев, тобольский губернатор в 1852—1854 гг. (Дм.-Мамонов, 257).

К письму 136.

[1] Печатается впервые по копии (ГЦИА, ф. 279, оп. 1, № 48, л. 1).

[2] Николай Николаевич — Муравьев-Амурский (1809—1881) с 1847 г.— генерал-губернатор Восточной Сибири. К декабристам относился дружественно. Приезжая в Ялуторовск, останавливался у И. И. Пущина. В 1858 г. добился признания Амура вплоть до самого устья границей России; благодаря этому России был возвращен свободный выход в Тихий океан, открытый старинными русскими мореходцами.

К письму 137

[1] Опубликовано в статье М. С. Знаменского (стр. 101 и сл.).

[2] В конце 1853 г. протоиерей С. Я. Знаменский по желанию генерал-губернатора был переведен в Омск; его преемник школами не интересовался. «Как ска-

зать о том,— писал Е. П. Оболенский протоиерею 18 января 1854 г.,— что мы ощущаем без вас. Ваше место, при всем том, что оно занято другим, остается пусто: там, где нет сочувствия сердечного, к тому нет и сердечного влечения... Между близкими вам Иван Дмитриевич хворает» (Знаменский, I, 101). С. Я. Знаменский устроил в Омске женскую школу.

[3] Учитель.

К письму 138

[1] Печатается впервые; подлинное в ПД (PI-40-45).

[2] И. Д. Якушкин получил разрешение поехать для лечения в Иркутск. Еще 4 февраля 1854 г. Е. П. Оболенский писал С. Я. Знаменскому в Омск: «Наш Иван Дмитриевич болен и крепко болен. Кто знает исход болезни, но опасность далеко еще не миновала. Потрудился он много, потрудился хорошо. Награда его ждет. Дай бог только, чтобы он ее принял с любовию и смирением. Бываю у него, но уста замкнуты, а сердце болит. Он раздражителен; мое слово не находит отголоска в его сердце. Я ли тут виноват, или другая сила препятствует,— разгадать не могу». Все письма ялуторовских декабристов к С. Я. Знаменскому за это время наполнены сообщениями о болезни Ивана Дмитриевича. «Вообще это наводит некоторый туман на нашем горизонте»,— писал И. И. Пущин. В апреле опасность миновала, и Пущин извещал протоиерея: «Ивану Дмитриевичу получше. Бог даст, совсем поправится и в конце мая с Вячеславом пустится на восток; тогда вы их обоих увидите, непременно для вас заедут в Омск... Евгения Ивановича проводили 26 марта. Это расставание было тяжело Ивану Дмитриевичу. Слава богу, что остался при нем другой сын. Оба очень хорошие ребята» (Знаменский, I, 102).

[3] М. С. Знаменский — художник, друг декабристов, должен был сделать копию с портрета С. Г. Волконского, Е. И. Якушкин распространял портреты декабристов в литографиях и фотографиях.

К письму 139

[1] Печатается с подлинника (ГЦЛА, ф. Чаадаевых, перепл. № 546, № 24); опубликовано А. В. Звенигородским в 1910 г. (РС, № 9, стр. 499 и сл.).

Михаил Яковлевич Чаадаев (1792—1866) — старший брат Петра Яковлевича; был майором Бородинского пехотного полка, в марте 1820 г. вышел в отставку «по домашним обстоятельствам» (Чаадаев, I, 345). С 1834 г. жил безвыездно в с. Хрипунове, Ардатовского уезда, Нижегородской губ. На письме И. Д. Якушкина М. Я. Чаадаев пометил: «Получено 1854 г. Июля 24 в с. Хрипунове из Ардатовской почтовой конторы (в конверте с адресом неизвестной руки... Михаилу Яковлевичу Чаадаеву...»).

Это — единственное сохранившееся письмо И. Д. Якушкина к М. Я. Чаадаеву, но их было много. Из записи в дневнике последнего от 24 декабря 1854 г.

видно, что существовал особый пакет с письмами И. Д. Якушкина, которые, повидимому, погибли после смерти адресата (Звенигородский, 499).

[2] См. «Записки» (стр. 95).

[3] 20 июня И. Д. Якушкин не мог выехать из Ялуторовска. Это видно из его приписки к настоящему письму, а также из сообщения И. И. Пущина протоиерею С. Я. Знаменскому от 30 июня: «Я дожидался все отъезда нашего бедного Ивана Дмитриевича, чтобы отвечать вам; но, как видно из хода его болезни, он еще не так скоро в состоянии будет пуститься в путь, хотя бы ему и сделалось лучше, чего до сих пор, однако, незаметно. Бедный больной наш очень страдает и чрезвычайно ослаб в силах. Много вредит ему, как мы полагаем, неудобство его квартиры, где он всегда, как в бане, особливо при теперешних жарах. Советовать переменить ее было бы бесполезно: вы знаете хорошо его характер. Теперь же от болезни он сделался еще несговорчивее» (Знаменский, I, 102). По пути Иван Дмитриевич заехал в Омск (см. письмо 140).

К письму 140

[1] Опубликовано в статье М. С. Знаменского (стр. 103).

К письму 141

[1] Письма 141 и 142 опубликованы Е. Е. Якушкиным («Декабристы», II, 114 и сл.).

[2] Гавриил Степанович Батеньков (1793—1863) жил в Томске в доме Н. И. Лучшева (Лутшев, Лучших). Сын скромного офицера (среди его родных — священники, мещане, солдатские жены), Батеньков родился в Тобольске; сначала воспитывался там в Военно-сиротском отделении, затем в Петербурге, в военных школах. В мае 1812 г. выпущен в армию с первым офицерским чином и принимал участие в войне 1812—1814 гг. Был тяжело ранен в сражении во Франции; в 1816 г. «за ранами уволен от службы». После того сдал экзамены в Институте корпуса инженеров путей сообщения и отправился на службу в Сибирь. Здесь узнал его М. М. Сперанский, оценил его незаурядные способности и приблизил к себе. Когда Сперанский вернулся в Петербург, он привлек Батенькова к работе в Особом сибирском комитете. По его рекомендации Батеньков одновременно занимал видное место в Главном управлении военных поселений под непосредственным начальством Аракчеева.

Батеньков был масоном еще в Сибири, до 1825 г. По данным СК, «был членом» ТО «со дня смерти» Александра I, т. е. с конца ноября 1825 г., «но еще прежде вступления питал образ мыслей, согласно с духом оного... В совещаниях перед 14 декабря... подавал мнения... ограничивавшиеся одним стремлением ко введению конституционного правления». Говорил, что царский «дворец должен быть священное место» и «забираться туда не следует». «Питал честолюбивые виды быть членом Временного правления... наконец раскаявшись в преступлении

своем, дал присягу» Николаю I «и в возмущении 14 декабря никакого участия не принимал». Тем не менее «осужден к ссылке в каторжную работу на 20 лет» («Алфавит», 30). Вместо каторги Николай велел заточить его в Алексеевский равелин Петропавловской крепости, где Батеньков просидел 20 лет в одиночной камере в условиях, которые были хуже тяжелой каторги. В 1846 г. его отправили на поселение в Томск. Здесь с ним познакомился Е. И. Якушкин в первый свой приезд в Сибирь. После амнистии 1856 г. Батеньков вернулся в Россию. Оставил «Записки», стихи; многое опубликовано. См. еще сб. «Поэзия декабристов» (1950, стр. 652 и сл.).

3 В письмах к Е. И. Якушкину Батеньков называл его сыном.

4 Я. Д. Казимирский был плац-майором в Чите и Петровском, где сдружился с декабристами; дружеские отношения между ними поддерживались и после выхода декабристов на поселение.

5 Дальше — рукою В. И. Якушкина.

К письму 142

1 Н. Д. Свербеев.

К письму 143

1 Письма 143—145 опубликованы в сб. «Декабристы», IV (стр. 440 и сл.); на 143-м И. И. Пущин сделал пометку: «получено 17 августа».

2 Евгений — Е. П. Созонович; Павел Григорьевич — Созонович; Лутчев — Н. И. Лучшев.

К письму 144

1 Написано рукою В. И. Якушкина. И. И. Пущин пометил: «получено 18 сентября».

2 Черемша — см. письмо 146.

К письму 145

1 Первая часть написана рукою В. И. Якушкина. Помета И. И. Пущина: «получено 25 сентября».

2 Ее светлость — Софья Григорьевна, жена министра императорского двора, светлейшего князя и фельдмаршала П. М. Волконского, сестра декабриста С. Г. Волконского, приезжавшая с разрешения Николая I навестить брата.

3 «Аргонавты» — подразумеваются чиновники Н. Н. Муравьева-Амурского, разъехавшиеся в командировки и по Сибири и попутно занимавшиеся разведыванием золотых приисков. Генерал — Н. Н. Муравьев.

4 Камер-юнкер А. И. Бибиков, племянник М. И. Муравьева-Апостола.

5 Дальше — рукою И. Д. Якушкина.

К письму 146

[1] Опубликовано в статье М. С. Знаменского (стр. 101).

К письму 147

[1] Письма 147—150 опубликованы в сб. «Декабристы», IV.

[2] В доме В. Бронникова жил И. И. Пущин.

[3] Викторочи — Александр Викторович Поджио и его жена Лариса Андреевна.

[4] Певица Де-Гаро, неудачно гастролировавшая в Сибири.

[5] М. А. и Н. А. Бестужевы жили в Селенгинске — по пути в Кяхту, где Н. Р. Ребиндер был градоначальником.

[6] Е. И. Якушкин, приезжавший в Сибирь в 1853—1855 гг., сблизившийся с декабристами и знавший очень многое по их рассказам, дал в «Дневнике» интересную характеристику С. Г. Волконского: «С такими понятиями, как у него, стариков почти совсем нет. К дворянству у него ненависть такая, ежели не на деле, так на словах (и это в его годы редкость), что сделал бы честь любому республиканцу 93 года. Впрочем, в искренности его убеждений сомневаться нельзя. Он вступил в Общество, конечно, по убеждению, а не из каких-либо видов: в 1813 г. он уже был генералом (ему было 24 года) — у него не было недостатка ни в надеждах на будущее, ни в средствах к жизни, ни в имени. Почти в одно и то же время он и М. Орлов женились на двух сестрах Раевских, дочерях известного генерала 1812 г. Ник. Ник. Раевского. Н. Н. Раевский, знавший, что оба они принадлежат к Тайному обществу, требовал, чтобы они оставили его, ежели хотят жениться на его дочерях. М. Орлов согласился, но Волконский, страстно влюбленный в Раевскую, отказал наотрез, что убеждений своих он переменить не может и что он никогда от них не откажется. Партия была так выгодна, что Раевский не настаивал на своих требованиях и согласился на свадьбу. Этот брак, вследствие характеров совершенно различных, должен был впоследствии доставить много горя Волконскому и привести к той драме, которая разыгрывается теперь в их семействе... К несчастью всего этого семейства, судьба привела в Иркутск Молчанова — человека ограниченного и давно известного многими мерзостями и имевшего большое влияние на генерал-губернатора Н. Н. Муравьева и поэтому игравшего не последнюю роль в Иркутске... Ее [М. Н. Волконскую] предупреждали, что Молчанов не составит счастья ее дочери — объясняли ей, что он за человек, и сам Волконский сказал решительно, что он не согласится на эту свадьбу. Все было напрасно. Мария Николаевна не хотела никого слушать... Старик, наконец, уступил» («Декабристы», II, 51 и сл.).

К письму 148

[1] Пометка И. И. Пущина: «получено 18 октября».

[2] С. Г. Волконский писал И. И. Пущину 1 октября 1854 г: «Вчерась прискакал ко мне нарочный... с известием, что Петр [Борисов] найден мертвым в посте-

ли, а Андрей повешенным в сенях на лестнице на вышку, и что оказался пожар в доме. Горестная эта весть мне сообщена уже, когда смеркалось — я поскакал в Разводную и нашел обоих братьев в описанном положении. Убедясь в этом — мне нельзя было без местного начальства приступить к какому-либо исследованию происшествия... Побыв коротенько у встревоженной соседки их, воротился в дом свой, чтоб известить положительно встревоженных моих домашних. Что окажется по следствию, сообщу — до этого теряешься в предположениях — а кажется, мне определено хоронить да хоронить — товарищей моих. Просил позволения присутствовать при следствии, желаю убедиться и следить о причинах сей неожиданной смерти, да также желаю сохранить труды, относящиеся единственно к науке... Вчерась еще поутру получил от живых Борисовых послание, радушное, как всегда,— с поручением, которое поспешил исполнить,— а вчера видел их бездыханных. Сестра моя и весь мой дом очень огорчены происшедшим. Сестра тому дней восемь была у них — Андрей ее принял и очень ей понравился оригинальностью своей, а про Петра уже и нечего говорить — он ее очаровал, как и нас всех, а теперь — непонятная кончина. Жду дозволения ехать и не могу дождаться». 14 ноября С. Г. Волконский снова писал Пущину: «Понимаю, какое грустное впечатление произвела над всеми смерть Борисовых, и поймете мои впечатления, прибыв на сцену этого происшествия, может быть, часа два до плачевного события. Сколько мне было и потом хлопот; спасти от описи все то, что должно бы спасти, возиться с следственной комиссией — присутствовать при открытии тел (в первый раз в моей жизни), бороться с консисторией для получения позволения преданию их земле в кладбище — кое-как все устроил, и два брата опущены в одну могилу — и прах их будет не разделен, как вся жизнь их с детства, в гражданском быту и в тюрьме и в ссылке» («Декабристы», IV, 101 и сл.). См. еще «Воспоминания» Бестужевых (стр. 308).

Братья Андрей (1798—1854) и Петр (1800—1854) Борисовы — сыновья отставного офицера Черноморского флота. Дворянин только по названию, не имевший никакой собственности, многосемейный, Иван Андреевич Борисов занимался по выходе в отставку ручным трудом и к этому же приучил своих сыновей, которым постарался дать хорошее образование. Оба брата по окончании специального военного образования поступили на службу в артиллерию. Размышлением и чтением философских книг они выработали материалистическое мировоззрение, были страстными противниками феодально-крепостнического строя. Не зная о существовании ТО, оба они, совместно с другим представителем демократической разночинной интеллигенции Юлианом Казимировичем Люблинским (1798—1873) основали Общество соединенных славян (Сл.). По мысли основателей Общество имело целью объединить все славянские племена в одной демократической федерации. Устав Сл. («Правила») и клятву членов Общества выработал главным образом П. И. Борисов. Осенью 1825 г. Сл. присоединилось к ЮО. Оба Борисовы осуждены по I разряду к отсечению головы за то, что «умышляли на царе-

убийство, вызывались сами и дали клятву на совершение оного... учредили и управляли Тайным обществом, имевшим целию бунт; приуготовляли способы к оному; действовали возбуждением нижних чинов к мятежу» («Роспись», стр. 56). «Милосердием» царя им «дарована» жизнь и они посланы в «вечную каторгу». В 1839 г. Борисовы были выпущены на поселение. В тюрьме и на поселении братья Борисовы, по отзывам начальства, были «всегда печальны, тихи, молчаливы и с большим терпением» переносили «свое состояние» (Волконская, 1906, стр. 146). Андрей Иванович под влиянием тяжелых условий крепостного и тюремного заключения заболел психическим расстройством; однако занимался переплетным ремеслом. Петр Иванович все годы после разгрома ТО (продолжал научные занятия, писал очерки по философии и естествознанию. Его интересная статья о происхождении земли печатается в сб. «Декабристы», XI. Он обладал превосходным даром художника-натуралиста, составил изумительные по исполнению альбомы птиц, бабочек и других насекомых; составил несколько ценных коллекций птиц и насекомых. На поселении он с успехом занимался также педагогической деятельностью. 30 сентября 1854 г. Петр Иванович скоропостижно скончался. Увидев брата мертвым, Андрей Иванович покончил с собой. см. примеч. 1 к стр. 112. О Борисовых и Волконском — у Белоголового (стр. 3 и сл., 32 и сл.).

К письму 149

[1] Первая часть письма — рукою В. И. Якушкина. Пометка И. И. Пущина: «получено 15 ноября».

[2] Екатерина Петровна Липранди (?—1874), начальница Иркутского женского института. Фамилия ее «уважения не вселяла» потому, что ее брат, Иван Петрович Липранди (1790—1880), близкий в 20-х годах к А. С. Пушкину, М. Ф. Орлову, В. Ф. Раевскому и сочувствовавший движению декабристов, в 1847 г. был главным шпионом-губителем петрашевцев.

[3] Мария Александровна Дорохова (1811—1887),— двоюродная сестра декабристов Ф. Ф. Вадковского и З. Г. Чернышева. Ее муж Р. И. Дорохов умер в 1852 г., и она имела в виду выйти замуж за декабриста П. А. Муханова. Но Муханов умер 12 февраля 1854 г., и М. А. Дорохова, бывшая до того начальницей Иркутского женского института, поехала к родным Муханова — разделить с ними скорбь по умершем. Трогательные письма М. А. Дороховой, о П. А. Муханове — в сб. «Памяти декабристов», вып. 1.

[4] Дальше — рукою И. Д. Якушкина.

[5] Деньги и капитал — по Малой артельной кассе декабристов, которой заведывал И. И. Пущин.

[6] См. письмо 148.

К письму 150

[1] «Получено 27 ноября» (И. Пущин).

[2] Фавст Петрович Занадворов — чиновник, совершивший злоупотребления в связи с получением наследства его богатого родственника; когда же его отдали за это под суд, он заявил, что Д. В. Молчанов получил у него крупную взятку за послабления в следствии.

[3] Известия: из Крыма — о войне с Англией и Францией, из Камчатки — о героической обороне Петропавловска, о победе русских войск, одержанной над англо-французским флотом; подвиги в Турции и в Италии — русских военных сил под водительством П. А. Румянцева, А. В. Суворова, Ф. Ф. Ушакова и других полководцев.

[4] Фрегат «Паллада», на котором совершил знаменитое путешествие И. А. Гончаров, был в 1854 г. вследствие ветхости разоружен и затоплен.

[5] Интерес к событиям на войне отражен также в воспоминаниях и письмах других декабристов.

[6] Нашими выстрелами убит английский адмирал Прайс.

[7] Дальше — рукою В. И. Якушкина.

[8] Дочь А. В. Поджио Варвара.

К письму 151

[1] Печатается по автографу, воспроизведенному без окончания, автотипически в «Записках» И. Д. Якушкина (1925, стр. 168). Подлинное не найдено.

[2] Письмо обрывается на сообщении о болезни И. Д. Якушкина. Почти в каждом письме к Г. С. Батенькову за сентябрь-декабрь 1854 г. И. И. Пущин сообщал: «Якушкин опять с страшными ранами на ногах и с подвязанными ногами».

К письму 152

[1] Печатается впервые; подлинное в ПД (PI-40-45).

[2] «Постоялый двор» — повесть И. С. Тургенева (1852 г.).

К письму 153

[1] Опубликовано в сб. «Декабристы», IV (стр. 454 и сл.); пометка Пущина «получено 22 декабря».

К письму 154

[1] Печатается впервые; подлинное в ПД (PI-40-37).

[2] Н. Р. Ребиндер — кяхтинский градоначальник; посылал с известием о победе русских военных сил над «рыжими» (англичанами) к джургучию, пограничному китайскому начальнику.

[3] Кум и кума — А. В. и Л. А. Поджио (см. у Белоголового, 43 и сл., 81 и сл.).

[4] Тяжелый день для чиновников — празднование тезоименитства Николая I и поздравление генерал-губернатора Н. Н. Муравьева-Амурского.

К письму 155

[1] Письма 155—156 напечатаны в сб. «Декабристы», IV (стр. 458 и сл.); на первом пометка Пущина: «получено 1 генваря».

[2] Чапаруха — посуда для вина.

К письму 157

[1] Печатается впервые по копии в ГЦИА (ф. 279, № 49, л. 9—11).

[2] См. письмо 152

[3] Обо всех этих событиях см. в исследовании академика Е. В. Тарле «Крымская война» (3-е изд., т. I—II, 1950).

К письму 158

[1] Печатается впервые; подлинное в ПД (PI-40-37).

К письму 159

[1] Письма 159 и 160 печатаются впервые; подлинные в РО (перепл. № 7586, л. 29—31, 48—49; пометки: на первом — «получено 1 февраля», на втором — «получено 15 февраля»).

[2] См. очерк И. Д. Якушкина об А. Г. Муравьевой (стр. 167 и сл.) и в примечаниях — выдержки из воспоминаний о ней И. И. Пущина (стр. 621).

К письму 161

[1] Опубликовано в сб. «Декабристы», IV (стр. 460).

[2] В. Д. Францов, сын тобольского губернского прокурора; жил в с. Марьине, Московской губ., у Н. Д. Фонвизиной.

[3] Имеется в виду Александр Александрович Крюков (1794—1867), член ЮО, осужденный в каторгу на 20 лет. В 1835 г. «обращен на поселение»; жил в Минусинске; женился в 1853 г. на крестьянке Анне Николаевне; имел с нею, до брака, трех детей. В 1856 г. выехал в Россию, затем вернулся в Минусинск — к семье. Разрешение выехать с семьей в Россию получил только в 1859 г.

[4] На последней странице: «Петру Николаевичу Свистунову». В своих позднейших воспоминаниях, 1870 г., П. Н. Свистунов дал яркую характеристику И. Д. Якушкина, которая приводится дальше (стр. 493 и сл.).

К письму 162

[1] Печатается впервые; подлинное в РО (№ 7586, л. 241—242; 4 странички); «получено 21 мая» (И. Пущин).

[2] Надежды на возвращение декабристов Россию в связи со смертью Николая I.

К письму 163

[1] Печатается впервые; подлинное в ГЦИА (ф. Якушкиных, № 279, оп. 1, № 51).

[2] По управлению имениями, доставшимися Н. Д. Фонвизиной после ее мужа и его брата. Не имея возможности освободить своих крепостных, она старалась передать имения в казну, надеясь таким путем облегчить положение крестьян.

К письму 164

[1] Письма 164—166 печатаются впервые; подлинные в РО (№ 7586, лл. 323—324; № 7587, лл. 88—89, 109—110). На первом помета: «получено 28 июня».

[2] Все это связано с трениями между чиновниками военно-административного управления Восточной Сибири, служившими под общим начальством Н. Н. Муравьева-Амурского.

К письму 165

[1] Помета Пущина: «получено 27 августа».

[2] Настоящее упоминание о жене И. И. Пущина едва ли не единственное во всей литературе о декабристах. И. И. Пущин имел в Сибири две внебрачные связи, о которых не упоминается ни в одном из его многочисленных опубликованных писем. Но о своих детях от этих связей он упоминает неоднократно. Это были: дочь Аннушка и сын Ваня. «Аннушка родилась 1842 года 8 сентября. Именины ее 3 февраля. Ваня родился 1849 года 4 октября. Именины 8 мая» («И. И. Пущин — Семейный летописец,— «Памяти декабристов»; вып. III, 86).

Дочь Аннушка родилась в Туринске, когда И. И. Пущин устраивал свой переезд в Ялуторовск. Мать ее оставалась на попечении Е. П. Оболенского, который извещал Ивана Ивановича о ходе родов, о здоровье матери, которую также звали Аннушкой, о ребенке и т. п. (неизданные письма в РО, переплет № 7580; извлечения — см. Соколов, 176 и сл.). Мать Аннушки была прирожденная сибирячка. Повидимому, осталась в Туринске. Дочь свою И. И. Пущин взял с собой в Ялуторовск. В августе 1855 г. он отправил ее на воспитание к М. А. Дороховой, которая была тогда назначена начальницей женского института в Нижнем-Новгороде. Вернувшись в Россию, И. И. Пущин упоминал о дочери в письмах к родным и друзьям. Аннушка умерла в 1863 г.

Сын И. И. Пущина родился в Ялуторовске от другой женщины, имя которой неизвестно. Он все время был при отце и вместе с ним выехал в 1856 г. в Россию. В Москве отец отдал его в пансион, затем И. И. Пущин-сын был усыновлен братом отца Николаем (для получения прав) и официально звался

Иваном Николаевичем. Он был врачем, жил в Орле и умер в первые годы после Великой Октябрьской социалистической революции.

К письму 167

[1] Печатается впервые; подлинное в ПД (РI-40-37).

[2] Из Сибири Ж. А. Муравьева, вдова декабриста Александра Михайловича. выехала еще в июне 1854 г.

К письму 168

[1] Письма 168—170 публикуются впервые; подлинные в РО (№ 7586, л. 186—187, 214—215, 277—278); на всех — пометки И. И. Пущина о получении их через 10—15 дней.

[2] Дальше — рукой Е. И. Якушкина.

[3] Известие об убийстве Н. Н. Муравьева (Карского)— неверное.

[4] Дело Д. В. Молчанова.

К письму 169

[1] Дальше — рукою Е. И. Якушкина.

[2] Петр Андреевич Клейнмихель (1793—1869) — один из реакционнейших и довереннейших министров Николая I, ученик и ставленник Аракчеева, взяточник и казнокрад. Удаление Клейнмихеля знаменовало собой фактическое признание Александром II негодности прежнего правительственного курса и вступление на путь реформ.

[3] Е. И. Якушкин занимался фотографией, собирал. переснимал и всевозможными путями распространял портреты декабристов.

К письму 170

[1] Дальше — рукой Е. И. Якушкина.

К письму 171

[1] Публикуется впервые; подлинное в ПД (РI-40-45).

[2] Сын декабриста М. С. Волконский был чиновником особых поручений при генерал-губернаторе Восточной Сибири Н. Н. Муравьеве-Амурском, который посылал его курьером в Петербург. Благодаря этому М. С. Волконский имел возможность передать родным декабристов письма помимо III отделения, повидаться со своими родными и проверить слухи об амнистии. Он же и привез им в начале сентября манифест об амнистии.

[3] Н. Д. Свербеев женился 29 апреля 1856 г. на З. С. Волконской.

К письму 172

[1] Напечатано в сб. «Декабристы», IV (стр. 461) по копии с подлинного письма, хранящегося в музее г. Белева, Московской обл.

[2] Описка здесь или в дате (Н. П. Чулков).

[3] После смерти Николая I даже консервативные помещики стали проявлять симпатии к «государственным преступникам».

К письму 173

[1] Печатается впервые; подлинное в ПД (PI-40-49).

[2] Софья Михайловна Муравьева (1833—1880) вышла замуж за своего дальнего родича Сергея Сергеевича Шереметева (1821—1884), первая жена которого Варвара Петровна умерла в мае 1853 г. С. М. и С. С. Шереметевы имели 4 сыновей и 8 дочерей.

[3] Дальше — рукой В. И. Якушкина.

К письму 174

[1] Печатается впервые; подлинное в ГЦИА (ф. 279, № 49, л. 1—2). И. Д. Якушкин приехал в Ялуторовск 25 августа 1856 г. (Созонович, 160).

[2] Дальше — приписка Г. С. Батенькова.

К письму 175

[1] Опубликовано в статье М. С. Знаменского (стр. 103 и сл.).

[2] Это последнее упоминание И. Д. Якушкина о своих школах. Закончилась его 14-летняя педагогическая деятельность. Подводя ей итог, член-корреспондент АН СССР Н. М. Дружинин пишет: «Ялуторовский опыт Якушкина не был изолированным единичным явлением. С одной стороны, он подхватывал оборванную нить Союза благоденствия и его революционных преемников; с другой стороны, он связывался единством внутренней цели с сибирскими опытами других декабристов... В общем, границы и методы начального обучения сохраняли прежние принципиальные основания и прежнее социально-педагогическое направление. Каждая сибирская школа, основанная декабристами, могла иметь собственные неповторимые особенности... Но эти разнообразные и внешне разрозненные попытки объединяла одна руководящая и вдохновляющая идея: заложить необходимые культурные основания для предстоящего государственного преобразования России. Ланкастерская школа Якушкина раскрывает эти мотивы в наиболее конкретной и развернутой форме: идеология дворянского революционера начала XIX в. со свойственными ему колебаниями и противоречиями проникает собою историю этого интересного социально-педагогического эпизода» (I, 96).

К письму 176

[1] Печатается впервые; подлинное в ГЦИА (ф. 279, № 49, л. 15—16). Это последнее дошедшее до нас письмо И. Д. Якушкина из Сибири.

К письму 177

[1] Этот и следующие два документа печатаются по тексту публикации А. А. Сиверса (1, 410 и сл.).

К письму 178

[1] С. В. Перфильев — начальник московских жандармов, получивший от Долгорукова такое же письмо, как и московский генерал-губернатор А. А. Закревский.

[2] Племянник А. Н. Раевского — М. С. Волконский, сын декабриста.

К письму 180

[1] Письма 180 и 181 печатаются впервые; подлинные в ПД (Р1-40-37). Это первое дошедшее до нас письмо И. Д. Якушкина по возвращении из ссылки.

[2] Филипповцы — шутливое название посетителей квартиры Е. И. Якушкина в приходе церкви Филиппа митрополита. Полицейскими шпионами, следившими за И. Д. Якушкиным, оно было доведено до сведения правительства, которое усмотрело в посетителях бывшего «государственного преступника» участников нового политического заговора. Это было одной из причин упоминаемого И. Д. Якушкиным в этом письме запрещения ему проживать в Москве. Подробности см. в письме Е. И. Якушкина от 30 марта 1857 г. к И. И. Пущину.

Больше всего боялось правительство Александра II разговоров декабристов, вернувшихся из Сибири. Не только разговоры беспокоили царя, его смущали их бороды и одежда (см. переписку между шефом жандармов В. А. Долгоруковым и московской администрацией, стр. 442 и сл.).

[3] Дальше — рукою Е. И. Якушкина.

[4] Речь профессора Казанского университета И. К. Бабста (1824—1881) по кафедре политической экономии (с 1852 г.) — на торжественном акте 6 июня 1856 г.— «О некоторых условиях, способствующих умножению народного капитала». Здесь он говорил о необходимости хорошо устроенной администрации, о вреде привилегий в пользу отдельных лиц или сословий и т. п. «Гроза за пугачевщину» — Бабст напечатал статью «Поездка в Илецкую защиту» — место действия Е. И. Пугачева.

К письму 181

[1] Дальше — рукою Е. Г. Якушкиной.

[2] Деревня И. Н. Толстого Новинки, куда И. Д. Якушкину и пришлось вскоре переехать (см. письмо Е. И. Якушкина от 30 марта, стр. 448). Местность там была болотистая, и здоровье И. Д. Якушкина окончательно было подорвано этим переездом. Таким образом, гонение царского правительства ускорило смерть Ивана Дмитриевича.

[3] Н. Х. Кетчер был врачом по образованию.

[4] Дальше — рукою Е. И. Якушкина.

[5] Рыжий — один из сыновей декабриста В. К. Тизенгаузена, приезжавших к нему в 1851 г. в Ялуторовск и проживших там до весны 1852 г.

К письму 182

[1] Печатается впервые с копии в ГЦИА (ф. 279, № 49, л. 19—20).

[2] Распоряжение 33-го года — указ 1833 г. о запрещении жить в Москве лицам, лишенным за проступки духовного звания.

[3] См. письмо Е. И. Якушкина от 30 марта (стр. 448) и приписку в конце настоящего письма.

[4] Дальше — рукою Е. И. Якушкина.

4 апреля Е. И. Якушкин писал И. И. Пущину: «...Вечеслав уже выезжает из дому и 20 апреля пускается в путь... Молчанов совершенно сошел с ума, и на него находят минуты бешенства — сегодня он несколько спокойнее и занимался все сочинением письма к Закревскому о том, что Сергей Григорьевич отравил всех в доме» («Декабристы», IV, стр. 464).

К письму 183

[1] Опубликовано в сб. «Декабристы», IV, (стр. 462 и сл.).

[2] По манифесту 26 августа 1856 г.

[3] Письмо тезки — Е. П. Оболенского — связано с афишированием его дружбы с Я. И. Ростовцевым (см. прим. 2 к письму 184).

К письму 184

[1] Опубликовано в сб. «Декабристы», IV (стр. 466 и сл.); пометка Пущина: «получено 12 апреля».

[2] Ругаться с Е. П. Оболенским — за возобновление его дружбы с Я. И. Ростовцевым (1803—1860). Последний знал о всех делах ТО, был близок с Оболенским и другими руководителями СО и 13 декабря 1825 г. предупредил Николая о готовящемся восстании, однако, не называя имен. При Николае он сделал большую военно-административную и придворную карьеру. Был с 3 января 1857 г. главным деятелем Комитета по крестьянскому делу, настаивал на отмене т. н. крепостного права. Это привлекло к нему симпатии Е. П. Оболенского, работавшего тогда в Калуге по тому же делу. Но многие другие декабристы, не менее Оболенского трудившиеся в губернских комитетах по отмене рабства, не могли простить Ростовцеву его предательства 1825 г. и возмущались тем, что Оболенский афишировал свою дружбу с ним.

[3] Барон — В. И. Штейнгель; выше упоминался барон В. Н. Соловьев.

К письму 185

[1] Опубликовано в сб. «Декабристы», IV (стр. 465).

[2] Речь идет об издании сочинений А. С. Пушкина под редакцией П. В. Анненкова. «Многое, чего там нет» — неразрешенное цензурой, собранное Е. И. Якушкиным из зарубежных изданий, из рукописных сборников и т. п.

[3] Имеются в виду «Записки о Пушкине», которые И. И. Пущин написал по настоянию Е. И. Якушкина.

К письму 186

[1] Письма 186 и 187 печатаются впервые по копиям в ГЦИА (ф. 279, № 48, л. 4; № 49, л. 23—24).

[2] Викторочи — семья А. В. Поджио; они выехали из Иркутска в мае 1859 г. («Алфавит», 377).

[3] Генерал-губернатору Восточной Сибири Н. Н. Муравьеву-Амурскому.

К письму 188

[1] Опубликовано в сб. «Декабристы», IV (стр. 468). Пометка Пущина: «получено 6 мая».

[2] Сын И. М. Муравьева-Апостола Василий по завещанию отца передал М. И. Муравьеву-Апостолу часть наследственного имения.

[3] Рюрик — Е. П. Оболенский; его род считал свое происхождение от Рюрика.

6 мая Е. И. Якушкин писал И. И. Пущину, что П. В. Муравьева сообщила о возможности «на-днях» для И. Д. Якушкина получить разрешение жить в Москве. Хлопотал об этом М. Н. Муравьев, который 17 апреля назначен был министром государственных имуществ. «Назначение дядюшки, как вы, вероятно, сами догадываетесь, не очень меня порадовало»,— пишет Е. И. Якушкин. По новой должности М. Н. Муравьев получал большое влияние на ход крестьянской реформы, а он был ожесточенный реакционер и сильно мешал освобождению крестьян от крепостного ига с землей. О здоровье И. Д. Якушкина сын сообщает в этом письме, что оно «порядочно». И. И. Пущин писал 13 мая 1857 г. Г. С. Батенькову из Петербурга, что он виделся с В. А. Долгоруковым и просил его разрешить И. Д. Якушкину проживать в Москве.

Разрешение на переезд И. Д. Якушкина в Москву было дано, и он снова поселился у сына Евгения Ивановича. 13 июля Е. И. Якушкин сообщал И. И. Пущину: «Здоровье отца поправляется, хотя и очень медленно; аппетит возвратился, но ноги с трудом двигаются. Надеюсь, что недели через полторы он в состоянии будет оставить комнату, а может быть, даже и выходить из дому. Первый визит за город будет, конечно, в Марьино, куда явлюсь и я в качестве отцова дядьки,— одного его отпустить нельзя» («Декабристы», IV, 470). В с. Марьино жил И. И. Пущин.

3 августа Е. И. Якушкин сообщал И. И. Пущину: «Отец все время сбирался к вам, но когда сберется, этого никто не может сказать. Здоровье его то немного поправится, то сильно расстроится опять. Вот уж три дня, как он не встает с постели и похудел страшно. Я собираюсь ехать в Смоленск, чтобы разделаться с вассалами». Е. И. Якушкин ездил в Смоленск, чтобы передать крестьянам с. Жуково землю. «Поднялись опять вопросы,— сообщает он в том же письме,— которые занимают более всего и вас и меня — именно об эмансипации, веротерпимости и разного рода реформах. Дай бог, чтобы это была правда. Сергей Григорьевич сегодня вернулся из Петербурга, но я еще его не видал. Семья моя в деревне, и мы теперь живем в доме Абакумовой втроем. Очень бы желал я поскорее из него выхать с отцом и братом и прямо в Марьино».

В Марьино И. Д. Якушкин не поехал. 14 августа Евгений Иванович сообщил И. И. Пущину: «Отец скончался 11-го в 10-м часу вечера. Почти до последнего дня он говорил еще о поездке в Марьино. Перед смертью он страдал недолго и умер в совершенной памяти» («Декабристы», IV, 471).

И мертвый Иван Дмитриевич Якушкин беспокоил царское правительство. Следивший за бывшим «государственным преступником» полицейский шпион доносил своему начальству: «В Москве умер возвращенный из Сибири Якушкин. Его гроб провожали Батенков, Матвей Муравьев и многие свежие его московские друзья: видно, число новых завербованных было уже довольно значительно, потому что для них было заказано 50 фотографий покойного. Кажется, полиция понятия не имеет об этой новой закваске. Увидим через пять лет, что из нее выйдет». 50 еще не сделанных фотографий И. Д. Якушкина встревожили главного начальника царских жандармов. 17 сентября 1857 г. начальник его штаба писал начальнику Московского жандармского округа: «До сведения г. генерал-адъютанта князя Долгорукова дошло, что лица, находившиеся по делу 14 декабря 1825 г. в Сибири, с возвращением ныне оттуда весьма заметно расширяют в Москве круг своих знакомых, которые делаются приверженцами партии и обнаруживают много сочувствия к ним, как это видно было при погребении Якушкина и по заказу в значительном количестве фотографических портретов его, и что эти близкие сношения с помянутыми лицами могут скрывать в себе намерения, опасные последствиями».

На это генерал-лейтенант Перфильев ответил, что, по собранным им сведениям, при погребении Якушкина никакого особенного сочувствия обнаружено не было, кроме оказанного родными и людьми близкими; портрет снят был с него уже с мертвого, но в каком количестве роздано, достоверно не дознано; говорят, не в большом. Чтó некоторые лица, возвращенные из Сибири, находясь временно в Москве, постепенно расширяют круг знакомства, это сколько справедливо, столько же и естественно; им оказывают сочувствие, как людям, много горя претерпевшим, но чтобы близкие сношения с ними скрывали в себе намерения, опасные по последствиям,— не предусматривается. Тревога, поднятая в III Отделении

сообщением тайного агента, была настолько велика, что ответ Перфильева сочли необходимым доложить Александру II.

И. Д. Якушкин похоронен на Пятницком кладбище.

К письму 189

[1] Печатается впервые по фотокопии с оригинала (ГЦИА, ф. 279, № 46). Адресат — А. Н. Балакшина, ученица Ялуторовской школы И. Д. Якушкина. Письмо не имеет даты, установить ее по содержанию невозможно, но, повидимому, послано из Москвы.

ПРИМЕЧАНИЯ К ПРИЛОЖЕНИЯМ

К странице 463

[1] Первые два документа — официальные письма И. Д. Якушкина по вопросу об уничтожении рабства в его имении сохранились по счастливой случайности в архивном деле «О увольнении крестьян в свободные хлебопашцы помещиком Якушкиным» (начато 13 июля 1819 г., кончено 7 генваря 1820 г.). В архивной описи оно значилось уничтоженным по распоряжению начальства при чистке архива от «лишних» бумаг. Среди младших служащих архива были люди, считавшие письма И. Д. Якушкина не лишними. Сделав при названии этого дела в описи пометку об уничтожении его, чиновники архива сохранили все документы. Их пометка долго вводила историков крестьянского вопроса в заблуждение, но в 1925 г. дело было обнаружено и полностью опубликовано Н. Ф. Лавровым (КА, № 6, 13).

[2] Письмо к министру внутренних дел О. П. Козодавлеву печатается по тексту, опубликованному Н. Ф. Лавровым (стр. 251). Подробности попытки И. Д. Якушкина освободить в 1819 г. крестьян своего имения от рабства — в его «Записках».

[3] В рукописи было «сто двенадцать»; во втором слове вычеркнуты буквы «ен», получилось «сто двадцать».

[4] «Поелику вообще сделки об увольнении крестьян в свободные хлебопашцы... подлежат предварительному рассмотрению г.г. предводителей дворянства», министерство запросило по делу И. Д. Якушкина мнение смоленского губернского предводителя. Судя по тому, что все это дело значится по описи начатым 13 июля, а запрос министерства помечен 17 июля, надо полагать, что письмо И. Д. Якушкина датировано в публикации 29 июля ошибочно и должно быть отнесено к 29 июня.

Губернский предводитель направил дело к предводителю дворянства Вяземского уезда. Тот потребовал от Якушкина уточнения условий, на которых он хо-

чет освободить крестьян. Ответом на запрос уездного предводителя является следующий документ.

К странице 464

[1] Печатается по тексту КА (1925, № 6, стр. 254). На заявлении пометка: «подано 1819 года сентября 13 дня».

[2] Переправлено на «120».

[3] Прошение написано, повидимому, писарем уездного предводителя; подпись — собственноручная.

Пересылая это прошение в министерство внутренних дел, губернский предводитель разъяснил, что так как, «отпущая» крестьян на волю, Якушкин «дает им только по 9 десятин земли на каждую деревню», то «крестьяне без земли для хлебопашества, лугов и других угодий могут быть без пропитания и к платежу государственных податей безнадежны». Добавляя, что Якушкин «за свободу крестьянам не требует с них никакой платы, ни работы», предводитель предоставляет все дело «благоусмотрению» министерства. Здесь был составлен доклад министру с заключением, что освобождение на условиях Якушкина может быть допущено лишь по соглашению с крестьянами, при этом крестьяне должны изъявить «свое мнение о способах, коими они могут иметь достаточное количество земли как для своего продовольствия, так и для обеспечения правительства в исправном платеже податей». Министр утвердил это заключение 28 ноября и губернскому предводителю было послано 5 декабря предложение сообщить Якушкину, что, так как он «имеет целью единственно благотворение крестьянам», то ему следует выполнить указанное требование министерства. 24 декабря 1819 г. губернский предводитель сообщил министру, что «по возвращении г. Якушкина из Саратовской губернии, куда на время он отъехал, предписание министерства будет исполнено». На этом дело 1819 г. обрывается.

Прямую связь с желанием И. Д. Якушкина дать дворянам-крепостникам, в соответствии с уставом СБ, пример постепенного уничтожения рабства имеют тогдашние «Дневники», записки и письма другого члена ТО, противника владения людьми Н. И. Тургенева, его братьев Александра и Сергея и их друга П. А. Вяземского. В докладе о крепостном состоянии в России, законченном составлением 28 декабря 1819 г., через 4 дня после заключительного документа в деле Якушкина, так и оставшемся незавершенным, Н. И. Тургенев, близко стоявший к высшим правительственным кругам, писал для сведения царя: «Недавно один помещик, желая даровать крестьянам свободу, оставив землю за собою... обратился к министру внутренних дел. Нам неизвестен ответ министра».

Дальше Тургенев указывает, что недостаточность известного Якушкину узаконения о вольных хлебопашцах побудила его обратиться в министерство («Дневники», III, 431 и сл.).

Поднятый Якушкиным вопрос горячо обсуждался в кругах, близких к СБ. 6 февраля 1820 г. П. А. Вяземский писал А. И. Тургеневу из Варшавы: «Говорил ли вам Сергей Иванович о разговорах наших насчет рабства? Святое и великое дело было бы собраться помещикам разного мнения и... домогаться средств к лучшему приступу к действию... Правительство не дает ни привета, ни ответа» (ОА, II, 14 и сл.). Ответ А. И. Тургенева на письмо Вяземского и письмо Н. И. Тургенева к последнему от 18 февраля — там же (стр. 21 и сл.).

[4] Опубликовано в 1865 г. (РА, стр. 1373—1378 1-го изд. и стр. 553—558 2-го изд.). Под заголовком строка: «Около 1820 года». Таким образом, эта записка непосредственно связана с официальными заявлениями И. Д. Якушкина об отмене рабства. В примечании к тексту редактор журнала заявлял: «С современной рукописи сообщил Н. В. Путята». Очерк перепечатывался в разных сборниках.

Николай Васильевич Путята (1802—1877) получил образование вместе со многими членами ТО в знаменитом училище для колонновожатых Н. Н. Муравьева-отца. В 1820 г. выпущен из школы прапорщиком, в 1823 г. назначен адъютантом к ген. А. А. Закревскому. Показания декабристов в СК о принадлежности Путяты к ТО были неопределенны, скорее клонились к отрицанию. «По докладу Комиссии высочайше повелено: отдать под секретный надзор, ежемесячно доносить о поведении» («Алфавит», 156). Из военной службы Путята был уволен в 1831 г., гражданская продолжалась успешно до 1857 г. Был близок к литературному кругу, печатал исторические очерки.

К странице 466

[1] Вслед за «Мнением» напечатана в РА «Бумага, поданная правительству». Текст ее почти буквально повторяет письма И. Д. Якушкина к О. П. Козодавлеву и уездному предводителю. Повидимому, эта «бумага» распространялась среди помещиков как образец для заявлений о желании отменить рабство в своих имениях. К пункту о праве крестьян покупать землю в собственность, кроме общественной, предоставленной им помещиком, добавлено: «Общие имущества составляют отличительную черту отношений гражданских в России: оные предохраняют от разорения частного и, поддерживая связь общую, могут споспешествовать общим усилиям. Управление их — на подобие других обществ. Впрочем, я готов принять всякие постановления, основанные на взаимной пользе крестьян и помещика и не лишающие сего последнего его собственности, состоящей в земле».

К странице 467

[1] Показания И. Д. Якушкина в СК печатаются по тексту его следственного дела (ф. 48, д. № 352), опубликованного Центрархивом (ВД, III, 37—60). Вопросы либо ясны из ответов Ивана Дмитриевича, либо приводятся сокращенно здесь.

Первое показание дано в зале Эрмитажа 14 января 1826 г.; записано В. В. Левашевым. Подробности о допросе — в «Записках» И. Д. Якушкина. Правописание Левашева сохраняется в отдельных случаях.

[2] Вопрос: «С которого времени принадлежали вы Тайному обществу».

К странице 468

[1] Об этом адресе — в «Записках» (стр. 35).

[2] Подпись — собственноручная.

Следующее показание дано на вопросы, предъявленные И. Д. Якушкину при самом конце следствия. Это были общие для всех привлеченных к следствию вопросы о воспитании и т. п.; в отличие от других подсудимых И. Д. Якушкину не были заданы вопросы о вероисповедании и присяге Николаю, так как в начале следствия Иван Дмитриевич высказался по этому поводу определенно отрицательно. Вопросов — пять, на столько же пунктов разбиты ответы, написанные собственноручно. Правописание сохранено, кроме прописных букв в словах: математики, физики, лейб-гвардии и т. п. (здесь и в следующих показаниях).

К странице 469

[1] Следующее показание — собственноручное — дано в ответ на вопросы (в 22 пунктах), предъявленные И. Д. Якушкину 7 февраля.

Первые абзацы этого показания — общее вступление, остальные — ответы по пунктам; почти каждый ответ кратко повторяет вопрос, на который он дан. Чрезвычайно характерна для И. Д. Якушкина краткость его ответов.

К странице 470

[1] «Александр Муравьев завел военное общество, которое было довольно многочисленно и разделялось на две управы, но по окончании нового устава общество сие было распущено и члены оного поступили в новый Союз благоденствия» (Н. М. Муравьев. Историческое обозрение хода Общества.— ВД, I, 307). «Члены Союза учреждали и отдельные от него общества, под влиянием его духа и направления: таковы были *общество военное*, которого члены узнавали друг друга по надписи, вырезанной на клинке шпаг и сабель: «За правду», литературные...» (Фонвизин, 187).

[2] «Союз добродетели».

К странице 471

[1] Списки устава СБ хранятся в нескольких архивных делах о декабристах. По одному из них (ЦГИА — Собрание правил и законов, составленных членами тайных обществ, ф. 48, № 10, стр. 1—47) устав напечатан в сб. «Декабристы», XI; раньше был опубликован в книге А. Н. Пыпина (II, при 3-м изд.).

[2] После фиктивного упразднения СБ в 1821 г. ТО разделилось на два: СО — в Петербурге и Москве, ЮО — с главным центром в Тульчине.

К странице 472

[1] О поездке И. Д. Якушкина в Тульчин и Каменку см. в «Записках» (стр. 35 и сл.).

[2] СК были известны два «преступных катехизиса»: «Любопытный разговор», составленный Н. М. Муравьевым (ВД, I, 321 и сл.; перепечатан в разных сборниках и книгах по истории движения декабристов) и «Православный катехизис», составленный С. И. Муравьевым-Апостолом при участии М. П. Бестужева-Рюмина (ВД, IV, 254 и сл.; перепечатан во многих изданиях, см. «Хрестоматию», 568 и сл.).

К странице 473

[1] См. «Записки, стр. 16; письмо С. П. Трубецкого было к А. Н. Муравьеву.

К странице 474

[1] Показание — собственноручное.

К странице 475

[1] Дальнейший текст и является упоминаемым в этом письме дополнительным показанием по некоторым пунктам допроса от 7 февраля. Все это показание — собственноручное.

К странице 476

[1] См. об М. Ф. Орлове в «Записках» (по указателю).
[2] Об этом см. в «Записках» (стр. 35).
[3] Описка; надо: «мнение», «намерение».

К странице 477

[1] Показание собственноручное; им заканчиваются сжатые, сдержанные показания И. Д. Якушкина в его следственном деле. Дальнейшие ответы взяты из дел других членов ТО.

[2] Из дела Ф. П. Шаховского (ВД, III, 90), собственноручное. Дано в ответ на следующий вопрос: «В дополнение показаний ваших поясните, был ли князь Фёдор Шехавской на совещании, когда вы, в минуты горя, отравлявшего существование ваше, сделали нещастный вызов — покушения на жизнь покойного государя? и какое на тот раз подал он мнение свое?» См. письма И. Д. Якушкина к И. Д. Щербатову за 1817 г.

Следующие два показания из дела П. А. Муханова (ВД, III, 149). Оба — собственноручные. Об этом см. в «Записках» (стр. 77 и сл.).

К странице 478

[1] Письмо к Николаю, собственноручное, напечатано в деле Муханова (стр. 150).

[2] Из дела Муханова (стр. 151 и сл.) — собственноручное; ответ на пункты в обширном вопросе СК от 23 февраля.

К странице 481

[1] Опубликовано в сб. «Декабристы», IV (стр. 478 и сл.). Воспоминания Е. И. Якушкина особенно ценны характеристикой его матери, А. В. Шереметевой, о которой других сообщений в литературе не имеется, и бабушки, Н. Н. Шереметевой, имевшей большое значение в жизни декабриста И. Д. Якушкина.

К странице 484

[1] Опубликовано Е. Е. Якушкиным в 1925 г. (Басаргин, II, 165 и сл.).

К странице 486

[1] Опубликовано Е. Е. Якушкиным в 1928 г. («Декабристы» VIII, стр. 192 и сл.). Кроме характеристики И. Д. Якушкина, представляет интерес обрисовкой условий, в которых возникло ТО.

[2] Описка, надо: 1828, так как И. Д. Якушкин прибыл в Читу 24 декабря 1827 г.

[3] И. Д. Якушкин провел в Петровском $5^1/_2$ лет.

К странице 487

[1] Освещение ошибочное; ср. с письмами И. Д. Якушкина к И. Д. Щербатову.

К странице 488

[1] Воспоминания написаны по просьбе Е. И. Якушкина.

К странице 493

[1] Опубликовано в 1870 г., перепечатано в исправленной редакции в 1933 г. (стр. 263 и сл.).

[2] А. П. Созонович называет городничего Скорняковым (см. стр. 502).

К странице 494

[1] Извлечено из статьи М. С. Знаменского (I), где опубликованы письма И. Д. Якушкина к отцу автора и другие материалы. В настоящем отрывке

представляет интерес письмо Н. Д. Фонвизиной к С. Я. Знаменскому с характеристикой положения декабристов на поселении.

К странице 495

[1] Извлечено из воспоминаний автора, опубликованных в 1872 г. под псевдонимом «Старожил» (Знаменский, II, 226 и сл.). По цензурным условиям Знаменский, горячо любивший декабристов, особенно И. Д. Якушкина, которому был обязан своим интеллектуальным развитием, наделил всех ялуторовских «государственных преступников» псевдонимами, правда, довольно прозрачными. Они были понятны не только для декабристов, их друзей и родных, но и для многих сибиряков, среди которых долго жила память о декабристах. Однако для И. Д. Якушкина, благодаря которому М. С. Знаменский занял видное положение среди сибирской интеллигенции, он избрал неуклюжий псевдоним «Лягушкин», конечно, только потому, что это слово было созвучно фамилии его учителя и воспитателя. Но самые воспоминания согреты искренней любовью к Ивану Дмитриевичу и, несмотря на старание автора беллетризировать их, дают ценный фактический материал для характеристики изображаемого им лица. В печатаемых здесь отрывках фамилия Якушкина восстановлена, имена других декабристов пояснены в настоящих примечаниях.

К странице 497

[1] М. И. Муравьев-Апостол.

К странице 499

[1] Учитель ялуторовской школы А. Л. Жилин.

К странице 500

[1] Мурашев — М. И. Муравьев-Апостол; Илья Яковлич — С. Я. Знаменский; Кандальцева — А. В. Ентальцева; Кабаньский — Собаньский.

К странице 501

[1] Воспоминания А. П. Созонович, сибирской воспитанницы М. И. Муравьева-Апостола, выросшей у него в доме, близко знавшей и наблюдавшей И. Д. Якушкина в течение всей его ялуторовской жизни, извлечены из ее «Заметок», опубликованных в 1907 г. (стр. 128 и сл.).

К странице 507

[1] Стихи печатаются по тексту книги «Поэзия декабристов» (601 и сл.).

[2] Имеется в виду возвращение русской армии из-за границы после изгнания Наполеона и освобождения Европы от завоевателя.

К с т р а н и ц е 508

[1] Говорится о времени перед восстанием солдат Семеновского полка.

[2] Новинки — имение И. Н. Толстого, где жил по возвращении из Сибири И. Д. Якушкина и куда приезжал к своему другу М. И. Муравьев-Апостол.

К с т р а н и ц е 509

[1] Это предисловие написано сыном И. Д. Якушкина Евгением Ивановичем.

К с т р а н и ц е 510

[1] Второй портрет рисован художником Вивьеном.

[2] Портреты отца и других декабристов издавал и распространял Е. И. Якушкин.

[3] О цензурных пропусках в изданиях «Записок» 1905 г. см. Примечания к ним.

К с т р а н и ц е 511

[1] Это предисловие написано внуком декабриста Евгением Евгениевичем Якушкиным.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ СПРАВКИ

В настоящем указателе приведены названия книг и статей, упоминаемых в тексте и комментариях, а также использованных в комментариях, но в них не упоминаемых. В скобках даны сокращения, под которыми произведение цитируется в комментариях. Архивные источники указаны в комментариях. Некоторые упомянутые в комментариях источники здесь не приведены.

Алфавит декабристов. В книге: Восстание декабристов. Материалы. Центрархив, т. VIII, Л., 1925 («Алфавит»).

Анненкова П. Е. Воспоминания. С приложением воспоминаний ее дочери О. И. Ивановой и материалов из архива Анненковых. Статьи и примечания С. Я. Гессена и А. В. Предтеченского. Изд. 2-е, М., 1932.

Арзамас и арзамасские протоколы. Ред. М. С. Боровковой-Майковой. Л. 1933.

Арсеньев В. С. и Картавцов И. М. Декабристы-туляки. Тула,— 1927.

Архив братьев Тургеневых. Изд. АН СССР, вып. I—VII, 1911—1922.

Базанов В. Г. Вл. Фед. Раевский. Изд. АН СССР, М.— Л., 1949 (I).

Базанов В. Г.— Вольное общество любителей российской словесности. 1949 (II).

Барановская М. Ю. Художник-декабрист Н. А. Бестужев. «Тр. Гос. Историч. музея», вып. XV, М., 1941.

Барсуков А. Родословие Шереметевых. Изд. 2-е, СПб., 1904.

Басаргин Н. В. Записки. Ред. П. Е. Щеголева. П., 1917 (Басаргин, I).

Басаргин Н. В. Неизданная рукопись. КС, 1925, № 5 (Басаргин, II).

Бейсов П. С. Новое о В. Ф. Раевском. «Пушкинский юбилейный сборник». Ульяновск, 1949.

Бейсов П. С. Неопубликованный Раевский. «Волжская новь», 1940, кн. 10.

Бейсов П. С. К вопросу о литературном наследстве первого декабриста В. Ф. Раевского. «Сибирские огни», 1938, № 3—4.

Беккер И. Декабристы и польский вопрос («Вопросы истории» 1948, № 3).

Белоголовый Н. А. Воспоминания и другие статьи. Изд. 4-е, СПб., 1901.

Беляев А. П. Воспоминания декабриста о пережитом и перечувствованном. СПб., 1882.

Бестужевы. Воспоминания. Ред. и статьи М. К. Азадовского. М., 1931.

Бороздин А. К. Из писем и показаний декабристов. Критика современного состояния России и планы будущего устройства. П., 1906.

Буланова О. К. Роман декабриста. Декабрист В. П. Ивашев и его семья. Из семейного архива. Изд. 3-е, М., 1933.

Булатов А. М. Письмо великому князю Михаилу Павловичу от 25 декабря 1825 г. из Петропавловской крепости («Мемуары»).

Венгеров С. А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых. Историко-литературный сборник, т I—VI, СПб., 1889—1904.

Венгеров С. А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых. Историко-литературный сборник, т. I—VI, СПб., 1889—1904.

конского. Изд. 2-е, 1906 (есть издание 1924 г. со статьей П. Е. Щеголева).

Волконский С. Г. Записки (декабриста). С предисловием и приложениями М. С. Волконского. 1901.

Волконский С. М. О декабристах. По семейным воспоминаниям. П., 1922.

Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов. Т. I, М., 1931; т. II, М., 1933 («Воспоминания»).

Восстание декабристов. Материалы. Центрархив, т. I, 1925; т. II, 1926; т. III, 1927; т. IV, 1927; т. V, 1928; т. VI, 1929; т. IX, 1950.

Вяземский П. А. Избранные стихотворения. Ред. и статьи В. С. Нечаевой. М.— Л., 1935.

Габаев Г. С. Гвардия в декабрьские дни 1825 года. Военно-историческая справка. В кн. проф. А. Е. Преснякова «14 декабря 1825 года». Центрархив, М.— Л., 1926.

Гангеблов А. С. Воспоминания декабриста. М., 1888.

Герцен А. И. Полное собрание соч. и писем. Т. I—XXII, 1918—1925.

Гершензон М. О. История молодой России. М.— Л., 1923.

Гессен С. Я. Пушкин в Каменке. «Литерат. современник», 1935, № 1 (I).

Гессен С. Я. и Коган М. С. Декабрист Лунин и его время. «Тр. ПД АН СССР», Л., 1926.

Головачев П. М. Пояснительный биографический текст. В сб. «Декабристы. 86 портретов». М., 1906.

Горбачевский И. И. Записки и письма. Ред. и статья Б. Е. Сыроечковского. М., 1925.

Греков Б. Д. Тамбовское имение М. С. Лунина в первой четверти XIX в. Материалы к вопросу о разложении крепостной системы хозяйства. ИАН, отд. общ. наук, 1932, № 6, стр. 481 и сл.; № 7, стр. 623 и сл.

Греков Б. Д. 1. Дворовые в имении декабриста Лунина. 2. Дворовые декабриста Лунина. В книге автора «История русского народного хозяйства. Материалы для лабораторной проработки вопроса». Л., 1926.

Греков Б. Д. Хозяйственное состояние России накануне выступления декабристов. В сб. «Бунт декабристов. Юбилейный сборник 1825—1925». Л., 1926, стр. 5 и сл.

Грибовский М. К. Записка о ТО. В книге: Мих. Лемке — Николаевские жандармы и литература 1826—1855 г.г. СПб. 1909, стр. 575 и сл.

Грум-Гржимайло А. Г. 1. Декабрист А. О. Корнилович на Кавказе («Декабристы», VII). 2. Письмо А. О. Корниловича из Петропавловской крепости (сб. «Бунт декабристов». Изд. «Былое», 1926). 3. Декабрист А. О. Корнилович («Декабристы», IX, с портретом).

Декабристы. Сборник материалов. Изд. Библиотеки им. В. И. Ленина, Л., 1926 («Декабристы», I).

Декабристы на поселении. Из архива Якушкиных. Ред. Е. Е. Якушкина. М., 1926 («Декабристы», II).

Декабристы. Сборник отрывков из источников. Ред. Ю. Г. Оксмана, Б. Л. Модзалевского и Н. Ф. Лаврова. Центрархив. М.— Л., 1926 («Декабристы», III).

Декабристы. Летописи Государственного литературного музея. Книга III. Ред. Н. П. Чулкова. М., 1938 («Декабристы», IV).

Декабристы. Тайные общества. Изд. В. М. Саблина. М., 1907 («Декабристы», V).

Декабристы. Неизданные материалы и статьи. Ред. Б. Л. Модзалевского и Ю. Г. Оксмана. Труды ПД АН СССР. М., 1925 («Декабристы», VI).

Декабристы на каторге и в ссылке. Сборник новых материалов и статей. М., 1925 («Декабристы», VII).

Декабристы и их время. Труды московской и ленинградской секций по изучению декабристов и их времени, т. I, М., 1928; т. II, М., 1932 («Декабристы», VIII и IX).

Декабристы. Новые тексты. Труды ПД АН СССР. Л., 1926, из сб. «Атеней», кн. III («Декабристы», X).

Декабристы. Сборник документов. Ред. И. Я. Щипанова. Т. I—III. Госполитиздат, М., 1951 («Декабристы», XI).

Декабристы. Материалы для характеристики. Ред. П. М. Головачева. М., 1907 («Декабристы», XII).

Дельвиг А. И. Полвека русской жизни. Т. I—II. Ред., вступит. статья и комментарии С. Я. Штрайха. М., 1928.

Державин Г. Р. Сочинения, т. VI, 1876 г.

Дмитриев-Мамонов А. И. Декабристы в Западной Сибири. СПб., 1905 (Дм.-Мамонов).

Довнар-Запольский М. В. Тайное общество декабристов. Исторический очерк, написанный на основании следственного дела. М., 1906.

Донесение СК. Сб. «Государственные преступления в России в XIX веке», т. I, СПб., 1906.

Дружинин Н. М. Декабрист И. Д. Якушкин и его ланкастерская школа. «Уч. зап. Моск. городск. педагогич. ин-та», т. II. Кафедра истории СССР. Вып. I, М., 1941, стр. 33—96 (Дружинин, I).

Дружинин Н. М. Декабрист Никита Муравьев. М., 1933 (Дружинин, II).

Дружинин Н. М. Семейство Чернышевых и декабристское движение. Сб. «Ярополец», М., 1930 (Дружинин, III).

Дружинин Н. М. Социально-политические взгляды П. Д. Киселева. «Вопросы истории». 1946, № 2—3 (Дружинин, IV).

Дружинин Н. М. В страну туркмен и узбеков. Л., 1927 (Дружинин, V).

Дубровин Н. Ф. Письма главнейших деятелей в царствование императора Александра I (с 1807 по 1829 г.). СПб., 1883 (Дубровин, I).

Дубровин Н. Ф. В. А. Жуковский и семейство Якушкиных. РС, 1902, т. 110, № 4 (Дубровин, II).

Жихарев М. И. Петр Яковлевич Чаадаев. «Вестник Европы», 1871, № 7.

Жихарев С. П. Записки современника. Ред., статья и комментарии. С. Я. Штрайха. М.—Л., 1934. Т. I. Дневник студента. Дневник чиновника. Т. II. Воспоминания старого театрала. Письма.

Жуковский В. А. Письма к А. И. Тургеневу. СПб., 1895.

Заблоцкий-Десятовский А. П. Граф П. Д. Киселев и его время. Т. I—IV, 1882.

Завалишин Д. И. Записки декабриста. СПб., 1906.

Зильберштейн И. С. Портретная галлерея декабристов. «Огонек», 1950, № 51.

Знаменский М. С. Иван Дмитриевич Якушкин. По неизданным материалам. «Сибирский сборник», кн. III, СПб., 1886. Приложение к «Восточному обозрению» (Знаменский, I).

Знаменский М. С. В кн.: С. Турбин и Старожил. Страна изгнания и исчезнувшие люди. Сибирские очерки. СПб., 1872 (Знаменский, II).

Зубков В. П. Записки. Ред. и статья Б. Л. Модзалевского. II., 1906 (на франц. языке). Русский перевод — в сб. «Декабристы», V.

Каминский С. В.— Декабрист И. Д. Якушкин. М. 1907.

Киселев П. Д. Письма к А. А. Закревскому. Сборник исторического общества, т. 78, 1891.

Колесников В. П. Записки несчастного. Ред. П. Е. Щеголева. СПб., 1914.

Колокол. Изд. А. И. Герцена, Лондон, 1857—1867.

Колосов Г. А. Профессор М. Я. Мудров. «Русский врач», 1914, № 52. 1915, № 1—13.

Котляров Г. М. Арест декабриста Г. С. Батенькова. «Былое», 1925, № 6—34.

Коштоянц Х. С. Очерки по истории физиологии в России. М.—Л., 1946.

Кропотов Д. А. Жизнь графа М. Н. Муравьева в связи с событиями его времени и до назначения его губернатором в Гродно. СПб., 1874.

Крылов Н. А. Очерки из далекого прошлого. «Вестник Европы», 1900, № 5.

Кубалов Б. Г. Декабрист М. С. Лунин в Сибири. В кн. автора «Декабристы в Восточной Сибири». Ирк., 1925.

Лавров Н. Ф. К истории освобождения крестьян декабристом И. Д. Якушкиным. КА, 1925, № 6—13 (Лавров, I).

Лавров Н. Ф. «Диктатор 14-го декабря». Сб. «Бунт декабристов. 1825—1925». Л., 1926 (Лавров, II).

Липранди И. П. Из дневника и воспоминаний (РА, 1866). В сб. «Пушкин в воспоминаниях и рассказах современников». Ред., статья и примечания С. Я. Гессена. Л., 1936. В сб. «Пушкин в воспоминаниях современников», Ред. А. Л. Дымшица и Д. И. Золотницкого. 1950.

Лорер Н. И. Записки декабриста. Ред., статья и комментарии М. В. Нечкиной. М., 1931.

Лунин М. С. Сочинения и письма. Ред., статья и комментарии С. Я. Штрайха. «Труды ПД АН СССР», П., 1923 (Лунин, I).

Лунин М. С. Общественное движение в России. Письма из Сибири. Ред. и комментарии С. Я. Штрайха. «Труды Музея революции СССР», М., 1926 (Лунин, II).

Лурье Г. Из рукописей декабриста Выгодовского. КС, 1934, № 3.

Междуцарствие 1825 г. и восстание декабристов в переписке и мемуарах членов царской семьи. Ред. Б. Е. Сыроечковского. Центрархив, М.— Л., 1926.

Мейлах Б. С. Пушкин в литературных объединениях декабристов. «Красная новь», 1936, № 1 (Мейлах, I).

Мейлах Б. С. Пушкин и литературная борьба декабристов. «Литературный современник», 1936, № 10 (Мейлах, II).

Мейлах Б. С. Пушкин и русский романтизм. М.—Л., 1937 (Мейлах, III).

Мейлах Б. С. Лицейские лекции. По записям А. М. Горчакова. КА, 1937, № 1—80 (Мейлах, IV).

Мейлах Б. С. (ред.). Поэзия декабристов. Л. 1950 (Мейлах V).

Мемуары декабристов. Записки, письма, показания, проекты конституций, извлеченные из следственного дела. Ред. М. В. Довнар-Запольского. К., 1906 («Мемуары»).

Милютин В. А. Избранные произведения. М., 1946.

Милютин Д. А. Дневник. Редакция, биографический очерк и примечания П. А. Зайончковского. Т. I — IV. М.. 1947—1950.

Михайловская А. И. Через Бурятские степи. Перевод декабристов из Читы в Петровский Завод. «Изв. Вост.-Сиб. отд. Русск. гос. геогр. об-ва», 1926, 51.

Модзалевский Б. Л. Роман декабриста Каховского. Л. 1926 (Модзалевский, I).

Модзалевский Б. Л. Декабристы на пути в Сибирь. «Декабристы», VI (Модзалевский, II).

Модзалевский Б. Л. Пушкин под тайным надзором. «Тр. ПД АН СССР». Л., 1925 (Модзалевский, III).

Модзалевский Б. Л. К истории «Зеленой лампы». «Декабристы», VIII, (Модзалевский, IV).

Модзалевский Б. Л. Декабрист Барятинский и его стихотворения. «Былое», 1926, № 1 (Модзалевский, V).

Мудров М. Я. Избранные произведения. Ред., вступит. статья А. Г. Гукасяна. М., 1949.

Муравьев А. М. Записки. Перевод, статья и примечания С. Я. Штрайха. П., 1922; есть перевод П. А. Садикова («Воспоминания», I).

Муравьев М. В. Идея временного правительства у декабристов и их кандидаты. Сб. «Тайные общества в России в начале XIX столетия», М., 1926.

Муравьев Н. Н. Записки. РА, 1885, № 9—12; 1886, № 1—12 и др.

Муравьев-Апостол М. И. Воспоминания и письма. Ред., статья и примечания С. Я. Штрайха. П., 1922.

Мысловский П. Н. Из записной книжки. «Щукинский сборник», вып. 4, М., 1905; РА, 1905, № 9.

Нечаев В. Н. Письма И. Д. Якушкина к И. Д. Щербатову («Декабристы», VIII).

Нечкина М. В. Союз спасения. «Историч. записки», 1947, вып. 23 (Нечкина, I).

Нечкина М. В. Тезисы доклада «Священная артель» — кружок А. Муравьева и И. Бурцова в 1814—1817 гг. 19 мая 1940 г. (Нечкина, II).

Нечкина М. В. О Пушкине, декабристах и их общих друзьях. По неисследованным архивным материалам. КС, 1930, 4—65 (Нечкина, III).

Нечкина М. В. Пушкин и декабристы. ИАН СССР, 1937, № 2—3; сб. «Сто лет со дня смерти А. С. Пушкина. Труды Пушкинской сессии АН СССР, 1837—1937». 1938 (Нечкина, IV).

Нечкина М. В. Декабристы и Пушкин. «Путеводитель», 116—120 (Нечкина, V).

Нечкина М. В. и Е. Сказин. Семинарий по декабризму. М., 1925 (Нечкина, VI).

Нечкина М. В. А. С. Грибоедов и декабристы. Изд. АН СССР, М., 1947 (Нечкина, VII).

Нечкина М. В. Общество соединенных славян. М., 1927 (Нечкина, VIII).

Нечкина М. В. Три письма декабриста Петра Борисова. КС, 1926, № 6 (Нечкина, IX).

Нечкина М. В. Заговор в Зерентуйском руднике. КА, 1925, № 6—13 (Нечкина, X).

Нечкина М. В. Москва и декабристы. ВАН 1947, № 5 (Нечкина XI).

Никитин С. А. Источниковедение истории СССР XIX в. (до начала 90-х годов). Курс источниковедения истории СССР, т. II. М., 1940.

Николай I. Записки («Междуцарствие»).

Оболенский Е. П. Воспоминания об И. Д. Якушкине («Декабристы», VIII).

Общественные движения в России в первую половину XIX века. Т. I. Декабристы М. А. Фонвизин, кн. Е. П. Оболенский и бар. В. И. Штейнгель. Статьи и материалы. Сост. В. И. Семевский, В. Богучарский и П. Е. Щеголев. СПб., 1905 (ОД).

Одоевский А. И. Полн. собр. стихотворений и писем. Ред. и статьи Д. Д. Благого и И. А. Кубасова. М.— Л., 1934.

Орлов В. С. Ив. Дм. Якушкин. В книге: В. С. Орлов и В. Г. Вержбицкий. Декабристы-смоляне. 1951, стр. 76—124.

Орлов Н. М. Михаил Федорович Орлов. РС, 1872, № 5. Его же. Съезд членов Союза благоденствия 1821 г. РС, 1873, № 3.

Остафьевский архив князей Вяземских, ред. и примечания В. И. Саитова, т. I—V. СПб., 1899—1913 (ОА).

Павлов-Сильванский Н. П. Декабрист Пестель пред Верховным уголовным судом. Р/Д, 1907 (Павлов-Сильванский, I).

Павлов-Сильванский Н. П. Материалисты двадцатых годов. «Былое», 1907, № 7. Включено в книгу автора: Соч., т. II, 1910 (Павлов-Сильванский, II).

Пажитнов К. А. Развитие социалистических идей в России. Т. I, П., 1924.

Памяти декабристов. Сборник материалов. АН СССР, вып. I, II, III, Л., 1926.

Пестель П. И. Письма к П. Д. Киселеву. Публикация Ф. И. Покровского и П. Г. Васенко. Сб. «Памяти декабристов», вып. III.

Пиксанов Н. К. Пушкинская студия. Введение в изучение Пушкина. П., 1922.

Пирогов Н. И. Севастопольские письма и воспоминания. Ред. и комментарии С. Я. Штрайха. АН СССР, 1950.

Погодин М. П. Николай Михайлович Карамзин по его сочинениям. Ч. II. М., 1866.

Погоржанский И. В. Четыре записки из жизни декабристов. «Исторический вестник», 1906, № 2.

Покровский В. И. Жены декабристов. М., 1906.

Полиевктов М. Николай I. Биография и обзор царствования, М., 1918.

Попов П. С. М. Ф. Орлов и 14 декабря. КА, 1905, № 6—13 (Попов, I).

Попов П. С. П. А. Муханов в Сибири. «Декабристы», VII (Попов, II).

Поэты пушкинской поры. Ред. В. Н. Орлова. М.— Л., 1949.

Пресняков А. Е. 14 декабря 1825 года. Центрархив, М.— Л., 1926.

Путеводитель по Пушкину (Сборник исторических и биографических сведений в связи с творчеством Пушкина, составленный Д. Д. Благим, М. В. Нечкиной, С. М. Бонди, Б. В. Томашевским, М. А. Цявловским, М. П. Алексеевым и др.). М.— Л., 1931.

Пушкин А. С. Полн. собрание соч. в 10 томах. АН СССР, М., 1949.
Пушкин Б. С. Арест декабристов («Декабристы», IX).
Пущин И. И. Записки о Пушкине и письма из Сибири. Ред., статья и комментарии С. Я. Штрайха. М., 1925, 1927 (имеются издания 1934, 1937 гг.).
Пыпин А. Н. Очерки литературы и общественности при Александре I. Ред. Н. К. Пиксанова. П., 1917 (Пыпин, I).
Пыпин А. Н. Общественное движение в России при Александре I. Изд. 3-е, 1900 (Пыпин, II).
Розанов И. Н. Декабрист Никита Муравьев об опытах в прозе Батюшкова. «Красная новь», 1937, № 17 (Розанов, I).
Розанов И. Н. Декабристы-поэты. Атеист А. П. Барятинский. «Красная новь», 1926, № 3 (Розанов, II).
Розен А. Е. Записки декабриста. Ред. П. Е. Щеголева. СПб., 1907.
Роспись государственным преступникам... Сб. «Государственные преступления в России в XIX веке», т. I, СПб., 1906.
Рылеев К. Ф. Полное собрание сочинений. Ред., статья и комментарии А. Г. Цейтлина. М.— Л., 1934 (Рылеев, I).
Рылеев К. Ф. Стихотворения. Ред., статья и примечания Н. И. Мордовченко. 1947 (Рылеев, II).
Рындзюнский П. Г. Декабристы братья Борисовы в годы жизни на поселении. «Тр. Гос. историч. музея», вып. XV, М., 1941.
Садиков П. А. И. П. Липранди в Бессарабии 1820-х годов («Временник», VI).
Свербеев Д. Н. Записки. Т. I и II. М., 1899.
Свистунов П. Н. Несколько замечаний по поводу новейших книг и статей о событии 14 декабря и о декабристах. Отповедь («Воспоминания», II).
Семевский В. И. Политические и общественные идеи декабристов. СПб., 1909 (Семевский, I).
Семевский В. И. Волнения в Семеновском полку в 1820 году. «Былое», 1907, № 1—3 (Семевский, II).
Семевский В. И. Очерки из истории крестьянского вопроса в первой половине XIX века. РС, 1887, т. 56, (о Якушкине — № 10) (Семевский, III).
Семевский В. И. Крестьянский вопрос в России во второй половине XVIII и первой половине XIX в. Т. I, 1905 (Семевский, IV).
Семевский В. И. Иван Дмитриевич Якушкин. Энцикл. словарь Брокгауза и Ефрона, т. 82, 1904 (Семевский, V).
Семевский В. И. Мих. Ан-др. Фонвизин. Биографический очерк. Сб. ОД (Семевский, VI).
Семевский В. И. Ник. Ив. Тургенев. «Вестник Европы», 1909, № 1 и 2 (Семевский, VII).
Семевский В. И. Декабристы-масоны. «Минувшие годы», 1908, № 2, 3, 5—6 (Семевский, VIII).

С е р б о в Н. И. Д. Якушкин. Русский биограф. словарь, т. 25, СПб., 1913.

С и в е р с А. А. К истории декабристов после амнистии 1856 года. «Дела и дни», сб. I, 1920 (С и в е р с, I).

С и в е р с А. А. П. А. Муханов. Материалы для биографии. Сб. «Памяти декабристов», I (С и в е р с, II).

С и в е р с А. А. Тайное общество военных друзей (1825). «Дела и дни», 1920, кн. I (С и в е р с, III)

С к а л о н - К а п н и с т С. В. Воспоминания. Ред. Ю. Г. Оксмана («Воспоминания, I).

С м о т р о в В. Н.— М. Я. Мудров. 1776—1831. М., 1947.

Собрание правил и законов, составленных членами тайных обществ — ГЦИА, ф. 48, № 10 («Собрание»).

С о з о н о в и ч А. П. Заметки по поводу статьи «Государственные и политические преступники в Кургане» К. М. Голодникова («Декабристы», XII).

С о к о л о в В. Н. Декабристы в Сибири. 1946.

С т а н к е в и ч А. Т. Н. Грановский и его переписка. Т. I, Биографический очерк. Т. II. Переписка. М., 1897.

Тайные общества в России в начале XIX века. Сборник материалов, статей и воспоминаний. М., 1926.

Т и т о в А. Декабрист Александр Михайлович Булатов. М., 1903. С портретом.

Т о м а ш е в с к и й Б. В. Десятая глава Евгения Онегина. «Литературное наследство», вып. 16—18, М., 1934.

Т о п о р н и н А. П. Поездка в Туринск к декабристу В. П. Ивашеву в 1838 г. РС, 1890, № 11.

Т р у б е ц к о й С. П. Записки. Издание его дочерей. СПб., 1906.

Т у р г е н е в Н. И. Россия и русские. Т. I. Воспоминания изгнанника. Перевод Н. И. Соболевского. М., 1915 (Т у р г е н е в, I).

Т у р г е н е в Н. И. Письма к брату С. И. Тургеневу. Ред. А. Н. Шебунина. Изд. АН СССР, М.—Л., 1936 (Т у р г е н е в, II).

Т у р г е н е в Н. И. Дневники и письма. Т. I.— в Архиве Тургеневых, вып I; т. II — в Арх. Тургеневых, вып. III; т. III — в Арх. Тургеневых, вып. V; т. IV — в Арх. Тургеневых, вып. VII (Т у р г е н е в. Дневники).

Т у р г е н е в Н. И. Письмо к редактору «Колокола» (А. И. Герцену), № 155 от 1 февраля 1863 г.

Уткинский сборник. I. Письма В. А. Жуковского, М. А. Мойер и Е. А. Протасовой. Ред. А. Е. Грузинского. М., 1904.

Ф о н в и з и н М. А. Обозрение проявлений политической жизни в России. В сб. ОД.

Хрестоматия по истории СССР. Т. II. 1682—1856. Сост. С. С. Дмитриев и М. В. Нечкина. Изд. 2-е, 1949 («Хрестоматия»).

Ч а а д а е в П. Я. Сочинения и письма. Ред. М. О. Гершензона. Т. I. и II. М., 1913.

Ченцов Н. М. Библиография. Восстание декабристов. Ред. Н. К. Пиксанова. М.— Л., 1929.

Чулков Н. П. Москва и декабристы («Декабристы», IX).

Шаховской Д. И. Якушкин и Чаадаев. По новым материалам («Декабристы», IX).

Шебунин А. Н. Пушкин и общество Елизаветы. Сб. «Временник», I (Шебунин, I).

Шебунин А. Н. Н. И. Тургенев в Тайном обществе декабристов. Сб. «Декабристы», VIII (Шебунин, II).

Шебунин А. Н. Пушкин и декабристы. Обзор литературы за 1917—1936 гг. Сб. «Временник», III (Шебунин, III).

Шебунин А. Н. Ник. Ив. Тургенев. М., 1925 (Шебунин, IV).

Шилов А. А. К биографии Пушкина. «Былое», 1918, № 2.

Шильдер Н. К. Император Николай I. Т. I и II. СПб., 1903.

Штрайх С. Я. Кающийся декабрист. К биографии основателя Союза спасения «Красная новь», 1925, № 10 (I). Провокация среди декабристов. Самозванец Медокс в Петровском Заводе. По неизданным материалам. М., 1925 (II). Роман Медокс. Похождения русского авантюриста XIX века. С приложением дневника Медокса за 1830—1831 гг. М., 1929 (III). То же, изд. 2-е, М., 1930 (IV). Брожение в армии при Александре I. К 100-летию заговора декабристов. П., 1922 (V). Провокатор Завалишин М. 1928 (VI). Новые письма декабристов. Сб. «Утренники», вып. 2, П., 1922 (VII). Декабристы на каторге и в ссылке. 26 неизданных писем. «Декабристы», VII (VIII). Моряки-декабристы. Очерки. М., 1945 (IX).

Щеголев П. Е. Декабристы. М.— Л., 1926 (Щеголев, I).

Щеголев П. Е. Из резолюций императора Николая I о декабристах ГМ, 1913, 11 (Щеголев, II).

Щеголев П. Е. Из жизни и творчества Пушкина. Изд. 3-е, 1931 (Щеголев, III).

Щепкина Е. Н. Помещичье хозяйство декабристов. «Былое», 1925, № 3—31.

Яковлев А. И. Семеновское дело. Документы следствия. «Декабристы», I.

Якушкин В. Е. Из истории литературы 20-х годов. «Вестник Европы», 1888, № 11 и 12 (В Якушкин, I).

Якушкин В. Е. Заметки А. Н. Сутгофа о 14 декабря 1825 года. «Былое», 1907, № 4 (В. Якушкин II).

Якушкин Е. Е. Примечания к «Запискам» И. Д. Якушкина. 1925.

Якушкин Е. И. Рассказ о Пущине и Вяземском. В кн.: П. С. Шереметев. Заметки. М., 1905 (Е. Якушкин, I).

Якушкин Е. И. Замечания на «Записки» А. Муравьева «Воспоминания», I (Е. Якушкин, II).

Якушкин Е. И. Съезд членов Союза благоденствия, РС, 1872, т. V, № 11 (Е. Якушкин, III).

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И НАЗВАНИЙ

В указатель включены имена лиц, упоминаемых в книге. Неточное начертание в тексте исправлено в указателе. Не введены в указатель случайные имена, не имеющие исторического значения или не связанные с биографиями и движением декабристов. Включены названия различных объединений, книг, журналов, воинских частей, местностей и другие, связанные с историей движения декабристов или с их биографией. Имена деятелей тайных обществ и лиц, прикосновенных к последним, выделены курсивом. Пояснения даются только к именам родственников декабристов, в других случаях — при необходимости различить одинаковые имена.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

Печатается по постановлению
Редакционно-издательского совета
Академии Наук СССР

*

Редактор издательства *Ц. М. Подгорненская*
Технический редактор *Е. В. Зеленкова*
Художник *И. Ф. Рербер*

*

РИСО АН СССР № 4595. Т-00051. Издат. № 2979
Тип. заказ № 930 Подп. к печ. 10|III 1951 г.
Формат бум. 70×92 1/16 Печ. л. 54,11+8 вкл.
Уч.-издат. 42,5. Тираж 8000.

Цена в переплете 33 руб.

2-я тип. Издательства Академии Наук СССР
Москва, Шубинский пер., д. 10

ИСПРАВЛЕНИЯ И ОПЕЧАТКИ

Страница	Строка	Напечатано	Должно быть
39	1 св.	командующим	командующем
62	12 „	Тезра	Тэера
147	9 сн.	лейб-гвардейский	лейб-гренадерский
156	3-4 св.	время облачения	всем облачении
242	8 сн.	Щербатов,	Щербатов
277	11 св.	замучить	залучить
301	14 сн.	В. И., Е. И. и Е. Г. Якушкиным	Е. И. Якушкину
338	15 св.	балтировался	баллотировался
442	20 „	предприятия	предписания
443	7 сн.	учредительному	учрежденному
577	10 св.	V	VI
621	12 сн.	II	III
627	2-3 св.	Грег. Сен-Венсан (1584—1667), бельгийский математик-философ.	Борн де-Сен-Венсан (1780—1846), франц. натуралист.
682	4 сн.	З. С. Волконской	З. С. Трубецкой
697	16 св.	—	Волконская М. Н. Записки. С предисловием и приложениями М. С. Вол-
716	лев. кол. 12—14 сн.	„История Государства Российского“ соч. Д. А. Милютина— 671-672. Н. М. Карамзина.	„История Государства Российского“ Н. М. Карамзина

И. Д. Якушкин